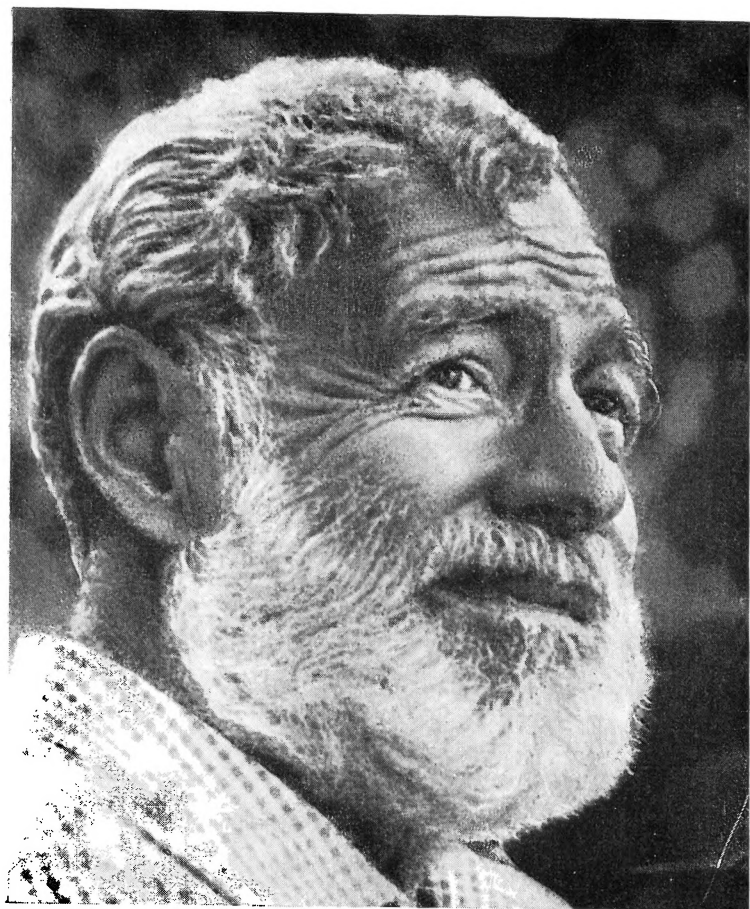


Эрнест Хемингуэй





ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Под общей редакцией

Б. ГРИБАНОВА, М. ЛОРИЕ,

А. СТАРЦЕВА

МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982

Эрнест Хемингуэй

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

ФИЕСТА
(И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ)

Перевод с английского

МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982

И (Амер).
X 37

Вступительная статья

Б. ГРИБАНОВА

Послесловие

А. СТАРЦЕВА

Оформление художника

Ю. КОПЫЛОВА

© Вступительная статья, оформление. Издательство «Художественная литература», 1981 г.

X $\frac{4703000000-371}{028(01)-82}$ подписное

НАШ СОВРЕМЕНИК ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

В своем вступительном слове к первому собранию сочинений Хемингуэя на русском языке Константин Симонов в 1968 году писал: «...главное...— медленно и непреодолимо нарастающее ощущение масштаба потери, понесенной человечеством с уходом из жизни Хемингуэя. И одновременно все более отчетливое понимание подлинных масштабов того вклада, который он внес в мировую литературу XX века».

Это очень справедливые и точные слова. Проходят годы, а интерес к творческому наследию, которое оставил после себя Хемингуэй, не только не иссякает, но все усиливается. Этот интерес обусловлен прежде всего тем, что, как всякий большой художник, Хемингуэй чутко прислушивался к пульсу времени, остро воспринимал болезненные проблемы века и стремился найти свои ответы на многие мучительные вопросы современности.

Выше всего в писателе Хемингуэй ценил честность, бескорыстную и непоколебимую преданность правде. Он утверждал, что писателю наряду с талантом и самодисциплиной «надо пмечь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже». Вот с такой мерой ответственности и подходил Хемингуэй к явлениям жизни и к воплощению их в литературе.

Его рассказы и романы, собранные воедино в собрании сочинений, дают пусть отчасти субъективную, но довольно многогранную и широкую картину жизни Запада первой половины XX века, в известной степени их можно назвать художественной биографией того поколения западных интеллигентов, к которому принадлежал и сам Хемингуэй. Это поколение было брошено со школьной скамьи в кровавую мясорубку первой мировой войны, пережило утрату всех былых иллюзий, потом мучительно искало свое место в этой жизни, спотыкалось, ошибалось, болезненно ощущало разорванность человеческих связей, одиночество лично-

сти, ее обреченность перед лицом жестокого и безразличного мира буржуазного общества.

Судьба этого поколения на Западе была поистине трагической, недаром оно получило название «потерянного поколения». Хемингуэй, может быть, как ни один другой писатель, ощутил эту атмосферу трагедии и воплотил ее в своих рассказах и первых романах («И восходит солнце», «Прощай, оружие!»), принесших ему мировую славу. Не случайно сам писатель называл обе эти свои книги «трагическими». «Я считал,— писал он впоследствии,— что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предreshен».

Окружающий молодого Хемингуэя мир был абсурден, лишен всякой логики. Выход виделся только в революции. Спустя много лет Хемингуэй вспоминал об этом времени: «Непосредственно после войны мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды, потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли».

В качестве корреспондента канадской газеты Хемингуэй много ездил по послевоенной Европе, освещал ряд международных конференций, побывал в 1922 году на греко-турецкой войне. Зрелище страданий женщин, стариков и детей, изгоняемых из Фракии, потрясло даже его, много повидавшего в первую мировую войну. Позже Хемингуэй писал: «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, попытаться ли мне сделать что-нибудь с этим, посвятив этому всю свою жизнь, или стать писателем, и решил, холодный, как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу».

Иными словами, цель была одна — помочь людям, вопрос был только в том, какой путь к этой цели избрать. Хемингуэй сделал свой выбор — он решил стать писателем. Но это отнюдь не означало, что он раз и навсегда отстранился от политических проблем. Он очень рано понял, что в той борьбе, которая разворачивалась в современном ему мире между Злом и Добром — между силами реакции и силами демократии, каждый честный человек должен занять свою твердую позицию, защищая Свободу. Здесь надо уточнить, что Хемингуэй никогда не разделял идей коммунизма, хотя с уважением относился к коммунистам как к самым последовательным и самоотверженным борцам против фашизма. Пожалуй, наиболее точно политические убеждения Хемингуэя сформулированы во внутреннем монологе героя романа «По ком звонит колокол» Роберта Джордана, которому писатель придал многие черты своей собственной биографии, свои раздумья о долге человека, о его месте в жизни. Роберт Джордан говорит сам себе: «Ты не настоя-

щий марксист, и ты это знаешь. Ты просто веришь в Свободу, Равенство и Братство. Ты веришь в Жизнь, Свободу и Право на Счастье».

Но в этой довольно расплывчатой политической платформе была одна незыблемая позиция — необходимость беспощадной, не на жизнь, а на смерть борьбы против фашизма. На этой позиции Хемингуэй твердо стоял на протяжении всей своей жизни.

Надо отдать должное политической прозорливости Хемингуэя — будучи совсем молодым и неискушенным журналистом, он сумел еще в начале 20-х годов разглядеть звериный облик фашизма. В то время, когда многие представители западной интеллигенции умилялись демагогическим лозунгам Муссолини, захватившего власть в Италии, Хемингуэй писал в своих корреспонденциях, что «Муссолини — величайший шарлатан Европы». И, что еще важнее, он сумел разобраться в политической сущности фашизма. «Фашисты, — писал он, — это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской... они привыкли к безнаказанному беззаконию и убийству и считали себя вправе бесчинствовать где и когда им вздумается».

С такой же резкостью писал он через несколько лет о немецкой военщине, потопившей в крови революционные выступления германского пролетариата, расправлявшейся со своими противниками «путем обдуманной программы убийств, гнуснее которых никогда еще не было на свете. Они начали сейчас же после войны убийством Карла Либкнехта и Розы Люксембург и продолжали убивать, систематически уничтожая как революционеров, так и либералов все теми же методами предумышленного убийства».

Примечательно и то, что, увидев на Генуэзской и Лозаннской международных конференциях делегацию молодой Советской республики, Хемингуэй, в отличие от большинства буржуазных журналистов, постарался дать объективные изложения позиции Советской России.

У читателя естественно должен возникнуть вопрос: почему эти политические умонастроения Хемингуэя не находили непосредственного отражения в его художественных произведениях той поры? Парадокс заключался в том, что Хемингуэй в те годы был убежден, что политика не должна вмешиваться в художественную литературу, так как такое соприкосновение сковывает писателя и не дает ему возможности быть объективным. Ему претила продажность писателей в буржуазном обществе, и он писал по этому поводу: «Писатель может сделать недурную карьеру, примкнув к какой-нибудь политической партии, работая на нее, сделав это своей профессией и даже уверовав в нее. Если это

дело победит, карьера такого писателя обеспечена. Но все это будет не впрок ему как писателю, если он не внесет своими книгами чего-то нового в человеческие знания».

Кроме того, Хемингуэй считал, что настоящий серьезный писатель вправе писать только о том, что хорошо знает, о том, что пропущено через сердце, что стало его собственной судьбой и собственной болью: «Нет на свете ничего труднее, чем писать простую честную прозу о человеке... И обманывают себя те, кто думает отыгаться на политике. Это слишком легко, все эти поиски выхода слишком легки, а само наше дело невероятно трудно. Книжки нужно писать о людях, которых любишь или ненавидишь, а не о тех, которых только изучаешь. И если писать правдиво, все социально-экономические выводы будут напрашиваться сами собой». Вот это была очень важная для него мысль — что если писать правдиво, то политические выводы возникнут сами собой.

В 1932 году в книге «Смерть после полудня», посвященной бою быков, но вобравшей немало ценных соображений о литературе, и в частности о долге писателя и его месте в жизни, Хемингуэй, словно отвечая на упреки в аполитичности, косвенно признавался, что еще не видит мир как единое целое и поэтому не может давать рецептов, как спасать этот мир. Он писал: «Самое главное — жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. Пусть те, кто хочет, спасают мир,— если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она будет показана правдиво, будет отражен весь мир. Самое важное — работать и научиться этому».

Вот он и писал о том, что хорошо знал. Одной из главных его тем стала первая мировая война. Хемингуэй на собственной шкуре испытал, что представляла собой эта война, и ненавидел, как он назвал ее, «самую колоссальную, убийственную, плохо организованную бойню, какая только была на земле». Этой войне были посвящены главки-миниатюры в его первой книге «В наше время», о вернувшихся с войны он написал рассказы «Дуба» и «На Биг-Ривер». Но в полную силу эта тема прозвучала в романе «Прощай, оружие!» (1929). В него Хемингуэй вложил всю свою ненависть к войне, со всей силой таланта показал бессмысленность и античеловечность империалистической войны. Герой романа проклял войну и заключил свой «сепаратный мир» — дезертировал из армии. Но пройдет сравнительно немного лет, и Хемингуэй должен будет признать, что бывают войны, участие в которых станет священным долгом каждого честного человека,— это будут войны против фашизма.

Хемпгуэй словно предвидел, что первая вооруженная схватка с фашизмом произойдет в Испании, стране, которую он хорошо знал и любил. Он был в 1931 году свидетелем бегства короля и рождения республики. «Это была последняя по времени республика, родившаяся в Европе,— писал он,— и я верил в нее». Но когда в 1933 году он вновь приехал в Испанию, он увидел, что социально-экономические отношения в стране совершенно не изменились. В одной из своих статей он писал о том, что крестьяне при республике бедствуют, как и раньше, а реакция готовится взять реванш: «Спектакль с управлением этой страной в настоящее время скорее комический, чем трагический, но трагедия очень близка».

Хемингуэй отчетливо понимал опасность, которую несли с собой гитлеровцы, захватившие в 1933 году власть в Германии. В 1935 году он выступил со статьей «Заметки о будущей войне», в ней он предсказывал, что в 1937 или 1938 году начнется новая мировая война, которую развяжут гитлеровская Германия и Италия Муссолини, и напоминал людям, что такое мировая война.

«Минувшую войну выиграли союзники,— писал он,— но в маршировавших на парадах полках были не те солдаты, что воевали. Те солдаты мертвы. Было убито более семи миллионов, и убить значительно больше, чем семь миллионов, сегодня истерично мечтают бывший ефрейтор германской армии и бывший летчик и морфинист, сжигаемые личным и военным честолюбием в тумане мрачного, кровавого, мистического патриотизма. Гитлеру не терпится развязать войну в Европе».

В том же 1935 году Муссолини напал на Абиссинию, и Хемингуэй откликнулся на это исполненной боли и горечи статьей «Крылья над Африкой». Он клеймил тех, кто наживается на войне: «Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда», — жалел тех простых итальянских парней, которых послали сражаться в Абиссинию, и ждал им, чтобы они поняли, кто их подлинный враг.

С удивительной прозорливостью Хемингуэй вскрывал в этой статье механику тайного сговора между агрессором и западными «демократиями», утверждая, что стоит диктатору «завопить о большевистской угрозе как неизбежном следствии его поражения — и сочувствие немедленно окажется на его стороне».

В этот период — в первой половине 30-х годов — Хемингуэй вновь и вновь возвращается к раздумьям об ответственности писателя перед своим призванием, перед своим талантом, о том, как буржуазное общество губит писателей, растлевая их денежными

подачками, комфортом, славой. Эти раздумья разбросаны по книге «Зелепые холмы Африки», они стали главной темой одного из самых замечательных рассказов Хемингуэя — «Снега Килиманджаро». Казалось, он понимал, что предстоит пора тяжких испытаний, когда каждый писатель должен будет определить свое место в исторической битве, в которой будут решаться судьбы человечества.

Первый эпизод этой битвы не заставил себя долго ждать. В 1936 году в Испании был поднят фашистский мятеж и началась народно-революционная война, в которой на стороне генерала Франко приняли активное военное участие гитлеровская Германия и Италия Муссолини. Помогать же Испанской республике приехали из разных стран добровольцы-антифашисты, понимавшие, что если черную чуму фашизма не пресечь здесь, в Испании, то вскоре она будет угрожать всему миру.

Хемингуэй не мог остаться в стороне от этой схватки с фашизмом. Он отправился в Испанию в качестве корреспондента. И сказал И. Эренбургу, с которым познакомился тогда в Мадриде: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело». Он считал, что его долг — помогать Испанской республике всеми силами, и со всей страстью включился в эту борьбу. Он писал корреспонденции с самых различных участков фронта и рассказывал в них о героизме солдат республиканской армии, о боях Интернациональных бригад, клеймил позором зверства фашистов, призывал Англию, Францию, Соединенные Штаты помочь республике оружием. Он написал сценарий и помогал снимать фильм «Испанская земля». Он даже помогал в работе республиканской контрразведке, боровшейся с тайной фашистской агентурой. Там же, в осажденном Мадриде, он написал пьесу «Пятая колонна», героем которой стал американец Филип Ролингс, доброволец, приехавший сюда сражаться за свободу испанского народа. И в отличие от героя романа «Прощай, оружие!», заключившего «сепаратный мир» во время первой мировой войны, Филип Ролингс заявляет о своей готовности сражаться с фашизмом всегда и везде. «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн,— говорит он,— и я подписал договор на весь срок».

Крупным событием — не только литературным, но и политическим — явилось выступление Хемингуэя в 1937 году на II Конгрессе американских писателей. В этой речи он четко и недвусмысленно высказал свою убежденность в том, что долг каждого честного писателя — всеми силами участвовать в борьбе с фашизмом, ибо, как он сказал, «фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами».

Уже после падения Испанской республики Хемингуэй создал роман о народно-революционной войне в Испании — «По ком звонит колокол». Но не горечь поражения определяла тональность этого значительного произведения, а вера писателя в то, что как говорит герой романа перед своей гибелью, «мир — хорошее место, и за него стоит драться». И как аккомпанемент этой теме звучит в романе уверенность героя в будущей победе. Он говорит: «Пусть даже это наступление окончится неудачей, что ж, другое будет удачным». Герой в данном случае думает о конкретной военной операции, но эти слова приобретают более широкое значение — за ними стоит убежденность Хемингуэя в том, что поражение демократии в Испании явление временное, что предстоит еще главное сражение с фашизмом, где будет одержана победа.

Впоследствии, вспоминая о том времени, когда он начинал работать над романом «По ком звонит колокол», Хемингуэй писал К. Симонову: «После испанской войны я должен был писать немедленно, потому что я знал, что следующая война подвигается быстро, и чувствовал, что времени остается мало». Когда Хемингуэй в 1940 году заканчивал роман, в Европе уже бушевала вторая мировая война, гитлеровские войска уже оккупировали Польшу, Норвегию и Бельгию, уже была разгромлена Франция, угроза вторжения нависла над Англией.

Но все это было только прелюдией решающей схватки. Решающая схватка с фашизмом началась 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз. И в эти дни, когда реакционные круги США ликовали в надежде, что гитлеровская Германия и Советский Союз в этой войне обескровят друг друга, Хемингуэй еще раз продемонстрировал свое глубокое понимание событий, понимание значения борьбы советского народа для судеб всего мира. Уже 27 июня 1941 года он послал в Москву телеграмму: «На все 100 % солидаризуюсь с Советским Союзом в его военном отпоре фашистской агрессии. Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся фашистскому рабству». В 1942 году Хемингуэй опубликовал следующее примечательное заявление: «Двадцать четыре года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой — Красная Армия. Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить... Всякий, кто будет участвовать в разгроме Гитлера, должен считать Красную Армию героическим образцом, которому необходимо подражать».

В уже цитировавшемся выше письме Хемингуэя К. Симонову он писал: «Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и посмотреть, как здорово вы деретесь, но

я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что я не говорю по-русски, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении «кочерыжек» (так мы прозвали немцев) на другой работе. Почти два года я провел в море на тяжелых заданиях».

Действительно, как только США вступили во вторую мировую войну, Хемингуэй стал проситься на фронт военным корреспондентом, но ему было в этом отказано. Тогда он стал на своем рыболовном катере охотиться за немецкими подводными лодками, крейсировавшими у берегов Кубы — острова, который избрал своим домом Хемингуэй. Несколько раз ему удавалось навести американскую военную авиацию на вражеские подлодки, которые после этого были атакованы американскими самолетами и считались потопленными. Этот опыт его «личной» войны Хемингуэй использует потом в романе «Острова в океане».

Он продолжал сражаться с фашизмом и своим пером публициста. В 1942 году он написал вступительную статью к составленной им же антологией произведений мировой литературы о войне. В этой статье он отстаивал антифашистские цели второй мировой войны и в то же время недвусмысленно подчеркивал, что эти благородные цели не должны прикрывать и оправдывать таким числом предательство буржуазных политиков, способствовавших развязыванию этой войны своей мюнхенской политикой поощрения фашистских агрессоров. Он хорошо помнил о судьбе Чехословакии и республиканской Испании. «Составитель этой книги,— писал Хемингуэй,— принимавший участие и рабленный в прошлой войне, которая должна была покончить с войнами, ненавидит войну и ненавидит политиков, чье плохое управление, легковерие, алчность, себялюбие и честолюбие вызвали эту войну и сделали ее неизбежной. Но раз мы воюем, нам остается только одно. Войну надо выиграть. Даже вне зависимости от того, что демократические государства, желая предотвратить эту войну, предали те страны, которые воевали или готовы были воевать».

Примечательно, что в этой же статье он предостерегал об опасности утверждения фашизма в самих Соединенных Штатах. «Мы должны выиграть войну,— писал он,— не забывая, за что мы сражаемся, чтобы, пока мы сражаемся с фашизмом, самим не соскользнуть к идеям и идеалам фашизма».

В 1944 году Хемингуэю удалось наконец попасть в качестве корреспондента на европейский театр военных действий. Он участвовал в высадке союзников в Нормандии, летал на английском бомбардировщике, бомбившем Германию. Когда началось наступление союзников во Франции, Хемингуэй сколотил отряд из французских партизан и успешно проводил с ними разведывательные

операции, способствуя освобождению Парижа. Потом он участвовал в кровопролитных боях на границе с Германией. В этот период были написаны и опубликованы в журнале «Кольерс» шесть очерков писателя.

Война закончилась, антигитлеровская коалиция победила, но тревога за судьбу мира не оставляла Хемингуэя, как и многих других представителей прогрессивной западной интеллигенции. Он видел, как реакционные круги в Соединенных Штатах и в Англии обостряют международную обстановку, развязывают «холодную войну» против Советского Союза. И Хемингуэй смело поднял свой голос в защиту мира, в защиту разума.

Уже в конце 1945 года Хемингуэй выступил с предисловием к антологии «Сокровища Свободного мира», в котором призывал к сотрудничеству между народами. «Теперь,— писал он,— когда война кончилась и мертвые мертвы, для нас настало еще более трудное время, когда долг человека — понять мир. В мирное время обязанность человечества заключается в том, чтобы найти возможность для всех людей жить на земле вместе». Хемингуэй предупреждал своих соотечественников, что хотя США вышли из войны «самой сильной державой мира, важно, чтобы они не стали самой ненавистной».

Имея в виду взрывы атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки, варварские бомбардировки городов в Германии, он напоминал, что американские вооруженные силы «уничтожили больше гражданского населения в других странах, чем наши враги в своих чудовищных злодеяниях, которые мы так осуждаем». Он писал о том, что атомная бомба — это та праща с камнем, которая может уничтожить всех великанов, включая и Соединенные Штаты, и призывал американское правительство уважать «права, привилегии и обязанности всех стран».

Страстной отповедью поджигателям новой войны прозвучало в 1948 году предисловие Хемингуэя к новому изданию романа «Прощай, оружие!», в котором он писал, что «писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война».

В обстановке военной истерии, раздуваемой в те годы правящими кругами в США и в ряде других стран Запада, когда средства массовой информации настойчиво внушали обывателю, что «врагом № 1» является Советский Союз, с которым придется воевать, Хемингуэй в своем первом послевоенном романе «За рекой, в тени деревьев» смело выступил против этих вредоносных тенденций. Герой этого романа полковник американской армии Кантуэлл с горечью говорит, что теперь он, как солдат, подчи-

няющийся приказам, не должен ненавидеть фашистов, а по поводу разговоров о том, что русские — будущие враги, заявляет: «Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на пас».

Вся сила презрения, с которым Хемингуэй относился к тогдашнему американскому правительству, выступает в словах полковника Кантуэлла: «Теперь ведь нами правят подонки. Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков».

Для полковника Кантуэлла, как и для самого Хемингуэя, борьба с фашизмом — дело всей его жизни, и он верит в окончательное искоренение этой коричневой чумы. Он говорит: «Я любил три страны и трижды их терял... Две из них мы взяли назад. И возьмем третью, слышишь, ты, толстозадый генерал Франко?.. Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций».

Хемингуэй верил в испанский народ и не сомневался в том, что в конце концов этот гордый и свободолюбивый народ скинет иго фашизма. Вновь приехав спустя много лет в Испанию, он вглядывался в лица простых людей, с которыми когда-то сражался здесь, на испанской земле, за свободу. «Ни у кого не залегла горечь в углах рта, хотя глазам, быть может, пришлось повидать многое. Горькие складки в углах рта — первый признак поражения. Поражения здесь не потерпел никто».

Политические симпатии Хемингуэя всегда оставались неизменными. На закате своей жизни он дождался того, что на его любимой Кубе произошла революция, и очень сожалел, что его не было при том, как революционный народ вышвырнул диктатора Батисту. Он горячо приветствовал новое правительство. «Я от всей души желаю Кастро удачи», — заявил он. В его записях есть слова: «Кубинская революция была исторической необходимостью».

Так прожил свою жизнь Эрнест Хемингуэй. Это была яркая и красивая жизнь, исполненная неустанного и напряженного писательского труда, жизнь нашего современника, боровшегося рядом с нами против фашизма, против несправедливости и угнетения человека, за «Свободу и Право на Счастье».

Б. Грибанов

Рассказы. Очерки

У НАС В МИЧИГАНЕ

Джим Гилмор приехал в Хортонс-Бей из Канады. Он купил кузницу у старика Хортонса. Джим был невысокого роста, черноволосый, у него были большие руки и большие усы. Он хорошо ковал лошадей, но с виду был не похож на кузнеца, даже когда надевал кожаный фартук. Он жил в комнате над кузницей, а столовался у Д. Дж. Смита.

Лиз Коутс жила у Смитов в прислугах. Миссис Смит, очень крупная, чистоплотная женщина, говорила, что никогда не видела девушки опрятнее Лиз Коутс. У Лиз были красивые ноги, она всегда ходила в чистых передниках, и Джим заметил, что волосы у нее никогда не выбиваются из прически. Ему нравилось ее лицо, потому что оно было такое веселое, но он никогда не думал о ней.

Лиз очень нравился Джим Гилмор. Ей нравилось смотреть, как он идет из кузницы, и она часто останавливалась в дверях кухни, поджидая, когда он появится на дороге. Ей нравились его усы. Ей нравилось, как блестят его зубы, когда он улыбается. Ей очень нравилось, что он не похож на кузнеца. Ей нравилось, что он так правится Д. Дж. Смиту и миссис Смит. Однажды, когда он умывался над тазом во дворе, ей понравилось, что руки у него покрыты черными волосами и то, что они белые выше линии загара. И, почувствовав, что это ей нравится, она смутилась.

Поселок Хортонс-Бей на большой дороге между Бойн-Сити и Шарльвуа состоял всего из пяти домов. Лавка и почта с высоким фальшивым фронтоном, перед которой почти всегда стоял чей-нибудь фургон, дом Смита, дом Струда, дом Дилворта, дом Хортонса и дом Ван-Хусена.

Дома окружала большая вязовая роща, и дорога проходила по сплошному песку. По обеим сторонам дороги тянулись фермы и лес. Немного не доезжая поселка у дороги была методистская церковь, а при выезде из него — начальная школа. Кузница, выкрашенная в красный цвет, стояла напротив школы.

Песчаная лесная дорога круто спускалась к заливу. С заднего крыльца Смитов был виден лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво, залив ярко синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган. С заднего крыльца Смитов Лиз видела далеко на озере баржи с рудой, тянувшиеся к Бойн-Сити. Пока она смотрела на них, казалось, что они стоят на месте, но если она входила в кухню и, вытерев несколько тарелок, опять выходила на крыльцо, они уже успевали скрыться за мысом.

Теперь Лиз все время думала о Джиме Гилморе. Он как будто и не замечал ее. Он разговаривал с Д. Дж. Смитом о своей кузнице, и о республиканской партии, и о сенаторе Джеймсе Г. Блэйне. По вечерам он читал в гостинице «Толедский клинок» и газету из Грэнд-Рэпидс, или он и Д. Дж. Смит ездили ночью на озеро лучить рыбу. Осенью они со Смитом и Чарли Уайменом погрузили в фургон палатку, запас провизии, ружья, топоры и двух собак и уехали на лесистую равнину за Вандербилтом охотиться на оленей. Лиз и миссис Смит четыре дня готовили им в дорогу еду. Лиз хотела приготовить что-нибудь повкусней для Джима, но так и не собралась, потому что боялась попросить у миссис Смит яиц и муки и боялась, как бы миссис Смит не застала ее за стряпней, если она сама все купит. Миссис Смит, вероятно, ничего не сказала бы, но Лиз все-таки боялась.

Пока Джим охотился на оленей, Лиз все время думала о нем. Без него было просто ужасно. Она так много думала о нем, что почти не могла спать, но оказалось, что думать о нем приятно. Ей становилось легче, когда она давала себе волю. Последнюю ночь перед возвращением мужчин она совсем не спала, вернее, ей так казалось, потому что все перепуталось, — то ей снилось, что она не спит, то она и в самом деле не спала. Когда на дороге показался фургон, она почувствовала слабость и у нее засосало под ложечкой. Она не могла дожидаться, когда увидит Джима, ей казалось, что, как только он приедет, все будет хорошо.

Фургон остановился под высоким вязом; миссис Смит и Лиз вышли из дома. Все мужчины обросли бородой, а сзади в фургоне лежало три оленя, и их тонкие ноги торчали, как палки, над бортом фургона. Миссис Смит поцеловала мужа, он обнял ее. Джим сказал: «Хэлло, Лиз», — и весело улыбнулся. Лиз не знала, что именно должно случиться, когда приедет Джим, но все время чего-то ждала. Ничего не случилось. Мужчины вернулись домой — вот и все. Джим стянул с оленей холщовые мешки, и Лиз подошла посмотреть на животных. Один был крупный самец. Он совсем зачоченел, и его трудно было вытащить из фургона.

— Это ты застрелил, Джим? — спросила Лиз.

— Я. А верно, красавец? — Джим взвалил его на спину и понес в копильню.

В тот вечер Чарли Уаймен остался у Смитов ужинать. Возвращаться в Шарльвуа было поздно. Мужчины умылись и собрались в гостиной в ожидании ужина.

— Не осталось ли там чего в кувшине, Джимми? — спросил Д. Дж. Смит, и Джим пошел в сарай и достал из фургона жбан виски, который они брали с собой на охоту. Жбан вмещал четыре галлона, и на дне его плескалось еще порядочно виски. Джим как следует хлебнул по дороге от сарая к дому. Трудно было подносить ко рту такой большой жбан. Немного виски пролилось на рубашку Джима. Д. Дж. Смит и Чарли Уаймен улыбнулись, когда он показался в дверях со жбаном. Смит послал Лиз за стаканами, и она принесла их. Смит налил три полных стакана.

— Ну, Смит, будьте здоровы, — сказал Чарли Уаймен.

— За твоего оленя, Джимми, — сказал Д. Дж. Смит.

— За всех, по которым мы промазали, — сказал Джим и выпил.

— Эх, хорошо!

— Лучшее лекарство от всех болезней.

— Ну как, друзья, еще по одной?

— Ваше здоровье, Смит.

— Выпьем, друзья.

— За следующую охоту.

Джиму стало очень весело. Он любил вкус виски и ощущение, которое оно давало. Он был рад, что вернулся, что его ждет удобная кровать, и горячая еда, и его кузница. Он выпил еще стаканчик. К ужину мужчины явились сильно навеселе, но держали себя с достоинством. Лиз подала ужин, а потом села за стол вместе с остальными.

Ужин был хороший. Мужчины сосредоточенно ели. После ужина они опять перешли в гостиную, а Лиз и миссис Смит убрали со стола. Потом миссис Смит ушла к себе наверх, и скоро Смит вышел в кухню и тоже поднялся наверх. Джим и Чарли еще оставались в гостиной. Лиз сидела в кухне у плиты, делая вид, что читает, и думала о Джиме. Ей не хотелось ложиться спать, она знала, что Джим пройдет через кухню, и ей хотелось еще раз увидеть его и унести это воспоминание о нем с собой в постель.

Она изо всех сил думала о Джиме, когда он вышел в кухню. Глаза у него блестели, волосы были слегка взлохмачены. Лиз опустила голову и стала смотреть в книгу. Джим подошел сзади к ее стулу и остановился, и ей было слышно его дыхание, а потом он обнял ее. Ее груди напрыглись и округлились, и соски отвердели под его пальцами. Лиз очень испугалась,— до сих пор никто ее не трогал,— но подумала: «Все-таки он пришел ко мне. Все-таки пришел».

Она вся сжалась, потому что ей было очень страшно и она не знала, что делать, а потом Джим крепко прижал ее к стулу и поцеловал. Ощущение было такое острое, жгучее, болезненное, что ей казалось, она не выдержит. Она чувствовала Джима сквозь спинку стула, и ей казалось, что она не выдержит, а потом что-то внутри отпустило, и ощущение стало теплее, мягче. Джим крепко и больно прижимал ее к стулу, и теперь она сама хотела этого, и Джим шепнул: «Пойдем погуляем».

Лиз сняла с кухонной вешалки пальто, и они вышли на улицу. Джим обнял ее, они то и дело останавливались и прижимались друг к другу, и Джим целовал ее. Луны не было, они шли лесом, увязая по щиколотку в песок, к пристани и складам на берегу залива. Вода плескалась о сваи, по ту сторону залива чернел мыс. Было холодно, но Лиз вся пылала, потому что Джим был рядом. Они сели под стеной склада, и Джим привлек ее к себе. Ей было страшно. Одна рука Джима расстегнула ей платье и гладила ее грудь, другая лежала у нее на коленях. Ей было очень страшно, и она не знала, что он сейчас будет делать, но придвинулась к нему еще ближе. Потом рука, тяжело лежавшая у нее на коленях, соскользнула, коснулась ее ноги и стала подвигаться выше.

— Не надо, Джим,— сказала Лиз. Рука двинулась дальше.— Нельзя, Джим, нельзя.— Ни Джим, ни тяжелая рука Джима не слушались ее.

Доски были жесткие. Джим что-то делал с нею. Ей было страшно, но она хотела этого. Она сама хотела этого, но это ее пугало.

— Нельзя, Джим, нельзя.

— Нет, можно. Так надо. Ты сама знаешь.

— Нет, Джим, не падо. Нельзя. Ой, нехорошо так. Ой, не надо, больно. Не смей! Ой, Джим! О!

Доски пристани были жесткие, шершавые, холодные, и Джим был очень тяжелый и сделал ей больно. Лиз хотела оттолкнуть его, ей было так неудобно, все тело затекло. Джим спал. Она не могла его сдвинуть. Она выбралась из-под него, села, оправила юбку и пальто и кое-как причесалась. Джим спал, рот его был приоткрыт. Лиз наклонилась и поцеловала его в щеку. Он не проснулся. Она приподняла его голову и потрясла ее. Голова скатилась набок, он глотнул слюну. Лиз заплакала. Она подошла к краю пристани и заглянула в воду. С залива поднимался туман. Ей было холодно и тоскливо, и она знала, что все кончилось. Она вернулась туда, где лежал Джим, и на всякий случай еще раз потрясла его за плечо. Она все плакала.

— Джим,— сказала она.— Джим. Ну, пожалуйста, Джим.

Джим пошевелился и свернулся поудобнее. Лиз сняла пальто, нагнулась и укрыла им Джима. Она заботливо и аккуратно подоткнула пальто со всех сторон. Потом пошла через пристань и по крутой песчаной дороге домой, спать. С залива поднимался между деревьями холодный туман.

Книга рассказов

«В НАШЕ ВРЕМЯ»

«In Our Time», 1925

В ПОРТУ СМИРНЫ

Очень удивительно, сказал он, что кричат они всегда в полночь.

Не знаю, почему они кричали именно в этот час. Мы были в гавани, а они все на молу, и в полночь они начинали кричать. Чтобы успокоить их, мы наводили на них прожектор. Это действовало без отказа. Мы раза два освещали мол из конца в конец, и они утихали.

Однажды, когда я был начальником команды, работавшей на молу, ко мне подошел турецкий офицер и, задыхаясь от ярости, заявил, что наш матрос нагло оскорбил его. Я заверил его, что матрос будет отправлен на борт и строго наказан. Я попросил указать мне виновного. Он указал на одного безобиднейшего парня из оружейного расчета. Повторил, что тот нагло оскорбил его, и не единожды, а много раз; говорил же он со мной через переводчика. Мне не верилось, что матрос мог так хорошо знать турецкий язык, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное. Я вызвал его и сказал:

— Это на случай, если ты разговаривал с кем-нибудь из турецких офицеров.

— Я ни с одним из них не разговаривал, сэр.

— Не сомневаюсь,— сказал я,— но ты все-таки ступай на корабль и до завтра не сходи на берег.

Потом я сообщил турку, что матрос отправлен на корабль, где его ждет суровое наказание. Можно сказать — жестокое. Он чрезвычайно обрадовался, и мы дружески разговорились. Хуже всего, сказал он,— это женщины с мертвыми детьми.

Невозможно было уговорить женщин отдать своих мертвых детей. Иногда они держали их на руках по шесть

дней. Ни за что не отдавали. Мы ничего не могли поделать. Приходилось в конце концов отнимать их. И еще я видел старуху — необыкновенно странный случай. Я говорил о нем одному врачу, и он сказал, что я это выдумал. Мы очищали мол, и нужно было убрать мертвых, а старуха лежала на каких-то самодельных носилках. Мне сказали: «Хотите посмотреть на нее, сэр?» Я посмотрел, и в ту же минуту она умерла и сразу окоченела. Ноги ее согнулись, туловище приподнялось, и так она и застыла. Как будто с вечера лежала мертвая. Она была совсем мертвая и негнущаяся. Когда я рассказал доктору про старуху, он заявил, что этого быть не может.

Все они теснились на молу, но не так, как бывает во время землетрясения или в подобных случаях, потому что они не знали, что придумает старый турок. Они не знали, что он может сделать. Помню, как нам запретили входить в гавань для очистки мола от трупов. В то утро у входа в гавань мне было очень страшно. Орудий у него хватало, и ему ничего не стоило выкинуть нас вон. Мы решили войти, подтянуться вплотную к молу, бросить оба якоря и открыть огонь по турецкой части города. Они выкинули бы нас вон, но мы разнесли бы город. Когда мы вошли в гавань, они обстреляли нас холостыми зарядами. Кемаль прибыл в порт и сместил турецкого коменданта. За превышение власти или что-то в этом духе. Слишком много взял на себя. Могла бы выйти прескверная история.

Трудно забыть набережную Смирны. Чего только не плавало в ее водах. Впервые в жизни я дошел до того, что такое снилось мне по ночам. Рожавшие женщины — это было не так страшно, как женщины с мертвыми детьми. А рожали многие. Удивительно, что так мало из них умерло. Их просто накрывали чем-нибудь и оставляли. Они всегда забирались в самый темный угол трюма и там рожали. Как только их уводили с мола, они уже ничего не боялись.

Греки тоже оказались милейшими людьми. Когда они уходили из Смирны, они не могли увезти с собой своих вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнули с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получилось зрелище. Куда уж веселей.

Глава первая

Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани. Лейтенант то и дело сворачивал с дороги в поле и говорил своей лошади: «Я пьян, топ vieux¹, я здорово пьян. Ох! Ну и накачался же я». Мы шли в темноте по дороге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал к моей кухне и твердил: «Затуши огонь. Опасно. Нас заметят». Мы находились в пятидесяти километрах от фронта, но адъютанту не давал покоя огонь моей кухни. Чудно было идти по этой дороге. Я в то время был старшим по кухне.

¹ Старица (фр.).

ИНДЕЙСКИЙ ПОСЕЛОК

На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая.

Ник с отцом перешли на корму, индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индеец столкнул ее в воду и тоже сел на весла.

Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип уключин другой лодки далеко впереди, в тумане. Индейцы гребли короткими, резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индеец греб изо всех сил, но другая лодка все время шла впереди в тумане.

— Куда мы едем, папа? — спросил Ник.

— На ту сторону, в индейский поселок. Там одна индианка тяжело больна.

— А... — сказал Ник.

Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индеец вытащил их лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре.

От берега они пошли лугом по траве, насквозь промокшей от росы; впереди молодой индеец нес фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходящую вдаль, к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индеец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге.

За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лагун, где жили индейцы-корьевщики. Еще

несколько собак кинулось на них. Индейцы прогнали собак назад, к лачугам.

В окне ближней лачуги светился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу. Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьи сутки. Все старухи поселка собрались возле нее. Мужчины ушли подальше; они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно ее криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли в барак. Она лежала на нижних нарах, живот ее горой поднимался под одеялом. Голова была повернута набок. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно поранил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло.

Отец Ника велел поставить воды на очаг и, пока она нагревалась, говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник,— сказал он,— у этой женщины должен родиться ребенок.

— Я знаю,— сказал Ник.

— Ничего ты не знаешь,— сказал отец.— Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что происходит, когда она кричит.

— Понимаю,— сказал Ник.

В эту минуту женщина опять закричала.

— Ох, папа,— сказал Ник,— разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала?

— Со мной нет анестезирующих средств,— ответил отец.— Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения.

На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене. Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз. В котел он положил какие-то инструменты, которые принес с собой завернутыми в носовой платок.

— Это должно прокипеть,— сказал он и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесенным с собой из лагеря.

Ник смотрел, как отец трет мылом то одну, то другую руку. Проделывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником,

— Видишь ли, Ник, ребенку полагается идти головой вперед, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас увидим.

Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошел обратно в комнату и приступил к делу.

— Отверни одеяло, Джордж,— сказал он,— я не хочу к нему прикасаться.

Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал: «Ах, сукна дочь!» — и молодой индеец, который вез его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Все это тянулось очень долго.

Отец Ника подхватил ребенка, шлепнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе.

— Видишь, Ник, это мальчик,— сказал он.— Ну, как тебе нравится быть моим ассистентом?

— Ничего,— сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец.

— Так. Ну, теперь все,— сказал отец и бросил что-то в таз.

Ник не смотрел туда.

— Ну,— сказал отец,— теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я сейчас буду зашивать разрез.

Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало.

Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и индейцы тоже поднялись. Ник отнес таз на кухню.

Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индеец усмехнулся.

— Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж,— сказал доктор.

Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно, с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала, ни что с ее ребенком, ни что делается вокруг.

— Я приеду завтра,— сказал доктор.— Сиделка из Сент-Игнеса, наверно, будет здесь в полдень и привезет все, что нужно.

Он был возбужден и разговорчив, как футболист после удачного матча.

— Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж,— сказал он.— Кесарево сечение

при помощи складного ножа и швы из девятифутовой вяленой жилы.

Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку.

— Ну, еще бы, ты у нас знаменитый хирург,— сказал он.

— Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже приходится при этих маленьких семейных событиях,— сказал отец Ника.— Хотя, должен сказать, он это перенес на редкость спокойно.

Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он стал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул вверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова его лежала на левой руке. Открытая бритва, лезвием вверх, валялась среди одеял.

— Уведи Ника, Джордж,— сказал доктор.

Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни отлично были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца.

Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру.

— Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник,— сказал отец. Все его недавнее возбуждение прошло.— Надо ж было случиться такой истории.

— Что, женщинам всегда так трудно, когда у них рождаются дети? — спросил Ник.

— Нет, это был совершенно исключительный случай.

— Почему он убил себя, папа?

— Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

— А часто мужчины себя убивают?

— Нет, Ник. Не очень.

— А женщины?

— Еще реже.

— Никогда?

— Ну, иногда случается.

— Папа!

— Да?

— Куда пошел дядя Джордж?

— Он сейчас придет.

— Трудно умирать, папа?

— Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зависит от обстоятельств.

Они сидели в лодке, Ник — на корме, отец — на веслах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой.

В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет,

Глава вторая

За топкой низиной виднелись сквозь дождь минареты Адрианополя. Дорога на Карачаг была на тридцать миль забита повозками. Волы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни конца, ни начала. Одни повозки, груженные всяким скарбом. Старики и женщины, промокшие до костей, шли вдоль дороги, подгоняя скотину. Марица неслась, желтая, почти вровень с мостом. Мост был сплошь забит повозками, и верблюды, покачиваясь, пробирались между ними. Поток беженцев направляла греческая кавалерия. В повозках, среди узлов, матрацев, зеркал, швейных машин ютились женщины с детьми. У одной начались роды, и сидевшая рядом с ней девушка прикрывала ее одеялом и плакала. Ей было страшно смотреть на это. Во время эвакуации не переставая лил дождь.

ДОКТОР И ЕГО ЖЕНА

Отец Ника нанял Дика Боултона из индейского поселка распилить бревна. Дик привел с собой сына Эдди и еще одного индейца — Билли Тэйбшо. Все трое пришли из лесу через заднюю калитку. Эдди нес длинную поперечную пилу. Пила раскачивалась у Эдди за спиной и звонко гудела в такт его шагам. Билли Тэйбшо нес большие багры. У Дика под мышкой были три топора.

Он повернулся и затворил за собой калитку. Остальные пошли вперед, к берегу озера, где лежали бревна, занесенные песком.

Бревна эти оторвались от больших плотов, которые пароход «Мэджик» вел на буксире вниз по озеру, к лесопилке. Их вынесло на берег, и если они так и останутся здесь, то «Мэджик» рано или поздно вышлет лодку с плотовщиками, плотовщики разыщут бревна, вобьют в каждое по костылю, выведут их в озеро и соберут в новое звено. Но может случиться и так, что с парохода никто не явится, потому что несколько бревен не стоят тех денег, которые пришлось бы заплатить плотовщикам за работу. А если за бревнами никого не пришлют, они будут валяться полузаглохшие и в конце концов сгниют.

Отец Ника решил, что именно так оно и будет, и нанял индейцев из поселка распилить бревна поперечной пилой и наколоть дров для плиты и большого камина.

Дик Боултон обогнул коттедж и спустился к озеру. На берегу лежали четыре больших буковых бревна, почти совсем занесенных песком. Эдди повесил пилу на дерево, ручкой в развилину. Дик положил топоры на мостик. Дик был метис, и многие фермеры, жившие у озера, принимали его за белого. Он был большой лентяй, но если уж брался

за работу, то работал как следует. Он вынул из кармана плитку табаку, откусил кусок и сказал что-то Эдди и Билли Тэйбшо на оджибуэйском паречии.

Они воткнули багры в одно из бревен и налегли на них, высвобождая бревно из песка. Они налегли на рукоятки багров всей своей тяжестью. Бревно сдвинулось с места. Дик Боултон оглянулся на отца Ника.

— Как я погляжу, док,— сказал он,— порядочно вы пахрали.

— Зачем так говорить, Дик! — сказал доктор.— Их же прибило к берегу.

Эдди и Билли Тэйбшо вывернули бревно из-под сырого песка и покатали его к воде.

— Толкай, толкай! — крикнул им Дик Боултон.

— Зачем это? — спросил доктор.

— Надо обмыть его. Счистить песок, а то пилу испортить. Я хочу посмотреть, чье это бревно,— сказал Дик.

Бревно плескалось в воде. Взмокшие от натуги Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опершись на свои багры. Дик опустился на колени и стал искать отметку, которую дровосек ставит на конце бревна.

— Уайт и Макнелли,— сказал он, поднимаясь и стряхивая песок с колен.

Доктору стало не по себе.

— Тогда не будем его расплывать,— сказал он коротко.

— А вы не обижайтесь, док,— сказал Боултон.— Зачем обижаться? Мне-то не все равно, у кого вы украли? Меня это не касается.

— Если ты считаешь, что бревна краденые, не трогай их. Забирай свои инструменты и уходи,— сказал доктор. Он весь покраснел.

— Чего это вы вдруг заторопились, док? — сказал Боултон. Он выплюнул табачную жижу на бревно. Плевком поплыл по воде, становясь все прозрачнее и прозрачнее.— Вам не хуже моего известно, что бревна краденые. Только меня это не касается.

— Хорошо. Если ты считаешь, что бревна краденые, забирай свое добро и проваливай.

— Ну, док...

— Забирай свое добро и проваливай!

— Послушайте, док...

— Если ты еще раз скажешь «док», я тебе все зубы вышибу.

— А вот не вышибете, док.

Дик Боултон посмотрел на доктора. Дик был громадного роста и прекрасно знал это. Он любил затевать драки. Сейчас Дик был чрезвычайно доволен собой. Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опираясь на багры, и смотрели на доктора. Доктор пожевывал бородку и смотрел на Дика Боултона. Потом он повернулся и зашагал вверх по холму, к коттеджу. Даже по спине было видно, как он рассержен. Индейцы смотрели ему вслед до тех пор, пока он не вошел в коттедж.

Дик сказал что-то на оджибуэйском наречии. Эдди рассмелся, но Билли Тэйбшо сохранил серьезный вид. От ссоры с доктором его бросило в жар, хотя он не понимал по-английски. Он был толстяк, с редкими, как у китайца, усами. Он поднял багры на плечо. Дик взял все три топора, а Эдди снял пилу с дерева. Они прошли мимо коттеджа и вышли через заднюю калитку в лес. Дик оставил калитку открытой. Билли Тэйбшо вернулся и притворил ее. Все трое скрылись в лесу.

Сев на кровать у себя в комнате, доктор увидел на полу около стола грудку медицинских журналов. Бандероли с них еще не были сорваны. Это рассердило его.

— А ты не пойдешь больше работать, милый? — спросила его жена, лежавшая в соседней комнате, где шторы были опущены.

— Нет.

— Что-нибудь случилось?

— Я поссорился с Диком Боултоном.

— О-о! — сказала его жена. — Надеюсь, ты не вышел из себя, Генри?

— Нет, — сказал доктор.

— Помни, тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города, — сказала его жена. Она была членом Общества христианской науки. В полутемной комнате, на столике около кровати, у нее лежала Библия, книга «Наука и здоровье» и журнал «Христианская наука».

Муж промолчал. Он сидел на кровати и чистил ружье. Он набил магазин тяжелыми желтыми патронами и потряхнул их обратно. Они рассыпались по кровати.

— Генри! — окликнула его жена. Потом, подождав немного: — Генри!

— Да? — сказал доктор.

— Ты чем-нибудь рассердил Боултона?

— Нет, — сказал доктор.

— А что у вас произошло, милый?

— Ничего особенного.

— Скажи мне, Генри. От меня ничего не надо скрывать. Что у вас произошло?

— Дик должен мне много денег за то, что я вылечил его жену от воспаления легких, и, вероятно, затеял ссору, чтобы не отбавывать долга.

Его жена молчала, Доктор тщательно вытер ружье тряпкой. Он заложил патроны обратно в магазин. Он сидел, опустив ружье на колени. Он очень дорожил им. Из полутемной комнаты до него снова донесся голос жены:

— Милый, я не думаю, я просто не допускаю мысли, что кто-нибудь способен на такой поступок.

— Да? — сказал доктор.

— Да. Я не могу поверить, что такое можно сделать намеренно.

Доктор поднялся и поставил ружье в угол за шкафом.

— Ты уходишь, милый? — спросила его жена.

— Пойду прогуляюсь, — сказал доктор.

— Если увидишь Ника, милый, скажи ему, что мама его зовет.

Доктор вышел на крыльцо. Дверь за ним захлопнулась со стуком. Он услышал, как жена вздохнула, когда хлопнула дверь.

— Прости, — сказал он, подойдя к окну с опущенной шторой.

— Ничего, милый, — сказала она.

Он открыл калитку и пошел по жаре к пихтовому лесу. В лесу было прохладно даже в такой жаркий день. Он увидел Ника, который сидел, прислонившись к дереву, и читал.

— Пойди к маме, ты ей зачем-то нужен.

— А я хочу с тобой, — сказал Ник.

Отец посмотрел на него.

— Ну что ж, пойдем, — сказал он. — Дай книгу, я ее суну в карман.

— Папа, а я знаю, где есть черные белки, — сказал Ник.

— Ну что ж, — сказал отец. — Пойдем посмотрим.

Глава третья

Мы попали в какой-то сад в Монсе. Бакли вернулся со своим патрулем с того берега реки. Первый немец, которого мне пришлось увидеть, перелезал через садовую ограду. Мы дождались, когда он перекинет ногу на нашу сторону, и ухлопали его. На нем была пропасть всякой амуниции. Он разинул рот от удивления и свалился в сад. Потом через ограду в другом месте стали перелезать еще трое. Мы их тоже подстрелили. Они все так появлялись.

ЧТО-ТО КОНЧИЛОСЬ

В прежние времена Хортонс-Бей был городком при лесопильном заводе. Жителей его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен кончилась. В бухту вошли лесовозные шхуны и приняли баланс, сложенный штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту, поверх теса, которым был забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех парусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, что делало завод заводом, а Хортонс-Бей — городом.

Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль берега бухты.

Через десять лет от завода не осталось ничего, кроме обломков белого известнякового фундамента, проглядывавших сквозь болотный подлесок, мимо которого проплывали в лодке Ник и Марджори. Они ловили рыбу на дорожку у самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, под двенадцать футов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу, расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели.

— А вот и наши развалины, Ник, — сказала Марджори.

Заноса весла, Ник оглянулся на белые камни среди зелени кустарника.

— Да, они самые,— сказал он.

— Ты помнишь, когда тут был завод? — спросила Марджори.

— Смутно,— сказал Ник.

— Похоже скорее, будто тут стоял замок,— сказала Марджори.

Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда Ник направил лодку через бухту.

— Не клюет,— сказал он.

— Да,— сказала Марджори. Она не спускала глаз с дорожки даже во время разговора. Она любила удить рыбу. Она любила удить рыбу с Ником.

У самой лодки блеснула большая форель. Ник налег на правое весло, стараясь повернуть лодку и провести тянущуюся далеко позади наживку в том месте, где охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, точно туда бросили пригоршню дробиншек. С другой стороны лодки плеснула еще одна форель.

— Кормятся,— сказала Марджори.

— Да, но клёва-то нет,— сказал Ник.

Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а потом стал грести к мысу. Марджори начала наматывать лесу на катушку только тогда, когда лодка коснулась носом берега.

Они вытащили ее на песок, и Ник взял с кормы ведро с живыми окунями. Окунь плавали в ведре. Ник выловил трех, отрезал им головы и счистил чешую, а Марджори все еще шарпила руками в ведре; наконец она поймала одного окуня и тоже отрезала ему голову и счистила чешую. Ник посмотрел на рыбку у нее в руке.

— Брюшной плавник не надо срезать,— сказал он.— Для паживки и так сойдет, но с брюшным плавником все-таки лучше.

Он насадил очищенных окуней с хвоста. У каждого удилица на конце поводка было по два крючка. Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочку, пока не размоталась вся катушка.

— Ну, кажется, так! — крикнул он.

— Бросать? — спросила Марджори, взяв леску в руку.

— Да, бросай.

Марджори бросила леску за борт и стала смотреть, как наживка уходит под воду.

Она снова подъехала к берегу и проделала то же самое со второй леской. Ник положил по тяжелой доске на конец каждой удочки, чтобы они крепче держались, а снизу подпер их досками поменьше. Потом повернул назад ручки на обеих катушках, туго натянул лески между берегом и песчаным дном канала, куда была брошена наживка, и зашелкнул затворы. Плавая в поисках корма у самого дна, форель схватит наживку, кинется с ней, разматывает за собой леску, предохранитель опустится, и катушка зазвенит.

Марджори отъехала подальше, чтобы не задеть лесок. Она налегла на весла, и лодка пошла вдоль берега. Вслед за ней по воде тянулась мелкая рябь. Марджори вышла на берег, и Ник втащил лодку выше, на песок.

— Что с тобой, Ник? — спросила Марджори.

— Не знаю, — ответил Ник, собирая хворост для костра.

Они разложили костер. Марджори сходила к лодке и принесла одеяло. Вечерний ветер относил дым к мысу, и Марджори расстелила одеяло левее, между костром и озером.

Марджори села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника. Он подошел и сел рядом с ней. Сзади них на мысу был частый кустарник, а впереди — залив с устьем Хортонс-Крика. Стемнеть еще не успело. Свет от костра доходил до воды. Им были видны два стальных удилица, поставленных под углом к темной воде. Свет от костра поблескивал на катушках.

Марджори достала из корзинки еду.

— Мне не хочется, — сказал Ник.

— Поешь чего-нибудь, Ник.

— Ну, давай.

Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня на воде.

— Сегодня будет луна, — сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна.

— Да, я знаю, — сказала Марджори счастливым голосом.

— Ты все знаешь, — сказал Ник.

— Перестань, Ник. Ну, пожалуйста, не будь таким.

— А что я могу поделать? — сказал Ник. — Ты все знаешь. Решительно все. В том-то и беда. Ты прекрасно сама это знаешь.

Марджори ничего не ответила.

— Я научил тебя всему. Ты же все знаешь. Ну, например, чего ты не знаешь?

— Перестань! — сказала Марджори. — Вон луна выходит.

Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна.

— Зачем выдумывать глупости? — сказала Марджори. — Говори прямо, что с тобой?

— Не знаю.

— Нет, знаешь.

— Нет, не знаю.

— Ну, скажи мне.

Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов.

— Скучно.

Он боялся взглянуть на Марджори. Он взглянул на Марджори. Она сидела спиной к нему. Он посмотрел на ее спину.

— Скучно. Все стало скучно.

Она молчала. Он снова заговорил:

— У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не знаю, что тебе сказать.

Он все еще смотрел ей в спину.

— И любить скучно? — спросила Марджори.

— Да, — сказал Ник. Марджори встала. Ник сидел, опустив голову на руки.

— Я возьму лодку, — крикнула ему Марджори. — Ты можешь пройти пешком вдоль мыса.

— Хорошо, — сказал Ник. — Я тебе помогу.

— Не надо, — сказала Марджори. Она плыла в лодке по заливу, освещенному луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджори работает веслами.

Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на просеку из лесу. Он почувствовал, что Билл подошел к костру. Билл не дотронулся до него.

— Ну что, ушла?

— Да, — сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло.

— Устроила сцену?

— Никаких сцен не было.

— Ну, а ты как?

— Уйди, Билл. Погуляй там где-нибудь.

Билл выбрал себе сандвич в корзинке и пошел взглянуть на удочки.

Глава четвертая

Жарища в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду. Баррикада получилась просто блеск. Высокая чугунная решетка — с ограды перед домом. Такая тяжелая, что сразу не сдвинешь, но стрелять через нее удобно, а им пришлось бы перелезать. Шикарная баррикада. Они было полезли, но мы стали бить их с сорока шагов. Они брали ее приступом, а потом офицеры одни выходили вперед и пытались свалить ее. Заграждение получилось совершенно идеальное. Офицеры у них держались великолепно. Мы просто расвирепели, когда узнали, что правый фланг отошел и нам придется отступать.

ТРЕХДНЕВНАЯ НЕПОГОДА

Когда Ник свернул на дорогу, проходившую через фруктовый сад, дождь кончился. Фрукты были уже собраны, и осенний ветер шумел в голых ветках. Ник остановился и подобрал яблоко, блестящее от дождя в бурой траве у дороги. Он положил яблоко в карман куртки.

Из сада дорога вела на вершину холма. Там стоял коттедж, на крыльце было пусто, из трубы шел дым. За коттеджем виднелся гараж, курятник и молодая поросль, поднимающаяся точно изгородь на фоне леса. Он взглянул в ту сторону, — большие деревья раскачивались вдалеке на ветру. Это была первая осенняя буря.

Когда Ник пересек поле за садом, дверь отворилась, и из коттеджа вышел Билл. Он остановился на крыльце.

— А-а, Уимидж, — сказал он.

— Хэлло, Билл, — сказал Ник, поднимаясь по ступенькам.

Они постояли на крыльце, глядя на озеро, на сад, на поля за дорогой и поросший лесом мыс. Ветер дул прямо с озера. С крыльца им был виден прибой у мыса Тен-Майл.

— Здорово дует, — сказал Ник.

— Это теперь на три дня, — сказал Билл.

— Отец дома? — спросил Ник.

— Нет. Ушел на охоту. Пойдем в комнаты.

Ник вошел в коттедж. В камине ярко горели дрова. Пламя с ревом рвалось в трубу. Билл захлопнул дверь.

— Выпьем? — сказал он.

Он сходил на кухню и вернулся с двумя стаканами и кувшином воды. Ник достал с полки над камином бутылку виски.

— Ничего? — спросил он.

— Давай, давай,— сказал Билл.

Они сидели у камина и пили ирландское виски с водой.

— Приятно отдает дымком,— сказал Ник и посмотрел через стакан на огонь.

— Это от торфа,— сказал Билл.

— Торф не может попасть в виски,— сказал Ник.

— Это ничего не значит,— сказал Билл.

— А ты видел когда-нибудь торф? — спросил Ник.

— Нет,— сказал Билл.

— И я не видел,— сказал Ник.

Ник протянул ноги к самому огню, и от его башмаков пошел пар.

— Ты бы разулся,— сказал Билл.

— Я без носков.

— Сними башмаки и просуши, а я дам тебе какие-нибудь носки,— сказал Билл. Он поднялся на чердак, и Ник слышал, как он ходит там, наверху. Чердак был под самой крышей, и Билл с отцом и сам Ник иногда спали там. К чердаку примыкал чулан. Они отодвигали койки от того места, где крыша протекала, и застилали их прорезиненными одеялами.

Билл вернулся с парой толстых шерстяных носков.

— Теперь уже поздновато ходить на босу ногу,— сказал он.

— Терпеть не могу слезать в них после лета,— сказал Ник. Он натянул носки и, откинувшись на спинку стула, положил ноги на экран перед камином.

— Смотри продавишь,— сказал Билл. Ник переложил ноги на выступ камина.

— Есть что-нибудь почитать? — спросил он.

— Только газета.

— Как дела у «Кардиналов»?

— Проиграли подряд две игры «Гигантам».

— Ну, теперь им крышка.

— Нет, на этот раз просто поддались,— сказал Билл.— До тех пор, пока Мак Гроу может покупать любого хорошего бейсболиста в Лиге, им бояться нечего.

— Ну, всех-то не скупить,— сказал Ник.

— Кого нужно, покупает,— сказал Билл,— или так их настраивает, что они начинают фордыбачить, и Лига с радостью сплавляет их ему.

— Как было с Хайни Зимом,— подтвердил Ник.

— Много ему проку будет от этой дубины,

Билл встал,

— Он здорово бьет,— сказал Ник. Жар от огня припек ему ноги.

— Хайни Зим неплох в защите,— сказал Билл.— А все-таки команда из-за него проигрывает.

— Может, поэтому Мак Гроу и держится за Хайни,— сказал Ник.

— Может быть,— согласился Билл.

— Нам с тобой ведь не все известно,— сказал Ник.

— Ну конечно. Хотя для нашей дыры мы не так уж плохо осведомлены.

— Все равно как на скачках: лучше ставить на лошадей, когда их в глаза не видел.

— Вот именно.

Билл взял бутылку виски. Его большая рука охватила всю бутылку. Он налил виски в протянутый Ником стакан.

— Сколько воды?

— Столько же.

Он сел на пол рядом со стулом Ника.

— А хорошо, когда начинается осенняя буря,— сказал Ник.

— Замечательно.

— Самое лучшее время года,— сказал Ник.

— Вот уж не согласился бы жить сейчас в городе,— сказал Билл.

— А я хотел бы посмотреть «Уорлд Сириз»,— сказал Ник.

— Ну-у, они теперь играют только в Филадельфии да в Нью-Йорке,— сказал Билл.— Нам от этого ни тепло, ни холодно.

— Все-таки интересно, возьмут когда-нибудь «Кардиналы» первенство или нет?

— Как же, дожидайся! — сказал Билл.

— Вот бы обрадовались ребята! — сказал Ник.

— Помнишь, как они разошлись тогда, перед тем как попали в крушение.

— Да-а! — сказал Ник.

Билл потянулся за книгой, которая лежала заглавием вниз на столе у окна, там, куда он положил ее, когда пошел к двери. Прислонившись спиной к стулу Ника, он держал в одной руке стакан, в другой — книгу.

— Что ты читаешь?

— «Ричарда Феверела».

— А я не одолел его.

— Хорошая книга,— сказал Билл.— Неплохая книга, Уимидж.

— А что у тебя есть, чего я еще не читал? — спросил Ник.

— «Любовь в лесу» читал?

— Да. Это про то, как они ложатся спать и кладут между собой обнаженный меч?

— Хорошая книга, Уимидж.

— Книга замечательная. Только я не понимаю, какой им был толк от этого меча? Ведь его все время надо держать лезвием вверх, потому что если меч положить плашмя, то через него можно перекатиться, и тогда он ничему не помешает.

— Это символ,— сказал Билл.

— Наверно,— сказал Ник.— Только здравого смысла в этом ни на грош.

— А «Отвагу» ты читал?

— Вот это интересно! — сказал Ник — Настоящая книга. Это — где его отец все время доживает. У тебя есть что-нибудь еще Хью Уолпола?

— «Темный лес»,— сказал Билл.— Про Россию.

— А что он смыслит в России? — спросил Ник.

— Не знаю. Кто их разберет, этих писателей. Может, он жил там еще мальчишкой. Там много всего про Россию.

— Вот бы с ним познакомиться,— сказал Ник.

— А я бы хотел познакомиться с Честертоном,— сказал Билл.

— Хорошо бы, он был сейчас здесь,— сказал Ник.— Мы бы взяли его завтра на рыбалку в Вуа.

— А может, он не захотел бы пойти на рыбалку? — сказал Билл.

— Еще как захотел бы,— сказал Ник.— Он же замечательный малый. Помнишь «Перелетный кабак»?

Если ангел нам предложит
Воду пить, а не вино,—
Мы поклонимся учтиво
И плеснем ее в окно.

— Правильно,— сказал Ник.— По-моему, он лучше Уолпола.

— Еще бы. Конечно, лучше,— сказал Билл.

— Но Уолпол пишет лучше.

— Не знаю,— сказал Ник.— Честертон классик.

— Уолпол тоже классик,— не сдавался Билл.

— Хорошо бы, они оба были здесь,— сказал Ник.— Мы бы взяли их завтра на рыбалку в Вуа.

— Давай напьемся,— сказал Билл.

— Давай,— согласился Ник.

— Мой старик ругаться не будет,— сказал Билл.

— Ты в этом уверен? — сказал Ник.

— Ну конечно,— сказал Билл.

— А я и так уже немного пьян,— сказал Ник.

— Ничего подобного,— сказал Билл.

Он встал с пола и взял бутылку. Ник подставил ему свой стакан. Он не сводил с него глаз, пока Билл наливал виски.

Билл налил стакан до половины.

— Воды сам добавь,— сказал он.— Тут еще только на одну порцию.

— А больше нет? — спросил Ник.

— Есть сколько хочешь, только отец не любит, когда я починаю бутылку.

— Ну конечно,— сказал Ник.

— Он говорит: те, что починают бутылки, в конце концов спиваются,— пояснил Билл.

— Правильно,— сказал Ник. Это произвело на него большое впечатление. Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он всегда думал, что спиваются те, кто пьет в одиночку.

— А как поживает твой отец? — почтительно спросил он.

— Ничего,— сказал Билл.— Правда, иногда на него находит.

— Он у тебя молодец,— сказал Ник. Он подлил себе в стакан воды из кувшина. Виски медленно смешивалось с водой. Виски было больше, чем воды.

— Что и говорить,— сказал Билл.

— Мой старик тоже неплохой,— сказал Ник.

— Ну, еще бы,— сказал Билл.

— Он уверяет, что пикогда в жизни не брал в рот спиртного,— сказал Ник торжественным тоном, точно сообщая о факте, имеющем непосредственное отношение к науке.

— Да, но ведь он доктор. А мой старик — художник. Это совсем другое дело.

— Мой много потерял в жизни,— с грустью сказал Ник.

— Кто его знает,— сказал Билл.— Неизвестно, где найдешь, где потеряешь,

— Он сам говорит, что много потерял,— признался Ник.

— Моему тоже не легко приходилось,— сказал Билл.

— Значит, один черт,— сказал Ник.

Они смотрели на огонь и размышляли над этой глубокой истиной.

— Пойду принесу полено с заднего крыльца,— сказал Ник. Глядя в камин, он заметил, что огонь начинает гаснуть. Кроме того, ему хотелось доказать, что он умеет пить и не терять здравого смысла. Пусть отец никогда не брал спиртного в рот, Билл все равно не напоит его — Ника, пока сам не напьется.

— Выбери из буковых потолще,— сказал Билл. Он тоже был полон здравого смысла.

Ник возвращался с поленом через кухню и по пути сшиб с кухонного стола кастрюлю. Он положил полено на пол и поднял ее. В кастрюле были замочены сушеные абрикосы. Он старательно подобрал с пола все абрикосы — несколько штук закатилось под плиту — и положил их обратно в кастрюлю. Он подлил в абрикосы воды из стоящего рядом ведра. Он гордился собой. Здравый смысл ни на минуту не изменял ему.

Он подошел с поленом к камину. Билл встал и помог ему положить полено в огонь.

— Полено первый сорт,— сказал Ник.

— Я берег его на случай плохой погоды,— сказал Билл.— Такое всю ночь будет гореть.

— И к утру горячие угли останутся на растопку,— сказал Ник.

— Верно,— согласился Билл. Разговор шел в самом возвышенном тоне.

— Выпьем еще,— сказал Ник.

— В буфете должна быть еще одна початая бутылка,— сказал Билл.

Он присел перед буфетом на корточки и достал оттуда квадратную бутылку.

— Шотландское,— сказал он.

— Пойду за водой,— сказал Ник. Он снова ушел на кухню. Он зачерпнул ковшиком холодной родниковой воды из ведра и налил ее в кувшин. На обратном пути он прошел в столовой мимо зеркала и посмотрелся в него. Узнать себя было трудно. Он улыбнулся лицу в зеркале, и оно ухмыльнулось в ответ. Он подмигнул ему и пошел

дальше. Лицо было не его, но это не имело никакого значения.

Билл уже налил виски в стаканы.

— Не многовато ли, — сказал Ник.

— Это нам-то с тобой, Уимидж? — сказал Билл.

— За что будем пить? — спросил Ник, поднимая стакан.

— Давай выпьем за рыбную ловлю, — сказал Билл.

— Хорошо, — сказал Ник. — Джентльмены, да здравствует рыбная ловля!

— Везде и всюду, — сказал Билл. — Где бы ни ловили.

— Рыбная ловля, — сказал Ник. — Пьем за рыбную ловлю!

— А она лучше, чем бейсбол, — сказал Билл.

— Какое же может быть сравнение? — сказал Ник. — Как мы вообще могли говорить о бейболе?

— Это была ошибка с нашей стороны, — сказал Билл. — Бейсбол — это игра для деревенщины.

Они допили стаканы до дна.

— Теперь выпьем за Честертон.

— И за Уолпола, — подхватил Ник.

Ник налил виски Биллу и себе. Билл подлил в виски воды. Они посмотрели друг на друга. Оба чувствовали себя превосходно.

— Джентльмены, — сказал Билл. — Да здравствуют Честертон и Уолпол.

— Принято, джентльмены, — сказал Ник.

Они выпили. Билл снова налил стаканы. Они сидели в глубоких креслах перед камином.

— Это было очень умно с твоей стороны, Уимидж.

— О чем ты? — спросил Ник.

— О том, что ты порвал с Мардж, — сказал Билл.

— Да, пожалуй, — сказал Ник.

— Так и следовало сделать. Если бы ты не сделал этого, пришлось бы тебе уехать домой, работать и копить деньги на женитьбу.

Ник молчал.

— Раз уж человек женился, пропащее дело, — продолжал Билл. — Больше ему надеяться не на что. Крышка. Спета его песенка. Ты же видел женатых?

Ник молчал.

— Женатого сразу узнаешь, — сказал Билл. — У них такой сытый, женатый вид. Спета их песенка.

— Правильно, — сказал Ник,

— Может, это было нехорошо, порывать так сразу,— сказал Билл.— Но ведь всегда найдешь, в кого влюбиться, и все будет в порядке. Влюбляйся, только не позволяй им портить тебе жизнь.

— Да,— сказал Ник.

— Если бы ты женился на ней, тебе бы досталась в придачу вся их семья. Вспомни только ее мать и этого типа, за которого она вышла замуж.

Ник кивнул.

— Торчали бы они целыми днями у тебя в доме, а тебе пришлось бы ходить к ним по воскресеньям обедать и приглашать их к себе, а она все время учила бы Мардж, что надо делать и чего не надо.

Ник сидел молча.

— Ты еще легко отделался,— сказал Билл.— Теперь она может выйти замуж за кого-нибудь, кто ей под пару, обзаведется семьей и будет счастлива. Масла с водой не смешаешь, и в этих делах тоже ничего не следует мешать. Все равно, как если бы я женился на Айде, которая служит у Стрэттонов. Она, наверно, была бы не прочь.

Ник молчал. Опьянение прошло и оставило его наедине с самим собой. Не было здесь Билла. Сам он не сидел перед камином, не собирался идти завтра на рыбалку с Биллом и его отцом. Он не был пьян. Все прошло. Он знал только одно: когда-то у него была Марджори, а теперь он ее потерял. Она ушла, он прогнал ее. Все остальное не имело никакого значения. Может быть, он никогда больше ее не увидит. Наверно, никогда не увидит. Все ушло, кончилось.

— Выпьем еще,— сказал Ник.

Билл налил виски. Ник подбавил в стаканы немного воды.

— Если бы ты не покончил со всем этим, мы бы не сидели сейчас здесь,— сказал Билл.

Это было верно. Раньше Ник собирался уехать домой и подыскать работу. Потом решил остаться на зиму в Шарльвуа, чтобы быть поближе к Марджори. Теперь он сам не знал, что ему делать.

— Мы бы, наверно, и на рыбную ловлю завтра не пошли,— сказал Билл.— Нет, ты правильно поступил.

— А что я мог с собой поделать? — сказал Ник.

— Знаю. Так всегда бывает,— сказал Билл.

— Вдруг все кончилось,— сказал Ник.— Почему так получилось, не знаю. Я ничего не мог с собой поделать,

Все равно как этот ветер: налетит — и в три дня не оставит ни одного листка на деревьях.

— Кончилось и кончилось. Это самое главное,— сказал Билл.

— По моей вине,— сказал Ник.

— По чьей вине, это не важно,— сказал Билл.

— Да, верно,— сказал Ник.

Самое главное было то, что Марджори ушла, и он, вероятно, никогда больше не увидит ее. Он говорил с ней о том, как они поедут в Италию, как им там будет хорошо вдвоем. О местах, в которых они побывают. Все это ушло теперь. И он сам что-то потерял.

— Кончилось, и точка, а остальное пустяки,— сказал Билл.— Знаешь, Уимидж, я очень за тебя беспокоился, пока это тянулось. Ты правильно поступил. Ее мамаша на стейку лезет от досады. Она всем говорила, что вы помолвлены.

— Мы не были помолвлены,— сказал Ник.

— А говорят, что были.

— Я тут ни при чем,— сказал Ник.— Мы не были помолвлены.

— Разве вы не собирались пожениться? — спросил Билл.

— Собирались. Но мы не были помолвлены,— сказал Ник.

— Тогда какая разница? — скептически спросил Билл.

— Не знаю. Разница все-таки есть.

— Я ее не вижу,— сказал Билл.

— Ладно,— сказал Ник.— Давай напьемся.

— Ладно,— сказал Билл.— Напьемся по-настоящему.

— Напьемся, а потом пойдем купаться,— сказал Ник. Он допил свой стакан.

— Мне ее очень жалко, но что я мог поделать? — сказал он.— Ты же знаешь, какая у нее мать.

— Ужасная! — сказал Билл.

— Вдруг все кончилось,— сказал Ник.— Только напрасно я с тобой заговорил об этом.

— Ты не заговаривал,— сказал Билл.— Это я начал. А теперь все. Больше никогда не будем говорить об этом. Ты только не задумывайся. А то опять примешься за старое.

Такая мысль не приходила Нику в голову. Казалось, все было решено бесповоротно. Над этим стоило подумать. Ему стало легче.

— Конечно,— сказал он.— Это всегда может случиться.

Ему снова стало хорошо. Нет ничего непоправимого. Можно пойти в город в субботу вечером. Сегодня четверг.

— Это не исключено,— сказал он.

— Держи себя в руках,— сказал Билл.

— Постараюсь,— сказал он.

Ему было хорошо. Ничего не кончено. Ничего не потеряно. В субботу он пойдет в город. Он чувствовал ту же легкость на душе, что была в нем до того, как Билл начал этот разговор. Лазейку всегда можно найти.

— Давай возьмем ружья и пойдем на мыс, поищем твоего родителя,— сказал Ник.

— Давай.

Билл снял со стены два дробовика. Потом открыл ящик с патронами. Ник надел куртку и башмаки. Башмаки покоребились от огня. Ник все еще не протрезвился, но голова у него была свежая.

— Ну, как ты? — спросил он.

— Прекрасно. В самый раз.— Билл застегивал свитер.

— А напиваться все-таки не стоит.

— Да, пожалуй. Надо было давно пойти погулять.

Они вышли на крыльцо. Ветер бушевал всюду.

— От такого ветра все птицы в траву попададут,— сказал Билл.

Они пошли к саду.

— Я видел вальдшнепа сегодня утром,— сказал Билл.

— Может, нам удастся поднять его,— сказал Ник.

— При таком ветре нельзя стрелять,— сказал Билл.

На воздухе вся история с Мардж не казалась такой трагической. Это было вовсе не так уж важно. Ветер унес все это с собой.

— Прямо с большого озера дует,— сказал Ник.

До них донесся глухой звук выстрела.

— Это отец,— сказал Билл.— Он там, на болоте.

— Пойдем напрямиком,— сказал Ник.

— Пойдем нижним лугом, может, поднимем какую-нибудь дичь,— сказал Билл.

— Ладно,— сказал Ник.

Теперь это было совершенно не важно. Ветер выдул все у него из головы. Тем не менее в субботу вечером можно сходить в город. Неплохо иметь это про запас.

Глава пятая

Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много мокрых опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо на дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени.

ЧЕМПИОН

Ник встал. Он был невредим. Он взглянул на рельсы, на огни последнего вагона, исчезающего за поворотом. По обе стороны железнодорожных путей была вода, а дальше — болото. Он ощупал колено. Штаны были разорваны и кожа содрана. На руках ссадины, песок и зола забились под ногти. Он подошел к краю насыпи, спустился по отлогому склону к воде и стал мыть руки. Он мыл их тщательно в холодной воде, вычищая грязь из-под ногтей. Потом присел на корточки и обмыл колено.

— Вот сволочь тормозной! Доберусь до него когда-нибудь. Уж я его не забуду! Удружил, нечего сказать! «Поди сюда, паренек, говорит, посмотри-ка, что я тебе покажу».

Он попался на удочку. Вот дурак! Но уж больше его не проведут.

«Поди сюда, паренек, посмотри-ка, что я тебе покажу». Потом — бац! И он упал на четвереньки у самых рельсов.

Ник потерял глаз. Над глазом вспухла большая шишка. Непременно синяк будет. Глаз уже болел.

— Вот чертов сын тормозной!

Он потрогал шишку над глазом. Ну ничего, синяк будет, только и всего. Он еще дешево отделался. Хорошо бы посмотреть, как разукрасило. В воде не увидишь. Уже стемнело, а он был далеко от жилья. Он вытер руки о штаны, встал и полез вверх по железнодорожной насыпи.

Он пошел по путям. На насыпи было много балласта, и идти было легко. Нога твердо ступала по утрамбованному песку и гравия. Полотно, ровное, как шоссе, пересекало болото. Ник шел и шел. Он должен добраться до жилья.

На товарный поезд Ник вскочил неподалеку от разъезда Уолтон, когда поезд замедлил ход. Калкаску проехали, когда уже начало темнеть. Теперь, наверное, до Манселоны недалеко, мили три-четыре. Он пагал по полотну, стараясь ступать между шпалами; болото терялось в поднимающемся тумане. Глаз болел, и хотелось есть. Он все шел, оставляя позади милю за милей. По обе стороны насыпи все время тянулось болото.

Показался мост. Ник прошел его; шаги гулко раздавались по чугуну. Внизу, сквозь щели между шпалами, чернела вода. Ник столкнул ногой валявшийся на мосту костыль, и он упал в воду. За мостом начались холмы. Они поднимались черпой громадой по обе стороны путей. Впереди Ник увидел костер.

Осторожно ступая, он пошел на огонь. Костер был немного в стороне от путей, под железнодорожной насыпью. Нику был виден только его отсвет. Пути шли между холмами, и там, где горел костер, выемка как бы раздвинулась и терялась в лесу. Ник осторожно сполз с насыпи и вошел в лес, чтобы между деревьями пробраться к костру. Лес был буковый, и он чувствовал под ногами шелуху буковых орешков. С опушки леса костер казался ярким. Возле него сидел человек. Ник остановился за деревом и стал приглядываться. По-видимому, человек был один. Он сидел, подперев голову руками, и смотрел на костер. Ник шагнул вперед и вошел в освещенное пространство.

Человек сидел и смотрел в огонь. Когда Ник остановился совсем рядом с ним, он не шевельнулся.

— Хэлло! — сказал Ник.

Человек поднял глаза.

— Где фонарь заработал? — сказал он.

— Тормозной кондуктор двинул.

— Снимал с товарного?

— Да.

— Видел каналью, — сказал человек. — Проехал здесь часа полтора назад. Шел по крышам вагонов, похлопывая себя по бокам и распевая.

— Вот каналья!

— Он, наверное, рад, что спихнул тебя, — сказал человек серьезно.

— Я еще отплачу ему.

— Подстереги его с камнем, когда он будет проезжать обратно, — посоветовал человек.

— Я доберусь до него.

- Ты упрям, видно, а?
- Нет,— ответил Ник.
- Все вы, мальчишки, упрямые.
- Приходится быть упрямым,— сказал Ник.
- Вот и я говорю.

Человек посмотрел на Ника и улыбнулся. На свету Ник увидел, что лицо у него обезображено. Расплющенный нос, глаза — как щелки, и бесформенные губы. Ник рассмотрел все это не сразу; он увидел только, что лицо у человека было бесформенное и изуродованное. Оно походило на размалеванную маску. При свете костра оно казалось мертвым.

- Что, нравится моя сковородка? — спросил человек. Ник смутился.
- Да,— сказал он.
- Смотри.

Человек снял кепку.

У него было только одно ухо. Оно было распухшее и плотно прилегало к голове. На месте другого уха культяпка.

- Видал когда-нибудь таких?
- Нет,— сказал Ник. Его слегка затопшило.
- Таких больше нет,— сказал человек.— Правда таких больше нет, малыш?
- Еще бы!
- Кто только меня не бил! — сказал маленький человек.— А мне хоть бы что.

Он смотрел на Ника.

- Садись,— сказал он.— Есть хочешь?
- Не беспокойтесь,— сказал Ник.— Я иду в город.
- Знаешь,— сказал человек,— зови меня Эд.
- Ладно.
- Знаешь,— сказал человек,— у меня не все в порядке.

— Что с вами?

— Я сумасшедший.

Он надел кепку. Нику стало смешно.

- Да у вас все в порядке,— сказал он.
- Нет, не все. Я — сумасшедший. Послушай, ты был когда-нибудь сумасшедшим?
- Нет,— сказал Ник.— Отчего это случается?
- Не знаю,— сказал Эд.— Случится — и не заметишь как. Ты ведь знаешь меня?
- Нет.

— Я Эд Фрэнсис,

— Ей-богу?

— Не веришь?

— Верю.

Ник почувствовал, что это правда.

— Знаешь, чем я беру?

— Нет,— сказал Ник.

— У меня редкий пульс. Всего сорок в минуту. По-щупай.

Ник колебался.

— Иди сюда.— Человек взял его за руку.— Возьмись вот тут. Пальцы положи так.

Запястье у маленького человечка было широкое, и под кожей вздымались мышцы. Ник почувствовал медленное биение под пальцами.

— Часы есть?

— Нет.

— У меня тоже нет,— сказал Эд.— Тогда ничего не выйдет, если часов нет.

Ник отпустил руку.

— Послушай,— сказал Эд Фрэнсис,— возьмись снова. Ты слушай, я буду считать до шестидесяти.

Ощущая под пальцами медленные, резкие удары, Ник начал считать. Он слышал, как маленький человечек медленно считал вслух,— раз, два, три, четыре, пять...

— Шестидесят,— кончил Эд.— Минута. А у тебя сколько?

— Сорок,— сказал Ник.

— Верно! — обрадовался Эд.— Никогда не учащается.

С насыпи спустился человек, перссек лужайку и подошел к костру.

— Хэлло, Багс! — сказал Эд.

— Хэлло! — ответил Багс.

Поговору это был негр. Ник уже по шагам знал, что это негр. Он стоял к ним спиной, наклонясь к огню. Потом выпрямился.

— Это мой друг, Багс,— сказал Эд.— Он тоже сумасшедший.

— Очень приятно,— сказал Багс.— Так вы откуда, говорите?

— Из Чикаго,— сказал Ник.

— Славный город,— сказал негр.— Я не расслышал, как вас зовут?

— Адамс, Ник Адамс.'

— Он говорит, что никогда не был сумасшедшим, Багс,— сказал Эд.

— У него еще все впереди,— сказал негр. Он разворачивал сверток, стоя у огня.

— Скоро есть будем, Багс? — спросил боксер.

— Сейчас.

— Ты голоден, Ник?

— Как собака.

— Слышишь, Багс?

— Я обычно все слышу.

— Да я не о том спрашиваю.

— Да. Я слышал, что сказал этот джентльмен.

Он клал на сковородку куски ветчины. Когда сковорода накалилась и сало стало брызгать, Багс, нагнувшись над костром на своих длинных, как у всех негров, ногах, перевернул куски сала и стал разбивать о сковородку яйца и выливать их в горячее сало.

— Нарезьте, пожалуйста, хлеба, мистер Адамс, он там, в мешке.— Багс повернул голову.

— С удовольствием.

Ник подошел к мешку и достал каравай хлеба. Отрезал шесть ломтей.

Эд нагнулся вперед и наблюдал за ним.

— Дай-ка мне нож, Ник,— сказал он.

— Нет, не давайте,— сказал негр.— Держите нож крепче, мистер Адамс.

Боксер откинулся назад.

— Будьте добры, передайте мне этот хлеб, мистер Адамс,— попросил Багс.

Ник принес ему хлеб.

— Любите макать хлеб в сало? — спросил негр.

— Ну, еще бы!

— Этим лучше займемся потом, на закуску. Пожалуйста.

Негр взял кусок сала, положил его на ломоть хлеба и сверху прикрыл яйцом.

— Теперь накройте еще куском хлеба и передайте, пожалуйста, сэндвич мистеру Фрэнсису.

Эд взял сэндвич и принялся за еду.

— Смотрите, чтобы яйцо не потскло,— предупредил негр.— Это вам, мистер Адамс. Остальное мне.

Ник впился зубами в сэндвич. Негр сидел против него, рядом с Эдом. Горячее поджаренное сало с яйцом было замечательно вкусно.

— Мистер Адамс здорово проголодался,— сказал негр.

Маленький человечек, имя которого было знакомо Нику как имя чемпиона по боксу, сидел молча. Он не произнес ни слова после разговора о ноже.

— Разрешите обмакнуть ваш хлеб в сало? — сказал Багс.

— Большое спасибо.

Маленький белый человечек посмотрел на Ника.

— А вам, мистер Эдольф Фрэнсис? — предложил Багс. Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

— Мистер Фрэнсис! — раздался мягкий голос негра.

Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

— Я вас спрашиваю, мистер Фрэнсис,— мягко повторил негр.

Эд продолжал смотреть на Ника. Кепка у него была надвинута на глаза. Нику стало не по себе.

— Какой черт тебя сюда принес? — раздался резкий вопрос из-под кепки.— Кого ты из себя корчишь? Ты, сопляк несчастный! Приходит, куда его не звали, а попросишь нож, так корчит из себя...

Он не спускал глаз с Ника, лицо у него было белое, а глаз почти не было видно из-под козырька.

— Ты, недоносок! Кто тебя сюда звал?

— Никто.

— Правильно, черт побери, никто не звал. И оставаться никто не просил. Пришел, наговорил гадостей о моем лице, курит мои сигары, пьет мое вино, да еще рассуждает, сопляк! Ты думаешь, тебе это так сойдет?

Ник ничего не ответил. Эд встал.

— погоди, желторотая чикагская каналья! Я тебе голову проломлю! Понял?

Ник поддался назад. Маленький человечек медленно шел на него, тяжело ступая, выставляя вперед левую ногу и потом подтягивая к ней правую.

— Ударь меня! — качнул он головой.— Попробуй только!

— Да я не хочу.

— Тебе это так не сойдет. Ты еще попробуешь моих кулаков, слышишь? Ну, бей первый!

— Бросьте вы,— сказал Ник.

— Ах, ты так, каналья!

Маленький человечек посмотрел на ноги Ника. Когда он опустил глаза, негр, шедший за ним от самого костра,

нацелился и ударил его по затылку. Он упал вперед, и Багс уронил на траву кастет, обмотанный тряпкой. Маленький человек лежал, уткнувшись лицом в траву. Негр поднял Эда и отнес к костру. Голова у него свесилась, лицо было страшно, глаза открыты. Багс бережно положил его на землю.

— Принесите, пожалуйста, ведро с водой, мистер Адамс,— сказал он.— Боюсь, что ударил его чересчур сильно.

Негр брызнул ему в лицо водой и осторожно потянул за ухо. Глаза закрылись.

Негр выпрямился.

— Все в порядке,— сказал он.— Беспокоиться нечего. Простите, мистер Адамс.

— Ничего, ничего.

Ник смотрел вниз, на маленького человечка. Он увидел на траве кастет и поднял его. Ручка гнулась, и ему показалось, что он мягкий. Черная кожа на нем была потерта, а тяжелый конец был обмотан носовым платком.

— Ручка из китового уса,— улыбнулся негр.— Таких теперь не делают. Я не знал, сумеете ли вы с ним справиться, и потом, не хотел, чтобы вы ударили его или изуродовали еще больше.

Негр опять улыбнулся.

— Но вы сами его ударили.

— Я знаю, как ударить. Он даже знать не будет. Мне приходится делать это, чтобы успокоить его в такие минуты.

Ник все еще смотрел на маленького человечка, лежавшего с закрытыми глазами в свете костра. Багс подбросил дров в огонь.

— Не бойтесь за него, мистер Адамс. Я вижу его таким не первый раз.

— Отчего он свихнулся? — спросил Ник.

— О, от многого,— ответил негр, стоя у костра.— Не хотите ли чашку кофе, мистер Адамс?

Он протянул Нику чашку и поправил пальто, которое он подложил под голову человека, лежащего без чувств.

— Во-первых, его слишком много били.— Негр потягивал кофе.— Но от этого он только поглупел. Потом за импресарио у него была сестра, и в газетах всегда писали всякое про братьев и сестер и о том, как она любила брата и как он любил сестру, и они поженились в Нью-Йорке, и из-за этого вышло много неприятностей.

— Я помню это.

— Ну вот. Конечно, они такие же брат с сестрой, как мы с вами, но все равно, многим это не понравилось, и между ними начались ссоры, и однажды она просто уехала и больше не вернулась.

Он допил кофе и вытер губы розовой ладонью.

— Он сразу и сошел с ума. Хотите еще кофе, мистер Адамс?

— Спасибо.

— Я видел ее несколько раз,— продолжал негр.— Она ужасно красивая женщина. Похожа на него как две капли воды. Он был бы совсем недурен, если бы лицо ему не изуродовали.

Он остановился. Казалось, рассказ на этом кончился.

— Где вы с ним познакомились? — спросил Ник.

— В тюрьме,— сказал негр.— Он стал бросаться на людей, с тех пор как она ушла, и его посадили в тюрьму. А меня — за то, что человека зарезал.

Он улыбнулся и продолжал тихо:

— Он мне сразу понравился, и когда я вышел, я разыскал его. Ему нравится считать меня сумасшедшим, а мне все равно. Мне нравится быть с ним, и я люблю путешествовать, и воровать для этого не приходится. Мне нравится жить по-джентльменски.

— Что же вы с ним делаете?

— Да ничего. Просто ездим с места на место. У него есть деньги.

— Он, наверно, здорово зарабатывал?

— Еще бы! Хотя он уже все прожил. А может быть, обворовали. Она присылает ему деньги.

Он поправил костер.

— Она замечательная женщина,— сказал он.— Она похожа на него как две капли воды.

Негр оглянулся на маленького человечка, который тяжело дышал. Его светлые волосы свисали на лоб. Изуродованное лицо было по-детски безмятежно.

— Я могу привести его в чувство в любую минуту, мистер Адамс. Не сердитесь, но я думаю, вам лучше уйти. Я не хочу быть невежливым, а увидя вас, он может опять выйти из себя. Терпеть не могу бить его, а это единственный способ его успокоить, когда он разойдется. Мне приходится держать его подальше от людей. Вы не сердитесь, мистер Адамс? Нет, не благодарите меня, мистер Адамс. Мне следовало предупредить вас, но мне показа-

лось, что вы ему очень понравились, и я надеялся, что все обойдется хорошо. До города по полотну всего две мили. Он называется Манселона. Прощайте! Я с удовольствием пригласил бы вас переночевать с нами, но об этом и говорить печего. Может, возьмете с собой хлеба с салом? Нет? Возьмите все-таки сандвич.

Все это он говорил низким, ровным, вежливым голосом.

— Вот и хорошо. Ну, прощайте, мистер Адамс. Прощайте! Всего вам доброго!

Ник пошел прочь от костра, пересек лужайку и направился к железнодорожным путям. Вступив в темноту, он прислушался. Негр говорил низким, мягким голосом. Ник не различал слов. Потом он услышал, как маленький человечек сказал:

— У меня ужасно болит голова, Багс.

— Ничего, пройдет, мистер Фрэнсис,— утешал голос негра.— Выпейте чашку горячего кофе.

Ник вскарабкался на насыпь и пошел по путям. Он заметил, что держит в руке сандвич с салом, и сунул его в карман. Пока рельсы не повернули за холм, он оглядывался назад и видел отсвет костра у опушки леса.

Глава шестая

Ник сидел, прислонясь к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня. Ноги его неестественно торчали. У него был задет позвоночник. Лицо его было потное и грязное. Солнце светило ему прямо в лицо. День был очень жаркий. Ринальди лежал среди разбросанной амуниции ничком у стены, выставив широкую спину. Ник смотрел прямо перед собой блестящими глазами. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла исковерканная железная кровать. В тени дома, на гряде щебня, лежали два убитых австрийца. Дальше по улице были еще убитые. Бой в городе приближался к концу. Все шло хорошо. Теперь с минуты на минуту можно было ожидать санитаров. Ник осторожно повернул голову и посмотрел на Ринальди. «Senta ¹, Ринальдо, senta. Оба мы с тобой заключили сепаратный мир». Ринальди неподвижно лежал на солнце и тяжело дышал. «Мы с тобой плохие патриоты». Ник осторожно отвернулся, сияясь улыбнуться. Ринальди был безнадежным собеседником.

¹ Слушай (ит.).

ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Душным вечером в Падуе его вынесли на крышу, откуда он мог смотреть вдаль, поверх городских домов. В небе летали стрижи. Скоро стемнело, и зажглись прожекторы. Все остальные пошли вниз и взяли с собой бутылки. Он и Люз слышали их голоса внизу на балконе. Люз присела на край кровати. Она была свежая и прохладная в духоте ночи.

Люз уже три месяца несла ночное дежурство. Ей охотно позволяли это. Она сама готовила его к операции; и они придумали забавную шутку насчет подружки и кружки. Когда ему давали наркоз, он старался не потерять власти над собой, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего в приступе нелепой болтливости. Как только ему разрешили передвигаться на костылях, он стал сам разносить термометры раненым, чтобы Люз не нужно было вставать с постели. Раненых было мало, и они знали обо всем. Они все любили Люз. На обратном пути, проходя по коридору, он думал о том, что Люз лежит в его постели.

Когда пришло время возвращаться на фронт, они пошли в Duomo¹ помолиться. Там было тихо и полутемно, и, кроме них, были еще молящиеся. Они хотели пожениться, но времени для оглашения оставалось слишком мало, и потом, у них не было метрических свидетельств. Они чувствовали себя мужем и женой, но им хотелось, чтобы все знали об этом и чтобы это было прочно.

Люз писала ему много писем, которые дошли только после перемирия. Он их получил на фронте, пятнадцать

¹ Собор (ит.).

сразу, подобрал их по числам и прочел все подряд. В них говорилось о госпитальных новостях и о том, как сильно она его любит, и как она жить без него не может, и как ей не хватает его по ночам.

После перемирия они решили, что он поедет на родину и будет искать работу, чтобы они могли пожениться. Люз вернется только тогда, когда он получит хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Он не должен пить, и он не будет встречаться ни с кем из своих приятелей и вообще ни с кем в Штатах. Прежде всего — достать работу и пожениться. По дороге из Падуи в Милан они поссорились из-за того, что она не хотела сразу же ехать домой. На миланском вокзале, когда пришло время прощаться, они поцеловались, но ссора еще не была забыта. Ему было досадно, что они так нехорошо простились.

В Генуе он сел на пароход, отходивший в Америку. Люз поехала в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там было сыро и дождливо, и в городе стоял батальон Ардитти. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Люз, а у нее раньше не было знакомых итальянцев, и в конце концов она написала в Штаты, что их любовь была только детским увлечением. Ей очень грустно, и она знает, что, вероятно, он не поймет ее, но, быть может, когда-нибудь он простит и будет ей благодарен, а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж. Она по-прежнему любит его, но ей теперь ясно, что это только детская любовь. Она не сомневается, что перед ним большое будущее, и твердо верит в него. Она знает, что все это к лучшему.

Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после того заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку.

Глава седьмая

Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фос-сальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: «Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили, и я буду жить, как ты велишь. Я верю в тебя, я всем буду говорить, что только в тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе». Огонь передвинулся дальше по линии. Мы стали исправлять окоп, а наутро взошло солнце, и день был жаркий, и тихий, и радостный, и спокойный. На следующий вечер, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушел наверх в «Вилла-Росса». И никому никогда не говорил.

ДОМА

Кребс ушел на фронт из методистского колледжа в Канзасе. Есть фотография, на которой он стоит среди студентов-однокурсников, и все они в воротничках совершенно одинакового фасона и высоты. В 1917 году он записался во флот и вернулся в Штаты только после того, как вторая дивизия была отозвана с Рейна летом 1919 года.

Есть фотография, на которой он и еще один капрал спяты где-то на Рейне с двумя немецкими девушками. Мундиры на Кребсе и его приятели кажутся слишком узкими. Девушки некрасивы. Рейна на фотографии не видно.

К тому времени, когда Кребс вернулся в свой родной город в штате Оклахома, героев уже перестали чествовать. Он вернулся слишком поздно. Всем жителям города, которые побывали на войне, устраивали торжественную встречу. В этом было немало военной истерии. А теперь наступила реакция. Всем как будто казалось, что смешно возвращаться так поздно, через несколько лет после окончания войны.

Сначала Кребсу, побывавшему под Белло, Суассоном, в Шампани, Сен-Мийеле и в Аргоннском лесу, совсем не хотелось разговаривать о войне. Потом у него возникла потребность говорить, но никому уже не хотелось слушать. В городе до того наслушались рассказов о немецких зверствах, что действительные события уже не производили впечатления. Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали. И, соврав дважды, почувствовал отвращение к войне и к разговорам о ней. Отвращение ко всему, которое он часто испытывал на фронте, снова овладело им оттого, что ему пришлось врать. То время, вспоминая

о котором он чувствовал внутреннее спокойствие и ясность, то далекое время, когда он делал единственное, что подобает делать мужчине, делал легко и без принуждения, сначала утратило все, что было в нем ценного, а потом и само позабылось.

Врал он безобидно, приписывая себе то, что делали, видели и слышали другие, и выдавая за правду фантастические слухи, ходившие в солдатской среде. Но в бильярдной эти выдумки не имели успеха. Его знакомые, которые слыхали обстоятельные рассказы о немецких женщинах, прикованных к пулеметам в Аргоннском лесу, как патренты не интересовались неприкованными немецкими пулеметчиками и были равнодушны к его рассказам.

Кребсу стало противно преувеличивать и выдумывать, и когда он встречался с настоящим фронтовиком, то, поговорив с ним несколько минут в курительной на танцевальном вечере, он впадал в привычный тон бывалого солдата среди других солдат: на фронте он, мол, все время чувствовал только одно — непрерывный, тошнотворный страх. Так он потерял и последнее.

Лето шло к концу, и все это время он вставал поздно, ходил в библиотеку менять книги, завтракал дома, читал, сидя на крыльце, пока не надоест, а потом отправлялся в город провести самые жаркие часы в прохладной темноте бильярдной. Он любил играть на бильярде.

По вечерам он упражнялся на кларнете, гулял по городу, читал и ложился спать. Для двух младших сестер он все еще был героем. Мать стала бы подавать ему завтрак в постель, если бы он этого потребовал. Она часто входила к нему, когда он лежал в постели, и просила рассказать ей о войне, но слушала невнимательно. Отец его был неразговорчив.

До того как Кребс ушел на фронт, ему никогда не позволяли брать отцовский автомобиль. Отец его был агент по продаже недвижимости, и ему каждую минуту могла понадобиться машина, чтобы возить клиентов за город для осмотра земельных участков. Машина всегда стояла перед зданием Первого национального банка, где на втором этаже помещалась контора его отца. И теперь, после войны, машина была все та же.

В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком сложном мире давно установившейся дружбы и мимолетных ссор,

что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир. Но смотреть на них он любил. Так много было красивых девушек! Почти все они были стриженные. Когда он уезжал, стриженными ходили только маленькие девочки, а из девушек только самые бойкие. Все они носили джемперы и блузки с круглыми воротниками. Такова была мода. Он любил смотреть с крыльца, как они прохаживаются по другой стороне улицы. Он любил смотреть, как они гуляют в тени деревьев. Ему нравились круглые воротнички, выпущенные из-под джемперов. Ему нравились шелковые чулки и туфли без каблуков. Нравились стриженные волосы, нравилась их походка.

Когда он видел их в центре города, они не казались ему такими привлекательными. В греческой кондитерской они просто не нравились ему. В сущности, он в них не нуждался. Они были слишком сложны для него. Было тут и другое. Он смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел больше врать. Дело того не стоило.

Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда. Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастался тем, что женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом он хвастался, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не может уснуть без женщины.

Все это было вранье. И то и другое было вранье. Женщина вовсе не нужна, пока не начнешь о ней думать. Он научился этому в армии. А тогда ее находишь, рано или поздно. Когда приходит время, женщина всегда найдется. И заботиться не надо. Рано или поздно оно само придет. Он научился этому в армии.

Теперь он был бы не прочь иметь женщину, но только так, чтоб она пришла к нему сама и чтоб не нужно было разговаривать. Но здесь все это было слишком сложно. Он знал, что не сможет проделывать все, что полагается.

Дело того не стоило. Вот чем были хороши французенки и немки. Никаких этих разговоров. Много разговаривать было трудно, да оно и ни к чему. Все было очень просто и не мешало им оставаться друзьями. Он думал о Франции, а потом начал думать о Германии. В общем, Германия ему понравилась больше. Ему не хотелось уезжать из Германии. Не хотелось возвращаться домой. И все-таки он вернулся. И сидел на парадном крыльце.

Ему нравились девушки, которые прохаживались по другой стороне улицы. По внешности они нравились ему гораздо больше, чем французенки и немки,— но мир, в котором они жили, был не тот мир, в котором жил он. Ему хотелось бы, чтоб с ним была одна из них. Но дело того не стоило. Они были так привлекательны. Ему нравился этот тип. Он волновал его. Но ему не хотелось тратить время на разговоры. Не так уж была ему нужна женщина. Дело того не стоило. Во всяком случае — не теперь, когда жизнь только начинала налаживаться.

Он сидел на ступеньках, читая книгу. Это была история войны, и он читал обо всех боях, в которых ему пришлось участвовать. До сих пор ему не попадалось книги интереснее этой. Он жалел, что в ней мало карт, и предвкушал то удовольствие, с каким прочтет все действительно хорошие книги о войне, когда они будут изданы с хорошими, подробными картами. Только теперь он узнавал о войне по-настоящему. Оказывается, он был хорошим солдатом. Это совсем другое дело.

Однажды утром, после того как он пробыл дома около месяца, мать вошла к нему в спальню и присела на кровать. Разгладив складки на переднике, она сказала:

— Вчера вечером я говорила с отцом, Гарольд. Он разрешил тебе брать машину по вечерам.

— Да? — сказал Кребс, еще не совсем проснувшись. — Брать машину?

— Отец давно предлагает, чтоб ты брал машину по вечерам, когда захочешь, но мы только вчера об этом уговорились.

— Верно, это ты его заставила, — сказал Кребс.

— Нет. Отец сам об этом заговорил.

— Да? Как же! Верно, это ты его заставила.

Кребс сел в постели.

— Ты сойдешь вниз к завтраку, Гарольд? — спросила мать.

— Как только оденусь, — ответил Кребс.

Мать вышла из комнаты, и ему было слышно, как что-то жарилось внизу, пока он умывался, брился и одевался, готовясь сойти в столовую. Пока он завтракал, сестра принесла почту.

— Здравствуй, Гарри! — сказала она. — Соня ты этакий! Ты бы уж совсем не вставал.

Кребс посмотрел на сестру. Он ее любил. Это была его любимица.

— Газета есть? — спросил он.

Она протянула ему «Канзас-Сити стар», и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей, чтобы можно было читать во время еды.

— Гарольд, — мать стояла в дверях кухни, — Гарольд, не изомни, пожалуйста, газету. Отец не станет читать измятую.

— Я не изомну, — сказал Кребс.

Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.

— Сегодня в школе мы играем в бейсбол, — сказала она. — Я буду подавать.

— Это хорошо, — сказал Кребс. — Ну, как там у вас в команде?

— Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня учил. Другие девочки играют неважно.

— Да? — сказал Кребс.

— Я всем говорю, что ты — мой поклонник. Ведь ты мой поклонник, Гарри?

— Ну, еще бы.

— Разве брат не может ухаживать за сестрой только потому, что он брат?

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь? Ведь ты мог бы ухаживать за мной, если бы я была взрослая?

— Ну да. Я и теперь твой поклонник.

— Правда, Гарри?

— Ну да.

— Ты меня любишь?

— Угу.

— И всегда будешь любить?

— Ну да.

— Ты пойдешь смотреть, как я играю?

— Может быть.

— Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю.

Из кухни пришла мать Кребса. Она несла тарелку с яичницей и поджаренным салом и другую тарелку с гречневыми блинчиками.

— Поди к себе, Эллен,— сказала она.— Мне нужно поговорить с Гарольдом.

Она поставила перед Гарольдом яичницу с салом и принесла кувшин с кленовой патокой к блинчикам. Потом села за стол против Кребса.

— Может быть, ты оставишь газету на минутку, Гарольд? — сказала она.

Кребс положил газету на стол и разгладил ее.

— Ты еще не решил, что будешь делать, Гарольд? — спросила мать, снимая очки.

— Нет еще,— сказал Кребс.

— Тебе не кажется, что пора об этом подумать?

Мать не хотела его уколоть. Она казалась озабоченной.

— Я еще не думал,— сказал Кребс.

— Бог всем велит работать,— сказала мать.— В царстве божием не должно быть лентяев.

— Я не в царстве божием,— ответил Кребс.

— Все мы в царстве божием.

Как всегда, Кребс чувствовал себя неловко и злился.

— Я так беспокоюсь за тебя, Гарольд,— продолжала мать.— Я знаю, каким ты подвергался искушениям. Я знаю, что мужчины слабы. Я еще не забыла, что рассказывал твой покойный дедушка, а мой отец, о Гражданской войне, и всегда молилась за тебя. Я и сейчас целыми днями молюсь за тебя.

Кребс смотрел, как застывает свиное сало у него на тарелке.

— Отец тоже беспокоится,— продолжала она.— Ему кажется, что у тебя нет честолюбия, нет определенной цели в жизни. Чарли Симмонс тебе ровесник, а уже на хорошем месте и собирается жениться. Все молодые люди устраиваются, все хотят чего-нибудь добиться. Ты сам видишь, что такие, как Чарли Симмонс, уже вышли на дорогу, и общество может гордиться ими.

Кребс молчал.

— Не гляди так, Гарольд,— сказала мать.— Ты знаешь, мы любим тебя, и я для твоей же пользы хочу поговорить с тобой. Отец не хочет стеснять твоей свободы,

Он разрешает тебе брать машину. Если тебе захочется покатать какую-нибудь девушку из хорошей семьи, мы будем только рады. Тебе следует развлечься. Но нужно же искать работу, Гарольд. Отцу все равно, за какое бы дело ты ни взялся. Всякий труд почтенен, говорит он. Но с чего-нибудь надо же начинать. Он просил меня поговорить с тобой сегодня. Может быть, ты зашел бы к нему, в контору?

— Это все? — спросил Кребс.

— Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?

— Да, не люблю, — сказал Кребс.

Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.

— Я никого не люблю, — сказал Кребс.

Безнадежное дело. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить так. Он только огорчил мать. Он подошел к ней и взял ее за руку. Она плакала, закрыв лицо руками.

— Я не то хотел сказать. Я просто был раздражен, — сказал Кребс. — Я не хотел сказать, что я не люблю тебя...

Мать все плакала. Кребс обнял ее за плечи.

— Ты не веришь мне, мама?

Мать покачала головой.

— Ну, прошу тебя, мама. Прошу тебя, поверь мне.

— Хорошо, — сказала мать, всхлипывая, и взглянула на него. — Я верю тебе, Гарольд.

Кребс поцеловал ее в голову. Она прижалась к нему лицом.

— Я тебе мать, — сказала она. — Я носила тебя на руках, когда ты был совсем крошкой.

Кребс почувствовал тошноту и смутное отвращение.

— Я знаю, мамочка, — сказал он. — Я постараюсь быть тебе хорошим сыном.

— Может быть, ты станешь на колени и помолитесь вместе со мной, Гарольд? — спросила мать.

Они стали на колени перед обеденным столом, и мать Кребса прочла молитву.

— А теперь помолись ты, Гарольд, — сказала она.

— Не могу, — ответил Кребс.

— Постарайся, Гарольд.

— Не могу.

— Хочешь, я помолюсь за тебя?

— Хорошо.

Мать помолилась за него, а потом они встали, и Кребс поцеловал мать и ушел из дому. Он так старался не осложнять свою жизнь. Однако все это нисколько его не тронуло. Ему стало жаль матери, и поэтому он солгал. Он поедет в Канзас-Сити, найдет себе работу, и тогда она успокоится. Перед отъездом придется, может быть, выдержать еще одну сцену. К отцу в контору он не пойдет. Избавится хоть от этого. Ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно. Без этого просто нельзя. Во всяком случае, теперь с этим покончено. Он пойдет на школьный двор смотреть, как Эллен играет в бейсбол.

Глава восьмая

В два часа утра двое венгров забрались в табачную лавку на углу Пятнадцатой улицы и Грэнд-авеню. Древитс и Бойл приехали туда в «форде» из полицейского участка на Пятнадцатой улице. Грузовик венгров как раз выезжал задним ходом из тупичка. Бойл застрелил сначала сидевшего в кабине, потом — того, который был в грузовике. Древитс испугался, когда увидел, что оба они убиты наповал.

— Стой, Джимми,— сказал он.— Что же ты наделал! Знаешь, какой теперь тарарам поднимется!

— Ворье они или не ворье? — сказал Бойл.— Итальяшки они или не итальяшки? Кто будет поднимать из-за них тарарам?

— Ну, может, на этот раз сойдет,— сказал Древитс,— но почему ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них?

— В итальяшек-то? — сказал Бойл.— Да я итальяшек за квартал вижу.

РЕВОЛЮЦИОНЕР

В 1919 году он разъезжал по железным дорогам Италии с квадратным кусочком клеенки, выданным партийной организацией, на котором было написано химическим карандашом, что предъявитель сего сильно потерпел при белых в Будапеште и что товарищей просят оказывать ему всяческое содействие. Этот кусочек клеенки служил ему вместо железнодорожного билета. Он был очень застенчивый и совсем еще юный, и проводники передавали его от одной бригады к другой. Денег у него не было, и его кормили в станционных буфетах позади стойки.

Италия ему очень понравилась. Какая прекрасная страна, говорил он. Люди здесь такие приветливые. Он побывал во многих городах, много ходил по улицам, посещал картинные галереи. Он покупал репродукции с картин Джотто, Мазаччо и Пьеро делла Франческа и заворачивал их в старый номер «Аванти». Мантенья ему не понравился.

В Болонье он явился в местную организацию, и я взял его с собой в Романью, где мне надо было встретиться с одним человеком. Мы хорошо провели время в дороге. Стояли первые дни сентября, и все вокруг радовало глаз. Он был мадьяр — очень милый, очень застенчивый юноша. Хортисты обошлись с ним жестоко. Кое о чем он порассказал мне. Несмотря на то, что произошло в Венгрии, он безоговорочно верил в мировую революцию.

— А как развивается движение у вас, в Италии? — спросил он.

— Из рук вон плохо, — ответил я.

— Дальше дела пойдут лучше, — сказал он. — У вас для этого есть все условия. Италия — единственная стра-

па, в которой никто не сомневается. С нее дальше все и пойдет.

Я промолчал.

В Болонье он простился с нами перед отъездом в Милан, из Милана поехал в Аосту, а оттуда должен был идти пешком через перевал в Швейцарию. Я заговорил с ним о картинах Мантеньи в Милане. Нет, застенчиво сказал он, Мантенья ему не нравится. Я написал на клочке бумаги, где его покормят в Милане, и дал адреса товарищей. Он горячо благодарил меня, но чувствовалось, что мысли его уже далеко — на перевале. Ему хотелось совершить переход, пока погода не испортилась. Он любил горы осенью. В Сионе швейцарцы посадили его в тюрьму, и это было последнее, что я о нем слышал.

Глава девятая

Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены. Второй матадор поскользнулся, и бык пропорол ему живот, и он схватился одной рукой за рог, а другой зажимал рану, и бык грохнул его о барьер, и он выпустил рог и упал, а потом поднялся, шатаясь, как пьяный, и вырывался от людей, уносивших его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел третий, совсем еще мальчик, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагается, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва двигал рукой. Он нацеливался пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший и она ждала, кто кого, и наконец нанес удар. Потом он сел на песок, и его стошнило, и его прикрыли плащом, а толпа ревела и швыряла на арену все, что попадалось под руку.

МИСТЕР И МИССИС ЭЛЛИОТ

Мистер и миссис Эллиот очень старались иметь ребенка. Они поженились в Бостоне и пароходом отбыли в Европу. Пароход был очень дорогой, и рейс в Европу должен был занять шесть суток. Но на пароходе миссис Эллиот совсем разболелась. Ее мутило от качки, а когда ее мутило, то мутило так, как мутит всех южанок, то есть уроженок южной части Соединенных Штатов. Как все южанки, миссис Эллиот очень быстро расклеивалась от морской болезни, от того, что приходилось путешествовать ночью и слишком рано вставать по утрам. Многие пассажиры на пароходе были уверены, что она мать Эллиота. Другие, зная, что это муж и жена, думали, что она беременна. На самом деле ей просто было сорок лет. Ее возраст сразу дал себя знать, когда она начала путешествовать.

Она казалась много моложе, вернее — казалась жепщиной без возраста, когда Эллиот женился на ней после того как несколько недель за ней ухаживал после того как долгое время ходил в ее кафе до того как однажды вечером поцеловал ее.

Перед женитьбой Хьюберт Эллиот прошел курс юридических наук в Гарвардском университете и был оставлен при кафедре. Он был поэтом и имел около десяти тысяч долларов годового дохода. Он писал очень длинные стихотворения и очень быстро. Ему было двадцать пять лет, и он ни разу не спал с женщиной до того, как женился на миссис Эллиот. Он хотел остаться чистым, чтобы принести своей жене ту же душевную и телесную чистоту, какую ожидал найти в ней. Про себя он называл это — вести нравственную жизнь. Он несколько раз был влюб-

лен до того, как поцеловал миссис Эллиот, и рано или поздно сообщал каждой девушке, что до сих пор хранит целомудрие. После этого почти все они переставали им интересоваться. Его поражало и прямо-таки приводило в ужас, как это девушки решались на помолвку и даже на брак с мужчинами, зная, какому разврату они предавались до женитьбы. Однажды он попробовал отговорить знакомую девушку от брака с человеком, который, как он знал почти наверняка, вел распутный образ жизни в студенческие годы, и это привело к очень неприятному инциденту.

Миссис Эллиот звали Корнелия. Она захотела, чтобы он называл ее Калютина, как ее прозвали на Юге, в семье. Его мать расплакалась, когда он после свадьбы привез Корнелию к ней в гости, но, узнав, что они будут жить за границей, сразу повеселела.

Когда он сообщил Корнелии, что оставался невинным в ожидании ее, она сказала: «Мой милый, дорогой мальчик», — и обняла его крепче обычного. Корнелия тоже была невинна. «Поцелуй меня так еще раз», — сказала она.

Хьюберт объяснил ей, что об этом способе целоваться ему рассказал один приятель. Он был в восторге от своего открытия, они совершенствовались его, насколько было возможно. Иногда, после того как они долго целовались, Корнелия просила его еще раз повторить ей, что он действительно оставался невинным в ожидании ее. Это признание неизменно придавало ей сил.

Сначала Хьюберту и в голову не приходило жениться на Корнелии. Он никогда не думал о ней как о женщине. Они были просто друзьями; а потом как-то вечером они танцевали под граммофон в маленькой комнате позади кафе, пока за кассой сидела ее подруга, и она посмотрела ему в глаза, и он поцеловал ее. Он так и не мог потом припомнить, когда именно было решено, что они поженились. Но они поженились.

Ночь после свадьбы они провели в Бостоне, в отеле. Оба ожидали большего, но в конце концов Корнелия уснула. Хьюберт не мог уснуть и несколько раз вставал и ходил взад и вперед по коридору отеля в новом егеровском халате, который он купил для свадебного путешествия. Он смотрел на бесконечные пары ботинок — маленьких туфель и больших штиблет, — выставленных за двери номеров. От этого сердце у него забилося, и он поспешил

к себе в номер, но Корнелия спала. Ему не захотелось будить ее, и скоро все снова пришло в порядок и он мирно заснул.

На следующий день они были с визитом у его матери, а еще через день отплыли в Европу. Теперь они имели возможность подумать о ребенке, но Корнелия не особенно часто была расположена к этому, хотя они желали ребенка больше всего на свете.

Дни на пароходе тянулись очень долго и все были один как другой, разве что иногда светило солнце, а ветер дул не переставая; и хотя пароход был очень дорогой, с лифтами и бассейном, и все пассажиры говорили с английским акцентом, до Европы они доплыли только через восемь суток. Они высадились в Шербуре и приехали в Париж.

В Париже было неинтересно и все время шел дождь. Им все больше хотелось иметь ребенка, и хотя кто-то показал им в кафе Эзру Паунда, и в Трианоне они видели, как обедает Джеймс Джойс, и их чуть не познакомили с человеком по имени Лео Стайн, пообещав потом объяснить, кто он такой,— они решили поехать в Дижон, где открылся летний университет и куда поехали многие из тех, кто был с ними на пароходе.

В Дижоне, как выяснилось, нечего было делать. Впрочем, Хьюберт писал очень много стихов, а Корнелия печатала их на машинке. Все стихи были очень длинные. Он очень строго относился к опечаткам и заставлял ее переписывать заново целую страницу, если на ней была хоть одна опечатка. Она часто плакала, и до отъезда из Дижона они несколько раз старались иметь ребенка.

Они вернулись в Париж, и многие из их знакомых по пароходу тоже вернулись туда. Дижон им надоел, к тому же они теперь получили возможность рассказывать, что, окончив курс в Гарвардском, или в Колумбийском, или в Уобашском университете, они слушали лекции в Дижоне, департамент Кот-д'Ор. Многие из них предпочли бы поехать в Лангедок, Монпелье или Перпиньян, если только там есть университеты. Но все это слишком далеко. Дижон всего в четырех с половиной часах езды от Парижа, и в поезде есть вагон-ресторан.

Так и случилось, что все они несколько дней ходили в кафе «Купол», избегая показываться в «Ротонде» напротив, потому что там всегда полно иностранцев, а потом Эллиоты, по объявлению в «Нью-Йорк геральд», сняли

château¹ в Турени. Эллиот успел приобрести много друзей, восхищавшихся его стихами, а миссис Эллиот уговорила его выписать из Бостона ее подругу, которая работала с нею в кафе. С приездом подруги миссис Эллиот заметно повеселела, и они не раз всплакнули вдвоем. Подруга была на несколько лет старше Корнелии и называла ее «крошка». Она тоже была южанка родом, из очень старинной семьи.

Они трое и еще несколько друзей Эллиота, называвших его Хьюби, поехали вместе в туреньский château. Турень оказалась плоской, жаркой равниной, очень напоминавшей Канзас. У Эллиота к этому времени набралось стихов почти на целый томик. Он решил выпустить его в Бостоне и уже послал издателю чек и заключил с ним договор.

Скоро друзья один за другим потянулись в Париж. Турень не оправдала надежд, которые на нее возлагали. Через некоторое время все друзья уехали на приморский курорт близ Трувиля с одним молодым американским поэтом, богатым и холостым. Там все они были очень счастливы.

Эллиот остался в туреньском château, потому что он снял его на все лето. Они с миссис Эллиот спали в большой жаркой спальне на большой жесткой кровати. Им все еще очень хотелось иметь ребенка. Миссис Эллиот училась писать на машинке по слепой системе, и оказалось, что хотя писать так быстрее, но опечаток получается больше. Почти все рукописи теперь переписывала подруга. Она работала очень аккуратно и быстро, и это занятие, видимо, доставляло ей удовольствие. Эллиот стал пить много белого вина и перебрался в отдельную спальню. По ночам он писал стихи, и утром вид у него бывал утомленный. Миссис Эллиот и ее подруга теперь спали вместе на большой средневековой кровати. Они всласть поплакали вдвоем. Вечером они все вместе обедали в саду под платаном; дул горячий вечерний ветер, Эллиот пил белое вино, миссис Эллиот и подруга разговаривали, и все они были вполне счастливы.

¹ Замок (фр.).

Глава десятая

Белого коня хлестали по ногам, пока он не поднялся на колени. Пикадор расправил стремяна, подтянул подпругу и вскочил в седло. Внутренности коня висели голубым клубком и болтались взад и вперед, когда он пустился галопом, подгоняемый моно¹, которые хлестали его сзади прутьями по ногам. Судорожным галопом он проскакал вдоль барьера. Потом сразу остановился, и один из моно взял его под уздцы и повел вперед. Пикадор вонзил шпоры, пригнулся и погрозил быку пикой. Кровь била струей из раны между передними ногами коня. Он дрожал и шатался. Бык никак не мог решить, стоит ли ему нападать.

¹ М о н о — прислужники на арене.

КОШКА ПОД ДОЖДЕМ

В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже, из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь.

Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли.

— Я пойду вниз и принесу киску,— сказала американка.

— Давай я пойду,— отозвался с кровати ее муж.

— Нет, я сама. Бедная киска! Прячется от дождя под столом.

Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки.

— Смотри не промокни,— сказал он.

Американка спустилась по лестнице, и когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик.

— *Il piove*¹,— сказала американка. Ей нравился хозяин отеля.

— *Si, si, signora, brutto tempo.* Сегодня очень плохая погода.

Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки.

Думая о том, что он ей правится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь в кафе, шел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом. Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату.

— Чтобы вы не промокли,— улыбаясь, сказала она по-итальянски. Конечно, это хозяин послал ее.

Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее.

— *Ha perduta qualche cosa, signora?*²

— Здесь была кошка,— сказала молодая американка.

— Кошка?

— *Si, il gatto*³.

— Кошка? — Служанка засмеялась. — Кошка под дождем?

— Да,— сказала она,— здесь, под столиком.— И потом: — А мне так хотелось ее, так хотелось киску...

Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным.

¹ Дождь идет (ит.).

² Вы что-нибудь потеряли, сеньора? (ит.)

³ Да, кошка (ит.).

— Пойдемте, синьора,— сказала она,— лучше вернемся. Вы промокнете.

— Ну что же, пойдем,— сказала американка.

Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, радгоне¹ поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии радгоне она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице. Открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал.

— Ну, принесла кошку? — спросил он, опуская книгу.

— Ее уже нет.

— Куда же она девалась? — сказал он, на секунду отрываясь от книги.

Она села на край кровати.

— Мне так хотелось ее,— сказала она.— Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем.

Джордж уже снова читал.

Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею.

— Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы? — спросила она, снова глядя на свой профиль.

Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко остриженными, как у мальчика, волосами.

— Мне нравится так, как сейчас.

— Мне надоело,— сказала она.— Мне так надоело быть похожей на мальчика.

Джордж переменял позу. С тех пор как она заговорила, он не сводил с нее глаз.

— Ты сегодня очень хорошенькая,— сказал он.

Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно.

— Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать,— сказала она.— Хочу кошку.

¹ Хозяин (ит.).

чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу.

— Мм,— сказал Джордж с кровати.

— И хочу есть за своим столом, и чтоб были свои пожи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье...

— Замолчи. Возьми почитай книжку,— сказал Джордж. Он уже снова читал.

Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь.

— А все-таки я хочу кошку,— сказала она.— Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?

Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни.

В дверь постучали.

— *Avanti* ¹,— сказал Джордж. Он поднял глаза от книги.

В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках.

— Простите,— сказала она.— *Padrone* посылает это синьоре.

¹ Войдите (ит.).

Глава одиннадцатая

Толпа кричала не переставая и со свистом и гиканьем бросала на арену корки хлеба, фляги, подушки. В конце концов бык устал от стольких неточных ударов, согнул колени и лег на песок, и один из куадрильи¹ наклонился над ним и убил его ударом пунтильо². Толпа бросилась через барьер и окружила матадора, и два человека схватили его и держали, и кто-то отрезал ему косичку и размахивал ею, потом один из мальчишек схватил ее и убежал. Вечером я видел матадора в кафе. Он был маленького роста, с темным лицом, и он был совершенно пьян. Он говорил: «В конце концов, со всяким может случиться. Ведь я не какая-нибудь знаменитость».

¹ Куадрилья — общее название для всех подручных матадора: пикадоров, бандерильеро и пунтильера.

² Пунтильо — кинжал, которым прикапчивают быка.

На четыре лиры, которые Педуцци заработал, копая землю в саду отеля, он напился. Он увидел американца, проходившего по аллее, и с таинственным видом заговорил с ним. Американец ответил, что он еще не завтракал, но охотно пойдет с ним, как только завтрак кончится. Минут через сорок, через час.

В кантине¹ у моста Педуцци дали в долг еще три стакана граппы:² ведь он так уверенно и так многозначительно говорил о своем предстоящем заработке. Было ветрено, и солнце показывалось из-за туч, а потом опять пряталось, и накрапывал дождь. Чудесный день для ловли форели.

Американец вышел из отеля и спросил Педуцци, как быть с удочками. Надо ли, чтобы жена с удочками шла отдельно?

— Да,— ответил Педуцци,— пусть синьора идет отдельно.

Американец вернулся в отель и поговорил с женой. Он и Педуцци вышли на дорогу. У американца через плечо висела сумка. Педуцци увидел американку в альпийских ботинках и синем берете. На вид она была так же молода, как и муж. Она пошла за ними, неся в руках разобранные удочки. Педуцци не нравилось, что она идет так далеко позади.

— Синьорина, подойдите к нам,— сказал он, подмигивая молодому человеку,— пойдемте все вместе. Синьора, подойдите сюда. Давайте пойдем вместе.

¹ К а н т и п а — кабачок.

² Г р а п п а — итальянская вишegradная водка.

Педуцци хотелось, чтобы они все вместе прошли по улицам Кортино.

Американка шла позади с недовольным видом.

— Синьорина,— нежно позвал ее Педуцци,— подите сюда, к нам.

Муж оглянулся и что-то крикнул ей. Она прибавила шагу и поравнялась с ними.

Со всеми прохожими, попадавшимися им на главной улице городка, Педуцци усердно раскланивался, спимая шляпу.

— Buon'di, Arturo! ¹

Банковский служащий уставился на него из дверей кафе. Кучка людей, стоявших около магазинов, глазела на троих проходивших. Рабочие с постройки нового отеля в блузах, измазанных известкой, разглядывали их. Никто не заговаривал с ними и не кланялся, кроме нищего — худого старика с заплеванной бородой, который приподнял шляпу, когда они поравнялись с ним.

Педуцци остановился около магазина, где в окне стояло много бутылок, и достал из бокового кармана своей старой военной шинели пустую бутылку из-под граппы.

— Чутьочку винца, немного марсалы для синьоры, самую малость винца.

Он размахивал бутылкой. Вот выдался депек!

— Марсала. Вы любите марсалу, синьорина? Немного марсалы.

У американки был недовольный вид.

— Очень нужно было тебе с ним связываться,— сказала она мужу.— Я не понимаю ни одного слова. Он же пьян.

Молодой человек делал вид, что не слышит Педуцци, а в то же время думал: какого черта далась ему эта марсала? Это ведь любимое вино Манси Бирболи.

— Geld ²,— произнес в конце концов Педуцци, хватая американца за рукав.

Он улыбнулся, не смея быть настойчивым, но желая заставить американца действовать.

Молодой человек вынул бумажник из кармана и протянул ему десять лир. Педуцци поднялся по ступенькам в лавку, где на вывеске было написано: «Продажа местных и заграничных вин». Лавка была заперта.

¹ Добрый день, Артур! (ит.).

² Дешьги (нем.).

— Закрыта до двух часов,— неодобрительно сказал какой-то прохожий.

Педуцци спустился по ступенькам.

— Не беда,— сказал он.— Достанем в «Конкордии».

Они все рядом пошли по дороге, направляясь к «Конкордии». На крыльце «Конкордии», где были свалены заржавленные санки-бобслы, молодой человек спросил у него:

— Was wollen Sie? ¹

Педуцци протянул ему бумажку в десять лир, сложенную в несколько раз.

— Ничего,— сказал он.— Так, чего-нибудь.

Он растерялся.

— Может, марсалу. Я не знаю. Марсалы бы...

Дверь «Конкордии» захлопнулась за американцем и его женой.

— Три рюмки марсалы,— сказал американец продавщице, стоявшей за стойкой.

— Две, хотите вы сказать? — спросила девушка.

— Нет,— ответил американец,— три: одну для *veschio* ².

— О,— сказала она,— для *veschio*? — И засмеялась, доставая бутылку. Потом налила мутную жидкость в три рюмки.

Американка сидела у стены, на которой висели газеты. Муж поставил перед ней рюмку.

— Выпей немножко. Может быть, тебе будет лучше.

Она молча смотрела на рюмку. Американец вышел из комнаты с рюмкой для Педуцци, но не нашел его.

— Не знаю, где он,— сказал он, входя обратно в комнату и держа рюмку в руке.

— Ему бы четверть,— сказала жена.

— А сколько стоит четверть литра? — спросил американец продавщицу.

— Белого? Лира.

— Нет, марсалы. И это туда же,— сказал он, протягивая ей рюмку, которая предназначалась для Педуцци, и свою.

Девушка стала лить вино через воронку.

— А теперь нужно бутылку, чтобы захватить вино с собой,— сказал американец.

¹ Что угодно? (нем.)

² Старик (ит.).

Продавщица пошла искать бутылку. Все это ее очень забавляло.

— Мне очень жаль, что у тебя испортилось настроение, Тайни,— сказал американец.— Очень жалею, что поднял этот разговор за завтраком. В сущности, мы говорили об одном и том же, но с разных точек зрения.

— Какая разница? — сказала она.— В конце концов, мне безразлично.

— Тебе не холодно? — спросил он.— Почему ты не надела второй свитер?

— На мне уже и так три.

В комнату вошла продавщица с узкой темной бутылкой в руках и вылила туда марсалу. Американец заплатил еще пять лир. Они вышли. Продавщицу все это забавляло. Педуцци прохаживался взад и вперед в конце улицы, где было не так ветрено, держа в руках удочки.

— Пойдем,— сказал он.— Я понесу удочки. Что за беда, если кто-нибудь нас увидит? Нас никто не тронет. В Кортино меня никто не тронет. Я всех знаю в *municipio*¹. Я бывший солдат. Все в городе любят меня. Я торгую лягушками. Ну что же, что запрещено удить рыбу? Наплевать! Сушая ерунда. Не волнуйтесь. Крупная форель, говорю я вам, и сколько угодно.

Они спустились с холма к реке. Город остался позади. Солнце спряталось, и накрапывал дождь.

— Вот там,— сказал Педуцци, показывая на девушку, стоявшую на пороге дома, мимо которого они проходили,— *meine Tochter*².

— Какой доктор? — сказала американка.— Разве он хочет показать нам своего доктора?

— Он говорит *Tochter*,— сказал американец.

Девушка, на которую показывал Педуцци, вошла в дом.

Они спустились с холма через поле, потом повернули и пошли вдоль берега реки. Педуцци говорил быстро, многозначительно подмигивая. Они шли рядом, и американка чувствовала, как от Педуцци пахнет вином. Один раз он даже толкнул ее локтем. Он говорил то на диалекте Ампеццо, то на немецко-тирольском диалекте. Он никак не мог сообразить, какой же язык его спутники лучше понимают, и поэтому говорил на обоих. Но когда амери-

¹ Городской совет (*ит.*).

² Моя дочка (*нем.*).

канец произнес «ја, ја»¹, Педуцци решил окончательно перейти на тирольский. Молодые люди ничего не понимали.

— Когда мы проходили по городу, все нас видели. За нами, наверное, следит речная охрана. Очень жалею, что мы в это дело впутались. Да еще этот старый дурак вдребзги пьян.

— А у тебя, конечно, не хватает духу вернуться назад,— сказала американка.— Тебе непременно нужно идти с ним дальше.

— А ты бы вернулась? Возвращайся домой, Тайни.

— Я останусь с тобой. Уж если садиться с тюрьму, так, по крайней мере, вместе.

Они круто повернули к воде, и Педуцци остановился, отчаянно жестикулируя и указывая на реку. Шинель его развевалась по ветру. Вода была грязная и мутная. Направо на берегу лежала кучка мусора.

— Да говорите по-итальянски,— сказал американец.

— Un' mezz' ora. Piu d' un' mezz' ora².

— Он говорит, что нам еще, по крайней мере, полчаса ходу. Возвращайся лучше домой, Тайни. Ты и так уже озябла на этом ветру. Погода мерзкая, и все равно ничего интересного не предвидится.

— Хорошо,— ответила американка и стала взбираться на поросший травой берег.

Педуцци был внизу, у реки, и заметил, что американка ушла, только когда она была уже на гребне холма.

— Фрау! — закричал он.— Фрейлейн! Фрау, что же вы уходите?

Американка скрылась за холмом.

— Ушла,— сказал Педуцци. Он был возмущен.

Он снял резинку, которой были связаны удочки, и начал собирать их.

— Но ведь вы же сказали, что еще полчаса ходу.

— Да, да. Там очень хорошо. Но здесь тоже хорошо.

— Правда?

— Ну конечно. И здесь хорошо, и там хорошо.

Американец сел на берегу, собрал удочку, приладил катушку и протянул леску через кольцо. Ему было не по себе, и он боялся, что каждую минуту может нагрянуть речная охрана или на берегу появится толпа местных

¹ Да, да (нем.).

² Полчаса. Больше полчаса (ит.).

жителей. Он видел городские дома и кампаниллу над гребнем холма. Он открыл свой ящик с поводками. Педущи наклонился и засунул туда свой плоский заскорузлый большой палец и указательный и смешал влажные поводки.

— А грузило есть у вас?

— Нет.

— У вас должно быть грузило.— Педущи был взволнован.— Нельзя без *piombo*¹. *Piombo*. Немного *piombo*. Вот тут. Как раз над крючком, а то наживка будет плавать по воде. Обязательно надо *piombo*. Хотя маленький кусочек.

— А у вас есть?

— Нет.

Он стал лихорадочно шарить в карманах, роясь в грязной подкладке своей шинели.

— Ничего нет. Нельзя без *piombo*.

— Ну, так, значит, удить нельзя,— сказал американец и разобрал удочку, наматывая обратно леску через кольцо.— Мы достанем *piombo* и будем удить завтра.

— Ну, послушайте, саго², у вас должно быть *piombo*. Иначе леска будет плавать по воде.

На глазах Педущи рушились все надежды.

— *Piombo* должно быть у вас. Нам хватит кусочка. Удочки у вас совсем новенькие, а вот грузила нет. Я бы принес. А вы сказали, что все у вас есть.

Американец смотрел на реку, мутную от тающего снега.

— Ну что же,— сказал он,— мы раздобудем немного *piombo* и будем удить завтра.

— Утром? В котором часу?

— В семь.

Выглянуло солнце. Стало тепло и приятно. Американец почувствовал облегчение. Он уже больше не нарушает закона. Усевшись на берегу, он достал из кармана бутылку с марсалай и передал ее Педущи. Педущи передал ее обратно. Американец сделал глоток и передал бутылку Педущи. Педущи передал ее опять обратно.

— Пейте,— сказал он,— пейте. Это ваша марсала.

Сделав еще маленький глоток, американец снова протянул бутылку Педущи. Тот внимательно посмотрел на

¹ Свипец (ит.).

² Дорогой (ит.).

нее, потом торопливо схватил и залпом выпил. Седьмо волосы в складках его шеи шевелились, когда он пил, глаза не отрываясь смотрели на узкую темную бутылку. Он выпил ее до дна. Пока он пил, светило солнце. Было чудесно. Все-таки это был удачный день! Чудесный день!

— Senta, caro! ¹ Завтра утром, в семь.

Он несколько раз назвал американца «саго», и это ему сошло. Хорошая была марсала! Таких дней еще много будет впереди, и начнется это завтра, в семь часов утра.

Они стали подниматься на холм по направлению к городу. Американец шел впереди. Он был почти на гребне холма, когда Педуцци окликнул его:

— Послушайте, саго. Не дадите ли вы мне пять лир?

— За сегодня? — хмурясь, спросил американец.

— Нет, не за сегодня. Дайте мне их сегодня за завтрашний день. Я запасаю все, что нужно на завтра. Раме, salami, fromaggio ², хорошей закуски для всех нас. Вы, я и синьора. Наживку, пескарей, не одних червяков. И марсала будет. Все за пять лир. Пять лир, а, синьор?

Американец порылся в бумажнике и достал бумажку в две лиры и две по одной.

— Благодарю вас, саго. Благодарю вас, — сказал Педуцци таким тоном, каким говорят члены «Карлтон-клуба», принимая «Морнинг пост» из рук соседа.

Вот это была жизнь! Хватит с него ковырять вилами мерзлый навоз в саду отеля. Жизнь раскрывалась перед ним.

— Так, значит, завтра в семь, саго, — сказал Педуцци, похлопывая американца по плечу. — Ровно в семь.

— Я скорее всего не пойду, — сказал американец и положил бумажник обратно в карман.

— Как? — спросил Педуцци. — Я принесу пескарей, синьор. Salami, все достану. Вы, я и синьора. Все трое.

— Я скорее всего не пойду, — повторил американец. — По всей вероятности — нет. Узнаете у radione в конторе отеля.

¹ Слушай, дорогой! (ит.)

² Хлеб, салामी, сыр (ит.)

Глава двенадцатая

Если это происходило близко от барьера и против вашего места на трибуне, то хорошо было видно, как Виляльта дразнит быка и вызывает его, и когда бык кидался, Виляльта, не трогаясь с места, отклонялся назад, точно дуб под ударом ветра, плотно сдвинув ноги, низко опустив мулету и отводя шпагу за спину. Потом он кричал на быка, хлопал перед ним мулетой и снова, когда бык кидался, не трогаясь с места, поднимал мулету и, отклонившись назад, описывал мулетой дугу, и каждый раз толпа ревела от восторга.

Когда наступало время для последнего удара, все происходило в одно мгновение. Разъяренный бык, стоя прямо против Виляльты, не спускал с него глаз. Виляльта одним движением выхватывал шпагу из складок мулеты и, направив ее, кричал быку: «Торо! Торо!» — и бык кидался, и Виляльта кидался, и на один миг они сливались воедино. Виляльта сливался с быком, и все было кончено. Виляльта опять стоял прямо, и красная рукоятка шпаги торчала между лопатками быка. Виляльта поднимал руку, приветствуя толпу, а бык не спускал с него глаз, ревел, захлебываясь кровью, и ноги его подгибались.

КРОСС ПО СНЕГУ

Фуникулер еще раз дернулся и остановился. Он не мог идти дальше, путь был сплошь занесен снегом. Ветер начисто подмел открытый склон горы, и поверхность снега смерзлась в оледенелый наст. Ник в багажном вагоне натер свои лыжи, сунул носки башмаков в металлические скобы и застегнул крепление. Он боком прыгнул из вагона на твердый наст, выровнял лыжи и, согнувшись и во лоча палки, понесся вниз по скату.

Впереди на белом просторе мелькал Джордж, то исчеза, то появляясь и снова исчеза из виду. Когда, внезапно попал на крутой изгиб склона, Ник стремительно полетел вниз, в его сознании не осталось ничего, кроме чудесного ощущения быстроты и полета. Он въехал на небольшой бугор, а потом снег начал убегать из-под его лыж, и он понесся вниз, вниз, быстрее, быстрее, по последнему крутому спуску. Согнувшись, почти сидя на лыжах, стараясь, чтобы центр тяжести пришелся как можно ниже, он мчался в туче снега, словно в песчаном вихре, и чувствовал, что скорость слишком велика. Но он не замедлил хода. Он не сдаст и удержится. Потом он попал на рыхлый снег, оставленный ветром в выемке горы, не удержался и, гремя лыжами, полетел кубарем, точно подстреленный кролик, потом зарылся в сугроб, ноги накрест, лыжи торчком, набрав полные уши и ноздри снега.

Джордж стоял немного ниже, ладонями сбивая снег со своей куртки.

— Высокий класс, Ник! — крикнул он. — Это чертова выемка виновата. Она и меня подвела.

— А как там, дальше? — Ник, лежа на спине, выровнял лыжи и встал.

— Нужно все время забирать влево. Спуск хороший, крутой. Внизу сделаешь христианию — там изгородь.

— Подожди минутку, съедем вместе.

— Нет, ты ступай вперед. Я люблю смотреть, как ты съезжаешь.

Ник Адамс проехал мимо Джорджа — на его широких плечах и светлых волосах осталось немного снега, — потом лыжи Ника заскользили, и он ухнул вниз, окутанный свистящей снежной пылью, взлетая и падая, вверх, вниз по волнистому склону. Он все время забирал влево, и к концу, когда он летел прямо на изгородь, плотно сжав колени и изогнув туловище, он, в туче снега, сделал крутой поворот вправо и, сбавляя ход, проехал между склоном горы и проволоочной изгородью.

Он взглянул вверх. Джордж съезжал, готовясь к повороту телемарк, выдвинув вперед согнутую в колене ногу и волоча другую; палки висели, словно тонкие ножки насекомого, и, задевая снег, взбивали комочки снежного пуха; и, наконец, почти скрытый тучами снега, скорчившись, выбросив одну ногу вперед, вытянув другую назад, отклонив туловище влево, он описал четкую красивую кривую, подчеркивая ее блестящими остриями палок.

— Я не решился на христианию, — сказал Джордж. — Слишком глубокий снег. А ты отлично съехал.

— С моей ногой нельзя делать телемарк, — сказал Ник.

Ник лыжей прижал верхнюю проволоку, и Джордж проехал через изгородь. Ник вслед за ним выехал на дорогу. Они шли, слегка согнув колени, по дороге, проложенной в сосновом бору. Здесь возили лес, и накатанный полозьями лед был в оранжевых и табачно-желтых пятнах от конской мочи. Лыжники держались полосы снега на обочине. Дорога круто спускалась к ручью и затем почти отвесно поднималась в гору. Сквозь деревья им виден был длинный облезлый дом с широкими стрехами. Издали он выглядел сплошь блекло-желтым. Вблизи оконные рамы оказались зелеными. Краска лупилась. Ник палкой растегнул зажим и сбросил лыжи.

— Лучше понесем их, — сказал он.

Он стал карабкаться по крутой дорожке с лыжами на плече, пробивая ледяную кору шипами каблука. Он слышал за спиной дыхание Джорджа и треск льда под его каблуками. Они прислонили лыжи к стене гостиницы, об-

махнули друг другу штаны, потоптались, стряхивая с башмаков снег, и вошли в дом.

Внутри было почти темно. В углу комнаты поблескивала большая изразцовая печь. Потолок был низкий. Вдоль стен стояли гладкие деревянные скамьи и темные, в винных пятнах, столы. У самой печки, покуривая трубку, потягивая мутное молодое вино, сидели два швейцарца. Лыжники сняли куртки и сели у стены по другую сторону печки. Голос, певший в соседней комнате, умолк, и в комнату вошла служанка в сипем переднике и спросила, что им подать.

— Бутылку сионского, — сказал Ник. — Согласен, Джорджи?

— Можно, — сказал Джордж. — В этом ты больше понимаешь. Я всякое вино люблю.

Служанка вышла.

— Нет ничего лучше лыж, правда? — сказал Ник. — Знаешь, это ощущение, когда начинаешь съезжать по длинному спуску.

— Да! — сказал Джордж. — Так хорошо, что и сказать нельзя.

Служанка принесла вино, и они никак не могли откупорить бутылку. Наконец Ник вытащил пробку. Служанка вышла, и они услышали, как она в соседней комнате запела по-немецки.

— Кусочки пробки попали. Ну, не беда, — сказал Ник.

— Как ты думаешь, есть у них какое-нибудь печенье?

— Сейчас спросим.

Служанка вошла, и Ник заметил, что у нее под передником обрисовывается круглый живот. «Странно, — подумал он, — как это я сразу не обратил внимания, когда она вошла».

— Что это вы поете? — спросил он.

— Это из оперы, из немецкой оперы. — Она явно не желала продолжать разговор. — У нас есть яблочная слойка, если хотите.

— Не очень-то она любезна, — сказал Джордж.

— Что ж ты хочешь? Она нас не знает и, наверно, подумала, что мы хотим посмеяться над ее пением. Она, должно быть, оттуда, где говорят по-немецки, и она стесняется, что она здесь. Да тут еще беременность, а она не замужем, вот и стесняется.

— Откуда ты знаешь, что она не замужем?

— Кольца нет. Да здесь ни одна девушка не выходит замуж, пока не пройдет через это.

Дверь открылась, и в клубах пара, топая облепленными снегом сапогами, вошла партия лесорубов. Служанка принесла им три бутылки молодого вина, и они, сняв шляпы, заняли оба стола и молча покуривали трубки, кто прислонясь к стене, кто облокотившись на стол. Время от времени, когда лошади, запряженные в деревянные сани, встряхивали головой, снаружи доносилось резкое звяканье колокольчиков.

Джордж и Ник чувствовали себя отлично. Они очень любили друг друга. Они знали, что впереди еще весь долгий обратный путь.

— Когда тебе нужно возвращаться в университет? — спросил Ник.

— Сегодня вечером, — ответил Джордж. — Мне надо поспеть на поезд десять сорок из Монтре.

— Хорошо бы ты остался, мы бы завтра махнули на Дан-дю-Лис.

— Я должен закончить свое образование, — сказал Джордж. — А что, Ник, если бы нам пошататься вдвоем? Захватить лыжи и поехать поездом, сойти, где хороший снег, и идти куда глаза глядят, останавливаться в гостиницах, пройти насквозь Оберланд, и Вале, и Энгадин, а с собой взять только сумку с инструментами да положить в рюкзак запасной свитер и пижаму, и к черту учебу и все на свете!

— И еще пройти через весь Шварцвальд. Ух, и места же!

— Это где ты рыбу ловил прошлым летом?

— Да.

Они съели слойку и допили вино.

Джордж прислонился к стене и закрыл глаза.

— Вино всегда так на меня действует, — сказал он.

— Тебе плохо? — спросил Ник.

— Нет, мне хорошо, только чудно как-то.

— Понимаю, — сказал Ник.

— Ну да, — сказал Джордж.

— Закажем еще бутылочку? — спросил Ник.

— Нет, довольно, — сказал Джордж.

Они еще посидели. Ник — облокотившись на стол, Джордж — прислонясь к стене.

— Что, Эллен ждет ребенка? — спросил Джордж, отделившись от стены и тоже ставя локти на стол.

- Да.
- Скоро?
- В конце лета.
- Ты рад?
- Да. Теперь рад.
- Вы вернетесь в Штаты?
- Очевидно.
- Тебе хочется?
- Нет.
- А Эллен?
- Тоже нет.

Джордж помолчал. Он смотрел на пустую бутылку и на пустые стаканы.

- Скверно, да? — спросил он.
- Нет, ничего, — ответил Ник.
- Так как же?
- Не знаю, — сказал Ник.
- Ты с ней будешь ходить на лыжах в Штатах?
- Не знаю.
- Там горы неважные, — сказал Джордж.
- Неважные, — сказал Ник. — Слишком скалистые.

И слишком много лесу. И потом, они очень далеко.

— Верно, — сказал Джордж, — во всяком случае, в Калифорнии так.

— Да, — сказал Ник, — повсюду так, где мне приходилось бывать.

— Верно, — сказал Джордж, — повсюду так.

Швейцарцы встали из-за стола, расплатились и вышли.

— Жаль, что мы не швейцарцы, — сказал Джордж.

— У них у всех зоб, — сказал Ник.

— Не верю я этому.

— И я не верю.

Они засмеялись.

— А что, Ник, если нам с тобой никогда больше не придется вместе ходить на лыжах? — сказал Джордж.

— Этого быть не может, — сказал Ник. — Тогда не стоит жить на свете.

— Непременно пойдем, — сказал Джордж.

— Иначе быть не может, — подтвердил Ник.

— Хорошо бы дать друг другу слово, — сказал Джордж.

Ник встал. Он наглухо застегнул свою куртку. Потом потянулся через Джорджа и взял прислоненные к стене

лыжные палки. Он крепко всадил острие палки в половицу.

— А что толку давать слово,— сказал он.

Они открыли дверь и вышли. Было очень холодно. Снег подернулся ледяной коркой. Дорога шла в гору, сосновым лесом.

Они взяли свои лыжи, прислоненные к стене. Ник надел рукавицы, Джордж уже начал подыматься в гору с лыжами на плече. Обратный путь еще можно проделать вместе.

Глава тринадцатая

Я услышал бой барабанов на улице, а потом рожки и гудки, а потом они повалили из-за угла, и все плясали. Вся улица была запружена ими. Мазра увидел его, а потом и я его увидел. Когда музыка умолкла и танцоры присели на корточки, он присел вместе со всеми, а когда музыка снова заиграла, он подпрыгнул и пошел, приплясывая, вместе с ними по улице. Понятно, он был пьян.

Спуститесь вы к нему, сказал Мазра, меня он ненавидит.

Я спустился вниз, и нагнал их, и схватил его за плечо, пока он сидел на корточках и дожидался музыки, чтобы вскочить, и сказал: идем, Луи. Побойтесь бога, вам сегодня выступать. Он не слушал меня. Он все слушал, не заиграет ли музыка.

Я сказал: не валяйте дурака, Луи. Идемте в отель.

Тут музыка снова заиграла, и он подпрыгнул, увернулся от меня и пошел плясать. Я схватил его за руку, а он вырвался и сказал: да оставь ты меня в покое. Тоже папаша нашелся.

Я вернулся в отель, а Мазра стоял на балконе и смотрел, веду я его или нет. Увидев меня, он вошел в комнату и спустился вниз, взбешенный.

В сущности, сказал я, он просто неотесанный мексиканский дикарь.

Да, сказал Мазра, а кто будет убивать его быков, после того как он сядет на рог?

Мы, надо полагать, сказал я.

Да, мы, сказал Мазра. Мы будем убивать быков за них, за дикарей, и за пьяниц, и за танцоров. Да. Мы будем убивать их. Конечно, мы будем убивать их. Да. Да. Да.

МОЙ СТАРИК

Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что моему старику сама природа предназначила быть толстяком, одним из тех маленьких, кругленьких толстячков, какие встречаются повсюду, но он так и не растолстел, разве только под конец, а это было уже не страшно, потому что тогда он участвовал только в скачках с препятствиями, и ему можно было прибавлять в весе. Помню, как он натягивал прорезиненную куртку поверх двух фуфаяк, а сверху еще толстый свитер, и утром заставлял меня бегать вместе с ним по жару. Бывало, он приедет из Турина часам к четырем утра и отправляется в кебе на ипподром, берет из конюшни Раццо какого-нибудь овра на проездку, а потом, когда все кругом еще покрыто росой и солнце только что всходит, я помогаю ему стащить сапоги, он надевает спортивные туфли и все эти свитеры, и мы принимаемся за дело.

— Двигайся, малыш,— скажет он, бывало, разминая ноги перед дверями жокейской.— Пошли.

И тут мы с ним пускаемся рысцой по скаковой дорожке, он впереди, обежим раза два, а потом выбегаем за ворота на одну из тех дорог, что идут от Сан-Сиро и по обе стороны обсажены деревьями. На дороге я всегда обгонял его, я умел бегать в то время; оглянись, а он трусит легкой рысцой чуть позади, немного погодя оглянись еще раз, а он уже начинает потеть. Весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину, а когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет: «Здорово потею?» Когда мой старик ухмылялся, нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо, к горам, потом мой старик окликнет меня: «Эй,

Джо!» — оглянешься, а он уже сидит под деревом, обмотав шею полотенцем, которым был подпоясан.

Повертываешь обратно и садишься рядом с ним, а он достает из кармана скакалку и начинает прыгать на самом припеке, и пот градом льется у него с лица, а он все скачет в белой пыли, и скакалка хлопает, хлопает, — хлоп, хлоп, хлоп, — а солнце печет все жарче, а он старается все пуще, скачет взад и вперед по дороге. Да, стоило посмотреть, как мой старик скачет через веревочку. Он то крутил ее быстро-быстро, то ударял о землю медленно и на разные лады. Да, надо было видеть, как глазели на нас итальяшки, шагая мимо по дороге в город рядом с крупными белыми волами, тащившими повозку. Видно было, что они принимают моего старика за полоумного. И тут он начинал так крутить веревку, что они останавливались как вкопанные и смотрели на него, а потом понукали волов и, ткнув их бодилом, снова трогались в путь.

Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал — хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть, и заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу, потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву.

— Чертова эта работа — сгонять жир, Джо, — скажет он, бывало, и, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вдохов, — теперь не то, что в молодости. — Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к конюшням. Таким манером он сгонял вес. Это не давало ему покоя. Другие жокеи одной ездой могут согнать сколько угодно жиру. Жокей теряет за каждую поездку не меньше кило, а мой старик вроде как пересох и не мог сгонять вес без всей этой тренировки.

Помню, как-то раз в Сан-Сиро маленький итальяшка Реголи, жокей конюшни Бузони, шел через загон в бар выпить чего-нибудь, похлопывая по сапогам хлыстиком; он только что взвесился, и мой старик тоже только что взвесился и вышел с седлом под мышкой, весь красный, замученный, и остановился, глядя на Реголи, который стоял перед верандой бара, совсем мальчишка с виду и ни капельки не запаренный, и я сказал:

— Ты что, папа? — Я было подумал, не толкнул ли его Реголи, а он только взглянул на Реголи и сказал:

— А, да ну его к черту! — и пошел в раздевалку.

Что ж, может, ничего бы и не случилось, если б мы остались в Милане и работали в Милане и Турине, потому что если бывают где-нибудь легкие скачки, так это именно там.

— Пианола, Джо, да и только, — говорил мой старик, слезая с лошади у конюшни, после заезда, который этим итальяшкам казался верхом трудности. Я как-то спросил его об этом. — Дорожка здесь такая, что сама бежит. Брать препятствия опасно только при быстрой езде. Ну, а тут какая уж быстрота, да и препятствия пустяковые. А впрочем, главное всегда быстрота, а не препятствия.

Такого замечательного ипподрома, как в Сан-Сиро, я нигде больше не видел, но мой старик ворчал, что это собачья жизнь. Таскаться взад и вперед из Мирафьоре в Сан-Сиро, работать чуть ли не каждый день, да еще через день ездить по железной дороге.

Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в них есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке к столбу. Словно танцуют, и все такие подобранные, а жокей натягивает поводья изо всех сил, а может быть, и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к старту, я просто сам не свой. Особенно в Сан-Сиро — такой большой зеленый круг, и горы вдаль, толстый итальянец-стартер с длинным хлыстом, жокеи сдерживают лошадей, и вдруг ленточка разрывается, звонок звонит, и все они разом срываются с места, а потом начинают растягиваться в одну линию. Да вы, верно, знаете, как оно бывает. Когда стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, что все они тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет, и вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Мне всегда казалось, что с этим ничто не сравнится.

А мой старик сказал как-то в уборной, когда переодевался после езды:

— Это не лошади, Джо. В Париже всех этих одров отправили бы на живодерню. — Это было в тот день, когда он взял Коммерческую премию на Ланторне, с такой силой послав ее на последних ста метрах, что она вылетела вперед, как пробка из бутылки.

Сразу после Коммерческой премии мы смотали удочки и убрались из Италии. Мой старик, Голбрук и толстый

итальянец в соломенной шляпе, который то и дело утирал лицо носовым платком, поссорились из-за чего-то за столиком в Galleria¹. Говорили все время по-французски, и оба они приставали с чем-то к моему старику. Под конец он уже ничего не отвечал, а только глядел на Голбрука, а они все приставали к нему, говорили то один, то другой, и толстяк все перебивал Голбрука.

— Поди купи мне «Спортсмена», Джо,— сказал мой старик и протянул мне два сольди, не сводя глаз с Голбрука.

Я вышел из Galleria на площадь и перед «Ла Скала» купил газету, а потом вернулся и стал немного поодаль, чтобы не мешать, а мой старик сидит, откинувшись на спинку стула, смотрит в чашку с кофе и играет ложкой, а Голбрук с толстым итальянцем стоят рядом, и толстяк, качая головой, утирается платком. Подхожу ближе, а старик держит себя так, словно их тут и не бывало, и говорит:

— Хочешь мороженого, Джо?

Голбрук посмотрел на моего старика сверху вниз и сказал с расстановкой:

— Ах ты сукин сын! — и пошел прочь вместе с толстяком, пробираясь между столиками.

Мой старик сидел и через силу улыбался мне, а сам весь бледный — видно было, что ему здорово не по себе, и я порядком струхнул и тоже чувствовал себя неважно, я видел, что что-то случилось, и не понимал, как это возможно, чтобы кто-нибудь обозвал моего старика сукиным сыном и это сошло бы ему с рук. Мой старик развернул «Спортсмена» и стал просматривать отчеты о скачках, потом сказал:

— Мало ли что приходится терпеть на этом свете, Джо.

А через три дня мы навсегда уехали из Милана в Париж туринским поездом, распродав с аукциона (перед конюшней Тернера) все, что не поместилось в сундук и чемодан.

Мы приехали в Париж рано утром, поезд подошел к длинному грязному вокзалу — Лионскому вокзалу, как сказал мне мой старик. По сравнению с Миланом Париж очень большой город. В Милане кажется, что все куда-нибудь идут, и трамваи идут известно куда, и нет ника-

¹ Пассаж в Милане.

кой путаницы, а в Париже — какой-то сплошной клубок, и никак его не распутаешь.

Под конец мне там даже стало нравиться, хоть и не все, да и скачки там самые лучшие в мире. Как будто на них все и держится, и в одном только можно быть уверенным: что каждый день автобусы будут идти ко всем ипподромам и проедут через всю эту путаницу до самого ипподрома. Я так и не узнал Парижа как следует, потому что приезжал туда с моим стариком из Мезон-Лафит раза два в неделю, и он всегда вместе со всеми нашими из Мезон сидел в кафе де Пари с той стороны, что ближе к Опере, и, по-моему, это самое бойкое место в городе. А ведь чудно, что в таком большом городе, как Париж, нет своей Galleria, не правда ли?

Ну, мы поселились у одной миссис Мейерс, которая держит пансион в Мезон-Лафит; там живут почти все, кроме той компании, что в Шантильи. Мезон замечательное место, я никогда еще в таком не жил. Самый город не так хорош, зато есть озеро и замечательный лес, где мы, мальчишки, бывало, пропадали целыми днями. Мой старик сделал мне рогатку, и мы настреляли из нее пропасть птиц, а всего лучше была сорока. Маленький Дик Аткинсон подстрелил из этой рогатки кролика, мы положили его под дерево и уселись кругом, и Дик угостил нас папиросами, как вдруг кролик вскочил и удрал в кусты, и мы погнались за ним, но так и не догнали. Да, весело там жилось! Миссис Мейерс давала мне утром позавтракать, и я уходил на целый день. Я скоро выучился говорить по-французски. Это не очень трудный язык.

Как только мы приехали в Мезон-Лафит, мой старик написал в Милан, чтобы ему выслали жокейское свидетельство, и очень волновался, пока не получил его. В Мезон он всегда сидел в кафе де Пари со всей компанией; многие из тех, кого он знал еще до войны, когда работал в Париже, жили в Мезон-Лафит, и у всех хватало времени сидеть в кафе, потому что вся работа в скаковых конюшнях, то есть работа жокеев, кончается к девяти часам утра. Первую партию лошадей выводят на проездку в половине шестого, а вторую — в восемь часов утра. Значит, вставать надо рано и ложиться тоже рано. Если жокей у кого-нибудь работает, ему нельзя много пить, потому что тренер за ним следит, если он мальчишка, а если не мальчишка, то он сам за собой следит. Так вот, если жокей не работает, он по большей части сидит в кафе де Пари

со всей компанией; возьмут стакан вермута с содовой и сидят часа два-три, разговаривают, рассказывают анекдоты, играют на бильярде, и это у них вроде клуба или миланской Galleria. Только это не совсем похоже на Galleria, потому что там народ ходит взад и вперед, а здесь все сидят за столиками.

Ну так вот, мой старик в конце концов получил свои права. Прислали по почте без всяких возражений, и он ездил раза два. В Амьен, в провинцию, все в таком роде, а постоянной работы достать не мог. Все ему были приятели, и как ни придешь утром в кафе, всегда кто-нибудь с ним выпивает, потому что мой старик был не какой-нибудь скряга, вроде тех жокеев, что заработали свой первый доллар на международной выставке в Сент-Луисе в девятьсот четвертом году. Так говаривал мой старик, когда хотел поддразнить Джорджа Бернса. А вот лошадей моему старику никто почему-то не давал.

Мы каждый день ездили на трамвае из Мезон-Лафит куда-нибудь на скачки, и это было самое интересное. Я был рад, когда после летнего сезона лошади вернулись из Довилля. Хотя теперь уже нельзя было больше бродить по лесам, потому что мы с утра уезжали в Энгиен, Трамбле или Сен-Клу и смотрели на скачки с жокейской трибуны. Само собой, я много узнал о скачках в этой компании, а всего лучше было то, что мы ездили каждый день.

Помню одну поездку в Сен-Клу. Там были большие скачки на приз в двести тысяч франков с семью заездами, и фаворитом был Ксар. Я прошел вместе с моим стариком в загон посмотреть лошадей; таких лошадей вы, верно, не видывали. Этот Ксар был крупный, соловый жеребец, весь словно одно движение. Я таких еще не видывал. Его водили по загону, и когда он прошел мимо нас, опустив голову, у меня засосало под ложечкой, до того он был хорош. Трудно даже представить себе такую замечательную, статную, сильную лошадь. А Ксар шел по загону, неторопливо и осторожно переставляя ноги, и двигался так легко и точно, как будто сам знал, что ему делать, и не дергался, не становился на дыбы, не косил дико глазами, как лошади на аукционе, когда их подпоют чем-нибудь. Толпа была такая густая, что я его почти не видел — только ноги мелькали да что-то желтое, и мой старик стал проталкиваться сквозь толпу, а я за ним, к жокейской уборной среди деревьев, и там тоже толпился

народ; по человек в котелке, стоявший у двери, кивнул моему старику, и мы прошли внутрь; там все сидели и одевались, натягивали рубашки через голову, надевали сапоги, и от всего этого несло потом, мазью и духотой, а снаружи толпа заглядывала в окна.

Мой старик подошел к Джорджу Гарднеру, который надевал брюки, сел рядом с ним и говорит: «Ну, что скажешь, Джордж?» — самым обыкновенным голосом, потому что нечего было и выведывать: Джордж сразу скажет, если знает.

— Он не возьмет, — говорит Джордж очень тихо, палясь и застегивая штанину внизу на пуговицу.

— А кто же? — говорит мой старик, нагибаясь к нему поближе, чтобы никто не слышал.

— Керкоббин, — говорит Джордж, — и если он возьмет, оставь парочку билетов на мою долю.

Мой старик сказал что-то Джорджу обыкновенным голосом, и Джордж ответил: «Никогда не держи пари, вот что я тебе скажу», — будто бы в шутку, и мы вышли и пробрались сквозь толпу к стофранковой кассе. Но я понял, что дело серьезное, потому что Джордж едет на Ксар. По пути он купил желтую табличку ставок, и там было сказано, что за Ксара дают только 5 к 10, за Сефизидота — 3 к 1, в пятом же списке стоял этот Керкоббин — 8 к 1. Мой старик поставил на Керкоббина пять тысяч в ординаре и тысячу в двойном, и мы обошли трибуну, чтобы подняться по лестнице и отыскать себе место, откуда скачки были бы лучше видны.

На трибуне было тесно, и сначала вышел человек в длинном сюртуке, сером цилиндре и со свернутым хлыстом, а за ним показались лошади с жокеями в седле, одна за другой, и конюхи справа и слева вели их под уздцы. Первым шел этот большой соловый Ксар. Сразу он не казался таким большим, а только потом, когда разглядишь, какие у него длинные ноги и какие движения и все стати. Да, я таких лошадей никогда в жизни не видывал. На нем ехал Джордж Гарднер, и все они двигались медленно за стариком в сером цилиндре, который выступал, словно шталмейстер в цирке. За Ксаром, который двигался плавно и отливал золотом на солнце, шел статный вороной конь с красивой головой, на нем ехал Томми Арчибалд; а за вороным вытянулись в ленту еще пять лошадей, и все они проходили медленным шагом мимо трибуны к весам. Мой старик сказал, что вороной и есть Керкоб-

бин, и я стал разглядывать его, и он был ничего себе, славный конек, но никакого сравнения с Ксаром.

Все захлопали Ксару, когда он проходил мимо, да и стоило того: замечательная была лошадь. Все шествие прошло по дальней стороне, за кругом, а потом обратно, к нашему концу ипподрома, и распорядитель приказал конюхам отпустить лошадей одну за другой, чтобы они прошли галопом мимо трибуны к старту и всем можно было бы их разглядеть хорошенько. Не успели они подойти к старту, как зазвонил звонок, и вот они уже далеко по ту сторону круга, скачут, сбившись все в кучу, и уже огибают первый поворот, будто игрушечные лошадки. Я смотрел на них в бинокль, и Ксар здорово отстал, а вела одна из гнedyх. Они показались из-за поворота и пронеслись мимо, и Ксар порядком отстал, когда они скакали мимо нас, а этот Керкоббин был впереди и шел ровно. Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя, и приходится смотреть им вслед, а они все уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше, и на повороте собьются все в кучу, а потом выходят на прямую, и до того хочется выругаться, просто мочи нет. В конце концов они обогнули последний поворот и вышли на прямую, и этот Керкоббин был намного впереди. Все были озадачены и как-то растерянно повторяли «Ксар», а лошади подходили все ближе и ближе, и вдруг что-то вынеслось вперед и мелькнуло в моем бинокле, словно желтая молния с конской головой, и все завопили «Ксар», словно полоумные. Ксар несясь с такой быстротой, какой я ни у одной лошади не видел, и нагнал Керкоббина, который шел не быстрее всякой другой лошади, когда жокей нахлестывает ее изo всех сил, и около секунды оба они шли голова в голову, хотя казалось, что Ксар идет чуть ли не вдвое быстрее, такие громадные он делал скачки и так вытянул шею, но столб они прошли голова в голову, и когда вывесили номера, то первая была двойка, а это значило, что взял Керкоббин.

Мне было как-то не по себе, я весь дрожал, а потом нас стиснули, когда толпа повалила впиз по лестнице к доске, где должны были вывесить, сколько выдают на Керкоббина. Честное слово, глядя на скачки, я совсем забыл, какую уйму денег отец поставил на Керкоббина. До того мне хотелось, чтобы пришел Ксар. Но теперь, когда все кончилось, приятно было знать, что мы выиграли.

— Правда, скачки были замечательные, папа? — сказал я ему.

Он посмотрел на меня как-то странно, сдвинув котелок на затылок.

— Джордж Гарднер замечательный наездник, это верно,— сказал он.— Нужно быть мастером, чтоб не дать Ксару прийти первым.

Конечно, я все время знал, что дело неладно. Но от того, что мой старик так прямо и сказал это, все удовольствие для меня пропало, и даже, когда вывесили номера на доске и мы увидели, что за Керкоббина выдают 67.50, я все равно не почувствовал никакого удовольствия. Кругом все говорили:

— Бедняга Ксар! Бедняга Ксар!

А я думал:

«Хорошо, если бы я был жокей и ездил бы на нем вместо этого сукина сына».

Как-то чудно было думать, что Джордж Гарднер — сукин сын, потому что он мне всегда нравился, и, кроме того, он же нам назвал победителя, но все равно, по-моему, он и есть сукин сын.

После этих скачек у моего старика завелись большие деньги, и он стал чаще ездить в Париж. Если скачки бывали в Трамбле, то наши высаживали его в городе на обратном пути в Мезон-Лафит, и мы с ним сидели перед кафе де ла Пэ и смотрели на прохожих. Сидеть там очень весело. Публика идет мимо целым потоком, и к вам подходят разные люди и предлагают купить то одно, то другое, и я очень любил сидеть там с моим стариком. Вот тогда мы больше всего веселились. Там были продавцы игрушечных кроликов, которые прыгают, когда нажмешь баллон, они подходили к нам, и отец шутил с ними. Он говорил по-французски вроде как по-английски, и все эти люди его узнавали,— жокея всегда сразу видно,— и потом мы всегда сидели за одним и тем же столиком, и они уже привыкли к нам. Там были мальчишки, которые продавали брачные газеты, и девушки, которые продавали резиновые яйца — если пожмешь их, то выскочит петушок,— и был еще один старикашка, похожий на червяка, который ходил и показывал открытки с видами Парижа, и, конечно, никто их не покупал, а он подходил еще раз и показывал, что у него внизу пачки, и там были сплошь неприличные открытки, и многие рылись в них и покупали.

Да, много бывало там занятных людей. Попозже вечером девушки искали, не сведет ли их кто-нибудь поужинать, и заговаривали с моим стариком, а он отшучи-

вался по-французски, и они гладили меня по голове и проходили дальше. Как-то вечером за соседний столик села американка с маленькой дочкой, обе они ели мороженое, а я все глядел на девочку, она была такая хорошенькая, и я улыбнулся ей, и она тоже мне улыбнулась, но этим все и кончилось, потому что больше я их так и не видел, хотя каждый день ждал, не придут ли они, и не знал, как с ней заговорить и отпустят ли ее со мной в Отейль или в Трамбле, если мы познакомимся. Все равно из этого ничего не вышло бы, потому что, как я теперь припоминаю, мне казалось, что всего лучше было бы заговорить с ней так: «Может быть, вы разрешите мне указать вам победителя на сегодняшних скачках в Энгие-не», — и она, верно, сочла бы меня за «жучка» и не поверила бы, что я только хочу оказать ей услугу.

Мы сидели, бывало, в кафе де Пари, и официант был к нам очень внимателен, потому что мой старик пил виски, и это стоило пять франков, и полагалось давать хорошие чаевые, после того как подсчитают блюдечки. Я никогда раньше не видел, чтобы мой старик столько пил, зато теперь он совсем не ездил, да еще уверял, что от виски худеет. Но я-то видел, что он толстеет. Он отбился от своей прежней компании из Мезон-Лафит, и ему как будто нравилось вот так сидеть на бульваре вместе со мной. Но он каждый день играл на скачках. Если он проигрывал, то после скачек бывал какой-то скучный, пока не усядется за столик и не выпьет первую рюмочку, а после того сразу развеселится.

Он всегда читал «Пари-спорт»; выглядит, бывало, из-за газеты и спросит: «Где твоя милая, Джо?» — чтобы поддразнить меня, потому что я рассказывал ему про девочку за соседним столиком. А я краснел, но мне было приятно, что меня ею дразнят. Мне это очень нравилось. «Гляди в оба, Джо, — говорил он, — она еще вернется».

Он расспрашивал меня о том, о сем и иной раз смеялся моим ответам. А потом сам начинал рассказывать. Про скачки в Египте и в Сен-Морице по льду, когда еще жива была моя мать, и во время войны, когда на юге Франции устраивались настоящие скачки без призов, без пари, без публики, просто так, для того только, чтобы не перевелась порода. Настоящие скачки, когда жокеи загоняли лошадей чуть не до смерти. Я мог слушать моего старика целыми часами, особенно после того, как он выпьет, бывало, рюмочку-другую. Он рассказывал мне про то, как

еще мальчишкой в Кентукки охотился на енота, и про старые времена в Штатах, еще до того, как все там пошло прахом. И говаривал, бывало:

— Джо, когда мы с тобой загребем хороший куш, ты вернешься в Штаты и будешь учиться.

— Зачем же я поеду туда учиться, когда там все пошло прахом? — спрашивал я.

— Это совсем другое дело, — говорил он и, подозвав официанта, платил за стопку блюдецек, и мы брали такси до вокзала Сен-Лазар и садились на поезд в Мезон-Лафит.

Однажды в Отейле на аукционе мой старик купил победителя за тридцать тысяч франков. Пришлось немного надбавить, но в конце концов лошадь все-таки досталась моему старику, и через неделю он получил свидетельство и цвета. Ну и гордился же я, что мой старик сделался собственником. Он договорился насчет денника с Чарльзом Дрэйком, бросил ездить в Париж и опять начал тренироваться и сгонять вес, а конюхов было только двое — он да я. Нашего жеребчика звали Гилфорд, он был ирландской породы и чудесно брал препятствия. Мой старик рассчитал, что если самому тренировать его и самому ездить, то затрата окупится. Я всем этим гордился и считал, что наш Гилфорд несколько не хуже Ксара. Это был славный гнедой жеребец, очень резвый на ровной дорожке, если его расшевелить хорошенько, и к тому же на редкость красивый.

Ну и любил же я нашего Гилфорда! В первый же раз, как мой старик ехал на нем, он пришел к финишу третьим в скачке с препятствиями на две тысячи пятьсот метров, и когда мой старик слез с седла, сияющий и весь в поту, и пошел взвешиваться, я так им гордился, как будто это была первая скачка, в которой он занял место. Понимаете ли, когда человек давно не ездил, трудно поверить, что он когда-то был жокеем. Теперь все это было совсем по-другому, потому что в Милане мой старик был равнодушен даже к большим скачкам и если выигрывал, несколько не волновался, а теперь было так, что я совсем не спал в ночь перед скачками и знал, что мой старик тоже волнуется, хоть и не показывает этого. Совсем другое дело скакать на своей лошади.

Второй раз Гилфорд с моим стариком стартовал в одно дождливое воскресенье в Отейле, в скачках с препятствиями на четыре тысячи пятьсот метров на приз Марата. Как только он выехал на старт, я забрался на трибуну

с новым биноклем, который мой старик для того и купил мне, чтоб я на них смотрел. Старт был далеко, на дальнем конце ипподрома, и у барьера сначала что-то не ладилось. Какая-то лошадь в темных шорах все нервничала, становилась на дыбы и раз даже наскочила на барьер, но мне было видно, что мой старик в нашем черном камзоле с белым крестом и в черном картузе сидит на Гилфорде и оглаживает его. Потом они поскакали и скрылись из виду за деревьями, и звонок звонил что есть мочи, и окна кассы захлопнулись со стуком. Ох, я до того волновался, просто боялся на них смотреть, а все-таки навел бинокль на то место, где они должны были показаться из-за деревьев, и они показались; наш черный камзол шел третьим, и все они перелетели через ров как птицы. Тут они опять скрылись из виду, потом показались и поскакали вниз по косягу, и шли ровно, легко и красиво, плавно взяли изгородь все разом, потом стали удаляться от нас сплошной массой. Казалось, можно было прямо шагать по их спинам, так они слились в одно целое и так ровно шли. Потом, распластавшись, они перенеслись через двойную ирландскую банкетку, и кто-то упал. Мне не видно было, кто упал, но через минуту лошадь поднялась и поскакала галопом в сторону, а остальные, все еще сгорбившись, обогнули длинный левый поворот и вышли на прямую. Они перескочили каменную стенку и, скучившись, поскакали по треку ко рву с водой напротив трибун. Я видел, как они подходят, и окликнул моего старика, когда он проскакал мимо; он был впереди почти на целый корпус и немножко в стороне, легкий, как обезьяна, и все они скакали ко рву с водой. Все разом взяли высокую изгородь у рва, и вдруг послышался треск, и все смешалось, и две лошади выскочили оттуда боком и поскакали дальше, а три остались лежать. Моего старика нигде не было видно. Одна лошадь поднялась на колени, и жокей ухватился за повод, сел и отправился получать свои деньги за место. Другая лошадь поднялась сама и пошла галопом, мотая головой, с повисшими поводьями, а жокей, пошатываясь, отошел с трека к ограде. И тут Гилфорд откатился в сторону от моего старика, встал и пошел прочь на трех ногах, волоча правое копыто, а мой старик лежал как пласт на траве, лицом кверху, и голова у него была вся в крови с одного бока. Я сбежал с трибуны вниз и протолкался сквозь толпу к самой ограде, тут полицейский схватил меня и не выпускал, и двое рослых санитаров с носилка-

ми пошли за моим стариком, а далеко, на другой стороне ипподрома, я увидел, как три лошади, вытянувшись в ленточку, показались из-за деревьев и взяли препятствие.

Мой старик был уже мертв, когда его принесли, и в то время, как доктор слушал его сердце какой-то штукой, вставленной в уши, я услышал выстрел на треке и понял, что это убили Гилфорда. Когда носилки внесли в приемный покой, я лег рядом с моим стариком, уцепился за носилки и плакал, плакал, а он был такой бледный и осунувшийся, такой мертвый, и все-таки я не мог не думать, что раз уж мой старик умер, незачем было пристреливать Гилфорда. Копыто у него еще зажило бы. Не знаю, право. Я так любил моего старика.

Потом вошли какие-то двое, и один из них похлопал меня по спине, подошел к моему старику и посмотрел на него, потом стянул простыню с койки и прикрыл его; а другой говорил в телефон по-французски, чтобы прислали санитарную карету и отвезли его в Мезон. А я все не мог перестать и плакал навзрыд, а тут вошел Джордж Гарднер, сел на пол рядом со мной, обнял меня и сказал:

— Ну, будет, Джо, вставай, пойдем на улицу дожидаться санитарной кареты.

Мы с Джорджем вышли за ворота, и я старался больше не плакать. Джордж вытер мне лицо своим платком, и мы отошли немножко в сторону, пока толпа выходила из ворот, и какие-то двое остановились рядом с нами, пока мы ждали, чтобы все вышли из ворот, и один из них сказал, пересчитывая пачку билетов:

— Ну! Доигрался-таки Бэтлер в конце концов.

Другой сказал:

— Ну и черт с ним, с мошенником. Того и надо было ждать, сам напрашивался.

— Конечно, сам напрашивался,— сказал первый и разорвал пачку билетов пополам.

Джордж Гарднер взглянул на меня, слышал я или нет; само собой, я все слышал, и он сказал:

— Не слушай этих дураков, Джо. Твой отец был молодчина.

Не знаю, право. Похоже, что стоит им только взяться, и от человека ничего не останется.

Глава четырнадцатая

Маэра лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок, закрыв голову руками. Под ним было тепло и липко от крови. Он всякий раз чувствовал приближение рогов. Иногда бык только толкал его головой. Раз он почувствовал, как рог прошел сквозь его тело и воткнулся в песок. Кто-то схватил быка за хвост. Все кричали на быка и махали плащами перед его мордой. Потом бык исчез. Какие-то люди подняли Маэру и бегом пронесли его по арене, потом через ворота, кругом по проходу под трибунами, в лазарет. Маэру положили на койку, и кто-то пошел за доктором. Остальные столпились возле койки. Доктор прибежал прямо из корраля, где он зашивал животы лошадям пикадоров. Ему пришлось сперва вымыть руки. Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все кругом становится все больше и больше, а потом все меньше и меньше. Потом опять больше, больше и больше и снова меньше и меньше. Потом все побежало мимо, быстрее и быстрее,— как в кино, когда ускоряют фильм. Потом он умер.

Поезд исчез за поворотом, за холмом, покрытым обгорелым лесом. Ник сел на свой парусиновый мешок с припасами и постелью, который ему выбросили из багажного вагона. Города не было, ничего не было, кроме рельсов и обгорелой земли. От тринадцати салунов на единственной улице Сеней не осталось и следа. Торчал из земли голый фундамент «Гранд-отеля». Камень от огня потрескался и раскрошился. Вот и все, что осталось от города Сеней. Даже верхний слой земли обратился в пепел.

Ник оглядел обгорелый склон, по которому раньше были разбросаны дома, затем пошел вдоль путей к мосту через реку. Река была на месте. Она бурлила вокруг деревянных свай. Ник посмотрел вниз, в прозрачную воду, темную от коричневой гальки, устилавшей дно, и увидел форелей, которые, подрагивая плавниками, неподвижно висели в потоке. Пока он смотрел, они вдруг изменили положение, быстро вильнув под углом, и снова застыли в несущейся воде. Ник долго смотрел на них.

Он смотрел, как они держатся против течения, множество форелей в глубокой, быстро бегущей воде, слегка искаженных, если смотреть на них сверху, сквозь стеклянную выпуклую поверхность бочага, в котором вода вздувалась от напора на сваи моста. Самые крупные форели держались на дне. Сперва Ник их не заметил. Потом он вдруг увидел их на дне бочага, — крупных форелей, старавшихся удержаться против течения на песчаном дне в клубках песка и гравия, взметенных потоком.

Ник смотрел в бочаг с моста. День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно уже Нику не случалось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлекло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напрыглась и снова повисла в воде, головой против течения.

Когда форель шевельнулась, сердце у Ника замерло. Прежнее ощущение ожило в нем.

Он повернулся и взглянул вниз по течению. Река уходила вдаль, выстланная по дну галькой, с отмелями, валунами и глубокой заводью в том месте, где река огибала высокий мыс.

Ник пошел обратно по шпалам, туда, где на золе около рельсов лежал его мешок. Ник был счастлив. Он расправил ремни, туго их затянул, взвалил мешок на спину, продел руки в боковые петли и постарался ослабить тяжесть на плечах, налегая лбом на широкий головной ремень. Все-таки мешок был очень тяжел. Слишком тяжел. В руках Ник держал кожаный чехол с удочками, и, наклоняясь вперед, чтобы переместить тяжесть повыше на плечи, он пошел по дороге вдоль полотна, оставляя позади, под жарким солнцем, городское пожарище, потом свернул в сторону между двух высоких обгорелых холмов и выбрался на дорогу, которая вела прочь от полотна. Он шел по дороге, чувствуя боль в спине от тяжелого мешка. Дорога все время шла в гору. Подниматься в гору было трудно. Все мускулы у Ника болели, и было жарко, но Ник был счастлив. Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади.

За это время — с той минуты, как он сошел с поезда и ему выбросили мешок из багажного вагона, — Ник увидел, что многое изменилось. Сеней сгорел, и склоны кругом обгорели и стали совсем другими, но это ничего. Все не могло же сгореть. Ник был в этом уверен. Он брел по дороге, весь в поту под жарким солнцем, поднимаясь в гору, чтобы пересечь цепь холмов, отделявшую полотно железной дороги от лесистой равнины.

Дорога шла то вверх, то вниз, но в общем все поднималась. Ник шел все дальше в гору. Наконец дорога, неко-

торое время тянувшаяся вдоль обгорелого склона, вывела его на вершину холма. Ник прислонился к пню и сбросил плечевые ремни. Прямо перед ним, сколько он мог охватить взглядом, раскинулась равнина. Следы пожара кончались слева, у подножья холмов. Среди равнины были разбросаны островки темного соснового леса. Вдали, налево, виднелась река. Ник проследил ее взглядом и уловил блеск воды на солнце.

Равнина раскинулась до самого горизонта, где далекие голубые холмы отмечали границу возвышенности Верхнего озера. Далекие и неясные, они были едва видны сквозь дрожащий от зноя воздух над залитой солнцем равниной. Если пристально глядеть на них, они пропадали. Но если взглядывать на них вскользь, они были там, далекие холмы Верхнего озера.

Ник сел на землю, прислонился к обгорелому пню и закурил. Мешок лежал на пне, с ремнями наготове, на нем еще оставалась вмятина от спины Ника. Ник сидел, курил и глядел по сторонам. Ему незачем было доставать карту. По положению реки он и так мог сказать, где находится.

Пока Ник курил, вытянув ноги, он заметил, что с земли на его шерстяной носок взобрался кузнечик. Кузнечик был черный. Когда Ник шел по дороге в гору, у него из-под ног все время выскакивали кузнечики. Все они были черные. Это были не те крупные кузнечики, у которых, когда они взлетают, под черными надкрыльями с треском раскрываются желтые с черным или красные с черным крылышки. Это были самые обыкновенные кузнечики, но только черные, как сажка. Ник обратил на них внимание, еще когда шел по дороге, но тогда он над этим не задумался. Теперь, глядя, как черный кузнечик пощипывает ворс на его носке, он сообразил, что они стали черными, оттого что жили на обугленной земле. Пожар, должно быть, случился в прошлом году, но кузнечики и сейчас были черные. Любопытно бы знать, сколько еще времени они останутся черными?

Он осторожно протянул руку и поймал кузнечика за крылья. Ник перевернул его — кузнечик при этом все время перебирал лапками в воздухе — и стал рассматривать его кольчатое брюшко. Да, и брюшко тоже было черное, переливчатое, а голова и спина тусклые.

— Ну, ступай, кузнечик,— сказал Ник; в первый раз он заговорил громко.— Лети себе.

Он подбросил кузнечика в воздух и проводил его взглядом, когда тот полетел через дорогу к обугленному пню.

Ник поднялся на ноги. Он прислонился спиной к своему мешку, лежащему на пне, и продел руки в ременные петли. Он стоял на вершине холма с мешком на спине и глядел через равнину вдаль, на реку, потом свернул с дороги и стал спускаться прямоком по склону холма. По обгорелой земле было легко идти. Шагах в двухстах от склона следы пожара прекращались. Дальше начинался высокий, выше щиколотки, мягкий дрок и сосны небольшими островками; волнистая равнина с песчаной почвой, с частыми подъемами и спусками, зеленая и полная жизни.

Ник ориентировался по солнцу. Он знал на реке хорошее местечко, и теперь, чтобы выйти туда, пересекал равнину, поднимаясь на невысокие склоны, за которыми открывались новые склоны, а иногда с возвышения вдруг обнаруживался справа или слева большой остров густого соснового леса. Он нарвал похожего на вереск дрока и подсунул себе под ремни. Ремни растирали дрок, и Ник на ходу все время чувствовал его запах.

Он устал, и было очень жарко идти по неровной, лишпной тени равнине. Он знал, что в любое время может выйти к реке, стоит только свернуть налево. До реки, наверное, не больше мили. Но он продолжал идти на север, чтобы к вечеру выйти к реке как можно выше по течению.

Уже давно Ник видел перед собой большой остров соснового леса, выступавший над волнистой равниной. Ник спустился в лощинку, а затем, выйдя на гребень, повернул и пошел к лесу.

В лесу не было кустарника. Стволы поднимались одни прямо вверх, другие немного наклонно, но все были прямые и темные, и внизу веток на них не было. Ветки начинались высоко вверху. Местами они переплетались, отбрасывая наземь густую тень. По краю леса шла полоса голой земли. Земля была темная и мягкая под ногами. Ее покрывал ковер из сосновых игл, выдвинувшийся здесь за пределы леса. Деревья выросли, и ветки передвинулись выше, и те места, на которые раньше падала от них тень, теперь оказались открытыми. На небольшом расстоянии от деревьев эта лесная почва сразу кончалась, и дальше шли заросли дрока.

Ник сбросил мешок и прилег в тени. Он лежал на спине и глядел вверх сквозь ветки. Он вытянулся на земле, и плечи, спина и поясница у него отдыхали. Приятно было чувствовать спиной землю. Он поглядел на небо между ветвями, потом закрыл глаза. Потом снова открыл и поглядел вверх. Высоко в ветвях был ветер. Он опять закрыл глаза и заснул.

Ник проснулся с ломотой и болью в теле. Солнце уже почти село. Мешок показался ему тяжелым, и ремни резали плечи. Он нагнулся с мешком на спине, поднял чехол с удочками и пошел через заросли дрока по направлению к реке. Он знал, что до реки не больше мили.

По склону, усеянному пнями, он спустился на луг. За лугом открылась река. Ник был доволен, что добрался до нее. Он пошел лугом вдоль реки, вверх по течению. Брюки у него намокли от росы. После жаркого дня выпала ранняя и обильная роса. Река не шумела. У нее было слишком ровное и быстрое течение. На краю луга, прежде чем искать высокого места для ночлега, Ник остановился и посмотрел на реку. Форели поднимались на поверхность воды в погоне за насекомыми, которые после захода солнца стали появляться из болота за рекой. В погоне за ними форели выпрыгивали из воды. Пока Ник шел по лугу вдоль реки, форели то и дело выпрыгивали из воды. Теперь все насекомые, должно быть, опустились на воду, потому что форели ловили их прямо на поверхности. Повсюду на реке, сколько мог охватить взгляд, форели поднимались из глубины, и по воде всюду шли круги, как будто начинался дождь.

Ник поднялся по склону, песчаному и лесистому, откуда виден был луг, полоска реки и болото. Ник сбросил мешок, положил на землю чехол с удочками и огляделся, отыскивая ровное место. Он был очень голоден, но хотел разбить лагерь раньше, чем приниматься застряпню. Ровное место нашлось между двумя соснами. Ник достал из мешка топор и срубил два торчавших из земли корня. Получилась ровная площадка, достаточно большая, чтобы на ней устроиться на ночлег. Ник ладонями разровнял песок и повыдергал дрок с корнями. Руки стали приятно пахнуть дроком. Взрытую землю он снова разровнял. Он не хотел, чтобы у него были бугры в постели. Выровняв землю, он расстелил три одеяла. Одно он сложил вдвое и постелил прямо на землю. Два других постелил сверху.

От одного из пней он отколол блестящий сосновый горбыль и расщепил его на колышки для палатки. Он сделал их прочными и длинными, чтобы они крепко держались в земле. Когда он вынул палатку и расстелил ее на земле, мешок, прислоненный к сосновому стволу, стал совсем маленьким. К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки, потом натянул ее, подпернув таким образом палатку сверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан.

Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это — устройство лагеря — было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.

Он выполз из палатки, приподняв кисею. В лесу уже стемнело. В палатке было светлей.

Ник подошел к мешку, ощупью отыскал бумажный пакет с гвоздями и со дна пакета достал длинный гвоздь. Он вбил его в ствол сосны, придерживая пальцами и тихонько ударяя обухом топора. На гвоздь он повесил мешок. В мешке были все его припасы. Теперь они подвешены высоко и будут в сохранности.

Ник был голоден. Ему казалось, что никогда в жизни он не бывал так голоден. Он открыл две банки с консервами — одну со свининой и бобами, другую с макаронами — и выложил все это на сковородку.

— Я имею право это есть, раз притащил на себе,— сказал Ник. Голос его странно прозвучал среди леса, в сгущающейся темноте. Больше он не говорил вслух.

Он развел костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблук заколотив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись. Ник перемешал их. Они пачинали кипеть, на них появлялись маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушанье приятно запахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал четыре ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку; он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда, например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпенья дожидаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голодеп. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки.

— Ах, черт! — сказал Ник. — Ах, черт побери! — сказал он с наслаждением.

Он съел полную тарелку и даже не вспомнил о хлебе. Вторую порцию он съел с хлебом и дочиستا вытер коркой тарелку. С самого утра он ничего не ел, кроме кофе и сандвича с ветчиной на вокзале в Сент-Игнесе. Все вместе было очень приятно. Замечательное ощущение. Ему и раньше случалось бывать очень голодным, но тогда не удавалось утолить голод. Он мог бы уже давно разбить лагерь, если бы захотел. На реке было сколько угодно хороших мест. Но так лучше.

Ник подобрал в костер две большие сосновые щепки. Огонь запылал сильнее. Ник вспомнил, что не принес воды для кофе. Он достал из мешка брезентовое ведро и по склону холма, а потом краем луга спустился к реке. На том берегу лежал белый туман. Трава была мокрая и холодная, Ник стал на колени на берегу и забросил вед-

ро в воду. Оно расправилось в воде и крепко натянуло веревку. Вода была ледяная. Ник сполоснул ведро, наполнил его до краев и понес в лагерь. Пovyше над рекой было не так холодно.

Ник вбил в дерево еще один большой гвоздь и подвесил ведро с водой. Он до половины наполнил кофейник, подбросил щепок в костер и поставил кофейник на решетку. Он не мог припомнить, как он раньше варил кофе. Помнил только, что однажды поспорил из-за этого с Хопкинсом, но позабыл, какой способ он тогда защищал. Он решил вскипятить кофе. И тут же вспомнил, что это как раз и есть способ Хопкинса. Когда-то они готовы были спорить обо всем на свете. Поджидая, пока кофе закипит, он открыл небольшую банку с абрикосовым компотом. Ему нравилось открывать банки. Он опорожнил банку в оловянную чашку. Поглядывая на кофейник, Ник сначала выпил абрикосовый сок, очень осторожно, стараясь не пролить, а потом неторопливо стал подбирать уже самые фрукты. Они были вкуснее, чем свежие абрикосы.

Кофейник тем временем вскипел. Крышка приподнялась, и кофе, вместе с гущей, потек по кофейнику. Ник снял кофейник с решетки. Хопкинс мог торжествовать. Ник положил сахару в пустую чашку, из которой только что пил компот, и налил в нее немного кофе, чтоб остыл. Кофе был очень горячий, и, наливая, Ник прихватил ручку кофейника своей шляпой. Он не даст гуще осесть в кофейнике. По крайней мере, хоть первую чашку покрепче. Пускай все будет по Хопкинсу, с начала до конца. Хопкинс это заслужил. Хопкинс был знаток изготовления кофе, серьезный человек. Самый серьезный из всех, кого Ник знал. Это все было очень давно. Хопкинс, когда разговаривал, не шевелил губами. Он любил играть в поло. Он нажил миллионы в Техасе. Когда пришла телеграмма, что на его участке забил фонтан, ему пришлось занять денег на билет до Чикаго. Он мог бы телеграфировать, чтобы ему выслали денег, но это было бы слишком дорого. Его невесту прозвали «Белокурой Венерой». Хоп не обижался, потому что она не была его настоящей невестой. Как-то раз он сказал, что совершенно спокоен на этот счет, — над его настоящей невестой никто не посмел бы шутить. Он был прав. Потом пришла телеграмма, и он уехал. Это случилось на Блэк-Ривер. Телеграмма шла восемь дней. Хопкинс подарил Нику свой кольт двадцать второго калибра. Фотоаппарат он подарил Биллу. Это —

затем, чтобы они его не забывали. Будущим летом все они собирались на рыбную ловлю. Теперь, когда Хоп разбогател, он купит яхту, они будут плавать по Верхнему озеру вдоль северного берега. При прощании Хоп был взволнован, но серьезен. Всем стало грустно. С его отъездом экскурсия расстроилась. Больше они никогда не видели Хопкинса. Все это было очень давно, на Блэк-Ривер.

Ник выпил кофе, приготовленный по способу Хопкинса. Кофе оказался горьким. Ник засмеялся. Недурная концовка для рассказа. Мысль его начала работать. Он знал, что может ее остановить, потому что достаточно устал. Он вылил кофе из кофейника и вытряхнул гущу в костер. Он закурил папиросу и заполз в палатку. Сидя на одеялах, он снял брюки и башмаки, завернул башмаки в брюки, подложил их под голову вместо подушки и забрался под одеяло.

Через открытую сторону палатки он видел, как рдеют угли костра, когда их раздувает ночным ветром. Ночь была тихая. На болоте было совершенно тихо. Ник удобно растянулся под одеялом. У самого его уха жужжал комар. Ник сел и зажег спичку. Комар сидел на парусине у него над головой. Ник быстро поднес к нему спичку и с удовлетворением услышал, как комар зашипел на огне. Спичка погасла. Ник снова вытянулся под одеялом. Он повернулся на бок и закрыл глаза. Ему хотелось спать. Он чувствовал, что засыпает. Он свернулся под одеялом и заснул.

Сэма Кардинелла повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы. Коридор был высокий и узкий, с камерами по обе стороны. Все камеры были заняты. Осужденных доставили заранее. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Трое из них были негры. Они очень боялись. Из белых один сидел на койке, опустив голову на руки. Другой лежал, вытянувшись на койке, закутав голову одеялом.

К виселице выходили через дверь в стене. Всего было семь человек, считая вместе с обоими священниками. Сэма Кардинелла пришлось нести. Он был в таком состоянии с четырех часов утра.

Когда ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника шептали ему на ухо.

— Будь мужчиной, сын мой,— говорил один из священников.

Когда к нему подошли, чтобы надеть ему на голову капюшон, у Сэма Кардинелла началось недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.

— Нет ли табуретки, Билл? — спросил один из надзирателей.

— Принесите,— сказал какой-то человек в котелке.

Когда все отступили за спускной люк, который был очень тяжел, сделан из дуба и стали и вращался на шарикоподшипниках, посреди помоста остался Сэм Кардинелл, сидевший на стуле, крепко связанный; священник отпрыгнул назад в самую последнюю минуту перед тем, как опустили люк.

Когда он проснулся, солнце было высоко, и палатка уже начала нагреваться. Ник вылез из-под сетки от комаров, которой был затянут вход в палатку, поглядеть, какое утро. Когда он вылезал, трава была мокрая на ощупь. Брюки и башмаки он держал в руках. Солнце только что поднялось над холмом. Кругом были луг, река, болото. За рекой по краю болота росли березы.

Сейчас, ранним утром, река была светлая, гладкая, бежала быстро. Шагов на двести ниже по течению поперек реки торчали три коряги. Вода перекачивалась через них, гладкая и глубокая. Ник увидел, как выдра перешла по корягам через реку и скрылась в болоте. Раннее утро и река радовали его. Ему не терпелось отправиться в путь, хотя бы и без завтрака, но он знал, что позавтракать необходимо. Он развел небольшой костер и поставил кофейник на огонь.

Пока вода нагревалась, Ник взял пустую бутылку и спустился к реке. Луг был мокрый от росы, и Ник хотел наловить кузнечиков для наживки раньше, чем солнце обсушит траву. Он нашел много отличных кузнечиков. Они сидели у корней травы. Некоторые сидели на стеблях. Все были холодные и мокрые от росы и не могли прыгать, пока не обсохнут на солнце. Ник стал собирать их; он брал только коричневых, среднего размера и сажал в бутылку. Он перевернул поваленное дерево, и там, под прикрытием, кузнечики сидели сотнями. Здесь был их дом. Ник набрал в бутылку не меньше пятидесяти штук ко-

ричневых, среднего размера. Пока он их собирал, остальные отогрелись на солнце и начали прыгать в разные стороны. Прыгая, они раскрывали крылышки. Они делали прыжок и, упав на землю, больше уже не двигались, словно мертвые.

Ник знал, что к тому времени, как он позавтракает, кузнечики совсем оживут. Если упустить время, то целый день уйдет на то, чтобы набрать полную бутылку хороших кузнечиков, и, кроме того, сбивая их шляпой, он многих передавит. Он сошел на берег и вымыл руки. Его радовало, что он так близко от реки. Потом он пошел к палатке. Кузнечики уже тяжело прыгали по траве. В бутылке, обогретые солнцем, они прыгали все разом. Ник заткнул бутылку сосновой палочкой. Она как раз настолько затыкала горлышко, что кузнечики не могли выскочить, а воздух проходил свободно.

Ник перекатил бревно на прежнее место; он знал теперь, что здесь можно будет каждое утро набирать сколько угодно кузнечиков.

Бутылку, полную прыгающих кузнечиков, Ник прилонил к сосне. Он проворно смешал немного гречневой муки с водой, чашку муки на чашку воды, и замесил тесто. Он всыпал горсть кофе в кофейник, добыл кусок сала из банки и бросил его на горячую сковороду. Потом в закипевшее сало он осторожно налил теста. Оно разлилось по сковороде, как лава. Сало пронзительно шипело. Тесто по краям стало затвердевать, потом подрумяниваться, потом отставать от сковороды. Поверхность пузырилась, становилась пористой. Ник взял чистую сосновую щепку и подsunул ее под лепешку, уже подрумяненную снизу. Он встряхнул сковороду, и лепешка отделилась от дна. «Только бы не разорвать», — подумал Ник. Он подsunул щепку как можно дальше под лепешку и перевернул ее на другой бок. Она зашипела.

Когда лепешка была готова, Ник опять смазал сковороду салом. Теста хватило на два больших блина и один поменьше.

Ник съел большой блин, потом маленький, намазав их яблочным желе. Третий блин он намазал яблочным желе и сложил пополам, завернул в пергамент и положил в боковой карман. Он спрятал банку с желе обратно в мешок и отрезал четыре ломтика хлеба для сэндвичей.

В мешке он отыскал большую луковицу. Он разрезал ее пополам и содрал шелковистую верхнюю кожицу. За-

тем одну половину он изрезал на тонкие ломтики и приготовил два сандвича с луком. Их он тоже завернул в пергамент, засунул в другой большой карман и застегнул пуговицу. Он положил сковороду вверх дном на решетку, выпил кофе, сладкий и желтовато-коричневый от сгущенного молока, и прибрал лагерь. Хороший получился у него лагерь.

Ник достал свой спиннинг из кожаного чехла, свистнул удилище, а чехол засунул обратно в палатку. Он надел катушку и стал наматывать на нее лесу. Лесу приходилось при этом перехватывать из руки в руку, иначе она разматывалась от собственной тяжести. Это была тяжелая двойная леса. Когда-то Ник заплатил за нее восемь долларов. Она была нарочно сделана толстой и тяжелой, чтобы ею можно было взмахнуть и чтобы она тяжело, плоско падала и прямо ложилась на воду; иначе нельзя было бы далеко забросить легкую наживку. Ник открыл алюминиевую коробочку с поводками. Поводки были проложены фланелевой прокладкой. Фланелевую прокладку Ник в поезде смочил водой из фильтра, когда подъезжал к Сент-Игнесу. От влаги поводки размягчились, и Ник расправил один и привязал узелком к концу тяжелой лесы. К поводку он привязал крючок. Крючок был маленький, очень тонкий и упругий.

Ник достал крючок, положив удилище на колени. Оп туго натянул лесу, проверяя узлы и скрепления на удилище. Это было приятное чувство. Он проделал это осторожно, чтобы крючок не воткнулся в руку.

Он стал спускаться к реке, держа в руках спиннинг; бутылка с кузнечиками висела у него на шее на ремешке, обвязанном вокруг горлышка. Сачок для рыбы висел на крючке на поясе. Через плечо у него был подвешен длинный мешок из-под муки; верхние углы мешка он завязал бечевкой и перекинул бечевку через плечо. Мешок хлопал его по ногам.

Обвешанный всем этим снаряжением, Ник двигался с трудом, но чувствовал себя настоящим рыболовом. Бутылка с кузнечиками болталась у него на груди. Карманы ковбойки, пабитые сандвичами и коробочками с крючками и наживкой, давили на грудь.

Он вошел в воду. Его обожгло. Брюки прилипли к ногам. Сквозь башмаки он чувствовал камешки на дне. Холодная вода обжигала, поднимаясь все выше по ногам.

Вода бурлила вокруг его ног. Там, где он вошел в реку, вода была выше колен. Он побрел по течению. Ноги скользили по гравиям. Он глянул вниз, в водовороты, крутившиеся вокруг его ног, и встряхнул бутылку, чтобы достать кузнечика.

Первый кузнечик, выбравшись из горлышка, одним прыжком выскочил из бутылки и упал в воду. Его сейчас же засосало водоворотом возле правой ноги Ника, потом он выплыл немного ниже по течению. Он быстро плыл, барахтаясь. Внезапно на гладкой поверхности воды появился круг, и кузнечик исчез. Его поймала форель.

Другой кузнечик высунул голову из горлышка бутылки. Он поводил усиками. Он карабкался по горлышку бутылки, готовясь прыгнуть. Ник ухватил его за голову и, крепко держа, стал насаживать на крючок; он воткнул ему крючок под челюсти и дальше, сквозь голову, до самого последнего сегмента брюшка. Кузнечик обхватил крючок передними ногами и выпустил на него табачного цвета сок. Ник забросил его в воду.

Держа спиннинг в правой руке, он повел лесу против течения. Левой рукой он спял лесу с катушки и пустил ее свободно. Кузнечик был еще виден среди мелкой ряби. Потом скрылся из виду.

Вдруг леса натянулась. Ник стал выбирать ее. В первый раз клюнуло. Держа ожившую теперь удочку поперек течения, он подтягивал лесу левой рукой. Удилище то и дело сгибалось, когда форель дергала лесу. Ник чувствовал, что это небольшая форель. Он поставил удилище стоймя. Оно согнулось.

Он увидел в воде форель, дергавшуюся головой и всем телом; наклонная черта лесы в воде постепенно выпрямлялась.

Ник перехватил лесу левой рукой и вытащил на поверхность устало бившуюся форель. Спина у нее была пятнистая, светло-серая, такого же цвета, как просвечивающий сквозь воду гравий, бока сверкнули на солнце. Зажав удочку под мышкой, Ник пагнул и окунул правую руку в воду. Мокрой правой рукой он взял ни на минуту не перестававшую биться форель, вынул у нее крючок изо рта и пустил ее обратно в воду.

Мгновение форель висела в потоке, потом опустилась на дно возле камня. Ник протянул к ней руку, до локтя погрузив ее в воду. Форель оставалась неподвижной в бегущей воде, лежала на дне, возле камня. Когда Ник паль-

цами коснулся ее гладкой спинки, он ощутил подводный холод ее кожи; форель исчезла, только тень ее скользнула по дну.

«Ничего. Обойдется,— подумал Ник.— Просто она устала».

Он смочил руку, прежде чем взять форель, чтобы не повредить одевавший ее нежный слизевой покров. Если тронуть ее сухой рукой, на пораженном месте развивается белый паразитический грибок. Раньше, когда Ник ловил форелей на реках, где бывало много народу и, случалось, впереди него и позади шли другие рыболовы, ему постоянно попадались дохлые форели, все в белом пуху, прибитые течением к камню или плавающие брюхом вверх в тихой заводи. Ник не любил, когда на реке были другие рыболовы. Если они не принадлежат к вашей компании, они портят все удовольствие.

Он побрел дальше по течению, по колено в воде, по мелководью, занимавшему участок шагов в пятьдесят длинной, выше коряг, торчавших поперек реки. Он держал крючок в руке, но не стал насаживать на него новой приманки. На отмелях можно наловить мелкой форели, но она Ника не интересовала. А крупной форели в этот час дня не бывает на мелководье.

Теперь вода доходила ему до бедер, холодная, обжигающая, и прямо перед ним была заводь, запруженная корягами. Вода была гладкая и темная; налево — низкий край луга, направо — болото.

Ник откинулся назад, навстречу течению, и достал кузнечика из бутылки. Он насадил его на крючок и плюнул на него, на счастье. Затем он размотал несколько ярдов лесы с катушки и забросил кузнечика далеко вперед, в быструю темную воду. Кузнечик поплыл к корягам, потом от тяжести лесы ушел под воду. Ник держал удилице в правой руке, пропуская лесу между пальцами.

Лесу сильно дернуло. Ник подсек, и удилице поднялось, напряженное, словно живое, согнутое пополам, готовое сломиться; и леса натянулась, выходя из воды; она натягивалась все сильнее, все напряженней. Ник почувствовал, что еще секунда — и поводок оборвется; он отпустил лесу.

Катушка завертелась с визгом, когда леса начала стремительно разматываться. Слишком быстро. Ник не успевал следить за лесой, леса слетала с катушки, визг становился все пронзительней,

Катушка обнажилась. Сердце у Ника, казалось, перестало биться от волнения. Откинувшись назад в ледяной воде, доходившей ему до бедер, Ник крепко прихватил катушку левой рукой. Большой палец с трудом влезал в отверстие катушки.

Когда он задержал катушку, леса вдруг стала тугой и жесткой, и за корягами огромная форель высоко выпрыгнула из воды. Ник тотчас нагнул удилище, чтобы ослабить лесу. Но уже в тот момент, как он его нагибал, он почувствовал, что напряжение слишком велико, леса стала слишком тугой. Ну конечно, поводок оборвался. Он безошибочно это почувствовал по тому, как леса вдруг потеряла всякую упругость, стала сухой и жесткой. Потом ослабла.

Во рту у Ника пересохло, сердце упало. Он стал наматывать лесу на катушку. Ему никогда не попадалось такой большой форели. Чувствовалось, что она такая тяжелая, такая сильная, что ее не удержишь. И какая громадина. С хорошего лосося величиной.

Руки у Ника тряслись. Он медленно наматывал лесу. Он слишком перевознолся. У него закружилась голова, слегка поташнивало, хотелось присесть отдохнуть.

Поводок оборвался в том месте, где был привязан к крючку. Ник взял его в руки. Он думал о форели, о том, как где-то на покрытом гравием дне она старается удержаться против течения, глубоко на дне, куда не проникает свет, под корягами, с крючком во рту. Ник знал, что зубы форели в конце концов перекусят крючок. Но самый кончик так и останется у нее в челюсти. Форель, наверно, злится. Такая огромная тварь обязательно должна злиться. Да, вот это была форель. Крепко сидела на крючке. Как камень. Она и тяжелая была, как камень, пока не сорвалась. Ну и здоровая же. Черт, я даже не слыхал про таких.

Ник выбрался на луг. Вода стекала у него по брюкам, хлюпала в башмаках. Он прошел немного берегом и сел на корягу. Он не спешил, ему хотелось продлить удовольствие.

Он пошевелил пальцами ног в воде, наполнявшей башмаки, и достал папиросу из бокового кармана. Он закурил и бросил спичку в быстро бегущую воду под корягами. Когда спичку завертело течением, за ней погналась маленькая форель. Ник засмеялся. Сперва он выкурит папиросу.

Он сидел на коряге, курил, обсыхая на солнце, солнце грело ему спину, впереди река уходила в лес и, повернув, исчезала в лесу, — отдели, блеск солнца, большие, отполированные водой камни, кедры вдоль берега и белые беревы, коряга, теплая от солнца, на ней удобно сидеть, гладкая, без коры, сырая на ощупь. И постепенно его покинуло чувство разочарования, резко сменившее возбуждение, от которого у него даже заболели плечи. Теперь опять все было хорошо. Положив удище на корягу, он привязал новый крючок к поводку и до тех пор затягивал жилу, пока она не слиплась в твердый, плотный узелок.

Он насадил наживку, потом взял удочку и перешел по корягам на тот берег, чтобы сойти в воду в неглубоком месте. Под корягами и за ними было глубоко. Ник у пришлое обойти песчаную косу на том берегу, прежде чем он добрался до мелководья.

Налево, там, где кончался луг и начинались леса, лежал большой, вывороченный с корнем вяз. Его повалило грозой, и он лежал вершиной в лесу; корни были занесены илом и обросли травой, образуя бугор у самой воды. Река подмывала вывороченные корни. С того места, где Ник стоял, ему были видны глубокие, похожие на колеи, впадины, промытые течением в мелком дне. Там, где стоял Ник, дно было покрыто галькой; подальше — тоже усеяно галькой и большими, торчащими из воды камнями. Но там, где река делала изгиб возле корней вяза, дно было илистое, и между впадинами извивались языки зеленых водорослей.

Ник взмахнул удочкой назад через плечо, потом вперед, и леса, описав дугу, увлекла кузнечика в одну из глубоких впадин, в чащу водорослей. Форель клюнула, и Ник подсек.

Вытанув удище далеко вперед, по направлению к поваленному дереву, и пятась по колено в воде, Ник вывел форель, которая все время ныряла, сгибая удище, из опасной путаницы водорослей в открытую воду. Держа удище, гнувшееся, как живое, Ник стал подтягивать к себе форель. Форель рвалась, но постепенно приближалась, удище подавалось при каждом рывке, иногда его конец уходил в воду, но всякий раз форель подтягивалась немного ближе. Подняв удище над головой, Ник провел форель над сачком и сачком подхватил ее.

Форель тяжело висела в сачке, сквозь петли виднелись ее пятнистая спинка и серебряные бока. Ник снял ее

с крючка — приятно было держать в руке ее плотное тело с крепкими боками, с выступающей вперед нижней челюстью — и, бьющуюся, большую, спустил ее в мешок, свисавший в воду с его плеч. Держа мешок против течения, Ник приоткрыл его; мешок наполнился водой и стал тяжелым. Ник приподнял его, и вода начала вытекать. Дно мешка оставалось в воде, и там билась большая форель.

Ник пошел вниз по течению. Мешок висел спереди, погруженный в воду, оттягивая ему плечи.

Становилось жарко, солнце жгло ему затылок.

Одну хорошую форель он уже поймал. Много ему и не нужно. Река стала широкой и мелкой. По обоим берегам росли деревья. На левом берегу деревья под утренним солнцем отбрасывали на воду короткие тени. Ник знал, что везде в тени есть форели. После полудня, когда солнце станет над холмами, форели перейдут в прохладную тень возле другого берега.

Те, что покрупней, будут под самым берегом. На Блэк-Ривер всегда можно было их там найти. Когда же солнце садилось, они выходили на середину реки. Как раз когда солнце заливало реку слепящим блеском, форели хорошо ловились повсюду. Но ловить их в этот час было почти невозможно: поверхность реки слепила, как зеркало на солнце. Конечно, можно было повернуться против течения, но на такой реке, как эта или Блэк-Ривер, брести против течения трудно, а в глубоких местах вода валит с ног. Не так-то это просто на реках с быстрым течением.

Ник пошел дальше по мелководью, вглядываясь, не окажется ли возле берега глубоких ям. На самом берегу рос бук, так близко к реке, что ветви его окунались в воду. Вода крутилась вокруг листьев. В таких местах всегда водятся форели.

Ник у не хотелось ловить в этой яме. Крючок наверняка зацепится за ветку.

Однако на вид тут было очень глубоко. Он забросил кузнечика так, что он ушел под воду, его закружило течением и унесло под нависшие над водой ветви. Леса сильно натянулась, и Ник подсек. Между ветвей и листьев тяжело плеснулась форель, наполовину выскочив из воды. Конечно, крючок зацепился. Ник сильно дернул, и форель исчезла. Ник смотал лесу и, держа крючок в руке, пошел вниз по течению.

Впереди, под левым берегом, лежала большая коряга. Ник видел, что в середине она пустая; вода не бурлила вокруг ее верхнего конца, а входила внутрь гладкой струей, только по бокам разбегалась мелкая рябь. Река становилась все глубже. Сверху коряга была серая и сухая. Она была наполовину в тени.

Ник вынул затычку из бутылки вместе с уцепившимся за нее кузнечиком. Ник снял его, насадил на крючок и забросил в воду. Он вытянул удилище далеко вперед, так что кузнечика понесло течением прямо к коряге. Ник нагнул удилище, и кузнечика затянуло внутрь. Лесу сильно дернуло. Ник потянул к себе удилище. Можно было подумать, что крючок зацепился за корягу, если бы только не живая упругость удочки.

Ник попробовал вывести рыбу на открытое место. Тащить ее было тяжело.

Вдруг леса ослабла, и Ник подумал, что форель сорвалась. Потом он увидел ее очень близко, в открытой воде; форель дергала головой, стараясь освободиться от крючка. Рот у нее был крепко сжат. Она изо всех сил боролась с крючком в светлой, быстро бегущей воде. Смотав лесу левой рукой, Ник поднял удилище, чтобы натянуть лесу, и попытался подвести форель к сачку, но она метнулась прочь, исчезла из виду, рывками натягивая лесу. Ник повел ее против течения, предоставив ей дергаться в воде, насколько позволяла упругость удилища. Он перевял удочку левой рукой, повел форель против течения — она не переставала бороться, всей своей тяжестью повисая на лесе, — и опустил ее в сачок. Он поднял сачок из воды, форель висела в нем тяжелым полукольцом, из сетки бежала вода, он снял форель с крючка и опустил ее в мешок.

Он приоткрыл мешок и заглянул в него — на дне мешка трепетали в воде две большие форели.

По все углублявшейся воде Ник побрел к пустой коряге. Он снял мешок через голову — форели забились, когда мешок поднялся из воды, — и повесил его на корягу так, чтобы форели были глубоко погружены в воду. Потом он залез на корягу и сел; вода с его брюк и башмаков стекала в реку. Он положил удочку, перебрался на затененный конец коряги и достал из кармана сандвичи. Он окунул их в холодную воду. Крошки унесло течением. Он съел сандвичи и зачерпнул шляпой воды напиться; вода вытекала из шляпы чуть быстрее, чем он успевал пить.

В тени на коряге было прохладно. Ник достал папиросу и чиркнул спичкой по коряге. Спичка глубоко ушла в серое дерево, оставив в нем бороздку. Ник перегнулся через корягу, отыскивал твердое место и зажег спичку. Он сидел, курил и смотрел на реку.

Впереди река сужалась и уходила в болото. Вода становилась здесь гладкой и глубокой, и казалось, что болото сплошь поросло кедрами, так тесно стояли стволы и так густо сплетались ветви. По такому болоту не пройдешь. Слишком низко растут ветви. Пришлось бы ползти по земле, чтобы пробраться между ними. «Вот почему у животных, которые водятся в болоте, такое строение тела», — подумал Ник.

Он пожалел, что ничего не захватил почитать. Ему хотелось что-нибудь почитать. Забираться в болото ему не хотелось. Он взглянул вниз по реке. Большой кедр наклонился над водой, почти достигая противоположного берега. Дальше река уходила в болото.

Нику не хотелось идти туда. Не хотелось брести по глубокой воде, доходящей до самых подмышек, и ловить форелей в таких местах, где невозможно вытащить их на берег. По берегам болота трава не росла, и большие кедры смыкались над головой, пропуская только редкие пятна солнечного света; в полутьме, в быстром течении, ловить рыбу было небезопасно. Ловить рыбу на болоте — дело опасное. Нику этого не хотелось. Сегодня ему не хотелось спускаться еще ниже по течению.

Он достал нож, открыл его и воткнул в корягу. Потом подтянул к себе мешок, засунул туда руку и вытащил одну из форелей. Захватив ее рукой поближе к хвосту, скользкую, живую, Ник ударил ее головой о корягу. Форель затрепетала и замерла. Ник положил ее в тень па корягу и тем же способом оглушил вторую форель. Он положил их рядышком на корягу. Это были очень хорошие форели.

Ник вычистил их, распоров им брюхо от анального отверстия до нижней челюсти. Все внутренности вместе с языком и жабрами вытянулись сразу. Обе форели были самцы; длинные серовато-белые полоски молоко, гладкие и чистые. Все внутренности были чистые и плотные, вынимались целиком. Ник выбросил их на берег, чтобы их могли подобрать выдры.

Он обмыл форели в реке. Когда он держал их в воде против течения, они казались живыми. Окраска их кожи

еще не потускнела. Ник вымыл руки и обтер их о корягу. Потом он положил форелей на мешок, разостланный на коряге, закатал и завязал сверток и уложил его в сачок. Нож все еще торчал, воткнутый в дерево. Ник вычистил лезвие о корягу и спрятал нож в карман.

Ник встал во весь рост на коряге, держа удище в руках; сачок тяжело свисал с его пояса; потом он сошел в реку и, шлепая по воде, побрел к берегу. Он взобрался на берег и пошел напрямик через лес по направлению к холмам, туда, где находился лагерь. Он оглянулся. Река чуть виднелась между деревьями. Впереди было еще много дней, когда он сможет ловить форелей на болоте.

Король работал в саду. Казалось, он очень мне обрадовался. Мы проишлись по саду. «Вот королева»,— сказал он. Она подрезала розовый куст. «Здравствуйте»,— сказала она. Мы сели за стол под большим деревом, и король велел принести виски и содовой. «Хорошее виски у нас пока еще есть»,— сказал король. Он сказал мне, что революционный комитет не разрешает ему покидать территорию дворца. «Пластирас, по-видимому, порядочный человек,— сказал король,— но ладить с ним нелегко. Впрочем, я думаю, он правильно сделал, что расстрелял этих молодцов. Конечно, в таких делах самое главное — это чтобы тебя самого не расстреляли!»

Было очень весело. Мы долго разговаривали. Как все греки, король жаждал попасть в Америку.

¹ Посылка (фр.) — литературоведческий термин, обозначающий заключительные строки стихотворного произведения, чаще всего баллады.

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ

Мануэль Гарсиа поднялся по лестнице в контору дона Мигеля Ретаны. Он поставил свой чемодан на пол и постучал в дверь. Ответа не было. Но Мануэль, стоя в коридоре, чувствовал, что в комнате кто-то есть. Он чувствовал это через дверь.

— Ретана,— сказал он, прислушиваясь.

Ответа не было.

«А все-таки он здесь»,— подумал Мануэль.

— Ретана,— повторил он и громче постучал в дверь.

— Кто там? — раздался голос из конторы.

— Это я, Маноло,— сказал Мануэль.

— А что нужно? — спросил голос.

— Мне нужна работа,— сказал Мануэль.

В двери что-то несколько раз щелкнуло, и она распахнулась. Мануэль вошел, захватив свой чемодан.

За столом в глубине комнаты сидел маленький человек. Над его головой висело чучело бычьей головы, сделанное в мадридской мастерской; стены были увешаны фотографиями в рамках и афишами боя быков.

Маленький человек сидел и смотрел на Мануэля.

— Я думал, ты убит,— сказал он.

Мануэль быстро постучал костяшками пальцев по столу. Маленький человек сидел и смотрел на него через стол.

— Сколько у тебя выходов за этот год? — спросил Ретана.

— Один,— ответил Мануэль.

— Только тот один? — спросил маленький человек.

— Только.

— Я читал об этом в газетах,— сказал Ретана. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на Мануэля.

Мануэль поглядел на тучело быка. Он не раз видел его и раньше. Он питал к нему что-то похожее на родственные чувства. Лет девять назад бык убил его брата, того, что подавал надежды. Мануэль хорошо помнил этот день. На дубовом щите, к которому была прикреплена бычья голова, поблескивала медная дощечка с надписью. Мануэль не мог прочесть ее, но он предполагал, что это в память его брата. Что ж, он был славный мальчик.

На дощечке было написано: «Бык Марипоса, с ганадерии¹ герцога Верагуа, вспоровший семь лошадей и убивший Антонио Гарсиа, новильеро, 27 апреля 1909 года».

Ретана заметил, что Мануэль смотрит на бычью голову.

— На воскресенье герцог прислал мне такую партию, что без скандала не обойдется, — сказал он. — Они все разбиты на ноги. Что говорят о них в кафе?

— Не знаю, — ответил Мануэль. — Я только что приехал.

— Да, — сказал Ретана. — У тебя и чемодан с собой.

Откинувшись на спинку стула, он смотрел на Мануэля через большой стол.

— Садись, — сказал он. — Сними шляпу.

Мануэль сел; без шляпы лицо его стало совсем другим. Косичка матадора, прищипленная на макушке, чтобы она держалась под шляпой, нелепо торчала над бледным лицом.

— Ты плохо выглядишь, — сказал Ретана.

— Я только что из больницы, — сказал Мануэль.

— Я слышал, будто тебе отняли ногу.

— Нет, — сказал Мануэль. — Обошлось.

Ретана наклонился вперед и пододвинул Мануэлю стоявший на столе деревянный ящичек с сигаретами.

— Бери, — сказал он.

— Спасибо.

Мануэль закурил.

— А ты? — сказал он, протягивая Ретане зажженную спичку.

— Нет. — Ретана помахал рукой. — Не курю.

Ретана молча смотрел, как Мануэль курит.

— Почему ты не подыщешь себе какую-нибудь работу? — спросил Ретана.

¹ Ганадерия — ферма, где разводят быков.

— Я не хочу какую-нибудь,— сказал Мануэль.— Я матадор.

— Нет больше матадоров,— сказал Ретана.

— Я матадор,— сказал Мануэль.

— Да, сидя у меня в конторе.

Мануэль засмеялся.

Ретана молча смотрел на Мануэля.

— Я могу выпустить тебя вечером, если хочешь,— предложил Ретана.

— Когда? — спросил Мануэль.

— Завтра.

— Не люблю быть заменой,— сказал Мануэль. Именно так все они погибают. Именно так погиб Сальвадор. Он постукал костяшками пальцев по столу.

— Больше у меня ничего нет,— сказал Ретана.

— Почему бы тебе не выпустить меня днем на будущей неделе? — спросил Мануэль.

— Сбора не сделаешь,— ответил Ретана.— Публика требует только Литри, Рубито и Ля Торре. Эти хорошо работают.

— Публика придет посмотреть меня,— с надеждой сказал Мануэль.

— Нет, не придет. Тебя уже давно забыли.

— Я могу хорошо работать,— сказал Мануэль.

— Предлагаю тебе выступить завтра вечером после клоунады,— повторил Ретана.— Будешь работать с Эрнандесом и можешь убить двух новильо¹.

— Чьи новильо? — спросил Мануэль.

— Не знаю. Что найдется в коррале. Из тех, которых ветеринары не допустили к дневным боям.

— Не люблю быть заменой,— сказал Мануэль.

— Как хочешь,— сказал Ретана.

Он наклонился над бумагами. Разговор больше не интересовал его. Сочувствие, которое на минуту вызвал в нем Мануэль, напомнив о старых временах, уже исчезло. Он охотно заменит им Чавеса, потому что это обойдется дешево. Но и других можно иметь по дешевке. Все же он хотел бы помочь Мануэлю. Ну что ж, завтра он может выступить. Теперь его дело решать.

— А сколько ты мне заплатишь? — спросил Мануэль. Он все еще тешил себя мыслью, что откажется. Но он знал, что не может отказаться.

¹ Новильо — молодой бык.

— Двести пятьдесят песет,— ответил Ретана. Он хотел дать пятьсот, но когда он разжал губы, они сказали двести пятьдесят.

— Виляльте ты платишь семь тысяч,— сказал Мануэль.

— Но ты не Виляльта,— ответил Ретана.

— Я знаю,— сказал Мануэль.

— Он делает сборы, Маноло,— объяснил Ретана.

— Конечно,— сказал Мануэль. Он встал.— Дай триста, Ретана.

— Хорошо,— согласился Ретана. Он достал из ящика стола листок бумаги.

— А можно мне пятьдесят получить сейчас? — спросил Мануэль.

— Пожалуйста,— сказал Ретана. Он вынул из бумажника кредитку в пятьдесят песет и, развернув ее, положил на стол.

Мануэль взял деньги и спрятал в карман.

— А куадрилья? — спросил он.

— Будут ребята, которые всегда работают у меня по вечерам. Они — ничего.

— А пикадоры?

— Пикадоры неважные,— признался Ретана.

— Мне нужен хоть один хороший пикадор,— сказал Мануэль.

— Найми его,— сказал Ретана.— Ступай и найми.

— Только не за те же деньги,— возразил Мануэль.— Не могу же я оплачивать пикадора из этих шестидесяти дуру.

Ретана ничего не ответил, только посмотрел через стол на Мануэля.

— Ты сам знаешь, что мне нужен хоть один хороший пикадор,— сказал Мануэль.

Ретана, не отвечая, смотрел на Мануэля словно откуда-то очень издалека.

— Так не годится,— сказал Мануэль.

Ретана все еще разглядывал его, откинувшись на спинку стула, разглядывал откуда-то издалека.

— У нас есть свои пикадоры,— сказал он.

— Знаю,— сказал Мануэль,— знаю я твоих пикадоров.

Ретана не улыбнулся. Мануэль понял, что дело кончено.

— Я хочу только равных шансов,— негромко сказал Мануэль.— Когда я выйду на арену, нужно, чтобы я мог

подступиться к быку. Для этого довольно одного хорошего пикадора.

Он обращался к человеку, который уже не слушал его.

— Если тебе нужно что-нибудь сверх положенного,— сказал Ретана,— доставай сам. Будет работать наша куа-дрилья. Приводи своих пикадоров, сколько хочешь. Клоунада кончается в десять тридцать.

— Хорошо,— сказал Мануэль.— Если это твое последнее слово.

— Да,— сказал Ретана.

— До завтра,— сказал Мануэль.

— Я буду там,— сказал Ретана.

Мануэль поднял свой чемодан и вышел.

— Захлопни дверь! — крикнул Ретана.

Мануэль оглянулся. Ретана сидел, наклонившись над столом, и просматривал бумаги. Мануэль плотно притворил дверь, и замок щелкнул.

Он спустился по лестнице и вышел из подъезда на залитую солнцем улицу. Было очень жарко, и отблеск солнца на белых зданиях больно резнул глаза. Он пошел к Пуэрта-дель-Соль по теневой стороне крутой улицы. Тень была плотная и свежая, как проточная вода. Но когда он пересекал поперечные улицы, зной сразу охватывал его. Среди встречавшихся ему людей Мануэль не заметил ни одного знакомого лица.

Перед самой Пуэрта-дель-Соль он зашел в кафе.

В кафе было пустовато. Только немногие посетители сидели за столиками у стены. За одним из столиков четверо играли в карты. Остальные сидели, прислонившись к стене, и курили; перед ними стояли пустые рюмки и чашки из-под кофе. Мануэль прошел через длинный зал в маленькую заднюю комнату. В углу за столиком сидел человек и спал. Мануэль сел за один из столиков.

Вошел официант и остановился возле Мануэля.

— Вы не видели Сурито? — спросил его Мануэль.

— Он приходил утром,— ответил официант.— Теперь он раньше пяти не придет.

— Дайте мне кофе с молоком и рюмку коньяку,— сказал Мануэль.

Официант вернулся, неся поднос с большим стаканом для кофе и рюмкой. В левой руке он держал бутылку коньяку. Описав подносом дугу, он все сразу поставил на стол, а мальчик, который шел за ним, налил в стакан ко-

фе и молока из двух блестящих кофейников с длинными ручками.

Мануэль снял шляпу, и официант увидел косичку, приколотую надо лбом. Наливая коньяк в рюмку, стоявшую возле стакана кофе, он подмигнул мальчику. Мальчик с любопытством посмотрел на бледное лицо Мануэля.

— Вы будете здесь выступать? — спросил официант, закупоривая бутылку.

— Да, — сказал Мануэль. — Завтра.

Официант медлил у столика, прижав дно бутылки к бедру.

— В клоунаде? — спросил он.

Мальчик смутился и отвел глаза.

— Нет, после.

— А я думал, что будут Чавес и Эрнандес, — сказал официант.

— Нет. Я и еще один.

— Кто? Чавес или Эрнандес?

— Кажется, Эрнандес.

— А что случилось с Чавесом?

— Он ранен.

— Кто сказал?

— Ретана.

— Эй, Луис! — крикнул официант в соседнюю комнату. — Чавес ранен.

Мануэль снял обертку с порции сахара и бросил сбакуска в стакан. Он помешал кофе и выпил его; кофе был сладкий, горячий и приятно согревал пустой желудок. Потом он выпил коньяк.

— Налейте еще рюмку, — сказал он официанту.

Официант вытащил пробку и налил полную рюмку, пролив коньяк на блюдце. К столику подошел еще один официант. Мальчик ушел.

— Что, Чавес тяжело ранен? — спросил Мануэля второй официант.

— Не знаю, — ответил Мануэль. — Ретана не сказал.

— Ему-то, конечно, наплевать, — вмешался высокий официант. Мануэль раньше не видел его. Он, вероятно, только что подошел.

— У нас так: если Ретана поддержит, твое счастье, — сказал высокий официант. — А если не поддержит, можешь пойти и пустить себе пулю в лоб.

— Верно, — поддакнул второй официант. — Совершенно верно.

— Еще бы не верно,— сказал высокий официант.— Я хорошо знаю, что это за птица.

— Смотрите, как он выдвинул Виляльту,— сказал первый официант.

— Да разве его одного,— сказал высокий официант.— А Марсьяла Лаланду! А Насионаля!

— Верно, верно,— подтвердил маленький официант.

Они оживленно разговаривали возле столика Мануэля, а он молча смотрел на них. Он уже выпил вторую рюмку коньяку. О нем они забыли — словно его здесь и не было.

— Это просто стадо верблюдов,— продолжал высокий официант.— Вы когда-нибудь видели Насионаля-второго?

— Я видел его в прошлое воскресенье,— ответил первый официант.

— Настоящий жираф,— сказал маленький официант.

— Я же вам говорил,— сказал высокий официант.— Все это любимчики Ретаны.

— Послушайте, дайте мне еще рюмку,— сказал Мануэль. Пока они разговаривали, он перелил коньяк с блюдца в рюмку и выпил его.

Первый официант, не глядя на Мануэля, наполнил рюмку, и все трое, разговаривая, вышли из комнаты.

Человек в дальнем углу все еще спал, прислонившись головой к стене, слегка похрапывая при каждом вдохе.

Мануэль выпил коньяк. Его самого клонило ко сну. Выходить на улицу не стоит — слишком жарко. Да и делать там нечего. Нужно повидать Сурито. Он вздремнет немного, пока тот не пришел. Мануэль толкнул ногой свой чемодан под столом, чтобы удостовериться, что он тут. Может быть, лучше поставить его под стул, к стене. Он нагнулся и подвинул чемодан. Потом положил голову на стол и заснул.

Когда он проснулся, кто-то сидел за столиком напротив него. Это был высокий, плотный мужчина с крупными чертами лица и смуглой, как у индейца, кожей. Он уже давно сидел здесь. Он махнул рукой официанту, чтобы тот не подходил, и теперь сидел и читал газету, время от времени взглядывая на Мануэля, который спал, положив голову на стол. Он читал с трудом, по складам, усиленно шевеля губами. Чтобы передохнуть, он отрывался от газеты и смотрел на спящего. Он неподвижно и грузно сидел против Мануэля, надвинув на лоб черную широкополую шляпу.

Мануэль выпрямился и посмотрел на него.

— Здравствуй, Сурито,— сказал он.

— Здравствуй, малыш,— сказал плотный мужчина.

— Я спал.— Мануэль потер лоб кулаком.

— Я видел, что ты спишь.

— Как дела?

— Хороши. А твои?

— Так себе.

Оба молчали. Пикадор Сурито смотрел на бледное лицо Мануэля. Мануэль смотрел на огромные руки пикадора, складывающие газету, прежде чем спрятать ее в карман.

— У меня к тебе просьба, Манос,— сказал Мануэль.

«Маносдурос» было прозвище Сурито. Каждый раз, как он слышал его, он вспоминал о своих огромных руках. Он смущенно положил их перед собой на стол.

— Давай выпьем,— сказал он.

— Давай,— сказал Мануэль.

Официант подошел, вышел и снова вошел. Уходя, он оглянулся на сидящих за столиком Мануэля и Сурито.

— В чем дело, Маноло? — Сурито поставил рюмку на стол.

— Ты не согласишься поработать со мной завтра вечером? — спросил Мануэль, смотря через стол на Сурито.

— Нет,— сказал Сурито.— Я больше не работаю.

Мануэль посмотрел на свою рюмку. Он ждал этого ответа: вот и дождался. Ну да, дождался.

— Не сердись, Маноло, но я больше не работаю.— Сурито смотрел на свои руки.

— Ну что ж,— сказал Мануэль.

— Я слишком стар,— сказал Сурито.

— Я только спросил,— сказал Мануэль.

— Это завтра вечером?

— Да. Я подумал, что если у меня будет один хороший пикадор, я справлюсь.

— Сколько тебе платят?

— Триста песет.

— Так ведь я один получаю больше.

— Я знаю,— сказал Мануэль.— Я не имел никакого права просить тебя.

— Почему ты не бросишь этого дела? — сказал Сурито.— Почему ты не отрежешь свою колету, Маноло?

— Не знаю,— ответил Мануэль.

— Ты немногим моложе меня,— сказал Сурито.

— Не знаю,— сказал Мануэль.— Не могу бросить. Только бы шансы были равные — больше мне ничего не нужно. Не могу не выступать, Манос.

— Нет, можешь.

— Нет, не могу. Я пробовал бросать.

— Я понимаю, что это трудно. Но так нельзя. Ты должен бросить раз и навсегда.

— Не могу я этого сделать. Да и последнее время я был в форме.

Сурито посмотрел на лицо Мануэля.

— Тебя свезли в больницу.

— Но до этого я был в блестящей форме.

Сурито ничего не ответил. Он перелил коньяк со своего блюда в рюмку.

— В газетах писали, что такой работы еще не видавали,— сказал Мануэль.

Сурито молча посмотрел на него.

— Ты же знаешь, когда я в форме, я хорошо работаю,— сказал Мануэль.

— Ты слишком стар,— сказал пикадор.

— Нет,— сказал Мануэль.— Ты на десять лет старше меня.

— Я — другое дело.

— Вовсе я не слишком стар,— сказал Мануэль.

Они помолчали. Мануэль не спускал глаз с лица пикадора.

— Я был в форме, когда это случилось. Ты напрасно не пришел посмотреть на меня, Манос,— с упреком сказал Мануэль.

— Не хочу я на тебя смотреть,— сказал Сурито.— Я слишком волнуюсь.

— Ты не видел меня в последнее время.

— Зато раньше видел.

Сурито посмотрел на Мануэля, избегая его взгляда.

— Бросай это дело, Маноло.

— Не могу,— сказал Мануэль.— Я сейчас в форме, верно тебе говорю.

Сурито наклонился вперед, положив руки на стол.

— Слушай. Я поработаю завтра с тобой, но если ты провалишься, ты бросишь. Понял? Согласен?

— Согласен.

Сурито откинулся назад со вздохом облегчения.

— Пора бросить,— сказал он.— Нечего дурака валять. Пора отрезать колету.

— Не придется бросать,— сказал Мануэль.— Вот увидишь. Я могу хорошо работать.

Сурито встал. Спор утомил его.

— Пора бросить,— сказал он.— Я сам отрежу тебе колету.

— Нет, не отрежешь,— сказал Мануэль.— Не придется.

Сурито подозвал официанта.

— Пойдем,— сказал Сурито.— Пойдем ко мне.

Мануэль достал чемодан из-под стула. Он был счастлив. Сурито будет его пикадором. Нет на свете пикадора лучше Сурито. Теперь все просто.

— Пойдем ко мне, пообедаем,— сказал Сурито.

Мануэль стоял в патио де кавальос и ждал окончания клоунады. Сурито стоял рядом с ним. В конюшне было темно. Высокие ворота, ведущие на арену, были закрыты. Сверху донесся дружный смех, потом еще взрыв смеха. Потом наступила тишина. Мануэль любил запах конюшни. Хорошо пахло в темном патио. Опять с арены донесся хохот, потом аплодисменты, долго не смолкающие аплодисменты.

— Ты видел их когда-нибудь? — спросил Сурито, высокий, громоздкий в темноте рядом с Мануэлем.

— Нет,— ответил Мануэль.

— Очень смешно,— сказал Сурито. Он улыбнулся про себя в темноте.

Высокие, двустворчатые, плотно пригнанные ворота распахнулись, и Мануэль увидел арену в ярком свете дуговых фонарей и темный, уходящий вверх амфитеатр; по краю арены, раскланиваясь, бежало двое людей, одетых бродягами, а за ними следом, в ливрее с блестящими пуговицами, шел третий, подбирая шляпы и трости, брошенные на песок, и кидал их обратно в темноту.

В патио вспыхнул электрический свет.

— Я пойду подыщу себе конягу, пока ты соберешь ребят,— сказал Сурито.

За ними послышалось звяканье упряжки мулов, которую выводили на арену, чтобы вывести убитого быка.

Члены куадрильи, смотревшие клоунаду из прохода между барьером и первым рядом, вошли в патио и, болтая, остановились под фонарем. Красивый юноша в оранжевом с серебром костюме подошел к Мануэлю.

— Я Эрнандес,— сказал он, улыбаясь, и протянул руку.

Мануэль пожал ее.

— Сегодня нас ждут настоящие слоны,— весело сказал юноша.

— Да, крупные, и рога нешуточные,— подтвердил Мануэль.

— Вам достались худшие,— сказал юноша.

— Не беда,— сказал Мануэль.— Чем крупнее бык, тем больше мяса для бедных.

— Кто это придумал? — ухмыльнулся Эрнандес.

— Это старинная поговорка,— сказал Мануэль.— Построй свою куадрилью, чтобы мне видеть, кто работает со мной.

— У вас будут хорошие ребята,— сказал Эрнандес. Он был очень весел. Он выступал в третий раз, и у него уже были поклонники в Мадриде. Он радовался, что через несколько минут начнется бой.

— А где пикадоры? — спросил Мануэль.

— Выбирают лошадей. Дерутся, кому достанется самый резвый скакун,— ухмыльнулся Эрнандес.

Мулы под щелканье бичей и звон колокольчиков галопом проскочили в ворота; мертвый бычок взрыл боровду в песке.

Как только провезли быка, все выстроились для выхода.

Впереди стояли Мануэль и Эрнандес. За ними — члены их куадрилий, перекинув через руку тяжелые плащи. Позади всех — четыре пикадора верхами, стальные наконечники отвесно поднятых копий поблескивали в полумраке конюшни.

— Почему это Ретана скупится на освещение, лошадей не разглядишь,— сказал один из пикадоров.

— Он знает, что мало радости разглядывать его кляч,— ответил другой пикадор.

— Эта дохлятина подо мной едва на ногах держится,— сказал первый пикадор.

— Какие ни на есть, а лошади.

— Лошади-то они лошади.

Они болтали в темноте, сидя на своих тощих лошадях.

Сурито молчал. У него была единственная надежная лошадь. Он успел испытать ее в загоне, она слушалась повода и шпор. Он снял повязку с ее правого глаза и пере-

розал веревки, которыми ее уши были плотно притянуты к голове. Это была хорошая, крепкая лошадь, крепко стоявшая на ногах. Больше ему ничего не нужно. Он непременно удержится на ней до конца боя. Сидя в высоком стеганом седле под тусклым фонарем, дожидаясь выхода на арену, он мысленно проделал весь бой. Другие пикадоры, справа и слева от него, продолжали болтать. Он не слышал их.

Оба матадора стояли рядом впереди своих куадрилий, одинаково подхватив плащи левой рукой. Мануэль думал о трех юношах позади него. Все трое были мадридцы, как Эрнандес, лет по девятнадцати. Один из них, цыган, спокойный, сдержанный, смуглолицый, понравился Мануэлю. Он обернулся.

— Как тебя зовут? — спросил он цыгана.

— Фуентес, — ответил цыган.

— Хорошее имя, — сказал Мануэль.

Цыган улыбнулся, показывая белые зубы.

— Когда бык выйдет, перехвати его и погоняй немножко, — сказал Мануэль.

— Хорошо, — сказал цыган. Лицо его стало серьезно. Он начал думать о том, что будет делать на арене.

— Начинают, — сказал Мануэль Эрнандесу.

— Ну что ж, идем.

Подняв голову, покачиваясь в такт музыке, размахивая правой свободной рукой, они вышли на арену, ступая по желтому песку под дуговыми фонарями; за ними двинулись куадрильи, позади — пикадоры верхами, а после всех — служители и позвякивающая упряжка мулов. Толпа аплодировала Эрнандесу, когда они шли через арену. Они выступали горделиво, покачиваясь в такт музыке, глядя прямо перед собой.

Они поклонились президенту¹, и шествие распалось на составные части. Матадоры подошли к барьеру и сменили тяжелые мантии на легкие боевые плащи. Мулов увели с арены. Пикадоры на коротком галопе объехали кругом арены, и двое из них ускакали обратно в ворота. Служители разровняли песок.

Мануэль выпил стакан воды, поданный ему одним из подручных Ретаны, который должен был прислуживать Мануэлю и подавать ему шпаги.

¹ Президент — должностное лицо, наблюдающее за боем быков,

Эрнандес, поговорив со своим служителем, подошел к Мануэлю.

— Тебя хорошо встретили, мальчик,— сказал ему Мануэль.

— Меня любят,— радостно улыбнулся Эрнандес.

— Как прошел выход? — спросил Мануэль подручного Ретаны.

— Как свадебный поезд,— ответил тот,— Блестяще. Вы оба вышли, что твои Хоселито и Бельмонте.

Сурито проскакал мимо них, точно грузная конная статуя. Он повернул лошадь мордой к корралю, откуда должен был появиться бык. Странно выглядит арена в свете дуговых фонарей. Он привык работать на жарком дневном солнце, за большие деньги. Эта канитель при фонарях ему не нравилась. Уж начинали бы поскорей.

Мануэль подошел к нему.

— Валяй, Манос,— сказал он.— Урезонь его, чтобы был как раз по мне.

— Я его урезоню, малыш.— Сурито сплюнул в песок.— Он у меня попрыгает.

— Нажимай на него, Манос,— сказал Мануэль.

— Уж я нажму,— сказал Сурито.— Чего мы ждем?

— Вот он идет,— сказал Мануэль.

Сурито сидел в седле, крепко упираясь ногами в стремена, сжимая могучими ляжками в кожаных набедренниках бока лошади, держа в левой руке поводья, в правой — длинное копьё, низко надвинув на глаза широкополую шляпу для защиты от света, и не отрываясь смотрел на далекую дверь корраля. Уши коня дрогнули. Сурито огладил его левой рукой.

Красная дверь корраля распахнулась, и несколько секунд Сурито видел далекий пустой проход по ту сторону арены. Потом бык выбежал из прохода на свет дуговых фонарей, заскользил, тормозя всеми четырьмя ногами, и, радуясь свободе после темного загона, пошел галопом — мягким, частым галопом, беззвучным, если бы не всхрапывание широко раздутых ноздрей.

В первом ряду, положив блокнот на бетонные перила и наклонившись вперед, заштатный репортер «Эль Эральдо» со скучающим видом небрежно записывал: «Бык Negro, черной масти, номер 42, очень воинственно настроенный, выбежал со скоростью 90 миль в час...»

Мануэль, который следил за быком, облокотившись на барьер, махнул рукой, и цыган выбежал вперед, волоча

за собой плащ. Бык на всем скаку повернул и кинулся на плащ, опустив голову и задрав хвост. Цыган двигался зигзагами, и когда бык увидел его, то забыл про плащ и кинулся на человека. Цыган подбежал к красному барьеру и перепрыгнул через него, и бык ударил рогами в деревянные доски. Он дважды стукнул рогами о барьер, вслепую бодая дерево.

Репортер «Эль Эральдо» закурил сигарету, бросил спичкой в быка и записал в свой блокнот: «...крупный, рога основательные, способные удовлетворить даже платных посетителей. Негр обнаружил явное желание вторгнуться на территорию матадоров».

Когда бык ударил рогами в барьер, Мануэль вышел вперед на утоптаный песок. Уголком глаза он видел Сурито верхом на белой лошади у самого барьера, слева от себя, на расстоянии четверти круга. Мануэль держал плащ близко перед собой, сжимая складки обеими руками, и кричал быку: «Ю-у! Ю-у!» Бык повернул и, словно оттолкнувшись от барьера, кинулся на плащ; Мануэль шагнул в сторону и обвел быка вокруг себя, размахивая плащом перед самыми рогами. Когда плащ описал круг, Мануэль снова стоял против быка, держа плащ почти вплотную у груди, а когда бык вторично кинулся, снова сделал полный поворот. При каждом повороте толпа одобрительно кричала.

Четыре раза он повертывался вместе с быком, поднимая плащ, вздувавшийся парусом, и каждый раз заставлял быка снова кинуться. После пятого поворота он прижал плащ к бедру и стремительно перевернулся, так что плащ закружился вихрем, как пачки балерины, и бык, словно на привязи, обежал вокруг него; потом Мануэль отступил, оставив быка лицом к лицу с Сурито на белой лошади, крепко упершейся ногами в песок; лошадь смотрела на быка, уши ее выставились вперед, губы дергались; Сурито, надвинув шляпу на глаза, подался вперед, из-под согнутого локтя полуопущенной правой руки под острым углом торчало длинное копьё, обращенное стальным наконечником к быку.

Репортер «Эль Эральдо», затягиваясь сигаретой, следя глазами за быком, писал: «Маститый Маноло, исполнив серию вполне приемлемых вероник и продемонстрировав рекорте в стиле Бельмонте, заслужил аплодисменты знатоков, после чего мы перенеслись в поле деятельности кавалерии».

Сурито сидел в седле, измеряя взглядом расстояние между быком и наконечником копыя. Бык подобрался и кинулся, устремив глаза на грудь лошади. Когда он опустил голову, готовясь к удару, Сурито вознил острие копыя в вздувшийся бугор мышц между лопатками быка, налег всей тяжестью на древко, поднял левой рукой белую лошадь на дыбы и перебросил ее направо, протолкнув быка под брюхом лошади, так что рога не задели ее, и лошадь стала на передние ноги, дрожа всем телом, а бык, хлестнув лошадь хвостом по груди, кинулся на плащ, протянутый ему Эрнандесом.

Эрнандес побежал боком, уводя быка своим плащом в сторону второго пикадора. Он взмахом плаща остановил быка прямо против всадника и отступил. Увидав лошадь, бык бросился на нее. Копье пикадора скользнуло по спине быка, и когда бык вскинул лошадь на рога, пикадор, уже наполовину вылетевший из седла, выпростал правую ногу и стал валиться влево, чтобы заслониться лошадью от быка. Лошадь, поднятая на рога и вспоротая, грохнулась оземь, и бык продолжал бодать ее, а пикадор, оттолкнувшись ногами в сапогах от лошади, лежал неподвижно, дожидаясь, когда его поднимут, унесут подальше и помогут ему встать.

Мануэль не мешал быку бодать упавшую лошадь; спешить было некуда, пикадору ничего не грозило; а кроме того, пусть поволнуется, такому пикадору это полезно. В следующий раз будет дольше держаться. Уж и пикадоры! Он посмотрел на Сурито, который, собрав лошадь, ждал в двух шагах от барьера.

— Ю-у! Томар! — крикнул Мануэль, чтобы привлечь внимание быка, и протянул ему плащ, который держал обеими руками. Бык оставил лошадь и кинулся за плащом, и Мануэль побежал в сторону, широко развернув плащ, потом остановился и крутым поворотом поставил быка мордой к Сурито.

«Негру пришлось заплатить за смерть Росинанта несколькими вара, причем Эрнандес и Маноло показали искусные китэ,— писал репортер «Эль Эральдо». — Он увернулся от стального острия и со всей очевидностью дал понять, что он не большой любитель лошадей. Маститый пикадор Сурито еще раз показал свое умение владеть копьем, проделав, в частности, искусное суэрте...»

— Олэ! Олэ! — закричал мужчина, сидевший рядом с ним. Крик потонул в реве толпы, и мужчина хлопнул

репортера по спине. Тот поднял глаза от блокнота и увидел, что Сурито, как раз под ним, стоя в стременах, перегнулся через голову лошади и вонзил копые в загривок быка; копые торчало во всю длину под острым углом у него из-под мышки,— он держал его почти за наконецник,— и, навалившись всей своей тяжестью, Сурито удерживал быка, и бык рвался кинуться на лошадь, а Сурито, перегнувшись далеко вперед, удерживал его, удерживал и медленно отводил лошадь в сторону, пока она не оказалась в безопасности. Как только лошадь миновала рога, Сурито ослабил нажим, и когда бык рванулся, треугольное острое копые вспорол бугор мышц между его лопаток; бык, очутившись перед плащом Эрнандеса, кинулся на плащ, и юноша увел его на середину арены.

Сурито, оглаживая свою лошадь, смотрел, как бык кидается за плащом, которым Эрнандес размахивал перед его мордой в ярком свете фонарей под крики толпы.

— Ты видел? — спросил Сурито, обращаясь к Мануэлю.

— Замечательно, — ответил Мануэль.

— Досталось ему от меня, — сказал Сурито. — Посмотри на него.

Кидаясь на плащ, взметнувшийся у самой его морды, бык вдруг упал на колени. Он сразу вскочил на ноги, но Мануэль и Сурито через всю арену увидели струю крови, гладкую и блестящую, на черной лопатке быка.

— Досталось ему от меня, — повторил Сурито.

— Хороший бык, — сказал Мануэль.

— Еще один раз, и я убил бы его.

— Сейчас начнется третий тур, — сказал Мануэль.

— Посмотри на него, — повторил Сурито.

— Мне пора, — сказал Мануэль и побежал в другой конец арены, где появился еще один пикадор; служители, держа лошадь под уздцы и колотя ее палками по ногам, старались подтащить ее к быку, а бык стоял, опустив голову, нерешительно перебирая копытами.

Сурито пустил свою лошадь шагом и, подъехав поближе, хмуясь, следил за ходом боя.

Наконец бык кинулся, служители бросились бежать к барьеру, пикадор промахнулся, и бык, поддев рогами брюхо лошади, забросил ее себе на спину.

Сурито наблюдал, не упуская ни одной подробности: вот подбежали служители в красных куртках и оттащили пикадора. Пикадор, уже на ногах, чертыхается, размахи-

вает руками. Мануэль и Эрнандес держат наготове плащи. А бык, огромный черный бык стоит с лошадьё на спине — копыта болтаются, уздечка зацепилась за рога. Черный бык с лошадьё на спине шатается на коротких ногах, то вскидывает голову, то опускает ее, стараясь сбросить с себя лошадь; наконец лошадь сброшена, и бык кинулся на плащ, который Мануэль развернул перед его мордой.

Мануэль чувствовал, что бык стал медлительнее. Он терял много крови. По всему боку поблескивала кровь.

Мануэль снова подставил быку плащ. Сейчас кинется — свирепый, глаза вытаращены, следит за плащом. Мануэль отступил в сторону и, подняв руки, растянул плащ перед мордой быка, готовясь сделать веронику.

Теперь он опять стоял против быка. Да, голова слегка опустилась. Он держит ее ниже. Это все Сурито.

Мануэль взмахнул плащом; сейчас кинется; он ступил в сторону и сделал еще одну веронику. Как страшно наставил рог, думал Мануэль. С него хватит, теперь он на чеку. Теперь он подстерегает. Не спускает с меня глаз. Но я каждый раз подставляю ему плащ.

Он тряхнул плащом перед мордой быка; сейчас кинется; Мануэль ступил в сторону и повернулся на месте. Слишком близко получилось. Нельзя работать так близко к нему.

Край плаща был мокрый от крови там, где он скользнул по спине быка.

Ну ничего, еще один раз, последний.

Мануэль, лицом к быку, в пятый раз протянул ему плащ. Бык смотрел на него. Неподвижным взглядом, выставив рога, бык смотрел на него, подстерегая.

— Ю-у! — крикнул Мануэль. — Торо! — и, отклонившись назад, взмахнул плащом. Сейчас кинется. Он ступил в сторону, снова махнул плащом и перевернулся, и бык обежал вокруг него, следуя за плащом, а потом остался ни с чем, застыв на месте, словно замороженный. Мануэль, собрав плащ в правую руку, помахал им перед мордой быка, чтобы показать, что бык оцепенел, и пошел прочь.

Аплудисментов не было.

Мануэль пошел по песку к барьеру, а тем временем Сурито уехал с арены. Пока Мануэль работал с быком, рожок протрубил сигнал к выходу бандерильеро. Сигнал лишь смутно дошел до его сознания. Служители накрывали брезентом двух убитых лошадей и посыпали песок вокруг них опилками.

Мануэль подошел к барьеру выпить воды. Служитель протянул ему тяжелый пористый кувшин.

Фуентес, высокий цыган, стоял наготове, держа в руках пару бандериллий, сложив вместе тонкие красные палочки крючками вперед. Он посмотрел на Мануэля.

— Ступай,— сказал Мануэль.

Цыган выбежал на арену. Мануэль, оставив кувшин, вытирал лицо носовым платком и смотрел на цыгана.

Репортер «Эль Эральдо» нагнулся за бутылкой теплого шампанского, которая стояла у него между ног, отхлебнул и закончил абзац:

«...престарелому Маноло не удалось вызвать аплодисментов серией трафаретных трюков с плащом, после чего начался следующий номер программы».

Бык все еще стоял не двигаясь посреди пустой арены. Фуентес, высокий, прямой, уверенно подходил к быку, раскинув руки, в каждой руке по тонкой красной палочке, держа ее кончиками пальцев, выставив острия вперед. Фуентес подходил все ближе, а позади него, немного в стороне, шел другой член куадрильи с плащом. Бык посмотрел на Фуентеса и вышел из оцепенения.

Его глаза впились в остановившегося перед ним пыгана. Тот откинулся назад и что-то крикнул быку. Потом покрутил бандерильями, и блеск стальных наконечников привлек взгляд быка.

Задрав хвост, бык рванулся вперед.

Он бросился прямо на Фуентеса, не спуская с него глаз. Фуентес стоял неподвижно, откинувшись назад, выставив бандерильи. Когда бык опустил голову для удара, Фуентес еще больше откинулся назад, руки его сошлись над головой, бандерильи опустились под прямым углом, и, подавшись вперед, Фуентес вонзил их в лопатку быка; далеко подавшись вперед над рогами и опираясь на отвесно торчавшие палочки, плотно сдвинув ноги, он пропустил быка мимо себя, слегка отклонившись в сторону.

— Олэ! — закричала толпа.

Бык неистово бодался, высоко подпрыгивая, точно выскакивающая из воды форель. Красные рукоятки бандериллий качались при каждом прыжке.

Мануэль со своего места у барьера заметил, что бык, бодаясь, выставляет вперед правый рог.

— Скажи ему, чтобы следующий раз колол справа,— сказал он одному из юношей, когда тот побежал к Фуентесу с новой парой бандериллий.

Тяжелая рука опустилась на плечо Мануэля.

— Ну как, малыш? — спросил Сурито.

Мануэль молча следил за быком.

Сурито облокотился на барьер и налег на него всей своей тяжестью. Мануэль повернулся к нему.

— Ты сегодня в форме, — сказал Сурито.

Мануэль покачал головой. Ему нечего было делать до следующего тура. Цыган хорошо работал бандерильями. Бык будет хорошо подготовлен к следующему туру. Хороший бык. Все, что было до сих пор, — это пустяки. Самый конец, удар шпагой, вот что решит дело. Не то чтобы он очень волновался. Он даже не думал об этом. Но у него было дурное предчувствие. Он стоял у барьера и смотрел на быка, готовясь к следующему туру, обдумывая, как он будет работать с мулетой, утомит быка, сделает его податливым.

Цыган снова шел навстречу быку, шел, вытягивая носки, горделиво, как танцор по бальному залу; красные палочки бандерильи покачивались в такт его шагам. Бык — теперь он не был в оцепенении — следил за ним, подстерегая его, но ждал, пока он подойдет поближе, чтобы наверняка достать его, всадить в него рога.

Когда Фуентес подошел почти вплотную, бык кинулся на него. Как только бык опустил голову, Фуентес, пятясь, отбежал назад, потом остановился, подался вперед, вытянув руки, поднявшись на носки, и в ту самую секунду, когда рога миновали его, всадил бандерильи в тугой бугор мышц между лопаток быка.

Толпа бешено аплодировала.

— Недолго этот мальчик будет выступать по вечерам, — сказал подручный Ретаны, обращаясь к Сурито.

— Хорошо работает, — сказал Сурито.

— Смотрите, смотрите!

Все трое следили за цыганом.

Фуентес стоял на арене спиной к барьеру. Позади него, по эту сторону барьера, стояли двое из куадрильи, держа наготове плащи, чтобы отвлечь внимание быка.

Бык, высунув язык, тяжело поводя боками, следил за цыганом. Теперь попался, думал бык. Стоит вплотную к красным доскам, на расстоянии короткого прыжка. Бык неотступно следил за ним.

Цыган откинулся, отвел руки назад, держа бандерильи крючками вперед. Он позвал быка, топнул ногой. Бык

медлил, выжидая. Он хотел бить наверняка. Хватит с него колючек.

Фуентес подошел ближе к быку. Откинулся назад. Снова позвал быка. Кто-то в толпе предостерегающе крикнул.

— Черт, слишком близко,— сказал Сурито.

— Смотрите, смотрите,— сказал подручный Ретаны.

Откинувшись назад, Фуентес повертел бандерильями, поддразнивая быка, потом высоко подпрыгнул на месте. Как только цыган подпрыгнул, бык, задрав хвост, кинулся на него. Фуентес плавно опустился на носки и, вытянув руки, подавшись вперед всем телом, вонзил бандерильи под прямым углом, ловко уклонившись от правого рога.

Хлопающие по доскам плащи отвлекли внимание быка, и он с размаху всадил рога в барьер.

Цыган под громкие аплодисменты толпы побежал вдоль барьера. Куртка на нем была разорвана — бык задел ее кончиком рога. Фуентес радостно улыбался, показывая прореху зрителям. Он обошел арену кругом. Когда он проходил мимо Сурито, сияя улыбкой, указывая на свою куртку, Сурито улыбнулся.

Последнюю пару бандерильи втыкал кто-то другой. Никто не обращал на него внимания.

Служитель Мануэля всунул палку в красную ткань мулеты, сложил ее и передал через барьер Мануэлю. Потом открыл кожаный футляр, достал шпагу и, не вынимая из ножен, протянул Мануэлю. Мануэль вытащил клинок за красную рукоятку, и ножны, обвиснув, упали.

Он посмотрел на Сурито. Старый пикадор увидел, что Мануэль весь в поту.

— Теперь он от тебя не уйдет, малыш,— сказал Сурито.

Мануэль кивнул.

— Он хорошо подготовлен,— сказал Сурито.

— Как раз как надо,— подтвердил служитель.

Мануэль кивнул.

Трубач наверху, под самой крышей, протрубил сигнал к последнему туру, и Мануэль пошел через арену туда, где в одной из темных лож должен был сидеть президент.

В первом ряду заштатный репортер «Эль Эральдо» отпил большой глоток теплого шампанского. Он решил, что не стоит подробно записывать все перипетии боя, он напишет отчет, когда придет в редакцию. Чего ради, в самом деле? Всего-то вечерний бой. Если он что-нибудь

пропустит, можно посмотреть в утренних газетах. Он еще раз отхлебнул шампанского. У него свиданье у «Максима» в двенадцать. Да и кто такие, в сущности, эти матадоры? Мальчишки и лодыри. Просто-напросто лодыри. Он спрятал блокнот и посмотрел на Мануэля, который очень одиноко стоял у края арены и размахивал шляпой в знак приветствия в сторону одной из невидимых лож темного амфитеатра. Посреди арены спокойно стоял бык, уставясь в пространство.

— Я посвящаю этого быка вам, сеньор, и мадридской публике, самой просвещенной и самой великодушной во всем мире, — сказал Мануэль. Это была общепринятая формула. Он сказал ее всю. Он мог бы несколько сократить ее для вечернего боя.

Он отвесил поклон в темноту, выпрямился, бросил шляпу через плечо и, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, направился к быку.

Мануэль подходил к быку. Бык смотрел на него; глаза его бегали. Мануэль отметил, что бандерильи свисают с левой лопатки и что из раны от копья Сурито все еще течет блестящая струйка крови. Он отметил, как поставлены ноги быка. Подвигаясь вперед, с мулетой в левой руке и шпагой в правой, он следил за ногами быка. Бык не может кинуться, пока не сдвинет все четыре ноги. Теперь он стоял спокойно, расставив ноги.

Мануэль подходил к быку, следя за его ногами. Все хорошо. Он справится. Нужно заставить быка опустить голову, чтобы можно было перегнуться через рога и убить его. Он не думал о том, как вонзит шпагу, как убьет быка. Он думал только о том, что нужно делать сейчас. Предстоящий бой все же угнетал его. Подвигаясь вперед, следя за ногами быка, он видел и его глаза, влажную морду и широкий разворот выставленных вперед рогов. Вокруг глаз быка были светлые круги. Бык следил глазами за Мануэлем. Он чувствовал, что доберется до этого маленького, с белым лицом.

Мануэль остановился против быка. Втыкая острие шпаги в мулету, перекладывая шпагу в левую руку и натягивая красную ткань, как кливер, он в то же время видел концы рогов: один рог раскололся, когда бык ударил в барьер. Другой был острый, как игла дикобраза. Натягивая мулету, Мануэль заметил красное пятно на белом основании рога. Отмечая все это, он не терял из виду ноги быка. Бык в упор смотрел на Мануэля.

Выжидает, подумал Мануэль. Бережет силы. Нужно вывести его из неподвижности, заставить опустить голову. Главное — заставить опустить голову. Сурито заставил его опустить голову, но он опять поднял ее. Когда я начну гонять его, кровь пойдет из раны, тогда голова опустится.

Держа перед собой мулету, натягивая ее шпагой, Мануэль позвал быка.

Бык смотрел на него.

Мануэль вызывающе откинулся назад и взмахнул туго натянутой мулетой.

Бык увидел мулету. Она была ярко-пунцовая под дуговыми фонарями. Ноги быка сдвинулись.

Вот сейчас. У-ух! Когда бык кинулся, Мануэль, отклонившись в сторону, поднял мулету, так что она прошла над рогами быка и скользнула по его широкой спине от головы до хвоста. Бык боднул только воздух. Мануэль не двинулся с места.

Пройдя под мулетой, бык повернулся, как кошка, оглядывая угол, и стал против Мануэля.

Бык готовился к новой атаке. Его грузная неподвижность исчезла. Мануэль заметил свежую кровь, каплями стекавшую по ноге с черной лопатки. Он вытащил шпагу из мулеты и взял ее в правую руку. Держа мулету в опущенной левой руке, отклонившись влево, он позвал быка. Бык подобрался, не спуская глаз с мулеты. Вот сейчас, подумал Мануэль. У-ух!

Бык кинулся. Мануэль отклонился вправо и, плотно сдвинув ноги, провел мулетой над головой быка, описав корпусом кривую, повторенную шпагой, ярко сверкнувшей под дуговыми фонарями.

Когда паса натурале кончилась, бык снова кинулся, и Мануэль поднял мулету, делая паса де печо. Он стоял неподвижно, а бык вплотную прошел мимо него под поднятой мулетой. Мануэль откинул голову, уклоняясь от гремящих рукояток бандериллий. Горячее черное тело быка коснулось его груди.

Черт, слишком близко, подумал Мануэль. Сурито, перегнувшись через барьер, торопливо сказал что-то цыгану, и тот, подхватив плащ, побежал к Мануэлю. Сурито, низко нахлобучив шляпу, смотрел через арену на Мануэля.

Мануэль снова стоял против быка, держа мулету в опущенной левой руке. Бык, нагнув голову, следил глазами за мулетой.

— Если бы это делал Бельмонте, они бесились бы от восторга, — сказал подручный Ретаны.

Сурито ничего не ответил. Он молча следил за Мануэлем, стоявшим в середине арены.

— Где это хозяин откопал его? — спросил подручный Ретаны.

— В больнице, — сказал Сурито.

— Скоро опять туда попадет, — сказал подручный Ретаны.

Сурито повернулся к нему.

— Постучи о дерево, — сказал он, показав на барьер.

— Я же в шутку.

— Постучи о дерево.

Подручный Ретаны наклонился и три раза постучал о барьер.

— Смотри, — сказал Сурито.

В середине арены, под дугowymi фонарями, Мануэль стоял против быка, опустившись на одно колено; он поднял мулету обеими руками, и бык кинулся, задрав хвост.

Мануэль уклонился от рогов и, когда бык снова кинулся, описал мулетой полукруг, и бык упал на колени.

— Да он просто блестящий матадор, — сказал подручный Ретаны.

— Нет, — сказал Сурито.

Мануэль встал, держа мулету в левой, а шпагу в правой руке, и поблагодарил за аплодисменты, донесшиеся из темного амфитеатра.

Бык поднялся на ноги и ждал, низко опустив голову.

Сурито что-то сказал двум другим юношам из куадрильи, они выбежали на середину арены и стали с плащами позади Мануэля. Теперь позади него стояло четверо. Эрнандес следовал за Мануэлем с тех пор, как тот вышел с мулетой. Фуентес, высокий, стройный, стоял, прижав плащ к груди, рассеянным взглядом наблюдая бой. Когда подбежали еще двое, Эрнандес указал им места — одному справа, другому слева. Мануэль один стоял впереди против быка.

Мануэль знаком велел юношам отойти подальше. Медленно отступая, они видели, что лицо его бледно и покрыто потом.

Не понимают они, что ли, что нужно отойти подальше? Нельзя же дразнить плащами быка, когда он уже застыл на месте и готов? Лучше не мешали бы, уж и так не легко.

Бык стоял неподвижно, расставив ноги, и смотрел на мулету. Мануэль свернул мулету левой рукой. Глаза быка следили за ней. Голова была опущена, но недостаточно низко.

Мануэль подразнил его мулетой. Бык не двинулся. Только глаза следили за ней.

Свинцом налился, подумал Мануэль. Ноги квадратом. Готов. Самое время.

Он мыслил привычными попятями своего ремесла. Иногда соответствующий термин не сразу приходил на ум, и тогда мысль не складывалась. Его чутье и опыт работали автоматически, а мозг работал медленно, подыскивая слова. Он знал все о быках. Ему не надо было ни о чем думать. Он просто сделал то, что от него требовалось. Его глаза все видели, а тело проделывало нужные движения без помощи мысли. Если бы он стал думать, он бы погиб.

И сейчас, стоя против быка, он сознавал многое одновременно. Вот рога, один расщепленный, другой ровный и острый, нужно стать на линию левого рога, опустить мулету, чтобы бык последовал за ней, сделать короткий и прямой выпад и, нагнувшись над рогами, всадить шпагу по рукоятку в кружок величиной с пятипесетовую монету между лопатками быка, почти у самого загривка. Он должен все это сделать и выпрямиться, увернувшись от рогов. Он знал, что должен все это сделать, но думал только одно: «Corto y derecho».

Коротко и прямо, думал он, сворачивая мулету. Коротко и прямо — вытаскивая шпагу из мулеты. Он стал против расщепленного левого рога, перебросил мулету так, что она образовала крест со шпагой, которую он держал на уровне глаз в правой руке, и, поднявшись на носки, нацелился клинком на самую высокую точку между лопатками быка.

Коротко и прямо он бросился на быка.

Толчок — и он почувствовал, что взлетает на воздух. Он нажал на рукоятку, когда его подняло и подбросило, и шпага выскочила у него из рук. Он упал ничком, а бык подбирался к нему, и Мануэль, лежа на земле, отталкивал морду быка ногами в туфлях. Еще и еще, а бык добирался до него, от нетерпения вслепую тыча рогами, толкая его головой, вгоняя рога в песок. Отталкивая быка ногами, словно жонглер, подбрасывающий мяч, Мануэль не давал ему подойти вплотную.

Мануэль почувствовал ветерок — взметнулись плащи, отвлекающие быка, и потом бык исчез, одним прыжком перескочив через Мануэля. Стало темно, когда бык прошел над ним. Даже не задел.

Мануэль встал и поднял мулету. Фуентес подал ему шпагу. Она согнулась, когда наскочила на лопатку. Мануэль выправил ее о колено и побежал к быку, который стоял возле одной из убитых лошадей. Куртка Мануэля разлеталась под мышкой, там, где она зацепилась за рог.

— Уведи его отсюда! — крикнул Мануэль цыгану. Бык почуял кровь убитой лошади и всадил рога в брезент. Когда он кинулся на плащ Фуентеса, с расщепленного рога свисал брезент, и в публике раздался смех. Бык яростно мотал головой, стараясь сбросить брезент. Эрнандес, забежав сзади, схватил брезент за край и ловко сдернул его с рога.

Бык повернул было за брезентом, но вдруг остановился. Он опять занял оборонительную позицию. Мануэль шел к быку с мулетой и шпагой. Подойдя вплотную, он взмахнул мулетой. Бык не двинулся.

Мануэль стал боком к нему, нацеливаясь острием шпаги. Бык был недвижим, точно мертвый, и явно не способен к нападению.

Мануэль поднялся на носки, нацелился стальным острием и кинулся на быка.

Снова толчок. Мануэля отбросило назад, и он с силой ударился о песок. На этот раз нельзя было отбиваться ногами, — бык стоял прямо над ним. Мануэль лежал не шевелясь, положив голову на руки, и бык толкал его рогами. Толкал в спину, в прижатое к песку лицо. Мануэль почувствовал, как рог вошел в песок между его скрепленными руками. Бык ударил его в поясницу. Лицо Мануэля вдавилось в песок. Бык зацепил рогом рукав куртки и оторвал его напроць. Захлопали плащи, и бык, оставив Мануэля, последовал за ними.

Мануэль поднялся на ноги, подобрал мулету и шпагу. Потом провел большим пальцем по острию и побежал к барьеру за новой шпагой.

Служитель передал ему шпагу через барьер.

— Вытрите лицо, — сказал он.

Мануэль, снова подбегая к быку, вытер кровь с лица носовым платком. Он не видел Сурито. Где же Сурито?

Куадрилья отступила от быка, держа плащи наготове.

Бык, утомленный нападением, уже снова стоял неподвижно и грузно.

Мануэль пошел к нему, держа мулету в левой руке. Он остановился и взмахнул ею. Бык не двинулся. Мануэль провел мулетой справа налево, слева направо перед мордой быка. Глаза быка следили за мулетой, поворачивались при каждом взмахе, но он не кидался. Он ждал Мануэля.

Мануэль волновался. Ничего нельзя сделать, надо ударить. Коротко и прямо. Он подошел близко к быку, скрестил шпагу с мулетой и кинулся. Вонзая шпагу, он перебросил корпус влево, чтобы избежать острого рога. Бык проскочил мимо него, шпага взлетела вверх, сверкнув под дуговыми фонарями, и упала, красной рукояткой вперед, на песок.

Мануэль подбежал и поднял ее. Она согнулась, и он выпрямил ее о колено.

Когда он бежал к быку, который снова застыл на месте, он поравнялся с Эрнандесом, державшим плащ наготове.

— Он из одних костей,— сочувственно сказал юноша.

Мануэль кивнул. Он вытер лицо и спрятал запачканный кровью платок в карман.

Вот он стоит. У самого барьера. Проклятый! Может быть, у него в самом деле одни кости? Может быть, на нем нет ни одного местечка, куда может войти шпага? Черта с два, нет! Он им покажет, что есть.

Мануэль протянул быку мулету, но бык не двинулся. Потом помахал мулетой перед мордой быка. Все напрасно.

Он сложил мулету, вытащил шпагу, стал боком и бросился на быка. Вонзив шпагу, он изо всей силы нажал на рукоять, шпага согнулась, потом высоко подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, упала в толпу. Когда шпага выскочила у него из рук, Мануэль успел увернуться от рогов.

Первые подушки, полетевшие на арену из темноты, не задели его. Потом подушка попала ему в лицо, в окровавленное лицо, обращенное к толпе. Они быстро летели одна за другой. Падали на песок. Кто-то в первом ряду бросил в него пустой бутылкой из-под шампанского. Она ударила Мануэля по носу. Он стоял, всматриваясь в темноту, откуда все это летело. Потом что-то просвистело в воздухе и упало возле него. Его шпага. Мануэль нагнулся и поднял ее. Он выпрямил шпагу о колено и взмахнул ею перед толпой.

— Благодарю вас,— сказал он.— Благодарю вас.

Ох, мерзавцы! Мерзавцы! Ох, подлые мерзавцы! Он пинком отбросил подушку и побежал к быку.

Вот он стоит. Как ни в чем не бывало. Ну, погоди же, мерзавец!

Мануэль провел мулетой перед черной мордой быка.

Все напрасно.

Не жалеешь? Хорошо. Он подошел вплотную и ткнул острым концом мулеты во влажную морду быка.

Бык кинулся, Мануэль отскочил назад, но споткнулся о подушку и, падая, почувствовал, что рог вошел в него, вошел под ребро. Он ухватился обеими руками за рог и поехал задом, крепко зажимая место, куда вошел рог. Бык подбросил его, и он очутился на песке. Он лежал неподвижно. Ничего страшного. Бык не трогал его.

Он встал, кашляя, чувствуя себя разбитым и погибшим. Подлые мерзавцы!

— Шпагу мне! — крикнул он.— Муету!

Фусентес подошел с мулетой и шпагой.

Эрнандес обнял его одной рукой.

— Да ступайте вы в лазарет,— сказал он.— Не валяйте дурака.

— Уйди от меня,— сказал Мануэль.— Уйди к черту!

Он вырвался. Эрнандес пожал плечами. Мануэль побежал к быку.

Вот он стоит, грузный, расставив ноги.

Ну, погоди, мерзавец! Мануэль вытащил шпагу из мулеты, нацелился и бросился на быка. Он почувствовал, что клинок вошел до отказа. По самую рукоять. Все пять пальцев ушли в рану. Он стоял над быком, и руке было горячо от крови быка.

Потом бык стал валиться на бок, увлекая его за собой. Мануэль отступил на шаг и смотрел, как бык падал — сначала медленно, потом вдруг перевернулся, задрав все четыре ноги.

Мануэль поднял к толпе руку, теплую от крови быка.

Ну, погодите, мерзавцы! Он хотел заговорить, но кашель помешал ему. Душило что-то горячее. Он поискал глазами мулету. Нужно пойти и приветствовать президента. К черту президента! Он сел на песок и уставился на убитого быка. Все четыре ноги задраны. Толстый язык высунулся. Что-то ползает по его брюху и между ногами. Там, где волос редкий. Мертвый бык. К черту быка!

К черту всех! Он хотел встать, но опять закашлялся. Он снова опустился на песок. Кто-то подошел и поднял его.

Его унесли в лазарет — бегом пробежали по песку, постояли у ворот, пропуская упряжку мулов, потом шли по темному проходу, потом с кряхтением тащили вверх по лестнице и наконец положили.

Врач и двое санитаров в белых халатах дожидались его. Его положили на операционный стол. Разрезали на нем рубашку. Мануэль очень устал. В груди жгло, как огнем. Он закашлялся, и что-то прижали к его губам. Все очень суетились вокруг него.

Электрический свет бил прямо в глаза. Мануэль закрыл глаза.

Он слышал тяжелые шаги по лестнице. Потом перестал слышать. Потом слышал далекий шум. Это толпа. Ну что ж, второго быка придется убить кому-нибудь другому. Они уже разрезали всю его рубашку. Врач улыбнулся ему. А вот и Ретана.

— Здравствуй, Ретана,— сказал Мануэль. Он не слышал своего голоса.

Ретана улыбнулся ему и что-то сказал. Мануэль не расслышал.

Сурито стоял возле стола и, нагнувшись, смотрел, как работает врач. Он был в костюме пикадора, но без шляпы.

Сурито что-то сказал ему. Мануэль не расслышал.

Сурито говорил с Ретаной. Один из санитаров улыбнулся и передал Ретане ножницы. Ретана передал их Сурито. Сурито что-то сказал Мануэлю. Он не расслышал.

К черту операционный стол! Не в первый раз ему лежать на операционном столе. Он не умрет. Если бы он умирал, тут был бы священник.

Сурито что-то говорил ему, подняв ножницы.

Вот оно что! Они хотят отрезать его косичку. Они хотят отрезать его колету.

Он сел на операционном столе. Врач отступил назад, рассерженный. Мануэль почувствовал, что кто-то схватил его за плечи.

— Ты этого не сделаешь, Манос,— сказал Мануэль.

Он вдруг ясно слышал голос Сурито.

— Успокойся,— сказал Сурито.— Не сделаю. Я пошутил.

— Я был в форме,— сказал Мануэль.— Мне просто не повезло. Вот и все.

Мануэль лег на спину. Что-то положили ему на лицо. Все это знакомо. Он глубоко вдыхал привычный запах. Он устал. Он очень, очень устал. Потом маску сняли с его лица.

— Я был в форме,— слабым голосом проговорил Мануэль.— Я был в блестящей форме.

Ретана посмотрел на Сурито и пошел к дверям.

— Я останусь с ним,— сказал Сурито.

Ретана пожал плечами.

Мануэль открыл глаза и посмотрел на Сурито.

— Скажи сам, разве я не был в форме, Мапос? — спросил он, с надеждой глядя на Сурито.

— Еще бы,— сказал Сурито.— Ты был в блестящей форме.

Санитар наложил маску на лицо Мануэля, и он глубоко вдыхал знакомый запах. Сурито неуклюже стоял возле стола, наблюдая.

В ЧУЖОЙ СТРАНЕ

Осенью война все еще продолжалась, но для нас она была кончена. В Милане осенью было холодно и темно очень рано. Зажигали электрические фонари, и было приятно бродить по улицам, разглядывая витрины. Снаружи у магазинов висело много дичи, мех лисиц порошило снегом, и ветер раздувал лисьи хвосты. Мерзлые выпотрошенные олени туши тяжело свисали до земли, а мелкие птицы качались на ветру, и ветер трепал их перья. Была холодная осень, и с гор дул ветер.

Все мы каждый день бывали в госпитале. К госпиталю можно было пройти через город разными путями. Две дороги вели вдоль каналов, но это было очень далеко. Попасть в госпиталь можно было только по какому-нибудь мосту через канал. Мостов было три. На одном из них женщина продавала каштаны. Около жаровни было тепло, и каштаны в кармане долго оставались теплыми. Здание госпиталя было старинное и очень красивое, и мы входили в одни ворота и, перейдя через двор, выходили в другие, с противоположной стороны. Во дворе мы почти всегда встречали похоронную процессию. За старым зданием стояли новые кирпичные корпуса, и там мы встречались каждый день, и были очень вежливы друг с другом, расспрашивали о здоровье, и садились в аппараты, на которые овлагались такие надежды.

К аппарату, в котором я сидел, подошел врач и спросил:

— Чем вы увлекались до войны? Занимались спортом?

— Да, играл в футбол, — ответил я.

— Прекрасно, — сказал он, — вы и будете играть в футбол лучше прежнего.

Колено у меня не сгибалось, нога высохла от колена до щиколотки, и аппарат должен был согнуть колено и заставить его двигаться, как при езде на велосипеде. Но оно все еще не сгибалось, и аппарат каждый раз стопорил, когда дело доходило до сгибания. Врач сказал:

— Все это пройдет. Вам повезло, молодой человек. Скоро вы опять будете первоклассным футболистом.

В соседнем аппарате сидел майор, у которого была маленькая, как у ребенка, рука. Он подмигнул мне, когда врач стал осматривать его руку, помещенную между двумя ремнями, которые двигались вверх и вниз и ударяли по неподвижным пальцам, и спросил:

— А я тоже буду играть в футбол, доктор?

Майор был знаменитым фехтовальщиком, а до войны самым лучшим фехтовальщиком Италии.

Врач пошел в свой кабинет и принес снимок высохшей руки, которая до лечения была такая же маленькая, как у майора, а потом немного увеличилась. Майор взял здоровой рукой снимок и посмотрел на него очень внимательно.

— Ранение? — спросил он.

— Несчастный случай на заводе, — сказал врач.

— Весьма любопытно, весьма любопытно, — сказал майор и вернул снимок врачу.

— Убедились теперь?

— Нет, — сказал майор.

Было трое пациентов одного со мною возраста, которые приходили каждый день. Все трое были миланцы; один из них собирался стать адвокатом, другой — художником, а третий хотел быть военным. И после лечебных процедур мы иногда шли вместе в кафе «Кова», рядом с театром «Ла Скала». И потому, что нас было четверо, мы шли кратчайшим путем, через рабочий квартал. Нас ненавидели за то, что мы офицеры, и часто, когда мы проходили мимо, нам кричали из кабачков: «Abasso gli ufficiali!»¹ У пятого, который иногда возвращался из госпиталя вместе с нами, лицо было завязано черным шелковым платком: у него не было носа, и лицо ему должны были исправить. Он пошел на фронт из Военной академии и был ранен через час после того, как попал на линию огня. Лицо ему потом исправили, но он происходил из старинного рода, и носу его так и не смогли придать должную форму. Он

¹ Долой офицеров! (ит.)

уехал в Южную Америку и служил там в банке. Но это было позже, а тогда никто из нас не знал, как сложится жизнь. Мы знали только, что война все еще продолжается, но что для нас она кончена.

У всех у нас были одинаковые ордена, кроме юноши с черной шелковой повязкой на лице, а он слишком мало времени пробыл на фронте, чтобы получить орден. Высокий юноша с очень бледным лицом, который готовился в адвокаты, был лейтенантом полка Ардитти и имел три таких ордена, каких у нас было по одному. Он долго был лицом к лицу со смертью и держался особняком. Каждый из нас держался особняком, и нас ничто не связывало, кроме ежедневных встреч в госпитале. И все-таки, когда мы шли к кафе «Кова» через самую опасную часть города, шли в темноте, а из кабачков лился свет и слышалось громкое пение, и когда пересекали улицы, где люди толпились на тротуарах, и нам приходилось расталкивать их, чтобы пройти,— мы чувствовали, что нас связывает то, что мы пережили и чего они, эти люди, которые ненавидят нас, не могут понять.

Все было понятно в кафе «Кова», где было тепло и нарядно и не слишком светло, где по вечерам было шумно и накурено, и всегда были девушки за столиками и иллюстрированные журналы, висевшие по стенам на крючках. Посетительницы кафе «Кова» были большие патриотки. По-моему, в то время самыми большими патриотками в Италии были посетительницы кафе, да они, должно быть, еще и теперь патриотки.

Вначале мои спутники вежливо интересовались моим орденом и спрашивали, за что я его получил. Я показал им грамоты, где были написаны пышные фразы и всякие «*fratellanza*» и «*abnegazione*»¹, но где на самом деле, если откинуть эпитеты, говорилось, что мне дали орден за то, что я американец. После этого их отношение ко мне несколько изменилось, хоть я и считался другом по сравнению с посторонними. Я был их другом, но меня перестали считать своим с тех пор, как прочли грамоты. У них все было иначе, и получили они свои ордена совсем за другое. Правда, я был ранен, но все мы хорошо знали, что рана, в конце концов, дело случая. Но все-таки я не стыдился своих отличий и иногда, после нескольких коктейлей, воображал, что сделал все то, за что и они

¹ «Братство» и «самоотверженность» (ит.).

получили свои ордена. Но, возвращаясь поздно ночью под холодным ветром вдоль пустынных улиц, мимо запертых магазинов, стараясь держаться ближе к фонарям, я знал, что мне никогда бы этого не сделать, и очень боялся умереть, и часто по ночам, лежа в постели, боялся умереть и думал о том, что со мной будет, когда я снова попаду на фронт.

Трое с орденами были похожи на охотничьих соколов, а я соколом не был, хотя тем, кто никогда не охотился, я мог бы показаться соколом; но они, все трое, отлично это понимали, и мы постепенно разошлись. С юношей, который был ранен в первый же день на фронте, мы остались друзьями, потому что теперь он уже не мог узнать, что из него вышло бы; поэтому его тоже не считали своим, и он нравился мне тем, что из него тоже, может быть, не вышло бы сокола.

Майор, который раньше был знаменитым фехтовальщиком, не верил в героизм, и пока мы сидели в аппаратах, занимался тем, что поправлял мои грамматические ошибки. Он как-то похвалил мой итальянский язык, и мы с ним подолгу разговаривали по-итальянски. Я сказал, что итальянский язык кажется мне слишком легким, для того чтобы серьезно им заинтересоваться. Все кажется в нем так легко. «О да,— сказал майор.— Но почему же вы не обращаете внимания на грамматику?» И мы обратили внимание на грамматику, и скоро итальянский язык оказался таким трудным, что я боялся слово сказать, пока правила грамматики не улягутся у меня в голове.

Майор ходил в госпиталь очень аккуратно. Кажется, он не пропустил ни одного дня, хотя, конечно, не верил в аппарат и как-то раз даже сказал, что все это чепуха. Аппараты тогда были новостью, и испытать их должны были на нас. «Идиотская выдумка,— сказал майор.— Бредни, и больше ничего». В тот день я не приготовил урока, и майор сказал, что я просто позор для рода человеческого, а сам он дурак, что возится со мной. Майор был небольшого роста. Он сидел выпрямившись в кресле, его правая рука была в аппарате, и он смотрел прямо перед собой в стену, а ремни, в которых находились его пальцы, с глухим стуком двигались вверх и вниз.

— Что вы будете делать, когда кончится война, если она вообще кончится? — спросил он.— Только не забывайте о грамматике.

— Я вернусь в Америку.

— Вы женаты?

— Нет, но надеюсь жениться.

— Ну и глупо,— сказал майор. Казалось, он был очень рассержен.— Человек не должен жениться.

— Почему, signor maggiore?

— Не называйте меня «signor maggiore».

— Но почему человек не должен жениться?

— Нельзя ему жениться, нельзя! — сказал он сердито.— Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять.

Майор говорил раздраженно и озлобленно и смотрел в одну точку прямо перед собой.

— Но почему же он непременно должен потерять?

— Потеряет,— сказал майор. Он смотрел в стену. Потом посмотрел на аппарат, выдернул свою высохшую руку из ремней и с силой ударил ею по ноге.— Потеряет,— закричал он.— Не спорьте со мною! — Потом он подозвал санитаря: — Остановите эту проклятую штуку.

Он пошел в другую комнату, где лечили светом и массажем. Я слышал, как он попросил у врача разрешения позвонить по телефону и закрыл за собою дверь. Когда он опять вошел в комнату, я сидел уже в другом аппарате. На нем были плащ и кепи. Он подошел ко мне и положил мне руку на плечо.

— Извините меня,— сказал он и потрепал меня по плечу здоровой рукой.— Я не хотел быть грубым. Только что моя жена умерла. Простите меня.

— Боже мой,— сказал я, чувствуя острую боль за него,— какое несчастье.

Он стоял около меня, кусая губы.

— Очень это трудно,— сказал он.— Не могу примириться.— Он смотрел мимо меня в окно. Потом заплакал.— Никак не могу примириться,— сказал он, и голос его прерывался. Потом, не переставая плакать, подняв голову и ни на что не глядя, с мокрым от слез лицом, кусая губы, держась по-военному прямо, он прошагал мимо аппаратов и вышел из комнаты.

Врач рассказал мне, что жена майора, которая была очень молода и на которой он женился только после того, как был окончательно признан негодным для военной службы, умерла от воспаления легких. Болезнь продолжалась всего несколько дней. Никто не ожидал, что она

умрет. Майор три дня не приходил в госпиталь. Затем в обычный час он снова пришел с черной повязкой на рукаве мундира. За это время на стенах появились большие снимки всяких ран до и после лечения аппаратами. Перед аппаратом майора висели три снимка, на которых были руки, такие же, как у него, ставшие вполне нормальными после лечения. Не знаю, где врач достал эти снимки. Я всегда думал, что нас первых лечат этими аппаратами. Но майору снимки не внушали никакой надежды, — он смотрел мимо них, в окно.

Холмы по ту сторону долины Эбро были длинные и белые. По эту сторону ни деревьев, ни тепи, и станция между двумя путями вся на солнце. Только у самого здания была горячая тень, и в открытой двери бара висел занавес из бамбуковых палочек. Американец и его спутница сидели за столиком в тени здания. Было очень жарко. Экспресс из Барселоны должен был прийти через сорок минут. На этой станции он стоял две минуты и шел дальше, в Мадрид.

— Чего бы нам выпить? — спросила девушка.

Она сняла шляпу и положила ее на стол.

— Ужасно жарко, — сказал мужчина.

— Давай выпьем пива.

— Dos cervezas ¹, — сказал мужчина, раздвигая занавес.

— Больших? — спросил женский голос из бара.

— Да. Две больших.

Женщина принесла две кружки пива и две войлочных подстилки. Она положила их на стол, поставила на них кружки с пивом и взглянула на мужчину и девушку. Девушка смотрела вдаль, на гряды холмов; они белели на солнце, а все вокруг высохло и побурело.

— Словно белые слоны, — сказала она.

— Никогда не видел белых слонов. — Мужчина выпил свое пиво.

— Где уж тебе видеть!

— А почему бы и нет? Мало ли что ты говоришь, это еще ровно ничего не значит.

Две кружки пива (исп.).

Девушка взглянула на бамбуковый занавес.

— На нем что-то написано,— сказала она.— Что это значит?

— Anis del Toro. Это такая водка.

— Давай попробуем.

— Послушайте! — позвал он

Женщина вышла из бара.

— С вас четыре реала.

— Дайте нам два стакана Anis del Toro.

— С водой?

— Ты как хочешь? С водой?

— Не знаю,— сказала девушка.— А с водой вкусно?

— Недурно.

— Так как же, с водой? — спросила женщина.

— Да, с водой.

— Отдает лакрицей,— сказала девушка и поставила стакан на стол.

— Вот и все так.

— Да,— сказала девушка.— Все отдает лакрицей. Особенно то, чего так давно хотелось. Вот и с абсентом так было.

— Перестань.

— Ты сам первый начал,— сказала девушка.— Мне было хорошо. Я не скучала.

— Ну что же, давай попробуем не скучать.

— Я и пробовала. Я сказала, что холмы похожи на белых слонов. Разве это не остроумно?

— Остроумно.

— Мне хотелось попробовать эту водку. Мы ведь только и делаем, что ездим по новым местам и пробуем новые напитки.

— Вот именно.

Девушка взглянула на холмы.

— Чудесные холмы,— сказала она.— Пожалуй, они вовсе и не похожи на белых слонов. Просто мне подумалось, что вот так же и те белеют сквозь деревья.

— Не выпить ли нам еще?

— Пожалуй.

Теплый ветер качнул к столу бамбуковый занавес.

— Хорошее пиво, холодное,— сказал мужчина.

— Чудесное,— сказала девушка.

— Это же пустячная операция, Джиг,— сказал мужчина.— Это даже и не операция.

Девушка смотрела вниз, на ножку стола.

— Ты сама увидишь, Джиг, это сущие пустяки. Только сделают укол.

Девушка молчала.

— Я поеду с тобой и все время буду подле тебя. Сделают укол, а потом все уладится само собой.

— Ну, а потом что с нами будет?

— А потом все пойдет хорошо. Все пойдет по-прежнему.

— Почему ты так думаешь?

— Только это одно и мешает нам. Только из-за этого мы и несчастны.

Девушка взглянула на занавес и, протянув руку, захватила две бамбуковые палочки.

— Так ты думаешь, что нам будет хорошо и мы будем счастливы?

— Я уверен. Ты только не бойся. Я многих знаю, кто это делал.

— Я тоже,— сказала девушка.— И потом все они были так счастливы.

— Если ты не хочешь, не надо. Я не настаиваю, если ты не хочешь. Но я знаю, что это сущие пустяки.

— А ты правда этого хочешь?

— Я думаю, это самый лучший выход. Но если ты сама не хочешь, то и не надо, я вовсе этого не хочу.

— А если я это сделаю, ты будешь доволен, и все пойдет по-прежнему, и ты меня будешь любить?

— Я и теперь тебя люблю, ты же знаешь.

— Знаю. А если я это сделаю, то все опять пойдет хорошо, и если я скажу, что холмы похожи на белых слонов, тебе это понравится?

— Я буду в восторге. Я и сейчас в восторге, только теперь мне не до этого. Ты ведь знаешь, я всегда такой, когда нервничаю.

— А если я это сделаю, ты не будешь нервничать?

— Нет, потому что это пустяки.

— Ну, тогда я сделаю. Мне все равно, что со мной будет.

— То есть как?

— Мне все равно, что со мной будет.

— Но мне-то не все равно.

— Да, да. Но мне все равно, что со мной будет. Я это сделаю, и все будет хорошо.

— Если так, то я не хочу, чтобы ты это делала.

Девушка встала и прошла до конца платформы. По ту сторону линии были засеянные поля и деревья вдоль берегов Эбро. Вдали за рекой были горы. Тень от облака скользила по зеленому полю, и между деревьями виднелась река.

— Все это могло быть нашим,— сказала девушка.— Все могло быть нашим, но мы сами виноваты, что это с каждым днем становится все более невозможным.

— Что ты говоришь?

— Я говорю, что все могло быть нашим.

— Все и так наше.

— Нет. Не наше.

— Весь мир наш.

— Нет. Не наш.

— Мы можем поехать куда угодно.

— Нет, не можем. Теперь все это не наше.

— Наше.

— Нет. То, что раз упущено, никогда не вернется.

— Но мы еще ничего не упустили.

— А вот увидишь.

— Идем обратно, в тень,— сказал он.— Не надо так волноваться.

— Я не волнуюсь,— сказала девушка.— Просто я все понимаю.

— Я не хочу, чтобы ты делала то, чего ты не хочешь...

— Или что мне вредно. Знаю. Не выпить ли нам еще пива?

— Хорошо. Ты должна только понять...

— Я понимаю,— сказала девушка.— Может быть, мы оставим этот разговор?

Они сели за стол. Девушка смотрела на выжженные склоны холмов за рекой, ее спутник смотрел на нее и на стол.

— Ты должна понять,— сказал он,— я вовсе не хочу, чтобы ты делала то, чего не хочешь. Если для тебя это так много значит, я готов пойти на это.

— А для тебя это ничего не значит? Мы бы как-нибудь справились.

— Конечно, значит. Только мне никого не надо, кроме тебя. Мне больше никто не нужен. И я знаю, что это сущие пустяки.

— Конечно. Ты знаешь, что это сущие пустяки.

— Ты можешь говорить что угодно, а я знаю, что это так.

— Можно тебя попросить об одной вещи?

— Я все готов для тебя сделать.

— Так вот, я тебя очень, очень, очень, очень, очень прошу замолчать.

Он ничего не ответил и посмотрел на чемоданы, которые стояли у стены. На них были ярлыки всех отелей, где они останавливались.

— Я не хочу, чтоб ты это делала,— сказал он.— Мне это вовсе не нужно.

— Я сейчас закричу,— сказала девушка.

Из бара вышла женщина с двумя кружками пива и поставила их на промокший войлок.

— Поезд придет через пять минут,— сказала она.

— Что она говорит? — спросила девушка.

— Что поезд придет через пять минут.

Девушка благодарно улыбнулась женщине.

— Я пойду перенесу чемоданы на ту платформу,— сказал он.

Она улыбнулась в ответ.

— Хорошо. А потом приходи обратно допивать пиво.

Он поднял тяжелые чемоданы и перенес их на другую платформу, по ту сторону станции. Он взглянул на пути, но поезда еще не было видно. Возвращаясь, он прошел через бар, где пили пиво ожидавшие поезда пассажиры. Он выпил у стойки стакан Anis del Togo и посмотрел на них. Все спокойно дожидались поезда. Он вышел, раздвинув бамбуковый занавес. Она сидела за столиком и улыбнулась ему.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— Прекрасно,— сказала она.— Все в порядке. Я чувствую себя прекрасно.

УБИЙЦЫ

Дверь закусочной Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки.

— Что для вас? — спросил Джордж.

— Сам не знаю, — сказал один. — Ты что возьмешь, Эл?

— Не знаю, — ответил Эл. — Не знаю, что взять.

На улице уже темнело. За окном зажегся фонарь. Вошедшие просматривали меню. Ник Адамс глядел на них из-за угла стойки. Он там стоял и разговаривал с Джорджем, когда они вошли.

— Дай мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре, — сказал первый.

— Филе еще не готово.

— Какого же черта оно стоит в меню?

— Это из обеда, — пояснил Джордж. — Обеды с шести часов.

Джордж взглянул на настенные часы над стойкой.

— А сейчас пять.

— На часах двадцать минут шестого, — сказал второй.

— Они спешат на двадцать минут.

— Черт с ними, с часами, — сказал первый. — Что же у тебя есть?

— Могу предложить разные сэндвичи, — сказал Джордж. — Яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку с салом, бифштекс.

— Дай мне куриные крокеты под белым соусом с зеленым горошком и картофельным пюре.

— Это из обеда.

— Что ни спросишь — все из обеда. Порядки, нечего сказать.

— Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку...

— Давай яичницу с ветчиной,— сказал тот, которого звали Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне.

— А мне яичницу с салом,— сказал другой. Они были почти одного роста, лицом непохожи, но одеты одинаково, оба в слишком узких пальто. Они сидели наклонясь вперед, положив локти на стойку.

— Есть что-нибудь выпить? — спросил Эл.

— Лимонад, морс, шипучка.

— *Выпить*, я спрашиваю.

— Только то, что я сказал.

— Веселый городок,— сказал другой.— Кстати, как он называется?

— Сэммит.

— Слышал когда-нибудь, Макс? — спросил Эл.

— Нет.

— Что тут делают по вечерам? — спросил Эл.

— Обедают,— сказал Макс.— Все приходят сюда и едят этот знаменитый обед.

— Угадали,— сказал Джордж.

— По-твоему, я угадал? — переспросил Эл.

— Точно.

— А ты, я вижу, умница.

— Точно.

— Ну и врешь,— сказал Макс.— Ведь он врет, Эл?

— Балда он,— ответил Эл. Он повернулся к Нику.— Тебя как зовут?

— Адамс.

— Тоже умница хоть куда,— сказал Эл.— Верно, Макс?

— В этом городе все как на подбор,— ответил Макс.

Джордж подал две тарелки, яичницу с салом и яичницу с ветчиной. Потом он поставил рядом две порции жареного картофеля и захлопнул окошечко в кухню.

— Вы что заказывали? — спросил он Эла.

— А ты сам не помнишь?

— Яичницу с ветчиной.

— Ну разве не умница? — сказал Макс. Он протянул руку и взял тарелку. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят.

— Ты чего смотришь? — обернулся Макс к Джорджу.

— Просто так.

— Да, как же, рассказывай. На меня смотришь.

— Это он сострил, Макс,— сказал Эл.

Джордж рассмеялся.

— Нечего смеяться,— сказал ему Макс.— Тебе нечего смеяться, понял?

— Ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Джордж.

— Слышишь, Эл? Он согласен, пусть будет по-нашему.— Макс взглянул на Эла.— Ловко, а?

— Голова у него работает,— сказал Эл. Они продолжали есть.

— Как зовут того, второго? — спросил Эл Макса.

— Эй, умница,— позвал Макс.— Ну-ка, ступай к своему приятелю за стойку.

— А в чем дело? — спросил Ник.

— Да ни в чем.

— Ну, ну, поворачивайся,— сказал Эл. Ник зашел за стойку.

— В чем дело? — спросил Джордж.

— Не твоя забота,— ответил Эл.— Кто у вас там на кухне?

— Негр.

— Что еще за негр?

— Повар.

— Позови его сюда.

— А в чем дело?

— Позови его сюда.

— Да вы знаете, куда пришли?

— Не беспокойся, знаем,— сказал тот, которого звали Макс.— Дураки мы, что ли?

— Тебя послушать, так похоже на то,— сказал Эл.— Чего ты канителишься с этим младенцем? Эй, ты,— сказал он Джорджу.— Позови сюда негра. Живо.

— А что вам от него нужно?

— Ничего. Пошевели мозгами, умница. Что нам может быть нужно от негра?

Джордж открыл окошечко в кухню.

— Сэм,— позвал он.— Выйди сюда на минутку.

Кухонная дверь отворилась, и вошел негр.

— Что случилось? — спросил он.

Сидевшие у стойки оглядели его.

— Ладно, черномазый, стань тут,— сказал Эл.

Повар, теребя фартук, смотрел на незнакомых людей у стойки.

— Слушаю, сэр,— сказал оп.

Эл слез с табурета.

— Я пойду на кухню с этими двумя,— сказал он.— Ступай к себе на кухню, черномазый. И ты тоже, умница.

Пропустив вперед Ника и повара, Эл прошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Макс остался у стойки, напротив Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в длинное зеркало над стойкой. В этом помещении раньше был салун.

— Ну-с,— сказал Макс, глядя в зеркало.— Что же ты молчишь, умница?

— Что все это значит?

— Слышишь, Эл,— крикнул Макс.— Он хочет знать, что все это значит.

— Что же ты ему не скажешь? — отозвался голос Эла из кухни.

— Ну, как ты думаешь, что все это значит?

— Не знаю.

— А все-таки?

Разговаривая, Макс все время смотрел в зеркало.

— Не могу догадаться.

— Слышишь, Эл, он не может догадаться, что все это значит.

— Не кричи, я и так слышу,— ответил Эл из кухни. Он поднял окошечко, через которое передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под томатного соуса.— Послушайка, ты,— обратился он к Джорджу,— подвинься немного вправо. А ты, Макс, немного влево.— Он расставлял их, точно фотограф перед съемкой.

— Побеседуем, умница,— сказал Макс.— Так как, по-твоему, что мы собираемся сделать?

Джордж ничего не ответил.

— Ну, я тебе скажу: мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты длинного шведа, Оле Андросона?

— Да.

— Он тут обедает каждый вечер?

— Иногда обедает.

— Приходит ровно в шесть?

— Если вообще приходит.

— Так. Это нам все известно,— сказал Макс.— Поговорим о чем-нибудь другом. В кино бываешь?

— Изредка.

— Тебе бы надо ходить почаще. Кино — это как раз для таких, как ты.

— За что вы хотите убить Оле Андресона? Что он вам сделал?

— Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал.

— И увидит только раз в жизни,— добавил Эл из кухни.

— Так за что же вы хотите убить его? — спросил Джордж.

— Нас попросил один знакомый. Просто дружеская услуга, понимаешь?

— Заткнись,— сказал Эл из кухни.— Слишком ты много болтаешь.

— Должен же я развлекать собеседника. Верно, умница?

— Много болтаешь,— повторил Эл.— Вот мои тут сами развлекаются. Лежат, связанные, рядышком, как подружки в монастырской школе.

— А ты был в монастырской школе?

— Может, и был.

— В хедере ты был, вот где.

Джордж взглянул на часы.

— Если кто войдет, скажешь, что повар ушел, а если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь сготовишь, понятно? Ты ведь умница.

— Понятно,— ответил Джордж.— А что вы с нами после сделаете?

— А это смотря по обстоятельствам,— ответил Макс.— Этого, видишь ли, наперед нельзя сказать.

Джордж взглянул на часы. Было четверть седьмого. Дверь с улицы открылась. Вошел вагоновожатый.

— Здорово, Джордж,— сказал он.— Пообедать можно?

— Сэм ушел,— сказал Джордж.— Будет через полчаса.

— Ну, я пойду еще куда-нибудь,— сказал вагоновожатый. Джордж взглянул на часы. Было уже двадцать минут седьмого.

— Вот молодец,— сказал Макс.— Одно слово — умница.

— Он знал, что я ему голову прострелю,— сказал Эл из кухни.

— Нет,— сказал Макс,— это не потому. Он славный малый. Он мне нравится.

Без пяти семь Джордж сказал:

— Он не придет.

За это время в закусную заходили еще двое. Один спросил сэндвич «навынос», и Джордж пошел на кухню поджарить для сэндвича яичницу с салом. В кухне он уви-

дол Ола; сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете перед окошечком, положив на подоконник ствол обреза. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сандвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел.

— Ну как же не умница — ведь все умеет, — сказал Макс. — И стряпать, и все, что угодно. Хозяйственный будет муженек у твоей жены.

— Может быть, — сказал Джордж. — А ваш приятель Оле Андресон не придет.

— Дадим ему еще десять минут, — сказал Макс.

Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показали семь часов, потом пять минут восьмого.

— Пойдем, Эл, — сказал Макс, — нечего нам ждать. Он уже не придет.

— Дадим ему еще пять минут, — ответил Эл из кухни.

За эти пять минут вошел еще один посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел.

— Какого же черта вы не наймете другого? — сказал вошедший. — Закусочная это или нет?

Он вышел.

— Идем, Эл, — сказал Макс.

— А как быть с этими двумя и негром?

— Ничего, пусть их.

— Ты думаешь — ничего?

— Ну конечно. Тут больше нечего делать.

— Не нравится мне это, — сказал Эл. — Нечистая работа. И ты наболтал много лишнего.

— А, пустяки, — сказал Макс. — Надо же хоть немного поразвлечься.

— Все-таки ты слишком много наболтал, — сказал Эл. Он вышел из кухни. Обрез слегка оттопыривал на боку его узкое пальто. Он одернул полу затянутыми в перчатки руками.

— Ну, прощай, умница, — сказал он Джорджу. — Везет тебе.

— Что верно, то верно, — сказал Макс. — Тебе бы на скачках играть.

Они вышли на улицу. Джордж видел в окно, как они прошли мимо фонаря и свернули за угол. В своих черных костюмах и пальто в обтяжку они похожи были на эстрадную пару.

Джордж пошел на кухню и развязал Ника и повара.

— Ну, с меня довольно,— сказал Сэм.— С меня довольно.

Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем.

— Послушай,— сказал он.— Какого черта, в самом деле? — Он старался делать вид, что ему все ни-почем.

— Они хотели убить Оле Андресона,— сказал Джордж.— Застрелить его, когда он придет обедать.

— Оле Андресона?

— Да.

Пегр потрогал углы рта большими пальцами.

— Ушли они? — спросил он.

— Да,— сказал Джордж.— Ушли.

— Не нравится мне это,— сказал пегр.— Совсем мне это не нравится.

— Слушай,— сказал Джордж Нику.— Ты бы сходил к Оле Андресону.

— Ладно.

— Лучше не впутывайся в это дело,— сказал Сэм.— Лучше держись в сторонке.

— Если не хочешь, не ходи,— сказал Джордж.

— Ничего хорошего из этого не выйдет,— сказал Сэм.— Держись в сторонке.

— Я пойду,— сказал Ник Джорджу.— Где он живет? Повар отвернулся.

— Толкуй с мальчишками,— проворчал он.

— Он живет в меблированных комнатах Гирш,— ответил Джордж Нику.

— Ну, я пошел.

На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В четвертом доме от угла помещались меблированные комнаты Гирш. Ник поднялся на две ступеньки и надавил кнопку звонка. Дверь открыла женщина.

— Здесь живет Оле Андресон?

— Вы к нему?

— Да, если он дома.

Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице и пропел в конец длинного коридора. Женщина постучала в дверь.

— Кто там?

— Тут вас спрашивают, мистер Андресон,— сказала женщина.

— Это я — Ник Адамс.

— Войдите.

Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Оле Андресон, одетый, лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были две подушки. Он не взглянул на Ника.

— В чем дело? — спросил он.

— Я был в закусочной Генри,— сказал Ник.— Пришли двое, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить.

На словах это выходило глупо. Оле Андресон ничего не ответил.

— Они выставили нас на кухню,— продолжал Ник.— Они собирались вас застрелить, когда вы придете обедать.

Оле Андресон глядел в степу и молчал.

— Джордж послал меня предупредить вас.

— Все равно тут ничего не поделаешь,— сказал Оле Андресон.

— Хотите, я вам опишу, какие они?

— Я не хочу знать, какие они,— сказал Оле Андресон. Он смотрел в стену.— Спасибо, что пришел предупредить.

— Не стоит.

Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели.

— Может быть, пойти заявить в полицию?

— Нет,— сказал Оле Андресон.— Это бесполезно.

— А я не могу помочь чем-нибудь?

— Нет. Тут ничего не поделаешь.

— Может быть, это просто шутка?

— Нет. Это не просто шутка.

Оле Андресон повернулся на бок.

— Беда в том,— сказал он, глядя в стену,— что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так.

— Вы бы уехали из города.

— Нет,— сказал Оле Андресон.— Мне надоело бегать от них.— Он все глядел в стену.— Теперь уже ничего не поделаешь.

— А нельзя это как-нибудь уладить?

— Нет, теперь уже поздно.— Он говорил все тем же тусклым голосом.— Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду.

— Так я пойду обратно, к Джорджу,— сказал Ник.

— Прощай,— сказал Оле Андресон. Он не смотрел на Ника.— Спасибо, что пришел.

Ник вышел. Затворяя дверь, он видел Оле Андресона, лежащего одетым на кровати, лицом к стене.

— Вот с утра сидит в комнате,— сказала женщина, когда он спустился вниз.— Боюсь, не захворал ли. Я ему говорю: «Мистер Андресон, вы бы пошли прогулялись, день-то какой хороший»,— а он упрямится.

— Он не хочет выходить из дому.

— Видно, захворал,— сказала женщина.— А жалко, такой славный. Знаете, он ведь был боксером.

— Знаю.

— Только по лицу и можно догадаться,— сказала женщина. Они разговаривали, стоя в дверях.— Такой обходительный.

— Прощайте, миссис Гирш,— сказал Ник.

— Я не миссис Гирш,— сказала женщина.— Миссис Гирш — это хозяйка. Я только прислуживаю здесь. Меня зовут миссис Белл.

— Прощайте, миссис Белл,— сказал Ник.

— Прощайте,— сказала женщина.

Ник прошел темным переулком до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайных путей к закусочной. Джордж стоял за стойкой.

— Видел Оле?

— Да,— сказал Ник.— Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить.

На голос Ника повар приоткрыл дверь из кухни.

— И слушать об этом не желаю,— сказал он и захлопнул дверь.

— Ты ему рассказал?

— Рассказал, конечно. Да он и сам все знает.

— А что он думает делать?

— Ничего.

— Они его убьют.

— Наверно, убьют.

— Должно быть, впутался в какую-нибудь историю в Чикаго.

— Должно быть,— сказал Ник.

— Скверное дело.

— Паршивое дело,— сказал Ник.

Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку.

— Что он такое сделал, как ты думаешь?

— Нарушил какой-нибудь уговор. У них за это убивают.

— Уеду я из этого города,— сказал Ник.

— Да,— сказал Джордж.— Хорошо бы отсюда уехать.

— Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно.

— А ты не думай,— сказал Джордж.

CHE TI DICE LA PATRIA! ¹

Дорога через перевал была твердая, гладкая и с утра еще не пыльная. Внизу были холмы, поросшие дубом и каштанами, а еще ниже вдали — море. По другую сторону — снеговые горы.

Мы спустились с перевала по лесистой местности. Вдоль дороги лежали кульки с углем, а между деревьями виднелись шалаши угольщиков. Был воскресный день. Дорога то поднималась, то уходила вниз и, все время удаляясь от перевала, шла через деревни и заросли мелкого кустарника. За деревьями раскинулись виноградники. Они уже потемнели, и лоза стала жесткой и грубой. Домики были белые, и на улицах люди, одетые по-праздничному, гоняли мяч. У некоторых домиков росли грушевые деревья, их ветки на фоне белых стен тянулись вверх, как канделябры. Грушевые деревья были чем-то опрысканы, и на стенах еще виднелись пятна, отливающие сине-зеленым металлическим блеском. Вокруг деревень были небольшие расчищенные участки, где рос виноград, а за ними — леса.

В деревне, двадцать километров не доезжая Специи, на площади собралась толпа, и какой-то молодой человек с чемоданом в руке подошел к нашей машине и попросил доставить его до Специи.

— Только два места, и оба заняты, — сказал я. У нас был старый двухместный «форд».

— Я поеду на подножке.

— Вряд ли вам будет удобно.

— Ничего. Мне нужно в Специю.

¹ О чем говорит тебе родина? (ит.)

— Возьмем его? — спросил я Гая.

— Он все равно увяжется, — сказал Гай. Молодой человек сунул нам в окно сверток.

— Вот — держите, — сказал он. Двое мужчин привязали его чемодан на багажник поверх нашего. Он попрощался со всеми за руку, пояснил, что для фашиста и человека, привыкшего путешествовать, не существует неудобств, и, вскочив на левую подножку, просунул правую руку в окно.

— Можно ехать, — сказал он. Из толпы ему замахали. Он махнул в ответ свободной рукой.

— Что он сказал? — спросил меня Гай.

— Что мы можем ехать.

— Хорошо, а? — сказал Гай.

Дорога шла вдоль реки. За рекой тянулись горы. Солнце растопляло ипей на траве. Холодный прозрачный воздух врывался сквозь открытое ветровое стекло машины.

— Интересно, как он там себя чувствует? — Гай смотрел вперед. Наш спутник закрывал от него дорогу с левой стороны. Он торчал на подножке машины, как фигура на носу корабля. Он поднял воротник пальто и пахлобучил шляпу на нос, посиневший от холода.

— Может, хватит с него? — сказал Гай. — С той стороны у нас шина садится.

— Да он живо соскочит, если покрывка лопнет, — ответил я. — Не захочет валять в пыли свой дорожный костюм.

— Ладно, пусть его, — сказал Гай. — Только здорово машину кренит на поворотах.

Леса кончились; река осталась позади; вода в радиаторе кипела; молодой человек недовольно и подозрительно смотрел на пар и ржавую воду; мотор тарахтел. Гай включил первую скорость, толчок вперед, еще вперед, потом назад, опять вперед, и машина взяла подъем. Тарахтенье прекратилось, и в наступившей тишине было слышно только бульканье воды в радиаторе. Мы были на самой высокой точке над Специей и морем. Дорога стала спускаться короткими крутыми петлями. Наш попутчик свешивался на виражах, почти опрокидывая на себя перегруженную машину.

— Нельзя же запретить ему это, — сказал я Гаю. — Инстинкт самосохранения действует.

— Великий итальянский инстинкт.

— Величайший итальянский инстинкт.

Мы спускались к морю крутыми виражами сквозь густую пыль, оседающую на оливах. Внизу вдоль моря раскинулась Специя. На подъезде к городу дорога выровнялась. Наш попутчик просунул голову в окно.

— Мне надо сойти здесь.

— Стой,— сказал я Гаю.

Мы замедлили ход и остановились у края дороги. Молодой человек прыгнул, подошел сзади к машине и отвязал свой чемодан.

— Ну, я останусь здесь, чтобы у вас не было неприятностей из-за пассажира,— сказал он.— Мой сверток,

Я протянул ему сверток. Он порылся в кармане.

— Сколько с меня?

— Ничего.

— Почему?

— Да так,— сказал я.

— Ну что ж, благодарю,— сказал молодой человек, не «благодарю вас», не «премного благодарен», не «тысяча благодарностей»,— словом, не то, что раньше полагалось говорить в Италии человеку, который протянул вам расписание поездов или объяснил, как пройти куда-нибудь. Молодой человек обошелся самым сухим «благодарю» и подозрительно посмотрел нам вслед, когда Гай тронул машину. Я помахал ему рукой. Ответить мне было ниже его достоинства. Мы въехали в город.

— Этот молодой человек далеко пойдет в Италии,— сказал я Гаю.

— Н-да,— сказал Гай.— Он и с нами на двадцать километров продвинулся.

ЗАВТРАК В СПЕЦИИ

Мы заехали в Специю, чтобы закусить. Улица была широкая, дома высокие и желтые. По трамвайным путям мы добрались до центра города. На стенах домов висели сделанные по трафарету портреты Муссолини с вытаращенными глазами, а под ними, от руки — «Vivas»; от двух «V» по стене шли потеки черной краски. Боковые улочки спускались к гавани. День был яркий, и все высыпали на улицу по случаю воскресенья. Мостовая была только что полита, и в пыли кое-где стояли лужицы. Мы ехали вдоль тротуара, чтобы не столкнуться с трамваем.

— Выберем ресторанчик попроще,— сказал Гай.

Мы затормозили около двух ресторанных вывесок. Мы

перешли на другую сторону улицы, и я купил газеты. Оба ресторана были рядом. Женщина, стоявшая у входа одного из них, улыбнулась нам, и мы пересекли улицу и вошли в этот ресторан.

Внутри было темно. В глубине комнаты за столиком сидели три девушки и старуха. Прямо против нас за другим столиком сидел матрос. Он ничего не ел и не пил. Еще дальше молодой человек в синем костюме писал что-то. Волосы у него были напояжены и блестели. Хорошо одетый, подтянутый молодой человек.

Свет проникал в помещение через входную дверь и окно, где на витрине были выставлены фрукты, овощи, бифштексы и отбивные. Одна из девушек подошла к нам принять заказ, другая стала в дверях. Мы заметили, что платье у нее было надето на голое тело. Девушка, принимавшая заказ, обняла Гая за шею, пока мы рассматривали меню. Девушек было три, и они по очереди выходили и стояли в дверях. Старуха, сидевшая за столиком в глубине комнаты, пошептала с ними, и они снова уселись вместе с ней.

В комнате была только одна дверь, которая вела на кухню. На ней висела занавеска. Девушка, принявшая наш заказ, принесла из кухни спагетти. Она поставила перед нами блюдо, подала бутылку красного вина и под села к столику.

— Ну вот,— сказал я,— ты искал местечко попроще.

— Да, здесь как будто совсем не просто. Скорее наоборот.

— Что вы говорите? — спросила девушка. — Вы немцы?

— Южные немцы,— сказал я. — Южные немцы приветливый, хороший народ.

— Не понимаю,— сказала она.

— Как здесь приято? — спросил Гай. — Обязательно, чтобы она обнимала меня за шею?

— Конечно,— сказал я. — Муссолини уничтожил публичные дома. Это ресторан.

На девушке было гладкое платье. Она облокотилась о столик, скрестила руки на груди и улыбнулась. С одной стороны лица улыбка у нее была привлекательнее, и она все время поворачивалась к нам этой стороной. Очарование этой стороны подчеркивалось еще тем, что с другой нос был вдавлен, точно слепленный из теплого воска. Но, в сущности, ее нос не был похож на восковой. Он был очень холодный и твердый, только сбоку немного вдавлен.

— Я вам нравлюсь? — спросила она Гая.

— Он обожает вас, — сказал я. — Только он не говорит по-итальянски.

— Ich spreche deutsch ¹, — сказала она и погладила Гая по волосам.

— Гай, поговори с леди на твоём родном языке.

— Откуда вы приехали? — спросила девушка.

— Из Потсдама.

— И ещё побудете здесь?

— В этой чудесной Специи? — спросил я.

— Скажи ей, что нам надо уезжать. Скажи, что мы очень больны и у нас нет денег, — сказал Гай.

— Мой друг женоненавистник, — сказал я. — Он настоящий немец и ненавидит женщин.

— Скажи, что я люблю его.

Я сказал.

— Перестань болтать вздор и давай удерем отсюда, — сказал Гай.

Девушка обняла его другой рукой.

— Скажите ему, что он мой, — сказала она.

Я сказал.

— Уйдем мы отсюда или нет?

— Вы ссоритесь, — сказала девушка. — Вы не любите друг друга.

— Мы немцы, — сказал я с гордостью. — Настоящие немцы с юга.

— Скажите ему, что он очень красивый, — сказала девушка.

Гаю тридцать восемь лет, и он отчасти гордится тем, что во Франции его принимают за развратного коммивояжера.

— Ты очень красивый, — сказал я.

— Кто это говорит? — спросил Гай. — Ты или она?

— Она. Я всего-навсего переводчик. Ведь ты только потому и взял меня с собой в эту поездку.

— Хорошо, что она, — сказал Гай. — А не то пришлось бы мне и с тобой здесь расстаться.

— Ну что же. Специя приятное местечко.

— Специя, — сказала девушка. — Вы говорите о Специи?

— Приятное местечко, — сказал я.

¹ Я говорю по-немецки (нем.).

— Это моя родина, — сказала она. — Специя — мой родной город, а Италия моя родина.

— Она говорит, что Италия ее родина.

— Оно и видно, что это ее родина, — сказал Гай.

— Что у вас на сладкое? — спросил я.

— Фрукты, — сказала она. — Есть бананы.

— Бананы, пожалуй, можно, — сказал Гай. — Они хоть с кожурой.

— Ах, он любит бананы, — сказала девушка. Она обняла Гая.

— Что она говорит? — спросил Гай, отворачивая от нее лицо.

— Она радуется, что ты любишь бананы.

— Скажи ей, что я не люблю бананы.

— Синьор не любит бананы.

— Ах, — сказала девушка упавшим голосом. — Он полюбил бананы.

— Скажи ей, что я люблю утром холодную ванну, — сказал Гай.

— Синьор любит утром холодную ванну.

— Не понимаю, — сказала девушка.

Сидевший против нас бутафорский моряк не двигался с места. Никто в комнате не обращал на него никакого внимания.

— Дайте нам счет, — сказал я.

— Нет, нет, останьтесь!

— Слушай! — сказал хорошо одетый молодой человек, тот, что писал, сидя за столиком. — Пусть уезжают, они ничего не стоят.

Девушка взяла меня за руку.

— Ну останьтесь! Попросите его остаться!

— Нам пора ехать, — сказал я. — Сегодня к вечеру мы должны добраться до Пизы, а если удастся, то и до Флоренции. Там и повеселимся вечером. Сейчас еще рано. И доехать нам надо засветло.

— Отдохнуть немного — тоже хорошо.

— Путешествовать надо при дневном свете.

— Слушай! — сказал хорошо одетый молодой человек. — Говорю тебе, не трать с ними времени понапрасну. Уж я-то знаю.

— Подайте нам счет, — сказал я.

Она взяла счет у старухи, вернулась обратно и опять села за столик. Из кухни вышла другая девушка. Она прошла через всю комнату и стала в дверях.

— Не трать с ними времени понапрасну,— недовольным голосом сказал хорошо одетый молодой человек.— Садись и ешь. Они ничего не стоят.

Мы заплатили по счету и встали. Девушки, старуха и хорошо одетый молодой человек сели вместе за столик. Бутафорский моряк сидел, подперев голову руками. Пока мы завтракали, никто с ним не заговаривал. Девушка принесла нам сдачу, которую отсчитала старуха, и вернулась к своему месту за столиком. Мы оставили ей на чай и вышли. Когда мы сели в машину, девушка появилась в дверях и стала на пороге. Машина тронулась, и я помахал девушке. Она не ответила, только посмотрела нам вслед.

ПОСЛЕ ДОЖДА

Мы проезжали предместьем Генуи под сильным дождем, и даже когда наша машина медленно двигалась за трамваями и грузовиками, жидкая грязь хлестала на тротуары, так что, заведя нас, прохожие шарахались в подъезды домов. В промышленном пригороде Генуи — в Сан-Пьер-д'Арена, есть широкая улица с двумя трамвайными линиями, и мы ехали между ними, чтобы не окатывать грязью людей, возвращающихся с работы. Слева от нас было Средиземное море. Был сильный прибой, волны разбивались о берег, и ветер обдавал нашу машину водяной пылью. Когда мы ехали в Италию, русло этой реки было широкое, каменистое и пересохшее, а сейчас вода в нем шла бурая, вровень с берегами, она обесцвечивала синеву моря, и когда волны редели и прояснялись, разбиваясь о берег, сквозь желтоватую воду пробивался свет, и гребни волн, подхваченные ветром, швыряло через дорогу.

Нас обогнала на быстром ходу большая машина, и пелена мутной воды взметнулась вверх и обрушилась на наше ветровое стекло и на радиатор. Автоматический дворник заходил взад и вперед, размазывая эту муть по стеклу. Мы сделали остановку и позавтракали в Сестри. Отопление в ресторане не работало, и мы сидели, не сняв ни шляп, ни пальто. В окно нам было видно нашу машину. Она была вся залепана грязью и стояла возле лодок, вытасненных на такое место, куда волны не достигали. В ресторане было видно наше дыхание.

Pasta asciutta нам понравилась. Вино отдавало квасцами, и мы разбавили его водой. Потом официант принес нам

бифштекс с жареной картошкой. В дальнем конце ресторана сидели двое — мужчина и женщина. Он был пожилой, она — молоденькая и в черном. Во время еды она дула в холодный, сырой воздух, выпуская пар изо рта. Мужчина смотрел на это и покачивал головой. Они ели молча, и он держал ее за руку под столом. Она была хороша собой, и оба они сидели очень печальные. При них стоял дорожный чемодан.

Газеты у нас были куплены, и я прочел Гаю вслух сообщение о боях в Шанхае. Позавтракав, он пошел вместе с официантом искать некое место, которого в ресторане не было, а я протер тряпкой ветровое стекло, фары и дощечку с номерным знаком. Гай вернулся, и мы отвели машину от ресторана и поехали дальше. Официант водил его в старый дом через дорогу. Обитатели этого дома встретили Гаю настороженно, и официант оставался с ним, карауля, чтобы он чего-нибудь не украл.

— Я ведь не водопроводчик, но они почему-то боялись, как бы я чего не украл у них, — сказал Гай.

Когда мы поднялись на мыс за городом, встер ударил в нашу машину и чуть не перевернул ее.

— Хорошо, что дует с моря, — сказал Гай.

— Да, — сказал я. — А ведь где-то здесь утонул Шелли.

— Это было около Виареджо, — сказал Гай. — А ты помнишь, зачем мы приехали в эту страну?

— Помню, — сказал я. — Но пока что мы ничего такого не нашли.

— Сегодня вечером распростимся с ней.

— Если нам удастся проехать через Вентимилью.

— Там будет видно. Ехать вечером здесь, вдоль побережья, мне не хочется.

Было немного после полудня, и солнце светило всю. Внизу белые барашки на голубых волнах бежали к Савоне. Бурые и голубые воды сливались за мысом позади нас. Впереди вдоль побережья шло грузовое судно.

— Генуя все еще виднеется? — спросил Гай.

— Да, да!

— Следующий большой мыс совсем ее скроет.

— Мы еще долго будем ее видеть. Вон там за ней все еще видно Портофино.

Наконец Генуя совсем исчезла. Я посмотрел назад и увидел только море, а внизу, в бухте, полоску отмели с рыбачьими лодками, выше на склоне холма какой-то городок и далеко вдоль побережья выступающие в море мысы.

— Вот теперь исчезла, — сказал я Гаю.

— Она давно уже осталась позади.

— Но пока не отъехали подальше, и не разберешь.

Дорожный знак S обозначал поворот к Сволта Периколоза. Шоссе огибало мыс, и ветер прорывался в трещину в ветровом стекле. Внизу у самого моря шла ровная полоса земли. Ветер обсушил грязь, и наши колеса стали поднимать пыль. Выехав на ровную дорогу, мы обогнали фашиста на велосипеде, с тяжелым револьвером в кобуре за спиной. Он держался середины шоссе, и нам пришлось обехать его. Он посмотрел на нас, когда мы проезжали мимо. Впереди был переезд через железнодорожную линию, и как только мы к нему подъехали, шлагбаум опустился.

Пока мы стояли там и ждали, фашист на велосипеде поравнялся с нами. Поезд прошел, и Гай включил зажигание.

— Стой! — крикнул сзади велосипедист. — У вас номер грязный.

Я вылез из машины с тряпкой. Номер был прочищен еще за завтраком.

— Ведь видно, какой, — сказал я.

— Вам так кажется?

— Прочитайте.

— Не вижу. Оп грязный.

Я протер номер тряпкой.

— Ну, теперь как?

— Двадцать пять лир.

— Что-о? — сказал я. — Его можно разглядеть. А грязный он потому, что дороги в таком состоянии.

— Вам не нравятся итальянские дороги?

— Они грязные.

— Пятьдесят лир. — Он сплюнул. — Машина ваша грязная, и вы сами такой же.

— Прекрасно. Дайте мне квитанцию и подпишите ее своей фамилией.

Он вынул из кармана квитанционную книжку с отрывными листками — один листок получал оштрафованный, а другой, заполненный, оставался на корешке. Копирки у него не было, так что сумма на корешке не значилась.

— Давайте пятьдесят лир.

Он заполнил квитанцию химическим карандашом, оторвал ее и дал мне. Я прочел, что там написано.

— Это на двадцать пять лир.

— Ошибка,— сказал он и переделал двадцать пять на пятьдесят.

— А теперь и там. Напишите пятьдесят на той, что остается у вас.

Он улыбнулся очаровательной итальянской улыбкой и написал что-то на корешке, держа книжку так, чтобы я ничего не увидел.

— Двигайте дальше,— сказал он.— Пока помер чистый.

Мы проехали еще два часа, когда уже стемнело, и заночевали в Ментоне. Там все было приветливо и чисто, спокойно и ладно. Мы проделали путь из Вентимильи в Пизу и Флоренцию, потом через Романью в Римини и обратно через Форли, Имолу, Болонью, Парму, Пьяченцу, Геную и опять в Вентимилью. Вся поездка заняла всего десять дней. За такой короткий срок у нас, конечно, не было возможности узнать, как обстоят дела в этой стране и как там живет людям.

ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ

— Как дела, Джек? — спросил я.

— Ты видел этого Уолкотта? — сказал он.

— Только в гимнастическом зале.

— Ну, — сказал Джек, — надо, чтобы мне повезло, а то его так не возьмешь.

— Он до тебя и не дотронется, Джек, — сказал Солджер.

— Хорошо, кабы так.

— Он в тебя и горстью дроби не попадет.

— Дробью пускай, — сказал Джек. — Дроби я не боюсь.

— А в него легко попасть, — сказал я.

— Да, — сказал Джек, — он долго не продержится на ринге. Не то что мы с тобой, Джерри. Но сейчас хорош.

— Ты его обрабатываешь одной левой.

— Пожалуй, — сказал Джек. — Может быть, и так.

— Разделай его, как ты Ричи Льюиса разделал.

— Ричи Льюис, — сказал Джек, — этот жмот!

Мы все трое, Джек Бреннан, Солджер Бартлет и я, сидели у Хэндли. За соседним столиком сидели две шлюхи. Они уже порядком накачались.

— Жмот, — говорит одна. — Ишь ты! Ты как сказал, дубина ирландская? Жмот?

— Да, — говорит Джек. — Именно.

— Жмот, — говорит она опять. — Уж эти ирландцы! Чуть что, так сейчас ругаться. А сам-то!

— Не связывайся, Джек. Пойдем.

— Жмот, — говорит она. — А ты, герой, хоть раз в жизни угостил кого-нибудь? Жена тебе небось каждое утро карманы наглухо зашивает. А туда же, жмот! Тебе от Ричи Льюиса тоже попало!

— Да,— сказал Джек.— А вы как — ги с кого денег не берете?

Мы вышли. Джек всегда был такой. За словом в карман не лазил.

Джек проходил тренировку на ферме у Дэнни Хогана в Джерси. Место там красивое, но Джеку не нравилось. Он скучал без жены и детей и все время ворчал и злился. Меня он любил, и мы с ним ладили. Хогана он тоже любил, но Солджер Бартлет скоро начал его раздражать. Шутник может здорово падоесть, особенно если шутки его начинают повторяться. А Солджер все время подшучивал над Джеком, все время отпускал шуточки. Не очень забавные и не очень удачные, и Джека это злило. Бывало, например, так: Джек кончал работать с тяжестями и с мешком и надевал перчатки.

— Поработаешь со мной? — спрашивал он Солджера.

— Ладно. Ну, как с тобой поработать? — говорил Солджер.— Вздуть тебя, как Уолкотт тебя вздует? Посадить тебя разок-другой в нокдаун?

— Валлий,— говорил Джек. Но это ему не нравилось.

Раз утром на прогулке мы зашли довольно далеко и теперь возвращались. Мы делали пробежку три минуты; потом ходьба — одну минуту. Потом опять пробежка. Джека нельзя было назвать спринтером. На ринге он двигался быстро, когда бывало нужно, но бегать не умел. Во время ходьбы Солджер только и делал, что высмеивал Джека. Мы поднялись на холм, где стояла ферма.

— Вот что, Солджер,— сказал Джек,— уезжай-ка ты в город.

— Что это значит?

— Уезжай в город да там и оставайся.

— В чем дело?

— Меня тошнит от твоей болтовни.

— Ах, так,— сказал Солджер.

— Да уж так,— сказал Джек.

— Тебя еще хуже будет тошнить, когда Уолкотт с тобой разделается.

— Может быть,— сказал Джек,— но пока что меня тошнит от тебя.

Солджер уехал в то же утро с первым поездом. Я провожал его на станцию. Он был очень сердит.

— Я ведь только шутил,— сказал он. Мы стояли на платформе, дожидаясь поезда.— С чего он на меня взъелся, Джерри?

— Он первничает, оттого и злится,— сказал я.— А так он добрый малый, Солджер.

— Вот так добрый! Когда это он был добрым?

— Ну, прощай, Солджер,— сказал я.

Поезд подошел. Солджер поднялся на ступеньки, держа чемодан в руках.

— Прощай, Джерри,— сказал он.— Будешь в городе до состязания?

— Навряд ли.

— Значит, увидимся на матче.

Он вошел в вагон, кондуктор вскочил на подножку, и поезд тронулся. Я поехал домой в двуколке. Джек сидел на крыльце и писал жене письмо. Принесли почту; я взял газету, сел на другой стороне крыльца и стал читать. Хоган выглянул из дверей и подошел ко мне.

— Что у него вышло с Солджером?

— Ничего не вышло. Просто он сказал Солджеру, чтоб тот уезжал в город.

— Я так и знал, что этим кончится,— сказал Хоган.— Он не любит Солджера.

— Да. Он мало кого любит.

— Сухарь,— сказал Хоган.

— Со мной он всегда был хорош.

— Со мной тоже,— сказал Хоган.— Я от него плохого не видел. А все-таки он сухарь.

Хоган ушел в дом, а я остался на крыльце; сидел и читал газеты. Осень только начиналась, а в Джерси, в горах, очень красиво, и я дочитал газеты и стал смотреть по сторонам и на дорогу внизу вдоль леса, по которой, поднимая пыль, бежали машины. Погода была хорошая и места очень красивые.

Хоган вышел на порог, и я спросил:

— Хоган, а что, есть тут какая-нибудь дичь?

— Нет,— сказал Хоган.— Только воробьи.

— Читал газету? — спросил я.

— А что там?

— Санди вчера трех привел к финишу.

— Это мне еще вчера вечером сказали по телефону.

— Следишь за ними? — спросил я.

— Да, держу связь,— сказал он.

— А Джек? — спросил я.— Он еще играет на скачках?

— Он? — сказал Хоган.— Разве это на него похоже?

Как раз в эту минуту Джек вышел из-за угла, держа в руках письмо. На нем был свитер, старые штаны и башмаки для бокса.

— Есть у тебя марка, Хоган? — спросил он.

— Давай письмо, — сказал Хоган. — Я отправлю.

— Джек, — сказал я, — ведь ты раньше играл на скачках?

— Случалось.

— Я знаю, что ты играл. Помнится, я тебя видел в Шипсхэде.

— А теперь почему бросил? — спросил Хоган.

— Много проиграл.

Джек сел на ступеньку рядом со мной и прислонился к столбу. Он жмурился, сидя на солнышке.

— Дать тебе стул? — спросил Хоган.

— Нет, — сказал Джек. — Так хорошо.

— Хороший день, — сказал я. — Славно сейчас в деревне.

— А по мне, лучше в городе с женой.

— Ну что ж, осталась всего неделя.

— Да, — сказал Джек. — Это верно.

Мы сидели на крыльце. Хоган ушел к себе в контору.

— Как ты считаешь, я в форме? — спросил меня Джек.

— Трудно сказать. У тебя, во всяком случае, еще есть неделя, чтобы войти в форму.

— Не вилай, пожалуйста.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Ты не в порядке.

— Сплю плохо, — сказал Джек.

— Это пройдет. День-два, и все наладится.

— Нет, — сказал Джек. — У меня бессонница.

— Тебя что-нибудь тревожит?

— По жене скучаю.

— Пускай она сюда приедет.

— Нет, для этого я слишком стар.

— Мы хорошенько погуляем вечером, перед тем как тебе ложиться, ты устанешь и заснешь.

— Устану! — сказал Джек. — Я и так все время чувствую себя усталым.

Он всю неделю был такой. Не спал по ночам, а утром чувствовал себя так — ну, знаете, когда даже руку сжать в кулак не можешь.

— Выдохся, — сказал Хоган. — Как виго без пробки. Никуда не годится.

— Я никогда не видал этого Уолкотта,— сказал я.

— Он Джека убьет,— сказал Хоган.— Попролам переверст.

— Ну что ж,— сказал я.— Надо же когда-нибудь и проиграть.

— Да, но не так,— сказал Хоган.— Люди подумают, что он совсем не тренирован. Это портит нашу репутацию.

— Ты слышал, что о нем говорили репортеры?

— Еще бы не слышать! Они сказали, что он ни к черту не годен. Сказали, что его нельзя выпускать на ринг.

— Ну,— сказал я,— они ведь всегда врут.

— Так-то так. Но на этот раз не соврали.

— Э, откуда им знать, в порядке человек или не в порядке.

— Ну,— сказал Хоган,— не такие уж они дураки.

— Только и сумели, что разругать Вилларда в Толедо. Этот Ларднер, сейчас-то он умный, а спроси его, что он говорил о Вилларде в Толедо.

— Да он к нам и не приезжал,— сказал Хоган.— Он пишет только о больших состязаниях.

— А, плевать мне на них, кто бы они ни были,— сказал я.— Что они понимают? Писать они, может, и умеют, но что они понимают в боксе?

— А сам-то ты считаешь, что Джек в форме? — спросил Хоган.

— Нет. Он сошел. Теперь одного не хватает, чтоб Корбетт изругал его как следует,— ну, и тогда все будет кончено.

— Корбетт его изругает, будь покоен,— сказал Хоган.

— Да. Он его изругает.

В эту ночь Джек опять не спал. Следующий день был последний перед боем. После завтрака мы опять сидели на крыльце.

— О чем ты думаешь, Джек, когда не спишь? — спросил я.

— Да так, беспокоюсь,— сказал Джек.— Беспокоюсь насчет своего дома в Бронксе, беспокоюсь насчет своей усадьбы во Флориде. О детях беспокоюсь и о жене. А то вспоминаю матчи. Потом у меня есть кой-какие акции — вот и о них беспокоюсь. О чем только не думаешь, когда не спишь!

— Ну,— сказал я,— завтра вечером все будет кончено.

— Да,— сказал Джек.— Это очень утешительно, не правда ли? Раз, два — и все уладится, так, по-твоему?

Весь день он злился. Мы не работали. Джек только поупражнялся немного, чтобы размяться. Он провел несколько раундов боя с тенью. И даже тут он производил неважное впечатление. Потом немного попрыгал со скакалкой. Он никак не мог вспотеть.

— Лучше бы уж совсем не работал,— сказал Хоган. Мы стояли рядом и смотрели, как он прыгает со скакалкой.— Он что, совсем больше не потеет?

— Да,— вот не может.

— Ты думаешь, что он хоть сколько-нибудь в форме? Ведь он, кажется, всегда легко сгонял вес?

— Нисколько он не в форме. Он сходит, вот что.

— Надо, чтобы он вспотел,— сказал Хоган.

Джек приблизился, прыгая через скакалку. Он прыгал прямо перед нами, то вперед, то назад, на каждом третьем прыжке скрепящая руки.

— Ну,— сказал он,— вы что каркаете, вороны?

— Я считаю, что тебе больше не надо работать,— сказал Хоган.— Выдохнешься.

— Ах, как страшно! — сказал Джек и запрыгал прочь от нас, крепко ударяя скакалкой об пол.

Под вечер на ферму приехал Джон Коллинз. Джек был у себя в комнате. Джон приехал из города в машине. С ним было двое приятелей. Машина остановилась, и все они вышли.

— Где Джек? — спросил меня Джон.

— У себя. Лежит.

— Лежит?

— Да,— сказал я.

— Ну, как он?

Я посмотрел на тех двух, что приехали с Джоном.

— Ничего, это его друзья,— сказал Джон.

— Плохо,— сказал я.

— Что с ним?

— У него бессонница.

— Черт,— сказал Джон.— У этого прландца всегда бессонница.

— Он не в порядке,— сказал я.

— Черт,— сказал Джон.— Всегда он не в порядке. Десять лет я с ним работаю, и никогда еще он не бывал в порядке.

Те, что с ним приехали, засмеялись.

— Познакомьтесь,— сказал Джон.— Мистер Морган и мистер Стейнфелт. А это мистер Доил. Тренер Джека.

— Очень приятно,— сказал я.

— Пойдем к Джеку,— сказал тот, кого звали Морганом.

— Да, поглядим-ка на него,— сказал Стейнфелт. Мы все пошли наверх.

— Где Хоган? — спросил Джон.

— В сарае, со своими клиентами.

— Много у него сейчас народу? — спросил Джон.

— Только двое.

— Тихо у вас, а? — спросил Морган.

— Да, у нас тихо,— сказал я.

Мы остановились перед дверью в комнату Джека. Джон постучал.

Ответа не было.

— Спит, наверно,— сказал я.

— С какой стати ему спать среди бела дня?

Джон нажал ручку, и мы вошли. Джек лежал на постели и спал. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в подушку. Он обнимал подушку обеими руками.

— Эй, Джек! — сказал Джон.

Голова Джека шевельнулась на подушке.

— Джек! — сказал Джон, наклоняясь над ним. Джек еще глубже зарылся в подушку. Джон тронул его за плечо. Джек приподнялся, сел и посмотрел на нас. Он был небрит, на нем был старый свитер.

— Черт,— сказал Джек.— Что вы мне спать не дасте?

— Не сердитесь,— сказал Джон.— Я не знал, что вы спите.

— Ну конечно,— сказал Джек.— Уж конечно, вы не знали.

— Вы ведь знакомы с Морганом и Стейнфелтом,— сказал Джон.

— Очень рад,— сказал Джек.

— Как себя чувствуете, Джек? — спросил Морган.

— Великолепно,— сказал Джек.— Как мне еще себя чувствовать?

— Вид у вас хороший,— сказал Стейнфелт.

— Куда уж лучше,— сказал Джек.— Послушайте.— Он повернулся к Джону.— Вы мой менеджер. Вы на мне берете хороший куш. Какого же черта вас нет на месте, когда сюда являются репортеры? Мы с Джерри, что ли, должны с ними разговаривать?

— У меня Лью работал в Филадельфии,— сказал Джон.

— А мне какое дело! — сказал Джек. — Вы мой менеджер. Вы на мне берете хороший куш. Какое мне дело, что там у вас в Филадельфии? Вы там не для меня денежки загребали. Какого черта вас нет, когда вы мне нужны?

— Хоган был здесь.

— Хоган, — сказал Джек. — Хоган такой же бессловесный, как и я.

— Кажется, Солджер Бартлет тоже с вами работал? — спросил Стейнфелт, чтобы переменить разговор.

— Да, он был здесь, — сказал Джек. — Он-то был, как же.

— Джерри, — сказал Джо, — будьте любезны, поищите Хогана и скажите ему, что мы хотим его видеть, так через полчаса.

— Ладно, — сказал я.

— Почему вы его отсылаете? — сказал Джек. — Не уходи, Джерри.

Морган и Стейнфелт переглянулись.

— Не волнуйтесь, Джек, — сказал Джо.

— Ну, я пойду поищу Хогана, — сказал я.

— Иди, если сам хочешь, — сказал Джек. — Но не потому, что они тебя отсылают.

— Пойду поищу Хогана, — сказал я.

Хоган был в гимнастическом зале, в сарае. С ним были оба его клиента, в перчатках. Каждый из них так боялся понасть под удар противника, что сам уж не решался ударить.

— Ну, довольно, — сказал Хоган, увидев меня. — Прекратите это побоище. Вы, джентльмены, примите душ, а Брюс вас отмассирует.

Они пролезли под канатом, и Хоган подошел ко мне.

— Джо Коллинз приехал, — сказал я, — повидать Джека. И с ним двое приятелей.

— Я видел, как они подъехали в машине.

— Кто эти, с Джоном?

— То, что называется ловкачи, — сказал Хоган. — Ты их не знаешь?

— Нет, — сказал я.

— Хэппи Стейнфелт и Хью Морган. Держат пул.

— Я ведь уезжал.

— Правда, — сказал Хоган. — Этот Хэппи Стейнфелт продувная бестия.

— Я о нем слышал.

— Хитрец,— сказал Хоган.— А вообще оба они жулики.

— Так,— сказал я.— Они хотят, чтобы мы к ним зашли через полчаса.

— То есть, иначе говоря, чтобы мы к ним не заходили раньше, чем через полчаса?

— Вот именно.

— Ну, пойдем в контору,— сказал Хоган.— К черту этих жуликов.

Минут через тридцать мы с Хоганом пошли наверх. Мы постучали в дверь. Слышно было, что в комнате разговаривают.

— Подождите минутку,— сказал кто-то.

— А ну вас к дьяволу,— сказал Хоган.— Если я вам нужен, я буду в конторе.

Мы услышали, как повернулся ключ в замке. Стейнфелт открыл дверь.

— Заходите, Хоган,— сказал он.— Сейчас мы выпьем по рюмочке.

— Ладно,— сказал Хоган.— Это дело.

Мы вошли. Джек сидел на кровати. Джон и Морган сидели на стульях. Стейнфелт стоял.

— Что у вас тут за тайны? — сказал Хоган.

— Хэлло, Данни,— сказал Джон.

— Хэлло, Данни,— сказал Морган, и они пожали друг другу руки.

Джек ничего не сказал. Он молча сидел на кровати. Он не с ними. Он сам по себе. На нем была старая синяя фуфайка, старые штаны и башмаки для бокса. Ему бы не мешало побриться. Стейнфелт и Морган были шикарно одеты. Джон тоже. Джек сидел на кровати, и вид у него был очень ирландский и мрачный.

Стейнфелт достал бутылку, а Хоган принес стаканы, и все выпили. Мы с Джеком выпили по стаканчику, а прочие на этом не остановились и выпили по два и по три.

— Приберегите на дорогу,— сказал Хоган.

— Не беспокойтесь. У нас еще есть,— сказал Морган.

После второго стакана Джек больше уже не пил. Он встал и смотрел на них. Морган сел на его место на кровати.

— Выпейте, Джек,— сказал Джон и протянул ему стакан и бутылку.

— Нет,— сказал Джек.— Я никогда не любил поминоков.

Все засмеялись. Джек не смеялся.

Все были уже под мухой, когда уезжали. Джек стоял на крыльце, пока они садились в машину. Они помахали ему на прощанье.

— До свиданья,— сказал Джек.

Потом мы ужинали. За все время ужина Джек не сказал ни слова, кроме «передайте мне это», «передайте мне то». Оба клиента Хогана ели вместе с нами. Это были славные ребята. Поужинав, мы вышли на крыльцо. Теперь рано темно.

— Погуляем, Джерри? — спросил Джек.

— Давай,— сказала я.

Мы надели пальто и вышли. До шоссе был порядочный кусок, а потом мы еще мили полторы прошли по шоссе. Нас обгоняли машины, и мы то и дело сходили с дороги, чтобы их пропустить. Джек молчал. Когда мы залезли в кусты, чтобы пропустить большую машину, Джек сказал:

— Ну ее к шутам, эту прогулку. Пойдем домой.

Мы пошли тропинкой, которая вела сперва через холм, а потом по полям, прямо к ферме. С холма видны были огни в доме. Мы обогнули дом и подошли к крыльцу; в дверях стоял Хоган.

— Хорошо погуляли? — спросил Хоган.

— Замечательно,— сказал Джек.— Послушай, Хоган. Есть у тебя виски?

— Есть,— сказал Хоган.— А что?

— Пришли-ка нам наверх. Я сегодня намерен спать.

— Ну, как знаешь,— сказал Хоган.

— Пойдем ко мне, Джерри,— сказал Джек.

Наверху Джек сел на кровать и сжал голову руками.

— Всеслая жизнь,— сказал он.

Хоган принес кварту виски и два стакана.

— Принести вам лимонаду? — спросил Хоган.

— Зачем? Чтоб меня потом тошнило?

— Я ведь только спросил,— сказал Хоган.

— Выпьешь с нами? — спросил Джек.

— Нет, спасибо,— сказал Хоган и вышел.

— А ты, Джерри?

— Стаканчик выпью,— сказал я.

Джек налил два стакана.

— Ну-с,— сказал он,— теперь займемся.

— Подлей воды,— сказал я.

— Да,— сказал Джек.— Пожалуй, так будет лучше.

Мы выпили молча. Джек хотел налить мне еще.

— Нет,— сказал я,— с меня довольно.

— Как хочешь,— сказал Джек. Он налил себе порядочную порцию и добавил воды. Он немного повеселел.

— Ну и компания, эти, что приезжали,— сказал он.— Наверняка хотят бить. Так, чтоб без риска.

Потом, немного погодя, он добавил:

— Что ж, они правы. Какой смысл рисковать? Выпей, Джерри,— сказал он.— Ну, выпей со мной.

— Мне это не нужно, Джек,— сказал я.— Мне и так хорошо.

— Только один,— сказал Джек. Его уже немного развезло.

— Ладно,— сказал я.

Джек налил немного в мой стакан, а в свой побольше.

— Люблю выпить,— сказал он.— Если б не бокс, я бы, наверно, здорово шл.

— Наверно.

— Знаешь,— сказал он,— я много упустил из-за бокса.

— Зато у тебя куча денег.

— Да,— сказал Джек.— Для этого я и стараюсь. А все-таки я много упустил.

— Ну что, например?

— Да вот, например, с женой. И дома мало приходится бывать. И для моих девочек это плохо. Спрашивает их какая-нибудь подружка — из таких, знаешь, светских барышень: «Кто твой отец?» — «Мой отец — Джек Бреннан». Это плохо для них.

— Э,— сказал я,— ничего это не значит. Были б только у них деньги.

— Да,— сказал Джек,— денег я для них припас.

Он налил себе еще. Бутылка была уже почти пуста.

— Подлей воды,— сказал я. Джек добавил воды.

— Ты не знаешь,— сказал он,— как я скучаю по жене.

— Знаю,— сказал я.

— Нет, ты не знаешь. Ты даже представить себе не можешь, каково это.

— В деревне все-таки лучше, чем в городе.

— А мне,— сказал Джек,— совершенно все равно. Ты даже представить себе не можешь, как я по ней скучаю.

— Выпей еще.

— Я пьян? Заговариваюсь?

— Есть немощко.

— Ты даже понять не можешь, каково мне. Никто не может понять.

— Кроме жены,— сказал я.

— Она знает,— сказал Джек.— Она-то знает. Уж она знает, будь покоен. Она знает.

— Подлей воды,— сказал я.

— Джерри,— сказал Джек,— ты даже понять не можешь, каково мне бывает.

Он был пьян вдребезги. Он пристально смотрел на меня. Взгляд у него был какой-то слишком пристальный.

— Сегодня ты будешь спать,— сказал я.

— Слушай, Джерри,— сказал Джек.— Хочешь заработать? Поставь на Уолкотта.

— Вот как?

— Слушай, Джерри.— Джек отставил стакан.— Смотри. Я сейчас пьян. Знаешь, сколько я на него ставлю? Пятьдесят тысяч.

— Это большие деньги.

— Пятьдесят тысяч. Два против одного. Получу двадцать пять чистых. Поставь на него, Джерри.

— Выгодное дело,— сказал я.

— Все равно мне его не побить,— сказал Джек.— Тут нет никакого жульничества. Я ведь все равно не могу его побить. Почему же не заработать на этом?

— Подлей воды,— сказал я.

— После этого боя уйду с ринга,— сказал Джек.— Брошу все к чертям. Все равно он меня побьет. Почему же не заработать?

— Ясно.

— Целую неделю не спал,— сказал Джек.— Всю ночь лежу и мучаюсь. Не могу спать, Джерри. Ты даже понять не можешь, каково это, когда не спишь.

— Плохо.

— Не могу спать. Не могу, и кончено. Сколько ни тренируйся, а какой толк, если не можешь спать, верно?

— Верно.

— Ты даже понять не можешь, Джерри, каково это, когда не спишь.

— Подлей воды,— сказал я.

Часам к одиннадцати Джек был готов, и я уложил его в постель. Он засыпал стоя. Я помог ему раздеться и лечь.

— Теперь ты будешь спать, Джек,— сказал я.

— Да,— сказал Джек,— теперь я засну.

— Спокойной ночи, Джек,— сказал я.

— Спокойной ночи, Джерри,— сказал Джек.— Один у меня есть друг — это ты.

— Да пу тебя,— сказал я.

— Один только друг,— сказал Джек.— Одип-единственный.

— Спи,— сказал я.

— Сплю,— сказал Джек.

Внизу, в конторе, Хоган сидел за столом и читал газеты. Он посмотрел на меня.

— Ну, уложил своего дружка? — спросил он.

— Готов.

— Лучше так, чем совсем не спать,— сказал он.

— Да.

— А вот поди объясни это газетным писакам.

— Ну, я тоже пошел спать,— сказал я.

— Спокойной ночи,— сказал Хоган.

Утром, часов в восемь, я сошел вниз и позавтракал. Хоган работал со своими клиентами в сарае. Я пошел туда и стал смотреть на них.

— Раз! Два! Три! Четыре! — считал Хоган.— Хэлло, Джерри,— сказал он.— Джек встал?

— Нет. Еще спит.

Я пошел к себе в комнату и уложил вещи. В половине десятого я услышал, как Джек ворочается за стеной. Когда я услышал, что он спускается по лестнице, я тоже пошел вниз. Джек сидел за завтраком. Хоган тоже был там, он стоял у стола.

— Как себя чувствуешь, Джек? — спросил я.

— Ничего.

— Хорошо спал? — спросил Хоган.

— Спал на славу,— сказал Джек.— Во рту скверно, но голова не болит.

— Вот видишь,— сказал Хоган.— Это потому, что виски хорошее.

— Припиши к счету,— сказал Джек.

— Когда вы едете? — спросил Хоган.

— После завтрака. Одиннадцатичасовым.

— Сядь, Джерри,— сказал Джек. Хоган ушел. Я сел к столу. Джек ел грейпфрут. Когда ему попадалась косточка, он выплевывал ее в ложку и сбрасывал на блюдо.

— Я вчера здорово накачался,— начал он.

— Да, выпил немножко.

— Наболтал, паверно, всякого вздору.

— Да нет, ничего особенного.

— Где Хоган? — спросил он. Он доедал грейпфрут.

— В контору ушел.

— Что я там говорил насчет ставок? — спросил Джек. Он держал ложку и тыкал ею в грейпфрут.

Вошла горничная, поставила на стол яичницу с ветчиной и убрала грейпфрут.

— Дайте мне еще стакан молока, — сказал ей Джек. Она вышла.

— Ты сказал, что ставишь пятьдесят тысяч на Уолкотта, — сказал я.

— Это верно, — сказал Джек.

— Это большие деньги.

— Не нравится мне это, — сказал Джек.

— Может еще и по-другому обернуться.

— Нет, — сказал Джек. — Он до смерти хочет стать чемпионом. Эти жулики на нем не промахнутся.

— Ничего нельзя знать наперед.

— Нет. Ему нужно звание. Для него это важнее денег.

— Пятьдесят тысяч большие деньги, — сказал я.

— Это простой расчет, — сказал Джек. — Я не могу победить. Ты же знаешь, что я не могу победить.

— Пока ты на ринге, всегда есть шанс.

— Нет, — сказал Джек. — Я выдохся. Это простой расчет.

— Как ты себя чувствуешь?

— Прилично, — сказал Джек. — Выспался, а это мне как раз и нужно.

— Ты будешь хорош на ринге.

— Да, будет на что посмотреть, — сказал Джек.

После завтрака Джек вызвал жену по междугородному телефону. Он сидел в телефонной будке.

— За все время первый раз ее вызывает, — сказал Хоган.

— Он каждый день ей писал.

— Ну да, — сказал Хоган, — марка ведь стоит только два цента.

Мы попрощались с Хоганом, и Брюс, негр-массажист, отвез нас на станцию в двуколке.

— Прощайте, мистер Бреннан, — сказал он, когда подошел поезд. — Надеюсь, вы ему расшибете котелок.

— Прощайте, — сказал Джек и дал Брюсу два доллара.

Брюсу много пришлось над ним поработать. Лицо у него вытянулось. Джек заметил, что я смотрю на два доллара в руках у Брюса.

— Это все оплачено,— сказал он.— Массаж Хоган тоже ставит в счет.

В поезде Джек все время молчал. Он сидел в углу — билет у него был засунут за ленту шляпы — и смотрел в окно. Только раз он повернулся и заговорил со мной.

— Я предупредил жену, что возьму на почт номер у Шелби,— сказал он.— Это в двух шагах от Парка. А домой вернусь завтра утром.

— Отличная мысль,— сказал я.— Жена тебя когда-нибудь видела на ринге?

— Нет,— сказал Джек.— Никогда не видела.

Я подумал — какого же он ждет избиения, если не хочет показываться домой после матча. На вокзале мы взяли такси и поехали к Шелби. Вышел мальчик и забрал наши чемоданы, а мы пошли в контору.

— На какую цену у вас есть номера? — спросил Джек.

— Есть только номера на две кровати,— сказал конторщик.— Могу вам предложить прекрасную комнату на две кровати за десять долларов.

— Это дорого.

— Могу предложить вам комнату на две кровати за семь долларов.

— С ванной?

— Конечно.

— Ты можешь переночевать со мной, Джерри,— сказал Джек.

— Да нет,— сказал я,— я остановлюсь у зятя.

— Я это не затем, чтобы ты платил,— сказал Джек.— А так, чтобы деньги зря не пропадали.

— Запишитесь, пожалуйста,— сказал конторщик. Потом прочитал про себя наши фамилии.— Номер двести тридцать восемь, мистер Бреннан.

Мы поднялись на лифте. Комната была большая и хорошая, с двумя кроватями и дверью в ванную.

— Шикарно,— сказал Джек.

Лифтер поднял шторы и внес наши чемоданы. Джек и не подумал дать ему на чай; тогда я дал ему двадцать пять центов. Мы помылись, и Джек сказал, что пужно пойти куда-нибудь поесть.

Мы пообедали у Хэндли. Там было много знакомых. В середине обеда вошел Джон и сел за наш столик. Джек ел, а разговаривал мало.

— Как у вас с весом, Джек? — спросил Джон.

Джек уписывал солидный обед.

— Хотя одетым могу взвешиваться,— сказал Джек. Он всегда легко сгонял вес. Он был прирожденным легко-весом и никогда не толстел. У Хогана он еще потерял в весе.

— Пу, это у вас всегда в порядке,— сказал Джон.

— Да, это в порядке,— сказал Джек.

Мы пошли в Парк взвешиваться. Условия матча были: сто сорок семь фунтов в три часа дня. Джек стал на весы, обернув полотенце вокруг бедер. Стрелка не шевельнулась. Уолкотт только что взвешивался и теперь стоял в стороне; вокруг него толпился парод.

— Дайте взглянуть на ваш вес, Джек,— сказал Фридмен, менеджер Уолкотта.

— Пожалуйста. Но тогда и его при мне взвесьте.— Джек мотнул головой в сторону Уолкотта.

— Сбросьте полотенце,— сказал Фридмен.

— Сколько? — спросил Джек.

— Сто сорок три фунта,— сказал толстяк, возившийся у весов.

— Здорово согнали, Джек,— сказал Фридмен.

— Взвесьте *его*,— сказал Джек.

Уолкотт подошел. Он был белокурый, с широкими плечами и руками, как у тяжеловеса. Зато ноги у него были коротковаты. Джек был выше его на полголовы.

— Хэлло, Джек,— сказал он. Лицо у него было все в шрамах.

— Хэлло,— сказал Джек.— Как самочувствие?

— Очень хорошо,— сказал Уолкотт. Он сбросил полотенце и стал на весы. Таких широких плеч и такой спины я еще ни у кого не видел.

— Сто сорок шесть фунтов и двенадцать унций.— Уолкотт сошел с весов и ухмыльнулся Джеку.

— У вас разница в четыре фунта,— сказал ему Джон.

— К вечеру будет еще больше,— сказал Уолкотт.— Я теперь пойду пообедаю.

Мы пошли в уборную, и Джек оделся.

— Крепкий паренек,— сказал мне Джек.

— Судя по виду, ему часто доставалось.

— О да,— сказал Джек.— В него попасть не трудно.

— Вы теперь куда? — спросил Джон, когда Джек был одет.

— Обратно, в отель,— сказал Джек.— Вы обо всем позаботились?

— Да,— сказал Джон.— Там все сделают.
— Пойду теперь прилягу,— сказал Джек.
— Хорошо. А без четверти семь я зайду за вами, и мы пойдем ужинать.

— Ладно.

Когда мы пришли в номер, Джек снял башмаки и пиджак и лег. Я сел писать письмо. Время от времени я поглядывал на Джека. Он не спал. Он лежал совсем тихо, но глаза у него то и дело открывались. Наконец он встал.

— Сыграем в криббедж, Джерри? — сказал он.

— Давай,— сказал я.

Он раскрыл чемодан и достал карты и доску для криббеджа. Мы сыграли несколько партий, и Джек выиграл у меня три доллара. Потом в дверь постучали, и вошел Джон.

— Хотите сыграть в криббедж, Джон? — спросил Джек.

Джон положил шляпу на стол. Она была вся мокрая. Пальто у него тоже было мокрое.

— Дождь идет? — спросил Джек.

— Льет как из ведра,— сказал Джон.— Я ехал в такси, но попал в затор, пришлось добираться пешком.

— Давайте сыграем в криббедж,— сказал Джек.

— Вам бы надо поесть.

— Нет,— сказал Джек.— Пока еще не хочется.

С полчаса они играли в криббедж, и Джек выиграл у Джона полтора доллара.

— Ну, ладно,— сказал Джек.— Пойдем, что ли, ужинать.

Он подошел к окну и выглянул на улицу.

— Все еще дождь?

— Да.

— Поедим здесь, в отеле,— сказал Джон.

— Хорошо,— сказал Джек.— Сыграем еще партию. Кто проиграет, платит за ужин.

Немного погодя Джек поднялся и сказал:

— Вам платить, Джон.— И мы пошли вниз и поужинали в большом зале.

После ужина мы вернулись в номер, и Джек еще раз сыграл с Джоном и выиграл у него два с половиной доллара. Джек совсем развеселился. У Джона был с собой саквояж, и в нем все, что нужно для матча. Джек снял рубашку и воротничок и надел фуфайку и свитер, чтобы не простудиться на улице, а костюм для ринга и халат уложил в чемоданчик.

— Готовы? — спросил его Джон. — Сейчас велю вызывать такси.

Скоро зазвонил телефон, и снизу сказали, что машина пришла.

Мы спустились в лифте, прошли через вестибюль, сели в такси и поехали в Парк. Шел проливной дождь, но перед входом на улице стояла толпа. Все места были проданы. Когда мы проходили в уборную, я увидел, что зал набит битком. От верхних мест до ринга, казалось, было добрых полмили. В зале было темно. Только фонари над рингом.

— Хорошо, что не вывели на открытую сцену, — сказал Джон. — А то как быть под таким дождем?

— Полный сбор, — сказал Джек.

— На такой матч и больше бы пришло, — сказал Джон. — Зал не вмещает.

— Погоду наперед не закажешь, — сказал Джек.

Джон подошел к дверям уборной и заглянул внутрь. Джек сидел там, уже в халате, скрестив руки, и смотрел в пол. С Джоном было двое секундантов. Они выглядывали из-за его плеча. Джек поднял глаза.

— Он уже вышел? — спросил он.

— Только что вышел, — сказал Джон.

Мы стали спускаться. Уолкотт как раз выходил на ринг. Его хорошо встретили. Он пролез под канатом, поднял руки, сложенные вместе, улыбнулся, потряс ими над головой, сперва в одну сторону, потом в другую, и сел. Джеку много хлопали, когда он пробирался сквозь толпу. Джек ирландец, а ирландцев всегда хорошо встречают. Ирландец не сделает такого сбора в Нью-Йорке, как еврей или итальянец, но встречают их всегда хорошо. Джек поднялся на ступеньки и нагнулся, чтобы пролезть под канатом, а Уолкотт вышел из своего угла и наступил на нижний канат, чтобы Джеку удобнее было пройти. Публике это страшно понравилось. Уолкотт положил Джеку руку на плечо, и они постояли так несколько секунд.

— В любимцы публики метите? — спросил Джек. — Уберите руку с моего плеча.

— Ведите себя прилично, — сказал Уолкотт.

Публика любит такие вещи. Как они благородно держат себя перед боем! Как они желают друг другу удачи!

Когда Джек стал бинтовать себе руки, Солли Фридмен перешел в наш угол, а Джон пошел к Уолкотту. Джек про-

сунул большой палец в петлю бинта, а потом гладко и аккуратно обмотал руку и крепко завязал ее тесьмой у кисти и дважды вокруг суставов.

— Эй, эй,— сказал Фридмен.— Куда столько тесьмы?

— Пощупайте,— сказал Джек.— Она же совсем мягкая. Не придирайтесь.

Фридмен оставался с нами все время, пока Джек бинтовал другую руку, а один из секундантов принес перчатки, и я натянул их на Джека, размял и завязал.

— Фридмен,— сказал Джек.— Какой он национальности, этот Уолкотт?

— Не знаю,— сказал Солли.— Датчанин, что ли.

— Он чех,— сказал секундант, принесший перчатки.

Рсфери позвал их на середину ринга, и Джек вышел. Уолкотт вышел улыбаясь. Они сошлись, и рефери положил обоим руки на плечи.

— Ну-с, любимчик,— сказал Джек Уолкотту.

— Ведите себя прилично.

— Что это вы выдумали назваться Уолкоттом? — сказал Джек.— Вы разве не знаете, что он был негр?

— Выслушайте,— сказал рефери и прочитал им, какое полагается, наставление. Раз Уолкотт прервал его. Он ухватил руку Джека и спросил:

— Могу я бить, если он захватит меня вот так?

— Уберите руку,— сказал Джек.— Нас еще не снимают для кино.

Они разошлись по углам. Я снял халат с Джека, он палел на канат и несколько раз согнул ноги в коленях, потом патер подошвы канифолью. Раздался гонг, и Джек быстро повернулся и вышел. Уолкотт подошел к нему, они коснулись друг друга перчаткой о перчатку, и едва Уолкотт опустил руку, как Джек провел двойной джеб¹ левой в голову. Не было на свете лучшего боксера, чем Джек. Уолкотт пошел на него, все время двигаясь вперед, опустив подбородок. Он предпочитает работать крюками² и держит руки низко. Все, что он умеет,— это бить. Но всякий раз, как он приближался, Джек бил левой. Казалось, что это происходит само собой. Джек только поднимает руку — и удар уже нанесен. Три или четыре раза он опережал

¹ Д ж е б — короткий прямой удар, применяемый на близком расстоянии.

² К р ю к — удар согнутой рукой, один из самых сильных в боксе.

правой, но Уолкотт тогда подставлял плечо, и удар шел высоко, в голову. Уолкотт как все файтеры¹. Единственно, чего он боится, это такого же удара, как его собственные. Он закрыт всюду, где ему грозит сильный удар. А джебы левой его не беспокоят.

На четвертом раунде у него уже шла кровь и все лицо было разбито. Но всякий раз, как они сближались, Уолкотт бил крюками с такой силой, что у Джека пониже ребер с обеих сторон появились два больших красных пятна. Всякий раз, как он подходил близко, Джек связывал его, потом освобождал руку и бил его апперкотом, но если Уолкотту удавалось освободить руку, он наносил Джеку такой удар по корпусу, что на улице было слышно. Он файтер.

Так продолжалось еще три раунда. Они не разговаривали. Они все время работали. Мы тоже усердно работали над Джеком между раундами. Он казался вялым, но он никогда не бывает очень подвижным на ринге. Он двигался мало, а левая у него работала как будто автоматически. Казалось, она соединена с головой Уолкотта и, чтобы ударить, Джеку нужно только захотеть. В ближнем бою Джек всегда спокоен и зря не тратит пороку. Он блестяще знает ближний бой, и теперь, когда они расходились, Джек всегда был в выигрыше. Сперва бой шел в нашем углу, и я увидел, как Джек связал Уолкотта, потом освободил руку, повернул ее и нанес ему апперкот в нос открытой перчаткой. У Уолкотта пошла кровь, и он наклонил голову над плечом Джека, чтобы его тоже замарать, а Джек резко поднял плечо и ударил его плечом по носу, а потом нанес удар правой сверху и снова ударил плечом.

Уолкотт обозлился. На пятом раунде он уже смертельно ненавидел Джека. А Джек не злился; то есть не больше, чем всегда. Он умел доводить своего противника до бешенства. Вот почему он терпеть не мог Ричи Льюиса. Ему не удавалось его переиграть. У Ричи Льюиса всегда было в запасе два-три новых трюка, которых Джек не умел сделать. В близком бою Джек, пока не уставал, всегда был в полной безопасности. Он под орех разделал Уолкотта. Удивительней всего, что со стороны казалось, будто он ведет честный классический бокс. Это потому, что так он тоже умел работать.

¹ Ф а й т е р — боксер, действующий не столько искусством, сколько силой удара,

После седьмого раунда Джек сказал:

— Левая у меня отяжелела.

С этого момента он пошел на проигрыш. Сперва это было незаметно. Но если раньше он вел бой, теперь его вел Уолкотт. Раньше он был все время закрыт — теперь ему приходилось плохо. Он уже не мог держать Уолкотта на дистанции левой. Казалось, что все по-прежнему, но если раньше Уолкотт почти всякий раз промахивался, теперь он почти всякий раз попадал. Джек получил несколько сильных ударов по корпусу.

— Какой раунд? — спросил Джек.

— Одиннадцатый.

— Я долго не выдержу, — сказал Джек. — Ноги отказывают.

До сих пор Уолкотт только задевал его. Джек успевал отстраниться, и получалось как при игре в бейсбол, когда игрок тянет за собой мяч и этим отнимает у него часть силы. А теперь Уолкотт начал бить крепче. Он работал, как машина. Джек только старался блокировать. Со стороны незаметно было, какое это ужасное избиение. Между раундами я массировал Джеку ноги. Мышцы дрожали у меня под пальцами все время, пока я его растирал. Ему было совсем плохо.

— Как идет? — спросил он Джона, поворачивая к нему распухшее лицо.

— Это его бой.

— Я еще продержусь, — сказал Джек. — Не хочу, чтобы этот полячишка меня нокаутировал.

Все шло так, как он ожидал. Он знал, что не может побить Уолкотта. У него не хватало силы. Но все было в порядке. Деньги были поставлены как надо, и теперь он хотел закончить бой по своему вкусу. Он не хотел, чтобы его нокаутировали.

Раздался гонг, и мы вытолкнули его вперед. Он вышел медленно. Уолкотт пошел на него. Джек нанес ему удар левой, и Уолкотт принял его, потом вошел в близкий бой и начал бить по корпусу. Джек попытался связать его, но это было все равно что пытаться задержать механическую пилу. Джек вырвался, но промахнулся правой. Уолкотт провел крюк слева, и Джек упал. Он упал на руки и колени и посмотрел на нас. Рефери начал считать. Джек смотрел на нас и тряс головой. На восьмом счете Джон подал ему знак. Голоса бы Джек все равно не услышал, так ре-

вела толпа. Джек встал. Рефери, пока всл счет, все время одной рукой держал Уолкотта.

Как только Джек встал, Уолкотт пошел на него. Я услышал, как Солли Фридмен закричал:

— Берегись, Джимми!

Уолкотт подходил, глядя на Джека. Джек ударил левый. Уолкотт только головой тряхнул. Он прижал Джека к канату, оглядел его, послал очень слабый крюк слева в голову, а затем ударил крюком по корпусу изо всех сил и так низко, как только мог. Верных пять дюймов ниже пояса. Я думал, у Джека глаза выскочат. Они у него совсем на лоб полезли. Рот у него раскрылся.

Рефери схватил Уолкотта. Джек шагнул вперед. Если он упадет, пропали пятьдесят тысяч. Он шел так, словно у него кишки вываливались.

— Это не был неправильный,— сказал он.— Это случайность.

Толпа так ревела, что ничего не было слышно.

— Я в порядке,— сказал Джек. Они были как раз против нас. Рефери взглянул на Джона и покачал головой.

— Ну иди, сукин сын, полячишка,— сказал Джек.

Джон перевесился через канат. Он уже держал в руках полотенце. Джек стоял возле самого каната. Он шагнул вперед. Я увидел, что лицо у него залито потом, словно кто-то взял его и выжал. По носу скатилась большая капля.

— Ну, иди,— сказал он Уолкотту.

Рефери поглядел на Джона и махнул Уолкотту.

— Иди, скотина,— сказал он.

Уолкотт вышел. Он не знал, что делать. Он никак не ожидал, что Джек выдержит. Джек пустил в ход левую. Толпа ревела не переставая. Они были как раз против нас. Уолкотт ударил дважды. У Джека было такое лицо — ничего страшнее я не видал. Он держался только усилием воли, держал себя всего — все свое тело, и это было видно по его лицу. Он все время думал и напряжением мысли зажимал свое тело в том месте, куда ему был нанесен удар.

Затем он начал бить. Лицо у него было ужасное. Он начал бить свингами, низко держа руки. Уолкотт закрылся. Джек послал бешеный свинг ему в голову. Потом вдруг опустил руки и левой ударил в пах, а правой как раз в то место, куда сам получил удар. Гораздо ниже поя-

са. Уолкотт рухнул паземь, ухватился за живот, перевернулся и скорчился.

Рефери схватил Джэка и оттолкнул его в угол. Джон гыскачил па ринг. Толпа все ревела. Рефери что-то говорил судьям, а затем глашатай с мегафоном вышел па ринг и объявил:

— Победа за Уолкоттом. Неправильный удар.

Рефери говорил с Джоном. Он сказал:

— Что же я мог сделать? Джэк не захотел признать неправильный удар. А потом, когда ошалел от боли, сам ударил неправильно.

— Все равно он не мог победить,— сказал Джон.

Джэк сидел на стуле. Я уже спял с него перчатки, и он обними руками зажимал себе живот. Когда ему удавалось обо что-нибудь опереться, лицо у него становилось не такое ужасное.

— Подите извинитесь,— сказал Джон ему на ухо.— Это произведет хорошее впечатление.

Джэк встал. Пот катился у него по лицу. Я набросил на него халат, и он под халатом прижал ладонь к животу и пошел через ринг. Уолкотта уже подпями и приводили в чувство. В том углу толпились люди. Никто из них не заговорил с Джэком. Джэк нагнулся над Уолкоттом.

— Я очень сожалею,— сказал Джэк.— Я не хотел ударить низко.

Уолкотт не ответил. Видно было, что ему очень скверно.

— Ну вот, теперь вы чемпион,— сказал Джэк.— Надеюсь, получите от этого массу удовольствия.

— Оставьте мальчика в покое,— сказал Солли Фридмен.

— Хэлло, Солли,— сказал Джэк.— Мне очень жаль, что так вышло.

Фридмен только посмотрел на него.

Джэк пошел обратно, в свой угол, странной, запинаящейся походкой. Мы помогли ему пролезть под канатом, потом провели мимо репортерских столов и дальше по коридору. Там толпился народ; многие тянулись похлопать Джэка по спине. Джэк, в халате, должен был пробираться сквозь всю эту толпу по пути в уборную. Уолкотт сразу стал героем дня. Вот как выигрывались пари у нас в Парке.

Как только мы добрались до уборной, Джэк лег и закрыл глаза.

— Сейчас поедem в отель и вызовем доктора,— сказал Джон.

— У меня все кишки полопались,— сказал Джек.

— Мне очень совестно, Джек,— сказал Джон.

— Ничего,— сказал Джек.

Он лежал, закрыв глаза.

— Перехитрить нас вздумали,— сказал Джон.

— Ваши друзья, Морган и Стейнфелт,— сказал Джек.— Хорошенькие у вас друзья, нечего сказать.

Теперь он лежал с открытыми глазами. Лицо у него все еще было осунувшееся и страшное.

— Удивительно, как быстро соображаешь, когда дело идет о таких деньгах,— сказал Джек.

— Вы молодчина, Джек,— сказал Джон.

— Нет,— сказал Джек.— Это пустяки.

ДЕСЯТЬ ИНДЕЙЦЕВ

Когда Ник поздно вечером возвращался из города с праздника 4 июля в большом фургоне вместе с Джо Гарнером и его семьей, им попались по пути девять пьяных индейцев. Он запомнил, что их было девять, потому что Джо Гарнер, погонявший лошадей, чтобы засветло добраться домой, соскочил на ходу и вытащил из колеи индейца. Индеец спал, уткнувшись носом в песок. Джо оттащил его в кусты и влез обратно, в фургон.

— Это девятый, — сказал Джо, — как из города выехали.

— Уж эти индейцы! — проговорила миссис Гарнер.

Ник сидел на задней скамье с двумя гарнеровскими мальчиками. Он выглянул из фургона посмотреть на индейца, которого Джо оттащил в сторону от дороги.

— Это что, Билли Тэйбшо? — спросил Карл.

— Нет.

— А у него штаны совсем как у Билли.

— У всех индейцев такие штаны.

— Я его и не видел, — сказал Фрэнк. — Па так быстро соскочил и влез обратно, что я ничего не рассмотрел. Я думал, он змею переехал.

— Ну, какая там змея! А вот индейцы — те сегодня действительно допились до зеленого змия, — сказал Джо Гарнер.

— Уж эти индейцы! — повторила миссис Гарнер.

Они поехали дальше. Фургон свернул с шоссе и стал подниматься в гору. Лошадям было тяжело; мальчики слезли и пошли пешком. Дорога была песчаная. Когда они

миновали школу, Ник оглянулся с вершины холма. Он увидел огни в Питоски, а там вдали, за Литл-Траверс-Бей, огни Харбор-Спрингс. Они снова влезли в фургон.

— Надо бы здесь дорогу гравием укрепить,— сказал Джо Гарнер.

Теперь они ехали лесом. Джо и миссис Гарнер сидели рядом на передней скамье. Ник сидел сзади, между двумя мальчиками. Дорога вышла на просеку.

— А вот здесь па хорька задавил.

— Нет, дальше.

— Не важно, где это было,— заметил Джо, не оборачиваясь.— Не все ли равно, где задавить хорька.

— А я вчера вечером двух хорьков видел,— заявил Ник.

— Где?

— Там, около озера. Они по берегу дохлую рыбу искали.

— Это, верно, еноты были,— сказал Карл.

— Нет, хорьки. Что, я хорьков не знаю, что ли? .

— Тебе да не знать! — сказал Карл.— Ты за индианкой бегаешь.

— Перестань болтать глупости, Карл,— сказала миссис Гарнер.

— А они пахнут одинаково.

Джо Гарнер засмеялся.

— Перестань смеяться, Джо,— заметила миссис Гарнер.— Я не позволю Карлу ерунду пороть.

— Правда, ты за индианкой бегаешь, Ники? — спросил Джо.

— Нет.

— Нет, правда, па,— сказал Фрэнк.— Он за Пруденс Митчел бегают.

— Неправда.

— Он каждый день к ней ходит.

— Нет, не хожу.— Ник, сидевший в темноте между двумя мальчиками, в глубине души чувствовал себя счастливым, что его дразнят Пруденс Митчел.— Вовсе я за пей не бегаю,— сказал он.

— Будет врать! — сказал Карл.— Я их каждый день вместе встречаю.

— А Карл ни за кем не бегают,— сказала мать,— даже за индианкой.

Карл помолчал.

— Карл не умеет с девчонками ладить, — сказал Фрэнк.

— Заткнись!

— Молодец, Карл! — заметил Джо Гарнер. — Девчонки до добра не доведут. Бери пример с отца.

— Не тебе бы говорить. — И миссис Гарнер придвинулась поближе к Джо, воспользовавшись толчком фургона. — Мало у тебя в свое время подружек-то было.

— Уж наверное па никогда не водился с индианкой.

— Как звать? — сказал Джо. — Ты смотри, Ник, непусти Прюди.

Жена что-то шепнула ему, Джо засмеялся.

— Чего ты смеешься, па? — спросил Фрэнк.

— Не говори, Гарнер, — остановила его жена.

Джо опять засмеялся.

— Пускай Ники берет себе Прюди. У меня и без того хорошая жена.

— Вот это так, — сказала миссис Гарнер.

Лошади тяжело тащились по песку. Джо хлестнул кнутом наугад.

— Но-но, веселее! Завтра еще хуже придется.

С холма лошади пошли рысью, фургон подбрасывало.

Около фермы все вылезли. Миссис Гарнер отперла дверь, вошла в дом и вышла обратно с лампой в руках. Карл и Ник спяли поклажу с фургона. Фрэнк сел на переднюю скамью и погнал лошадей к сараю. Ник поднялся на крыльцо и открыл дверь кухни. Миссис Гарнер растапливала печь; она оглянулась, продолжая поливать дрова керосином.

— Прощайте, миссис Гарнер! — сказал Ник. — Спасибо, что подвезли меня.

— Не за что, Ники.

— Я прекрасно провел время.

— Мы тебе всегда рады. Оставайся, поужинай с нами.

— Нет, я уж пойду. Меня па дожидается.

— Ну, иди. Пошли, пожалуйста, домой Карла.

— Хорошо.

— До свидания, Ники!

— До свидания, миссис Гарнер!

Ник вышел со двора фермы и направился к сараю. Джо и Фрэнк доили коров.

— До свидания! — сказал Ник. — Мне было очень весело.

— До свидания, Ники! — крикнул Джо Гарнер. — А ты разве не останешься поужинать?

— Нет, не могу. Скажите Карлу, что его мать зовет.

— Ладно. Прощай, Ники!

Ник босиком пошел по тропинке через луг позади сарая. Тропинка была гладкая, роса холодила босые ноги. Он перелез через изгородь в конце луга, спустился в овраг, увязая в топкой грязи, и пошел в гору через сухой березовый лес, пока не увидел огонек в доме. Он перелез через загородку и подошел к переднему крыльцу. В окно он увидел, что отец сидит за столом и читает при свете большой лампы. Ник открыл дверь и вошел.

— Ну как, Ники? — спросил отец. — Хорошо провел время?

— Очень весело, па. Праздник был веселый.

— Есть хочешь?

— Еще как!

— А куда ты дел свои башмаки?

— Я их оставил у Гарнеров в фургоне.

— Ну, пойдем в кухню.

Отец пошел вперед с лампой. Он остановился у ледника и поднял крышку. Ник вышел в кухню. Отец принес на тарелке кусок холодной курицы и кувшин молока и поставил их перед Ником. Лампу он поставил на стол.

— Еще пирог есть, — сказал отец. — С тебя этого хватит?

— За глаза!

Отец сел на стул у покрытого клеенкой стола. На столе появилась его большая тень.

— Кто же выиграл?

— Питоски. Пять — три.

Отец смотрел, как он ест; потом налил ему стакан молока из кувшина.

Ник выпил и вытер салфеткой рот. Отец протянул руку к полке за пирогом. Он отрезал Нику большой кусок. Пирог был с черникой.

— А ты что делал, па?

— Утром ходил рыбу удить.

— А что поймал?

— Одного окуня.

Отец сидел и смотрел, как Ник ест пирог.

— А после обеда ты что делал? — спросил Ник.

— Ходил прогуляться к индейскому поселку.

— Видел кого-нибудь?
— Все индейцы отправились в город пьянствовать.
— Так и не видел совсем никого?
— Твою Прюди видел.
— Где?
— В лесу, с Фрэнком Уошберном. Случайно набрел на них. Они недурно проводили время.

Отец смотрел в сторону.

— Что они делали?
— Да я особенно не разглядывал.
— Скажи мне, что они делали.
— Не знаю,— сказал отец.— Я слышал только, как они там возились.

— А почему ты знаешь, что это были они?

— Видел.

— Ты, кажется, сказал, что не разглядел их?

— Нет, я их видел.

— Кто с ней был? — спросил Ник.

— Фрэнк Уошберн.

— А им... им...

— Что им?

— А им весело было?

— Да как будто не скучно.

Отец встал из-за стола и вышел из кухни. Когда он вернулся к столу, Ник сидел, уставясь в тарелку. Глаза его были заплаканы.

— Хочешь еще кусочек?

Отец взял нож, чтобы отрезать кусок пирога.

— Нет,— ответил Ник.

— Съешь еще кусок.

— Нет, я больше не хочу.

Отец собрал со стола.

— А где ты их видел? — спросил Ник.

— За поселком.

Ник смотрел на тарелку. Отец сказал:

— Ступай-ка ты спать, Ник.

— Иду.

Ник вошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Он слышал шаги отца в соседней комнате. Ник лежал в постели, уткнувшись лицом в подушку.

«Мое сердце разбито,— подумал он.— Я чувствую, что мое сердце разбито».

Через некоторое время он услышал, как отец потушил лампу и пошел к себе в комнату. Он слышал, как зашумел

ветер по деревьям, и почувствовал холод, проникавший сквозь ставни. Он долго лежал, уткнувшись лицом в подушку, потом перестал думать о Прюди и наконец уснул. Когда он проснулся ночью, он услышал шум ветра в кустах болиголова около дома и прибой волн о берег озера и опять заснул. Утром, когда он проснулся, дул сильный ветер, и волны высоко набегали на берег, и он долго лежал, прежде чем вспомнил, что сердце его разбито.

КАНАРЕЙКУ В ПОДАРОК

Поезд промчался мимо длинного кирпичного дома с садом и четырьмя толстыми пальмами, в тени которых стояли столики. По другую сторону полотна было море. Потом пошли откосы песчаника и глины, и море мелькало лишь изредка, далеко вверху, под скалами.

— Я купила ее в Палермо,— сказала американка.— Мы там стояли только один час: это было в воскресенье утром. Торговец хотел получить плату долларами, и я отдала за нее полтора доллара. Правда, она чудесно поет?

В поезде было очень жарко, было очень жарко и в купе спального вагона. Не чувствовалось ни малейшего ветерка. Американка опустила штору, и моря совсем не стало видно, даже изредка. Сквозь стеклянную дверь купе был виден коридор и открытое окно, а за окном пыльные деревья, лоснящаяся дорога, ровные поля, виноградники и серые холмы за ними.

Из множества высоких труб валил дым — подъезжали к Марселю; поезд замедлил ход и по одному из бесчисленных путей подошел к вокзалу. В Марселе простояли двадцать пять минут, и американка купила «Дейли мейл» и полбутылки минеральной воды. Она прошла по платформе, не отходя далеко от подножки вагона, потому что в Каннах, где стояли двенадцать минут, поезд тронулся без звонка, и она едва успела вскочить. Американка была глуховата — она боялась, что звонок, может быть, и давали, но она его не слышала.

Поезд вышел с марсельского вокзала, и теперь стали видны не только стрелки и фабричный дым, но, если оглянуться назад, и город, и гавань, и горы за ней, и последние отблески солнца на воде. В сумерках поезд промчался

мимо фермы, горевшей среди поля. У дороги стояли машины; постели и все домашнее имущество было вынесено в поле. Смотреть на пожар собралось много народу. Когда стемнело, поезд пришел в Авиньон. Пассажиры входили и выходили. Французы, возвращавшиеся в Париж, покупали в киоске сегодняшние французские газеты. На платформе стояли солдаты-негры в коричневых мундирах. Все они были высокого роста, их лица блестели в свете электрических фонарей. Они были совсем черные и такого высокого роста, что им не было видно, что делается в вагонах. Поезд тронулся, платформа и стоявшие на ней негры остались позади. С ними был сержант маленького роста, белый.

В спальном купе проводник откинул три койки и застелил их. Американка всю ночь не спала, потому что поезд был скорый, а она боялась быстрой езды по ночам. Ее койка была у окна. Канарейку из Палермо, в закутанной шалью клетке, вынесли в коридор рядом с уборной, подальше от сквозняка. В коридоре горел синий фонарь. Всю ночь поезд шел очень быстро, и американка не спала, ожидая крушения.

Утром, когда до Парижа оставалось совсем немного, американка вышла из умывальной очень свежая, несмотря на бессонную ночь, очень здоровая на вид, — типичная американка средних лет. Раскутав клетку и повесив ее на солнце, она отправилась в вагон-ресторан завтракать. Когда она вернулась в купе, постели были уже убраны и превращены в сиденья, канарейка отряхивала перышки в солнечном свете, лившемся в открытое окно, и поезд подходил к Парижу.

— Она любит солнце, — сказала американка. — Сейчас запоет.

Канарейка встряхнулась и начала чистить перышки.

— Я всегда любила птиц, — сказала американка. — Я везу ее домой, моей дочке... Вот она и запела.

Канарейка чирикнула, и перья у нее на шее взъерошились, потом она опустила головку и зарылась клювом в перья. Поезд пролетел через мост и шел очень чистеньким лесом. Один за другим мелькали пригороды Парижа. В пригородах были трамваи и на стенах, обращенных к полотну, большие рекламы: Белль Жардиньер, Дюбонне и Перно. Все, мимо чего проходил поезд, выглядело словно натощак.

Сначала я не прислушивался к разговору американки с моей женой.

— Ваш муж тоже американец? — спросила она.
— Да, — отвечала моя жена. — Мы оба американцы.
— Я думала, что вы англичане.
— О нет, — сказала жена.
— Может, вам это показалось потому, что я ношу подтяжки? — сказал я.

Американка не слышала. Она была совсем глухая и понимала собеседника по движениям губ, а я не смотрел на нее. Я смотрел в окно. Она продолжала разговаривать с моей женой.

— Я так рада, что вы американцы. Из американцев выходят самые лучшие мужья, — говорила она. — Вы знаете, из-за этого нам пришлось покинуть Европу. В Веве моя дочь влюбилась в иностранца. — Она помолчала. — Они были безумно влюблены друг в друга. — Она опять замолчала. — Я ее увезла, конечно.

— Но теперь это у нее прошло? — спросила моя жена.

— Не думаю, — ответила американка. — Она ничего не ест и совсем не спит. Как я ни старалась, она ничем не интересуется. Она ко всему равнодушна. Не могла же я позволить, чтобы она вышла за иностранца. — Она помолчала. — Один из моих друзей говорил мне, что иностранец не может быть хорошим мужем для американки.

— Да, — сказала моя жена, — думаю, что не может.

Американка похвалила дорожное пальто моей жены, — оказалось, что она уже лет двадцать заказывает платья в том же самом ателье на улице Сент-Оноре. У них есть ее мерка, и знакомая *vendeuse*¹, которая знает ее вкус, подбирает ей платья и посылает их в Америку. Посылки приходят в почтовое отделение недалеко от ее дома, в центре Нью-Йорка. В почтовом отделении их вскрывают для оценки, пошлина не очень высокая, потому что платья всегда простые, без золотого шитья, без отделки, и не кажутся дорогими. До теперешней *vendeuse*, Терезы, была другая *vendeuse*, Амели. Их было всего две — за все двадцать лет. *Couturier*² оставался все время один и тот же. А вот цены повысились. Хотя при нынешнем курсе это не важно. Теперь у них есть мерка ее дочери. Она уже совсем взрослая, и мерку едва ли придется менять.

Поезд подходил к Парижу. Укрепления сровняли с землей, но трава здесь так и не выросла. На путях стояло

¹ Продавщица (*фр.*).

² Закройщик (*фр.*).

много вагонов: коричневые деревянные вагоны-рестораны и коричневые деревянные спальные вагоны, которые в пять часов вечера отправятся в Италию, если поезд по-прежнему отходит в пять; на этих вагонах были таблички: «Париж — Рим»; и вагоны пригородного сообщения, с сиденьями на крышах, которые дважды в день бывают переполнены, если все осталось по-старому; мимо мелькали белые стены домов и бесчисленные окна. Все было словно натощак.

— Американцы — самые лучшие мужья, — говорила американка моей жене. Я снимал чемоданы. — Только за американцев и стоит выходить замуж.

— А давно вы уехали из Веве? — спросила моя жена.

— Осенью будет два года. Вот я и везу канарейку ей в подарок.

— А этот молодой человек был швейцарец?

— Да, — ответила американка. — Из очень хорошей семьи. Будущий инженер. Они там и познакомились, в Веве. Подолгу гуляли вместе.

— Я знаю Веве, — сказала моя жена. — Мы провели там медовый месяц.

— Неужели? Надо думать, это было чудесно. Мисс, конечно, и в голову не приходило, что она может в него влюбиться.

— Веве чудесное место, — сказала моя жена.

— Да, — сказала американка. — Не правда ли? Где вы там останавливались?

— Мы жили в «Трех коронах», — сказала моя жена.

— Хороший старый отель, — сказала американка.

— Да, — сказала моя жена. — У нас была очень хорошая комната, и осенью там было чудесно.

— Вы были там осенью?

— Да, — сказала моя жена.

Мы проезжали мимо трех вагонов, которые попали в крушение. Стенки вагонов были разворочены, крыши смяты.

— Посмотрите, — сказал я, — здесь было крушение.

Американка взглянула в окно и увидела последний вагон.

— Именно этого я и боялась всю ночь, — сказала она. — У меня бывают иногда ужасные предчувствия. Никогда больше не поеду ночным экспрессом. Должны же быть другие удобные поезда, которые ходят не так быстро.

Тут поезд вошел под навес Лионского вокзала, остановился, и к окнам подбежали носильщики. Я передал чемоданы в окно, мы вышли на тускло освещенную длинную платформу, и американка вверила свою особу попечениям одного из трех агентов Кука, который сказал ей:

— Одну минуту, мадам, я найду вашу фамилию в списке.

Подкатив тележку, носильщик нагрузил на нее багаж; и мы простились с американкой, чью фамилию агент Кука уже отыскал в ворохе отпечатанных на машинке листков и, отыскав, сунул листки в карман.

Мы пошли за носильщиком с тележкой по длинной асфальтовой платформе вдоль поезда. В конце платформы, у выхода, контролер отбирал билеты.

Мы возвращались в Париж, чтобы начать процесс о разводе.

АЛЬПИЙСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Жарко было спускаться в долину даже ранним утром. Лыжи у нас на плечах оттаивали и сохли на солнце. Весна еще только начиналась в долине, но солнце уже сильно припекало. Мы шли по дороге в Голотурп, нагруженные лыжами и рюкзаками. На кладбище, мимо которого мы проходили, только что кончились похороны. Я сказал «Grüss Gott»¹ пастору, когда он, уходя с кладбища, поравнялся с нами. Пастор поклонился.

— Странно, что пасторы никогда не отвечают, — сказал Джон.

— Я думал, ему будет приятно сказать «Grüss Gott».

— Они никогда не отвечают, — сказал Джон.

Мы остановились посреди дороги и смотрели, как церковный сторож засыпает свежую могилу. Тут же стоял чернобородый крестьянин в высоких кожаных сапогах. Сторож перестал работать и выпрямился. Крестьянин в высоких сапогах взял заступ из рук сторожа и стал засыпать могилу, разравнивая землю, как разравнивают навоз на грядках. Майское утро было так ясно и солнечно, что свежая могила казалась нелепой. Не верилось, что кто-то мог умереть.

— Вообрази, что тебя хоронят в такое утро, — сказал я Джону.

— Хорошего мало.

— Ну, — сказал я, — пока что этого не требуется.

Мы пошли дальше по дороге, мимо городских домов, к гостинице. Мы целый месяц ходили на лыжах в Сильверетте и рады были очутиться в долине. В Сильверетте мы хо-

¹ Здравствуйте (нем.).

рошо походили на лыжах, но там уже наступила весна, — снег был крепок только рано утром и потом к вечеру. В остальное время мешало солнце. Мы оба устали от солнца. Некуда было от него спрятаться. Только скалы и хижина, выстроенная у ледника под выступом скалы, отбрасывали тень, а в тени пропотевшее белье замерзало. Без темных очков нельзя было посидеть перед хижинкой. Нам нравилось загорать дочерна, но солнце очень утомляло. Оно не давало отдохнуть. Радовался я и тому, что ушел от снега. В Сильверетте уже слишком сильно чувствовалась весна. Мне немного надоела лыжи. Мы слишком долго пробыли в горах. У меня во рту остался вкус талой воды, которую мы пили, собирая ее с железной крыши хижины. Я не мог отделаться от этого привкуса, когда думал о лыжах. Я радовался, что на свете существуют не только лыжи, и я радовался, что ушел от неестественно ранней высокогорной весны к этому майскому утру в долине.

На крыльце гостиницы, раскачиваясь на стуле, сидел хозяин. Рядом с ним сидел повар.

— Привет лыжникам! — сказал хозяин.

— Привет! — ответили мы, прислонили лыжи к стене и скинули рюкзаки.

— Хорошо было наверху? — спросил хозяин.

— Отлично, только слишком много солнца.

— Да, в это время уже слишком много солнца.

Повар остался сидеть. Хозяин вошел с нами в дом, отпер контору и вынес нашу почту — пачку писем и несколько газет.

— Давай выпьем пива, — сказал Джон.

— Давай. Только здесь, не на воздухе.

Хозяин принес две бутылки, и мы выпили их, читая письма.

— Не выпить ли еще? — сказал Джон. На этот раз пиво принесла служанка. Она улыбнулась, откупоривая бутылки.

— Много писем, — сказала она.

— Да. Много.

— Prosit¹, — сказала она и вышла, захватив пустые бутылки.

— Я уже забыл, какой вкус у пива.

— А я нет, — сказал Джон. — Там, в хижине, я часто вспоминал его.

¹ На здоровье (нем.).

— Ну вот,— сказал я,— дорвались наконец.
— Ничего нельзя делать слишком долго.
— Нельзя. Мы пробыли там слишком долго.
— До черта долго,— сказал Джон.— Не годится делать что-нибудь слишком долго.

Солнце светило в открытое окно и пронизывало бутылки с пивом на столе. Бутылки были наполовину пусты. Пиво в бутылках пенилось не сильно, потому что оно было очень холодное. Когда его наливали в высокие кружки, пена поднималась и кольцом окаймляла края. Я смотрел в окно на белую дорогу. Деревья по обочинам дороги были в пыли. Дальше виднелись зеленое поле и ручей. На берегу ручья среди деревьев стояла лесопилка с водяным колесом. Лесопилка была открыта с одной стороны, и я видел длинное бревно и пилу, ходившую вверх и вниз. Никто не направлял ее. По зеленому полю расхаживали четыре вороны. На дереве сидела еще ворона и смотрела на них. На крыльце повар встал со стула и через сени прошел в кухню. Здесь, в комнате, солнце пронизывало пустые стаканы на столе. Джон сидел, положив локти на стол и подперев голову руками.

Я увидел в окно двух мужчин, поднимающихся по ступенькам крыльца. Отворилась дверь, и они вошли. Один из них был бородатый крестьянин в сапогах, другой — церковный сторож. Они сели за столик у окна. Вошла служанка и остановилась у их столика. Крестьянин, казалось, не замечал ее. Он сидел, положив руки на стол. Он был в старой солдатской куртке, с заплатами на локтях.

— Что будем пить? — спросил сторож. Крестьянин не ответил, будто и не слышал.

— Что ты хочешь?

— Шнапс,— сказал крестьянин.

— И четверть литра красного,— сказал сторож служанке.

Служанка принесла заказанное, и крестьянин выпил свой шнапс. Он смотрел в окно. Сторож следил за ним. Джон не поднимал головы. Он спал.

Вошел хозяин и направился к их столику. Он сказал что-то на местном диалекте, и сторож ответил ему. Крестьянин по-прежнему смотрел в окно. Хозяин вышел из комнаты. Крестьянин встал. Он вынул из кожаного бумажника кредитку в десять тысяч крон и развернул ее. Подошла служанка.

— За все? — спросила она.

— За все,— сказал крестьянин.

— За вино я сам заплачу,— сказал сторож.

— За все,— повторил крестьянин, обращаясь к служанке.

Она сунула руку в карман передника, вытащила полную горсть монет и отсчитала сдачу. Крестьянин вышел. Как только за ним закрылась дверь, хозяин вернулся в комнату и заговорил со сторожем. Потом сел за его столик. Они говорили на диалекте. Сторож посмеивался. Хозяин брезгливо морщился. Сторож встал из-за стола. Он был маленького роста, с усами. Он высунулся в окно и посмотрел на дорогу.

— Вон он идет,— сказал он.

— В «Эдельвейс»?

— Да.

Они еще поговорили, а потом хозяин подошел к нашему столу. Хозяин был высокого роста, уже старик. Он посмотрел на спящего Джона.

— Он, видно, устал.

— Да, мы рано поднялись.

— Обедать скоро будете?

— Хоть сейчас,— сказал я.— Что у вас есть?

— Все, что угодно. Вам сейчас принесут карточку.

Служанка принесла меню. Джон проснулся. Меню было написано чернилами на карточке, и карточка вставлена в деревянную рамку.

— Вот тебе Speisekarte,— сказал я Джону. Джон взглянул на меню. Он был еще сонный.

— Не выпьете ли вы с нами? — спросил я хозяина. Он подсел к нам.

— Скоты эти крестьяне,— сказал хозяин.

— Мы уже видели этого на похоронах, когда входили в город.

— Он жену хоронил.

— Вот что!

— Скотина. Все эти крестьяне скоты.

— Почему скоты?

— Просто не верится. Просто не верится, какая с ним вышла история.

— Расскажите.

— Просто не верится.— Хозяин повернулся к сторожу.— Франц, поди-ка сюда.— Сторож подошел, захватив бутылочку вина и стакан,

— Молодые люди только что вернулись из Висбаденерхютте,— сказал хозяин.

Мы поздоровались.

— Что вы будете пить?

— Ничего.— Франц отрицательно повел пальцем.

— Еще четверть литра?

— Пожалуй.

— Вы понимаете диалект? — спросил хозяин.

— Нет.

— А в чем дело? — спросил Джон.

— Он сейчас расскажет нам про того крестьянина, который засыпал могилу, когда мы входили в город.

— Я все равно ничего не пойму,— сказал Джон.— Они говорят слишком быстро.

— Он приехал сегодня хоронить жену,— сказал хозяин.— Она умерла в ноябре.

— В декабре,— поправил сторож.

— Это все равно. Так, значит, она умерла в декабре, и он дал знать в общину.

— Восемнадцатого декабря,— сказал сторож.

— Но он не мог привезти ее и похоронить, пока не стоял снег.

— Он живет по ту сторону Пазнауна,— сказал сторож,— но он нашего прихода.

— Он никак не мог привезти ее? — спросил я.

— Нет, не мог. Пока не сойдет снег; оттуда, где он живет, можно добраться только на лыжах. Так вот сегодня он привез ее, чтобы похоронить, а пастор, когда посмотрел на ее лицо, хоронить не захотел. Дальше ты рассказывай,— сказал он сторожу,— только говори не по-своему, а так, чтобы все поняли.

— Очень смешно вышло с пастором,— сказал сторож.— В удостоверении о смерти было сказано, что она умерла от сердечной болезни. Мы все знали, что у нее большое сердце. Иногда ей делалось дурно в церкви. Последнее время она совсем не приходила. Не могла подниматься в гору. Когда пастор, откинув одеяло, открыл ее лицо, он спросил Олза:

— Она очень страдала?

— Нет,— сказал Олз.— Я пришел домой и вижу — она лежит поперек кровати мертвая.

Пастор еще раз посмотрел на нее. Что-то, видно, ему не нравилось.

— Отчего у нее сделалось такое лицо?

— Не знаю,— сказал Олз.

— А ты подумай, может быть, вспомнишь,— сказал пастор и опустил одеяло. Олз ничего не ответил. Пастор смотрел на него. Олз смотрел на пастора.

— Вы хотите знать?

— Я должен знать,— сказал пастор.

— Вот тут-то и начинается самое интересное,— сказал хозяин.— Слушайте. Рассказывай, Франц.

— Так вот,— сказал Олз,— она умерла, я известил общину и убрал ее в сарай на сложенные дрова. Потом мне эти дрова понадобились, а она уже совсем заоченела, и я прислонил ее к стене. Рот у нее был открыт, и когда я вечером приходил в сарай пилить дрова, я вешал на нее фонарь.

— Зачем ты это делал? — спросил пастор.

— Не знаю,— ответил Олз.

— И часто ты это делал?

— Каждый раз, когда вечером работал в сарае.

— Ты поступил очень дурно,— сказал пастор.— Ты любил свою жену?

— О да, любил,— сказал Олз.— Я очень любил ее.

— Вы все поняли? — спросил хозяин.— Вы все поняли про его жену?

— Почти.

— А как насчет обеда? — спросил Джон.

— Заказывай,— сказал я.— Вы думаете, это правда? — спросил я хозяина.

— Конечно, правда,— сказал он.— Скоты эти крестьяне.

— А куда он пошел?

— Он пошел в другой трактир, в «Эдельвейс».

— Он не захотел пить со мной,— сказал Франц.

— Он не хотел пить у меня, потому что Франц узнал про историю с его женой,— сказал хозяин.

— Послушай,— сказал Джон,— а как насчет обеда?

— Давай,— сказал я.

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Уильям Кэмбелл участвовал в гонке преследования вместе с эстрадной труппой, взяв старт от самого Питсбурга. В гонке преследования — в велосипедной гонке — гонщики стартуют один за другим через равные интервалы. Идут они очень быстро, потому что дистанция обычно дается короткая, и если кто замедлит ход, другие гонщики, не сбавившие темпа, наверстывают время, которое разделяло их на старте. Как только задний поравняется с впереди идущим и обойдет его, тот выбывает из состязания, слезает с машины и покидает шоссе. Если обгона нет, победителем считается гонщик, больше всех увеличивший разрыв на дистанции. Когда в соревновании участвуют только двое, обгон происходит чаще всего не дальше чем на шестой миле. Эстрадная труппа догнала Уильяма Кэмбелла в Канзас-Сити.

Уильям Кэмбелл рассчитывал идти хоть немного впереди эстрадной труппы до самого побережья Тихого океана. Пока он упреждал эстрадную труппу в качестве устроителя, ему платили жалованье. Когда эстрадная труппа догнала его, он лежал в постели. Он лежал в постели, когда директор труппы вошел к нему в номер, а после того, как директор ушел, Уильям Кэмбелл решил, что теперь вставать совершенно незачем. В Канзас-Сити было холодно, и он не спешил выходить на улицу. Канзас-Сити ему не понравился. Он сунул руку под кровать за бутылкой и выпил. От виски в желудке утихало. Директор эстрадной труппы, мистер Тернер, выпить отказался.

Беседа Уильяма Кэмбелла с мистером Тернером получилась несколько странная. Мистер Тернер постучал в дверь. Кэмбелл сказал: «Да». Войдя в номер, мистер Тер-

нер увидел груды одежды, брошенной на стул, раскрытый чемодан, бутылку на стуле у кровати и кого-то, кто лежал в постели, укрытый с головой одеялом.

— Мистер Кэмбелл,— сказал мистер Тернер.

— Уволить меня вы не имеете права,— сказал из-под одеяла Уильям Кэмбелл. Под одеялом и простыней было тепло, бело и интимно.— Не имеете права меня уволить только потому, что я слез с велосипеда.

— Ты пьян,— сказал мистер Тернер.

— Да, конечно,— сказал Уильям Кэмбелл, выговаривая слова в простыню и чувствуя материю губами.

— Ты болван,— сказал мистер Тернер. Он выключил электрический свет. Электричество горело всю ночь. Теперь было десять часов утра.— Пьяный болван. Ты когда приехал в этот город?

— В этот город я приехал вчера вечером,— сказал Уильям Кэмбелл, выговаривая слова в простыню. Он обнаружил, что говорить сквозь простыню очень приятно.— Вам никогда не приходилось говорить сквозь простыню?

— Брось свои шуточки. Ничего смешного тут нет.

— Я не шучу, а болтаю с вами сквозь простыню, только и всего.

— Вот именно, болтаешь черт знает что.

— Можете идти, мистер Тернер,— сказал Кэмбелл.— Я на вас больше не работаю.

— Хотя это знаешь, и то хорошо.

— Я много чего знаю,— сказал Уильям Кэмбелл. Он стянул простыню с головы и посмотрел на мистера Тернера.— Столько всего знаю, что могу и взглянуть на вас. Хотите послушать, что я знаю?

— Нет.

— Тем лучше,— сказал Уильям Кэмбелл.— Потому что на самом деле я ничего не знаю. Это я просто так.— Он снова натянул простыню на лицо.— Как здесь хорошо, под простыночкой! — сказал он.

Мистер Тернер стоял у кровати. Он был человек пожилой, с брюшком, лысый, и его ждало много всяких дел.

— Тебе бы надо задержаться здесь, Билли, и пройти курс лечения,— сказал он.— Если хочешь, я это устрою.

— Никакого лечения я проходить не желаю,— сказал Уильям Кэмбелл.— Не имею ни малейшей охоты проходить курс лечения. Я всем доволен. Я всю свою жизнь был всем доволен.

— Давно это с тобой?

— Что за вопрос! — Уильям Кэмбелл сделал вдох и выдох сквозь простыню.

— Давно ты запил, Билли?

— А что, разве я плохо работал?

— Да нет! Я, Билли, просто спрашиваю. Давно ты запил?

— Не знаю. Но мой волк вернулся. — Он потрогал простыню языком. — Уже с неделю, как мой волк при мне.

— Врешь ты!

— Не-ет! Милый мой волчок. Только я приложусь к бутылке, мой волк уходит за дверь. Не выносит спиртного. Беденький волчок. — Он вкруговую водил языком по простыне. — Прекрасный мой волчок! Ничуть не изменился. Все такой же. — Уильям Кэмбелл закрыл глаза и сделал глубокий вдох.

— Тебе надо полечиться, — сказал мистер Тернер. — Ложись в лечебницу Кили. Не пожалеешь. Там неплохо.

— Город Кили, — сказал Уильям Кэмбелл. — Это недалеко от Лондона. — Он закрыл, потом открыл глаза, задев ресницами простыню. — Люблю простыночки, — сказал он и посмотрел на мистера Тернера. — Слушай, ты думаешь, я пьяный?

— Ты и есть пьяный.

— Ничего подобного.

— Ты пьяный, и белая горячка у тебя уже была.

— Нет. — Уильям Кэмбелл закрылся с головой. — Милая моя простыночка, — сказал он и нежнодохнул в нее. — Красавица моя. Простыночка, ты меня любишь? Это входит в плату за номер. Как в Японии. Нет, — сказал он. — Слушай, Билли, дорогой мой «Билли-вскользь», сейчас ты у меня удивишься. Я не пьяный. Я напшиговался до ушей.

— Брось, — сказал мистер Тернер.

— Посмотри. — Уильям Кэмбелл подтянул под простыней правый рукав пижамы, потом высунул правую руку из-под одеяла. — Вот, гляди. — На руке от кисти до локтя были маленькие синеватые пятнышки, окружавшие крохотные темно-синие следы укусов. Пятнышки почти находили одно на другое. — Это мое новое достижение, — сказал Уильям Кэмбелл. — Пью я теперь редко и понемножку, только чтобы прогнать волка из комнаты.

— От этого тоже вылечивают, — сказал Билли-вскользь Тернер.

— Нет, — сказал Уильям Кэмбелл. — Ни от чего нас не вылечивают.

— Нельзя же, Билли, ставить на себе крест,— сказал Тернер. Он присел к нему на кровать.

— Осторожней с моей простыночкой! — сказал Уильям Кэмбелл.

— Ну, не повезло тебе, так неужели же ставить на себе крест из-за этого в твои-то годы, Билли, и накачиваться всякой мерзостью!

— Преследуется законом? Вот ты о чем?

— Я не о законе, а о том, что это надо в себе побороть.

Билли Кэмбелл любовно коснулся простыни губами и языком.

— Милая моя простыночка,— сказал он.— Я могу целовать эту простыночку, и в то же время мне сквозь нее все видно.

— Перестань ты про свою простыночку. Нельзя втягиваться в эту мерзость, Билли.

Уильям Кэмбелл закрыл глаза. Его начинало слегка поташнивать. Он знал, что тошнота не облегчится рвотой, а будет все усиливаться, если не принять мер. Вот тогда-то он и предложил мистеру Тернеру выпить. Мистер Тернер отказался. Уильям Кэмбелл отпил из бутылки. Это могло принести только временное облегчение. Мистер Тернер внимательно следил за ним. Мистер Тернер сидел в этом номере много дольше, чем ему можно было,— у него накопилось столько дел. Хотя он всю свою жизнь провел среди наркоманов, наркотики внушали ему ужас, а к Уильяму Кэмбеллу он относился очень хорошо и не хотел оставлять его одного. Он жалел Уильяма Кэмбелла и думал, что курс лечения мог бы ему помочь. Он знал, что в Канзас-Сити от этого лечат. Но ему надо было уходить. Он встал.

— Слушай, Билли,— сказал Уильям Кэмбелл.— Слушай, что я тебе скажу. Тебя зовут Билли-вскользь. Это потому, что ты все скользишь. А меня зовут просто Билли потому, что я скользить не умею. Не умею я скользить, Билли. Никогда не умел. Все за что-нибудь зацеплюсь. Попробую скользнуть — раз! — и зацепился! — Он закрыл глаза.— Не умею я скользить, Билли. А это знаешь как плохо, когда не умеешь скользить.

— Да,— сказал Билли-вскользь Тернер.

— Что «да»? — Уильям Кэмбелл посмотрел на него.

— Ты говорил...

— Нет,— сказал Уильям Кэмбелл.— Я ничего не говорил. Видимо, произошла ошибка.

— Ты говорил про то, что скользить...

— Нет, нет. Про то, чтобы скользнуть, речи быть не могло. Ты слушай, Билли, я открою тебе один секрет. Люби простыночки, Билли. С проститутками, Билли...— Он запнулся.— С проститутками простишься. С проституткой просто ночь, а с простыночкой ночка.— Он замолчал и сунул голову под простыню.

— Мне пора,— сказал Билли-вскользь Тернер.

— Будешь путаться с проститутками, обязательно подцепишь,— сказал Уильям Кэмбелл.— С ними просто ночь, а...

— Ты это уже говорил.

— Что говорил?

— Про ночь и про ночку.

— А, да. Будешь любить простыночки...— Он подышал на простыню и потерся о нее носом.— Про них я еще ничего не знаю,— сказал он.— С этой простыночкой у меня только началось.

— Мне надо уходить,— сказал мистер Тернер.— Дел всяких много.

— Что ж, пожалуйста,— сказал Уильям Кэмбелл.— Уходить всем надо.

— Ну, я пошел.

— Ладно, уходи.

— Ну, как ты, Билли, ничего?

— Мне в жизни так хорошо не было.

— Правда, ничего?

— Мне очень хорошо. Ступай. Я еще немножко полежу. А к двенадцати встану.

Но когда мистер Тернер вошел к Уильяму Кэмбеллу в полдень, Уильям Кэмбелл спал, а так как мистер Тернер был из тех, кто знает, чем следует дорожить в жизни, он не стал будить его.

СЕГОДНЯ ПЯТНИЦА

Трое римских солдат в вишном погребке в одиннадцать часов вечера. Вдоль стен бочки с вином. За деревянной стойкой кабатчик-иудей. Римские солдаты все трое слегка на взводе.

Первый римский солдат. Красное пил?

Второй солдат. Не-е, красного не пил.

Первый солдат. А ты попробуй.

Второй солдат. Давай, камрад, наливай нам красного.

Кабатчик-иудей. Прошу, джентльмены. Оставайтесь довольны. *(Ставит на стойку глиняный кувшин, наполнив его из ближней бочки.)* Вино хорошее.

Первый солдат. Выпей и ты с нами. *(Оглядывается на третьего римского солдата, который сидит на бочонке.)* Ты что скис?

Третий римский солдат. В животе крутит.

Второй солдат. Значит, воду пил.

Первый солдат. Хвати красного.

Третий солдат. Не могу я пить эту паскудную бурду. У меня от нее рези в животе.

Первый солдат. Слишком долго ты здесь проторчал.

Третий солдат. Сам знаю, что долго.

Первый солдат. Эй, камрад, дай этому джентльмену чего-нибудь от живота. У тебя, наверно, найдется?

Кабатчик-иудей. Как же! Вот; пожалуйста.

Третий римский солдат прикладывается к кружке, в которой кабатчик подал ему какой-то смеси.

Третий солдат. Эй! Чего ты сюда намешал — верблюжьего дерьма?

Кабатчик. Пейте, господин офицер, пейте. Сразу полегчает.

Третий солдат. Да уж гаже, чем сейчас, вряд ли будет.

Первый солдат. Рискни, чего там. Камрад недавно меня так вылечил — все как рукой сняло.

Кабатчик. Да, вас тогда здорово прихватило, господин офицер. Я знаю, что помогает от живота.

Третий римский солдат залпом выпивает кружку.

Третий солдат. Ой, Иисусе! *(Корчит гримасу.)*

Второй солдат. Шуму-то подняли! А тревога ложная.

Первый солдат. Как сказать! Держался он молодцом.

Второй солдат. А с креста небось не сошел.

Первый солдат. Он и не собирался сходить. Не к тому гнул.

Второй солдат. Ты покажи мне такого, который не захочет сойти с креста.

Первый солдат. Ты-то что в этом понимаешь? Вот спроси камрада. Хотел он сойти с креста, камрад, или не хотел?

Кабатчик. Да ведь я, джентльмены, там не был. Я такими делами не интересуюсь.

Второй солдат. Слушай, я их столько перевидал — и здесь, и в других местах. Покажи мне такого, чтобы не захотел долой с креста, когда подождет, — понятно? Когда подождет. Покажи, и я сам туда к нему влезу.

Первый солдат. Нет, он ничего держался, молодцом.

Третий солдат. Да, не подкачал.

Второй солдат. Вы, братцы, не понимаете, о чем речь. Я ничего не говорю, хорошо он держался или плохо. Я говорю, когда подождет, вот в чем суть. Как начнут забивать гвозди — не найдется такого, чтобы не положил бы этому конец, если бы смог.

Первый солдат. Тебя, камрад, это не касается?

Кабатчик. Нет, господин офицер, мне это не интересно.

Первый солдат. Я просто диву дался, на него глядя.

Третий солдат. Чего не люблю, так это приколачивать. Им, наверно, ой как плохо.

Второй солдат. Приколачивают — это еще полбеда, а вот когда только поднимут. (*Показывает, вскидывая обе ладони вверх.*) Когда они обвисают от собственной тяжести. Вот тут-то и нет терпелу.

Третий солдат. Да, тут кое-кто сдает.

Первый солдат. Что мне, в первый раз, что ли? Мало я их перевидал? А этот держался молодцом, уж вы мне поверьте.

Второй римский солдат ухмыляется, глядя на кабатчика-иудея.

Второй солдат. А ты, приятель, тоже из Христовых?

Первый солдат. Цепляйся к нему, цепляйся. Лучше бы слушал, что тебе говорят. Он держался молодцом.

Второй солдат. Ну как, выпьем еще?

Кабатчик выжидательно смотрит на них. Третий римский солдат сидит, опустив голову. Вид у него совсем больной.

Третий солдат. Не хочу больше.

Второй солдат. Две порции, камард.

Кабатчик ставит кувшин вина, поменьше первого.
Перегибается через деревянную стойку.

Первый солдат. А ты его бабу видел?

Второй солдат. Да я же возле нее стоял.

Первый солдат. Красивая.

Второй солдат. Я с ней прежде него познакомился. (*Подмигивает кабатчику.*)

Первый солдат. Раньше она всюду попадалась, куда ни пойдешь.

Второй солдат. Сколько у нее всякого добра было. Кому другому, а ей он счастья не принес.

Первый солдат. И сам не из счастливых. Зато сегодня-то каким оказался молодцом.

Второй солдат. А куда вся его шатия подевалась?

Первый солдат. Все смылись, как один. Только женщины его не бросили.

Второй солдат. Трус на трусе. Как увидели, куда его повели, так до свидания, нам, мол, это ни к чему.

Первый солдат. А женщины не бросили.

Второй солдат. Да, они не бросили.

Первый солдат. Ты видел, как я кокнул его копытом?

Второй солдат. Влетит тебе когда-нибудь за эти штучки.

Первый солдат. Почему же не сделать человеку такую малость? Я тебе верно говорю, сегодня он оказался прямо-таки молодцом.

Кабатчик. Мне время закрывать, джентльмены.

Первый солдат. Мы еще по одной выпьем.

Второй солдат. Да стоит ли? Все равно не берет. Пошли, чего там.

Первый солдат. Последнюю. Всем по одной.

Третий солдат (*вставая с бочонка*). Хватит, пошли. Тошно мне сегодня.

Первый солдат. Ну, по одной!

Второй солдат. Нет, пора. Пошли. Всего, камрад. Запиши там за нами.

Кабатчик. Всего хорошего, джентльмены. (*Вид у него несколько обеспокоенный.*) А вы не дадите мне немножко в счет долга, господин офицер?

Второй солдат. Еще что выдумал! Получка в среду.

Кабатчик. Слушаю, господин офицер, слушаю. Всего вам хорошего, джентльмены.

Трое римских солдат выходят из погребка. На улице.

Второй солдат. Жидюга этот твой камрад. Они все такие.

Первый солдат. Нет, он славный малый.

Второй солдат. У тебя сегодня все славные.

Третий солдат. Пошли в казармы. Тошно мне сегодня.

Второй солдат. Слишком долго ты здесь торчал.

Третий солдат. Да не в том дело. Тошно мне.

Второй солдат. Торчишь ты здесь слишком долго. В этом вся и беда.

Занавес

БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Он потянулся за апельсином и съел его, поплеывая вернышками. За окном снег переходил в дождь. В комнате электрическая печка будто и не грела, и, встав из-за письменного стола, он сел на нее. Ох, как приятно! Вот где настоящая жизнь — наконец-то!

Он взялся за второй апельсин. Далеко-далеко, в Париже, Маскар уложил Дэнни Фриша в нокдаун во втором раунде. В далекой Месопотамии навалило на двадцать один фут снегу. На другом конце света — там, в Австралии, английские игроки в крикет отрабатывают удары по воротцам. Вон она где, Романтика.

Покровители изящных искусств и науки открыли для себя журнал «Форум», читал он. Это наставник, философ и друг мыслящего меньшинства. Новеллы, удостоенные премий, — не станут ли творения их авторов бестселлерами завтрашнего дня?

Вы оцените эти по-человечески теплые, бесхитростные американские рассказы — кусочки подлинной жизни на ранчо среди полей, в густонаселенных кварталах или в комфортабельном особняке, — рассказы, согретые здоровым юмором.

Надо будет прочесть, подумал он.

Он читал дальше. Дети наших детей — что из них получится? Кто из них получится? Найдём новые способы обеспечить себе место под солнцем. Как этого достичь — путем войны или будут найдены мирные пути?

Или нам всем придется искать пристанища в Канаде?

Наши глубочайшие убеждения — не опровергнет ли их Наука? Наша цивилизация — не уступает ли она более древнему порядку вещей?

А тем временем в далеких осклизлых от влаги джунглях Юкатана раздавался стук топоров, которыми дровосеки рубят эвкалипты.

Кто нам нужен — сильные личности или культурные люди? Вспомним Джойса. Вспомним президента Кулиджа. Какую путеводную звезду должно избрать себе наше студенчество? У нас есть Джек Бриттон. У нас есть доктор Генри Ван-Дайк. Как сочетать этих двоих? Вспомним молодого Стриблинга.

А как быть с нашими дочерьми, которым предстоит самим сделать Промеры глубин? Нэнси Готорн должна сама сделать Промер жизненного моря. Отважно и трезво решают она задачи, встающие перед каждой девушкой в восемнадцать лет.

Великолепная брошюрка.

Тебе исполнилось восемнадцать, девушка? Вспомни Жанну д'Арк. Вспомни Бернарда Шоу. Вспомни Бетси Росс.

А к чему мы идем в 1925 году? Найдется ли хоть одна двусмысленная страничка в истории Пуританизма? Можно ли подметить обратную сторону у Покахонтас? Было ли у нее четвертое измерение?

А современная живопись — и поэзия? Искусство ли это? И да и нет. Вспомним Пикассо.

Имеется ли у бродяг свой кодекс поведения? Отпустите свою мысль на увлекательные поиски.

Романтика есть повсюду. Те, кого печатает «Форум», пишут о серьезных вещах, и им нельзя отказать в юморе и остроумии. Но они не тешатся пускать вам пыль в глаза и никогда не разглагольствуют попусту.

Живите насыщенной интеллектуальной жизнью, черпая вдохновение в новых идеях и опьяняясь Романтикой необычного. Он отложил брошюрку в сторону.

А тем временем, в затемненной комнате своего дома в Триане, с трубками в обоих легких, захлебываясь от пневмонии, пластом лежал на кровати Мануэль Гарсиа Маэра. Все андалузские газеты посвятили специальные приложения его смерти, ожидавшейся уже несколько дней. Взрослые мужчины и мальчишки купали на память о Маэре его многокрасочные портреты во весь рост, и эти литогра-

ффи стирали воспоминания о нем настоящем. Матадоры облегченно вздохнули, узнав о его смерти, потому что он всегда делал на арене то, что получалось у них лишь изредка. Все они шли под дождем за его гробом, и все сто сорок семь проводили Маэру на кладбище, где его похоронили рядом с могилой Хоселито. После похорон провожающие разошлись по кафе, прячась от дождя, и в тот день было продано много цветных портретов Маэры, и люди скатывали их в трубочки и рассовывали по карманам.

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

В ту ночь мы лежали на полу, и я слушал, как едят шелковичные черви. Червей кормили тутовыми листьями, и всю ночь было слышно шуршание и такой звук, словно что-то падает в листья. Спать я не хотел, потому что уже давно жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому. Теперь я почти уверен, что ничего такого не случилось бы, но тогда, в то лето, я не хотел рисковать.

У меня было несколько способов занять свои мысли, когда я лежал без сна. Я представлял себе речку, в которой мальчиком удил форель, и мысленно проходил ее всю, не пропуская ни одной коряги, ни одного изгиба русла, забрасывая удочку и в глубоких бочагах, и на светлеющих отмелях, и форель иногда ловилась, а иногда срывалась с крючка. В полдень я делал перерыв и садился завтракать, иногда на коряге у самой воды, иногда под деревом на высоком берегу; и ел всегда очень медленно, все время глядя на реку. Часто мне не хватало наживки, потому что, отправляясь на ловлю, я брал с собой не больше десятка червей в жестянке из-под табака. Когда этот запас приходил к концу, нужно было искать еще червей; и там, где кодры загораживали солнечный свет и трава на берегу не росла, сырую голую землю было очень трудно копать, и случалось, что я не мог найти ни одного червяка. Все же

какая-нибудь наживка всегда находилась, но один раз на болоте я так и не нашел ничего, и мне пришлось изрезать на куски одну из пойманных форелей и ею наживить удочку.

Иногда на болотистых лугах, в траве или под папоротниками, я находил насекомых, которые годились для наживки. Попадались жуки, и какие-то букашки с длинными, точно стебельки травы, ножками, и личинки, водившиеся в старых, трухлявых колодах, — белые личинки с цепкими челюстями, они плохо держались на крючке, и в холодной воде от них оставалась одна оболочка; под колодами можно было найти лесных клещей, а иногда я находил и червяков, но они уползали в землю, как только приподнимешь колоду. Однажды я посадил на крючок саламандру, которую поймал под старой колодой. Саламандра была очень маленькая, складная, проворная и красивой расцветки. У нее были крошечные лапки, которыми она цеплялась за крючок, и больше я никогда не брал для наживки саламандр, хотя они часто мне попадались. Не брал я и сверчков, из-за того, что они так извиваются на крючке.

Иногда речка протекала среди лугов, и в сухой траве я ловил кузнечиков и брал их для наживки; а иногда ловил кузнечиков, и бросал их в воду, и смотрел, как они плыли на поверхности, подхваченные течением, а потом исчезали, как только всплывала форель. Иногда в одну ночь я проходил с удочкой четыре или пять рек, начиная от самого верховья и подвигаясь вниз по течению. Если я доходил до конца, а времени до утра было еще много, я пускался в обратный путь, вверх по течению, начиная оттуда, где речка впадала в озеро, и старался выловить всю форель, которую упустил, идя вниз по течению. Были ночи, когда я придумывал речки, и это бывало иногда очень интересно, точно сны наяву. Некоторые из этих речек я до сих пор помню, и мне кажется, что я на самом деле ловил в них рыбу, и в моей памяти они путаются с теми, где мне приходилось бывать. Я давал им названия и иногда ехал поездом, а иногда проходил целые мили пешком, чтобы добраться до них.

Но были ночи, когда я не мог думать о ловле форелей; и в такие ночи я лежал с открытыми глазами и твердил молитвы, стараясь помолиться за всех тех, кого я когда-либо знал. Это занимало очень много времени, потому что, если припоминать всех, кого когда-либо знал, начиная с

самого первого воспоминания в жизни,— а для меня это был чердак дома, в котором я родился, и свадебный пирог моих родителей, подвешенный в жестянке к стропилам, и тут же на чердаке банки со змеями и другими гадами, которых мой отец еще в детстве собрал и заспиртовал, но спирт в банках частью улетучился, и у некоторых змей и гадов спинки обнажились и побелели,— так вот, если начать с таких ранних воспоминаний, то людей вспоминается очень много. Если за всех помолиться, прочитав за каждого «Отче наш» и «Богородицу», то на это уйдет много времени, и под конец уже рассветет, а тогда можно заснуть, если только находишься в таком месте, где можно спать днем.

В такие ночи я старался припомнить все, что со мной было в жизни, начиная с последних дней перед уходом на войну и возвращаясь мысленно назад от события к событию. Оказалось, что раньше того чердака в доме у моего дедушки я ничего припомнить не могу. Потом я начинал с него и вспоминал все в обратном порядке, пока не доходил до войны.

Я вспоминал, как после смерти дедушки мы переезжали из старого дома в другой, выстроенный по указаниям моей матери. На заднем дворе жгли вещи, которые решили не перевозить, и я помню, как все банки с чердака побросали в огонь, и как они лопались от жары, и как ярко вспыхивал спирт. Я помню, как змеи горели на костре за домом. Но в этих воспоминаниях не было людей; были только вещи. Я не мог даже вспомнить, кто бросал вещи в огонь, и я вспоминал дальше, и когда доходил до людей, то останавливался и молился за них.

Думая о новом доме, я вспоминал, как моя мать постоянно наводила там чистоту и порядок. Один раз, когда отец уехал на охоту, она устроила генеральную уборку в подвале и сожгла все, что там было лишнего. Когда отец вернулся домой и вышел из кабриолета и привязал лошадь, на дороге у дома еще горел костер. Я выбежал навстречу отцу. Он отдал мне ружье и оглянулся на огонь.

— Это что такое? — спросил он.

— Я убирала подвал, мой друг,— отозвалась мать. Она вышла встретить его и, улыбаясь, стояла на крыльце.

Отец всмотрелся в костер и ногой поддел в нем что-то. Потом он наклонился и вытащил что-то из золы.

— Дай-ка мне кочергу, Ник,— сказал он.

Я пошел в подвал и принес кочергу, и отец стал тщательно разгребать золу. Он выгреб каменные топоры, и каменные свежевальные ножи, и разную утварь, и точила, и много наконечников для стрел. Все это почернело и расстрескалось от огня. Отец тщательно выгреб все из костра и разложил на траве у дороги. Его ружье в кожаном чехле и две охотничьи сумки лежали тут же, на траве, где он их бросил, выйдя из кабриолета.

— Снеси ружье и сумки в дом, Ник, и достань мне бумаги,— сказал он.

Мать уже ушла в комнаты. Я взял обе сумки и ружье, которое было слишком тяжелым и колотило меня по ногам, и направился к дому.

— Бери что-нибудь одно,— сказал отец.— Не тащи все сразу.

Я положил сумки на землю, а ружье отнес в дом и на обратном пути захватил газету из стопки, лежавшей в отцовском кабинете. Отец сложил все почерневшие и потрескавшиеся каменные орудия на газету и завернул их.

— Самые лучшие наконечники пропали,— сказал он. Взяв сверток, он ушел в дом, а я остался на дворе возле лежавших в траве охотничьих сумок. Немного погодя я понес их в комнаты. В этом воспоминании было двое людей, и я молился за обоих.

Но бывали и такие ночи, когда я не мог вспомнить даже молитву. Я доходил до «яко на небеси и на земли» и потом должен был начинать все сначала, но снова застревал на этом месте. Тогда приходилось признать, что дальше я забыл, и на эту ночь отказаться от молитв и придумать что-нибудь другое. Иногда я принимался вспоминать названия всех животных, какие только есть на свете, потом птиц, потом рыб, потом все страны и города, потом названия всех известных мне кушаний, потом все улицы в Чикаго, а когда больше я уже ничего не мог вспомнить, я просто лежал и слушал. Не припомню такой ночи, когда совсем ничего не было бы слышно. Если можно было спать со светом, я не боялся уснуть, так как знал, что только в темноте моя душа может вырваться из тела. Конечно, мне часто приходилось проводить ночи в таких местах, где я мог не гасить света, и тогда я спал, потому что почти всегда чувствовал усталость, и меня постоянно клонило ко сну. И, наверно, мне не раз случалось засыпать незаметно для себя, но сознательно я никогда не решился бы заснуть в темноте. Вот и в эту ночь я лежал

и слушал шелковичных червей. Ночью отчетливо слышно, как шелковичные черви едят, и я лежал с открытыми глазами и прислушивался к ним.

В комнате, кроме меня, был еще один человек, и он тоже не спал. Долгое время я слушал, как он не спит. Он не мог лежать так спокойно, как я,— быть может, потому, что у него не было привычки не спать. Мы лежали на одеялах, разостланных поверх соломы, и при каждом движении солома под нами хрустела, но шелковичных червей не пугал этот хруст, и они не переставали есть. За стенами дома ночь была полна обычных шумов прифронтной полосы, но в темной комнате были совсем другие, свои, маленькие шумы. Человек, деливший со мной комнату, некоторое время старался лежать спокойно. Потом он заворочался снова. Я тоже стал ворочаться, чтобы он понял, что я не сплю. Он десять лет прожил в Чикаго. Его мобилизовали в девятьсот четырнадцатом, когда он приехал навестить родных, и так как он говорил по-английски, его приставили ко мне вестовым. Я почувствовал, что он прислушивается, и тогда я еще раз повернулся на своем одеяле.

— Не спится вам, signor tenente? ¹ — спросил он.

— Не спится.

— И мне тоже.

— А почему?

— Не знаю. Так, не спится.

— Вы, может быть, нездоровы?

— Да нет. Я здоров. Только вот не спится.

— Давайте поговорим о чем-нибудь,— предложил я.

— Давайте. Только о чем тут говорить, в этой проклятой дыре?

— Здесь не так уж плохо,— сказал я.

— Точно,— согласился он,— здесь ничего.

— Расскажите, как вы жили в Чикаго,— сказал я.

— Так ведь я вам уже об этом рассказывал,— сказал он.

— Расскажите, как вы женились.

— И об этом тоже рассказывал.

— То письмо, в понедельник, было от нее?

— Точно. Она мне все время пишет. Торговля у нее там идет хорошо.

— Вы, когда вернетесь, найдете налаженное дело.

¹ Господин лейтенант (ит.).

— Точно. Она хорошо справляется. И барыши неплохие.

— А не разбудим мы остальных своими разговорами? — спросил я.

— Нет. Им не слышно. И потом, они спят, как сурки. А я вот не могу, — сказал он. — Я очень нервный.

— Говорите тише, — сказал я. — Курить хотите?

Мы осторожно закурили в темноте.

— Вы мало курите, *signor tenente*.

— Да, я почти бросил.

— Что ж, — сказал он, — это только на пользу, и, наверно, когда отвыкнешь, так уже и не хочется. Правда, что слепые не курят потому, что не могут видеть дым?

— Вряд ли.

— Ерунда, по-моему, — сказал он. — Хотя так говорят. Да, знаете, мало ли что говорят.

Мы оба замолчали, и я снова прислушался к шуршанию шелковичных червей.

— Вы слышите этих противных червяков? — спросил он. — Слышно, как они жуют.

— Да, забавно, — сказал я.

— Скажите, *signor tenente*, что такое с вами, что вы не спите по ночам? Я никогда не видел, чтобы вы спали. Вы ни одной ночи не спали, с тех пор как я при вас.

— Не знаю, Джон, — сказал я. — В начале прошлой весны я попал в скверную переделку, и с тех пор мне ночью всегда не по себе.

— Вот и мне тоже, — сказал он. — Не надо было мне идти на войну. Слишком я нервный.

— Может быть, это пройдет.

— Скажите мне, *signor tenente*, зачем вы-то пошли на войну?

— Не знаю, Джон. Захотелось пойти, и пошел.

— Захотелось? — сказал он. — Нечего сказать, хороша причина.

— Не надо так громко разговаривать, — сказал я.

— Да они спят, как сурки, — сказал он. — И потом, ведь они не понимают по-английски. Ни черта они не знают. Что вы будете делать, когда все это кончится и мы вернемся в Штаты?

— Думаю работать в газете.

— В Чикаго?

— Может быть.

— Вы читаете статьи этого Брисбэйна? Жена всегда вырезает их и посылает мне.

— Читаю, конечно.

— Вы с ним не знакомы?

— Нет, но я знаю его в лицо.

— Хотел бы я с ним познакомиться. Он здорово пишет. Жена хоть по-английски не читает, но газету выпишивает, как при мне, а передовицы и страничку спорта вырезает и посылает мне сюда.

— Как ваши малыши?

— Хорошо. Старшая девочка уже перешла в четвертый. А знаете, *signor tenente*, если б не дети, не быть бы мне вашим вестовым. Меня бы все время держали на передовых позициях.

— Я очень рад, что у вас есть дети.

— Я и сам рад. Девочки хорошие, но мне бы хотелось сына. Три девочки и ни одного мальчика. Это уж значит — не везет.

— Ну, теперь полежите тихо, может быть, заснете.

— Нет, не засну. У меня весь сон пропал, *signor tenente*. Но вот вы-то не спите — это меня огорчает.

— Ничего, Джон, это пройдет.

— Такой молодой, и не спите по ночам.

— Все пройдет. Только не сразу.

— Надо, чтобы прошло. Так ведь жить нельзя, если совсем не спать. Может быть, вас тревожит что-нибудь? Что-нибудь у вас есть на душе?

— Да нет как будто.

— Жениться вам нужно, *signor tenente*. Тогда ничто вас не будет тревожить.

— Едва ли.

— Вам нужно жениться. Выбрали бы себе какую-нибудь хорошенькую итальяночку, с деньгами. За вас любая пойдет. Молодой, красивый, имеет отличия. Были ранены несколько раз.

— Я плохо говорю по-итальянски.

— Отлично говорите. И на кой тут черт говорить по-итальянски? Никаких разговоров и не требуется. Женитесь, и все тут.

— Я подумаю об этом.

— У вас ведь есть тут знакомые девушки?

— Есть, конечно.

— Вот и женитесь на той, у которой денег больше. Они здесь все так воспитаны, что любая будет вам хорошей женой.

— Я подумаю об этом.

— А вы не думайте, *signor tenente*. Вы действуйте.

— Ладно.

— Мужчине нужна жена. Вы об этом не пожалеете. Каждому мужчине нужна жена.

— Ладно,— сказал я.— Теперь попробуем поспать немного.

— Ладно, *signor tenente*. Попробую. Только вы не забывайте, что я вам сказал.

— Не забуду,— сказал я.— А теперь поспим немного, Джон.

— Ладно,— сказал он.— Желаю вам заснуть.

Мне было слышно, как он, хрустя соломой, завернулся в свое одеяло. Потом он затих, и я услышал его ровное дыхание. Вскоре он захрапел. Я долго слушал, потом я перестал к нему прислушиваться и снова стал слушать, как едят шелковичные черви. Они ели не переставая, и все время что-то падало в листья. У меня появилось новое занятие: лежа в темноте с открытыми глазами, я стал думать обо всех девушках, которых я знал, и о том, какие бы из них вышли жены. Это было очень интересно и на время вытеснило рыбную ловлю и помешало молитвам. Но в конце концов я вернулся к рыбной ловле, так как оказалось, что реки я все могу припомнить и в каждой всегда находилось что-то новое, тогда как девушки, после того как я подумал о них несколько раз, стали расплываться в моей памяти и в конце концов расплылись совсем и стали все на одно лицо, и я бросил думать о них. По молитв я не бросил, и часто ночами я молился за Джона, и его разряд был отпущен с действительной службы до октябрьского наступления. Я был рад, что это так вышло, потому что он причинил бы мне немало забот. Несколько месяцев спустя он навестил меня в миланском госпитале и был очень огорчен, что я еще не женился, и представляю, как бы он расстроился, узнав, что я до сих пор не женат. Он думал вернуться в Америку, и не сомневался в пользе брака, и был уверен, что брак улаживает все.

Из книги рассказов
«ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧАЕТ НИЧЕГО»
«Winner Take Nothing», 1933

ПОСЛЕ ШТОРМА

Началось ни с чего, с какой-то ерунды насчет выпивки, а потом мы подрались, и я поскользнулся, и он повалил меня, и придавил коленом, и сжал мне обеими руками горло, точно хотел задушить, и я все время старался достать из кармана нож, чтобы ударить его и высвободиться. Все так перепились, что некому было оттащить его. Он душил меня и колотил головой об пол, но я все-таки достал и раскрыл нож, полоснул его по руке, и он отпустил меня. Теперь уж он не мог бы меня удержать. Потом он откатился в сторону, сжал раненую руку и стал кричать, а я сказал:

— Какого черта ты вздумал меня душить?

Я, кажется, убил бы его. Я потом целую неделю не мог глотать. Он сильно помял мне горло.

Ну, я вышел оттуда, а его компания осталась с ним, но кое-кто из них вышел за мной, а я кружным путем спустился к пристани, и какой-то встречный мне сказал, что здесь, поблизости, убили человека. Я сказал: «Кто убил?» — а он сказал: «Не знаю, кто убил, только он умер»; было темно, и на улице стояли лужи, и фонари не горели, а окна побиты, и лодки все на причале, и деревья повырывало из земли, и кругом обломки; и я сел в ялик, и поплыл, и нашел свою моторную лодку там, где оставил, с внутренней стороны Манго-Ки; и она была в целости, только полна воды. Я выкачал и вычерпал воду, а луна светила, но облака все время пабегали на нее, и все еще порядком качало. Я вышел в море, и когда рассвело, я уже миновал Восточную гавань.

Да, скажу я вам, шторм был нешуточный. Я первый вышел в море, и такой воды вы, наверно, никогда не

видели. Она была белая, как щелок, и от Восточной гавани до Саут-Уэст-Ки берега было не узнать. А по самой середине в песке промыло широкий пролив. Деревья по-вырывало из земли, и вода в новом проливе вся белая, как мел, и на ней всякая всячина: ветки и целые деревья, а мертвые птицы так и плавают. За островами собралось пеликанов видимо-невидимо, и летали всякие птицы. Наверно, укрылись здесь, когда почуяли, что приближается буря.

Я просидел в лодке у Саут-Уэст-Ки целый день, и никто за мной не явился. Я первый вышел в море, и увидел на воде обломок мачты, и понял, что где-то затонул корабль, и стал искать его. Я его нашел. Это была трехмачтовая шхуна, и остатки ее мачт чуть торчали из воды. Она затонула на глубоком месте, так что я ничем не мог поживиться. Тогда я двинулся дальше, высматривая, нет ли еще чего-нибудь. Я всех опередил и знал, что вся, какая ни на есть, добыча должна достаться мне. Я плыл над мелями с того места, где оставил трехмачтовую шхуну, и ничего не нашел, и заплыл очень далеко. Я добрался до зыбучих песков, и ничего не нашел, и поплыл дальше. И вот, когда уже стал виден маяк «Ребекка», я заметил в одном месте очень много птиц и двинулся к ним посмотреть, что там такое, а птиц там была целая туча.

Из воды торчало что-то вроде мачты, и когда я приблизился, птицы взлетели и стали кружиться в воздухе. Вода в этом месте была чистая, а над водой чуть виднелась какая-то мачта, и когда я подошел еще ближе, я увидел, что внизу, под водой, что-то темнеет, какая-то длинная тень, и я совсем наехал на нее, и там, под водой, был пароход; так и лежал весь под водой, огромный-преогромный. Я проехал над ним. Он лежал на боку, и корма погрузилась очень глубоко. Иллюминаторы все были закрыты, и я видел, как блестело стекло в воде, и видел весь его корпус; такого большого парохода мне еще никогда не приходилось видеть, и я проехал над ним до конца, а потом отвел немного лодку и бросил якорь, подтащил ялик на нос, спихнул его в воду и пошел на веслах, а птицы так и вились вокруг меня.

У меня был водяной телескоп, трубка такая, с ним мы ездили на ловлю губок, и рука у меня так дрожала, что я чуть не выронил его. Все иллюминаторы, которые я видел, когда проплывал над пароходом, были закрыты,

по где-то внизу около днища было, должно быть, отверстие, потому что оттуда все время всплывали какие-то куски. Невозможно было разобрать, что это такое. Просто куски. На них-то и зарились птицы. Птиц было без конца. Они так и вились надо мной; крик стоял отчаянный.

Я видел все совершенно отчетливо. Я видел, что борт у парохода выпуклый, и под водой он казался длинной в целую милю. Он лежал на чистой белой песчаной отмели, а то, что я увидел сначала, была фок-мачта или какая-то рея, которая наискось торчала из воды, потому что пароход лежал на боку. Носовая часть ушла не очень глубоко. Когда я встал на буквы на его борту, вода доходила мне до подбородка. Но ближайший иллюминатор был на глубине двенадцати футов. Я еле-еле достал до него багром и попробовал разбить, но не мог. Стекло было слишком толстое. Тогда я вернулся к лодке, взял гаечный ключ и привязал его к концу багра и все-таки не мог разбить стекло. Так я и сидел, глядя в трубку на пароход, полный всякой всячины,— я ведь первый нашел его, а попасть в него не мог. А в нем, наверно, было добра на пять миллионов.

Меся даже в пот ударило, когда я подумал, сколько в нем всякого добра. Через иллюминатор, который был ближе всего ко мне, что-то виднелось, но я не мог разобрать через трубку, что именно. От багра тоже не было никакого толку, и я разделся и стоя несколько раз глубоко вдохнул воздух, а потом нырнул с кормы, зажав в руке ключ, и поплыл вниз. Секунду я держался за край иллюминатора и смог заглянуть в каюту, а в каюте была женщина, волосы у нее распустились и лежали на воде. Я ясно видел, как она там плавает, и два раза сильно ударил по стеклу ключом и слышал звук удара, но стекло не разбилось, и мне пришлось выплыть наверх.

Я отдышался, держась за борт ялика, вошел в ялик, несколько раз глубоко вдохнул воздух и опять нырнул. Я поплыл, крепко ухватился пальцами за край иллюминатора и изо всех сил ударил по стеклу ключом. Я видел через стекло, как женщина плавает там, в каюте. Ее волосы были связаны лентой у самой головы и свободно лежали на воде. На одной руке у нее я разглядел кольца. Она была у самого иллюминатора, и я два раза ударил по стеклу, но оно даже не треснуло. Поднимаясь на поверхность, я думал, что не вытерплю и начну дышать еще в воде.

Я нырнул еще раз и надколол стекло, только надколол, и когда я поднялся, из носу у меня шла кровь, и я постоял на борту парохода, касаясь босыми ногами букв и высунув голову из воды, а потом поплыл к ялику, подтянулся, влез в него и сидел, дожидаясь, когда перестанет болеть голова, и глядел в трубку, но кровь текла так сильно, что трубку пришлось выполоскать. Тогда я лег на спину и зажал нос рукой, чтобы остановить кровь, и долго лежал, закинув голову, глядел в небо, а птицы тысячами вились вокруг меня.

Когда кровь остановилась, я еще раз посмотрел в трубку и стал грести к лодке, чтобы поискать чего-нибудь потяжелее, чем ключ, но ничего не мог найти, даже багра для губок. Я повернул обратно, и вода становилась все прозрачнее, и было видно все, что всплывало там, над белой песчаной отмелью. Я оглянулся, нет ли акул, но их не было. Акулу я увидел бы издали. Вода была совсем прозрачная и песок — белый. На ялике был крюк, который служил якорем, я отрезал его и прыгнул с ним в воду. Он потянул меня вниз, мимо иллюминатора, я хватался за что попало и не мог удержаться и погружался все глубже и глубже, скользя вдоль выпуклого борта. Пришлось разжать пальцы и выпустить крюк. Я слышал, как он ударился обо что-то, и мне показалось, что прошел целый год, прежде чем я всплыл на поверхность. Ялик далеко утянуло отливом, и я поплыл к нему, а из носу у меня текла кровь прямо в воду, и я порадовался, что нет акул; но я очень устал.

Голова у меня трещала, я отдохнул, лежа в ялике, а потом стал грести обратно. Дело шло к вечеру. Я еще раз нырнул с ключом и опять без толку. Ключ был слишком легкий. Не имело смысла нырять без большого молотка или еще чего-нибудь тяжелого. Тогда я опять привязал ключ к багру и, глядя в трубку, стучал и колотил по стеклу, пока ключ не сорвался, и я увидел в трубку совершенно отчетливо, как он скользнул вдоль борта, а потом прямо вниз и ушел в зыбучий песок. Больше я ничего не мог сделать. Ключ пропал, крюк я тоже упустил, оставалось только вернуться к лодке. Я так устал, что не мог втащить ялик на борт, а солнце уже садилось. Птицы разлетались, покидали пароход, и я двинулся к Саут-Уэст-Ки, таща ялик на буксире, а птицы летели передо мной и позади меня. Я порядком устал.

Ночью опять налетел шторм и бушевал целую неделю. Невозможно было добраться до парохода. Из города пришли и сказали мне, что тот человек, которого мне пришлось полоснуть ножом, живехонек, только рука болит, и я вернулся в город, и меня отпустили на поруки на пятьсот долларов. Все кончилось хорошо, потому что несколько человек, всё мои приятели, показали, что он гонялся за мной с топором, но к тому времени, когда мы доплыли до парохода, греки уже взорвали его и обобрали дочиста. Сейф они высадили динамитом. Так никто и не узнал, сколько им досталось. Пароход вез золото, и они взяли все. Обобрали его дочиста. Я нашел его, а сам не получил ни цента.

Вот уж действительно не повезло людям. Когда налетел ураган, пароход был у самой Гаваны, но не мог зайти в порт, а может быть, владельцы не позволили капитану повернуть к берегу, ведь это тоже было рискованно; капитан-то, говорят, хотел попытаться; так и пришлось им идти в шторм, и в темноте их гнало ветром, и они старались пересечь залив между маяком «Ребекка» и Тортугасом, и тут пароход наскочил на зыбучие пески. Может быть, у него спесло руль. Может быть, он вообще потерял управление. Как бы то ни было, они не могли знать, что пески зыбучие, и когда ударились о дно, капитан, наверно, приказывал открыть кингстоны, чтобы пароход сидел крепче. Но он наткнулся на зыбучие пески, и когда открыли кингстоны, ушел в песок кормой, а потом повернулся на бок. На нем было четыреста пятьдесят пассажиров и команда, и все они, наверно, были там, когда я нашел его. Кингстоны, наверно, открыли, как только он ударился о дно, и не успел он сесть, как зыбучие пески стали его высасывать. А потом, наверно, взорвались котлы, от этого-то и всплывали те куски, которые я видел. Странно только, что совсем не было акул. Ни одной рыбы не было. Уж я бы увидел ее на чистом белом песке.

Теперь-то рыб сколько угодно — морские окуни, и самые крупные. Пароход теперь почти весь ушел в песок, но они живут внутри него; самые крупные окуни. Некоторые носят по триста — четыреста фунтов. Как-нибудь надо будет выехать половить их. С того места, где он затонул, виден маяк «Ребекка». Теперь там поставили буй. Пароход лежит в самом конце зыбучих песков, у самого входа в залив. Еще каких-нибудь сто ярдов — и он бы проскочил. В темноте, в шторм, он только чуть-чуть отклонился от

курса, а маяка не было видно, очень уж сильный лил дождь. Да и не привыкли они к таким передрягам. Капитаны пассажирских пароходов не привыкли удирать от ураганов. Они знают свой курс, и я слышал, у них там есть какой-то компас, который сам управляет пароходом. Вряд ли капитан знал, где находится, когда их гнал шторм, но пароход вполне мог бы проскочить. Возможно, впрочем, что он потерял руль. Во всяком случае, попади он только в залив, дальше до самой Мексики им не па что было бы наткаться. Да, весело было, наверно, когда они ударились о дно в такой дождь и ветер и капитан приказал открыть кингстоны. Конечно, на палубе в такую погоду никого не было. Все, наверно, ушли вниз. На палубе никто бы не выдержал. Внутри там, наверно, было па что посмотреть, потому что погружался он, сами понимаете, быстро. Я ведь видел, как мой ключ ушел в песок. Капитану и в голову не пришло, что пески тут зыбучие, вряд ли он хорошо знал эти воды. Он знал только то, что ударился не о камни. И, наверно, он все видел из рубки. Наверно, понял в чем дело, когда пароход начал оседать. Интересно, сколько времени это продолжалось. Интересно, был ли с ним старший помощник. Вы как думаете, они остались в рубке или выскочили? Трупов так и не пашли. Ни одного. Никто не всплыл. А со спасательными поясами иногда плавают долго. Наверно, все погибли внутри. Так вот все и досталось грекам. Все решительно. Они, верно, не мешкали. Обчистили его на совесть. Сначала явились птицы, потом я, потом греки, и даже птицам досталось больше, чем мне.

ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, СВЕТЛО

Был поздний час, и никого не осталось в кафе, кроме одного старика,— он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибила пыль, и старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил, и хоть он и хороший гость, но они знали, что если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив; потому они и следили за ним.

— На прошлой неделе покушался на самоубийство,— сказал один.

— Почему?

— Впал в отчаяние.

— От чего?

— Ни от чего.

— А ты откуда знаешь, что ни от чего?

— У него уйма денег.

Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева, листья которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать.

— Патруль заберет его,— сказал официант.

— Какая ему разница, он своего добился.

— Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит. И пяти минут нет, как прошли.

Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдо. Официант помоложе вышел к нему.

— Вам чего?

Старик посмотрел на него.

— Еще коньяку,— сказал он.

— Вы будете пьяны,— сказал официант.

Старик смотрел на него. Официант ушел.

— Всю ночь просидит,— сказал он другому.— Я совсем сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы он помер на прошлой неделе.

Официант взял со стойки бутылку коньяка и чистое блюдо и направился к столику, где сидел старик. Он поставил блюдо и налил рюмку до полна.

— Ну, что бы вам помереть на прошлой неделе,— сказал он глухому. Старик пошевелил пальцем.

— Добавьте еще,— сказал он.

Официант долил в рюмку еще столько, что коньяк потек через край, по рюмке, прямо в верхнее блюдо из тех, что скопились перед стариком.

— Благодарю,— сказал старик.

Официант унес бутылку обратно в кафе. Он снова подсел за столик у двери.

— Он уже пьян,— сказал он.

— Каждую ночь пьян.

— Зачем ему было на себя руки накладывать?

— Откуда я знаю.

— А как он это сделал?

— Повесился на веревке.

— Кто ж его из петли вынул?

— Племянница.

— И к чему это она?

— За его душу испугалась.

— А сколько у него денег?

— Уйма.

— Ему, должно быть, лет восемьдесят.

— Я бы меньше не дал.

— Шел бы он домой. Никогда раньше трех не ляжешь.

Разве это дело?

— Нравится ему, вот и сидит.

— Скучно ему одному. А я не один — меня жена в постели ждет.

— И у него когда-то жена была.

— Теперь ему жена ни к чему.

— Ну, не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы.

— За ним племянница ходит.

— Знаю. Ты ведь сказал — это она вынула его из потли.

— Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики.

— Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри.

— Не хочу и смотреть на него. Скорей бы домой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится.

Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площадки, потом — на официантов.

— Еще коньяку, — сказал он, показывая на рюмку.

Тот официант, который спешил домой, вышел к нему.

— Конеч, — сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или иностранцами. — На сегодня ни одной больше. Закрываемся.

— Еще одну, — сказал старик.

— Нет. Кончено.

Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой.

Старик встал, не спеша сосчитал блюдца, вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив полпесеты на чай.

Официант смотрел ему вслед. Старик был очень стар, шел неуверенно, но с достоинством.

— Почему ты не дал ему еще посидеть и выпить? — спросил официант, тот, что не спешил домой. Они стали накрывать ставни. — Ведь еще и половины третьего нет.

— Я хочу домой, спать.

— Ну, один час, какая разница?

— Для меня — больше, чем для него.

— Час для всех — час.

— Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может купить себе бутылку и выпить дома.

— Это совсем иное дело.

— Да, это верно, — согласился женатый. Он не хотел быть несправедливым. Просто он очень спешил.

— А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного?

— Ты что, оскорбить меня хочешь?

— Нет, друг, просто шучу.

— Нет, — сказал тот, который спешил. Он запер вину станию и выпрямился. — Доверие. Полное доверие.

У тебя и молодость, и доверие, и работа есть, — сканил официант постарше. — Что еще человеку надо.

— А тебе чего не хватает?

— А у меня всего только работа.

— У тебя все то же, что у меня.

— Нет. Доверия у меня никогда не было, а молодость прошла.

— Ну, чего стоишь? Перестань болтать глупости, давай записывать.

— А я вот люблю засиживаться в кафе,— сказал официант постарше.— Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет.

— Я хочу домой, спать.

— Разные мы люди,— сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить.— Дело вовсе не только в молодости и доверии, хотя и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно.

— Ну что ты, ведь кабачки всю ночь открыты.

— Не понимаешь ты ничего. Здесь чисто, опрятно, в кафе. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева.

— Спокойной ночи,— сказал официант помоложе.

— Спокойной ночи,— сказал другой.

Выключая электрический свет, он продолжал разговор сам с собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да и не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек — ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это nada у pues nada у nada у pues nada¹. Отче ничто, да святится ничто твое, да придет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Nada у pues nada.

Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе.

— Для вас? — спросил бармен.

— Nada.

— Otro loco más²,— сказал бармен и отвернулся.

— Маленькую чашечку,— сказал официант.

¹ Ничто и только ничто, ничто и только ничто (*исп.*).

² Еще один полоумный (*исп.*).

Бармен налил ему кофе.

— Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена,— сказал официант.

Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров.

— Еще одну прикажете? — спросил бармен.

— Нет, благодарю вас,— сказал официант и вышел.

Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освещенное кафе — совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, может быть, это просто бессонница. Со многими бывает.

СВЕТ МИРА

Когда мы показались в дверях, хозяин бара поднял голову, потом протянул руку и накрыл два блюда с бесплатной закуской стеклянными крышками.

— Кружку пива,— сказал я. Он нацедил пива, лопаточкой смахнул пену и взглянул на меня, не выпуская кружки из рук. Я положил на стойку деньги, и он подвинул пиво ко мне.

— А тебе? — спросил он Тома.

— Тоже.

Он нацедил еще кружку пива, смахнул пену и, увидев монету на стойке, поставил кружку перед Томом.

— В чем дело? — спросил Том.

Хозяин бара ему не ответил. Он посмотрел мимо нас и спросил человека, который только что вошел:

— Тебе?

— Виски,— сказал тот.

Хозяин достал бутылку, стакан и еще стакан с водой.

Том протянул руку и снял крышку с блюда с закуской. На блюде лежало заливное из поросячьих ножек и тут же деревянная штука, похожая на ножницы, сделанные из двух деревянных вилок.

— Нет,— сказал хозяин и опять накрыл блюдо стеклянной крышкой. Вилочные ножницы остались у Тома в руке.— Положи на место,— сказал хозяин.

— Идите вы знаете куда,— сказал Том.

Хозяин, не спуская с нас взгляда, нагнулся и сунул руку под стойку. Я положил на тарелку пятьдесят центов, и он снова выпрямился.

— Чего еще? — спросил он.

— Пива,— сказал я, и, прежде чем нацедить пива, он снял крышки с обоих блюд.

— Ваше заливное провоняло,— сказал Том и выплюнул на пол то, что откусил. Хозяин ничего не сказал. Человек, который пил виски, заплатил и вышел, не оглядываясь.

— Сам ты провонял,— сказал хозяин бара.— Такие — всегда вонючие.

— Он говорит, что мы такие,— сказал мне Томми.

— Слушай,— сказал я,— давай уйдем отсюда.

— Убирайтесь вон, паршивцы,— сказал хозяин.

— А мы и так уходим,— сказал я.— Без вас решили.

— Мы придем еще,— сказал Томми.

— Суньтесь только,— сказал ему хозяин.

— Объясни ему, что он ошибся,— попросил меня Томми.

— Ладно, пошли,— сказал я. На улице было темно и хорошо.

— Куда это мы с тобой попали? — сказал Томми.

— Не знаю,— сказал я.— Идем на станцию.

Мы вошли в город с одного конца, а выходили теперь с другого. В воздухе пахло кожей, дубильным экстрактом и наваленными повсюду опилками. Когда мы подходили к городу, уже темнело, а теперь стало совсем темно, и подморозило, и лужи на улицах затянуло по краям ледком.

На станции сидели пять шлюх, дожидавшихся поезда, шестеро белых мужчин и три индейца. В станционном помещении было тесно, жарко от печки и полно едкого дыма. Когда мы вошли туда, все молчали, и окошечко кассы было заперто.

— А дверь не надо закрывать? — сказал кто-то.

Я повернулся, чтобы посмотреть, кто это сказал. Это был один из белых. Он был, как и все, в кожаных штанах, клетчатой рубаше и резиновых сапогах лесоруба, но без шапки, и лицо у него было белое, и руки тоже белые и тонкие.

— Что ж, закроете вы дверь или нет?

— Можно и закрыть,— сказал я и закрыл дверь.

— Спасибо,— сказал он. Лесоруб, сидевший рядом, фыркнул.

— Ты никогда не водился с поваром? — спросил он меня.

— Нет.

— Вот попробуй с нашим.— Он поглядел на соседа.— Он это любит.

Повар, поджав губы, смотрел в другую сторону.

— Он натирает руки лимонным соком,— продолжал лесоруб.— Он ни за что на свете не окунет их в лохань с посудой. Посмотри, какие они у него белые.

Одна из шлюх громко захохотала. Я никогда не видел такой толстой шлюхи и вообще такой толстой женщины. На ней было шелковое платье из такого шелка, что кажется то одного цвета, то другого. Рядом с ней сидели еще две, тоже очень толстые, но эта, наверно, весила пудов десять. Трудно было поверить собственным глазам, глядя на нее. Все три были в платьях из такого шелка. Они все сидели рядом на скамье. Они казались огромными. Остальные две были самые обыкновенные шлюхи, с крашенными пергидролем волосами.

— Посмотри на его руки,— сказал лесоруб и кивнул на повара. Толстая шлюха опять захохотала и вся затряслась.

Повар обернулся и сердито крикнул ей:

— Молчи ты, слоновая туша.

Она продолжала хохотать и трястись.

— Ой, господи,— сказала она. У нее был приятный голос.— Ой, господи боже мой.

Две другие толстые шлюхи сидели тихо и смиренно, как будто не очень хорошо понимали, что делается вокруг; они были очень толстые, почти такие же, как первая. В них тоже было пудов по семи. Остальные две молчали с достоинством.

Кроме повара и того, кто говорил о нем, в помещении было еще два лесоруба — один только слушал, с интересом и немного стыдась, другой как будто собирался вступить в разговор — и двое шведов. На краю скамьи сидели двое индейцев, а третий стоял у стены.

Лесоруб, который собирался вступить в разговор, сказал мне почти шепотом:

— Наверно, похоже, будто влезаешь на стог сена.

Я засмеялся и повторил его слова Томми.

— Черт его знает, в жизни не видал ничего подобного,— продолжал он.— Посмотрите на эту троицу.

Тут заговорил повар.

— Сколько вам лет, ребята?

— Мне девяносто шесть, а ему шестьдесят девять,— сказал Томми.

— Ха-ха-ха! — Толстая шлюха тряслась от хохота. У нее был удивительно красивый голос. Остальные шлюхи даже не улыбнулись.

— И зачем говорить гадости,— сказал повар.— Я ведь по-хорошему спросил.

— Одному семнадцать, другому девятнадцать,— сказал я.

— Ты что это? — оглянулся на меня Томми.

— Ничего, сиди спокойно.

— Можете звать меня Алисой,— сказала толстая шлюха и снова затряслась.

— Это твое настоящее имя? — спросил Томми.

— Настоящее,— сказала она.— Алиса. Правда? — обратилась она к тому лесорубу, что сидел рядом с поваром.

— Алиса. Верно.

— Это ты хотела бы, чтоб тебя так звали,— сказал повар.

— Меня так и зовут,— сказала Алиса.

— А этих как зовут? — спросил Томми.

— Хейзл и Этель,— сказала Алиса. Хейзл и Этель улыбнулись. Они, видно, не отличались умом.

— А тебя как зовут? — спросил я одну из пергидрольных блондинок.

— Фрэнсис,— сказала она.

— Фрэнсис, а дальше?

— Фрэнсис Уилсон. Тебе-то что за дело?

— А тебя как? — спросил я вторую.

— Отстань, чего привязался,— сказала она.

— Он просто хочет, чтобы мы все подружались,— сказал лесоруб, который говорил про повара.— Ты разве не хочешь с нами подружиться?

— Нет,— сказала блондинка.— С тобой — нет.

— Ну и злюка,— сказал лесоруб.— Самая настоящая злюка.

Блондинка посмотрела на другую блондинку и покачала головой.

— Дубье стоеросовое,— сказала она.

Алиса снова захохотала и затряслась всем телом.

— Ничего смешного,— сказал повар.— Вы все смеетесь, но тут нет ничего смешного. Скажите лучше, мальчики, куда вы едете?

— А вы куда? — спросил его Том.

— Я хочу попасть в Кадиляк,— сказал повар.— Вы пикогда там не бывали? У меня там сестра замужем.

— Он бы сам не прочь замуж,— сказал лесоруб в кожаных штанах.

— Ну что это, в самом деле! — сказал повар. — Неужели нельзя без гадостей?

— Стив Кетчел был из Кадиляка, и Эд Уолгэст тоже оттуда, — сказал до сих пор молчавший лесоруб.

— Стив Кетчел, — сказала одна из блондинок пронзительным голосом, как будто ее вдруг прорвало от звука этого имени. — Родной отец застрелил его. Да, как бог свят, родной отец. Таких, как Стив Кетчел, больше нет и не будет.

— Разве его звали не Стэнли Кетчел? — спросил повар.

— Заткнись, ты, — сказала блондинка. — Что ты знаешь о Стиве Кетчеле? Стэнли! Это, может, ты — Стэнли. Стив Кетчел был самый лучший и самый красивый мужчина на свете. Никогда я не видела мужчины чище телом и красивее, чем Стив Кетчел. Такого и не было никогда. Он был похож на тигра, — а кто еще умел так тратить деньги, как Стив Кетчел?

— А ты разве его знала? — спросил кто-то.

— Я его не знала? Я его не знала? Ты еще, может, скажешь, я его не любила? Я его знала, как ты самого себя не знаешь, и я его любила, как ты любишь бога. Он был самый сильный, самый лучший и самый красивый мужчина на свете, Стив Кетчел, и родной отец пристрелил его, как собаку.

— Ты и на побережье с ним ездила?

— Нет. Я его знала раньше. Из всех мужчин я его одного любила.

Все с уважением слушали пергидрольную блондинку, рассказывавшую все это театральным, приподнятым тоном, только Алиса опять начала трястись. Я сидел рядом с ней и чувствовал это.

— Что ж ты за него замуж не вышла? — спросил повар.

— Я не хотела портить ему карьеру, — сказала пергидрольная блондинка. — Я не хотела быть ему обузой. Ему не нужно было жениться. Ох, господи, что это был за мужчина.

— Очень благородно с твоей стороны, — сказал повар. — Но я слышал, что Джек Джонсон нокаутировал его.

— Это было жульничество, — сказала пергидрольная. — Грязный негр обманом сбил его с ног. Ему ничего не стоило сделать нокдаун этой толстой скотине, Джеку Джонсону. Чистая случайность, что черномазый побил его.

Отворилось окошечко, и все три индейца подошли к кассе.

— Стив сделал ему нокдаун,— сказала пергидрольная.— Он оглянулся, чтобы улыбнуться мне.

— Ты же говорила, что не ездила на побережье,— сказал кто-то.

— Я нарочно приезжала на этот матч. Стив оглянулся, чтобы улыбнуться мне, а эта черномазая сволочь подскочила и сбила его с ног. Стиву и сотня таких была бы нипочем.

— Он был классный боксер,— сказал лесоруб.

— А что, скажешь, нет? — сказала пергидрольная.— Скажешь, теперь есть такие боксеры? Он был как бог, честное слово. Такой белый, и чистый, и гладкий, и красивый, и ловкий, и быстрый, как тигр или как молния.

— Я видел этот матч в кино,— сказал Томми. Мы все были очень растроганы. Алиса вся тряслась, и я посмотрел и увидел, что она плачет. Индейцы уже вышли на перрон.

— Он мне был лучше всякого мужа,— сказала пергидрольная.— Мы были все равно что обвенчаны перед богом, и я теперь принадлежу ему, и всегда буду принадлежать, и все, что во мне есть, все только его. Пусть другие берут мое тело. Душа моя принадлежит Стиву Кетчелу. Это был мужчина, черт подери.

Все сидели как на иголках. Было грустно и неловко. Вдруг Алиса заговорила, продолжая трястись:

— Врешь ты все,— сказала она своим грудным голосом.— В жизни ты не спала со Стивом Кетчелом, и ты сама это знаешь.

— Как ты смеешь так говорить? — гордо откликнулась пергидрольная.

— Смею, потому что это правда,— сказала Алиса.— Из всех вас я одна знала Стива Кетчела, потому что я из Манселоны, и я там встречалась с ним, и это правда, и ты знаешь, что это правда, и пусть меня господь бог разразит на этом месте, если это неправда.

— И меня пусть разразит,— сказала пергидрольная.

— Это правда, правда, правда, и ты это знаешь. Я-то ничего не вру, я знаю, что он мне говорил.

— Ну, что ж он тебе говорил? — снисходительно спросила пергидрольная.

Алису так трясло от слез, что язык ее не слушался.

— Он сказал: «Ты славная баба, Алиса»,— вот что он сказал.

— Неправда,— сказала пергидрольная.

— Правда,— сказала Алиса.— Именно так и сказал.

— Неправда,— гордо сказала пергидрольная.

— Нет, правда, правда, правда, вот как перед богом, правда.

— Стив не мог сказать так. Он никогда так не говорил,— самодовольно сказала пергидрольная.

— Это правда,— сказала Алиса своим приятным голосом.— И мне наплевать, веришь ты мне или нет.— Она уже перестала плакать и успокоилась.

— Не может этого быть, чтобы Стив так сказал,— заявила пергидрольная.

— А вот сказал,— повторила Алиса и улыбнулась.— И я очень хорошо помню, когда он это сказал, и я в самом деле была славная баба в то время. Да я и теперь лучше тебя, старая ты грелка без воды.

— Не смей оскорблять меня,— сказала пергидрольная.— Болячка десятипудовая, вот ты кто. Не тронь моих воспоминаний.

— Брось,— сказала Алиса своим мягким, певучим голосом.— Нет у тебя никаких воспоминаний, разве только о том, как тебе перевязали трубы и как ты первый раз ходила на шестьсот шесть. Все остальное ты вычитала в газетах. А я здоровая, и ты это знаешь, и хоть я и толстая, а мужчины меня любят, и ты это знаешь, и я никогда не вру, и ты это знаешь.

— Тебя не касаются мои воспоминания,— сказала пергидрольная.— Мои чудные, живые воспоминания.

Алиса посмотрела на нее, потом на нас, и выражение обиды сошло с ее лица. Она улыбнулась, и мне показалось, что я никогда не встречал женщины красивее. У нее было очень красивое лицо, и приятная гладкая кожа, и певучий голос, и она была очень славная и приветливая. Но, господи, до чего же она была толста. Ее толщины хватило бы на трех женщин. Том увидел, что я смотрю на нее, и сказал:

— Пошли. Нечего тут сидеть.

— До свидания,— сказала Алиса. У нее в самом деле был очень приятный голос.

— До свиданья,— сказал я.

— Вы в какую сторону, мальчики? — спросил повар.

— В другую,— ответил ему Том.

КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ

Атака разворачивалась по лугу, была приостановлена пулеметным огнем с дорожной выемки и с прилегающих строений, не встретила отпора в городе и закончилась на берегу реки. Проезжая по дороге на велосипеде и временами соскакивая, когда полотно было слишком изрыто, Николас Адамс понял, что происходило здесь, по тому, как лежали трупы.

Они лежали поодиночке и вповалку, в высокой траве луга и вдоль дороги, над ними вились мухи, карманы у них были вывернуты, и вокруг каждого тела или группы тел были раскиданы бумаги.

В траве и в хлебах вдоль дороги, а местами и на самой дороге было брошено много всякого снаряжения: походная кухня, — видимо, ее подвезли сюда, когда дела шли хорошо; множество ранцев телячьей кожи; ручные гранаты, каски, винтовки — кое-где прикладом вверх, а штык поткнут в грязь: в конце концов здесь принялись, должно быть, окапываться; ручные гранаты, каски, винтовки, шанцевый инструмент, патронные ящики, ракетные пистолеты с рассыпанными вокруг патронами, санитарные сумки, противогазы, пустые коробки от противогазов; посреди кучи пустых гильз приземистый трехногий пулемет, с выкипевшим пустым кожухом, с исковерканной казенной частью и торчащими из ящиков концами лент, трупы пулеметчиков в неестественных позах, и вокруг в траве все те же бумаги.

Повсюду молитвенники, групповые фотографии, на которых пулеметный расчет стоит навтыяжку и осклабясь, как футбольная команда на снимке для школьного ежегодника; теперь, скорчившиеся и раздувшиеся, они лежа-

ли в траве; агитационные открытки, на которых солдат в австрийской форме опрокидывал на кровать женщину: рисунки были весьма экспрессивные и приукрашенные, и все на них было не так, как бывает на самом деле, когда женщине закидывают на голову юбки, чтобы заглушить ее крик, а кто-нибудь из приятелей сидит у нее на голове. Такого рода открыток, выпущенных, должно быть, накануне наступления, было множество. Теперь они валялись вперемешку с порнографическими открытками; и тут же были маленькие снимки деревенских девушек работы деревенского фотографа; изредка карточка детей и письма, письма, письма. Вокруг мертвых всегда бывает много бумаги, так было и здесь, после этой атаки.

Эти были убиты недавно, и никто еще ничего не тронул, кроме карманов. Наших убитых, отметил Ник, или тех, о ком он все еще думал как о наших убитых, было до странности мало. У них тоже мундиры были расстегнуты и карманы вывернуты, и по их положению можно было судить, как и насколько умело велась атака. От жары все одинаково раздулись, независимо от национальности.

Ясно было, что в конце боя город обороняли только огнем с дорожной выемки и почти некому из австрийцев было отступать в город. На улице лежало только три австрийца, видимо подстреленных на бегу. Дома вокруг были разрушены снарядами, и улица вся завалена штукатуркой и мусором, и повсюду исковерканные балки, битая черепица и много пробоин, некоторые с желтой каемкой от горчичного газа. Земля была вся в осколках, а щебень усеян шрапнелью. В городе не было ни души.

Ник Адамс не встретил никого от самого Форначи, хотя, проезжая по густо заросшей низине и заметив, как струится воздух над листьями, там, где солнце накаляло металл, он понял, что слева от дороги орудия, скрытые тутовой листвой. Потом он проехал улицей, удивляясь тому, что город пуст, и выбрался на нижнюю дорогу, проходившую под откосом берега, у самой воды. На окраине был большой открытый пустырь, по которому дорога шла под гору, и Нику видна была спокойная поверхность реки, широкий изгиб противоположного низкого берега и белая полоска высохшего ила перед линией австрийских окопов. С тех пор как он был здесь в последний раз, все стало очень сочным и чрезмерно зеленым, и то, что место это вошло в историю, ничуть его не изменило: все то же низовье реки.

Батальон расположился вдоль берега влево. В откосе высокого берега были вырыты ямы, и в них были люди. Ник заметил, где находятся пулеметные гнезда и где стоят в своих станках сигнальные ракеты. Люди в ямах на береговом склоне спали. Никто его не окликнул. Ник пошел дальше, но когда он обогнул высокий илистый намыв, на него навел пистолет молодой лейтенант с многодневной щетиной и налитыми кровью воспаленными глазами.

— Кто такой?

Ник ответил.

— А чем вы это докажете?

Ник показал ему свою тессеру; удостоверение было с фотографией и печатью Третьей армии. Лейтенант взял ее.

— Это останется у меня.

— Ну, нет,— сказал Ник.— Отдайте пропуск и уберите вашу пушку. Туда. В кобуру.

— Но чем вы мне докажете, кто вы такой?

— Мало вам тессеры?

— А вдруг она подложная? Дайте ее сюда.

— Не валяйте дурака,— весело сказал Ник.— Отведите меня к вашему ротному.

— Я должен отправить вас в штаб батальона.

— Очень хорошо,— сказал Ник.— Послушайте, знаете вы капитана Паравичини? Такой высокий, с маленькими усиками, он был архитектором и говорит по-английски?

— А вы его знаете?

— Немного.

— Какой ротой он командует?

— Второй.

— Он командует батальоном.

— Превосходно,— сказал Ник. Он с облегчением услышал, что Пара невредим.— Пойдемте к батальонному.

Когда Ник выходил из города, он видел три высоких спрапнельных разрыва справа над одним из разрушенных зданий, и с тех пор обстрела не было. Но у лейтенанта было такое лицо, какое бывает у человека под ураганным огнем. Та же напряженность, и голос звучал неестественно. Его пистолет раздражал Ника.

— Уберите это,— сказал он.— Противник ведь за рекой.

— Если б я думал, что вы шпион, я пристрелил бы вас на месте,— сказал лейтенант.

— Да будет вам,— сказал Ник.— Пойдемте к батальонному.— Этот лейтенант все сильнее раздражал его.

В штабном блиндаже батальона в ответ на приветствие Ника из-за стола поднялся капитан Паравичини, замещавший майора, еще более сухощавый и англазированный, чем обычно.

— Привет,— сказал он.— Я вас не узнал. Что это вы в такой форме?

— Да вот, нарядили.

— Рад вас видеть, Николо.

— Я тоже. У вас прекрасный вид. Как воюете?

— Атака была на славу. Честное слово. Превосходная атака. Я вам сейчас покажу. Смотрите.

Он показал по карте ход атаки.

— Я сейчас из Форначи,— сказал Ник.— По дороге видел, как все это было. Атаковали хорошо.

— Атаковали изумительно. Совершенно изумительно. Вы что же, прикомандированы к полку?

— Нет. Мне поручено разъезжать по передовой линии и демонстрировать форму.

— Вот еще выдумали.

— Воображают, что, увидев одного американца в форме, все поверят, что недолго ждать и остальных.

— А как они узнают, что это американская форма?

— Вы скажете.

— А! Понимаю. Я дам вам капрала в провожатые, и вы с ним пройдете по линии.

— Словно какой-нибудь пустобрех-министр,— сказал Ник.

— А вы были бы гораздо эlegantней в штатском. Только в штатском выглядишь по-настоящему эlegantным.

— В котелке,— сказал Ник.

— Или в мягкой шляпе.

— Собственно, полагалось бы набить карманы сигаретами, открытками и всякой чепухой,— сказал Ник.— А сумку шоколадом. И раздавать все это с шуточками и дружеским похлопываньем по спине. Ни сигарет, ни открыток, ни шоколада не оказалось. Но меня все-таки послали проследовать по линии.

— Ну конечно, стоит вам показаться — и это сразу воодушевит войска.

— Не надо,— сказал Ник.— И без того тошно. В принципе я бы охотно прихватил для вас бутылочку бренди.

— В принципе,— сказал Пара и в первый раз улыбнулся, показывая пожелтевшие зубы.— Какое прекрасное выражение. Хотите граппы?

— Нет, спасибо,— сказал Ник.

— Она совсем без эфира.

— Этот вкус у меня до сих пор во рту,— вспомнил Ник внезапно с полной ясностью.

— Знаете, я и не подозревал, что вы пьяны, пока вы не начали болтать в грузовике на обратном пути.

— Я накачивался перед каждой атакой,— сказал Ник.

— А я вот не могу,— сказал Пара.— Я пробовал в первом деле, в самом первом деле, но меня от этого вывернуло, а потом зверски пить хотелось.

— Ну, значит, вам не надо.

— Вы же гораздо храбрее меня во время атаки.

— Нет,— сказал Ник.— Я себя знаю и предпочитаю накачиваться. Я этого ни капли не стыжусь.

— Я никогда не видел вас пьяным.

— Не видели? — сказал Ник.— Никогда? А в ту ночь, когда мы ехали из Местре в Портогранде и я улегся спать, и укрылся велосипедом вместо одеяла, и все старался натянуть его до самого подбородка?

— Так это же не на позиции.

— Не будем говорить о том, какой я,— сказал Ник.— По этому вопросу я знаю слишком много и не хочу больше об этом думать.

— Вы пока побудьте здесь,— сказал Паравичини.— Можете прилечь, если вздумается. Эта пора прекрасно выдержала обстрел. А выходить еще слишком жарко.

— Да, торопиться некуда.

— Ну, а как вы на самом-то деле?

— Превосходно. Я в полном порядке.

— Да нет, я спрашиваю, на самом деле?

— В полном порядке. Не могу спать в темпоте. Вот и все, что осталось.

— Я говорил, что нужна трепанация. Я не врач, но я знаю.

— Ну, а они решили — пусть лучше рассосется. А что? Вам кажется, что я не в своем уме?

— Почему. Вид у вас превосходный.

— Нет хуже, когда тебя признали полоумным,— сказал Ник.— Никто тебе больше не доверяет.

— Вы бы вздремнули, Николо,— сказал Паравичини.— Это вам, конечно, не тот батальонный блиндаж, к

какому мы привыкли, но мы ждем, что нас отсюда скоро перебросят. Вам не следует выходить в такую жару,— это просто глупо. Ложитесь вот сюда, на койку.

— Пожалуй, прилягу,— сказал Ник.

Ник лег на койку. Он был очень огорчен тем, что ему плохо, и еще больше тем, что это так ясно капитану Паравичини. Блиндаж был меньше того, где его взвод 1899 года рождения, только что прибывший на фронт, записывал во время артиллерийской подготовки, и Пара приказал ему выводить их наверх по двое, чтобы показать, что ничего с ними не случится, и сам он туго подтянул губы подбородным ремнем, чтобы не дрожали. Зная, что не удержаться, если бы атака не удалась. Зная, что все это просто чертова каша. Если он не перестанет нюнить, расквасьте ему нос, чтобы его малость встряхнуло. Я бы пристрелил одного для примера, но теперь поздно. Их еще пуще развезет. Расквасьте ему нос. Да, перенесено на пять двадцать. В нашем распоряжении только четыре минуты. Расквасьте нос и тому сопляку и вытолкайте его коленкой под задницу. Как вы думаете, поднимутся они? Если нет, пристрелите двоих-троих и постарайтесь так или иначе выкурить их отсюда. Держитесь сзади, сержант. Совершенно бесполезно шагать впереди, когда никто за тобой не идет. Волоките их отсюда за шиворот, когда пойдете сами. Что за чертова каша. Так. Ну, ладно. Потом, поглядев на часы, спокойным тоном, этим веским, спокойным тоном: «Савойя». Пошел, не накачавшись, не успел глотнуть, а потом где было ее искать, когда завалило, завалился весь угол, тут оно и началось; и он пошел, не глотнув, туда, вверх по склону, единственный раз, когда шел, не накачавшись. А когда вернулись обратно, оказалось, что головной госпиталь горит и кое-кого из раненых через четыре дня отправили в тыл, а некоторых так и не отправили, и мы снова ходили в атаку, и возвращались обратно, и отступали,— неизменно отступали. И, как ни странно, там была Габи Делис, вся в перьях, ты называл меня своею год назад, та-ра-ра-ра, ты говорил, меня обнять всегда ты рад, та-ра-ра-ра, и в перышках, да и без них, Габи всегда прекрасна; а меня зовут Гарри Пильцер, мы с вами, бывало, вылезали из такси на крутом подъеме на холм; и каждую ночь снился этот холм и еще снился: Сакре-Кёр, вздутая и белая, словно мыльный пузырь. Иногда с ним была его девушка, а иногда она была с кем-нибудь другим, и это трудно было понять, но вспоминалось

это ночами, когда река текла неузнаваемо широкая и спокойная, и там, за Фоссальтой, на берегу канала был низкий, выкрашенный в желтое дом, окруженный ивами, и с длинной низкой конюшней; он бывал там тысячу раз и никогда не замечал этого, а теперь каждую ночь все это было так же четко, как и холм, только это пугало его. Этот дом был важнее всего, и каждую ночь он ему снился. Именно этого он и хотел, но это пугало его, особенно когда лодка спокойно стояла там между ивами, у берега канала, но берега были не такие, как у этой реки. Они были еще ниже, как у Портогранде, там, где те переправлялись через затопленную луговину, барахтаясь и держа над головой винтовки, да так и ушли под воду вместе с винтовками. Кто отдал такой приказ? Если бы не эта чертова путаница в голове, он прекрасно бы во всем разобрался. Вот почему он пробовал запомнить все до последней черточки и держать все в строгом порядке, так, чтобы всегда знать, что к чему, но вдруг, безо всякой причины, все спутывалось, вот как сейчас, когда сам он лежит на койке в батальонном блиндаже, и Пара командир батальона, а тут еще на нем эта проклятая американская форма. Он привстал и огляделся; все на него смотрели. Пара куда-то вышел. Он снова лег.

Начиналось всегда с Парижа, и это не пугало его, разве только когда она уходила с кем-нибудь другим или когда было страшно, что им два раза попадется один и тот же шофер. Только это его и пугало. А фронтовое нет. Теперь он никогда больше не видел фронта; но что пугало его, от чего он никак не мог избавиться,— это желтый длинный дом и не та ширина реки. Вот он опять здесь, у реки, он проехал через тот самый город, а дома этого не было. И река другая. Так где же он бывает каждую ночь, и в чем опасность, и почему он каждый раз просыпается весь в поту, испуганный больше, чем под любым обстрелом, все из-за этого дома и низкой конюшни и канала?

Он привстал, осторожно спустил ноги; они деревенели, если он долго держал их вытянутыми; посмотрел на глядевших на него сержанта, и сигнальщиков, и двух ординарцев у двери и надел свою каску в матерчатом чехле.

— Очень сожалею, что у меня нет с собой шоколада, открыток, сигарет,— сказал он.— Но форма-то все-таки на мне.

— Майор сейчас вернется,— сказал сержант.

— Форма не совсем точная,— сказал им Ник.— Но представление она дает. Скоро здесь будет песколько миллионов американцев.

— Вы думаете, что к нам прибудут американцы? — спросил сержант.

— Несомненно. И какие американцы — вдвое выше меня ростом, здоровые, приветливые, спят по ночам, никогда не были ни ранены, ни контужены, ни завалены землей; не трусят, не пьют, верны своим девушкам, многие даже не знают, что такое вошь,— замечательные ребята, вот увидите.

— А вы итальянец? — спросил сержант.

— Нет, американец. Взгляните на форму. Шил ее Спаньолини, но только она не совсем точная.

— Северо- или южноамериканец?

— Северо,— сказал Ник. Он чувствовал, что опять начинается. Надо поменьше говорить.

— Но вы говорите по-итальянски.

— Ну так что же? Вам не нравится, что я говорю по-итальянски? Разве я не имею права говорить по-итальянски?

— У вас итальянские медали.

— Только ленточки и документы. Медали присылают потом. Или дашь их кому-нибудь на сохранение, а тот уедет, или они пропадут вместе со всеми вещами. Впрочем, можно купить новые в Милапе. Важно, чтобы были документы. И вы не расстраивайтесь. Вам тоже дадут медали, когда вы подольше побудете на фронте.

— Я ветеран Эритрейской кампании,— сухо сказал сержант.— Я сражался в Триполи.

— Очень рад с вами познакомиться.— Ник протянул руку.— Должно быть, нелегкая была кампания. Я сразу заметил нашивки. Вы, может быть, и на Карсо были?

— Меня только что призвали в эту войну. Мой разряд слишком стар.

— Еще не так давно я был слишком молод,— сказал Ник.— А теперь я уже готов, не гождусь больше.

— А что же вы здесь делаете?

— Демонстрирую американскую форму,— сказал Ник.— Что, по-вашему, это не дело? Она немного жмет в вороте, но вы увидите, скоро миллионы одетых в эту форму налетят сюда, как саранча. Кузнечик,— вы знаете, то, что мы в Америке называем кузнечиком,— это та же саранча. Настоящий кузнечик маленький, зеленый и доволь-

но слабенький. Его не надо смешивать с сарапчой или цикадой, которая издает характерный, непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой. Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, но я прерву наш разговор.

— Поди-ка отыщи майора, — сказал сержант одному из ординарцев. — Видно, вы были серьезно ранены, — сказал он Нику.

— В разные места, — сказал Ник. — Если вас интересуют шрамы, я могу показать вам очень интересные, но я предпочитаю поговорить о кузнечиках. То есть о том, что мы называем кузнечиками, а на самом деле это сарапча. Это насекомое одно время занимало большое место в моей жизни. Возможно, вам это тоже будет интересно, а пока я говорю, вы можете изучать мою форму.

Сержант сделал знак второму ординарцу, и тот вышел.

— Смотрите внимательней на форму. Ее, знаете, шил Спаньолипи. И вы тоже можете любоваться, — сказал Ник сигнальщикам. — У меня, видите ли, нет никакого чина. Мы состоим в ведении американского консула. Глазейте, не стесняйтесь. А я вам расскажу об американской сарапче. Мы всегда предпочитали один вид, который мы пазывали коричневая средняя, она меньше всех размокаст в воде, и рыба лучше всего идет на нее. А у тех, что побольше, которые летают и производят при этом звук, несколько напоминающий гремучую змею, когда она гремит своими гремучками, — очень сухой звук, — у них крылья ярко окрашены, иногда красные, иногда желтые с черными полосами, но их крылья совсем расползаются в воде, и наживка из них плохая, а вот коричневые средние — это плотные, жирные, восхитительные кузнецы, которых я могу рекомендовать вашему вниманию, джентльмены, если только возможно рекомендовать вниманию джентльменов то, что они, по всей вероятности, никогда не встретят. Но я со всей настоятельностью должен подчеркнуть, что вы никогда не соберете запаса этих насекомых, достаточного для дневной ловли, если будете хватать их руками или сшибать битой. Это суцая чепуха и пустая трата времени. Повторяю вам, джентльмены, так у вас ровно ничего не получится. Единственный правильный способ, способ, которому следовало бы обучать всех молодых офицеров во всех стрелковых школах, это, — если бы меня спросили об этом, а очень возможно, что меня об этом и спросят, — это

Применение сети или невода из обыкновенной комариной сетки. Два офицера, держа кусок сети такой вот длины за противоположные концы или, скажем, стоя по одному у каждого конца, наклоняются, берут нижний край сети в одну руку, а верхний в другую и бегут против ветра. Кузнецы, летя по ветру, натыкаются на этот кусок сети и застревают в ней. Таким способом каждый может наловить огромное количество кузнецов, и, по моему мнению, каждый офицер должен быть снабжен куском комариной сетки достаточной длины, пригодным для изготовления подобной саранчовой сети. Надеюсь, я понятно изложил этот способ, джентльмены? Есть вопросы? Если что-нибудь в моем изложении вам представляется неясным, пожалуйста, задавайте вопросы. Я слушаю. Нет вопросов? Тогда я хотел бы прибавить в заключение следующее. Говоря словами великого полководца и джентльмена сэра Генри Уилсона: джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы или повелевать будут вами. Разрешите мне повторить. Джентльмены, мне хотелось бы, чтобы вы твердо это запомнили. Твердо запомнили и унесли с собой, уходя из этого зала. Джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы или повелевать будут вами. Я кончил, джентльмены. Позвольте пожелать вам всего хорошего.

Он снял каску в матерчатом чехле, снова надел ее и, пригнувшись, вышел в низкую дверь блиндажа. Паравичини в сопровождении обоих ординарцев приближался со стороны дорожной выемки. На солнце было очень жарко, и Ник снял каску.

— Надо бы придумать систему водяного охлаждения для этих уродин, — сказал он. — Ну, а свою я искупаю в реке. — Он стал взбираться на парапет.

— Николо, — окликнул его Паравичини. — Николо! Куда вы идете?

— Да, собственно, и не стоит ходить. — Ник спустился обратно, держа каску в руках. — Что сухая, что мокрая, один черт. Неужели вы свою никогда не снимаете?

— Никогда, — сказал Пара. — Я уже начинаю от нее лысеть. Пойдем в блиндаж.

В блиндаже Пара усадил его.

— От них ведь никакого проку, — сказал Ник. — Помню, как мы были рады, когда их только что выдали, но с тех пор я слишком часто видел их полными мозгов.

— Николо, — сказал Пара, — по-моему, вам бы надо отправляться обратно. По-моему, пока вас не снабдят всем,

что пужно, вам незачем сюда ездить. Вам здесь нечего делать. Если вы будете ходить по липии, даже раздавая что-нибудь стоящее, неизбежно скопление, которое вызовет обстрел. Этого я не могу допустить.

— Я знаю, что это глупо,— сказал Ник.— Это не моя выдумка. Я услышал, что здесь наша бригада, ну и подумал, хорошо бы повидать вас или еще кого-нибудь из прежних. Я мог бы отправиться в Зензон или в Сан-Дона. Мне бы хотелось пробраться в Сан-Дона и поглядеть мост.

— Я не могу разрешить вам разгуливать здесь без толку,— сказал капитан Паравичини.

— Ну, ладно,— сказал Ник. Он чувствовал, что это слова начинается.

— Вы меня понимаете?

— Конечно,— сказал Ник. Он старался подавить это.

— Такие обходы надо делать ночью.

— Без сомнения,— сказал Ник. Он чувствовал, что не сможет удержаться.

— Я ведь теперь батальоном командую,— сказал Пара.

— А почему бы вам и не командовать? — сказал Ник. Вот оно.— Читать, писать умеете?

— Разумеется,— мягко сказал Пара.

— Только вот батальон-то у вас невелик. Как только его пополнят, вам опять дадут вашу роту. Почему не хоронят убитых? Я только что видел их. Мне вовсе не хочется опять на них глядеть. Хоронить их можно в любое время, я не возражаю, и чем скорее, тем лучше для вас же. А то потом намааетесь.

— Где вы оставили велосипед?

— В последнем доме.

— Думаете, он там уцелеет?

— Не беспокойтесь,— сказал Ник.— Я скоро пойду.

— Вы прилягте, Николо.

— Спасибо.

Он закрыл глаза и вместо бородатого человека, который смотрел на него сквозь прицельную рамку винтовки, придерживая дыхание, перед тем как нажать спуск, и белой вспышки и удара как будто дубиной, когда на коленях, давясь сладким горячим клубком, который он выхаркнул на камень, он понял, что они пробежали мимо,— он увидел желтый низкий дом с длинной конюшней и реку гораздо шире и спокойнее, чем на самом деле.

— Ах, черт,— сказал он.— Пожалуй, надо идти.

Он встал.

— Я пойду, Пара,— сказал он.— Поеду назад. Если там подвезли чего-нибудь, я захвачу и привезу вам сегодня вечером. Если нет, приеду ночью, когда будет что везти.

— Еще жарко вам ехать,— сказал капитан Паравичини.

— Не беспокойтесь,— сказал Ник.— Теперь на некоторое время я застрахован. Меня тут у вас скрутило, но это быстро прошло. Теперь с каждым разом все легче. Я уже знаю, когда это начинается, я тогда становлюсь болтлив.

— Я пошлю с вами ординарца.

— Нет, не надо. Я знаю дорогу.

— Так, значит, скоро опять к нам?

— Непременно.

— Давайте, я все-таки...

— Нет,— сказал Ник.— В знак доверия.

— Ну, как хотите.

— Сiao,— сказал Ник. Он пошел назад по дорожной выемке, туда, где он оставил велосипед. К вечеру, как только он минует канал, дорога будет в тени. За каналом по обеим сторонам дороги деревья совсем не тронуты рядами. Именно на этом участке как-то раз им встретились на походе кавалеристы Третьего савойского полка. С пиками, по снегу. Дыхание лошадей поднималось султанами в морозном воздухе. Нет, это было не здесь. Где же это было?

— Только бы мне добраться до этого чертова велосипеда,— сказал себе Ник.— А то еще заблудишься и не попадешь в Форначи.

МАТЬ КРАСАВЧИКА

Когда у него умер отец, он был совсем еще зеленый, и его менеджер похоронил покойника навечно, то есть обеспечил за ним постоянное место на кладбище. Но когда и мать умерла, менеджер сообразил, что не всегда же им амуриться. Ведь у них была любовь, да, он из таких, этот красавчик Пако, вы разве не знаете? Ну еще бы, конечно, из таких. И менеджер решил похоронить его мать только на пять лет.

Так вот, вернулся он в Мексику из Испании и сразу получил первое уведомление. Там было сказано, что это первое уведомление: дескать, пять лет на исходе, и не соблаговолит ли он распорядиться должным образом, чтобы продлить срок сохранения материнской могилы. За постоянное место требовалось внести всего двадцать долларов. Касса хранилась тогда у меня, и я сказал, поручи это мне. Но он сказал — нет, он сам об этом позаботится. Позаботится сам, и немедленно. Мать-то его, и он хочет сам все сделать.

Через неделю пришло второе уведомление. Я прочитал его вслух и говорю: я думал, ты уже позаботился об этом. Нет, говорит, еще нет.

— Давай я все сделаю, — сказал я. — Вот они, денежки, у меня.

Нет, сказал он. Нечего ему указывать. Он сам об этом позаботится, когда руки дойдут. Какой смысл тратить деньги раньше времени.

— Ладно, — сказал я. — Только смотри не забудь. — У него тогда был контракт на шесть боев по четыре тысячи песо каждый, да еще бенефис. В одной только столице

он заработал больше пятнадцати тысяч долларов. Скарред он был, вот и все.

Третье уведомление пришло еще через неделю, и я опять прочитал его вслух. Там было сказано, что если он не внесет до субботы, могилу его матери разроют и останки ее выбросят на общую свалку костей. Он сказал, что займется этим в тот же день, когда поедет в город.

— Почему ты мне не поручишь? — спросил я.

— Не суйся куда не надо, — сказал он. — Это мое дело, и я сам этим займусь.

— Ладно, когда так, — сказал я. — Делай свои дела сам.

Он взял сколько было нужно денег из кассы, хотя в те времена у него в кармане всегда лежала сотня песо, а то и больше, и сказал, что сам этим займется. И ушел с деньгами, и я, конечно, думал, что дело сделано.

Неделю спустя оттуда написали, что, поскольку ответа на их окончательное предупреждение не поступило, останки его матери выбросили на свалку костей — на общую свалку.

— Господи помилуй! — сказал я ему. — Ты же соби-
рался заплатить, взял на это деньги из кассы, и что же теперь стало с твоей матерью! Подумать только! Общая свалка костей, и там твоя мать! Почему ты мне не поручил? Я бы сразу после первого уведомления выслал.

— Это не твое дело. Мать — она моя мать.

— Верно, дело не мое, это твое дело. Но какая же у человека кровь в жилах, если он допустил такое со своей матерью? Не заслужил ты, чтобы у тебя мать была.

— Это моя мать, — сказал он. — Теперь она мне еще дороже. Теперь мне не надо думать, что она похоронена там-то и там-то, и горевать. Теперь она вокруг меня, в воздухе, как птицы и как цветы. Теперь моя мать всегда будет со мной.

— Господи помилуй! — сказал я. — Какая же у тебя кровь в жилах? Ты больше и разговаривать со мной не смей.

— Она всюду при мне, — сказал он. — Теперь я не буду о ней горевать.

В те времена он крутился около женщин и тратил на них уйму денег, все старался казаться настоящим мужчиной и думал, что проведет этим кого-нибудь, но на тех, кто его знал, это нисколько не действовало. Мне он задол-

жал шестьсот с лишним песо и никак не хотел расплатиться.

— Зачем тебе сейчас деньги? — говорил он. — Неужели ты не доверяешь мне? Мы же с тобой друзья.

— Друзья не друзья, доверяю не доверяю, не в этом дело, а в том, что, пока тебя не было, я за все платил из своего кармана, и теперь эти деньги мне нужны, и у тебя есть чем расплатиться.

— Нет у меня сейчас ничего.

— Нет, есть, — сказал я. — Вот они, в кассе, отсюда и возьмишь.

— Эти деньги мне нужны на другое, — сказал он. — Ты не знаешь, какие у меня расходы.

— Я здесь все время сидел, пока ты был в Испании, и ты сам велел мне платить по всем счетам, что приходили из магазинов, а денег ни разу не прислал, и у меня ушло шестьсот с лишним песо моих кровных, а теперь деньги мне нужны, и расплатиться со мной ты можешь.

— Скоро расплачусь, — сказал он. — Сейчас они мне самому позарез нужны.

— На что?

— Мало ли у меня какие дела.

— Ну, хотя бы часть отдай.

— Нет, не могу, — сказал он. — Мне деньги прямо-таки позарез нужны. Но я отдам.

В Испании он выступил всего два раза, ему там ходу не дали, моментально его раскусили, а он шил себе семь костюмов для арены, и ведь что за человек: упаковал все кое-как, и на обратном пути четыре костюма так подмочило морской водой, что и надеть нельзя.

— О, господи! — сказал я ему. — Ты едешь в Испанию. Торчишь там весь сезон, а выступаешь всего два раза. Все деньги, что взял с собой, тратишь на костюмы и не потрудишься даже уберечь их от морской воды, и никогда эти костюмы не наденешь. Вот как у тебя прошел сезон, а теперь ты мне заявляешь, что сам со своими делами упрaviшься. Тогда отдай деньги, и я с тобой распрощаюсь.

— Нет, ты мне понадобишься, — сказал он. — И я все тебе отдам. Но сейчас мне деньги самому нужны.

— Уж так нужны, что и за материнскую могилу не мог заплатить, чтобы твоей матери было где покоем. Значит, нужны, говоришь? — сказал я.

— Я очень рад, что с матерью так все получилось, — сказал он. — Тебе этого не понять.

— И слава богу,— сказал я.— Расплатись, или я сам из кассы возьму.

— Теперь касса будет у меня,— сказал он.

— Нет, не будет,— сказал я.

В тот же самый день он явился ко мне с каким-то подонком — молодчиком из его родного города, без гроша в кармане, и сказал: «Вот этому пейсано нужны деньги на проезд домой, потому что у него мать тяжело заболела». Понимаете? Какой-то подонки, он его раньше и в глаза не видел, но земляк! Надо же перед ним покрасоваться — как же, знаменитый матадор, тороватый, не покуситься ради земляка!

— Дай ему пятьдесят песо из кассы,— велел он мне.

— Ты же только что говорил, будто тебе печем со мной расплатиться,— сказал я.— А теперь хочешь дать пятьдесят песо этому подонку?

— Мы с ним земляки,— сказал он,— и у него тяжелое положение.

— Сука ты,— сказал я и бросил ему ключ от кассы.— Сам давай. Я еду в город.

— А ты не кипятись,— сказал он.— Я с тобой расплачусь.

Я собрался в город и вывел машину. Машина была его собственная, но он знал, что я вожу лучше. У меня все получалось лучше, чем у него. Он знал это. Он даже читать-писать не умел. Мне надо было кое с кем повидаваться в городе и выяснить, можно ли его заставить вернуть долг. Он вышел и сказал:

— Я тоже поеду. И я тебе все верну. Мы же друзья. Зачем нам ссориться.

Мы поехали в город, и машину вел я. Только въехали, он сует мне двадцать песо. Вот, говорит, возьми.

— Ах ты сука безродная! — сказал я и посоветовал, куда ему девать эти деньги.— Какому-то подонку даешь пятьдесят песо, а мне двадцать, когда твоего долгу шестисот с лишним. Я и цента из твоих рук не приму. Сунь их знаешь куда?

Я вылез из машины, а у самого пусто в кармане, и где ночевать — неизвестно. Потом попозже в тот же день поехал с одним приятелем и забрал из дома все свои вещи. С тех пор и вот до нынешнего года я с ним и слова не сказал. А тут как-то вечером встретил его с тремя дружками по дороге в кино «Каллао» на Гран-Виа в Мадриде. Он ко мне с ручкой.

— А, Роджер! Здравствуй, дорогой! Ну, как поживаешь? Я слышал, ты про меня нехорошее говоришь. Всякую небылицу.

— Если я говорю, так только одно — что у тебя матери сроду не было. — Это самое худшее оскорбление для мужчины, какое только есть по-испански.

— Что правда, то правда, — сказал он. — Я был такой маленький, когда моя бедная мамочка умерла, что у меня ее будто и не было. И это очень грустно.

Вот вам, какие они, эти красавчики. Их не проймешь. Ну, ничем не проймешь. Деньги они тратят только на себя или на всякую показуху, а долгов не платят. Попробуйте, получите с такого. Я ему все выложил, что я о нем думаю, прямо там, на Гран-Виа, в присутствии трех его дружков, но теперь при встречах он со мной разговаривает, будто мы с ним закадычные друзья.

Какая же у них кровь в жилах, у таких вот красавчиков?

ПОСВЯЩАЕТСЯ ШВЕЙЦАРИИ

I

РАЗВЛЕЧЕНИЯ МИСТЕРА УИЛЕРА В МОНТРЕ

В буфете на станции было тепло и светло. Тщательно вытертые деревянные столики блестели; на них стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках. Стулья были резные, с залоснившимися от времени, но удобными сиденьями. На стене висели резные деревянные часы, а в глубине комнаты была буфетная стойка. За окном шел снег.

За столиком под часами двое носильщиков пили молодое вино. Вошел третий носильщик и сказал, что Восточно-симплонский экспресс идет из Сен-Мориса с часовым опозданием. Сказав это, он вышел. К столику мистера Уилера подошла кельнерша.

— Экспресс на час опаздывает, сэр,— сказала она.— Может быть, выпьете кофе?

— А вы не думаете, что это не даст мне уснуть?

— Простите? — переспросила кельнерша.

— Принесите кофе,— сказал мистер Уилер.

— Пожалуйста, сэр.

Она принесла кофе из кухни, а мистер Уилер повернулся к окну и стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу.

— Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского? — спросил он кельнершу.

— Как же, сэр! Говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах.

— Хотите что-нибудь выпить?

— Нет, что вы, сэр! Нам не разрешается пить с посетителями.

— Может быть, сигару?

— Нет, что вы, сэр! Я не курю, сэр.

— Это хорошо,— сказал мистер Уилер. Он снова посмотрел в окно, выпил кофе и закурил сигарету.

— Fräulein,— позвал он. Кельнерша подошла к столу.

— Что вы желаете, сэр?

— Вас,— сказал он.

— Что за шутки, сэр!

— Я не шучу.

— Тогда не надо говорить такие вещи.

— Не будем терять времени,— сказал мистер Уилер.— До прихода поезда осталось сорок минут. Если вы подниметесь со мной наверх, я дам вам сто франков.

— Как можно говорить такие вещи, сэр! Я позову носильщика.

— Носильщик мне не нужен,— сказал мистер Уилер.— Ни носильщики, ни полицейские, ни разносчики сигарет мне не нужны. Мне нужны вы.

— Если вы не перестанете, сэр, вам придется уйти отсюда. Здесь нельзя вести такие разговоры.

— Зачем же вы тут стоите? Если б вы тут не стояли, я не мог бы разговаривать с вами.

Кельнерша отошла. Мистер Уилер следил, подойдет ли она к носильщикам. Она не подошла.

— Mademoiselle! — позвал он. Кельнерша вернулась.—
Бутылку сионского, пожалуйста

— Сейчас, сэр.

Мистер Уилер смотрел ей вслед. Когда она вернулась и поставила вино на столик перед ним, он взглянул на часы.

— Я вам дам двести франков,— сказал он.

— Пожалуйста, оставьте это, сэр.

— Двести франков — большие деньги.

— Перестаньте сказать такие вещи.— От волнения кельнерша стала путать слова чужого языка. Мистер Уилер смотрел на нее с интересом.

— Двести франков.

— Какой вы противный.

— Зачем же вы тут стоите? Если б вас тут не было, я не мог бы говорить с вами.

Кельнерша отошла и направилась к стойке. Мистер Уилер пил вино и улыбался про себя.

— Mademoiselle! — позвал он немного погодя. Кельнерша сделала вид, что не слышит.— Mademoiselle! — позвал он снова.

Кельнерша подошла.

— Вам что-нибудь нужно?

— Очень даже. Я вам дам триста франков.

— Вы противный.

— Триста швейцарских франков.

Она ушла. Мистер Уилер смотрел ей вслед. В дверях показался носильщик. Это был тот, которому мистер Уилер поручил свой багаж.

— Поезд подходит, сэр,— сказал он по-французски. Мистер Уилер встал.

— Mademoiselle! — позвал он. Кельнерша подошла к столу.— Сколько с меня за вино?

— Семь франков.

Мистер Уилер отсчитал восемь франков и положил их на стол. Потом надел шляпу, пальто и вышел вслед за носильщиком на платформу, где по-прежнему падал снег.

— Au revoir, mademoiselle! — сказал он. Кельнерша поглядела ему вслед. «Вот урод,— подумала она.— Урод, да еще какой противный. Триста франков за такой пустяк. Сколько раз я это делала даром. Да и негде тут. Если б у него хоть капля соображения была, он бы понял, что тут негде. И негде и некогда. Триста франков. Ну и чудаки эти американцы».

Стоя на асфальте платформы возле своих чемоданов, сквозь хлопья снега глядя на огни приближающегося паровоза, мистер Уилер думал о том, что развлечение обошлось ему очень недорого. Кроме обеда, он истратил всего лишь семь франков на вино и франк на чаевые. Хватило бы семидесяти пяти сантимов. Жаль, что он не ограничился семьюдесятью пятью сантимами. Швейцарский франк равен пяти французским. Мистер Уилер направлялся в Париж. Он был очень расчетлив, и женщины его не интересовали. На этой станции он бывал раньше и знал, что наверху там помещений нет. Мистер Уилер никогда не рисковал.

II

МИСТЕР ДЖОНСОН ОТКРОВЕННИЧАЕТ В ВЕВЕ

В буфете на станции было тепло и светло; тщательно вытертые столики блестели; на некоторых были скатерти в белую и красную полоску, а на других скатерти в белую

и синюю полоску, и на всех стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках. Стулья были деревянными, резные, с залоснившимися от времени, но удобными сиденьями. На стене висели часы, в глубине была оцинкованная буфетная стойка, а за окном шел снег. За столиком под часами двое носильщиков пили молодое вино.

Вошел третий носильщик и сказал, что Восточно-симплонский экспресс идет из Сен-Мориса с часовым опозданием. К столику мистера Джонсона подошла кельнерша.

— Экспресс на час опаздывает, сэр, — сказала она. — Может быть, выпьете кофе?

— Если вас не затруднит.

— Простите? — переспросила кельнерша.

— Хорошо, дайте мне чашку кофе.

— Пожалуйста, сэр.

Она принесла кофе из кухни, а мистер Джонсон повернулся к окну и стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу.

— Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского? — спросил он кельнершу.

— Как же, сэр! Я говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах.

— Хотите что-нибудь выпить?

— Нет, что вы, сэр. Нам не разрешается пить с посетителями.

— Может быть, сигару?

— Нет, что вы, сэр. — Она рассмеялась. — Я не курю, сэр.

— Я тоже, — сказал Джонсон. — Это дурная привычка.

Кельнерша отошла от стола, а Джонсон закурил сигарету и стал пить кофе. Часы на стене показывали без четверти десять. Его часы немного спешили. Поезд должен был прийти в десять тридцать; час опоздания, — значит, он будет в одиннадцать тридцать. Джонсон подозвал кельнершу.

— Signorina!

— Что вы желаете, сэр?

— Вы бы не согласились поразвлечься со мной? — спросил Джонсон.

Кельнерша покраснела.

— Что вы, сэр!

— Я не думал ничего дурного. Вы не составили бы мне компанию — пойти посмотреть ночное Весе? Если хотите, пригласите подругу.

— Я не могу уйти отсюда,— сказала кельерша.—
Ведь я на службе.

— Я знаю,— сказал Джонсон.— Но, может быть, вы
кого-нибудь поставите за себя? Во время Гражданской
войны это часто делалось даже мобилизованными.

— Нет, нет, сэр. Я сама должна быть здесь.

— Где вы изучили английский язык?

— На курсах Берлица, сэр.

— Расскажите мне о них,— сказал Джонсон.— Там,
должно быть, учились большие шалопаи? Приставали,
наверно, с нежностями? Много среди них было франтов?
Не приходилось ли вам встречать Скотта Фицджеральда?

— Простите?

— Я хотел бы знать, считаете ли вы студенческие го-
ды лучшими в вашей жизни? А какую команду выстави-
ли курсы Берлица прошлой осенью?

— Вы шутите, сэр?

— Чуть-чуть,— сказал Джонсон.— Вы славная девуш-
ка. Так не хотите со мной поразвлечься?

— Нет, нет, сэр. Что-нибудь вам еще подать, сэр?

— Да,— сказал Джонсон.— Принесите мне, пожалуйста,
ста, карту вин.

— Сию минуту, сэр.

С карточкой в руке Джонсон направился к столу, за
которым сидели носильщики. Они оглянулись на него.
Все трое были пожилые люди.

— Wollen sie trinken? ¹ — спросил он. Один из них
кивнул головой и улынулся.

— Oui, monsieur ².

— Вы говорите по-французски?

— Oui, monsieur.

— Что же мы будем пить? Connais vous des cham-
pagnes? ³

— Non, monsieur ⁴.

— Faut les connaître ⁵,— заметил Джонсон.— Fräulein!
— окликнул он кельершу.— Мы будем пить шам-
панское.

— Какое вам угодно, сэр?

¹ Хотите выпить? (нем.)

² Да, сударь (фр.).

³ Знаете ли вы марки шампанского? (искаж. фр.)

⁴ Нет, сударь (фр.).

⁵ Надо знать (фр.).

— Самое лучшее,— сказал Джонсон.— Какое тут самое лучшее? — обратился он к носильщикам.

— *Le meilleur?*¹ — спросил тот, который заговорил первым.

— Непременно.

Носильщик вытащил из кармана золотые очки и стал смотреть карту. Он провел пальцем по четырем напечатанным на машинке строчкам с названиями и ценами.

— «Sportsman», — сказал он.— «Sportsman» — самое лучшее.

— Согласны, господа? — спросил Джонсон других носильщиков. Один из них кивнул в ответ. Другой сказал по-французски:

— Самому мне не приходилось пробовать, но я много слышал про него. Вино хорошее.

— Бутылку «Sportsman», — сказал Джонсон кельнерше. Он посмотрел цену: одиннадцать швейцарских франков.— Ну, давайте две бутылки. Ничего, если я посижу тут с вами? — спросил он носильщика, предложившего «Sportsman».

— Пожалуйста. Присаживайтесь вот здесь.— Носильщик улыбнулся ему. Затем он снял свои очки и спрятал их в футляр.— Что, *monsieur* сегодня празднует день рождения?

— Нет,— сказал Джонсон.— Праздновать мне, собственно, нечего. Моя жена потребовала развода.

— Что вы? — сказал носильщик.— Не может быть.— Другой носильщик покачал головой. Третий, по-видимому, был туг на ухо.

— Дело, конечно, обычное,— сказал Джонсон.— Вроде первого посещения зубного врача или первого нездоровья у девушки, но меня это выбило из колеи.

— Да оно и понятно,— сказал старший из носильщиков.— Я вас понимаю.

— Из вас, господа, никому не приходилось разводиться? — спросил Джонсон. Он уже перестал умышленно коверкать слова и говорил теперь на хорошем французском языке.

— Нет,— сказал носильщик, назвавший «Sportsman».— Здесь разводы бывают редко. Попадают, конечно, разведенные мужья, но их немного.

¹ Лучшее? (*фр.*)

— У нас иначе,— сказал Джонсон.— Почти все разводятся.

— Это верно,— подтвердил носильщик.— Я читал об этом в газетах.

— Я сам немножко запоздал,— продолжал Джонсон,— развожусь только первый раз. А мне тридцать пять.

— Mais vous êtes encore jeune ¹,— сказал носильщик.— Monsieur n'a que trente cinq ans ²,— пояснил он двум другим. Те закивали в ответ.

— Он совсем молодой,— сказал один из них.

— И вы в самом деле разводитесь в первый раз? — спросил носильщик.

— В самом деле,— сказал Джонсон.— Откройте, пожалуйста, бутылку, mademoiselle.

— А дорого стоит развестись?

— Десять тысяч франков.

— Швейцарских?

— Нет, французских.

— Ага. Значит, на швейцарские деньги две тысячи. Все-таки не дешево.

— Да.

— Зачем же это делать?

— Потому что этого требуют.

— А для чего требуют?

— Чтобы выйти замуж за кого-нибудь другого.

— Да ведь это же глупо.

— Вполне согласен,— сказал Джонсон.

Кельнерша налила всем четверым вина. Они подняли стаканы.

— Prosit! — сказал Джонсон.

— A votre santé, monsieur ³,— сказал носильщик. Двое других прибавили: — Salut.

Шампанское было на вкус точно сладкая фруктовая водица.

— Это что, швейцарский обычай — отвечать всегда на другом языке? — спросил Джонсон.

— Нет,— сказал носильщик.— По-французски выходит вежливее. Кроме того, ведь здесь французская Швейцария.

— Но вы говорите по-немецки.

¹ Да вы еще молоды (фр.).

² Господину всего тридцать пять лет (фр.).

³ Ваше здоровье, сударь (фр.).

- Да, в моей деревне говорят по-немецки.
- Понимаю,— сказал Джонсон.— Так вы, значит, никогда не разводились?
- Нет. Это слишком дорого. И потом, я никогда не был женат.
- Вот как! — сказал Джонсон.— А эти господа?
- Они женаты.
- Вы довольны, что женаты? — спросил Джонсон второго носильщика.
- Как вы сказали?
- Вам нравится быть женатым?
- Oui. C'est normal ¹.
- Именно,— сказал Джонсон.— Et vous, monsieur? ²
- Ça va ³,— сказал третий носильщик.
- Pour moi,— сказал Джонсон,— ça ne va pas ⁴.
- Monsieur собирается развестись,— объяснил первый носильщик.
- О,— сказал второй носильщик.
- Ага,— сказал третий.
- Ну,— сказал Джонсон,— тема, по-видимому, исчерпана. Вам неинтересно слушать о моих огорчениях,— обратился он к первому носильщику.
- Нет, почему же,— возразил носильщик.
- Давайте говорить о чем-нибудь другом.
- Пожалуйста.
- О чем же нам поговорить?
- Вы занимаетесь спортом?
- Нет,— сказал Джонсон.— Вот жена моя спортсменка.
- А вы как развлекаетесь?
- Я — писатель.
- Это хорошо оплачивается?
- Нет. Но потом, когда приобретешь известность,— да.
- Интересно.
- Нет,— сказал Джонсон,— совсем неинтересно. Очень сожалею, господа, но я должен проститься с вами. Прошу вас распить и вторую бутылку.
- Да ведь поезд придет не раньше чем через три четверти часа.

¹ Да. Это в порядке вещей (фр.).

² А у вас как, сударь? (фр.)

³ Все благополучно (фр.).

⁴ А у меня неблагополучно (фр.).

— Я знаю,— сказал Джонсон.

Подошла кельнерша, и он уплатил за вино и за свой обед.

— Вы уходите, сэр? — спросила она.

— Да,— сказал Джонсон.— Хочу немного пройтись. Чемоданы я оставлю здесь.

Он надел кашне, пальто и шляпу. На платформе густыми хлопьями валил снег. Он оглянулся назад и в окно увидел трех носильщиков, которые все еще сидели у стола. Кельнерша выливала им в стаканы остатки вина из начатой бутылки. Неоткупоренную бутылку она унесла обратно. На этом они заработают по три с лишним франка на душу, подумал Джонсон. Он повернулся и пошел вдоль платформы. Когда он сидел в буфете, ему казалось, что боль притупится, если он будет говорить об этом; но она не притупилась; только на душе у него стало скверно.

III

СЫН ЧЛЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ТЕРРИТЭ

В буфете на станции Территэ было слишком тепло; буфет был ярко освещен, и чистенькие столики отполированы до блеска. На столиках стояли корзинки с соленым печеньем в бумажных пакетиках и лежали картонные подставки для пивных кружек, чтобы мокрые доньшки не оставляли следов на дереве. Стулья были деревянные, резные, с залоснившимися от времени, но очень удобными сиденьями. На стене висели часы, в глубине комнаты была буфетная стойка, а за окном шел снег. За столиком под часами какой-то старик пил кофе и читал вечернюю газету. Вошел носильщик и сказал, что Восточно-симплонский экспресс идет из Сен-Мориса с часовым опозданием. К столу мистера Гарриса подошла кельнерша. Мистер Гаррис только что кончил обедать.

— Экспресс на час опаздывает, сэр. Может быть, выпьете кофе?

— Если вам угодно.

— Простите? — переспросила кельнерша.

— Да, будьте добры,— сказал мистер Гаррис.

— Пожалуйста, сэр,— сказала кельнерша.

Она принесла из кухни кофе. Мистер Гаррис положил сахар в чашку, раздавил его ложечкой и, повернувшись

к окну, стал смотреть, как падает снег на освещенную платформу.

— Вы говорите еще на каких-нибудь языках, кроме английского? — спросил он кельнершу.

— Как же, сэр! Я говорю по-немецки, по-французски и на местных диалектах.

— Какой язык вам больше всех нравится?

— Они очень похожи, сэр. Я не могу сказать, что тот или другой мне нравится больше.

— Хотите что-нибудь выпить — вина или чашку кофе?

— Нет, что вы, сэр! Нам не разрешается пить с посетителями.

— Может быть, сигару?

— Нет, что вы, сэр! — Она засмеялась. — Я не курю, сэр.

— Я тоже, — сказал Гаррис. — Я не согласен с Дэвидом Беласко.

— Простите?

— Беласко. Дэвид Беласко. Его легко узнать, потому что воротнички на нем всегда задом наперед. Но я не согласен с ним. К тому же он умер.

— Я могу идти, сэр? — сказала кельнерша.

— Безусловно, — сказал Гаррис. Он наклонился вперед и стал смотреть в окно.

Старик, сидевший за дальним столиком, сложил свою газету. Он поглядел на мистера Гарриса, потом взял свою чашку с кофе и направился к его столу.

— Прошу извинить за навязчивость, — сказал он по-английски, — но мне пришлось в голову — не состоите ли вы членом Национального географического общества?

— Присаживайтесь, пожалуйста, — сказал Гаррис.

Старик сел за столик.

— Может быть, выпьете еще чашку кофе или ликеру?

— Нет, благодарю вас, — ответил старый джентльмен.

— Тогда разрешите угостить вас рюмкой кирша?

— Пожалуй. Но только уж разрешите мне вас угостить.

— Нет, позвольте мне. — Гаррис подозвал кельнершу.

Старый джентльмен вынул из внутреннего кармана кожаный бумажник, перетянутый широкой резинкой. Сняв резинку, он вытащил несколько карточек, выбрал из них одну и протянул ее Гаррису.

— Вот моя членская карточка,— сказал он.— Вы знали в Америке мистера Фредерика Дж. Русселя?

— Как будто нет.

— Я полагал, что он очень известное лицо.

— А откуда он? Из какого города?

— Из Вашингтона, конечно. Разве не там находится главный совет Общества?

— Кажется, там.

— Кажется? Вы не уверены в этом?

— Я давно уже не был в Штатах,— сказал Гаррис.

— Так, значит, вы не член Общества?

— Нет. Но мой отец состоит в нем много лет.

— Тогда он, наверно, знает Фредерика Дж. Русселя. Это один из руководителей Общества. Позволю себе упомянуть, что именно мистер Руссель рекомендовал меня.

— Очень приятно слышать.

— Как жаль, что вы не член Общества! Но ваш отец мог бы дать вам рекомендацию.

— Наверно,— сказал Гаррис.— Как только я вернусь, нужно будет заняться этим.

— Очень, очень вам советую,— сказал старик.— Журнал вы, конечно, читаете?

— Безусловно.

— Видали вы номер, посвященный североамериканской фауне, с иллюстрациями в красках?

— Да. Он у меня есть, в Париже.

— А номер с панорамой вулканов Аляски?

— Совершенно изумительно.

— Я с большим удовольствием смотрел там фотографии диких животных, сделанные Джорджем Шайресом-третьим.

— Да. Шикарные зверюги.

— Простите, как вы сказали?

— Превосходные фотографии. Этот миляга Шайрес...

— Вы зовете его «миляга»?

— Мы с ним старые друзья.

— Ах, вот как! Вы знакомы с Джорджем Шайресом-третьим? Вероятно, очень интересный человек?

— Еще бы! Таких интересных людей не часто приходится встречать.

— А Джорджа Шайреса-второго вы тоже знаете? Что, он такой же интересный человек?

— Нет, он не такой интересный.

— А я думал, что он, наверно, очень интересный.

— Представьте — нет. Знаете, даже странно. Он совсем не такой интересный. Я часто удивлялся, почему это так.

— Гм,— сказал старый джентльмен,— казалось бы, в этой семье все должны быть интересными людьми.

— А вы помните панораму пустыни Сахары? — спросил Гаррис.

— Пустыни Сахары? Да это было лет пятнадцать тому назад.

— Совершенно верно. Она особенно нравилась моему отцу.

— Разве более поздние номера ему меньше нравятся?

— Нет, наверно, не меньше. Но эту панораму Сахары он очень любил.

— Она была прекрасно выполнена. Но я нахожу, что ее художественные достоинства значительно превышали ее научную ценность.

— Вот не знаю,— сказал Гаррис.— Этот песчаный вихрь, и этот араб со своим верблюдом, на коленях, лицом к Мекке...

— Мне помнится, араб там стоял, держа верблюда под уздцы...

— Ах, вы правы,— сказал Гаррис.— Я спутал с книгой полковника Лоуренса.

— Книга Лоуренса посвящена как будто Аравии?

— Безусловно,— сказал Гаррис.— Араб мне напомнил о ней.

— Полковник, должно быть, очень интересный человек.

— Несомненно.

— Что он сейчас делает, вы не слышали?

— Он поступил в Королевский воздушный флот.

— Зачем он это сделал?

— Захотелось.

— Вы не знаете, он состоит в Национальном географическом обществе?

— Вот этого не могу вам сказать.

— Он был бы очень полезным членом Общества. Как раз такие люди там нужны. Я с радостью рекомендовал бы его, если вы думаете, что его кандидатура встретит одобрение.

— О, я уверен в этом.

— Я рекомендовал одного ученого из Веве и одного своего лозаннского коллегу, и оба были избраны. Я ду-

маю, это встретит одобрение, если я рекомендую полковника Лоуренса.

— Превосходная мысль,— сказал Гаррис.— Часто вы бываете здесь, в станционном буфете?

— Я прихожу сюда пить кофе после обеда.

— Вы преподаете в университете?

— Я уже отошел от практической деятельности.

— А я жду поезда,— сказал Гаррис.— Еду сейчас в Париж, а потом через Гавр в Штаты.

— Я ни разу не был в Америке. Но мне бы очень хотелось туда попасть. Может быть, еще придется побывать на заседании Общества. Буду очень рад познакомиться с вашим отцом.

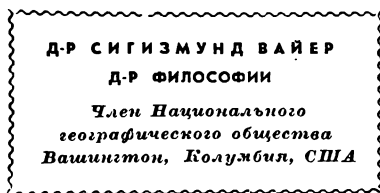
— Он, наверно, был бы в восторге от этого знакомства, но он умер в прошлом году. Застрелился, представьте себе.

— Весьма прискорбно слышать. Не сомневаюсь, что это была тяжелая утрата — как для семьи, так и для научного мира.

— Научный мир стойко перенес эту потерю. Вот моя карточка,— сказал Гаррис.— Мои инициалы Э. Д., а его были Э. Дж. Я уверен, что он был бы в восторге от знакомства с вами.

— Это и для меня было бы чрезвычайно приятно.

Старый джентльмен достал из бумажника карточку и подал ее Гаррису. На карточке стояло:



— Я буду очень бережно хранить ее,— сказал Гаррис.

ОЖИДАНИЕ

Мы еще лежали в постели, когда он вошел в комнату затворить окна, и я сразу увидел, что ему нездоровится. Его трясло, лицо у него было бледное, и шел он медленно, как будто каждое движение причиняло ему боль.

— Что с тобой, Малыш?

— У меня голова болит.

— Поди ляг в постель.

— Нет, я здоров.

— Ляг в постель. Я оденусь и приду к тебе.

Но когда я сошел вниз, мой девятилетний мальчуган, уже одевшись, сидел у камина — совсем больной и жалкий. Я приложил ладонь ему ко лбу и почувствовал, что у него жар.

— Ложись в постель,— сказал я,— ты болен.

— Я здоров,— сказал он.

Пришел доктор и смерил мальчику температуру.

— Сколько? — спросил я.

— Сто два.

Внизу доктор дал мне три разных лекарства в облатках разных цветов и сказал, как принимать их. Одно было жаропонижающее, другое слабительное, третье против кислот. Бациллы инфлюэнцы могут существовать только в кислой среде, пояснил доктор. По-видимому, в его практике инфлюэнца была делом самым обычным, и он скавал, что беспокоиться нечего, лишь бы температура не поднялась выше ста четырех. Эпидемия сейчас не сильная, ничего серьезного нет, надо только уберечь мальчика от воспаления легких.

Вернувшись в детскую, я записал температуру и часы, когда какую облатку принимать,

— Почитать тебе?

— Хорошо. Если хочешь,— сказал мальчик. Лицо у него было очень бледное, под глазами темные круги. Он лежал неподвижно и был безучастен ко всему, что делалось вокруг него.

Я начал читать «Рассказы о пиратах» Хауарда Пайла, но видел, что он не слушает меня.

— Как ты себя чувствуешь, Малыш? — спросил я.

— Пока все так же,— сказал он.

Я сел в ногах кровати и стал читать про себя, дожидаясь, когда надо будет дать второе лекарство. Я думал, что он уснет, но, подняв глаза от книги, поймал его взгляд — какой-то странный взгляд, устремленный на спинку кровати.

— Почему ты не попробуешь заснуть? Я разбужу тебя, когда надо будет принять лекарство.

— Нет, я лучше так полежу.

Через несколько минут он сказал мне:

— Папа, если тебе неприятно, ты лучше уйди.

— Откуда ты взял, что мне неприятно?

— Ну, если потом будет неприятно, так ты уйди отсюда.

Я решил, что у него начинается легкий бред, и, дав ему в одиннадцать часов лекарство, вышел из комнаты.

День стоял ясный, холодный; мокрый снег, выпавший накануне, успел подмерзнуть за ночь, и теперь голые деревья, кусты, валежник, трава и плеши голой земли были подернуты ледяной корочкой, точно тонким слоем лака. Я взял с собой молодого ирландского сеттера и пошел прогуляться по дороге и вдоль замерзшей речки, но на гладкой, как стекло, земле не то что ходить, а и стоять было трудно; мой рыжий пес скользил, лапы у него разъезжались, и я сам растянулся два раза, да еще уронил ружье, и оно отлетело по льду в сторону.

Из-под высокого глинистого берега с нависшими над речкой кустами мы спугнули стаю куропаток, и я подстрелил двух в ту минуту, когда они скрывались из виду за береговым откосом. Часть стаи опустилась на деревья, но большинство куропаток попряталось, и, для того чтобы снова поднять их, мне пришлось несколько раз подпрыгнуть на кучах обледевшего валежника. Стоя на скользких, пружинивших сучьях, стрелять по взлетающим куропаткам было трудно, и я убил двух, по пятерым промазал и отправился в обратный путь, довольный, что

набрел на стаю около самого дома, радуясь, что куропаток хватит и на следующую охоту.

Дома мне сказали, что мальчик никому не позволяет входить в детскую.

— Не входите,— говорил он.— Я не хочу, чтобы вы заразились.

Я вошел к нему и увидел, что он лежит все в том же положении, такой же бледный, только скулы порозовели от жара, и по-прежнему не отрываясь молча смотрит на спинку кровати.

Я смерил ему температуру.

— Сколько?

— Около ста градусов,— ответил я. Термометр показывал сто два и четыре десятых.

— Раньше было сто два? — спросил он.

— Кто это тебе сказал?

— Доктор.

— Температура у тебя не высокая,— сказал я.— Беспокоиться нечего.

— Я не беспокоюсь,— сказал он,— только не могу перестать думать.

— А ты не думай,— сказал я.— Не надо волноваться.

— Я не волнуюсь,— сказал он, глядя прямо перед собой. Видно было, что он напрягает все силы, чтобы сосредоточиться на какой-то мысли.

— Прими лекарство и запей водой.

— Ты думаешь, это поможет?

— Конечно, поможет.

Я сел около кровати, открыл книгу про пиратов и начал читать, но увидел, что он не слушает меня, и остановился.

— Как по-твоему, через сколько часов я умру? — спросил он.

— Что?

— Сколько мне еще осталось жить?

— Ты не умрешь. Что за глупости!

— Нет, я умру. Я слышал, как он сказал — сто два градуса.

— Никто не умирает от температуры в сто два градуса. Что ты выдумываешь?

— Нет, умирают, я знаю. Во Франции мальчики в школе говорили, когда температура сорок четыре градуса, человек умирает. А у меня сто два.

Он ждал смерти весь день; ждал ее с девяти часов утра.

— Бедный Малыш,— сказал я.— Бедный мой Малыш. Это все равно как мили и километры. Ты не умрешь. Это просто другой термометр. На том термометре нормальная температура тридцать семь градусов. На этом девяносто восемь.

— Ты это наверное знаешь?

— Ну конечно,— сказал я.— Это все равно как мили и километры. Помнишь? Если машина прошла семьдесят миль, сколько это километров?

— А,— сказал он.

Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спало не сразу, зато на следующий день он совсем раскис и то и дело принимался плакать из-за всякого пустяка.

ВИНО ВАЙОМИНГА

Был жаркий полдень в Вайоминге; вдали виднелись горы и снег на вершинах, но они не отбрасывали тени, и в долине желтели пшеничные поля, на дороге стояла пыль от проезжающих машин, и все деревянные домики по окраине города пеклись на солнце. Я сидел за столиком на заднем крылечке у Фонтэнов, в тени высокого дерева, и мадам Фонтэн принесла из погреба холодного пива. Автомобиль, ехавший по шоссе, свернул на проселок и остановился перед домом. Двое мужчин вылезли из машины и прошли в калитку. Я спрятал бутылки под стол. Мадам Фонтэн встала.

— Где Сэм? — подойдя к затянутой сеткой двери, спросил один из мужчин.

— Его нет дома. Он на работе, в шахте.

— Пиво есть?

— Нет. Пива больше нет. Вот последняя бутылка. Все вышло.

— А он что пьет?

— Это последняя бутылка. Все вышло.

— Бросьте, дайте нам пива. Вы ж меня знаете.

— Пива больше нету. Последняя бутылка. Все вышло.

— Поедем дальше, достанем где-нибудь и получше здешнего, — сказал другой, и они пошли к машине. Один из них пошатывался. Машина дернула, сделала крутой поворот, вынеслась на шоссе и скрылась из глаз.

— Поставьте пиво на стол, — сказала мадам Фонтэн. — Чего вы испугались? Зачем вы это? Нехорошо пить пиво, когда бутылка на полу.

— Я не знал, кто они такие, — сказал я.

— Пьяные, — сказала она. — В этом-то вся беда. Купят где-нибудь, а потом скажут, что здесь брали. Может быть,

они правда не помнят.— Она говорила иногда по-французски, но чаще по-английски попеременно с французскими словами.

— Где Фонтэн?

— Возится с вином. Mon Dieu, он обожает вино.

— Но вы любите пиво?

— Oui! Я люблю пиво, но Фонтэн обожает вино.

Мадам Фонтэн, уроженка города Ланса, была довольно полная старушка с приятным румяным лицом, вся седая, очень чистенькая и аккуратная; в доме ее тоже все блистало чистотой и опрятностью.

— Где вы обедали?

— В отеле.

— Кушайте у нас. Нехорошо manger¹ в отеле или ресторане. Кушайте здесь.

— Мне не хочется затруднять вас. И в отеле кормят неплохо.

— Я никогда не обедаю в отеле. Может быть, там и неплохо кормят. За всю свою жизнь я только один раз обедала в Америке в ресторане. И знаете, что мне подали? Сырую свинину!

— Да что вы?

— Правда, правда. Свинину, педожаренную! А мой сын жепат на américaine и ест только консервы из бобов.

— А они давно женаты?

— Oh, mon Dieu, я даже не знаю. Его жена весит двести двадцать пять фунтов. Она не работает. Она не стряпает, она кормит его консервами из бобов.

— Что же она делает?

— Читает. Только и делает, что читает книги. Целый день валяется в постели и читает. И детей она больше иметь не может. Слишком толста. Для ребенка места нет.

— Что же это она?

— Целый день читает. Он хороший garçon. Много работает. Раньше он был шахтером, теперь работает на ранчо. Он никогда не работал на ранчо, но хозяин сказал Фонтэну, что у него еще не было такого хорошего работника. А когда он приходит домой после работы, она его не кормит.

— Почему же он не разведется с ней?

— У него нет денег на развод. И он обожает ее.

— Она красивая?

¹ Кушать (фр.).

— Ему кажется, что красивая. Когда он привел ее, я чуть не умерла от горя. Он такой хороший *garçon* и всегда так много работает, не шатается зря и такой смирный. И вдруг поехал на нефтеразработки и привез эту *Indienne*, а весила она уже тогда ровно сто восемьдесят пять фунтов.

— Она индианка?

— Ну да, *mon Dieu*. Она всегда, *tout le temps*, говорит: сукин сын, черт побери. И не работает.

— Где она сейчас?

— В театре.

— В театре?

— В кинотеатре. Только и делает, что читает да в кино ходит.

— У вас есть еще пиво?

— *Mon Dieu, oui*. Конечно, есть. Приходите вечером, пообедайте с нами.

— Хорошо. А что принести с собой?

— Ничего не надо. Ничего не приносите. Может быть, у Фонтэна вино уже будет готово.

Вечером я обедал у Фонтэнов. Мы ели в столовой, и стол был покрыт чистой скатертью. Мы пробовали молодое вино. Оно было очень легкое, светлое и приятное, и в нем еще чувствовался вкус винограда. За столом, кроме меня, сидели хозяйин, хозяйка и их младший сын Андре.

— Что вы сегодня делали? — спросил Фонтэн, сухонький старичок, изможденный работой на рудниках, с обвислыми седыми усами и ясным взором; родом он был из Саутра, близ Сент-Этьена.

— Работал над книгой.

— И все сошлось по вашим книгам? — спросила мадам Фонтэн.

— Он говорит про книгу, которую сам пишет. Он писатель, — объяснил Фонтэн.

— Папа, можно мне в кино? — спросил Андре.

— Можно, — сказал Фонтэн.

Андре повернулся ко мне.

— Как вы думаете, сколько мне лет? Можно поверить, что четырнадцать? — Он был худ и мал ростом, но по лицу видно было, что ему уже шестнадцать.

— Да. Можно поверить, что четырнадцать.

— Когда я хожу в кино, я весь съеживаюсь, чтобы казаться помешаннее. — Голос у него был очень звонкий,

ломающийся.— Если я плачу двадцать пять центов, мне сдачи не дают, но если плачу только пятнадцать, меня тоже пускают.

— Тогда я дам тебе только пятнадцать центов,— сказал Фонтэн.

— Нет. Дай мне все двадцать пять. Я разменяю по дороге.

— Только возвращайся домой *tout de suite*¹ после кино,— сказала мадам Фонтэн.

— Хорошо, я сейчас же вернусь.— Андре вышел из комнаты. Вечер становился прохладным. Он оставил дверь открытой, и снаружи потянуло холодком.

— Mangez! — сказала мадам Фонтэн.— Вы совсем ничего не кушаете.

Я уже съел две порции курятины с жареным картофелем, три порции кукурузы, несколько огурцов и две порции салата.

— Может быть, он хочет кекса,— сказал Фонтэн.

— Надо было мне взять кекса для него,— сказала мадам Фонтэн.— Кушайте сыр. Это хороший, из сливок. Вы совсем ничего не кушаете. Надо было взять кексу. *Américains* всегда едят кекс.

— Но я наелся до отвала.

— Кушайте! Вы ничего не ели. Съешьте все. Мы никогда ничего не оставляем на завтра. Кушайте еще.

— Возьмите еще салату,— сказал Фонтэн.

— Я принесу еще пива,— сказала мадам Фонтэн.— Вы, наверно, проголодались за целый день на своей книжной фабрике.

— Она не понимает, что вы писатель,— сказал Фонтэн. Старик был деликатен в обращении, но хорошо помнил армейский жаргон и солдатские песенки, бывшие в ходу к концу девяностых годов, когда он отбывал воинскую повинность.— Он сам пишет книги,— объяснил он жене.

— Вы сами пишете книги? — спросила мадам Фонтэн.

— Случается.

— О! — воскликнула она.— О! Вы сами их пишете. О! Тогда вы, конечно, проголодались. Mangez! Я сейчас принесу *de la bière*.

Мы слышали, как она по лестнице спустилась в погреб. Фонтэн улыбнулся мне. Он очень снисходительно

¹ Сейчас же (*фр.*).

относился к людям, которые не обладали его опытом и знанием жизни.

Когда Андре вернулся из кино, мы втроем сидели на кухне и беседовали об охоте.

— В День труда мы все поехали к Чистому ручью,— сказала мадам Фонтэн.— Oh, mon Dieu, как жаль, что вас с нами не было. Мы все поехали на грузовике. Tout le monde est allé на грузовике. Это было в воскресенье. На грузовике Чарли.

— Мы ели, пили вино, пиво, а один француз, который тоже поехал с нами, привез абсенту,— сказал Фонтэн.— Француз из Калифорнии!

— Mon Dieu, как мы пели! Один фермер вышел посмотреть на нас, мы дали ему выпить, и он немного побыл с нами. А потом подошли Italiens, и они тоже хотели остаться. Мы спели смешную песенку про итальянцев, но они ничего не поняли. Они не понимали, что они нам мешают, а мы не стали с ними разговаривать, и они скоро ушли.

— А рыбы много наловили?

— Очень мало. Мы пошли удить рыбу, но ненадолго, а потом вернулись и опять принялись пить. Мы пели, понимаете,— сказал Фонтэн.

— А ночью,— сказала мадам Фонтэн,— все женщины спали в грузовике. Мужчины легли у костра. Среди ночи, слышу, подходит Фонтэн и хочет взять еще вина, а я говорю ему: mon Dieu, Фонтэн, оставь что-нибудь на завтра. Завтра нечего будет пить, и все будут огорчены.

— Но мы все выпили,— сказал Фонтэн.— И на завтра ничего не осталось.

— Что же вы делали?

— Рыбу ловили. По-настоящему ловили.

— Верно. Отличной форели наловили. Mon Dieu, oui. Все одинаковые, полфунта и одна унция.

— Крупные?

— Полфунта и одна унция. Порционные. Все одинаковые, полфунта и одна унция.

— Вы любите Америку? — спросил меня Фонтэн.

— Видите ли, это моя родина. И я люблю ее, потому что это моя родина. Но едят в Америке неважно. Когда-то ели хорошо, а теперь нет.

— Oui,— сказала мадам Фонтэн.— Едят неважно.— Она покачала головой.— А потом здесь слишком много поляков. Когда я была маленькой, ma mère говорила мне:

ты ешь, как les Polacks. Я не понимала, что это значит — Polacks. Тогда не понимала, а здесь, en Amérique, я поняла. Слишком много поляков. Et, mon Dieu, они грязные, les Polacks.

— В Америке прекрасная охота и рыбная ловля,— сказал я.

— Да. Это лучше всего. Охота и рыбная ловля,— сказал Фонтэн.— Какое у вас ружье?

— Духовое, двенадцатикалиберное.

— Это хорошо.— Фонтэн кивнул головой.

— Я тоже хочу на охоту,— сказал Андре звонким мальчишеским голосом.

— Тебе нельзя,— сказал Фонтэн. Он повернулся ко мне.— Они просто дикари, эти юнцы. Они рады застрелить друг друга.

— Я буду охотиться один! — с азартом крикнул Андре.— Совсем один.

— Тебе нельзя на охоту,— сказала мадам Фонтэн.— Ты еще маленький.

— Я буду охотиться один! — еще пронзительнее крикнул Андре.— Я хочу стрелять мускусных крыс.

— Что это такое — мускусные крысы? — спросил я.

— Вы никогда не видели их? Наверно, видели. Их еще называют ондатрами.

Андре обеими руками сжимал двадцатидвухкалиберное ружье, которое он достал из шкафа.

— Они дикари,— сказал Фонтэн.— Они рады застрелить друг друга.

— Я буду охотиться один,— упрямо повторил Андре. Он прицелился из ружья.— Я хочу стрелять мускусных крыс. Я знаю, где их много.

— Дай сюда ружье,— сказал Фонтэн. Он опять повторил, обращаясь ко мне: — Это дикари. Они готовы застрелить друг друга.

Андре крепко сжимал ружье.

— Я только целюсь. Что же тут такого? Я только целюсь.

— Он обожает охоту,— сказала мадам Фонтэн.— Но он еще маленький.

Андре спрятал двадцатидвухкалиберное ружье обратно в шкаф.

— Когда я вырасту, я буду стрелять зайцев и мускусных крыс,— сказал он.— Один раз я ходил с папой на охоту, и он только подстрелил зайца, а убил его я.

— Верно.— Фонтэн кивнул.— Он убил зайца.

— Но папа сначала подстрелил его,— сказал Андре.— А я хочу охотиться один и стрелять один. На будущий год мне уже можно будет.— Он уселся в угол и раскрыл книгу. Я заглянул в нее, когда мы после обеда перешли из столовой в кухню. Книга была библиотечная: «Фрэнк на борту канонерки».

— Он любит книжки,— сказала мадам Фонтэн.— Но это лучше, чем шататься по почам с другими *garçons* и воровать.

— Книжки — это хорошо,— сказал Фонтэн.— *Monsieur* сам пишет книги.

— *Oui, c'est vrai*. Конечно. Но слишком много книг — нехорошо,— сказала мадам Фонтэн.— *En Amérique* книги — это болезнь. Как и церкви. Здесь слишком много церквей. Во Франции только *les catholiques et les protestants*, и очень мало *protestants*. Но здесь много, много разных церквей. Когда я приехала сюда, я все говорила: *oh, mon Dieu*, на что столько церквей?

— Верно,— сказал Фонтэн,— слишком много церквей.

— Недавно,— сказала мадам Фонтэн,— к нам приехала одна девочка, французенка, со своей матерью, родственницей Фонтэна, и она говорит мне: «*En Amérique* не надо быть *catholique*. Нехорошо быть *catholique*. *Américains* не любят, когда кто-нибудь *catholique*. Это как сухой закон». А я говорю ей: «Кем же ты хочешь быть, а? Раз уж ты *catholique*, то лучше уж и оставаться *catholique*». А она говорит: «Нет, нехорошо быть *catholique* в Америке». А я думаю, что если кто *catholique*, то лучше уж оставаться *catholique*. Нехорошо менять свою веру.

— Вы ходите в церковь?

— Нет. В Америке я не хожу в церковь, только иногда, очень редко. Но я все-таки остаюсь *catholique*. Нехорошо менять свою веру. *Mon Dieu, non*.

— Говорят, что Смит католик,— сказал Фонтэн.

— Так говорят, но кто его знает? — сказала мадам Фонтэн.— Вряд ли Смит *catholique*. В Америке очень мало *catholiques*.

— Мы католики,— сказал я.

— *Oui*, но вы живете во Франции,— сказала мадам Фонтэн.— Вряд ли Смит *catholique*. Он жил когда-нибудь во Франции?

— Поляки — католики,— сказал Фонтэн.

— C'est vrai,— сказала мадам Фонтэн.— Они идут в церковь, потом всю дорогу домой лезут друг на друга с ножами и весь воскресный день режут друг друга. Но они не настоящие catholiques. Они Polacks catholiques.

— Все католики одинаковые,— сказал Фонтэн.— Католики все похожи друг на друга.

— Я не верю, что Смит catholique,— сказала мадам Фонтэн.— Это ужасно смешно, если он catholique. Я не верю.

— Он правда католик,— сказал я.

— Смит — catholique,— задумчиво повторила мадам Фонтэн.— Никогда бы не поверила. Mon Dieu, il est catholique.

— Припеси еще пива, Мари,— сказал Фонтэн.— Monsieur хочет пить, и я тоже.

— Oui, сейчас,— отозвалась мадам Фонтэн из соседней комнаты. Она спустилась в погреб, и мы слышали, как скрипят ступени. Андре сидел в углу и читал. Фонтэн и я сидели за столом, и он налил пива из последней бутылки в наши стаканы, оставив немного на доньшке.

— Хороша в Америке охота,— сказал Фонтэн.— Я очень люблю стрелять уток.

— Во Франции тоже отличная охота,— сказал я.

— Верно,— сказал Фонтэн.— У нас там много дичи.

Мадам Фонтэн вернулась из погреба с бутылками пива в руках.

— Il est catholique,— сказала она.— Mon Dieu, Смит est catholique.

— Вы думаете, он будет президентом? — спросил Фонтэн.

— Нет,— сказал я.

На другой день я поехал к Фонтэнам — сперва в тени городских домов, потом по пыльной дороге, свернул на проселок и остановил машину у калитки. День опять был жаркий. Мадам Фонтэн вышла на заднее крыльцо. Она была точно Бабушка Мороз — чистенькая, румяная, вся седая и походка вперевалочку.

— Bonjour,— сказала она.— Mon Dieu, какая жара.— Она пошла в комнаты за пивом. Я сидел на крылечке и сквозь сетку на двери и листву высокого дерева смотрел на дрожащий от зноя воздух и на далекие горы. Горы были бурые, в глубоких бороздах, а над ними высились

три пика и покрытый снегом ледник, белеющий сквозь деревья. Снег был очень белый, очень чистый и казался попатуральным. Мадам Фонтэн вышла на крыльцо и поставила на стол бутылки.

— На что это вы смотрите?

— На снег.

— Красивый снег.

— Выпейте со мной стаканчик.

— Ну что ж. За красивый снег.

Она села на стул рядом со мной.

— Смит,— сказала она.— Как вы думаете, если он будет президентом, опять разрешат вино и пиво?

— Конечно,— сказал я.— Смит не подкачает.

— Мы уже заплатили семьсот пятьдесят пять долларов штрафа, когда арестовали Фонтэна. Два раза нас арестовывала наша полиция, а один раз федеральная. Все, что мы накопили, пока Фонтэн работал в шахте, а я ходила по стиркам. Все отдали. А Фонтэна посадили в тюрьму. Он в жизни своей мухи не обидел.

— Он хороший человек,— сказал я.— Это просто позор.

— Мы ведь дорого не берем. Вино — доллар за литр. Пиво — десять центов бутылка. Мы никогда не продаем пиво, пока оно не готово. А многие продают пиво сразу, как только сварят, и тогда от него голова болит. Что мы делали плохого? А Фонтэна посадили в тюрьму, и нам пришлось отдать семьсот пятьдесят пять долларов.

— Возмутительно,— сказал я.— А где Фонтэн?

— С вином возится. Теперь ему надо смотреть за ним, чтобы не испортить,— улыбнулась она. Она уже забыла о штрафе.— Вы знаете, он обожает вино. Вчера вечером он принес немножко, вот то, что вы пили, и еще чуточку молодого. Совсем молодого. Оно еще не поспело, но он пробовал его, а сегодня утром подлил в кофе. Понимаете, в кофе! Он обожает вино. Он уж такой. Родина его такая. У нас, на севере, вина не пьют. Все пьют пиво. Мы жили рядом с большой пивоварней. Когда я была маленькая, я не любила запаха хмеля, я отворачивалась от тележек, на которых его привозили. И в полях, где он растет, не любила. Mon Dieu, как я не любила запаха des houblons. Хозяин пивоварни сказал мне и моей сестре, чтобы мы пришли в пивоварню и выпили пива, и тогда мы полюбим запах хмеля. И верно. После этого мы его полюбили. Хозяин велел налить нам пива. Мы выпили и после этого

полюбили запах хмеля. Но Фонтэн, он обожает вино. Один раз он убил зайца и попросил меня сделать к нему соус с вином, черный соус с вином и поджаренными грибами и луком и всякой всячиной. Mon Dieu, я сделала такой соус, а он съел его весь и говорит: «Соус вкуснее зайца». На его родине так едят. Там много дичи и много вина. А я люблю картофель, колбасу и пиво. C'est bon, la bière. C'est très bon для здоровья.

— Да. Пиво — это хорошо, — сказал я. — И вино неплохо.

— Вы как Фонтэн. Но здесь я видела такое, чего никогда в жизни не видала. И вы, наверно, не видели. Были у нас américains, и они подливали виски в пиво!

— Не может быть, — сказал я.

— Oui. Mon Dieu, c'est vrai ¹. И одну женщину вырвало прямо на стол!

— Неужели?

— Правда, правда. Ее вырвало на стол. А потом на ее туфли. А потом они еще приезжали и сказали, что хотят в будущую субботу опять устроить вечеринку, а я сказала, нет, mon Dieu, non. Когда они приехали, я заперла дверь.

— Противно, когда так напиваются.

— Зимой, когда les garçons едут на танцы, они подъезжают в машинах, и ждут у калитки, и говорят Фонтэну: «Эй, Сэм, продай нам бутылку вина», — или они берут пиво и вытаскивают из кармана бутылку виски и подливают в пиво и пьют. Mon Dieu, в жизни моей не видела ничего подобного. Подливать виски в пиво! Уж этого я никак понять не могу.

— Они того и хотят, чтоб их тошнило, тогда они, по крайней мере, чувствуют, что пьяны.

— Как-то раз заходит un garçon, который часто к нам приезжает, и просит меня приготовить им ужин и несколько бутылок вина, и девушки тоже будут, а потом они поедут на танцы. Я сказала — хорошо. Приготовила я им ужин, и они приехали, все уже навеселе. А потом стали подливать виски в пиво. Mon Dieu, oui. Я говорю Фонтэну: их стошнит. Oui, говорит он. Потом девушек стошнило, а девушки были очень милые, славные такие. Их рвало прямо на стол. Фонтэн хотел взять их под руку и показать им, где уборная, там удобнее, когда тошнит,

¹ Да. О господи, это правда (фр.).

по les garçons сказали — не надо, им и здесь хорошо, за столом.

Вернувшийся домой Фонтэн подошел к нам.

— Когда они опять приехали, я заперла дверь. Нет, говорю, и за полтораста долларов не пушу. Mon Dieu, поп.

— По-французски есть слово для людей, которые так себя ведут, — сказал Фонтэн. Его разморило от жары, и он казался очень старым.

— Какое?

— Cochons, — сказал он очень деликатно и как бы стесняясь произнести такое крепкое словцо. — Они вели себя как свиньи. Это очень сильное выражение, — добавил он извиняющимся тоном. — По... прямо на стол. — Он сокрушенно покачал головой.

— Свиньи, — сказал я. — Иначе не назовешь. Просто свиньи. Пакостиники.

Грубые слова были неприятны Фонтэну. Он поспешил ваговорить о другом.

— Бывает, что приезжают и очень славные люди, очень воспитанные, — сказал он. — Например, офицеры с форта. Очень милые, славные люди. Все, кто хоть раз побывал во Франции, приезжают сюда выпить вина. Они любят вино.

— Был один офицер, — сказала мадам Фонтэн, — которого жена никуда не пускала. И вот он говорит ей, что устал, и ложится в постель, а как только она уйдет в кино, он бежит прямо к нам, иногда в одпой пижаме, только пальто накинет. Мари, ради бога, говорит, дайте пива. И сидит у нас в пижаме и пьет пиво, а потом возвращается в форт и опять ложится в постель, прежде чем жена придет из кино.

— Удивительный чудак, — сказал Фонтэн, — но очень славный.

— Mon Dieu, oui, очень славный, — повторила мадам Фонтэн. — Всегда уже в постели, когда жена приходит из кино.

— Я завтра уезжаю, — сказал я. — В индейскую резервацию. Мы хотим поспеть к открытию охоты на тетеревов.

— Да? Но вы еще вернетесь сюда? Вы придется к нам?

— Непременно.

— К тому времени и вино поспеет, — сказал Фонтэн. — Разопьем вместе бутылочку.

- Три бутылочки,— сказала мадам Фонтэн.
- Приеду непременно.
- Так мы вас ждем,— сказал Фонтэн.
- Спокойной ночи,— сказал я.

Из резервации мы вернулись днем. Мы были на ногах с пяти часов утра. Накануне мы отлично поохотились, но в этот день за все утро не видели ни одного тетерева. Ехать в открытой машине было очень жарко, и мы остановились перекусить в тени, под большим деревом на обочине дороги. Солнце стояло высоко, и клочок тени под деревом был очень мал. Мы поели сандвичей и сухого печенья, нам очень хотелось пить, и мы очень устали и были рады, когда наконец выехали на шоссе, ведущее в город. Мы заметили впереди колонню луговых собачек, остановили машину и стали стрелять по ним из пистолета. Двух собачек мы убили, но потом прекратили стрельбу, потому что те пули, которые не попадали в цель, отскакивали от камней и летели в поле, а за полем виднелись деревья на берегу ручья и жилой дом, и мы не хотели нарываться на неприятности из-за шальных пуль, летевших в сторону дома. Мы поехали дальше и наконец очутились на дороге, которая спускалась под гору к окраине города. Вдали, по ту сторону равнины, высились горы. В тот день они были голубые, и снег на вершинах сверкал, точно стекло. Лето подходило к концу, но на вершинах гор еще не было свежеевыпавшего снега,— только старый, подтаявший на солнце снег со льдом, и он ярко сверкал изда-лека.

Нам хотелось посидеть в тени и выпить чего-нибудь холодного. Мы обгорели на солнце, губы у нас потрескались от жары и солончаковой пыли. Мы свернули на проселок к Фонтэнам, остановили машину у калитки и вошли в дом. В столовой было прохладно. Мы застали мадам Фонтэн одну.

— Только две бутылки пива,— сказала она.— Все вышло. А новое еще не готово.

Я дал ей немного дичи.

— Вот это хорошо,— сказала она.— Они вкусные. *C'est bon. Спасибо.*— Она вышла, чтобы убрать тетеревов в прохладное место. Когда мы допили пиво, я встал.

— Нам пора,— сказал я.

— Вы ведь приедете вечером? Фонтэн приготовит вино.

— Мы заедем до отъезда.

— Разве вы уезжаете?

— Да. Мы едем завтра утром.

— Как жаль, что вы уезжаете. Так приходите вечером, Фонтэн приготовит вино. Мы устроим пир перед вашим отъездом.

— Мы заедем до отъезда.

Но в тот день пришлось отправлять телеграммы, проверить машину, — одну камеру пропороло камнем, и се надо было залить, — и я пешком пошел в город и сделал все, что нужно было сделать до отъезда. К вечеру я так устал, что решил остаться дома. Нам не хотелось разговоров на чужом языке. Нам только хотелось пораньше лечь в постель.

Лежа в постели среди вещей, которые служили нам все лето и утром будут упакованы в чемоданы, чувствуя прохладный ветерок с гор, проникающий в открытые окна, я подумал, как нехорошо, что мы не поехали к Фонтэнам, — но тут же уснул. На другой день мы укладывались и заканчивали наше лето, — на это ушло все утро. Мы позавтракали и в два часа были готовы к отъезду.

— Нужно заехать проститься к Фонтэнам, — сказал я.

— Да, нужно.

— Боюсь, они ждали нас вчера.

— Мы все-таки могли бы поехать.

— Жаль, что мы не поехали.

Мы простились с управляющим в конторе отеля, и с Ларри, и другими знакомыми в городе, а потом поехали к Фонтэнам. И хозяин и хозяйка были дома. Они обрадовались нам. Фонтэн казался очень старым и утомленным.

— Мы ждали вас вчера вечером, — сказала мадам Фонтэн. — Фонтэн приготовил три бутылки вина. А когда вы не приехали, он все выпил.

— Мы на одну минутку, — сказал я. — Только заехал проститься. Нам очень хотелось приехать вчера вечером. Мы собирались приехать, но мы очень устали после охоты.

— Пойди принеси вина, — сказал Фонтэн.

— Нет вина. Ты все выпил.

Фонтэн был очень расстроен.

— Я достану, — сказал он. — Подождите две минуты. Я все выпил вчера. Мы его для вас приготовили.

— Я так и думала, что вы устали. Я говорила ему, mon Dieu, они не приедут, они слишком устали,— сказала мадам Фонтэн.— Пойди достань вина, Фонтэн.

— Я отвезу вас в машине,— сказал я.

— Хорошо,— сказал Фонтэн.— Так будет скорее.

Мы сели в машину и, проехав по шоссе с милю, свернули на проселок.

— Вам понравится это вино,— сказал Фонтэн.— Оно удалось мне. Выпьете его вечером за ужином.

Мы остановились перед бревенчатым домом. Фонтэн постучал в дверь. Никто не откликнулся. Мы обошли кругом. Задняя дверь тоже была заперта. Возле двери валялись пустые жестянки. Мы заглянули в окно. Внутри никого не было. В кухне было грязно и неприбрано, но все окна и двери крепко заперты.

— Вот сукина дочь. Где это она шляется? — сказал Фонтэн. Он был в отчаянии.— Я знаю, где достать ключ,— сказал он.— Подождите меня здесь.— Он подошел к соседнему дому, постучал в дверь, поговорил с женщиной, которая вышла на порог, и наконец вернулся. В руках у него был ключ. Мы попытались открыть им входную дверь, потом заднюю, но ничего не выходило.

— Вот сукина дочь,— сказал Фонтэн,— шляется где-то.

В окно мне было видно, где хранилось вино. Подойдя вплотную к окну, я почувствовал запах, который стоял внутри дома. Запах был приторный и тошнотворный, как в индейской хижине. Вдруг Фонтэн схватил лежавшую на земле доску и начал рыть землю возле задней двери.

— Я попаду в дом,— сказал он.— Попаду, сукина дочь.

Во дворе соседнего дома какой-то мужчина возился с передним колесом старенького «форд».

— Не делайте этого,— сказал я.— Вон тот человек увидит. Он смотрит сюда.

Фонтэн выпрямился.

— Попробуем еще раз открыть ключом,— сказал он.

Мы попробовали, но ничего не вышло. Ключ поворачивался на пол-оборота вправо и влево.

— Нам не попасть в дом,— сказал я.— Давайте вернемся.

— Я подкопаюсь под заднюю дверь,— предложил Фонтэн.

— Нет, нет, я не хочу, это опасно.

— Я подкопаюсь.

— Нет,— сказал я.— Он увидит. И у вас отберут вино.

Мы сели в машину и поехали обратно, к Фонтэнам, по дороге вернув ключ соседям. Фонтэн не говорил ни слова, только ругался вполголоса. Он был удручен и подавлен. Мы вошли в дом.

— Вот сукина дочь! — сказал он.— Мы не могли достать вино. Мое собственное вино, которое я сам приготовил.

Вся радость исчезла с лица мадам Фонтэн. Фонтэн уселся в угол и подпер голову руками.

— Нам пора ехать,— сказал я.— Вы не огорчайтесь из-за вина. Выпейте без нас за наше здоровье.

— Куда ушла эта сумасшедшая? — спросила мадам Фонтэн.

— Не знаю,— ответил Фонтэн.— Не знаю, куда она ушла. А вы так и уедете без вина.

— Это не важно,— сказал я.

— Так не годится,— сказала мадам Фонтэн. Она покачала головой.

— Нам пора ехать,— сказал я.— Прощайте, всего хорошего. Спасибо вам за все.

Фонтэн покачал головой. Он был безутешен. Мадам Фонтэн с грустью смотрела на него.

— Не расстраивайтесь из-за вина,— сказал я.

— Ему так хотелось угостить вас своим вином,— сказала мадам Фонтэн.— Вы приедете в будущем году?

— Нет. Может быть, через два года.

— Вот видишь! — сказал ей Фонтэн.

— Прощайте,— сказал я.— Не огорчайтесь из-за вина. Выпейте без нас за наше здоровье.— Фонтэн покачал головой. Он не улыбнулся. Он понимал, что все погибло.

— Вот сукина дочь,— пробормотал Фонтэн.

— Вчера вечером у него было три бутылки,— сказала мадам Фонтэн, чтобы утешить его. Но он только покачал головой.

— Прощайте,— сказал он.

У мадам Фонтэн были слезы на глазах.

— Прощайте,— сказала она. Ей очень жаль было Фонтэна.

— Прощайте,— сказали мы. Мы все были очень огорчены.

Они стояли в дверях, а мы сели в машину, и я завел мотор. Мы помахали им на прощание. Они грустно стояли

рядом на крылечке. Фонтэн выглядел очень старым, а мадам Фонтэн — очень грустной. Она помахала нам, а Фонтэн ушел в комнаты. Мы свернули с шоссе.

— Они так огорчены. Старик совсем расстроился.

— Надо было поехать к ним вчера.

— Да, надо было.

Мы пересекли город и выехали на бетонную дорогу; по обе стороны ее тянулось жнивье, справа высидись горы. Почти как в Испании, но это был Вайоминг.

— Я желаю им всяческого счастья.

— Не будет им счастья,— сказал я,— и Смит президентом тоже не будет.

Бетонное шоссе кончилось. Дальше мы ехали по щебню, потом равнина осталась позади, и между двумя отлогими холмами, у подножья горы, началась извилистая дорога вверх. Земля у подножья была красноватая, поросшая серыми кустами полыни, и когда дорога пошла круче, вдаль, за холмами и за равниной, показались высокие горы. Теперь они были дальше от нас и еще сильнее напоминали Испанию. Дорога, сделав петлю, поднялась еще выше, и мы увидели впереди купающихся в пыли куропаток. Когда мы приблизились, они вспорхнули, часто хлопая крыльями, потом плавно опустились и сели на один из холмов под нами.

— Какие они большие и красивые. Они большие европейских.

— В Америке хороша охота. La chasse, как говорит Фонтэн.

— А когда охота кончится?

— Их уже не будет в живых.

— Мальчик будет.

— Это еще неизвестно,— сказал я.

— Надо было поехать к ним вчера.

— Ох, да,— сказал я.— Надо было поехать.

ДАЙТЕ РЕЦЕПТ, ДОКТОР

Их привезли около полуночи, и потом всю ночь по коридору разносились крики русского.

— Куда он ранен? — спросил мистер Фрэзер у сиделки.

— Кажется, в бедро.

— А что с другим?

— О, боюсь, что он умрет.

— Куда он ранен?

— Две пули в брюшной полости. Нашли только одну.

Оба работали по сбору свеклы, и мексиканец и русский. Они сидели и пили кофе в ночном ресторане, когда кто-то вошел и стал стрелять в мексиканца. Русский залез под стол, и в него попала одна из пуль, предназначенных мексиканцу, когда тот лежал уже на полу с двумя пулями в брюшной полости. Так писала газета.

Мексиканец заявил полиции, что не имеет ни малейшего представления о том, кто стрелял в него. Он считает это случайностью.

— Случайность, что он выпустил в вас восемь пуль и дважды ранил, а?

— Si, señor¹, — сказал мексиканец, которого звали Каэтано Руис.

— Случайность, что он вообще ранил меня, этот болван, — сказал он переводчику.

— Что он говорит? — спросил агент сыскной полиции, лагланув на переводчика, стоявшего по другую сторону кровати.

— Он говорит, что это случайность.

— Скажите ему, чтобы он говорил правду. Скажите, что он умирает, — настаивал агент.

¹ Да, сеньор (исп.).

— На! — сказал Каэтано. — Скажите ему, что мне совсем плохо и мне не хотелось бы говорить так много.

— Он говорит, что это правда, — сказал переводчик. Потом, наклоняясь к агенту: — Он не знает, кто стрелял в него. Стреляли сзади.

— Да, — сказал агент. — Я понимаю. Но почему обе пули попали в живот?

— Может быть, он сочиняет? — сказал переводчик.

— Послушайте, — сказал агент, потрясая пальцем у самого носа Каэтано, заострившегося и воскового на мертвенном лице с живыми, как у ястреба, глазами. — Мне наплевать, кто стрелял в вас, но я должен расследовать дело. Вы не хотите, чтобы тот, кто стрелял в вас, был наказан? Скажите ему это, — повторял он переводчику.

— Он говорит, чтобы вы сказали, кто стрелял в вас.

— *Mandarlo al carajo!*¹ — сказал Каэтано, которого одолевала усталость.

— Он говорит, что вовсе не видел его, — сказал переводчик. — Я же вам ясно говорю, что стреляли сзади.

— Спросите его: кто стрелял в русского?

— Бедняга русский! — сказал Каэтано. — Он лежал на полу, закрыв голову руками. Он начал кричать, когда в него выстрелили, и с тех пор кричит не переставая. Бедняга русский!

— Он говорит, стрелял кто-то, кого он не знает. Может быть, тот самый, который стрелял и в него.

— Послушайте! — сказал агент. — Здесь не Чикаго. Вы не бандит. Нечего разыгрывать кинодраму. Нужно сказать, кто стрелял в вас. Каждый на вашем месте сказал бы, кто стрелял в него. Ничего тут особенного нет. А что, если вы не скажете, кто он, и он застрелит кого-нибудь еще? А что, если он застрелит женщину или ребенка? Нельзя оставить его безнаказанным. Переведите ему вы, — сказал он мистеру Фрэзеру. — Я не доверяю проклятому переводчику.

— Вы можете на меня положиться, — сказал переводчик.

Каэтано посмотрел на мистера Фрэзера.

— Послушайте, *amigo*², — сказал мистер Фрэзер, — полисмен говорит, что вы не в Чикаго, а в Хэйли, штат Монтана. Вы не бандит, и это не кинодрама.

¹ Пошел к черту! (*исп.*).

² Друг (*исп.*).

— Я верю ему,— мягко сказал Каэтано.

— Здесь можно вполне открыто называть своего обидчика. Здесь это принято, говорит он. Он говорит, гораздо хуже, если, после того как он ранил вас, он застрелит женщину или ребенка.

— Я не жепат,— сказал Каэтано.

— Он говорит — какую-нибудь женщину, какого-нибудь ребенка.

— Да разве он сумасшедший? — сказал Каэтано.

— Он говорит, что вы должны назвать его,— закончил мистер Фрэзер.

— Благодарю вас,— сказал Каэтано.— Вы прекрасный переводчик. Я говорю по-английски, хотя и плохо. Но понимаю свободно. Где это вы сломали себе ногу?

— Упал с лошади.

— Вот не повезло-то. Мне очень жаль вас. Сильно болит?

— Теперь уже нет. Сначала болело.

— Послушайте, amigo,— начал Каэтано.— Я очень слаб. Извините меня. Кроме того, у меня сильные боли, очень сильные. Возможно, я умру. Пожалуйста, уберите отсюда этого полисмена. Я очень устал.

Он сделал движение, будто хотел перевернуться на бок, тотом затих.

— Я передал ему в точности все, что вы сказали, и он просил передать вам, что, право же, он не знает, кто стрелял в него, и что он очень слаб и просит вас допросить его после,— сказал мистер Фрэзер.

— А может быть, после он умрет.

— Очень возможно.

— Вот потому-то я и хочу допросить его сейчас.

— Я вам говорю, кто-то стрелял сзади,— сказал переводчик.

— А, да ну вас к черту! — сказал агент и сунул записную книжку в карман.

Выйдя в коридор, агент остановился с переводчиком возле мистера Фрэзера, сидевшего в кресле на колесах.

— Вы тоже, вероятно, думаете, что кто-то стрелял в него сзади?

— Да,— сказал Фрэзер.— Кто-то стрелял в него сзади. А почему вас это интересует?

— Не сердитесь,— сказал агент.— Хотел бы я говорить по-испански.

— А что вам мешает выучиться?

— Не нужно сердиться. Меня ничуть не забавляет задавать эти вопросы испанцу. Если бы я сам говорил по-испански — тогда другое дело.

— Зачем вам говорить по-испански? — сказал переводчик.— Вы можете на меня положиться.

— А ну вас к черту! — сказал агент.— До свиданья! Я еще приду и увижусь с вами.

— Пожалуйста. Я всегда в своей палате.

— Вам, кажется, лучше? Не повезло вам. Чертовски не повезло.

— Теперь-то уж лучше. Кость срастается.

— Да, но это очень надолго. Надолго, надолго.

— Не давайте никому стрелять в вас сзади.

— Верно,— сказал он.— Верно. Ну, я очень рад, что вы не сердитесь.

— До свиданья! — сказал мистер Фрэзер.

Мистер Фрэзер не видел Каэтано очень долго, но каждое утро сестра Цецилия приносила известия о нем.

— Он совсем не жалуется,— говорила она,— а ему очень плохо. У него перитонит, и думают, что он не выживет. Бедняга Каэтано! — говорила она.— У него такие красивые руки и такое тонкое лицо, и он никогда не жалуется. Запах сейчас действительно ужасный. Он показывает иногда себе на нос одним пальцем, и улыбается, и качает головой,— говорила она.— Ему неприятен запах. Он смущается,— говорила сестра Цецилия.— О, он такой симпатичный больной! Он всегда улыбается. Он отказался исповедоваться, но обещал помолиться, и ни один мексиканец не пришел навестить его с тех пор, как его привезли. Русский выписывается в конце недели. Вот русского мне совсем не жалко,— говорила сестра Цецилия.— Бедняга, он тоже мучился. Пуля — она грязная, и рана была заражена, но он так кричал. И потом, мне всегда больше нравятся нехорошие. Этот Каэтано — он мошенник. Он и в самом деле мошенник, настоящий мошенник. Он так изнежен, такого хрупкого сложения и никогда ничего не делал руками. Он не сборщик свеклы. Руки у него такие мягкие, и ни одной мозоли. Я знаю, что он нехороший. Я пойду вниз и помолюсь за него. Бедный Каэ-

тано, ему очень худо, а он даже не стонет. За что они стреляли в него? Бедный Каэтано! Я пойду вниз и помолюсь за него.

Она пошла вниз и помолилась за него.

В этой больнице радио работало хорошо, только когда пастушал вечер. Говорили, это оттого, что в горах слишком много руды или еще чего-то, но, во всяком случае, оно работало совсем плохо, пока на улице не начинало темнеть; но всю ночь оно работало прекрасно, и когда одна станция прекращала работу, можно было передвигаться дальше на запад и ловить другую. Последней был Сиэтл, в штате Вашингтон, и благодаря разнице во времени, когда кончали передачу в четыре часа утра, в больнице было уже пять часов утра, а в шесть можно было поймать утреннюю музыкальную передачу из Минеаполиса. Это тоже возможно было благодаря разнице во времени, и мистер Фрэзер любил думать о музыкантах, приходящих утром в студию, и представлять себе, как они выходят из трамвая на рассвете, неся свои инструменты. Может быть, этого и не было и они оставляли инструменты там, где играли, но он всегда представлял их себе с инструментами. Он никогда не бывал в Минеаполисе и думал, что, может быть, никогда не попадет туда, но видел ясно, как выглядит город ранним утром.

Из окна больницы виднелось поле с торчащими из-под снега стеблями и голый глинистый склон. Как-то утром доктор хотел показать мистеру Фрэзеру двух фазанов, которые ходили по снегу, и когда он двигал койку к окну, со спинки упала лампа и ударила мистера Фрэзера по голове. Сейчас это звучит совсем не смешно, но тогда это было очень смешно. Все смотрели в окно, и доктор, прекрасный доктор, показывал па фазанов и подвигал койку к окну, и потом, совсем как в фарсе, мистера Фрэзера стукнуло свинцовой подставкой от лампы прямо по голове. Это произошло как бы вразрез с лечением, со всем тем, зачем люди ложатся в больницу, и всем это показалось ужасно смешным, как анекдот о мистере Фрэзере и докторе. В больнице все много проще, даже анекдоты.

Из другого окна, если повернуть койку, был виден город с облаком дыма над ним, и Доусон-Маунтенз, уже

покрытые снегом и оттого похожие на настоящие горы. Таковы были два вида, доступные с тех пор, как стало очевидным, что сидеть в кресле мистеру Фрэзеру еще рано. Да, по правде сказать, в больнице лучше уж лежать в постели; намного лучше, лежа в палате с кондиционированным воздухом, неторопливо любоваться двумя видами, нежели наспех глядеть на один, другой, десятый из жарких, пустых палат, ожидающих новых больных или только что освободившихся, куда вас вкатывают в кресле всего на несколько минут. Когда долго лежишь в одной палате, вид, каков бы он ни был, приобретает большую ценность и значительность, и не хочется его менять, ни даже повертываться к нему другим боком. Точно так же радио: нравятся определенные вещи, и радуешься им, и отвергашь новые. В ту зиму лучшие песенки были: «Спой мне простую песню», «Девушка-певунья», «Маленькие небылицы». Ничто так не успокаивало, казалось мистеру Фрэзеру. «Милая Бетти» тоже была ничего, но мистеру Фрэзеру все лезли в голову другие слова, до того непристойные, что никому их и не повторить; так что в конце концов он бросил ее слушать, и когда начинали ее передавать, переключал радио на футбол.

Около девяти часов утра включали рентгеновский аппарат, и тогда слушать радио, которое к этому времени ограничивалось только одной станцией в Хэйли, становилось совсем невозможно. Многие жители Хэйли, имевшие приемники, возмущались, что больничный рентген мешает им по утрам слушать радио, но так ничего и не добились, хотя многие считали, что больница могла бы пользоваться рентгеном в другие часы, когда люди не слушают радио.

Как раз когда пришлось выключить радио, вошла сестра Цецилия.

— Как Казтано, сестра Цецилия? — спросил мистер Фрэзер.

— Очень плох.

— Он без памяти?

— Нет, но боюсь, что умрет.

— А как вы?

— Я очень беспокоюсь за него, и знаете, никто не пришел навестить его. Он может умереть, как собака, а эти мексиканцы и глазом не моргнут. Ужасные люди!

— Хотите прийти сегодня вечером послушать передачу со стадиона?

— О нет,— сказала она.— Я слишком волнуюсь. Я буду молиться в часовне.

— Я думаю, что слышно будет хорошо,— сказал мистер Фрээр.— Будут играть на побережье, и благодаря разнице во времени это будет довольно поздно, так что мы услышим как следует.

— О нет, я не могу. Последняя международная встреча чуть не доконала меня. Когда вышла команда «Атлеты», я в полный голос молилась: «О боже, помоги им попасть в цель! О боже, ну, дай же ему забить! О боже, дай им выиграть!» А когда третья игра подходила к концу, тут уж я совсем не выдержала. «О боже, пусть он пробьет хорошенько! О боже, дай ему силы». А потом настал черед бить «Кардиналам», это был сплошной ужас. «О боже, не дай ему попасть! О боже, избави ты нас от их ударов. О боже, пу пускай они промахнутся!» А это состязание еще хуже. Это команда «Notre Dame» — «Пресвятой девы»... Нет, я пойду в часовню. Они играют за пресвятую деву. За «Пресвятую деву»! Написали бы вы что-нибудь для пресвятой девы. Ведь вы можете. Вы и сами знаете, что можете, мистер Фрээр.

— Я не знаю о ней ничего, что мог бы написать. Уже почти все написано,— сказал мистер Фрээр.— Вам не понравится, как я пишу. Ей тоже не понравится.

— Вы когда-нибудь о ней напишете,— сказала сестра.— Я знаю, что напишете. Вы должны написать о пресвятой деве.

— Лучше приходите и послушайте состязание.

— Я не выдержу этого. Нет, лучше я пойду в часовню и помолюсь.

В этот вечер не прошло и пяти минут с начала игры, как в комнату вошел стажер и сказал:

— Сестра Цецилия просит узнать, как идет игра.

— Скажите ей, что один гол уже забит.

Немного погодя стажер снова вошел в комнату.

— Скажите ей, что наши сшибают их с ног,— сказал мистер Фрээр.

Немного позднее он позвонил дежурной сиделке:

— Не будете ли вы добры спуститься в часовню или поредать с кем-нибудь сестре Цецилии, что «Notre Dame» выиграла четырнадцать — ноль к концу первого тайма и что все в порядке. Она может больше не молиться.

Через несколько минут сестра Цецилия вошла в комнату. Она была сильно взволнована.

— Что значит четырнадцать — ноль? Я ничего не понимаю в футболе. Для бейсбола это было бы очень хорошо, но в футболе я ничего не смыслю. Может быть, это ничего не решает. Я сейчас же иду обратно, в часовню, и буду молиться до самого конца игры.

— Исход ясен, — сказал Фрэзер. — Я ручаюсь вам. Оставайтесь и послушайте со мной.

— Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет, — сказала она. — Я сейчас же иду обратно, в часовню, молиться.

Мистер Фрэзер посылал ей сказать каждый раз, как «Notre Dame» забивала гол, и наконец, когда уже давно стемнело, сообщил окончательный результат.

— Ну, что сестра Цецилия?

— Она все в часовне, — сказала сиделка.

На следующее утро вошла сестра Цецилия. Она была очень довольна и весела.

— Я знала, что они не смогут обыграть «Пресвятую деву», — сказала она. — Не смогут. Каэтано тоже лучше. Много лучше. К нему сегодня придут. Он еще не может их видеть, но они придут, и ему станет легче, и он будет знать, что он не забыт своими. Я пошла в полицию к О'Брайену и сказала ему, что он должен прислать каких-нибудь мексиканцев навестить бедного Каэтано. Он пришлет кого-нибудь сегодня днем. Тогда бедняге станет лучше. Это дурно, что никто не пришел навестить его.

В тот же день около пяти часов в палату вошли три мексиканца.

— Можно? — спросил самый высокий, с мясистыми губами и очень толстый.

— Конечно, можно, — ответил мистер Фрэзер. — Садитесь, господа. Может, выпьем чего-нибудь?

— Большое спасибо, — сказал толстый.

— Спасибо, — сказал самый черный и маленький.

— Нет, спасибо, — сказал тощий. — Вино мне в голову ударяет. — Он постучал себя по голове.

Сиделка принесла стаканы.

— Подайте им, пожалуйста, бутылку, — сказал Фрэзер. — Это из Ред-Лодж, — пояснил он.

— Из Ред-Лодж — это самое лучшее, — сказал толстый. — Много лучше, чем из Биг-Тимбер.

— Ясно, — сказал самый маленький. — И дороже.

— В Ред-Лодж есть на все цены, — сказал толстый.

— Сколько ламп в приемнике? — спросил тот, который не пил.

— Семь.

— Здорово! — сказал он. — Сколько он стоит?

— Не знаю, — сказал мистер Фрэзер. — Его взяли напрокат. Вы, господа, друзья Каэтано?

— Нет, — сказал толстый. — Мы друзья того, кто рапил его.

— Нас прислала сюда полиция, — сказал самый маленький.

— Мы с ним держим небольшой кабачок, — сказал толстый. — Вот с ним, — кивнул он в сторону того, который не пил. — У того тоже небольшой кабачок, — кивнул он на маленького черного. — Нам в полиции сказали прийти, мы и пришли.

— Я очень рад, что вы пришли.

— Мы тоже.

— Хотите еще по рюмочке?

— Пожалуй, — сказал толстый.

— С вашего разрешения, — сказал самый маленький.

— Мне не надо, — сказал тощий. — Вино мне в голову ударяет.

— Вино замечательное! — сказал самый маленький.

— Почему не попробовать? — спросил мистер Фрэзер тощего. — Ну, покружится голова, и все.

— А потом болеть будет.

— Вы не могли бы прислать к Каэтано его друзей? — спросил Фрэзер.

— У него нет друзей.

— У каждого человека есть друзья.

— У него нет.

— Что он делает?

— Он игрок.

— Хороший?

— Еще бы!

— У меня, — сказал самый маленький, — он выиграл сто восемьдесят долларов. Теперь во всем мире не найдешь ста восьмидесяти долларов.

— У меня, — сказал тощий, — он выиграл двести одиннадцать долларов. Вы только представьте себе такую сумму!

— Я никогда не играл с ним, — сказал толстый.

— Он, должно быть, очень богат, — предположил мистер Фрэзер.

— Он беднее нас,— сказал маленький мексиканец.— У него только и есть, что рубашка на плечах.

— Да и та теперь ничего не стоит,— сказал мистер Фрэзер,— прострелена пулями.

— Ясно.

— Тот, что ранил его, тоже игрок?

— Нет, рабочий-свекольник. Ему пришлось уехать из города.

— Только представьте себе,— сказал самый маленький.— Он был лучшим гитаристом во всем городе. Самым лучшим.

— Какая жалость!

— Еще бы! — сказал самый крупный.— А как он играл!

— И больше не осталось хороших гитаристов?

— Ни одного.

— Есть один, он на аккордеоне играет, ничего себе,— сказал тощий.

— Да еще кое-кто играет на других инструментах,— сказал толстый.— Вы любите музыку?

— Как же!

— А что, если мы придем как-нибудь вечером поиграть вам? Как вы думаете, сестра разрешит? Она, кажется, очень симпатичная?

— Уверен, что разрешит, когда Каэтано сможет слушать музыку.

— Она что, сумасшедшая? — спросил тощий.

— Кто?

— Эга сестра.

— Нет,— сказал мистер Фрэзер.— Она милая женщина, очень умная и симпатичная.

— Я не верю ни попам, ни монахам, ни монахиням,— сказал тощий.

— Он на них посмотрелся в детстве,— сказал самый маленький.

— Я был служкой в церкви,— сказал тощий с гордостью.— Теперь я ни во что не верю, И в церковь не хожу.

— Почему? В голову ударяет?

— Нет,— сказал тощий.— Это спирт в голову ударяет. Религия — опиум для бедняков.

— А я думал, марихуана — опиум для бедняков,— сказал Фрэзер.

— Вы когда-нибудь курили опиум? — спросил толстый.

— Пет.

— Я тоже, — сказал он. — Кажется, это скверная штука. Начнешь — и уже не можешь бросить. Это порок.

— Как и религия, — сказал тощий.

— Он, — сказал маленький мексиканец, — большой противник религии.

— Необходимо быть противником чего-нибудь, — вежливо сказал мистер Фрэзер.

— Я уважаю верующих, даже если они невежественны, — сказал тощий.

— Это хорошо, — сказал мистер Фрэзер.

— Что вам принести? — спросил крупный мексиканец. — Вам что-нибудь нужно?

— Я с удовольствием купил бы пива, хорошего пива.

— Мы принесем вам пива.

— Еще одну copita¹ перед уходом?

— Вино замечательное.

— Мы у вас все выпили.

— Я не могу его пить. У меня голова кружится. Потом начинается головная боль и тошнота, — сказал тощий.

— До свиданья, господа!

— До свиданья, спасибо!

Они ушли. Был ужин, а потом радио, поставленное как можно тише, но так, чтобы было слышно, и станции включались в таком порядке: Дэнвер, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелес и Сизтл. У мистера Фрэзера не создалось никакого представления о Дэнвере по радио. Он мог видеть Дэнвер только в «Дэнвер пост» и пополнять картину по «Роки маунтен ньюз». Он никогда не мог почувствовать ни Солт-Лейк-Сити, ни Лос-Анджелес по передачам. О Солт-Лейк-Сити он знал только то, что там было чисто, но скучно, а Лос-Анджелес ему не хотелось и видеть, потому что оттуда рекламировали слишком много дансингов и слишком много крупных отелей. Дансинги он не любил. Но Сизтл он изучил очень хорошо, его компанию таксомоторов с ее большими белыми машинами (каждая машина радиофицирована), на одной из них он каждую ночь выезжал в ресторан на канадской стороне, где следил за ходом пирушек по тем музыкальным номерам,

¹ Рюмочка (исп.).

которые заказывались по телефону. Он проводил в Сизтле каждую ночь с двух часов, слушая номера, которые требовали разные люди, и это было так же реально, как Минеаполис, где музыканты каждое утро покидали свои постели, чтобы совершить поездку в студию. Мистер Фрэзер очень полюбил Сизтл в штате Вашингтон.

Мексиканцы пришли и принесли пиво, но пиво было плохое. Мистер Фрэзер принял их, но ему не хотелось разговаривать, и когда они ушли, он знал, что больше они не придут. У него пошаливали нервы, и когда он был в таком состоянии, ему не хотелось видеть людей. К концу пятой недели нервы его сдали, и хотя он радовался, что продержался так долго, он все же не хотел подвергать себя экспериментам, когда уже заранее знал их результат. Мистер Фрэзер испытывал это и раньше. Единственно, что было для него ново,— это радио. Он слушал его всю ночь, приглушив его так, что было едва слышно, и приучал себя слушать, ни о чем не думая.

В это утро сестра Цецилия вошла в комнату около десяти часов и принесла почту. Она была очень красива, и мистеру Фрэзеру нравилось смотреть на нее и слушать ее, но почта, пришедшая как бы из иного мира, была важнее. Однако среди писем не оказалось ничего интересного.

— Вы гораздо лучше выглядите,— сказала она.— Вы скоро уедете от нас.

— Да,— сказал мистер Фрэзер.— У вас сегодня такое счастливое лицо.

— Да, так оно и есть. Сегодня мне кажется, что я могла бы стать святой.

Мистер Фрэзер даже растерялся.

— Да,— продолжала сестра Цецилия.— Это моя мечта. Быть святой. С самых ранних лет я мечтала стать святой. Еще девочкой я думала, что, если я откажусь от мира и уйду в монастырь, я буду святой. Я хотела быть святой, я думала, что я должна все сделать, чтобы стать святой. Я так и думала, что стану святой. Я была совершенно уверена в этом. Как-то раз на одну минуту мне показалось, что я уже святая. Я была так счастлива, мне казалось, что это так просто и легко. Когда я утром про-

снулась, я была уверена, что я уже святая, а оказалось — нет. Так я и не стала святой. А я так хочу стать святой. Больше ничего не хочу. Да и не хотела никогда ничего другого. А сегодня утром у меня такое чувство, что я могу быть святой. О, я уверена, что стану святой!

— Конечно, станете. Все добиваются, чего хотят. Мне об этом много твердили.

— Я еще не знаю. Когда я была девочкой, мне казалось, что это очень просто. Я знала, что буду святой. Но когда я увидела, что так сразу этого не случилось, я поняла, что это требует много времени. А теперь это кажется почти невозможным.

— По-моему, у вас все шансы.

— Вы правда так думаете? Нет, я не хочу, чтобы меня ободряли. Не ободряйте меня. Я хочу быть святой. Я так хочу быть святой!

— Конечно, вы будете святой, — сказал мистер Фрэзер.

— Нет, вероятно, не буду. Но если бы только я могла быть святой! Я была бы совершенно счастлива.

— Три шанса против одного, что вы будете святой.

— Нет, не ободряйте меня. О, если бы я могла быть святой! Если бы только я могла быть святой!

— Как ваш друг Каэтано?

— Он поправляется, но у него паралич. Одна из пуль задела нерв, проходящий через бедро, и нога парализована. Это заметили, только когда он оправился и уже мог двигаться.

— Может быть, нерв еще восстановится?

— Я молю бога, чтобы это было так, — сказала сестра Цецилия. — Вы бы повидались с ним.

— Мне не хочется никого видеть.

— Его-то вам хочется увидеть. Его могут вкатить сюда.

— Ладно.

Его вкатили в кресло, худого, с прозрачной кожей, с черными отросшими волосами; глаза у него смеялись; когда он улыбался, видны были плохие зубы.

— Hola, amigo! ¹ Que tal? Как вы?

— Как видите, — сказал мистер Фрэзер, — а вы?

— Жив. Паралич ноги.

— Скверно, — сказал мистер Фрэзер. — Но нерв может восстановиться.

¹ Здорово, дружище! (исп.)

— Говорят — да.

— А болит еще?

— Теперь нет. Некоторое время я с ума сходил от боли в животе. Я думал, что эта боль убьет меня.

Сестра Цецилия со счастливой улыбкой наблюдала за ними.

— Она говорит, что вы даже не охнули,— сказал мистер Фрэзер.

— Столько народу в палате! — возразил мексиканец.— А у вас как? Очень болело?

— Порядочно. Но, конечно, меньше, чем у вас. Когда сиделка уходит, я плачу час, два часа. Это успокаивает. У меня с нервами сейчас очень плохо.

— У вас радио. Если бы у меня была отдельная палата и радио, я бы плакал и кричал все ночи напролет.

— Сомневаюсь.

— Честное слово, да. Это очень полезно для здоровья. Но когда столько народу — нельзя.

— По крайней мере,— сказал мистер Фрэзер,— руки остались целы. Мне сказали, что вы работали руками.

— И головой,— сказал он, постукивая себя по лбу.— Но голова не так важна.

— Три ваших земляка были здесь.

— По распоряжению полиции.

— Они принесли пива.

— Оно, вероятно, было плохое?

— Плохое.

— Сегодня по распоряжению полиции они придут и сыграют мне серенаду.— Он засмеялся, потом похлопал себя по животу.— Я еще не могу смеяться. А музыканты они убийственные.

— А кто стрелял в вас?

— Тоже дурак. Я выиграл у него в карты тридцать восемь долларов. Было за что убивать!

— Те трое сказали мне, что вы много выигрываете.

— И беднее любого нищего.

— Отчего?

— Я несчастный идеалист. Я жертва иллюзии.— Он засмеялся, потом скривил рот и похлопал себя по животу.— Я профессиональный игрок, но я люблю играть. Именно играть. Мелкая игра всегда нечестная. Для настоящей игры нужно, чтобы везло. Мне не везет.

— Никогда?

— Никогда. Мне никогда не везет. Вот этот баран, который стрелял в меня. Умеет он стрелять? Нет. Первый раз он промахнулся. Вторым выстрелом попал в беднягу русского. Кажется, мне повезло? Что же дальше? Он дважды попадает мне в живот. Ему везет. Мне не везет. Он не попал бы в лошадь, держа ее за стремя. Все дело в счастье.

— Я думал, он попал в вас, потом в русского.

— Нет, сначала в русского, потом в меня. Газета ошиблась.

— Почему вы не стреляли в него?

— Я никогда не ношу оружия. При моем счастье, если бы я носил оружие, меня вешали бы десять раз в год. Я — скверный игрок, и только.

Он остановился, потом продолжал:

— Когда я выиграю, я сажусь играть, а когда играю — я проигрываю. Мне случалось просаживать в кости три тысячи долларов и оставаться с шестью долларами в кармане. При хороших костях. И не один раз.

— А почему вы не бросите?

— Если доживу, счастье переменится. Мне не везет уже пятнадцать лет. Если мне когда-нибудь повезет, я разбогатею. — Он усмехнулся. — Я хорошо играю, я бы хотел разбогатеть.

— Вам во все игры не везет?

— Во все игры, и с женщинами.

Он снова улыбнулся, показав плохие зубы.

— Правда?

— Правда.

— Что же делать?

— Продолжать понемногу и ждать, когда счастье переменится.

— А с женщинами?

— Ни одному игроку не везет с женщинами. Он слишком занят. Он работает ночами. Когда же ему бывать с женщиной? Ни один мужчина, который работает ночью, не может удержать женщину, если она чего-нибудь стоит.

— Вы — философ?

— Нет, друг мой. Провинциальный игрок. Из одного городка — в другой, потом — в третий, потом — в большой город и опять все сначала.

— Потом — пуля в живот.

— Первый раз,— сказал он.— Всего один раз.

— Я вас утомляю разговорами? — спросил мистер Фрэзер.

— Нет,— сказал он.— Это я вас утомляю.

— А нога?

— Нога мне не особенно нужна. Что с ногой, что без ноги, мне все равно. Я могу переезжать и так.

— Желаю вам удачи, искренне, от всего сердца,— сказал мистер Фрэзер.

— Я тоже,— сказал он.— И чтобы боль кончилась.

— Она пройдет, конечно. Уже проходит. Это совсем не важно.

— Чтобы поскорее прошла.

— И вам того же.

В тот вечер мексиканцы играли на гармонике и других инструментах в палате; это было очень весело: и вдохи и выдохи гармоники, и звуки колокольчиков, трубы и барабана разносились по всему коридору. В той же палате был ковбой, свалившийся со спины своей Ночки в жаркий пыльный вечер на глазах у большой толпы зевак. Теперь, с переломленной спиной, он собирался учиться делать ремни и плести стулья, когда поправится и выпишется из больницы. Был плотник, упавший с лесов и сломавший обе ноги и оба запястья. Он упал, как кошка, не обладая кошачьей гибкостью. Его можно было вылечить так, что он смог бы работать снова, но на это требовалось много времени. Был мальчик с фермы, лет шестнадцати, со сломанной ногой, которая неправильно срослась, и ее нужно было снова ломать. Был Каэтано Рунс, провинциальный игрок с парализованной ногой. Через коридор до мистера Фрэзера доносились их смех и шутки по поводу игры мексиканцев, присланных полицией. Мексиканцы были доверливы. Они вошли, возбужденные, к мистеру Фрэзеру и спросили, не хочет ли он, чтобы они сыграли ему что-нибудь. И еще два раза приходили играть вечером по собственному желанию.

В последний раз, когда они играли, мистер Фрэзер лежал в своей комнате с открытой дверью и прислушивался к громкой скверной музыке и не мог не думать. Когда они спросили, что ему сыграть, он попросил «Кукарачу», одну из тех зловеще легких и мажорных мелодий, под которые люди веселее идут на смерть. Они играли

громко и с чувством. Мелодия казалась мистеру Фрэзеру лучше других, но эффект был тот же.

Хотя они играли с чувством, мистер Фрэзер продолжал думать. Обычно он избегал думать, кроме того времени, когда писал, но сейчас он думал о тех, кто играл, и о том, что говорил тот, маленький.

Религия — опиум для народа. Он в это верил — этот угрюмый маленький кабатчик. Да и музыка — опиум для народа. Тощий не подумал об этом. А теперь экономика — опиум для народа; так же как патриотизм — опиум для народа в Италии и Германии. А как с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа? Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа. Но пьянство — высший опиум для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые предпочитают радио, тоже опиум для народа; самый дешевый; он сам сейчас пользуется им. Наряду с этим идет игра в карты, тоже опиум для народа, и самый древний. Честолюбие тоже опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правления. Вы хотите одного — минимума правления, как можно меньше правления. Liberty, Свобода, в которую мы верили, стала теперь названием журнала Макфэддена. Мы верим в нее, хотя не нашли еще для нее нового имени. Но где же настоящий? В чем же настоящий, подлинный опиум для народа? Он знал это очень хорошо. Это только пряталось в каком-то уголке мозга, который прояснялся по вечерам после двух-трех рюмок; он знал, что это там (конечно, на самом деле этого там не было). Что же это такое? Он же знал очень хорошо. Что же это такое? Ну конечно, хлеб — опиум для народа. Запомнит ли он это и будет ли в этом смысл при дневном свете? Хлеб — опиум для народа.

— Послушайте, — сказал мистер Фрэзер сиделке, когда она вошла, — приведите сюда этого маленького художника мексиканца. Пожалуйста!

— Как вам понравилось? — спросил мексиканец с порога.

— Очень.

— Это историческая мелодия, — сказал мексиканец. — Это мелодия истинной революции.

— Послушайте, — сказал мистер Фрэзер, — почему люди оперируют без наркотика?

— Не понимаю.

— Почему не всякий опиум хорош для народа? Что вы хотите сделать с народом?

— Он должен быть избавлен от невежества.

— Не говорите глупостей. Образование — опиум для народа. Вы должны это знать. Вы сами учились.

— Вы не верите в образование?

— Нет,— сказал мистер Фрээр.— В знание — да.

— Я не понимаю вас.

— Я и сам часто и с удовольствием не понимаю себя.

— Вы хотите еще раз послушать «Кукарачу»? — тревожно спросил мексиканец.

— Да,— сказал Фрээр.— Сыграйте «Кукарачу» еще раз. Это лучше, чем радио.

«Революция,— подумал мистер Фрээр,— не опиум. Революция — катарсис, экстаз, который можно продлить только ценой тирании. Опиум нужен до и после». Голова у него была ясная, даже чересчур ясная.

Вот опи скоро уже уйдут, думал он, и унесут с собой «Кукарачу». Тогда он включит радио, ведь радио можно приглушить так, чтобы еле-еле было слышно.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Посреди главной улицы был сигнал объезда, но обычно машины ехали прямо, и Николас Адамс, решив, что тут, вероятно, был и уже закончился какой-то ремонт, поехал прямо, не сворачивая, по безлюдной, мощенной кирпичом улице; в воскресный день почти не было движения, но перед ним то и дело вспыхивали световые сигналы, которых уже не будет через год, когда ток выключат за неплату взносов,— и дальше, под тенистыми деревьями, обычными в маленьких городках и милыми сердцу, если ты родился в этом городе и гулял под ними, хотя чужим кажется, что от них слишком много тени и сырость в домах,— и дальше, мимо последнего дома, по шоссе, которое шло в гору, а там круто спускалось вниз между гладко срезанными откосами красной глины и рядами молодых деревьев по обеим сторонам. Он родился не здесь, но сейчас, в разгар осени, хорошо было ехать по всем этим местам и смотреть на них. Хлопок собрали, и на полях уже поднялась кукуруза, кое-где чередуясь с полосами красного сорго; машина катилась легко, сын спал на сиденье рядом, дневной пробег был уже сделан, город для почевки намечен, и Ник смотрел, где на майсовом поле посеяна соя и где горох, как леса перемежаются вырубками, далеко ли дома и службы от полей и кустарников, и, мимоездом, он мысленно охотился по всей этой местности, зорко оглядывая каждую прогалину и соображая, где здесь должна кормиться дичь и садиться на ночлег, где можно найти выводок и куда он полетит, если его спугнуть.

На охоте, когда собаки учуют перепелов, не следует заходить между выводком и тем местом, где он прячется, но то перепела вспорхнут все разом, одни прямо вверх,

другие шурша и чуть не задевая вас по голове, и тогда они кажутся невиданно крупными,— остается только обернуться и делиться через плечо им вдогонку, пока они, сложив крылья, не упали камнем в густую заросль. Мысленно охотясь на перепелов именно так, как научил его отец, Ник Адамс начал думать о своем отце. Первое, что вспомнилось Нику, были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему,— всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, несколько не хуже.

Бывало, Ник стоит с отцом на берегу озера — в то время и у него было очень хорошее зрение,— и отец говорит ему:

— Подняли флаг.— Ник не мог различить ни шеста, ни флага на нем.— Видишь,— говорил отец,— вон там паша Дороти. Она подняла флаг, а сейчас идет к пристани.

Ник смотрел на ту сторону озера и видел длинную линию лесистого берега, за ней высокие сосны, мыс над бухтой, расчищенные холмы ближе к ферме, белый коттедж среди деревьев, но не мог различить ни шеста, ни пристани, только белый песок и изогнутую линию берега.

— Видишь стадо овец на косогоре, ближе к мысу?

— Вижу.

Оно казалось светлым пятном на серо-зеленом косогоре.

— Я могу их сосчитать,— говорил отец.

Как и все люди, обладающие какой-либо незаурядной способностью, отец Ника был очень нервен. Сверх того он был сентиментален и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают.

Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас, думая о перепелиной

охоте, вспомнил отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. О том и о другом отец судил настолько же здраво, насколько не мог судить, например, о половой жизни, и Ник был рад, что вышло именно так, а не иначе: нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хотя дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтоб узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем.

Что касается другого, о чем отец не мог судить здраво, то в этом случае все, что нужно, дается самой природой, и каждый выучивается всему, что следует знать, без наставников, и тут все равно, где бы ты ни жил.

Зато таких необыкновенных глаз, как у отца, Нику больше ни у кого не приходилось видеть, и Ник любил его очень сильно и очень долго. Теперь, когда он знал обо всем, не радостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того как дела их семьи запутались. Если бы можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие были еще живы. Он решил думать о чем-нибудь другом. Теперь уже ничем нельзя помочь, и он много раз передумал об отце все с начала и до конца. Тот облик, который гробовщик придал его отцу, еще не стерся из памяти Ника, и все остальное он помнил совершенно ясно, до деталей включительно. Он поздравил гробовщика с успехом. Гробовщик гордился своей работой и был явно польщен. Но не гробовщик придал ему этот облик. Он только внес смелой рукой кое-какие поправки сомнительного художественного достоинства. Лицо сформировалось само собой в течение долгого времени. Оно приняло законченные очертания в последние три года. Из этого вышел бы хороший рассказ, но слишком многие оставались еще в живых, и написать его было нельзя.

Первоначальное воспитание Ника было закончено в лесах за индейским поселком. Из коттеджа в поселок шла дорога через лес до фермы и дальше по просеке до самого поселка. Он и теперь чувствовал всю эту дорогу под босыми ногами. Вначале она шла по хвойному лесу по-

зади коттеджа, устланная перегнившей хвоей там, где бурелом рассыпался в прах, и длинные щепки торчали, словно дротики, на расколотом молнией стволе. Ручей переходили по бревну, и, оступившись, можно было увязнуть в черном болотном иле. Выйдя из лесу, надо было перелезть через изгородь, а дальше твердая, высохшая на солнце дорога вела по скошенному лугу с торчащими кое-где стеблями конского щавеля и коровяка, трясина же, где водились кулики, оставалась слева. На ручье стоял летний сарай. За сараем лежала куча свежего навоза, а рядом другая куча, уже подсохшая сверху. Дальше опять начиналась изгородь и твердая, горячая дорога от сарая к дому, а потом горячая песчаная дорога, сбегавшая к лесу, и здесь был мост через тот ручей, где росли тростники; их мочили в керосине и делали из них те факелы, с которыми по ночам били рыбу острогой.

Потом большая дорога сворачивала влево, огибая лес, и поднималась в гору, а по лесу шла широкая глинистая дорога, прохладная в тени деревьев и расчищенная там, где вывозили кору, которую драли индейцы. Кору складывали длинными рядами в ровные штабеля, похожие на домики, крытые корой, и ободранные стволы лежали, огромные и желтые, там, где валили деревья. Стволы оставались гнить в лесу, их даже не убирали и не жгли верхушек. Дубильне в Бойнс-Сити нужна была только кора: вимой ее волокли по льду через озеро, и с каждым годом становилось все меньше леса и все ширилась выжженная солнцем, поросшая бурьяном вырубка.

Но тогда леса было еще много: девственного леса, где стволы были голые внизу, и ветви начинались на большой высоте, и ноги ступали по чистому, устланному упругой коричневой хвоей грунту, на котором ничего не росло, и в самые жаркие дни там было прохладно, и они сидели втроем, прислонившись к стволу пихты шириной в два человеческих роста; ветер шумел в вершинах, прохладный свет ложился пятнами, и Билли сказал:

- Ты опять хочешь Труды?
- Труды, а ты хочешь?
- Ага.
- Идем туда.
- Нет, здесь.
- А как же Билли?..
- Ну так что ж. Билли мой брат.

После они сидели все втроем и прислушивались к трескотне черной белки в верхних ветвях: снизу ее не было видно. Они дожидались, чтобы она снова зацокала,— когда она зацокает, то распушит хвост, и Ник будет стрелять туда, где заметит движение. Отец выдавал ему только три патрона на целый день охоты, а ружье у него было одноствольное, двадцатого калибра, с очень длинным стволом.

— Не шевелится, дрянь этакая,— сказал Билли.

— Стреляй, Ники. Пугни ее. Она прыгнет. И ты опять стреляй,— сказала Трудн. Для нее это была длинная речь.

— У меня только два патрона,— сказал Ник.

— Дрянь этакая,— сказал Билли.

Они сидели, прислонившись к дереву, и молчали. Нику было легко и радостно.

— Эдди говорит, он придет ночью спать к твоей сестре Доротн.

— Что-о?

— Он так сказал.

Трудн кивнула.

— Он только того и ждет,— сказала она.

Эдди был их сводный брат. Ему было семнадцать лет.

— Если Эдди Гилби придет ночью и посмеет хотя бы заговорить с Доротн, знаешь, что я с ним сделаю? Убью его, вот так! — Ник взвел курок и, почти не целясь, потянул его, всаживая заряд в голову и грудь этому ублюдку Эдди.— Вот так. Вот как я его убью.

— Тогда лучше ему не ходить,— сказала Трудн.

— Пусть лучше глядит в оба,— сказал Билли.

— Он хвастает,— говорила Трудн,— только ты его по убивай. А то попадешь в беду.

— Вот так и убью,— сказал Ник. Эдди Гилби лежал на земле, и грудь его разmozжило выстрелом. Ник гордо поставил на него ногу.— Я сниму с него скальп,— сказал он с торжеством.

— Нет,— сказала Трудн,— это нехорошо.

— Сниму скальп и пошлю его матери.

— Его мать умерла,— сказала Трудн.— Не убивай его, Ники, не убивай ради меня.

— Сниму скальп, а тело выброшу собакам.

Билли не на шутку встревожился.

— Пусть глядит в оба,— сказал он угрюмо.

— Собаки его в клочки разорвут,— сказал Ник, с удовольствием представляя себе эту картину. Потом, оскальпировав ублюдка Эдди, он привалился к дереву и холодно смотрел, как собаки терзают Эдди, а Труди крепко обнимала его за шею, чуть не душила и кричала:

— Не убивай его, не убивай, не надо, Ники! Ники! Ники!

— Что с тобой?

— Не убивай его!

— Я должен его убить.

— Он просто хвостун.

— Ладно,— сказал Ник.— Так и быть, не убью, только чтоб не подходил близко к дому. Пусти меня.

— Вот и ладно,— сказала Труди.— Хочешь теперь? Мне теперь так хорошо.

— Пускай Билли уйдет.

Ник убил Эдди Гилби, потом пощадил его и чувствовал себя мужчиной.

— Ступай, Билли. Ты все время торчишь около нас. Уходи.

— Черти,— сказал Билли.— Надоело мне это. Мы зачем пришли? Охотиться или нет?

— Можешь взять ружье. Там остался один патрон.

— Ладно. Уж я достану ту черную.

— Я тебя тогда позову,— сказал Ник.

Прошло довольно много времени, а Билли все не возвращался.

— Как по-твоему, будет у нас ребенок?

Труди скрестила свои смуглые ноги и прижалась к Нику.

Что-то в Нике отошло куда-то очень далеко.

— Не думаю,— сказал он.

— Будет, ей-богу, будет.

Они слышали, как выстрелил Билли.

— Интересно, убил или нет.

— Наплевать, не ходи,— сказала Труди.

Билли вышел из-за деревьев. Он держал ружье на плече и нес черную белку за передние лапы.

— Смотри! — сказал он.— Большая, больше кошки.

— Где ты ее убил?

— Там, дальше. Увидел, как она прыгнула.

— Пора домой,— сказал Ник.

- Нет еще,— сказала Труди.
- Мне нужно вернуться к ужину.
- Ну что ж. Ладно.
- Пойдешь на охоту завтра?
- Ладно.
- Белку можешь взять себе.
- Ладно.
- Выйдешь после ужина?
- Нет, не выйду.
- Тебе хорошо?
- Хорошо.
- Ну, вот и ладно.
- Поцелуй меня,— сказала Труди.

Теперь, когда он ехал по шоссе в автомобиле и темно-та надвигалась все ближе и ближе, Ник перестал думать об отце. По вечерам он никогда о нем не думал. Вечер всегда принадлежал одному Нику, и в это время он чувствовал себя хорошо только в одиночестве. Отец возвращался к нему осенью или ранней весной, когда в прерии появлялись бекасы, или когда он видел кукурузу в копнах, или озеро, или лошадь, запряженную в шарабан, когда он видел или слышал диких гусей, или когда сидел в засаде на уток, или вспоминал о том, как однажды в сильную вьюгу орел упал на прикрытый полотном капкан и пытался взлететь, хлопая крыльями, но зацепился когтями за полотно. Отец вставал перед ним неожиданно в запущенных фруктовых садах, на свежевспаханном поле, в зарослях кустарника, на невысоких холмах, или когда он ходил по сухой траве, колол дрова, носил воду, возле мельниц, на плотинах, и всегда у костра. Города, в которых жил Ник, были уже не те города, которые знал его отец. После пятнадцати лет у него не осталось ничего общего с отцом.

В морозы борода у отца покрывалась инеем, а в жаркую погоду он сильно потел. Ему нравилось работать в поле на солнце, потому что это была его добрая воля, и он это любил, а Ник — нет. Ник любил отца, но не выносил его запаха, и один раз, когда ему дали надеть отцовское белье, которое село и уже не годилось отцу, Нику стало до того противно, что он спрятал белье под двумя камнями в ручье и сказал, что потерял его. Когда отец поставил его надеть белье, он сказал отцу, в чем дело, но отец ответил, что белье только что из стирки. Так оно и было. Ник попросил отца понюхать, он сердито понюхал

и сказал, что белье чистое и свежее. Когда Ник вернулся с рыбной ловли и сказал, что потерял белье, его высекли за то, что он говорит неправду.

После этого, зарядив ружье, он долго сидел у отворенной двери дровяного сарая и, взведя курок, смотрел на отца, который читал на крыльце газету, и думал: «Я могу выстрелить в него. Могу его убить». В конце концов он почувствовал, что гнев его проходит, и ему стало как-то противно вот это самое ружье, подаренное отцом. Потом, хотя уже стемнело, он ушел в индейский поселок, чтобы отделаться от этого запаха. Из всей его семьи только от одной сестры пахло приятно. Со всеми остальными он избегал соприкасаться. Это чувство притупилось, когда он начал курить. И прекрасно. Такой острый нюх годится для охотничьей собаки, а человеку он ни к чему.

— Папа, расскажи про то, как ты был маленький и охотился с индейцами.

— Не знаю, право, как тебе рассказать.

Ник удивился. Он и не заметил, что сын уже проснулся. Он посмотрел на сидящего рядом мальчика. Он не ощущал его присутствия — а мальчик не спал. «Когда же он проснулся?» — подумал Ник.

— Мы по целым дням охотились на черных белок, — сказал он. — Мой отец выдавал мне по три патрона в день и говорил, что это приучит меня целиться, а не палить весь день без толку. Я ходил с мальчиком-индейцем, которого звали Билли Гилби, и с его сестрой Трудн. Одно лето мы охотились почти каждый день.

— Странные имена для индейцев.

— Да, пожалуй, — согласился Ник.

— Расскажи, какие они были.

— Они были оджибуэн, — сказал Ник. — Очень слабые.

— А хорошо было с ними?

— Как тебе сказать... — ответил Ник Адамс.

Как рассказать, что она была первая и ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык, затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное, сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное, последнее, не кончающееся, нескончаемое, бесконечное — и вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на филина в сумерки, только в лесу был дневной свет и пихтовые иглы

кололи живот. Вот так же, если прийти на то место, где недавно жили индейцы, по запаху чувствуешь, что они тут были, и все пустые склянки из-под лекарств и жужжание мух не могут заглушить запаха душистых трав, запаха дыма и еще одного, похожего на запах свежесвищенной куньей шкурки. Никакие анекдоты об индейцах, никакие старые скво этого изменить не могут. Не может изменить и тошнотворный сладковатый запах, идущий от них. Не может изменить и то, чем у них кончилось. Не важно, как это кончилось. С ними со всеми кончалось одинаково. Когда-то это было хорошо. А теперь нет ничего хорошего.

И о другом. Подстрелить одну птицу на лету — все равно что подстрелить сотню птиц. Все они разные и летают по-разному, но ощущение одинаковое, и последняя так же хороша, как и первая. За это он может благодарить отца.

— Тебе они, может, и не понравились бы, — сказал Ник сыну, — впрочем, нет, они славные.

— А дедушка тоже жил с ними, когда был маленький?

— Да. Когда я спросил, какие они, он ответил, что у него много друзей среди индейцев.

— А я буду жить с ними?

— Не знаю, — сказал Ник. — Зависит от тебя.

— А когда мне подарят ружье и я пойду на охоту?

— Когда тебе будет двенадцать лет, если я увижу, что ты умеешь быть осторожным.

— Хорошо бы, если б мне уже было двенадцать.

— Будет и двенадцать. Все в свое время.

— А какой был дедушка? Я его не помню, помню только, что он подарил мне ружье с пробкой и американский флаг, когда мы приехали из Франции. Какой он был?

— Как тебе сказать? Он был прекрасный охотник и рыболов, и глаза у него были замечательные.

— Он был лучше, чем ты?

— Стрелял он гораздо лучше, а его отец — без промаха.

— Ну уж, верно, не лучше тебя.

— Нет, лучше. Он стрелял очень быстро и метко. Я любил на него смотреть во время охоты. Ему не нравилось, как я стреляю.

— Почему мы никогда не съездим на могилу к дедушке?

— Мы живем совсем в другом месте. Это очень далеко отсюда.

— Во Франции это было бы не важно. Во Франции мы бы поехали. Нельзя же мне не побывать на могиле у дедушки.

— Как-нибудь поедem.

— Когда ты умрешь, хорошо бы жить где-нибудь поближе, чтобы можно было съездить помолиться к тебе на могилу.

— Надо будет подумать.

— А можно всех нас похоронить в каком-нибудь удобном месте. Например, во Франции. Вот было бы хорошо!

— Не хочу, чтобы меня похоронили во Франции,— сказал Ник.

— Ну, тогда надо найти удобное место в Америке. Хорошо бы нас всех похоронить на ранчо.

— Неплохо придумано.

— Тогда по дороге на ранчо я бы заходил помолиться на могилу к дедушке.

— Ты очень трезво рассуждаешь.

— Как-то нехорошо, что я ни разу не побывал на могиле у дедушки.

— Придется побывать,— сказал Ник.— Вижу, что придется.

О ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Делалось жарко, солнце припекало ему затылок.

Одна хорошая форель у него уже есть. Много ему и **по** **надо**. Река становилась широкой и мелкой. По обоим **бе-** **регам** шли деревья. Деревья с левого берега отбрасывали **на** **воду** предполуденные короткие тени. Ник знал, что в **каждой** теневой полосе сейчас залегла форель. Он и Билл **Смит** открыли это однажды в жаркий день на Блек-Ривер. Во второй половине дня, когда солнце начнет опускаться к холмам, форель уплывет в прохладную тень к другой стороне реки.

Самые крупные лягут совсем близко к берегу. На Блек-Ривер они всегда их там находили. Они с Биллом вместе сделали это открытие. Когда солнце опустится к западу, форель уйдет в быстрину. И когда, перед тем как зайти, солнце делает реку ослепительно яркой, по **всей** быстрине будет полным-полно крупной форели. **Удить** тогда будет почти невозможно, поверхность воды **будет** слепить, как зеркало, на солнце. Можно, конечно, **идти** вверх по течению, но здесь, как на Блек-Ривер, **те-** **чение** очень быстрое и где поглубже вода валит с ног. **Удить** против течения совсем не легко, хотя во всех **книж-** **ках** написано, что это единственно правильный способ.

Единственно правильный способ. Сколько раз они с Биллом в то время смеялись над этими книжками. Все **они** начинаются с ложной посылки. Сравнение с охотой на лис. Парижский дантист Билла Бэрда любил говорить, что тот, кто удит на муху, состязается с рыбой в сметли-ности. А Эзра ответил, что он всю жизнь так считал. Есть **над** чем посмеяться. Было много в то время **над** чем по-

смеяться. В Штатах считали, что бой быков — это повод для шуток. Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток. Многие думают, что поэзия повод для шуток. И англичане — тоже повод для шуток.

Помнишь, они нас пихнули в Памплоне через барьер на быка, потому что приняли нас за французов? Биллов дантист так же судил о рыбалке. Дантист Билла Бэрда, конечно. Раньше Билл — это был Билл Смит. А теперь это Билл Бэрд. И Билл Бэрд проживает в Париже.

Когда Ник женился, вся старая бражка ушла, — и Джи, и Одгар, и Билл Смит. Ушли потому, он решил, что все трое не знали женщин. Джи-то, положим, знал. Нет, старая бражка ушла потому, что, женившись, он как бы сказал всем троем: есть что-то поважнее рыбалки.

Ведь все создавал он сам. До начала их дружбы Билл не ходил на рыбалку. А потом они были вдвоем. На Блэк-Ривер, на Стэрджен, Пайп-Барренс, на Аппер-Минни и на разных малых речушках. И почти все открытия они сделали вместе с Биллом. Работали вместе на ферме, вместе удили рыбу и с июня до октября уходили надолго в лес. Только весна шла к концу и Билл увольнялся с работы, и он увольнялся тоже. А Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток.

Билл простил ему все рыбалки до начала их дружбы. И все реки тоже простил. Он гордился их дружбой. Это вроде как с девушкой. Она может простить все, что было с тобой до нее. Но после — дело другое.

Вот почему ушла старая бражка.

До того все они поженились с рыбалкой. А Эзра считал, что рыбалка — повод для шуток. Почти все так считали. Он сам был женат на рыбалке до того, как женился на Элен. Всерьез был женат. И тут совсем не до шуток.

Старая бражка ушла. Элен думала — потому, что она им не нравится.

Ник сел в тени на валун и привесил мешок так, что его повело в глубину. Вода, бурля, обтекала валун с обеих сторон. Нику было прохладно. Ниже деревьев берег реки был песчаным. По песку шли следы норки.

Хорошо посидеть в холодке. Камень был сухой и прохладный. Ник сидел, и вода стекала с сапог по краям валуна.

Элен думала — потому, что она им не нравится. В самом деле так думала. Уф, вспомнил он, как это казалось ужасно, когда люди женились. Теперь и подумать смешно.

Наверно, он чувствовал так потому, что водился со старшими, убежденными холостяками.

Одгар хотел непременно жениться на Кэйт. Но Кэйт не хотела вообще выходить замуж. Они постоянно спорили, и Одгар хотел жениться только на Кэйт, и Кэйт не желала знать никого, кроме Одгара. Но она говорила, что лучше всего, если она и Одгар останутся просто друзьями. И Одгар тоже хотел, чтобы они оставались друзьями, и они постоянно ссорились и были оба несчастны, стараясь остаться друзьями.

Должно быть, это Сударыня внушила им их аскетизм. И Джи был затронут тем же, хотя он бывал в Кливленде в веселых домах и водился там с девушками. И Ник был затронут тем же. И все это было ложным. Вам внушают ложное чувство, потом вы к нему приспосабливаетесь.

А любовь вы всю отдаете рыбалке и лету.

И эта любовь была для него всем на свете. Он любил копать с Биллом картошку в осеннюю пору, долго ехать в машине, удить рыбу в заливе, лежать в гамаке с книгой в жаркие дни, уплывать далеко от пристани, играть в бейсбольной команде в Шарлевуа и в Петоски, оставаться гостить у них в Бэе; ему нравилось все, что стряпала им Сударыня, ее обращение с прислугой; он любил есть в столовой, глядя в окно на огромный клин поля, упиравшийся в озеро, любил толковать с Сударыней, выпивать с отцом Билла, уезжать от них на рыбалку, просто словяться без дела.

Он любил это долгое лето. И его хватала тоска, когда первого августа ему вдруг открывалось, что еще только месяц — и ловля форели кончится. И сейчас это чувство порой посещало его во сне. Ему снится, что лето кончается, а он не ходил на рыбалку. И его хватает во сне такая тоска, словно он пробудился в тюрьме.

Холмы у южного берега Уоллунского озера, моторка на озере в штормовую погоду, а ты с зонтиком на корме бережешь от воды двигатель; или помпой работаешь, или гонишь моторку в большую волну, развозишь заказчикам овощи, волна — за тобой; или везешь бакалею с южного берега озера — чикагские газеты и почта укутаны в парусину, и ты еще сидешь на них, чтобы надежней укрыть от дождя; такая волна, что трудно стать у причала, сушишься у костра, ветер свищет в верхушках деревьев; и, когда ты босой бежишь принести молока, под ногами — осырая хвоя. Встаешь на рассвете, на веслах идешь через

озеро, а потом — на попутной машине, поудить в Хортонс-Крике после дождя.

Хортонс-Крику дождик полезен. А Шульд-Крику всегда во вред. Поднимается муть со дна, и река разливается по прибрежному лугу. Интересно, куда же уходит форель?

Вот в то время и был этот случай. Бык погнал его через изгородь, и он потерял кошелек со всеми крючками.

Если бы он тогда знал о быках, что знает теперь! Где Маэра, где Алгабено? Августовская фиеста в Валенсии, Сантандер и бесславная коррида в Сан-Себастиане. Санчес Мехиас и его шесть убитых быков. А ходячие фразы из корридных газет так и лезли ему на язык, он бросил совсем их читать. Коррида в Миурасе. Хотя *pase natural*¹ там было совсем пикудышным. Цвет Андалусии, Чикелин эль Камелиста. Хуан Террамото. Бельмонте Вуэльве.

Малыш, брат Маэры, теперь уже матадор. Вот так оно и идет...

Целый год все его душевные силы уходили на бой быков. Чинк — расстроенный, бледный из-за лошадей на арене. А Дэн, тот ничуть не расстроился, сказал: «В ту минуту я понял, что полюблю бой быков». Наверно, тогда был Маэра. Маэра был лучшим из всех. И Чинк понимал это. И держался во время *encierro*² рядом.

Он, Ник, был другом Маэры, и Маэра помахал им рукой из восьмьдесят седьмой ложки над их *sobrepuerta*³, обождал, пока Элен заметит его, и потом замахал снова, и Элен боготворила его, и в их ложе были еще три пикадора, и другие пикадоры работали прямо внизу под их ложей и махали им всякий раз, когда приступали к работе и когда кончали ее; и он сказал тогда Элен, что пикадоры работают друг для друга, и это была правда. И чище той пикадорской работы он в жизни не видывал, и три пикадора в их ложе в кордовских шляпах кивали при каждом удачном *caña*⁴, и пикадоры внизу на арене махали в ответ, продолжая свою работу. Это было совсем как в тот раз, когда португальцы приехали и старик-пикадор швырнул на арену шляпу и прямо повис на барьере, уставившись на молодого Да Вейгу. Грустнее этого зрелища он

¹ Один из главных боевых маневров матадора (*исп.*).

² Прогон быков перед боем (*исп.*).

³ Место пад выходом на арену (*исп.*).

⁴ Укол пикадорской пишкой (*исп.*).

в жизни не видывал. Caballero en plaza¹, мечта толстяка-пикадора. Этот мальчик Да Вейга умел держаться в седле. Было на что поглядеть. Но в кино это не получилось.

Кино загубило все. Все равно что болтать о чем-то действительно важном. Даже войну они сделали ненастоящей. Слишком много болтали.

Болтать всегда плохо. Еще плохо писать о том, что действительно с вами случилось.

Губит наверняка.

Чтобы вышло толково, надо писать о том, что вы сами придумали, сами создали. И получится правда. Когда он писал «Моего старика», он ни разу не видел, как жокей разбивается насмерть, и ровно через неделю разбился Жорж Парфреман на том самом препятствии и в точности как в рассказе. Все толковое, что ему удалось написать, он выдумал сам. Ничего этого не было. Было другое. Может статься, что лучше. Никто из его родных так ничего и не понял. Считали, что все, что он пишет, он сам пережил.

В том же и слабость Джойса. Дедалус в «Улиссе» — сам Джойс, и получается плохо. Романтика, всякое умствование. А Блума он выдумал, и Блум замечателен. Миссис Блум он выдумал тоже. И это настоящее чудо.

То же самое с Маком. Работает слишком близко к патуре. Впечатления надо переплавлять и создавать людей заново. Впрочем, у Мака есть кое-что за душой.

Ник из его рассказов не был он сам. Он его выдумал. Никогда он, конечно, не видел, как подпанка рождает. Потому получилось толково. И никто об этом не знает. А видел он женщину, рожавшую на дороге, когда ехал на Карагач, и постарался помочь ей. Вот так оно было.

Если бы только всегда удавалось писать именно так. Будет время, и это исполнится. Он хотел стать великим писателем. Он почти был уверен, что станет великим писателем. По-всякому это чувствовал. Станет пазло всем помехам. Это будет совсем не легко.

Нелегко стать великим писателем, если вы влюблены в окружающий мир, и в жизнь, и в разных людей. И любите столько различных мест в этом мире. Вы здоровы, и вам хорошо, и вы любите повеселиться, в самом деле, какого черта!

¹ Конный матадор (исп.).

Ему работалось лучше всего, когда Элен была нездорова. Самая чуточка разногласий и ссоры. А бывало и так, что он не мог не писать. И вовсе — не чувство долга. Независимо — как перистальтика. А после иной раз казалось, что теперь у него никогда ничего не получится. Но проходило какое-то время — и он чувствовал снова: чуть раньше, чуть позже он напишет хороший рассказ.

И это давало ббольшую радость, чем все остальное. Вот почему он писал. Он не так представлял себе это раньше. Вовсе не чувство долга. Просто огромное наслаждение. Это пронзало сильнее, чем все остальное. И, вдобавок, писать хорошо было дьявольски трудно.

Ведь всегда есть так много штучек.

Писать со штучками было совсем легко. Все писали со штучками. Джойс выдумал сотни совсем новых штучек. Но от того, что они были новыми, они не делались лучше. Все равно в свое время они становились захватанными.

А он хотел сделать словом то, что Сезанн делал кистью.

Сезанн начинал со штучек. Потом все порушил, стал писать настоящее. Это было неслыханно трудно. Сезанн — из самых великих. Великих навеки. Это не было обожествлением Сезанна. Ник хотел написать пейзаж, чтобы он был весь тут, как на полотнах Сезанна. Это надо было добыть изнутри себя. И без помощи штучек. Никто никогда еще не писал так пейзажей. Почти как святыня. Чертовски серьезное дело. Надо было сразиться с самим собой и добиться победы. Заставить себя жить глазами.

И об этом нельзя болтать. Он решил, что будет работать, пока не получится. Может быть, никогда не получится. Но если он даже чуть-чуть приблизится к цели, он это почувствует. Значит, есть работенка. Быть может, на всю жизнь.

Писать людей было просто. То, что модно, писать было просто. Примитив в пикку нашей эпохе, небоскрегам и прочему. Каммингс, когда писал модно, работал как автомат. Но «Огромная комната» — постоянная книга, одна из великих. Каммингс работал как зверь, чтобы ее написать.

Ну, а кто кроме Каммингса? Молодой Аш? Не без способностей. Но поручиться нельзя. Евреи быстро сдают, хотя начинают сильно. Мак был тоже не без способностей. Дэна Стюарта можно поставить прямо за Каммингсом. Что-то было и в Хэддоксе. Может статься, и в Ринге Ларднере. Может статься — не более того. В стариках

проде Шервуда. В еще более древних, как Драйзер. Ну, а кто там еще? Юпцы. Безвестные гении. Впрочем, таких не бывает.

И никто не искал того, чего он добивался.

Он видел этих Сезаннов. Портрет у Гертруды Стайн. Она-то почувствует сразу, когда у него получится. И отличные два полотна в Люксембургском музее, на которые он приходил каждый день поглядеть, пока они были на выставке в галерее Бэрнхейма. Солдаты, раздевшиеся перед тем как купаться, дом сквозь деревья и еще одно дерево сбоку, отдельно от дома; нет, не бледно-малиновое, то на другом полотне. Портрет мальчика. Люди у него получались. Это, впрочем, полегче, он делал их теми же средствами, что и пейзаж. И Ник мог так поступить. С людьми было проще. Никто ничего в них не смыслил. Если казалось толковым, вам верили на слово. И Джойсу верили на слово.

Сейчас он знал точно, как написал бы Сезанн этот кусок реки. Живого его бы сюда, господи, с кистью в руке. Они умирают, вот ведь в чем чертовщина. Работают всю свою жизнь, стареют и умирают.

И Ник, зная точно, как написал бы Сезанн этот кусок реки и соседнюю топь, встал и вошел в воду. Вода была холодна и реальна. Идя по картине, Ник пересек реку вброд. У берега, встав на колени на гравий, он ухватил мешок, где была форель. Он тянул всю дорогу мешок по мелководью. И хитрюга была жива. Ник развязал мешок, дал форели скользнуть в воду и глядел, как она припустила вперед со спинным плавником паружу и, выляя среди камней, ушла в глубину. «Все равно велика на ужин,— сказал себе Ник,— а я наловлю мелочи прямо у лагеря».

Ник вышел на берег, смотал лесу и двинулся сквозь кустарник. Он дожевывал сандвич. Он торопился, и удочка мешала ему. Он ни о чем не думал. Он хранил что-то в памяти. Он хотел возвратиться в лагерь и сесть за работу.

Он шел сквозь кустарник, прижимая к себе удочку. Леса зацепилась за ветку. Ник стал, срезал ветку и снова смотал лесу. Он держал теперь удочку перед собой, так было легче идти сквозь кустарник.

Впереди на тропе он увидел лежащего кролика. Ник нехотя остановился. Кролик едва дышал. В затылок ему за ушами впились два клеща. Клещи были серые, нали-

тые от выпитой крови, величиной в виноградину. Ник отцепил клещей, они шевелили ножками, головки у них были твердые, маленькие. Ник раздавил их ногой на тропе.

Ник приподнял с земли кролика, его тельце обмякло, глаза-пуговицы потускнели. Он сунул его под куст душистого папоротника рядом с тропой. Опуская зверька на землю, Ник услышал, как бьется у него сердце. Кролик тихо лежал под кустом. Может, еще отдышится, подумалось Нику. Наверно, клещи прицепились к нему, когда он дремал в траве. До того плясал на лужайке. Кто знает.

Ник пошел по тропе, направляясь в лагерь. Он хранил что-то в памяти.

НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА

Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось.

— Вам лимонного соку или лимонаду? — спросил Макомбер.

— Мне коктейль, — ответил Роберт Уилсон.

— Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого, — сказала жена Макомбера.

— Да, это, пожалуй, будет лучше всего, — согласился Макомбер. — Велите ему смешать три коктейля.

Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевшие на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья.

— Сколько им дать? — спросил Макомбер.

— Фунта будет вполне достаточно, — ответил Уилсон. — Нечего их баловать.

— Дать старшему, а он разделит?

— Совершенно верно.

Полчаса назад Фрэнсис Макомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежегальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессии не участвовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им всем руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени, на ветру.

— Вот вы и убили льва, — сказал ему Роберт Уилсон, — да еще какого замечательного.

Миссис Макомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина; пять лет назад ее красота и положение в обществе принесли ей пять тысяч долларов,— плата за отзыв (с приложением фотографии) о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Макомбера она вышла замуж одиннадцать лет назад.

— А верно ведь, хороший лев? — сказал Макомбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые.

Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свободном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметила, что красный загар кончался белой полоской — след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки.

— Ну, выпьем за льва, — сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа.

Фрэнсис Макомбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен, — если не считать недостатком такой длинный костяк, — с темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый, ему было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что, на глазах у всех, проявил себя трусом.

— Выпьем за льва, — сказал он. — Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали.

Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона.

— Не будем говорить про льва, — сказала она.

Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему.

— Очень странный сегодня день,— сказала она.— А вам бы лучше надеть шляпу, в полдень ведь печет и под навесом. Вы мне сами говорили.

— Можно и надеть,— сказал Уилсон.

— Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо,— сказала она и опять улыбнулась.

— Пью много,— сказал Уилсон.

— Нет, я думаю, это не оттого,— сказала она.— Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет.

— Сегодня покраснело,— попробовал пошутить Макомбер.

— Нет,— сказала Маргарет.— Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное.

— Должно быть, национальная особенность,— сказал Уилсон.— А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте?

— Я еще только начала.

— Ну, и давайте кончим,— сказал Уилсон.

— Тогда совсем не о чем будет разговаривать,— сказала Маргарет.

— Не дури, Марго,— сказал ее муж.

— Как же не о чем,— сказал Уилсон.— Вот убили замечательного льва.

Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплечется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей.

— И зачем это случилось. Ах, зачем только это случилось,— сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой.

— Женская блажь,— сказал Уилсон.— Это пустяки. Нервы, ну и так далее.

— Нет,— сказал Макомбер.— Мне это теперь до самой смерти не простится.

— Ерунда. Давайте-ка лучше выпьем,— сказал Уилсон.— Забудьте всю эту историю. Есть о чем говорить.

— Попробую,— сказал Макомбер.— Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду.

— Бросьте,— сказал Уилсон.— Все это ерунда.

Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций, между каменистой осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепло-

ватый лимонный сок, и старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже все известно, и, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки, с любопытством поглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие.

— Что вы ему сказали? — спросил Макомбер.

— Ничего. Сказал, чтоб пошевеливался, не то я велю закатить ему пятнадцать горячих.

— Как так? Плетей?

— Это, конечно, незаконно, — сказал Уилсон. — Полагается их штрафовать.

— У вас их и теперь еще бьют?

Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Но они не жалуются. Считают, что штраф хуже.

— Как странно, — сказал Макомбер.

— Не так уж странно, — сказал Уилсон. — А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалованья? — Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал: — Так ли, этак ли, всех нас бьют, изо дня в день.

Еще того хуже. О, черт, подумал он. В дипломаты я не годюсь.

— Да, всех нас бьют, — сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него. — Мне ужасно неприятна эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда? Я хочу сказать — никто о ней не узнает?

— Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в «Маттайга-клубе»?

Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и сволочь, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их берет, этих американцев.

— Нет, — сказал Уилсон. — Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято.

Теперь он решил, что гораздо лучше было бы посоветоваться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать. И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это французы говорят — *considération distin-*

гннее?..¹ В тысячу раз лучше, чем участвовать в их дурацких переживаниях. Он оскорбит Макомбера, и они рассорятся. Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему. Так всегда говорят, если на охоте выйдут неприятности. Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь: «Ну, как у вас?» — а он отвечает: «Да ничего, по-прежнему пью их виски», — и сразу понимаешь, что дело дрянь.

— Простите, — сказал Макомбер, повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским, и Уилсон отметил его коротко остриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и складный подбородок. — Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю.

Ну что тут подделаешь? — думал Уилсон. Он хотел поссориться быстро и окончательно, а этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку.

— Не беспокойтесь, я болтать не буду, — сказал он. — Мне не хочется терять заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает.

— Я удрал, как заяц, — сказал Макомбер.

Тьфу, подумал Уилсон, ну что подделаешь с человеком, который говорит такие вещи?

Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза.

— Может быть, я еще отыграюсь на буйволах, — сказал Макомбер. — Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди?

— Хотя завтра, если хотите, — ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Макомбер прав, так и надо держаться. Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро. Но разве забудешь. Утро вышло такое, что хуже не выдумать.

— Вот и мемсаиб идет, — сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но

¹ Совершенное почтение (*фр.*).

она не глупа, думал Уилсон, нет, что угодно — только не глупа.

— Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше?

— Гораздо лучше, — сказал Макомбер.

— Я решила забыть об этой истории, — сказала она, садясь к столу. — Не все ли равно, хорошо или плохо Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Это профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон, тот действительно интересен, когда убивает. Ведь вы всё убиваете, правда?

— Да, всё, — сказал Уилсон. — Всё, что угодно.

Такие вот, думал он, самые черствые на свете; самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные; они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками. Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не внове; потому что эта, безусловно, очень обольстительна.

— Завтра едем бить буйволов, — сказал он ей.

— И я с вами.

— Вы не поедете.

— Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис?

— А может, тебе лучше остаться в лагере?

— Ни за что, — сказала она. — Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу.

Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная жепщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно видит, как обстоит дело. А через двадцать минут она возвращается вся заковавшая в свою женскую американскую жестокость. Ужасные они женщины. Просто ужасные.

— Завтра мы опять устроим для тебя представление, — сказал Фрэнсис Макомбер.

— Вы не поедете, — сказал Уилсон.

— Ошибаетесь, — возразила она. — Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. То есть, конечно, если может быть мило, когда кому-нибудь снесут череп.

— Вот и завтрак, — сказал Уилсон. — Вам, кажется, очень весело?

— А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать.

— Да, скучать пока не приходилось,— сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро.

— Еще бы,— сказала она.— Замечательно было. А завтра... Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня.

— Попробуйте бифштекс из антилопы куду,— сказал Уилсон.

— Очень вкусное мясо,— сказал Макомбер.

— Это такие большие звери вроде коров и прыгают, как зайцы, да?

— Описано довольно точно,— сказал Уилсон.

— Это ты ее убил, Фрэнсис? — спросила она.

— Да.

— А они не опасные?

— Нет, разве что свалятся вам на голову,— ответил ей Уилсон.

— Это утешительно.

— Пельзя ли без гадостей, Марго,— сказал Макомбер; он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилкой, набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса.

— Хорошо, милый,— сказала она,— раз ты так любезно об этом просишь.

— Вечером sprysнем льва шампанским,— сказал Уилсон.— Сейчас слишком жарко.

— Ах да, лев,— сказала Марго.— Я и забыла про льва.

Ну вот, подумал Роберт Уилсон, теперь она пад ним издевается. Или она воображает, что так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить жепщина, обнаружив, что ее муж — последний трус? Жестока она до черта,— впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства.

— Возьмите еще жаркого,— вежливо сказал он ей.

Ближе к вечеру Уилсон и Макомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Макомбер осталась в лагере. Очень жарко, ехать не хочется, сказала она, к тому же она поедет с ними завтра утром. Когда они отъезжали, она стояла под боль-

шим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника.

В кустах они подняли стадо водяных антилоп и, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными изогнутыми рогами, и Макомбер убил его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых двухсот ярдов, в то время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая и перепрыгивая друг через друга, поджимая ноги, длинными скачками, такими же плавными и немислимыми, как те, что делаешь иногда во сне.

— Хороший выстрел, — сказал Уилсон. — В них попасть не легко.

— Ну как, стоящая голова? — спросил Макомбер.

— Голова превосходная, — ответил Уилсон. — Всегда так стреляйте, и все будет хорошо.

— Как думаете, найдем мы завтра буйволов?

— По всей вероятности, найдем. Они рано утром выходят пастись, и, если посчастливится, мы застанем их на поляне.

— Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом, — сказал Макомбер. — Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены.

По-моему, это само по себе достаточно неприятно, подумал Уилсон, все равно, видит вас жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом. Но он сказал:

— Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось.

Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке, под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую некогда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его.

Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончался он ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему страшно, некому разделить его страх, он лежал один и не знал сомалийской поговорки, которая гласит, что храбрый человек три раза в жизни пугается льва: когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его рычание и когда впервые встретится с ним. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем.

— Похоже, что старый,— сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы.— Слышите, как кашляет.

— Он очень близко отсюда?

— Около мили вверх по ручью.

— Мы увидим его?

— Постараемся.

— Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере.

— Слышно очень далеко,— сказал Роберт Уилсон.— Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить. Туземцы говорили, что тут есть один очень большой.

— Если придется стрелять, куда пужно целиться, чтобы остановить его? — спросил Макомбер.

— В лопатку,— сказал Уилсон.— Если сможете, в шею. Цельте в кость. Старайтесь убить наповал.

— Надеюсь, что я попаду,— сказал Макомбер.

— Вы прекрасно стреляете,— сказал Уилсон.— Не торопитесь. Стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий.

— С какого расстояния надо стрелять?

— Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка.

— Ближе чем со ста ярдов? — спросил Макомбер.

Уилсон бросил на него быстрый взгляд.

— Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-

чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто — хорошая дистанция. С нее можно бить куда угодно, на выбор. А вот и мемсаиб.

— С добрым утром,— сказала она.— Ну что, едем?

— Как только вы позавтракаете,— сказал Уилсон.— Чувствуете себя хорошо?

— Превосходно,— сказала она.— Я очень волнуюсь.

— Пойду посмотрю, все ли готово.— Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова.— Вот расшумелся,— сказал Уилсон.— Мы эту музыку прекратим.

— Что с тобой, Фрэнсис? — спросила его жена.

— Ничего,— сказал Макомбер.

— Нет, в самом деле. Чем ты расстроен?

— Ничем.

— Скажи.— Она пристально посмотрела на него.— Ты плохо себя чувствуешь?

— Этот рев, черт бы его побрал,— сказал он.— Ведь он не смолкал всю ночь.

— Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала.

— И мне нужно убить эту гадину,— жалобно сказал Макомбер.

— Так ведь ты для этого сюда и прискал?

— Да. Но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание.

— Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон.

— Хорошо, дорогая,— сказал Фрэнсис Макомбер.— На словах это очень легко, правда?

— Ты уж не бойшься ли?

— Конечно, нет. Но я слышал его всю ночь и теперь нервничаю.

— Ты убьешь его, и все будет чудесно,— сказала она.— Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет.

— Кончай завтракать, и поедем.

— Куда в такую рань,— сказала она.— Еще даже не рассвело.

В эту минуту лев опять зарычал,— низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибрирующий, нарастающий звук, который словно всколыхнул воздух и окончился вздохом и глухим, низким ворчанием.

— Можно подумать, что он здесь, рядом,— сказала жена Макомбера.

— Черт,— сказал Макомбер,— просто не выношу этого рева.

— Звучит внушительно.

— Внушительно! Просто ужасно.

К ним подошел Роберт Уилсон, держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку Гиббса калибра 0,505 и весело улыбаясь.

— Едем,— сказал он.— Ваш «спрингфилд» и второе ружье взял ваш ружейносец. Все уже в машине. Патроны у вас?

— Да.

— И готова,— сказала миссис Макомбер.

— Надо его утихомирить,— сказал Уилсон.— Садитесь к шоферу. Мэмсаиб может сесть сзади, со мной.

Они соли в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье — машина была без дверей, вроде ящика на колесах,— и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал:

— Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи.

Макомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы.

— Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить,— прошептал Уилсон.— Смотрите в оба.

Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло, автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Макомбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась.

— Вот он,— услышал он шепот Уилсона.— Впереди, справа. Выходите и стреляйте. Лев замечательный.

Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на фоне

берега, лев казался огромным, с пeverоятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем.

— Сколько до него? — спросил Макомбер, вскидывая ружье.

— Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте.

— А отсюда нельзя?

— По льву из автомобиля не стреляют, — услышал он голос Уилсона у себя над ухом. — Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять.

Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту машины около переднего сиденья, ступил на подножку, а с нее — на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из сторопы в сторону массивной головой. Он всматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит «это», — и вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека, и тогда, повернув тяжелую голову, он двинулся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной двухсотдвадцатиградовой пули калибра 0,30—0,6, которая впиалась ему в бок и внезапной, горячеей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил, грузный, большеланый, отяжелевший от раны и сытости, к высокой траве и деревьям, и опять раздался треск и прошел мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар, — пуля попала ему в нижние ребра и прошла навывлет, — и кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который се держит.

Макомбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Ляжки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, чтобы снять с него, опустил ружье, сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт

отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил и, услышав характерное «уонк», понял, что не промахнулся; но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все слышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора.

Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись, возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же, рядом, оба туземца тараторили что-то на вакамба.

— И попал в него,— сказал Макомбер.— Два раза попал.

— Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь,— сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали.— Может, вы его и убили,— продолжал Уилсон.— Переждем немного, а потом пойдем посмотрим.

— То есть как?

— Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу.

— А-а,— сказал Макомбер.

— Замечательный лев, черт побери,— весело сказал Уилсон.— Только вот спрятался в скверном месте.

— Чем оно скверное?

— Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную.

— А-а,— сказал Макомбер.

— Ну, пошли,— сказал Уилсон.— Мемсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровляной след.

— Побудь здесь, Марго,— сказал Макомбер жене. Вороту у него пересохло, и он говорил с трудом.

— Почему? — спросила она.

— Уилсон велел.

— Мы сходим посмотреть, как там дела,— сказал Уилсон.— Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно.

— Хорошо.

Уилсон сказал что-то на суахили шоферу. Тот кивнул и ответил:

— Да, бвана.

Потом они спустились по крутому берегу к ручью, порешли его по камням, поднялись на другой берег, цеп-

ляясь за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макомбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови: туземцы указали на них длинными стеблями, — они вели за прибрежные деревья.

— Что будем делать? — спросил Макомбер.

— Выбирать не приходится, — сказал Уилсон. — Автомобиль сюда не переоправишь. Берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его.

— А нельзя поджечь траву? — спросил Макомбер.

— Слишком свежая, не загорится.

— А нельзя послать загопщиков?

Уилсон смерил его глазами.

— Конечно, можно, — сказал он. — Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать, — он будет уходить от шума, — но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться. Послать на такое дело туземцев рука не подымется. Непременно кого-нибудь искалечит.

— А ружьеносцы?

— Ну, они-то пойдут с нами. Это их «шаури». Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается.

— Я не хочу туда идти, — сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит.

— Я тоже, — сказал Уилсон бодро. — Но ничего не поделаешь. — Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макомбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо.

— Вы, конечно, можете не ходить, — сказал он. — Для этого меня и нанимают. Поэтому я и стою так дорого.

— То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там?

Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Макомбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отель и увидел что-то непристойное.

— То есть как это?

— Просто оставить его в покое.

— Сделать вид, что мы не попали в него?

— Нет. Просто уйти.

— Так не делают.

— Почему?

— Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться.

— Понимаю.

— Но вам совершенно не обязательно идти с нами.

— Я бы пошел,— сказал Макомбер.— Мне, понимаете, просто страшно.

— Я пойду вперед,— сказал Уилсон.— Старик Конгопи будет искать следы. Вы держитесь за мной, темного сбоку. Очень возможно, что он заворчит, и мы услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам и в самом деле лучше не ходить? Правно же, лучше. Пошли бы к мемсаиб, и я там с ним покопчу.

— Нет, я пойду.

— Как знаете,— сказал Уилсон.— Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой «шаури».

— Я пойду,— сказал Макомбер.

Они сидели под деревом и курили.

— Хотите пока поговорить с мемсаиб? — спросил Уилсон.— Успеете.

— Нет.

— Я пойду, скажу ей, чтоб запаслась терпением.

— Хорошо,— сказал Макомбер. Он сидел потный, в рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене.

Уилсон скоро вернулся.

— Я захватил ваш штуцер,— сказал он.— Вот, возьмите. Мы дали ему достаточно времени. Идем.

Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал:

— Держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, как я скажу.— Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами, вид у них был мрачнее мрачного.

— Пошли,— сказал он.

— Мне бы глотнуть воды,— сказал Макомбер.

Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка, тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу, и Макомбер, взяв ее, почувствовал, какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол. Он поднес ее

к губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Легкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на ружьеносца и понял, что его тоже мучит страх.

В тридцати пяти шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с черной кисточкой. Он залег сразу после того, как достиг укрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена. Бока его были потные и горячие, мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргая от боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда он услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся.

Конгони, старый туземец, шел впереди, высматривая следы крови; Уилсон со штуцером на изготовке подстерегал каждое движение в траве; второй туземец смотрел вперед и прислушивался; Макомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном; и не успели они вступить в траву, как Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью.

Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона — «ка-ра-уонг!» и еще раз «ка-ра-уонг!», и, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а краснолицый человек переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится, потом опять вспышка и «ка-ра-уонг!» из дула, и ползущее, грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед, и Макомбер, — стоя один на открытом месте, держа в руке заряженное ружье, в то время как двое черных людей и один белый с презрением глядели на него, — понял, что лев издох. Он подошел к Уил-

сону, — самый рост его казался немим укором, — и Уилсон посмотрел на него и сказал:

— Снимки делать будете?

— Нет, — ответил он.

Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал:

— Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру. Мы можем пока посидеть здесь, в тени.

Жена ни разу не взглянула на Макомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон — впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей, туда, где туземцы освежали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы.

— Ну-ну, — сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром.

— Мистер Роберт Уилсон, — сказала она. — Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон.

Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей, туда, где лежал лев; его освеженные лапы с белыми мышцами и сеткой суживший были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря.

Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0,505-го калибра с силой в две тонны размогил ему пасть; и что толкало его вперед после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами «замечательный лев», но Макомбер не знал также, каково было Уилсону. Он не знал, каково его жене, знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое — а это он действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль;

и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир; и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше; она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умей он больше давать женщинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу жену; но и она его слишком хорошо знала и на этот счет не беспокоилась. К тому же он всегда был очень терпим, и это было его самой приятной чертой, если не самой опасной.

В общем, по мнению света, это была сравнительно счастливая пара, из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся, и теперь они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент *приключения* придаст остроту их поэтичному, пережившему года *роману*, отправились на *сафари* в страну, бывшую *Черной Африкой* до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва *Старого Симбо*, на буйволов и на слона *Тембо*, в то же время собирая материал для Музея естественных наук». Тот же репортер, по крайней мере, три раза уже сообщал публике, что они «на грани», и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит.

Было три часа ночи, и Фрэнсис Макомбер, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга — он видел во сне, что над ним стоит лев с окровавленной головой, — и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа.

Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог и уютно улеглась в постель.

— Где ты была? — спросил Макомбер в темноте.

— Хэлло,— сказала она.— Ты не спишь?
— Где ты была?
— Просто выходила подышать воздухом.
— Черта с два.
— А что я должна сказать, милый?
— Где ты была?
— Выходила подышать воздухом.
— Вот, значит, как это теперь пазывается. Шлюха.
— А ты — трус.
— Пусть,— сказал он.— Что ж из этого?
— По мне — ничего. Но давай, милый, не будем сейчас разговаривать, мне очень хочется спать.
— Ты воображаешь, что я все стерплю.
— Я это знаю, дорогой.
— Так вот, не стерплю.
— Пожалуйста, милый, давай помолчим. Мне ужасно хочется спать.
— Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет.
— Ну, а теперь есть,— сказала она ласково.
— Ты сказала, что, если мы поедem сюда, этого не будет. Ты обещала.
— Да, милый. Я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить?
— Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козырь, а?
— Пожалуйста, не будем говорить. Мне так хочется спать, милый.
— А я буду говорить.
— Ну, тогда прости, я буду спать.— И заснула.
Еще до рассвета все трое сидели за завтраком, и Франсис Макомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона.
— Как спали? — спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку.
— А вы?
— Отлично,— ответил белый охотник.
Сволочь, подумал Макомбер, наглая сволочь.
Значит, она его разбудила, когда вернулась, думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват.

— Как вы думаете, найдем мы буйволов? — спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами.

— Вероятно, — сказал Уилсон и улыбнулся ей. — А вам не остаться ли в лагере?

— Ни за что, — ответила она.

— Прикажите ей остаться в лагере, — сказал Уилсон Макомберу.

— Сами прикажите, — ответил Макомбер холодно.

— Давайте лучше без приказаний и, — обращаясь к Макомберу, — без глупостей, Фрэнсис, — сказала Марго весело.

— Можно ехать? — спросил Макомбер.

— Я готов, — ответил Уилсон. — Вы хотите, чтобы мемсаб поехала с нами?

— Не все ли равно, хочу я или нет.

Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот уж правда, можно сказать, дьявольщина. Так, значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так.

— Решительно все равно, — сказал он.

— Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному? — спросил Макомбер.

— Не имею права, — сказал Уилсон. — Бросьте вы вздор болтать.

— Это не вздор. Мне противно.

— Нехорошее слово — противно.

— Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно, — сказала его жена.

— Я и так, черт возьми, говорю разумно, — сказал Макомбер. — Ели вы когда-нибудь такую гадость?

— Вы недовольны едой? — спокойно спросил Уилсон.

— Не больше, чем всем остальным.

— Возьмите себя в руки, голубчик, — сказал Уилсон очень спокойно. — Один из боев немного понимает по-английски.

— Ну и черт с ним.

Уилсон встал и, попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на суахили несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Макомбер и его жена остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку.

— Если ты устроишь скандал, милый, я тебя брошу, — сказала Марго спокойно.

— Не бросишь.

— Попробуй — увидишь.
— Не бросишь ты меня.
— Да,— сказала она.— Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично.
— Прилично? Это мне нравится. Прилично.
— Да. Прилично.
— Ты бы сама постаралась вести себя прилично.
— Я долго старалась. Очень долго.
— Ненавижу эту краснорожую свинью,— сказал Макомбер.— От одного его вида тошно делается.
— А знаешь, он *очень* милый.
— *Замолчи!* — крикнул Макомбер.

В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом.

— Едем охотиться? — спросил он.
— Да,— сказал Макомбер, вставал.— Да.
— Захватите свитер. Ехать будет холодно,— сказал Уилсон.

— Я пойду возьму кожаную куртку,— сказала Марго.
— Она у боя,— сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Макомбер с женой молча уселись на заднем сиденье.

С этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок, думал Уилсон. И зачем только берут на охоту женщин?

Спустившись к ручью, автомобиль пересек его вброд там, где камни были мелкие, а потом, в сером свете утра, зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полей.

Хорошее утро, думал Уилсон. Было очень росисто, колеса шли по траве и низкому кустарнику, и он чувствовал запах раздавленных листьев. От них пахло вербеной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог, в редком, как парк, лесу. Те двое, на заднем сиденье, больше не интересовали его, он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где охота на них была невозможна; но по ночам они выходили пастись на большую

полян, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на буйволов в чаще. Ему не хотелось охотиться с Макомбером ни на буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги, на этом бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Макомбер тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам вивоват, растяпа несчастный.

Он, Роберт Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он знал свою клиентуру — веселящаяся верхушка общества, спортсмены-любители из всех стран, женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке с белым охотником. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его понимали, их мерки были его мерками.

Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо паниковать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это. А вот Макомбер этот — какой-то чудак. Право, чудак. Да еще жена. Ну, что ж, жена. Да, жена. Гм, жена. Ладно, с этим покончено. Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у нее на уме — одному богу известно, подумал Уилсон. Ночью она не много разговаривала. А смотреть на нее все-таки приятно.

Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев; ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие муравейники. Потом

Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал:

— Смотрите, вот они.

Машина рванулась вперед, Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили, и, взглянув, куда он указывал, Макомбер увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловища напряженно вытянулись на скаку, и он видел их загнутые сверху, широко раскинутые черные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы.

— Три старых самца,— сказал Уилсон.— Мы успеем отрезать им путь к болоту.

Автомобиль летел по кочкам со скоростью сорока пяти миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли, так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то, они подъехали совсем близко, и он ясно видел скачущую глыбу и пыль, насевшую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую, с широкими ноздрями морду, и он уже вскинул ружье, но Уилсон крикнул: «Не с машины, идиот вы этакий!» И в нем не было страха, только ненависть к Уилсону, а тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она варыла землю и почти остановилась, и Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись погами все еще убегавшей назад земли, а потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, а он все уходил; вспомнил наконец, что надо целить ближе к голове, в плечо, и, уже перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал. Упал на колени, мотнув тяжелой головой, и Макомбер, заметив, что те два все скадут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное «ка-ра-уонг!» винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю.

— Теперь третьего,— сказал Уилсон.— Вот это стрельба!

Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Макомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли, и Уилсон крикнул: «Едем! Так не достать!» — и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Макомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно, прямо вперед.

Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны: затвор зашалил, он выправил его; и когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорал: «Стой!» И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбера столкнуло вперед на землю, но он не упал, рванул вперед затвор и выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще, и пули, хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макомбера, и он увидел, что буйвол запатался. Он выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени.

— Здорово, — сказал Уилсон. — Чисто сработано. Теперь все три.

Макомбера охватил пьяный восторг.

— Сколько раз вы стреляли? — спросил он.

— Только три, — сказал Уилсон. — Первого убили вы. самого большого. Двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли.

— Пойдемте к машине, — сказал Макомбер. — Я хочу выпить.

— Сначала нужно прикончить вот этого, — сказал Уилсон.

Буйвол стоял на коленях и, когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свинные глазки.

— Смотрите, как бы не встал, — сказал Уилсон. И еще: — Отойдите немного вбок и бейте в шею, за ухом.

Макомбер старательно прицелился в середину огромной, дергающейся, разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед.

— Правильно, — сказал Уилсон. — В позвоночник. Ну и страшилища, черт их дери, а?

— Пойдем выпьем, — сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо.

В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная.
— Ты был изумителен, милый,— сказала она Макомберу.— Ну и гонка!

— Очень трясло? — спросил Уилсон.

— Очень страшно было. Я в жизни еще не испытывала такого страха.

— Давайте все выпьем,— сказал Макомбер.

— Обязательно,— сказал Уилсон.— Мемсаиб первая.— Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передернулась, глотая. Потом передала фляжку Макомберу, а тот Уилсону.

— Это так волнует,— сказала она.— У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей.

— Никто и не стрелял из автомобилей,— сказал Уилсон холодно.

— Ну, гнаться за ними в автомобиле.

— Вообще-то это не принято,— сказал Уилсон.— Но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если б захотел, мог броситься на нас после любого выстрела. Сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте. Штука незаконная, если вы *это* имели в виду.

— По-моему,— сказала Марго,— нечестно гнаться за этими толстыми, беззащитными зверями в автомобиле.

— В самом деле?

— Что, если бы об этом узнали в Найроби?

— Первым делом у меня отобрали бы свидетельство. Ну и так далее, всякие неприятности,— сказал Уилсон, отпивая из фляжки.— Остался бы без работы.

— Правда?

— Да, правда.

— Ну вот,— сказал Макомбер и улыбнулся в первый раз за весь день.— Теперь она и к вам прицепилась.

— Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис,— сказала Марго Макомбер.

Уилсон посмотрел на них. Если муж дурак, думал он, а жена дрянь, какие у них могут быть дети? Но сказал он другое:

— Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?

— О, господа, нет,— сказал Макомбер.

— Вот он идет,— сказал Уилсон.— Живехонек. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола.

Старик Конгони, прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке, защитной куртке, коротких штанах и резиновых сандалиях; лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахили, и все увидели, как белый охотник изменился в лице.

— Что он говорит? — спросила Марго.

— Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу, — сказал Уилсон без всякого выражения.

— Вот как, — сказал Макомбер рассеянно.

— Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом, — сказала Марго, оживляясь.

— Будет, черт побери, совсем не так, как со львом, — сказал Уилсон. — Пить еще будете, Макомбер?

— Да, спасибо, — сказал Макомбер. Он ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга.

— Пойдем взглянем на второго буйвола, — сказал Уилсон. — Я велю шоферу отвести машину в тень.

— Куда вы? — спросила Марго Макомбер.

— Взглянуть на буйвола, — сказал Уилсон.

— И я с вами.

— Пойдемте.

Все трое пошли туда, где второй буйвол черной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжелые рога.

— Очень хорошая голова, — сказал Уилсон. — Между рогами дюймов пятьдесят.

Макомбер восхищенно смотрел на буйвола.

— Отвратительное зрелище, — сказала Марго. — Может быть, пойдем в тень?

— Конечно, — сказал Уилсон. — Смотрите, — сказал он Макомберу и протянул руку. — Видите вон те заросли?

— Да.

— Вот туда и ушел первый буйвол. Конгони говорит, что, когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конгони пустился наутек, а бык потихоньку ушел в заросли.

— Пойдем за ним сейчас? — нетерпеливо спросил Макомбер.

Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой.

— Нет, переждем немного.

— Пожалуйста, пойдите в тень,— сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной.

Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели.

— Очень возможно, что он уже издох,— заметил Уилсон.— Подождем немножко и посмотрим.

Макомбер ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще не испытанное.

— Да, вот это была скачка! — сказал он.— Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было, Марго?

— Отвратительно,— сказала она.

— Чем?

— Отвратительно,— сказала она горько.— Мерзость.

— Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь,— сказал Макомбер Уилсону.— Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение.

— Полезно для печени,— сказал Уилсон.— Чего только с людьми не бывает.

Лицо Макомбера сияло.

— Право же, во мне что-то изменилось,— сказал он.— Я чувствую себя совершенно другим человеком.

Его жена ничего не сказала и посмотрела на него, как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Макомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье.

— Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохотился на льва,— сказал Макомбер.— Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?

— Правильно,— сказал Уилсон.— В худшем случае убьют вас. Как это у Шекспира? Очень хорошее место. Сейчас вспомню. Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка, попробую. «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». Хорошо, а?

Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на

его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее,— вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская. Пресловутые американские мужчины-мальчики. Чудной народ, ей-богу. Но сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Забившись в угол автомобиля, Маргарет Макомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидела накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела.

— Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? — спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения.

— Об этом, как правило, молчат, — сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера. — Скорее принято говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно.

— Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?

— Да, — сказал Уилсон. — И точка. Нечего об этом распространяться. А то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает.

— Оба вы болтаете вздор, — сказала Марго. — Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и образовали себя героями.

— Прощу прощенья,— сказал Уилсон.— Я и правда наболтал лишнего.— Уже встревожилась, подумал он.

— Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваться? — сказал Макомбер жене.

— Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый,— презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно.

Макомбер рассмеялся непринужденным, веселым смехом.

— Представь себе,— сказал он.— Действительно стал.

— Не поздно ли? — горько сказала Марго. Потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого.

— Для меня — нет,— сказал Макомбер.

Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины.

— Как вы думаете, теперь пора? — бодро спросил Макомбер.

— Можно попробовать,— сказал Уилсон.— У вас патроны остались?

— Есть немного у ружьеносца.

Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами и принес ее Макомберу; тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман.

— Вы стреляйте из «спрингфилда»,— сказал Уилсон.— Вы к нему привыкли. «Маннлихер» оставим в машине у мемсаиб. Штуцер может взять Конгони. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу.— Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера.— Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основания рогов прикрывают весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственно возможный выстрел — прямо в морду. И еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел. Ну так, с головой они покончили. Едем?

Он позвал туземцев, они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину.

— Я беру только Конгони,— сказал Уилсон.— Второй останется здесь, будет отгонять птиц.

Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Макомбер чувствовал, как у него колотится сердце и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх.

— Вот здесь он вошел в заросли,— сказал Уилсон. И приказал ружьеносцу на суахили: — Найди след.

Автомобиль поравнялся с островком зелени. Макомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макомбер увидел, что жена смотрит на него и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила.

Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Макомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конгони сказал что-то Уилсону и побежал вперед.

— Он там издох,— сказал Уилсон.— Чистая работа.

Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, жали друг другу руки, Конгони пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол — ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед, — нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, и голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил, прямо в широкие ноздри, и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона и, старательно прицелившись, снова выстрелил, а буйвол громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой; он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал.

Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйволу в плечо. Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно, — в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с авто-

мобилила выстрелила из «манлихера» калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, темного сбоку.

Фрэнсис Макомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку буйвол, его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон.

— Не нужно его переворачивать,— сказал Уилсон.

Женщина истерически плакала.

— Подите сядьте в автомобиль,— сказал Уилсон.— Где ружье?

Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье.

— Положи на место,— сказал Уилсон. И прибавил: — Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастие.

Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю.

Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола: ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. «А хорошо, черт его дери,— автоматически отметил его мозг.— Никак не меньше пятидесяти дюймов». Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом и остаться возле него. Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол.

— Ну и натворили вы дел,— сказал он совершенно безучастно.— А он бы вас непременно бросил.

— Перестаньте,— сказала она.

— Конечно, это несчастный случай,— сказал он.— Я-то знаю.

— Перестаньте,— сказала она.

— Но тревожьтесь,— сказал он.— Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступят как свидетели. Вам решительно нечего бояться.

— Перестаньте,— сказала она.

— Будет много возни,— сказал он.— Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так.

— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула женщина.

Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами.

— Больше не буду, — сказал он. — Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.

— О, пожалуйста, перестаньте, — сказала она. — Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте.

— Так-то лучше, — сказал Уилсон. — Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану.

В Мадриде полно мальчиков по имени Пако — уменьшительное от Франсиско, — и есть даже анекдот о том, как один отец приехал в Мадрид и поместил на последней странице «Эль Либераль» объявление: «Пако жду тебя отеле Монтана вторник двенадцать все простил папа», — и как пришлось вызвать отряд конной жандармерии, чтобы разогнать восемьсот молодых людей, явившихся по этому объявлению. Но у того Пако, который служил младшим официантом в пансионе «Луарка», не было ни отца, от которого он мог ждать прощения, ни грехов, которые нужно было прощать. У него были две старшие сестры, служившие горничными в пансионе «Луарка», куда они попали благодаря тому, что прежняя горничная «Луарки», их землячка, оказалась честной и работающей и тем заслужила добрую славу своей деревне и ее уроженкам; и эти сестры дали ему денег на автобус до Мадрида и пристроили его младшим официантом в тот же пансион.

Он был родом из Эстремадуры, где живут в первобытной дикости, едят скудно, а об удобствах не имеют понятия, и сколько он себя помнил, ему всегда приходилось работать с утра до вечера. Это был складный подросток с очень черными, слегка вьющимися волосами, крепкими зубами и кожей, которой завидовали его сестры; и улыбка у него была открытая и ясная. Он был расторопен и хорошо справлялся со своим делом, любил своих сестер, казавшихся ему красавицами и умницами, любил Мадрид, для него еще полный чудес, и любил свою работу, которой яркий свет, чистые скатерти, обязательный фрак и обилие еды на кухне придавали романтический блеск.

В пансионе «Луарка» постоянно жило человек десять — двенадцать, но для Пако, самого молодого из трех

официантов, прислуживавших в столовой, существовали только те, кто имел отношение к бою быков.

Второразрядные матадоры охотно селились в этом пансионе, потому что Калье-Сан-Херонимо было respectable адресом, кормили там превосходно, а за стол и комнату брали недорого. Всякому тореро необходимо производить впечатление человека если не богатого, то, по крайней мере, солидного, поскольку в Испании декорум и внешний лоск ценятся выше мужества, и тореро жили в «Луарке», покуда в кармане оставалась хоть песета. Не было случая, чтобы кто-нибудь из них сменил «Луарку» на лучший или более дорогой отель,— второразрядные тореро никогда не переходят в первый разряд; зато падение с высот «Луарки» бывало стремительным, потому что всякий, кто хоть что-нибудь зарабатывал, мог жить там спокойно, и если уж гостю подавали счет, не дожидаясь требования,— значит, хозяйка пансиона убедилась, что случай безнадежный.

В то время в «Луарке» жили три опытных матадора, а кроме того, два очень хороших пикадора и один превосходный бандерильеро. Для пикадоров и бандерильеро, которым приходилось жить в Мадриде всю весну, а семью оставлять в Севилье, «Луарка» была роскошью; по им хорошо платили, и они имели постоянную работу у матадоров, подписавших несколько контрактов на весенний сезон, и этот подсобный персонал всегда зарабатывал больше, чем любой из трех матадоров, живших в «Луарке». Из этих трех матадоров один был болен и тщательно скрывал это, другой когда-то привлек к себе внимание публики, но быстро вышел из моды, а третий был трус.

Матадор-трус прежде, до страшной раны в живот, полученной им в одно из первых его выступлений на арене, был на редкость смелым и замечательно ловким, и у него еще сохранились кое-какие замашки от времен его славы. Он был всегда безудержно весел и хохотал по всякому поводу, а то и без всякого повода. В свои лучшие дни он любил подшутить над другими, но теперь он это бросил. Для этого нужна была уверенность в себе, которой он уже не чувствовал. У этого матадора было умное, открытое лицо, и он держал себя с большим достоинством.

Матадор, который был болен, больше всего боялся показать это и считал своим долгом не пропускать ни одного блюда, которое подавалось к столу. У него было очень

много носовых платков, которые он сам стирал у себя в комнате, и за последнее время он стал распродавать свои пышные костюмы. Один он задешево продал перед рождением, а другой — в начале апреля. Костюмы были очень дорогие, он всегда очень бережно обращался с ними, и у него еще оставался один. До своей болезни он подавал большие надежды, имел даже шумный успех и хотя был неграмотен, но хранил у себя вырезки из газет, где говорилось, что в свой мадридский дебют он превзошел Бельмонте. Он ел один, за маленьким столиком, почти не поднимая глаз от тарелки.

Матадор, который вышел из моды, был очень маленького роста, смуглый и важный. Он тоже ел за отдельным столом, улыбался редко и никогда не смеялся. Он был родом из Вальядолида, где не любят шуток, и он был способным матадором, но его стиль устарел, прежде чем он успел заслужить симпатии публики своими главными достоинствами — мужеством и уверенным мастерством, и теперь его имя на афише не делало сборов. Вначале он привлек к себе внимание своим маленьким ростом: глаза его приходились на одном уровне с загривком быка, но, кроме него, были и другие невысокие матадоры, и ему так и не удалось стать любимцем публики.

Из пикадоров один был седой, худощавый, с ястребиным лицом, тщедушный на вид, хотя руки и ноги у него были как из железа; он всегда носил охотничьи сапоги и брюки навыпуск, слишком много пил по вечерам и влюбленно глядел на всех женщин в пансионе. Другой был рослый детина, смуглый, красивый, с черными, как у индейца, волосами и огромными ручищами. Оба были отличные пикадоры, хотя о первом ходили слухи, что пьянство и разврат сильно вредят его искусству, а про второго говорили, что из-за своего упрямства и сварливости он ни с кем из матадоров не может проработать больше одного сезона.

Бандерильеро был уже немолод, с проседью, невысокого роста, увертливый, как кошка, несмотря на свои годы, и когда он сидел за столом с газетой, то походил на дельца среднего достатка. Ноги у него еще были крепки, и можно было предполагать, что, когда они утратят силу, у него хватит смекалки и опыта, чтобы еще надолго удержаться на работе. Разница только в том, что, утратив быстроту движений, он постоянно будет испытывать страх,

тогда как сейчас он всегда был спокоен и уверен и на арене и вне ее.

В тот вечер все уже кончили ужинать, и в столовой оставались только пикадор с ястребиным лицом, который слишком много пил, бродячий ярмарочный торговец с родимым пятном во всю щеку, который тоже слишком много пил, и два священника из Галисии, которые сидели за угловым столом и пили если не слишком много, то, во всяком случае, достаточно. В то время в «Луарке» за вино особой платы не брали, это входило в стоимость пансиона, и официанты только что подали по новой бутылке вальдепеньяс сначала торговцу, потом пикадору и, наконец, священникам.

Все три официанта стояли у дверей. В «Луарке» было заведено, что официант мог уйти, только когда освободились все его столы, но в этот вечер тот, за чьим столом сидели священники, торопился на собрание анархо-синдикалистов, и Пако пообещал его заменить.

Наверху матадор, который был болен, лежал ничком на постели, один в своей комнате. Матадор, который вышел из моды, сидел у окна и смотрел на улицу, собираясь отправиться в кафе. Матадор, который стал трусом, звал к себе в комнату старшую сестру Пако и чего-то от нее добивался, а она, смеясь, отмахивалась от него. Он говорил:

— Да ну же, не будь такой дикаркой.

— Не хочу,— говорила сестра.— С какой стати?

— Просто из любезности.

— Вы хорошо поужинали, а теперь сладкого захотели?

— Один разочек. Тебя от этого не убудет.

— Не приставайте. Говорят вам, не приставайте.

— Ведь это же такие пустяки.

— Говорят вам, не приставайте.

Внизу, в столовой, самый высокий официант, тот, что опаздывал на собрание, сказал:

— Вы только посмотрите, как они лакают вино, эти черные свиньи.

— Что за выражения,— сказал второй официант.— Они вполне приличные гости. Они пьют не так уж много.

— Самые правильные выражения,— сказал высокий.— Два бича Испании: быки и священники.

— Но не каждый же бык и не каждый священник,— сказал второй официант.

— Именно каждый,— сказал высокий официант.— Только борясь против каждого в отдельности, можно побороть весь класс. Нужно уничтожить всех быков и всех священников. Всех до одного перебить. Тогда мы от них избавимся.

— Прибереги это для собрания,— сказал второй официант.

— Мадридская дикость,— сказал высокий официант.— Уже половина двенадцатого, а они еще торчат за столом.

— Они только в десять сели,— сказал второй официант.— Ты же знаешь, блюд много. Вино это дешевое, и они заплатили за него. Это не крепкое вино.

— С такими дураками, как ты, где тут думать о рабочей солидарности,— сказал высокий официант.

— Слушай,— сказал второй официант, которому было лет под пятьдесят.— Я работал всю свою жизнь. Весь остаток жизни я тоже должен работать. Я на работу не жалуюсь. Работать — это в порядке вещей.

— Да, но не иметь работы — это смерть.

— Я всегда работал,— сказал пожилой официант.— Ступай на собрание. Можешь не дожидаться.

— Ты хороший товарищ,— сказал высокий официант.— Но у тебя нет никакой идеологии.

— *Mejor si me falta eso que el otro*,— сказал пожилой официант (в том смысле, что лучше не иметь идеологии, чем не иметь работы).— Ступай на свое собрание.

Пако ничего не говорил. Он еще не разбирался в политике, но у него всегда захватывало дух, когда высокий официант говорил про то, что нужно перебить всех священников и всех жандармов. Высокий официант олицетворял для него революцию, а революция тоже была романтична. Сам он хотел бы быть добрым католиком, революционером, иметь хорошее постоянное место, такое, как сейчас, и в то же время быть тореро.

— Иди на собрание, Игнасио,— сказал он.— Я возьму твой стол.

— Мы вдвоем возьмем его,— сказал пожилой официант.

— Да тут и одному делать нечего,— сказал Пако.— Иди на собрание.

— *Pues me voy*¹,— сказал высокий официант.— Спасибо вам.

¹ Так я пошел (исп.).

Между тем наверху сестра Пако ловко вывернулась из объятий матадора, как борец из объхвата противника, и сердито говорила:

— Уж эти мне голодные. Горе-матадор. От страха едва на погах стоит. Поберегли бы свою прыть для арены.

— Ты говоришь, как самая настоящая шлюха.

— Что ж, и шлюха — человек, да только я не шлюха.

— Ну, так будешь шлюхой.

— Только не по вашей милости.

— Оставь меня в покое,— сказал матадор; оскорбленный и отвергнутый, он чувствовал, как позорная трусость снова овладевает им.

— В покое? А я, кажется, вас и не беспокоила,— сказала сестра.— Вот только приготовлю вам постель. Мне за это деньги платят.

— Оставь меня в покое,— сказал матадор, и его широкое красивое лицо исказилось гримасой, как будто он собирался заплакать.— Шлюха. Дрянная шлюшонка.

— Мой матадор,— сказала она, закрывая за собой дверь.— Мой славный матадор.

Матадор сидел на постели. На его лице все еще была гримаса, которую во время боя он превращал в застывшую улыбку, пугая ею зрителей передних рядов, понимавших, что происходит перед ними.

— Еще и это,— повторял он вслух.— Еще и это! И это!

Он помнил то время, когда был еще в форме, и это было всего три года назад. Он помнил тяжесть расшитой куртки в тот знойный майский день, когда его голос еще звучал одинаково на арене и в кафе, и как он направил острие клинка в покрытое пылью место между лопатками, щетинистый черный бугор мышц за широко разведенными, могучими, расщепленными па копытах рогами, которые опустились, когда он приготовился убить, и как шпага вошла, легко, словно в ком застывшего масла, а он стоял, нажимая ладонью головку эфеса, левая рука наперекрест, левое плечо вперед, тяжесть тела на левой ноге,— и вдруг нога перестала чувствовать тяжесть тела. Вся тяжесть была теперь внизу живота, и когда бык поднял голову, одного рога не было видно, рог был весь в нем, и он два раза качнулся в воздухе, прежде чем его сняли. И теперь, когда он готовится убить, а это бывает редко, он не может смотреть на рога, и где какой-то шлюхе понять, что он испытывает, выходя на бой? А много ли

пришлось испытать тем, что смеются над ним? Все они — шлюхи, и черт с ними.

Внизу, в столовой, пикадор сидел и смотрел на священников. Если в комнате бывали женщины, он разглядывал женщин. Если женщин не было, он с любопытством разглядывал какого-нибудь иностранца, *un inglés*, но, так как сейчас не было ни женщин, ни англичан, он разглядывал весело и дерзко двух священников за угловым столом. Между тем торговец с родимым пятном на щеке встал, сложил свою салфетку и вышел, оставив на столе наполовину недонитую бутылку. Если б его счет в «Луарке» был оплачен, он выпил бы все вино.

Священники не смотрели на пикадора. Один из них говорил:

— Вот уже десять дней, как я здесь, и целые дни я просиживаю в передней, а он меня не принимает.

— Что же делать?

— Ничего. Что можно сделать? Против власти не пойдешь.

— Я уже две недели здесь, и тоже ничего.

— Все дело в том, что мы из захолустья. Вот выйдут все деньги, и придется ехать назад.

— В свое захолустье. Мадриду нет дела до Галисии. Провинция бедная, глухая.

— Можно вполне понять поступок брата Базилио.

— И все-таки я как-то не очень доверяю Базилио Альпаресу.

— В Мадриде многое научишься понимать: Мадрид — погибель Испании.

— Хоть бы уж принял и отказал.

— Пост. Раньше нужно вымотать человека, извести ожиданием.

— Ну что ж, посмотрим. Я умею ждать не хуже других.

В эту минуту пикадор поднялся с места, подошел к столу священников и остановился — седой, похожий на истреба, разглядывая их и улыбаясь.

— Тогого,— сказал один священник другому.

— И хороший тогого,— сказал пикадор и вышел из столовой — тонкий в талии, кривоногий, в серой куртке, узких брюках навыпуск и сапогах скотовода, каблуки которых пощелкивали, когда он шел к выходу, ступая вполне твердо и улыбаясь самому себе. Его жизнь была замкнута в узком, тесном мире профессиональных до-

стижений, ночных пьяных подвигов и неумеренного хвастовства. В вестибюле он закурил сигару и, сдвинув шляпу на одно ухо, отправился в кафе.

Священники вышли тотчас же за пикадором, смущенно заторопившись, когда заметили, что они позже всех задержались за столом и в комнате никого не осталось. Пако и пожилой официант убрали со столов и вынесли на кухню бутылки.

На кухне сидел Энрике, парень, который мыл посуду. Он был тремя годами старше Пако и уже озлоблен и циничен.

— На, выпей,— сказал ему пожилой официант, налил стакан вальдепеньяс и подал ему.

— Можно.— Энрике взял стакан.

— А ты, Пако? — спросил пожилой официант.

— Спасибо,— сказал Пако.

Все трое выпили.

— Ну, я ухожу,— сказал пожилой официант.

— Спокойной ночи,— ответили они ему.

Он вышел, и они остались одни. Пако взял салфетку, которой утирал губы один из священников, и, выпрямившись, сдвинув пятки, опустил салфетку вниз и потом провел ею по воздуху, следуя головой за движением руки в неторопливой, размеренной веронике. Он повернулся и, чуть выставив вперед ногу, сделал второй взмах, затем шагнул вперед, заставляя отступить воображаемого быка, и сделал третий взмах, неторопливый, безукоризненно ритмичный и плавный, потом, собрав салфетку, прижал ее к боку и, сделав полуверонику, увернулся от быка.

Энрике следил за его движениями критическим и насмешливым взглядом.

— Ну, как бык? — спросил он.

— Бык очень храбрый,— сказал Пако.— Смотри.

Став в позу, стройный и прямой, он сделал еще четыре безукоризненных взмаха, легких, закругленных и изящных.

— А бык что? — спросил Энрике, стоя у водопроводной раковины в фартуке, со стаканом вина в руке.

— Еще хоть куда,— сказал Пако.

— Не глядел бы я на тебя,— сказал Энрике.

— А что?

— Смотри! — Энрике сбросил фартук и, дразня воображаемого быка, исполнил четыре безукоризненных, томно-плавных вероники и закончил реболерой, описав фар-

туком четкий полукруг под самой мордой быка, перед тем как отойти от него.

— Видал? — сказал он. — А я посуду мою.

— Почему же?

— Страх, — сказал Энрике. — Miedo. Такой же страх и ты бы почувствовал на арене, перед быком.

— Нет, — сказал Пако. — Я бы не боялся.

— Lesche! — сказал Энрике. — Все боятся. Только матадоры умеют подавлять свой страх, и он не мешает им работать с быком. Я раз участвовал в любительском бое быков, и мне было так страшно, что я не выдержал и убежал. Все очень смеялись. И ты бы тоже боялся. Если бы не этот страх, в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором. Ты бы еще больше меня струсил — ведь ты деревенский.

— Нет, — сказал Пако. Он столько раз проделывал все это в своем воображении. Столько раз он видел рога, видел влажную бычью морду, и как дрогнет ухо, и потом голова пригнется книзу, и бык кинется, стуча копытами, и разгоряченная туша промчится мимо него, когда он взмахнет плащом, и снова кинется, когда он взмахнет еще раз, потом еще, и еще, и еще, и закружит быка на месте своей знаменитой полувероникой, и, покачивая бедрами, отойдет прочь, выставляя напоказ черные волоски, застрявшие в золотом шитье куртки, а бык будет стоять как вкопанный перед аплодирующей толпой. Нет, он бы не боялся. Другие — может быть. Но он — нет. Он знал, что не боялся бы. А если бы он и почувствовал когда-нибудь страх, он знал, что сумел бы проделать все, что нужно. Он был уверен в себе.

— Я бы не боялся, — сказал он.

Энрике повторил ругательство. Потом он сказал:

— А давай попробуем.

— Как?

— Смотри, — сказал Энрике. — Ты думаешь о быке, но ты не думаешь о рогах. У быка сила знаешь какая, — его рог режет, как нож, колет, как штык, и глушит, как дубина. Смотри. — Он выдвинул ящик и достал два больших кухонных ножа. — Я их привяжу к ножкам стула. Я буду за быка и стул буду держать над головой. Ножи — это рога. Вот если ты так сделаешь все свои приемы, это уж будет всерьез.

— Дай мне твой фартук, — сказал Пако. — Мы это сделаем в столовой.

— Нет,— сказал Энрике, вдруг забыв свою злость.— Не надо, Пако.

— Давай,— сказал Пако.— Я не боюсь.

— Будешь бояться, когда увидишь перед собой жижи.

— Посмотрим,— сказал Пако.— Давай фартук.

В то время, когда Энрике, взяв два тяжелых, отточенных, как бритва, кухонных ножа, накрепко привязывал их к ножкам стула грязными салфетками, до половины прихватывая нож, туго прикручивая и потом завязывая узлом, обе горничные, сестры Пако, торопились в кино смотреть «Анну Кристи» с Гретой Гарбо. Один из двух священников сидел на постели в нижнем белье и читал свой требник, а другой надел уже почную сорочку и бормотал молитвы, перебирая четки. Все торо, за исключением того, который был болен, уже совершили свой вечерний выход в кафе «Форнос». Высокий смуглый пикадор играл на бильярде. Маленький неразговорчивый матадор пил кофе с молоком за столиком, вокруг которого теснились пожилой бандерильеро и еще несколько настоящих профессионалов.

Подвыпивший седой пикадор сидел за рюмкой коньяку и с удовольствием поглядывал на соседний стол, где матадор, который утратил мужество, сидел с другим матадором, который сменил шпагу на бандерильи, и с двумя довольно потрепанного вида проститутками. Торговец остановился на углу и беседовал с приятелями. Высокий официант сидел на собрании анархо-синдикалистов и ждал случая выступить. Пожилой официант расположился на террасе кафе «Альварес» и потягивал пиво. Хозяйка «Луарки» уже заснула, лежа на спине, большая, толстая, честная, опрятная, добродушная, очень пажобная, все еще не переставшая оплакивать и каждый день поминать в своих молитвах мужа, который умер двадцать лет назад. Один в своей комнате, матадор, который был болен, ничком лежал на постели, зажимая рот носовым платком.

А в пустой столовой Энрике затянул последний узел па салфетках, которыми ножи были привязаны к ножкам стула, и поднял стул. Он повернул его ножками вперед и держал над головой так, что ножи торчали по обе стороны его лица.

— А тяжело,— сказал он.— Смотри, Пако. Это очень опасно. Лучше не надо.— Он весь вспотел.

Пако встал к нему лицом и во всю ширину расправил фартук, захватив по складке каждой рукой, большие пальцы вверх, указательные вниз, во всю ширину, чтобы привлечь внимание быка.

— Кидайся прямо вперед,— сказал он.— А потом поворачивай, как бык. Кидайся столько раз, сколько захочешь.

— А как ты узнаешь, когда делать последний взмах? — спросил Энрике.— Лучше всего делай три полных и одну полуверонику.

— Ладно,— сказал Пако.— Только ты иди прямо вперед. Ю-у, torito. Иди, бычок, иди!

Низко пригнув голову, Энрике разбежался прямо на него, и Пако взмахнул фартуком в тот самый миг, когда острие ножа прошло у его живота, и когда оно мелькнуло перед ним, это был для него настоящий рог, черный, гладкий, с белым концом, и когда Энрике, проскочив мимо него, повернулся, чтобы снова броситься вперед, это разгоряченная, израненная туша быка прогрохотала мимо, потом извернулась по-кошачьи и снова пошла на него, когда он медленно взмахнул плащом. Потом бык снова повернул, и, не сводя глаз с приближающегося острия, он ступил левой ногой вперед на два дюйма дальше, чем нужно, и нож по мелькнул мимо, но возмущен, легко, словно в мех с вином, и что-то брызнуло, обжигая, из-под внезапного упора стали внутри, и Энрике закричал: «Ай! Ай! Дай я вытащу! Дай я вытащу!» — и Пако повалился вперед на стул, все еще не выпуская из рук фартука-плаща, а Энрике тянул стул к себе, и нож поворачивался в нем, в нем, в Пако.

Наконец нож вышел, и он сидел на полу в расплывающейся все шире теплой луже.

— Приложи салфетку. Прижми ее! — сказал Энрике.— Крепче прижми! Я побегу за доктором. Постарайся задержать кровотечение.

— Нужен резиновый жгут,— сказал Пако. Он видел, как это делают на арене.

— Я шел прямо,— сказал Энрике, плача.— Я только хотел показать, как это опасно.

— Ничего,— сказал Пако, и голос его как будто шел издалека.— Только приведи доктора.

На арене тогда поднимают и несут, почти бегом, в операционную. Если вся кровь из бедренной артерии вытечет еще по дороге, тогда зовут священника.

— Позови священника сверху,— сказал Пако, крепко прижимая салфетку к низу живота. Он никак не мог поверить, что это случилось с ним.

Но Энрике бежал уже по Каррера-Сан-Херонимо к пункту «Скорой помощи», и Пако оставался один до самого конца; сначала сидел, потом скорчился на полу, потом упал пичком и так лежал, пока все не кончилось, чувствуя, как жизнь выходит из него, точно вода из ванны, когда откроешь сток. Ему было страшно, и у него кружилась голова, и он хотел прочитать покаянную молитву и уже вспомнил начало, но едва он успел сказать скороговоркой: «Велика скорбь моя, господи, что я прогневил тебя, который достоин всей любви моей, и я твердо...» — голова у него закружилась еще сильнее, и больше он ничего не мог вспомнить и только лежал ничком на полу. Все кончилось очень скоро. Кровь из перерезанной бедренной артерии вытекает быстрее, чем думают.

Когда врач «Скорой помощи» поднимался по лестнице вместе с полицейским, который держал Энрике за плечо, обе сестры Пако все еще сидели в кино на Виа-Гранде и все больше разочаровывались в фильме с Гарбо, где знаменитая кинозвезда являлась в жалкой, нищенской обстановке, тогда как они привыкли видеть ее окруженной роскошью и богатством. Публика была очень недовольна фильмом и в знак возмущения свистела и топала ногами. Все остальные обитатели пансиона были заняты почти тем же, что и в момент несчастья, только оба священника кончили уже молиться и готовились лечь спать, а седой пикадор перенес свой коньяк на тот стол, где сидели потрепанные проститутки. Немного спустя он вышел из кафе с одной из них. Это была та, которую угощал матадор, утративший мужество.

Мальчик Пако так и не узнал ни об этом, ни о том, что делали эти люди на следующий день и все другие дни. Он ничего не знал о том, как такие люди живут и как умирают. Он даже не думал о том, что они вообще умирают. Он умер, как говорится, полный иллюзий. Он не успел потерять ни одной из них, как не успел дочитать покаянную молитву.

Он не успел даже разочароваться в фильме с Гарбо, который целую неделю разочаровывал весь Мадрид.

СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

Килиманджаро — покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19 710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик «Нгайэ-Нгайя», что значит «Дом бога». Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

— Самое удивительное, что мне совсем не больно, — сказал он. — Только так и узнают, когда это начинается.

— Неужели совсем не больно?

— Нисколько. Правда, запах. Но ты уж прости. Тебе, должно быть, очень неприятно.

— Перестань. Пожалуйста, перестань.

— Посмотри на них, — сказал он. — Интересно, что их сюда влечет? Самое зрелище или запах?

Койка, на которой он лежал, стояла под тенистой кроной мимозы, и, глядя дальше, на залитую слепящим солнцем долину, он видел трех громадных птиц, раскорячившихся на земле, а в небе парило еще несколько, отбрасывая вниз быстро скользящие тени.

— Они торчат здесь с того самого дня, как сломался паш грузовик, — сказал он. — Сегодня в первый раз сели на землю. Сначала я очень внимательно следил за ними на тот случай, если понадобится всунуть их в какой-нибудь рассказ. Но теперь даже думать об этом смешно.

— Не надо, — сказала она.

— Да ведь это я просто так,— сказал он.— Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности.

— Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом,— сказала она.— Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы с тобой должны взять себя в руки и ждать самолета.

— Или не ждать самолета.

— Ну, скажи, что мне сделать? Неужели я ничем не могу помочь?

— Можешь отрубить мне ногу, тогда не поползет дальше; впрочем, сомневаюсь. Или можешь пристрелить меня. Ты теперь меткий стрелок. Ведь я научил тебя стрелять?

— Не надо так. Хочешь, я почитаю вслух?

— Что?

— Что-нибудь из того, что мы еще не читали.

— Нет, я не могу слушать,— сказал он.— Разговаривать легче. Мы ссоримся, а так время идет быстрее.

— Я не ссорюсь. Я не хочу ссориться с тобой. Не будем больше ссориться. Даже если нервы совсем развинтятся. Может, сегодня за нами пришлют грузовик. Может, прилетит самолет.

— Я не желаю двигаться с места,— сказал он.— Какой смысл? Разве только, чтобы тебе стало легче.

— Это трусость.

— Дай человеку спокойно умереть, неужели тебе обязательно нужно браниться? Что толку обзывать меня трусом?

— Ты не умрешь.

— Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин.— Он посмотрел туда, где три громадные, омерзительные птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее. Четвертая опустилась на землю, пробскала немного, быстро перебирая ногами, и медленно, вразвалку, двинулась к остальным.

— Они кружат около каждой стоянки. Обычно их просто не замечаешь. Ты не умрешь, если сам не сдашься!

— Где ты это вычитала? Боже, до чего ты глупа!

— Тогда думай о ком-нибудь другом.

— Ну уж нет! — сказал он.— Хватит с меня этого занятия.

Он откинулся на подушку и несколько минут лежал молча, глядя на струившийся от зноя воздух и на кромку

зеленовшего вдали кустарника. Там ходили барашки, крохотные и белые на желтом фоне, а еще дальше виднелось стадо зебр, совсем белых рядом с зелеными кустами. Место для стоянки было выбрано отличное — под большими деревьями, у подножия холма, хорошая вода, а в двух шагах почти пересохший источник, над которым по утрам летали куропатки.

— Хочешь, я почитаю вслух? — спросила она снова. Она сидела возле койки на складном парусиновом стуле. — Вот и ветерок поднимается.

— Нет, спасибо.

— Может быть, грузовик скоро придет.

— Много совершенно безразлично, придет он или не придет.

— А много по безразлично.

— У нас всегда так: что по безразлично тебе, безразлично мне.

— Нет, не всегда, Гарри.

— Надо бы выпить.

— Тебе это вредно. У Блэка сказано — воздерживаться от алкоголя. Тебе нельзя пить.

— Моло! — крикнул он.

— Да, бвана.

— Принеси виски с содовой.

— Да, бвана.

— Тебе нельзя пить, — повторила она. — Ты сдаешься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно.

— Нет, — сказал он. — Мне это полезно.

Значит, теперь уже ничего не поделаешь, думал он. Значит, теперь он ничего не доведет до конца. Значит, вот чем все это завершается — пререканиями из-за виски. С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает.

Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откла-

дывал свои намерения в долгий ящик и никак не мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь.

— Не надо было приезжать сюда,— сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы.— В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду, куда только ты захочешь. Если тебе хотелось поохотиться, мы могли бы поехать в Венгрию, там все было бы к нашим услугам.

— Всею виной твои поганые деньги,— сказал он.

— Это несправедливо,— сказала она.— Они столько же твои, сколько и мои. Я все бросила и сдвинула за тобой всюду, куда тебе хотелось, и я делала все, что тебе хотелось. Но сюда не надо было приезжать.

— Ты же говорила, что тебе здесь нравится.

— Да, когда ты был здоров. А сейчас здесь невыносимо. Я не понимаю, почему у тебя должна была разболеться нога. Чем мы это заслужили, что мы такое сделали?

— Я сделал вот что: сначала забыл прижечь йодом царапину на колене. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого закупорились мелкие сосуды, началась гангрена.— Он взглянул на нее.— Что еще?

— Я не об этом.

— Если бы мы наняли настоящего шофера, а не какого-то идиота-туземца, он проверил бы уровень масла в моторе и не пережег бы подшипник.

— Я не об этом.

— Если бы ты не распростилась со своими друзьями, со всей этой сворой из Уэстбери, Саратоги, Палм-Бича и не ушла ко мне...

— Это несправедливо. Ведь я любила тебя. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Разве ты меня не любишь?

— Нет,— сказал он.— По-моему, нет. По-моему, я тебя никогда не любил.

— Что ты говоришь, Гарри? Ты сошел с ума.

— Нет. Мне сходить не с чего, при всем желании,

— Не пей виски,— сказала она.— Милый, я прошу тебя, не пей. Мы должны сделать все, что в наших силах.

— Делай ты,— сказал он.— А я устал.

Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплон — Ориент рассекает темноту. Вот это он тоже откладывал впрок, и еще про утренний завтрак и про то, как смотрели из окна и видели снег на горах в Болгарии, и секретарша Нансеновской миссии спросила шефа, не уехали это снег, и старик посмотрел туда и сказал: нет, это не снег. Для снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам: вы слышали? Это не снег, и они хором: это не снег, мы ошиблись. Но это был снег, самый настоящий снег, и шеф заслал туда, в горы, уйму народу, когда начался обмен населения. Людям пришлось пробираться по глубоким заносам, и они погибли в ту зиму все до одного.

В Гауэртале в тот год на рождество тоже шел снег. В тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфяках, набитых буковыми листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки и отвлекли жандармов разговорами, пока следы не замело.

В Шрунсе на первый день рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна *Weinstube*¹ на прихожан, расходившихся после церковной службы по домам. Там же, в Шрунсе, они поднимались по укутанной санями, желтой от конской мочи дороге вдоль реки, мимо крутых гор, поросших сосновым лесом,— поднимались пешком, неся тяжелые лыжи на плече; и там же они совершили великолепный спуск на лыжах вниз по леднику над Мадленер-Хаус; снег был гладкий, как сахарная глазурь, и легкий, как порошок, и он помнил бесшумный от быстроты полет, когда падаешь камнем вниз, точно птица.

Они застряли в Мадленер-Хаусе на целую неделю из-за бурана, играли в карты при свете дымящего фонаря, и ставки поднимались все выше и выше, по мере того как

¹ Кабачок (нем.).

проигрывал герр Ленц. Наконец он проиграл все дочиста. Все — деньги лыжной школы, доход за целый сезон, потом все свои сбережения. Он видел его, как живого, — длинноносый, берет карты со стола и ставит «*Sans voir*»¹. Игра шла тогда круглые сутки. Снег валит — играют. Метели нет — играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты.

Но он не написал ни строчки ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер перелетел линию фронта, чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой, поливал их пулеметным огнем, когда они рассыпались и побежали кто куда. Он вспомнил, как Баркер зашел потом в офицерскую столовую и начал рассказывать об этом. И как вдруг стало тихо и кто-то сказал: «Зверь, сволочь паршивая». Австрийцы, которых они убивали тогда, были такие же, с какими он позднее ходил на лыжах. Нет, не такие же. Ганс, с которым он ходил на лыжах весь тот год, служил в егерском полку, и, охотясь вместе на зайцев в небольшой долине над лесопилкой, они говорили о боях у Пасубио и о наступлении под Петрикой и Асалоне, и он не написал об этом ни единой строчки. Ни о Монте-Корно, ни о Сьете-Коммуни, ни об Арсиеро.

Сколько зим он прожил в Арльберге и Форарльберге? Четыре, и тут он вспомнил человека, который продавал лису, когда они шли в Блуденц покупать подарки, и славный кириш с привкусом вишневых косточек, вихрь легкого, как порошок, снега, разлетающегося по насту, песню «Хай-хо, наш Ролли!» на последнем перегоне перед крутым спуском, и прямо вниз, не сворачивая, потом тремя рывками через сад, дальше канава, а за ней обледенелая дорога позади гостиницы. Крепления долой, сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном, пахнущем молодым вином тепле играют на аккордеоне.

— Где мы останавливались в Париже? — спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на складном стуле — здесь, в Африке.

— В отеле «Крийон». Ты же сам знаешь.

— Почему я должен это знать?

¹ Втемную (фр.).

— Мы всегда там останавливались.

— Нет, не всегда.

— Там и в «Павильоне Генриха Четвертого» в Сен-Жерменском предместье. Ты говорил, что любишь эти места.

— Любовь — навозная куча, — сказал Гарри. — А я петух, который взобрался на нее и кричит кукареку.

— Если ты правда умираешь, — сказала она, — неужели тебе нужно убить все, что останется после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жупу, сбросить свое седло и свое оружие?

— Да, — сказал он. — Твои проклятые деньги — вот мое оружие, и с ними я был в седле.

— Перестань.

— Хорошо. Больше не буду. Я не хочу обижать тебя.

— Но поздно ли ты спохватился?

— Хорошо. Тогда буду обижать. Так веселее. То единственное, что я любил делать с тобой, сейчас мне недоступно.

— Нет, неправда. Ты любил и многое другое, и все, что хотелось делать тебе, делала и я.

— Ради бога, перестань хвалиться.

Он взглянул на нее и увидел, что она плачет.

— Послушай, — сказал он. — Ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив, — должно быть, так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я не знал, к чему это приведет, а сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя. — Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный.

— Какой ты милый.

— Сука, — сказал он. — У суки щедрые руки. Это поэзия. Я сейчас полон поэзии. Скверны и поэзии. Скверной поэзии.

— Замолчи, Гарри. Что ты беснуешься?

— Я ничего не оставляю, — сказал он. — Я ничего не хочу оставлять после себя.

Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток, и он смотрел, как они

все дальше отходят от кустарника, головами то и дело припадают к траве, крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили дерево. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки.

— Мемсаиб пошла стрелять,— сказал бой.— Бвапа что-нибудь нужно?

— Нет.

Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеду и, зная, как он любит смотреть на животных, забралась подалее, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он. Все, что узнала, или прочла, или просто услышала.

Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конченным. Откуда женщине знать, что за словами, которые говорятся ей, ничего нет, что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия. Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда.

Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил, но теперь уже среди других людей, и денег теперь было больше, и из всех знакомых мест он выбирал лучшие, бывал и в новых местах.

Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу, которая теперь была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не их племени — ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знал, было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни, и вот он опять приехал сюда, чтобы начать все сызнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было, и он думал, что опять войдет в форму. Что ему удастся согнать жир с души, как

боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела.

Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей, развлечения. И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которой перешибли хребет. Эта женщина ни в чем не виновата. Не будь ее, была бы другая. Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом.

У нее точный прицел, у этой доброй суки, у которой щедрые руки, у этой ласковой опекуни и губительницы его таланта. Чуть. Он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать. И он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими способами. И ведь это неспроста, — правда? — что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уйма денег, у которой когда-то был муж и дети, которая и до него имела любовников, но не находила в этом удовлетворения, а его любила нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность, — не странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил.

Все мы, верно, созданы для своих дел, подумал он. Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только и делал, что в той или иной форме продавал свои силы, а когда чувства нет, то за полученные деньги даешь товар лучшего качества. Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда

не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы.

Вот она появилась из-за холма, идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бой шагают следом и тащат барашка на палке. Она все еще интересная женщина, подумал он, и у нее хорошее тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк; хорошенькой ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо, она много читала, любила верховую езду, охоту и, конечно, слишком много пила. Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной, и после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно и только тяготило их, в свою конюшню, книги и вино. Она любила читать по вечерам перед обедом и, читая, пила виски с содовой. К обеду она выходила пьяная, и бутылки вина, выпитой за столом, ей было достаточно, чтобы заснуть.

Все это было до любовников. Когда у нее появились любовники, она стала меньше пить, потому что теперь сон приходил и без вина. Но с любовниками она скучала. Она была замужем за человеком, с которым никогда не было скучно, а с этими она очень скучала.

Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе, и после этого она покончила с любовниками, а так как виски не утоляло боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать.

Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его,— все это вошло в некую обратно пропорциональную прогрессию, в которой она строила новую жизнь, а он продавал остатки своей прежней жизни.

Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование, чтобы получить комфорт,— этого отрицать нельзя,— и что еще? Кто знает? Она купила бы ему все, исполнила бы любое его желание. В этом он не сомневался. К тому же как женщина она была замечательна. Он ничего не имел против того, чтобы сойтись именно с ней; пожалуй, с ней даже скорее, чем с какой-нибудь другой женщиной, потому что она была богаче, потому

что она была очень приятная и понимала толк в любви и никогда не устраивала сцен. А теперь жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что две недели назад он не прижег йодом колена, оцарапанного о колючку, когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоявших высоко подняв головы, всматривавшихся вперед,— ноздри жадно вбирают воздух, уши в струнку, малейший шорох — и умчатся в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом.

Вот она, пришла.

Он повернул голову на подушке, навстречу ей, и сказал:

— Хэлло!

— Я подстрелила барашка,— сказала она.— Дадим тебе вкусного бульону, и я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь?

— Гораздо лучше.

— Вот хорошо! Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше. Ты спал, когда я ушла.

— Я хорошо выспался. Ты далеко забралась?

— Нет. Только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила.

— Ты замечательно стреляешь.

— Я люблю охоту. И Африку полюбила. Правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка — самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой. Я полюбила Африку.

— Я тоже ее люблю.

— Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной? Обещаешь?

— Хорошо. Не буду,— сказал он.— Я не помню, что я говорил.

— Зачем мучить меня? Не надо. Я всего только пожилая женщина, которая любит тебя и хочет делать то, что хочется делать тебе. Меня уже столько мучили. Ты не станешь меня мучить, ведь нет?

— Я бы с удовольствием помучил тебя в постели,— сказал он.

— Вот это другое дело. Для этого мы и созданы. Завтра прилетит самолет.

— Откуда ты знаешь?

— Я в этом уверена. Он обязательно прилетит. Бои приготовили хворост и траву для дымовых костров. Я сегодня опять ходила туда посмотреть. Места для посадки достаточно, и мы разожжем костры по обеим сторонам.

— Почему ты думаешь, что он прилетит завтра?

— Я уверена, что прилетит. Пора уже. В городе твою ногу вылетят, и тогда мы помучаем друг друга по-настоящему. Не так, как ты мучил меня сегодня своими разговорами.

— Давай выпьем? Солнце уже село.

— Тебе, пожалуй, не стоит.

— А я буду.

— Тогда выпьем вместе. Моло, припеси нам виски с содовой,— крикнула она.

— Ты бы надела высокие башмаки, а то москиты налетят,— сказал он ей.

— Я сначала помоюсь...

Пока надвигалась темнота, они пили, а перед тем как совсем стемнело и стрелять было уже пельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом.

— Эта дрянь каждый вечер здесь бегают,— сказал оп.— Каждый вечер две недели подряд.

— Это та самая, что воет по ночам. Пусть ес, мне она не мешает. Хотя они очень противные.

Теперь, когда он потягивал вместе с ней виски и боль исчезла,— только неудобно лежать, не меняя положения, а бои разводили костер и тень от него металась по стенкам палаток,— он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему. Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина, просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает.

Это налетело вихрем; не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей смрадом пустоты, и самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена.

— Ты что, Гарри? — спросила она.

— Ничего,— сказал оп.— Ты бы пересела. Так, чтобы ветер был с твоей стороны.

— Моло сделал тебе перевязку?

— Да. Я наложил примочку из борной.

— Как ты себя чувствуешь?

— Слабость немножко.

— Я пойду помоюсь,— сказала она.— Это недолго. Мы поедем вместе, а потом надо внести койку.

«Значит,— сказал он самому себе,— мы хорошо сделали, что прекратили ссоры». Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной, а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем.

Он думал о том, как было тогда в Константинополе — один, после ссоры в Париже перед самым отъездом. Он развратничал все те дни, а потом, когда опомнился и чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это... О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Regence, и у него все заныло внутри, и о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое охватывало его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно. И в тот же вечер, истосковавшись по ней до чувства щемящей пустоты внутри, он подцепил около Таксима первую попавшуюся и пошел с ней ужинать. Потом они поехали в дансинг, танцевала она плохо, и он отделался от нее, пригласив какую-то разнузданную армянскую деву, которая, танцуя, так терлась о него животом, что его бросало в жар. Он отбил ее со скандалом у английского артиллериста. Артиллерист вызвал его на улицу, и они схватились там в темноте, на булыжной мостовой. Он ударил его два раза по скуле со всего размаху, но артиллерист не упал, и тогда он понял, что драка предстоит серьезная. Артиллерист ударил его в грудь, потом чуть ниже глаза. Он опять нанес длинный боковой удар левой,

артиллерист вцепился ему в пиджак и оторвал рукав, а он съездил его два раза по уху и потом, оттолкнув от себя, нанес еще удар правой. Артиллерист повалился, стукнувшись головой о камни, а он поспешил удрать с женщиной, потому что к ним уже приближался военный патруль. Они взяли такси, поехали вдоль Босфора к Риммили-Хисса, сделали круг, потом обратно по свежему ночному воздуху и легли в постель, и она была такая же перезрелая, как и в платье, но шелковистая, как розовый лепесток, липкая, шелковистый живот, большие груди. Он ушел, когда она еще спала, и на рассвете вид у нее был здорово потасканный. Оттуда — в Пера-Палас с подбитым глазом, пиджак под мышкой, потому что одного рукава не хватало.

В тот же вечер он выезжал в Анатолию, а на другой день поезд шел полями, засеянными маком, из которого добывают опиум, и сейчас он вспомнил, какое странное самочувствие у него было к концу дня и какими обманчивыми казались расстояния последнюю часть пути перед фронтом, где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были форменными болванами, и артиллерия стреляла по своим, и английский военный наблюдатель плакал, как ребенок.

В тот же день он впервые увидел убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху носками и с помпонами. Турки валили стеной, и он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, и офицеры стреляли по ним, а потом сами побежали, и он тоже повернул следом за английским наблюдателем и бежал так быстро, что у него заломило в груди, во рту был такой привкус, точно там полно медяков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях себе не мог представить; а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом. И когда он проходил мимо одного кафе в Париже, там сидел тот самый американский поэт, на столике перед ним гора блюдецек, и лицо у него глупое и рыжее, как картофелина; поэт говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара, который носил монокль и всегда жаловался на головную боль; а потом снова в своей квартире, с женой, которую он теперь опять любил; ссоры как не бывало, безумия как не бывало, рад, что вернулся; почти из редакции присылают на дом.

И вот однажды утром за завтраком ему подали ответ на письмо, которое он написал тогда, и, узнав почерк, он весь похолодел и хотел подсунуть письмо под другой конверт. Но жена спросила: «От кого это, милый?» — и тут пришел конец тому, что только начиналось у них.

Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо? Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть, а потом стало казаться, что и без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир; не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно — и событий и людей; нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет.

— Как ты себя чувствуешь? — Она уже помылась и вышла из палатки.

— Хорошо.

— Может быть, поешь теперь? — За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и второго боя с посудой.

— Я хочу писать, — сказал он.

— Тебе надо выпить бульону, подкрепиться.

— Я сегодня умру, — сказал он. — Мне незачем подкрепляться.

— Не надо мелодрам, Гарри, — сказала она.

— Ты что, потеряла обоняние? Нога у меня наполовину сгнила. Очень мне нужен этот бульон! Моло, принеси виски с содовой.

— Выпей бульону, я прошу тебя, — мягко сказала она.

— Хорошо.

Бульон был очень горячий. Он долго студил его в чашке и потом выпил залпом, не поперхнувшись.

— Ты замечательная женщина, — сказал он. — Не обращай на меня внимания.

Она повернулась к нему лицом — такое знакомое, любимое лицо со страниц «Города и виллы», только чуть-

чуть подурневшее от пьянства, только чуть-чуть подурневшее от любовных утех; но «Город и вилла» никогда не показывал этой красивой груди, и этих добротных бедер, и легко ласкающих рук, и, глядя на ее такую знакомую, приятную улыбку, он снова почувствовал близость смерти. На этот раз вихря не было. Был легкий ветерок, дуновение, от которого пламя свечи то меркнет, то вытягивается столбиком.

— Немного погода вели принести сетку, пусть ее протянут от койки к дереву и разведут костер. Я не хочу перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь ясная. Дождя не будет.

Значит, вот как умирают — в шепоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще не приходилось испытать на себе. Наверно, испортит. Ведь портишь все. А может быть, и не испортит.

— Ты не умеешь стенографировать?

— Нет, не умею,— сказала она.

— Ничего, не важно.

Времени, правда, уже не хватит, хотя все это таквтиснуто одно в другое, что кажется, можно уложиться в один абзац, лишь бы только суметь.

На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллея серебристых тополей. На мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели, и ружейные стволы, без прикладов, с расплавшимся в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших мыловаренных котлов, и ты спросил дедушку, можно взять эти стволы поиграть, и он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, и побелили его, и с террасы были видны тополя, а за ними озеро; но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на

оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним.

В Шварцвальде после войны мы арендовали ручей, в котором водилась форель, и к нему можно было пройти двумя путями. Первый вел через долину,— спуск начинался от Триберга,— под тенистыми деревьями, которые окаймляли белую дорогу, а потом по тропинке, поднимавшейся в горы, мимо небольших ферм с высокими шварцвальдскими домами, и так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начали удить рыбу.

Другой путь вел прямо по круче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом, через горы; выходишь к лугу, и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы, он был небольшой, узкий, но прозрачный, быстрый и с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля, и он повесился.

Это можно застенографировать, но разве продиктуешь о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же, на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке; о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода ногами; о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках в «Bal Musette»¹, над которым они жили тогда. О консьержке, принимавшей у себя в каморке солдата республиканской гвардии,— его каска с султаном из конской гривы лежала на стуле. О жилище по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда развернула «L'Auto» и прочла, что он занял третье место в гонках Париж — Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Муж той женщины, которая содержала «Bal Musette», был шофером такси, и когда ему, Гарри, надо было поспеть рано утром на аэродром, шофер постучался к нему и разбудил его, и они

¹ Дешевое помещение для тапцев (фр.).

выпили на дорогу по стакану белого вина у цинковой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота.

Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажером. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от «*Voucherie Chevaline*»¹, в винной лавочке, он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого, — развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуана, а по другую сторону — узкий, тесный мирок улицы Муфтар. Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими, узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была двухкомнатная, и он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы; она стоила шестьдесят франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши, и трубы, и все холмы Парижа.

Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в «*Voucherie Chevaline*», ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типично французской *ivresse*², — хотя принято уверять, что ничего

¹ «Торговля копиной» (фр.).

² Опыянение (фр.).

подобного не существует,— открывали окна, и до тебя доносились их голоса.

— Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Поди спи с какой-нибудь консьержкой. Разыщите ажана.— Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают.— Что это? Вода. Правильно! Лучше и не придумаешь.— И окна захлопываются.

Мари, его приходящая прислуга, недовольна восьмичасовым рабочим днем:

— Если муж работает до шести, он хоть и успевает выпить по дороге домой, но самую малость, и зря денег не тратит. А если он на работе только до пяти часов, значит, каждый вечер пьян вдребезги, и денег в глаза не видишь. Кто страдает от сокращения рабочего дня? Мы, жены.

— Хочешь еще бульону? — спрашивала его женщина.

— Нет, большое спасибо. Бульон замечательный.

— Выпей еще немножко.

— Дай мне лучше виски с содовой.

— Тебе это вредно.

— Да. Мне это вредно. Слова и музыка Коула Портера. Когда лицо твое от страсти бледно.

— Ты же знаешь, я люблю, когда ты пьешь.

— Ну, еще бы. Только мне это вредно.

Когда она уйдет, подумал он, выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Ужасно устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велосипедах, неслышно скользит по мостовой.

Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о том Париже, который был дорог ему. Ну, а остальное, что так и осталось ненаписанным?

А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленнодвигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась

за хвост лошади в темноте, когда ни зги не было видно, вспомнились и все рассказы, которые он собирался написать о тех местах.

Рассказ о дурачке-работнике, еще подростке, которого оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена, и о том, как этот старый болван из Форкса, который был дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за фуражом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изобьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика у сарая, и когда они вернулись через неделю на ранчо, труп лежал замерзший в загоне для скота, и собаки успели изгрызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уложил в санки и заставил мальчика помогать тебе, и вдвоем, оба на лыжах, вы волокли их по дороге, и так шестьдесят миль до города, где надо было сдать мальчика властям. А ему и в голову не приходило, что его арестуют. Думал, что исполнил свой долг, и ты его друг, и он получит награду за свой поступок. Он помогал везти старика,— пусть все знают, какой этот старик был нехороший и как он хотел украсть чужое сено, и когда шериф надел на мальчика наручники, тот не поверил своим глазам. Потом заплакал. Вот и этот рассказ он всегда приберегал на будущее. У него хватило бы материала, по крайней мере, на двадцать рассказов о тех местах, а он не написал ни одного. Почему?

— Поди Расскажи им почему,— сказал он.

— Что «почему», милый?

— Ничего.

Она стала меньше пить, с тех пор как завладела им. Но если даже он выживет, он никогда не напишет о ней, теперь ему это ясно. И о других тоже. Богатые — скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в триктрак. Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое.

Он презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, по-

тому что он видел все это насквозь. Он справится с чем угодно, думал он, потому что его ничто не может сломить, не надо только ничему придавать слишком большого значения.

Хорошо. Вот теперь он не придает никакого значения смерти. Единственное, чего он всегда боялся,— это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не слишком затягивалась и не изматывала его, но в этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихла.

Он вспомнил давний случай: артиллерийского офицера Уильямсона ранило ручной гранатой, брошенной с немецкого сторожевого поста в ту минуту, когда Уильямсон перебирался ночью через проволоочные заграждения, и как он кричал, умоляя, чтобы его пристрелили. Уильямсон был толстяк, очень храбрый и хороший офицер, хотя невероятный позер. Но тогда, ночью, он, раненный, попал в луч прожектора, а внутренности у него вывалились наружу и повисли на проволоке, так что тем, кто снимал его оттуда еще живым, пришлось обрезать их ножом. Пристрели меня, Гарри, ради всего святого, пристрели меня. Как-то раз зашел разговор на тему, что господь бог ниспосылает человеку только то, что он может перенести, и кто-то защищал такую теорию, будто бы в известный момент боль убивает человека. Но он на всю жизнь запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они действовали не сразу.

Но то, что происходит с ним сейчас, совсем не страшно; и если хуже не станет, то беспокоиться не о чем. Правда, он предпочел бы находиться в более приятной компании.

Он подумал немного о людях, которых ему хотелось бы видеть сейчас около себя.

Нет, думал он, когда делаешь все слишком долго и слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется. Люди ушли. Прием кончен, и теперь ты наедине с хозяйкой.

«Мне так же надоело умирать, как надоело все остальное»,— подумал он.

— Надоело,— сказал он вслух.

— Что надоело, милый?

— Все, что делаешь слишком долго.

Он взглянул на нее. Она сидела между ним и костром, откинувшись на спинку стула, и пламя отсвечивало на ее лице, покрытом милыми морщинками, и он увидел, что ее клонит ко сну. Гиена заскулила, подобравшись почти вплотную к светлому кругу, падавшему от костра.

— Я писал,— сказал он.— Но это очень утомительно.

— Как ты думаешь, удастся тебе заснуть?

— Конечно, засну. Почему ты сама не ложишься?

— Мне хочется посидеть с тобой.

— Ты ничего такого не чувствуешь? — спросил он.

— Нет. Просто хочется спать.

— А я чувствую,— сказал он.

Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки.

— Знаешь, единственно, чего я еще не утратил,— это любопытства,— сказал он ей.

— Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала.

— Господи боже,— сказал он.— Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша так называемая интуиция?

Потому что в эту минуту смерть подошла и положила голову в ноги койки и до него донеслось ее дыхание.

— Не верь, что она такая, как ее изображают, с косою и черепом,— сказал он.— С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица. Или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены.

Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве.

— Скажи, чтоб она ушла.

Она не ушла, а придвинулась ближе.

— Ну и иссет же от тебя,— сказал он.— Вонючая дрянь.

Она придвинулась еще ближе, и теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он попробовал прогнать ее молча, но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь, и когда она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала:

— Бвана уснул. Поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку.

Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла.

Было утро, оно наступило давным-давно, и он услышал гул самолета. Самолет сначала показался в небе точкой, потом сделал широкий круг, и бои выбежали ему навстречу и, полив кучи хвороста керосином, подожгли их и навалили сверху травы, так что по обоим концам ровной площадки получилось два больших костра, и утренний ветерок гнал дым к лагерю, и самолет сделал еще два круга, на этот раз ближе к земле, потом скользнул вниз, выровнялся и мягко сел на площадку, и вот к палаткам идет его старый приятель Комтон — в мешковатых брюках, в твидовом пиджаке и коричневой фетровой шляпе.

— Что с вами, дружище? — спросил Комтон.

— Да вот нога, — сказал он. — Вы позавтракаете?

— Спасибо. Чаю выпью. Я на «Мотыльке». Мемсаиб не удастся захватить. Места только на одного. Ваш грузовик уже в пути.

Эллен отвела Комтона в сторону и заговорила с ним. Комтон вернулся еще более оживленный.

— Сейчас мы вас устроим, — сказал он. — За мемсаиб я вернусь. Ну, давайте поспешим. Может, еще придется сделать посадку в Аруше, за горючим.

— А как же чай?

— Да мне, собственно, не хочется.

Бои подняли койку, обогнули с ней зеленые палатки, понесли дальше, мимо скалы, и по равнине мимо костров, которые полыхали на ветру без дыма, потому что от травы уже ничего не осталось, — и подошли к маленькому самолету. Внести его туда было нелегко, но когда наконец внесли, он откинулся на спинку кожаного кресла, а ногу ему подняли и положили на переднее кресло — место Комтона. Комтон запустил мотор и вошел в кабину. Он помахал Эллен и боям, и, как только треск мотора перешел в привычный уху рев, Комтон сделал разворот, обходя кабаныи ямы, и, подсакивая на ходу, машина понеслась по площадке между кострами и с последним толчком поднялась в воздух, и он увидел, как те внизу машут им вслед, и палатки возле холма теперь почти

вровень с землей, долина открывается все шире и шире, кучки деревьев и кустарника тоже почти вровень с землей, а звериные тропы тянутся ниточками к пересохшим водопоям, и вон там еще один водоем, которого он никогда не видел. Зебры — сверху видны только их округлые спины — и антилопы-гну головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы, и кажется, будто они лезут в гору. Вот шарахнулись в разные стороны, когда тень настигла их, сейчас совсем крохотные, и не заметно, что скачут галопом, и равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, а прямо перед глазами твидовая спина и фетровая шляпа Комти. Потом они пролетели над предгорьем, где антилопы-гну карабкались вверх по тропам, потом над линией гор с внезапно поднимающейся откуда-то из глубин зеленым лесом, и с откосами, покрытыми сплошной бамбуковой зарослью, а потом опять дремучие леса, будто изваянные вместе с горными пиками и ущельями, и наконец перевал, и горы спадают, и потом опять равнина, залитая зноем, лиловато-бурая, машину подбрасывает на волнах раскаленного воздуха, и Комти оборачивается посмотреть, как он переносит полет. А впереди опять темнеют горы.

И тогда, вместо того чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, который налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно, — попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килимаңджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.

Как раз в эту минуту гисна перестала скульпить в темноте и перешла на какие-то странные, почти человеческие, похожие на плач вопли. Женщина услышала их и беспокойно зашевелилась у себя на койке. Она не

проснулась. Ей снился дом на Лонг-Айленде и будто это вечер накануне первого выезда в свет ее дочери. Почему-то и отец тут же, и он очень резок с ней. Потом гиена завыла так громко, что она проснулась и в первую минуту не могла понять, где она, и ей стало страшно. Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу, и она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда.

— Моло,— позвала она,— Моло, Моло! — Потом крикнула: — Гарри, Гарри! — Потом громче: — Гарри! Ради бога, Гарри!

Ответа не было, и она не слышала его дыхания.

За стенами палатки гиена издавала те же странные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у нее так стучало, что она не слышала их.

НУЖНА СОБАКА-ПОВОДЫРЬ

— А потом мы что делали? — спросил он. Она папомнила. — Как странно. Я совсем этого не помню.

— А охоту помнишь?

— Должен бы. А не помню. Вспоминаю только жепщин, спускавшихся по тропке к берегу с кувшинами на головах, и стаю гусей, и негритенка, который гонял их в гору и вниз, к воде. Помню, как медленно они шагали, то вверх, то вниз. И желтые отмели, и высокую воду, и далекий остров по ту сторону пролива. И что все время дул ветер и не было ни мух, ни москитов. Была крыша, и глиняный пол, и столбы, на которых держалась крыша, и ветер дул под ней не переставая. И весь день было прохладно, и не жарко спать по ночам.

— А помнишь, как пришел большой арабский парусник и сел на мель при отливе?

— Помню. А матросы съехали на берег в лодках и стали подниматься по тропке от бухты и перепугали гусей, да и женщин тоже.

— Это было в тот день, когда мы наловили так много рыбы, но пришлось вернуться из-за волны.

— Помню.

— Ты сегодня много навспоминал, — сказала она. — Смотри устанешь.

— Я жалею, что тебе не удалось тогда слетать на Занзибар, — сказал он. — Та отмель — идеальное место для посадки. Там ты легко могла бы сесть и подняться.

— Занзибар от нас не уйдет. Хватит на сегодня. Не вспоминай больше. Хочешь, я тебе прочитаю? Мы, наверно, что-нибудь пропустили в старых номерах «Нью-Йоркера».

— Нет, не надо мне читать,— сказал он.— Говори. Говори о хороших днях.

— Рассказать тебе, что делается на дворе?

— Идет дождь. Я знаю.

— Да, идет сильный дождь,— сказала она.— Ветер валит с пог. В такую погоду едва ли явятся туристы. Так что нам можно сойти вниз и посидеть у огня.

— Собственно, туристы мне больше не мешают. Мне даже правится слушать их болтовню.

— Есть среди них ужасные,— сказала она.— А некоторые ничего. Мне кажется, что до Торчелло добираются как раз самые лучшие.

— Ты права,— сказал он.— Мне это не приходило в голову. Конечно, оценить Торчелло впору только самым лучшим.

— Приготовить тебе коктейль? — спросила она.— Я, ты знаешь, плохая сиделка. Меня этому не учили, да и призыванья нет. Но коктейли я готовить умею.

— Ну что ж, выпьем.

— А какой тебе?

— Безразлично.

— Так я пойду, устрою тебе сюрприз.

Он слышал, как отворилась и захлопнулась дверь и ее шаги по лестнице, и он подумал: надо отправить ее куда-нибудь проветриться. Надо придумать, как это сделать. И сделать получше. С этим теперь жить до самой смерти, и надо придумать, как не сломать ее жизнь, как не погубить ее. Она была так добра ко мне, а она не создана быть доброй. Доброй вот так — каждый день и скучно доброй.

Он услышал ее шаги вверх по лестнице и отметил, что теперь, с двумя стаканами, она ступает совсем не так, как вниз, с пустыми руками. Он слышал, как стучит в окно дождь, и вдохнул запах буковых поленьев, горевших в камине. Когда она вошла, он чуть раньше времени протянул руку за стаканом. Но потом ощутил высокое холодное стекло, сжал его в руке и услышал, как она чокнулась с ним.

— Наш старый коктейль, как прежде,— сказала она.— Компари и гордон со льдом.

— Как хорошо, что ты не из тех, кто плачется в беде.

— Нет, не из тех,— сказала она.— И никогда не буду. А в беде мы не впервые.

— Все стряхнув навсегда, как всегда на ногах,— вспомнил он.— А помнишь, как мы вычеркнули эти фразы?

— Это было как раз после моего льва. Какой был замечательный лев. Жду не дожусь, когда мы опять его увидим.

— Мы? — спросил он.

— Прости меня.

— А помнишь, как мы вычеркнули и эти слова?

— А я чуть было опять не повторила их.

— Знаешь,— сказал он,— очень хорошо, что мы приехали сюда. Я тут все так хорошо помню, что все становится совершенно осязательным. Это новое слово, но мы скоро и его вычеркнем. Но все равно. Здесь чудесно. Когда я слышу дождь, я вижу, как он шлепает по камням, и по каналу, и по лагуне, и я знаю, как деревья сгибаются при любом ветре и как выглядит церковь и башня при любом освещении. Нельзя было выбрать для меня лучшего места. Лучше не придумаешь. У нас хороший приемник и прекрасный магнитофон, и я буду писать еще лучше, чем прежде. Если не торопиться, с магнитофоном можно найти настоящие слова. С ним можно работать медленно. Я вижу слова, когда произношу их. Я слышу фальшь в фальшивом слове и смогу заменять слова и улаживать их как следует. Да, во многих отношениях лучшего и желать нельзя.

— Филип!..

— Чуть! — сказал он.— Тьма — это тьма, и только. Это не настоящая тьма. Я прекрасно вижу то, что внутри, и теперь голове моей все лучше, и я все вспоминаю и могу даже придумывать. Сама посуди. Разве сегодня я плохо вспоминал?

— Ты вспоминаешь с каждым днем все лучше. И ты набираешься сил.

— Я и так сильный,— сказал он.— Так вот, если ты...

— Если что?

— Если ты ненадолго уедешь, и отдохнешь, и сменишь обстановку...

— Так я тебе не нужна?

— Конечно, нужна, дорогая.

— Тогда зачем эти разговоры о моей поездке? Я знаю, я плохо ухаживаю за тобой, но я умею то, чего другие не умеют, и мы любим друг друга. Ты любишь

меня, и ты знаешь это, и мы радуемся так, как другие не могут.

— И удивительнее всего, что в темноте,— сказал он.

— А раньше и днем, при солнечном свете.

— Я предпочитаю в темноте. В этом смысле все стало даже лучше.

— Будет тебе выдумывать! — сказала она.— И, пожалуйста, без благородных фраз.

— Послушай, как стучит дождь,— сказал он.— А что отлив?

— Вода сбыла, и ветер отогнал ее дальше, чем всегда. Можно пешком пройти в Бурано.

— Можно бы, да там есть одно такое место...— сказал он.— А птиц много?

— Только чайки и ласточки. Они садятся на отмелях, и когда взлетают, ветер подхватывает их.

— А сухопутных нет?

— Есть, но мало, они на той отмели, что выступает только при большом отливе.

— А как ты думаешь, придет наконец весна?

— Не знаю,— сказала она.— Пока непохоже.

— Ты свой коктейль выпила?

— Кончаю. А ты почему не пьешь?

— Чтобы продлить удовольствие.

— А ты допивай,— сказала она.— Воображаю, каково тебе было, когда ты не мог пить!

— Знаешь,— сказал он,— пока ты ходила вниз, я думал, что тебе хорошо бы съездить в Париж, а потом в Лондон, повидать людей и поразвлечься, а потом вернуться, и к тому времени уж непременно будет весна, и ты бы мне обо всем порассказала.

— Нет,— сказала она.

— А я думаю, что это было бы самое разумное,— сказал он.— Ведь этому, понимаешь, конца не видно, и нам еще предстоит свыкаться с этой скучной историей. И я бы не хотел, чтобы ты совсем замучилась. Понимаешь...

— А ты без «понимаешь»!

— Вот видишь. Одно к одному. Я бы тем временем научился не раздражать тебя. Ты будешь от меня без ума, когда вернешься.

— А как же ночью?

— Ну, ночью это просто.

— Так я тебе и поверила. Может, ты уж и спать по почам научился?

— Научусь,— сказал он и отпил полстакана.— Это входит в мой план. Понимаешь, как это получается. Если ты уедешь и проветришься, у меня совесть будет спокойна. И вот первый раз в жизни я со спокойной совестью буду спать без просыпу. Беру подушку, как воплощение моей спокойной совести, обнимаю ее покрепче и тут же засыпаю. А если проснусь — стану придумывать чудесные веселые непристойности. Или принимать замечательные, умные, здравые решения. Или вспоминать разное. Понимаешь, мне хочется, чтобы ты развлекалась...

— Пожалуйста, не говори «понимаешь».

— Постараюсь. Я уже вычеркнул и это слово, но все забываю, и оно опять подвертывается. Во всяком случае, я не хочу, чтобы ты была просто собачкой слепого.

— Это вовсе не так, и ты это знаешь. И, во всяком случае, это называется не собачка слепого, а собака-поводырь.

— Знаю, знаю,— сказал он.— Сядь сюда и не сердись.

Она подошла и села рядом с ним на кровать; им было слышно, как еще сильнее стучит по стеклу дождь, и он старался не касаться ее головы и ее милого лица, ощущая их так, как это делают слепые, и не мог сделать это иначе. Он крепко обнял ее и поцеловал в голову. Попробую уговорить завтра, подумал он. Надо как-нибудь поумнее. Она так дорога мне, и я так люблю ее и причинил ей так много зла, и мне надо научиться заботиться о ней как можно лучше. Если я буду думать о ней и только о ней, все будет хорошо.

— Я больше не буду говорить «понимаешь»,— сказал он.— С этого и начнем.

Она покачала головой, и он почувствовал, что она дрожит.

— Да говори что хочешь,— сказала она и поцеловала его.

— Пожалуйста, не плачь, родная,— сказал он.

— Не хочу, чтобы ты спал с какой-то дрянной подушкой!

— Зачем? И не с какой-то, и не с дрянной.— «Прекрати,— сказал он себе.— Прекрати это сейчас же».

— Послушай, сагита,— сказал он.— Пойдем-ка вниз и пообедаем на нашем старом месте у огня, и я расскажу тебе, какой ты славный зверек и какие мы с тобой счастливые зверушки...

— А так оно и есть.

— Вот мы все с тобой и обсудим.

— Я только не хочу, чтобы ты меня отсылал.

— А никто и не собирается тебя никуда отсылать.

Но, спускаясь вниз по лестнице, осторожно нащупывая каждую ступеньку и крепко держась за перила, он думал: надо отправить ее, и отправить как можно скорее, вот только как это сделать, не обижая ее. Потому что не очень-то мне удастся. Постараюсь. Это я могу обещать. А что еще? Что ты еще можешь? Ничего, подумал он. Ровно ничего. Но, как знать,— со временем, может быть, и сумею с собой справиться.

МАЗЕТРО ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

(Письмо с бурного моря)

Года полтора назад у дома в Ки-Уэст появился молодой человек и сказал, что добрался он сюда на попутных машинах из Миннесоты, чтобы задать вашему корреспонденту несколько вопросов о том, как научиться писать. Вернувшись в этот день с Кубы, собираясь через час провожать на вокзал друзей, а до того написать несколько писем, ваш корреспондент, одновременно и польщенный и напуганный предстоящим допросом, предложил молодому человеку прийти на другой день. Это был высокий молодой человек, очень серьезного вида, с огромными ручищами и пожищами и жестким бобриком на голове.

Выяснилось, что всю свою жизнь он мечтал стать писателем. Выросши на ферме, он окончил школу, потом Миннесотский университет, работал газетчиком, плотником, батраком, поденщиком и, бродяжничая, дважды пересек всю Америку. Он хотел стать писателем и накопил неплохие сюжеты. Он рассказывал о них очень плохо, но видно было, что в них есть что развернуть, если взяться как следует. Он так серьезно относился к писательству, что можно было предположить: эта серьезность преодолет все препятствия. Он собственными руками построил хижину в Северной Дакоте, целый год прожил в ней совсем один и все время писал. Мне он не показал ничего из написанного там. Говорил, что очень плохо.

Я думал, может быть, он это из скромности, пока он не показал мне свою вещь, напечатанную в одной из миннеаполисских газет. Написано это было ужасно. Но многие другие, подумал я, начинали не лучше, а этот юноша так необычайно серьезен, что позволяет надеяться;

по-настоящему серьезное отношение к писательскому делу — одно из двух неизменных условий. Второе, к сожалению, — талант.

Кроме сочинительства, у молодого человека была и другая навязчивая идея. Ему непременно хотелось побывать в море. Короче говоря, мы взяли его ночным сторожем на катер. Теперь у него было где спать и — после двух-трех часов на уборку — достаточно времени для сочинительства. А чтобы удовлетворить его страсть к морю, мы обещали брать его в наши поездки на Кубу.

Он был отличным ночной сторож, одинаково рьяно работал и по катеру, и над своими рукописями, но в море это было сущее бедствие; медлительный, когда требовалось проворство, он словно бы наделен был четырьмя ногами вместо пары рук и пары ног, психовал, когда нужна была решимость, проявлял непреодолимую склонность к морской болезни и по-крестьянски неохотно слушался приказаний. Но он не отказывался от работы, даже тяжелой, и справлялся с ней, если его не торопить.

Мы звали его «Маэстро», потому что он играл на скрипке, а потом сократили это в прозвище «Майс». Свежий ветер так основательно выдувал из него остатки сообразительности, что ваш корреспондент как-то сказал ему: «Майс, вы наверняка станете чертовски хорошим писателем, потому что больше вы ни на что не способны».

С другой стороны, сочинения его с каждым разом делались все лучше. Может быть, он и станет писателем. Но ваш корреспондент, порою бывающий не в духе, никогда больше не возьмет в команду катера начинающего писателя и не согласится больше целое лето плавать у берегов Кубы или у любых других берегов под аккомпанемент сплошных вопросов и ответов по технике писательского дела. Если найдутся еще среди начинающих писателей охотники поплавать на «Пилар», пусть это будут женщины, желательно красивые, и пусть захватят с собой побольше шампанского.

Ваш корреспондент относится к своему писательству — в отличие от этих ежемесячных корреспонденций — весьма серьезно; но разговаривать об этом он терпеть не может, кроме как с очень немногими собеседниками. Вынужденный рассуждать о различных аспектах своего дела в продолжение ста десяти дней и все это время подавлять желание швырнуть в Маэстро бутылкой каждый раз, как он раскроет рот и произнесет слово

«писатель», — ваш корреспондент воспроизводит здесь в письменном виде некоторые из этих рассуждений.

Если они удержат кого-нибудь от сочинительства, — значит, так и надо было. Если они кому-нибудь помогут — ваш корреспондент будет очень рад. Если же они вам покажутся скучными, то в номере достаточно картинок, чтобы развлечь вас.

В свое оправдание ваш корреспондент может заметить, что если бы он сам в двадцать один год прочитал кое-какие из этих рассуждений, он бы считал, что пятидесяти центов они стоят.

М а й с. Что значит хорошо или плохо в писательском деле?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Писать хорошо — значит писать правдиво. А правдивость рассказа будет зависеть от того, насколько автор знает жизнь и насколько добросовестно он работает, чтобы, даже когда он выдумывает, это было как на самом деле. Если же он не знает, как поступят и что подумают в данных обстоятельствах люди, то на какое-то время его может выручить случай или он вообще специализируется на выдумке. Но если он будет и дальше писать о том, чего не знает, то может получить только фальшь. А несколько раз сфальшивив, он уже не сможет больше писать честно.

М а й с. А как же воображение?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Никто не знает толком, что это такое, кроме того, что мы получаем его задаром. Может быть, оно заложено в наследственном опыте. Вполне вероятно. После честности — это второе качество, необходимое писателю. Чем больше он узнает из опыта, тем правдивее будет его вымысел. А если он сможет воображать достаточно правдиво, то люди поверят, что все, о чем он рассказывает, действительно произошло и что он просто по-репортерски зафиксировал это.

М а й с. Но чем же это будет отличаться от репортажа?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Будь это репортаж, никто бы его не запоминал. Когда вы описываете то, что случилось сегодня, синхронность заставляет читателя представить случившееся в своем воображении. Через месяц этот элемент времени исчезает, и ваш отчет будет плоским, и читатель ничего не вообразит и не запомнит. Но если вы будете не описывать, а изображать, можно сделать это объемно, прочно, целостно и жизненно. Тогда вы

плохо ли, хорошо ли, но творите. Это создано, а не описано. А правдиво это в меру вашей способности изображать и в меру того знания, которое вы в это вложили. Вам это понятно?

М а й с. Не все.

В а ш к о р р е с п о н д е н т (*раздраженно*). В таком случае давайте, черт возьми, поговорим о чем-нибудь другом.

М а й с (*с прежним упорством*). Расскажите мне еще что-нибудь о писательской технике.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Вы это о чем? Карандаш или машинка? Об этом, что ли?

М а й с. Да.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Так слушайте. У начинающего писателя все удовольствие приходится на его долю, а читатель не получает ничего. В этом случае можно пользоваться машинкой, так писать легче и удовольствия получаешь больше. Но когда научишься писать, видишь свою задачу в том, чтобы донести до читателя все, каждое ощущение, чувство, все виденное, слышанное, воспринятое. Для этого надо много работать над тем, что пишешь. Когда пишешь карандашом, то трижды можешь с разных точек проверить, получит ли читатель то, что ты хотел ему дать. Сначала — перечитывая написанное от руки, потом — считывая и правя текст после машинки, и, наконец, читая корректуру. Так что карандаш дает вам добавочную треть шансов для улучшения текста. 0,333 — это неплохой процент попаданий в цель. И текст дольше остается текучим, что облегчает правку.

М а й с. А сколько нужно писать в день?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Лучше всего останавливаться, пока дело идет хорошо и знаешь, что должно случиться дальше. Если изо дня в день поступать так, когда пишешь роман, то никогда не завязнешь. Вот самый ценный совет, который я могу дать вам по этому поводу.

М а й с. Я его запомню.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Всегда останавливайтесь, пока еще пишется, и потом не думайте о работе и не тревожьтесь, пока снова не начнете писать на следующий день. При этом условии вы подсознательно будете работать все время. Но если позволить себе думать и тревожиться, вы убьете эту возможность и ваш мозг будет утомлен еще до начала работы. Если уж начал роман, то сомневаться в том, что завтра работа пойдет, — такая же

трусость, как уклонение от какого-нибудь неизбежного поступка. Надо продолжать. И тревожиться бессмысленно. Чтобы написать роман, надо понять это. Самое трудное в романе — это его кончить.

М а й с. Но как же можно научиться не тревожиться?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Не думать о работе. Как только начнете думать об этом, сейчас же одергивайте себя. Думайте о чем-нибудь другом. Этому непременно надо научиться.

М а й с. А сколько из уже написанного вы перечитываете, прежде чем писать дальше?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Лучше всего было бы каждый день перечитывать все с самого начала и попутно править, а потом уже идти дальше. Когда написано столько, что каждый день этого не сделаешь, перечитывайте последние две-три главы; а раз в неделю читайте все сначала. Так вы добьетесь цельности. И не забывайте останавливаться, пока еще пишется. Это сохранит движение и не позволит вам работать через силу. Иначе вы скоро убедитесь, что на другой день вы выдохлись и продолжать работу не можете.

М а й с. А если вы пишете рассказ?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Все равно, только рассказ иногда можно написать за один день.

М а й с. А вы знаете наперед, что должно случиться в вашем рассказе?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Почти никогда. Я начинаю его, и случается то, что должно случиться по ходу его развития.

М а й с. Это совсем не тот метод, которому нас учат в колледже.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Вот уж не знаю. Я не учился в колледже. А если какой-нибудь сукин сын может сам писать, на кой черт ему учить студентов?

М а й с. Но вы-то меня учите.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. С большого ума. А потом, мы на лодке, а не в колледже.

М а й с. Какие книги следует прочесть писателю?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Ему следует прочесть все, чтобы знать, кого ему предстоит обскакать.

М а й с. Но он же не сможет прочесть все.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Я не говорю о том, что он может. Я говорю о том, что он должен. А все прочесть, конечно, нельзя.

М а й с. Но какие книги все-таки обязательны?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Ему следовало бы прочесть «Войну и мир» и «Анну Каренину» Толстого, «Мичмана Изи», «Фрэнка Майлдмэя» и «Питера Симпла» капитана Марриэта, «Мадам Бовари» и «Воспитание чувств» Флобера, «Будденброков» Томаса Манна, «Дублинцев», «Портрет художника в юности» и «Улисса» Джойса, «Тома Джонса» и «Джозефа Эндрюса» Филдинга, «Красное и черное» и «Пармскую обитель» Стендаля, «Братьев Карамазовых» и еще любых два романа Достоевского, «Гекльберри Финна» Марка Твена, «Шлюпку» и «Голубой отель» Стивена Крейна, «Привет и прощание» Джорджа Мура, «Автобиографию» Йетса, все лучшее из Мопассана, все лучшее из Киплинга, всего Тургенева, «О далеком и давнем» У.-Г. Хадсона, рассказы Генри Джеймса, особенно «Мадам де Мов», «Поворот винта», «Портрет одной дамы», «Американца»...

М а й с. Я не могу записывать так быстро. Сколько их еще?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Остальных я назову вам в другой раз. Их еще примерно в три раза больше.

М а й с. И писателю необходимо прочитать их всех?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Всех и еще многих. Иначе он не знает, кого ему надо обскакать.

М а й с. Что вы разумеете под «обскакать»?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Слушайте. Какой толк писать о том, о чем уже было написано, если не надеешься написать лучше? В наше время писателю надо либо писать о том, о чем еще не писали, или обскакать писателей прошлого в их же области. И единственный способ понять, на что ты способен, это соревнование с писателями прошлого. Большинство живых писателей просто не существует. Их слава создана критиками, которым всегда нужен очередной гений, писатель, им всецело понятный, хвалить которого можно безошибочно. Но когда эти дутые гении умирают, от них не остается ничего. Для серьезного автора единственными соперниками являются те писатели прошлого, которых он признает. Все равно как бегун, который пытается побить собственный рекорд, а не просто соревнуется со своими соперниками в данном забеге. Иначе никогда не узнаешь, на что ты в самом деле способен.

М а й с. Но чтение всех этих превосходных писателей может обескуражить человека.

Ваш корреспондент. Ну что ж, значит, так ему и надо.

Майс. А что вы считаете лучшей начальной школой для писателя?

Ваш корреспондент. Несчастливое детство.

Майс. Как по-вашему, Томас Манн великий писатель?

Ваш корреспондент. Он был бы великим писателем, если бы не написал ничего, кроме «Будденброков».

Майс. А какова может быть тренировка писателя?

Ваш корреспондент. Наблюдайте, что делается вокруг. Если мы сейчас падаем на рыбу, замечайте, что будет делать каждый из нас. Если вас радует зрелище того, как она выпрыгивает из воды, старайтесь проанализировать и понять, что же именно вызвало вашу радость. То ли, как леса пошла из воды, натянутая, словно скрипичная струна, так что на ней даже выступили капли. Или то, как сама рыба прыгнула. Запоминайте все звуки и кто что говорил. Старайтесь понять, что вызвало именно эти чувства, какие действия особенно вас взволновали. Потом запишите все это четко и ясно, чтобы читатель мог сам все увидеть и почувствовать то же, что и вы. Это начальное упражнение для пяти пальцев.

Майс. Понимаю.

Ваш корреспондент. Потом подойдите с другой стороны, попытайтесь представить себе, что творится в чужой голове. Например, если я на вас ору, старайтесь вообразить, что я при этом думаю, а не только как вы на это реагируете. Если Карлос брапит Хуана, попытайтесь стать на сторону и того и другого. Только не думайте, кто из них прав. Как человек вы представляете себе, что хорошо, что плохо. Как человек вы твердо знаете, кто прав, кто виноват. Вы бываете вынуждены припимать решения и осуществлять их. Как писатель вы не должны судить. Вы должны понять.

Майс. Ясно.

Ваш корреспондент. Так слушайте. Вслушайтесь в разговоры. Не думайте о том, что вы сами собираетесь сказать. Большинство людей пикогда не слушают. И не наблюдают. Войдя в комнату и тут же выйдя из нее, вы должны помнить все, что вы там увидели, и не только это. Если у вас при этом возникло какое-то чувство, вы должны точно определить, что именно его вы-

свало. Упражняйтесь в этом. В городе, стоя у театра, смотрите, как по-разному выходит народ из такси и собственных машин. Да есть тысячи способов практиковаться. И всегда думайте о других.

М а й с. Как вы считаете, буду я писателем?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Ну, почему я знаю. Может быть, вам не хватит таланта. Или вы не сможете чувствовать за других. У вас есть материал для хороших рассказов, если вы сумеете написать их.

М а й с. Но как?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Пишите. Поработайте лет пять, и если тогда поймете, что ничего из вас не выходит, застрелиться всегда успеете.

М а й с. Нет, я не застрелюсь.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Тогда приезжайте сюда, и я вас застрелю.

М а й с. Спасибо.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Не стоит благодарности, Майс. Теперь, может быть, поговорим о чем-нибудь другом?

М а й с. О чем же?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. О чем угодно, Майс. О чем угодно, старина.

М а й с. Хорошо. Но...

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Никаких «но». Конеч. Ни слова о писательстве. На сегодня хватит. Точка. Лавочка заперта. Хозяин ушел домой.

М а й с. Хорошо. Но завтра я спрошу вас еще кое о чем.

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Воображаю, как вам приятно будет писать, когда вы точно узнаете, как это делается.

М а й с. Что вы имеете в виду?

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Ну как же. Приятно. Легко. Весело. Тяп-ляп — и готов шедевр старого мастера.

М а й с. Но скажите...

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Будет!

М а й с. Хорошо. Но завтра...

В а ш к о р р е с п о н д е н т. Да. Ладно. Конечно. Но только завтра.

КТО УБИЛ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ВО ФЛОРИДЕ

Бедные мои оборванцы!
Я поставил их в самое пекло.
Из ста пятидесяти уцелело
только трое, но так искалечены,
что теперь им весь век придется
протягивать руку у городских
ворот.

«Король Генрих IV»

Кому они помешали и для кого их присутствие могло быть политической угрозой?

Кто послал их на Флоридские острова и бросил там в период ураганов?

Кто виновен в их гибели?

Автор этой статьи живет далеко от Вашингтона и не знает, как ответить на эти вопросы. Но он знает, что богатые люди, яхтовладельцы, рыболовы, как, например, президент Гувер или президент Рузвельт, не ездят на Флоридские острова в период ураганов. Период ураганов длится три месяца — август, сентябрь и октябрь, и в эти месяцы вы ни одной яхты не встретите близ Флоридских островов. Не встретите потому, что владельцы яхт знают — их собственности грозит большая опасность, неминуемая опасность, если налетит буря. По этой же самой причине вам не соблазнить никого из богатых людей рыбной ловлей на побережье Кубы в летние месяцы, когда там больше всего крупной рыбы. Всякий знает, что это опасно для собственности. Но ветераны войны, и особенно та разновидность их, которая получает пенсию, не составляют ничьей собственности. Они попросту люди, люди, которым не повезло и которым нечего терять, кроме

своей жизни. Они трудятся, как китайские кули, получая самое большое сорок пять долларов в месяц, и их загнали на Флоридские острова, где от них никому нет беспокойства. Правда, приближается период ураганов, но если бы что-нибудь случилось, разве пельзя эвакуировать их оттуда?

Вот как приходит буря. В субботу вечером на Ки-Уэст вы, окончив работу, выходите на крыльцо выпить стаканчик и просмотреть вечернюю газету. Первое, что вы видите в газете,— это предупреждение о надвигающейся буре. Значит, работать не придется, пока не минует буря, и это досадно, потому что дело шло на лад.

В газете указывается, что тропический вихрь возник на Багамах, на восточном побережье Лонг-Айленда, и движется примерно в сторону Ки-Уэст. Вы достаете карту бурь, на которой обозначены даты и направления сорока сентябрьских ураганов, начиная с 1900 года. И, считая, что буря движется с быстротой, указанной в сводке Бюро погоды, вы высчитываете, что Ки-Уэст она должна достигнуть никак не раньше полудня в понедельник. Все воскресенье вы заняты тем, что стараетесь как можно лучше защитить свою лодку. Когда вам отказывают в просьбе вытащить ее на мостик на том основании, что там и так уже слишком много лодок, вы покупаете за пять долларов и двадцать центов новый толстый канат, ставите лодку в самое безопасное, на ваш взгляд, местечко в затоне субмарин и накрепко привязываете ее там.

В понедельник вы заколачиваете все ставни и убираете всю свою движимость в дом. Небо на северо-востоке предвещает бурю, и к пяти часам уже дует крепкий и упорный северо-восточный ветер, и большие красные флаги с черными четырехугольниками посередине подняты один над другим, что означает ураган. С каждым часом ветер крепчает, а барометр падает. Все жители города заколачивают окна и двери.

Вы идете к своей лодке и обматываете канаты холстом, чтобы они не перетерлись, когда поднимется шквал, и вы решаете, что, пожалуй, лодка выдержит, если только ветер будет не с северо-запада, где находится вход в затон; разве что другая лодка налетит на нее и затопит. Рядом привязана лодка контрабандистов, захваченная береговой охраной. И вы замечаете, что ее кормовые канаты всего-навсего прикреплены к рамам шурупам, и при виде этого у вас начинает сосать под ложечкой.

— Какого же черта! Ведь эти паршивые шурупы в одну минуту вырвет вон, и она ударится о мою лодку!

— Ну что ж, тогда вы ее совсем отвяжите или затопите.

— Да, как же, а если до нее и добраться нельзя будет? Очень нужно, чтобы такая старая галоша потопила хорошую лодку!

Из последней сводки вы делаете заключение, что до полуночи едва ли начнется, и в десять часов вы покидаете Бюро погоды и отправляетесь домой, в расчете, что вам удастся поспать часа два; машину вы оставляете перед домом, не доверяя шаткому гаражу, у постели ставите барометр и карманный фонарь на тот случай, если погаснет электричество. В полночь ветер неистово завывает, барометр показывает 29.55 и продолжает падать у вас на глазах, а дождь льет сплошной пеленой. Вы одеваетесь, выходите к залитому водой автомобилю и добираетесь до своей лодки, карманным фонарем освещая путь среди ломающихся ветвей и рвущихся проводов. Фонарь мигает под дождем, и ветер теперь обрушивается с северо-запада. Все шурупы на захваченной лодке повырывало, но благодаря ловкости Хосе Родригеса — испанца-моряка, ее отнесло, прежде чем она успела задеть мою лодку. Теперь она бьется о пристань.

Ветер дует вам в лицо, и приходится сгибаться в три погибели, чтобы выдерживать его натиск. Вы думаете о том, что, если ураган налетит в этом направлении, ваша лодка погибла и у вас никогда не будет достаточно денег, чтобы купить новую. Настроение у вас прескверное. Но после двух часов ветер поворачивает к западу, и, зная закон циркулярных бурь, вы можете заключить, что буря прошла над островами, минуя вас. Теперь волпорезы хорошо защищают лодку, и в пять часов, видя, что барометр уже около часа стоит на месте, вы возвращаетесь домой. Пробираясь в темноте, вы натываетесь на поваленное дерево, упавшее поперек дороги, и непривычная пустота на дворе дает вам понять, что и большое старое дерево сапподилло тоже повалило бурей. Вы входите в дом.

Вот что происходит, пока друзья беспокоятся о вас. И таков минимум времени, которым вы располагаете для необходимых приготовлений к урагану: два полных дня. Иногда даже больше.

А что произошло на островах?

Во вторник, когда буря огибала Мексиканский залив, дул такой сильный ветер, что ни одна лодка не могла выйти с Ки-Уэст и всякое сообщение с островами по ту сторону переправы и с материком было прервано. Никто не знал ни где прошла буря, ни что она натворила. Поезда не шли, самолеты не привозили известий. Никто не знал о бедствии, разразившемся на островах. Только в конце следующего дня первая лодка отправилась с Ки-Уэст на остров Матекумбе.

Эти строки написаны через пять дней после бури, и никто не знает точного числа жертв. Красный Крест, который упорно подтасовывает цифры, начав с сорока шести, назвав затем сто пятьдесят и, наконец, объявив, что число погибших не превышает трехсот,— сегодня уже насчитывает четыреста сорок шесть человек убитых и пропавших без вести, но число одних только убитых и пропавших без вести ветеранов войны достигает четырехсот сорока двух, и уже найдено семьдесят трупов гражданских служащих. Очень возможно, что общее число погибших заходит далеко за тысячу, так как много трупов унесло в открытое море и их никогда не найдут.

Нет надобности много говорить о гибели гражданских служащих и их семейств, поскольку их привело на острова собственное желание; они зарабатывали себе на жизнь, имели собственность и знали, чем рискуют. Но ветеранов войны туда послали. У них не было возможности уехать, не было защиты от ураганов; у них не было никакого пути к спасению.

Нередко во время войны отдельных солдат или целые части, вызвавшие недовольство своих начальников, посылали в самые опасные места и держали их там, пока вопрос не решался сам собой. Я не думаю, чтобы кто-нибудь сознательно поступил так с ветеранами войны в мирное время. Но, принимая во внимание число несчастных случаев при постройке железной дороги на Ки-Уэст, когда около тысячи человек погибло от урагана, можно считать Флоридские острова в ураганный период именно одним из таких самых опасных мест. И неведение никогда не служило оправданием человекоубийства.

Кто послал почти тысячу ветеранов войны, среди которых были крепкие, способные к тяжелому труду и просто не знавшие удачи люди, а были и слабые, почти боль-

ные,— в дощатые бараки Флоридских островов в ураганный период?

Почему их не эвакуировали в воскресенье или, по крайней мере, в понедельник утром, когда стало известно, что над островами может разразиться ураган, и когда *единственная возможность спасения заключалась в эвакуации?*

Кто распорядился, чтобы поезд, высланный для эвакуации ветеранов, вышел из Майами только в четыре тридцать в понедельник, так что его сорвало ветром с рельсов, прежде чем он дошел до места назначения?

Вот вопросы, на которые кому-то придется дать ответ, и ответ убедительный, иначе то, что произошло на равнине Анакостия, покажется актом милосердия в сравнении с тем, что случилось на Верхнем и Нижнем Матекумбе.

Когда мы добрались до Нижнего Матекумбе, на поверхности воды у самого парома плавали трупы. Кусты кругом были совсем бурые, точно осень вдруг наступила на этих островах, где не бывает осени, а бывает только еще более грозное лето, но это потому, что все листья облетели. В верхней части острова на два фута высился нанесенный морем песок, а на стройке моста тяжелые машины лежали на боку. Там, где море прошло по острову, он стал похож на дно высохшей реки. Железнодорожная насыпь исчезла, и вместе с ней исчезли люди, которые укрывались за ней и цеплялись за рельсы, когда подступила вода. Ничком или навзничь, они лежали теперь среди манглий. Больше всего трупов было в спутанных ветвях вечнозеленых, а теперь побуревших манглий, за цистернами и водокачкой. За манглии они цеплялись, ища защиты, пока их не сносило ветром и прибывающей водой. Многие выпускали ветви не сразу, но только когда уже больше не могли держаться. Дальше трупы стали попадаться высоко на деревьях, куда их закинули волны. Они были повсюду, и на солнце им уже становились тесны их синие куртки и фуфайки, которые всегда свободно болтались на плечах, когда они бродяжили и голодали.

Многих из них я видел на улицах города и в кабачке Джози Грэнта, когда они приходили туда в день полочки, и одни были вдребезги пьяны, а другие держались молодцом; одни стали бродягами чуть ли не с самой Аргонны,

а другие только в прошлое рождество остались без работы; одни были женаты, а другие не помнили родства; одни были хорошие ребята, а другие относили свои деньги в сберегательную кассу, а сами шли выклянчивать стаканчик у добрых людей, уже успевших напиться; одни любили драться, а другим нравилось разгуливать по городу, и во всех в них было то, что оставляет нам война. Но кто послал их сюда на смерть?

Я слышу, как пославший их, кто бы он ни был, говорит, оправдываясь перед самим собой: им теперь лучше. Да и что толку было от них здесь? Никто не волен в случайностях или в деяниях божьих. Они имели хорошую пищу, хорошее жилье, хорошее обращение и теперь, будем надеяться, нашли хорошую смерть.

Но я хотел бы, чтобы пославший их вынес хоть одного из манглиевой чащи, или перевернул лицом кверху одного из тех, что лежали на солнце у канавы, или связал пятерых вместе, чтоб они не всплывали на поверхность, или вдохнул тот запах, который, думалось, даст бог, не придется больше никогда вдыхать. Но теперь ясно, что счастья быть не может, когда богатые негодяи затевают войну. Несчастья будут продолжаться до тех пор, пока все участники не погибнут.

Так что зажмите нос, а вы, вы, которые опубликовали в отделе литературных новостей, что отправляетесь в Майами посмотреть на ураган, потому что он понадобился вам для вашего нового романа, а теперь испугались, что вам не удастся его увидеть,— вы можете продолжать читать газеты, и там вы найдете все, что нужно для вашего романа, но мне хочется ухватить вас за ваши брюки, которые вы просидели, сочиняя сообщения для отдела литературных новостей, и отвести в ту манглиевую чашу, где вверх ногами лежит женщина, раздувшаяся, как шар, и рядом с ней — другая, лицом в кустарник, и рассказать вам, что это были две прехорошенькие девушки, содержательницы заправочной станции и закуской при ней, и что туда, где они сейчас лежат, их привело их «счастье». И это вы можете записать для вашего нового романа, а кстати: как подвигается ваш новый роман, дорогой коллега, собрат по перу?

Но тут как раз является один из восьми уцелевших обитателей лагеря, где жило сто восемьдесят семь человек, не считая тех двенадцати, которые отправились в Майами играть в футбол (что вы скажете о таком про-

центе, вы, любитель несчастных случаев?), и он говорит: «А, вот и моя старуха. Пухленькая, не правда ли?» Но этот парень просто спятил, так что покончим с ним и сядем в лодку, чтобы доехать до Пятого лагеря.

Пятый лагерь — это тот самый, где из ста восьмидесяти семи осталось в живых восемь, но мы нашли только шестьдесят семь плюс те двое у канавы, — вместе это составляет шестьдесят девять. Все остальные в манглиях. Не нужно ищейки, чтобы их разыскать. А сарычей кругом не видно. Ни одного сарыча. Как же это? Вы не поверите. Ветер убил всех сарычей и всех больших птиц, даже пеликанов. Они валяются в мокрой траве у канавы. Ага, вот еще один! Он в туфлях, положите его, не трогайте, на вид лет шестидесяти, туфли, комбинезон с медными застежками, синяя перкалевая рубашка без воротника, непромокаемая куртка, вот уж действительно самый подходящий костюм, в карманах ничего нет. Поверните его. Лицо распухло до неузнаваемости. Да он и не похож на ветерана войны. Слишком стар. У него седые волосы. У вас у самого будут седые волосы ровно через неделю. А сзади у него большой, огромный пузырь во всю ширину спины и вот-вот лопнет в том месте, где куртка завернулась. Переверните-ка его еще раз. Ну конечно, — ветеран. Я его знаю. А почему же он в туфлях? Может быть, заработал немного денег ловлей крабов, вот и купил. Вы не знаете этого человека. Сейчас его нельзя узнать. Я знаю его, у него большого пальца нет на руке. Вот почему я его узнал. Краб откусил ему палец. Вам кажется, что вы всех знаете. Ну, долго же вы крепились, куда вас не стошнило, приятель. Шестьдесят семь посмотрели и только на шестьдесят восьмом вас стошнило.

И вот вы идете вдоль канавы, там, где еще сохранилась канава, и вода теперь спокойная, прозрачная и синяя, и все почти так, как зимой, когда приезжают миллионеры, только тогда не бывает мух, москитов и запаха мертвых, которые всегда пахнут одинаково, в какую страну ни приедешь, — и вот теперь они пахнут так же на вашей родине. Или это только мертвые солдаты пахнут все одинаково, какой бы национальности они ни были и кто бы ни послал их на смерть?

Кто послал их сюда?

Надеюсь, он прочел это, — как он себя чувствует?

Он и сам умрет, может быть, даже без предупреждения об урагане, но, возможно, это будет легкая смерть и не нужно будет цепляться за что-нибудь до тех пор, пока не иссякнут силы, пока пальцы не начнут скользить и не наступит тьма. И ветер воет, как паровозный свисток с резким выкриком под конец, потому что ветр плачет именно так, как пишут в книгах, а потом канава надвигается ближе, и высокая стена воды перекатилась через дамбу и еще и еще, и потом оно, что бы это ни было, настигает тебя, и вот ты лежишь перед нами, уже никому не нужный, и выпускаешь зловоние среди манглий.

Ты мертв, брат мой! Но кто бросил тебя в ураганный период на островах, где тысяча людей до тебя погибла от урагана, строя дорогу, смытую теперь водой?

Кто бросил тебя там? И как теперь карается человекоубийство?

1935

КРЫЛЬЯ НАД АФРИКОЙ

(Кое-что из области орнитологии)

Из Порт-Саида сообщают, что за последнюю неделю через Суэцкий канал прошло шесть пароходов с 9476 больными и ранеными итальянскими солдатами, возвращающимися с поля брани в Абиссинии. В сообщении не приводятся фамилии, не названы города или деревни, откуда эти солдаты отправились воевать в Африку. Не упомянуто и о том, что место их назначения — один из тех расположенных на островах госпиталей-концлагерей, куда свозят больных и раненых, чтобы их возвращение в Италию не деморализовало родственников, проводивших их на войну. Деморализовать итальянца так же легко, как и воодушевить. Итальянский чернорабочий, у которого умер ребенок, способен не только пригрозить смертью лечившему ребенка врачу, но и сделать попытку привести свою угрозу в исполнение; и тот, кому случалось наблюдать подобные сцены, оценит предусмотрительность Муссолини, не желающего, чтобы граждане его государства видели скорлупу от яиц, разбитых для его имперской яичницы.

«Мамма mia! О мамма mia!» — вот слова, которые чаще всего различаешь в столах, криках или сдавленных хрипах раненых итальянцев, и эти порывы сыновней любви, обостренной страданием и болью, наверняка не остались бы безответными, если бы матери раненых и больных солдат видели их мучения. Мамма mia'нье допустимо в армии лишь в известных пределах, иначе армия может развалиться, и хвала Муссолини, который следит за тем, чтобы подобные песни исполнялись без аккомпанемента.

Можно так накалить пропагандой итальянского солдата, что он пойдет в бой, горя желанием умереть за дуче и твердо веря в то, что лучше день прожить львом, чем сто лет овцой; и если он получит сравнительно безболезненное ранение — в ягодицу, икру или мякоть бедра, то сохранит способность испытывать благородные чувства и патетически восклицать: «Дуче! Приветствую тебя, дуче! Счастлив умереть за тебя, дуче!»

Но если пуля заденет нерв, раздробит кость, разворотит брюшину, дуче сразу вылетит у него из головы и он только будет твердить: «O mamma mia!» Малярия и дизентерия еще меньше способствуют усилению патриотического пыла, а желтуха, при которой, я помню, чувствуешь себя так, словно тебя лягнули в пах, такого пыла не вызывает вовсе.

Война в Африке имеет одну особенность, о которой дуче следовало бы запретить писать в газетах. Речь идет о той роли, которую в этой войне играют птицы. На абиссинской территории, где сейчас воюют итальянцы, насчитывается пять пород птиц, делающих убитых и раненых своей добычей. Есть черно-белый ворон, который летает низко над землей и находит раненого или труп по запаху. Есть сарыч обыкновенный, который тоже летает невысоко и ориентируется как обонянием, так и зрением. Есть красноголовый маленький сип, похожий на нашего индюшачьего грифа; этот летает сравнительно высоко и в полете высматривает добычу. Есть громадный, омерзительный на вид гриф с голой шеей, который парит на высоте, почти недоступной глазу; увидев труп или человека, лежащего неподвижно, он падает вниз, точно оперенный снаряд, со свистом рассекающий воздух, и вразвалку, вприпрыжку по земле подбирается к цели, готовый клевать и мертвое и живое — было бы только оно беззащитно. И еще есть большой безобразный марабу; он парит еще выше, откуда уже ничего не видно, и бросается вниз тогда, когда замечает, что вниз бросились грифы. Основных пород пять, но не меньше пятисот хищников слетается на одного раненого, если он лежит на открытом месте.

Когда человек уже мертв, не так важно, что случится с его телом, но для африканских стервятников раненый — такая же добыча, как и труп. Я видел, как за двадцать минут от убитой зебры не осталось ничего, кроме костей и усеянного перьями большого, жирного черного пятна —

благо шкура была пробита выстрелом и добраться до внутренних не составило труда. А за ночь гиены разгрызли и сожрали кости, так что утром даже места, где лежала ребра, нельзя было бы найти, если бы не черный маслянистый подтек на земле. А поскольку труп человека меньше и не защищен толстой шкурой, с ним расправляются гораздо быстрее. В Африке можно не хоронить мертвецов без риска нарушить санитарные требования.

Но главное, о чем дуче следовало бы умалчивать перед своими солдатами, это не опасность угодить после смерти в желудок стервятника, а то, что марабу и стервятники делают с ранеными. Каждый итальянский солдат должен усвоить одно правило: если ты ранен и не можешь подняться на ноги, то хотя бы перевернись лицом вниз. Я знаю одного участника прошлой войны, сражавшегося в Германской Восточной Африке, которому этого правила своевременно не преподали. Когда он, раненный, лежал без сознания, стервятники принялись выклевывать ему глаза. Режущая, слепящая боль заставила его очнуться; что-то вонючее, в перьях, возилось над ним; отбиваясь, он перекатился на живот и тем спас хотя бы один глаз. Тогда птицы стали клевать его сквозь одежду и, наверно, добрались бы до почек, но подоспели санитары с посылками и отогнали их. Если вам когда-нибудь вздумается проверить, сколько времени нужно стервятникам, чтобы напасть на живого человека, ложитесь под деревом, замрите и наблюдайте; сперва они станут кружить на такой высоте, что покажутся лишь темными пятнышками, потом начнут снижаться, описывая концентрические круги, и, наконец, ринутся на вас смертоносным шелестящим кольцом. Тогда сразу вставайте, и кольцо разлетится, хлопая крыльями. Но что было бы, если бы вы не могли встать?

До сих пор абиссинцы не сражались. Они только отступали, предоставляя итальянским войскам продвигаться вперед. Абиссиния — страна, где всегда были сильны соперничающие между собой феодальные князьки; некоторых из них итальянцам удалось подкупить, играя на их честолюбии или на их распрях с негусом. По всем сообщениям выходит, будто Италия занимает страну почти без борьбы. Но Италии необходимо выиграть хотя бы одно сражение, для того чтоб она могла добиваться от держав

признания за ней права на занятую территорию или, может быть, даже протектората над всей Абиссинией. Абиссинцы же пока что упорно отказываются сражаться.

С каждым днем все дальше растягиваются коммуникационные линии итальянцев. С каждым днем растет число миллионов лир, затрачиваемых на содержание армии в полевых условиях, и с каждым днем все больше больных увозят на пароходы для эвакуации. Если абиссинцы отступят настолько, что у них появится возможность начать партизанскую борьбу на итальянских коммуникациях, так и не приняв боя, — Италия проиграла войну. Но возможно, из гордости или тщеславия абиссинцы и не пойдут на это, возможно, они, рискуя всем, примут бой и будут разбиты. А возможно, и не будут, хотя все шансы против них.

Если они привыкнут к воздушным налетам, научатся рассыпаться и вести по самолетам огонь, как в свое время научились рифы в Северной Африке, одно из крупнейших преимуществ Италии будет сведено к нулю. Авиации требуются крупные, концентрированные объекты, бомбардировщикам — города, штурмовикам — скопления войск. Рассредоточенные боевые порядки для самолетов опаснее, чем самолеты для них. А если абиссинцы сумеют продержаться до нового сезона дождей, тогда и танки и автотранспорт итальянцев окажутся бесполезными. Вряд ли у Италии хватит денег продолжать войну, пока сезон дождей не окончится. Не надо забывать, что абиссинцы находятся в своей стране и к тому же привыкли есть один раз в день, а Италии каждый ее солдат стоит огромных денег, так как нужна сложная и дорогая транспортная система, чтобы содержать его в полевых условиях и кормить так, как он привык есть. Стоит только Италии выиграть хотя бы одно сражение, она немедленно начнет мирные переговоры.

В авангарде итальянской армии все время шли сомалийские и данакильские части, и успех наступления следует приписать в значительной мере прозорливости генералов Муссолини, которые справедливо считают, что на европейскую пехоту в Африке полагаться нельзя, и хорошо усвоили урок прошлой войны: если воюешь недалеко от экватора, победить можно только с помощью черных войск. Однако, если дело дойдет до крупного сражения тогда, когда итальянцы успеют продвинуться далеко в глубь абиссинской территории, им придется ввести в бой

свои войска, потому что черных солдат у них для такого сражения не хватит. Вот чего они, по всей видимости, стараются избежать и на чем строят свои расчеты абиссинцы. Они уже раз побили итальянцев и верят, что сумеют побить их снова. Италия надеется, что наличие черной пехоты, танки, пулеметы, авиация и современная артиллерия обеспечат ей победу. Абиссиния надеется заманить итальянскую армию в ловушку, как это было при Адуве в 1896 году. А пока что абиссинцы отступают и отступают, а итальянцы продолжают наступление, посылая вперед отряды аскари, вербуя новых ненадежных союзников и расходуя все свои деньги на содержание армии в Африке.

Следующий ход Италии мне сейчас представляется таким: она постарается путем тайного сговора с державами обеспечить себе свободу действий и добиться отмены санкций, ссылаясь на то, что ее военное поражение неминуемо приведет к победе «большевизма» в стране. Иногда государства с демократическим образом правления объединяются, чтобы помешать какому-либо диктатору осуществить свои империалистические замыслы (особенно если их собственные империалистические владения достаточно прочно защищены). Но стоит такому диктатору завопить о большевистской угрозе как неизбежном следствии его поражения — и сочувствие немедленно окажется на его стороне. Ведь стал же Муссолини героем всей ротермировской прессы в Англии благодаря утвердившемуся там мифу, что он, Муссолини, спас Италию от опасности стать красной. А между тем Италия потому не стала красной, что, когда туринские рабочие захватили заводы и фабрики, отдельные группировки радикалов не смогли договориться о сотрудничестве. И еще потому, что волей обстоятельств в руках рабочих оказались предприятия металлургической промышленности — детища военного бума, к тому времени уже обреченные на крах. Муссолини, самый хитрый оппортунист нашей эпохи, сумел подняться на той волне разочарования, которая была вызвана анекдотической неспособностью итальянских радикалов к сотрудничеству и неумением использовать такой мощный козырь, какой дало им в руки поражение Италии при Капоретто.

Помню, как в ту войну матери и отцы, высунувшись из окна или выйдя на порог винной лавки, кузницы, сапожной мастерской, кричали вслед проходившим по ули-

це войскам: «A basso gli ufficiali! — Долой офицеров!» — им казалось, что это офицеры гнали рядовых пехотинцев в бой, когда те уже поняли, что война не принесет им ничего хорошего. Офицеров, которые считали, что войну нужно продолжать до победного конца, глубоко возмущала эта ненависть к ним рабочего люда. Но многие офицеры уже в то время ненавидели войну так, как не могли потом ненавидеть ничто другое — ни тиранию, ни жестокость, ни несправедливость, ни растление человеческих душ. Ведь война — сплав всех этих зол в самой их сути, сплав, который во много раз прочней каждого из составных элементов. Долго любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда. Конечно, нет правила без исключения: есть и были генералы, которые ненавидели войну, и есть проститутки, которые не извлекли из нее никакой корысти. Но эти достойные и великодушные личности именно исключение.

Немало людей в Италии помнят прошлую войну такой, как она была, а не такой, как ее им изображали после. Но те из них, кто пробовал раскрыть рот, жестоко поплатились за это: одних убили, другие томятся в тюрьме на Липарских островах, а третьим пришлось покинуть родину. Во времена диктатуры опасно иметь хорошую память. Нужно приучить себя жить великими свершениями текущего дня. Пока диктатор контролирует прессу, всегда найдутся очередные великие свершения, которыми и следует жить. У нас в Америке, как только в воздухе повеет диктатурой, газеты принимаются усиленно прославлять повседневные достижения правительства, а стоит вам оглянуться на любой год или любые несколько лет деятельности этого правительства, и вы тотчас увидите ее плачевные результаты. Диктатура удерживается только силой, вот почему никакой диктатор, реальный или потенциальный, не может допустить хотя бы временного ослабления своей популярности — это немедленно заставило бы его применить силу, чтобы не лишиться власти. Удачливый диктатор пускает в ход дубинки и совершает триумфальное шествие по страницам газет. Неудачливый диктатор начинает всего бояться, расстреливает слишком много своих же людей, и как только армия или полиция перестанут его поддерживать, ему конец. Если он уж очень усердствует с расстрелами, то нередко получает сам пулю

в лоб еще до того, как рухнет его режим. Впрочем, это очерк не о диктаторах, а о некоторых орнитологических аспектах войны в Африке.

Разумеется, даже верное представление о прошлой войне не поможет деревенским парням с крутых склонов Абрुцц, где на вершинах так рано ложится снег; не поможет оно ни механикам из гаражей и мастерских Милана, Болоньи или Флоренции, ни велогонщикам с белых от пыли ломбардских дорог, ни футболистам из заводских команд Специи или Турина, ни тем, что косили высокогорные луга в Доломитовых Альпах, а зимою водили там партии горнолыжников, или жгли уголь в лесах над Пьембино, или подметали полы в трактирах Виченцы, а в прежние годы, может, эмигрировали бы в Америку, Северную или Южную. Они будут страдать от смертельного зноя, узнают все прелести края, где не бывает тени; они заболеют неизлечимыми болезнями, от которых ноют кости, и разбухают внутренности, и молодой человек превращается в старика; когда же наконец они попадут в сражение и будут ранены, хорошо, если, услышав над собой шелест крыльев слетающихся птиц, они вспомнят, что нужно перевернуться лицом вниз и шептать свое: «Mamma mia!» — припав губами к матери-земле.

Сынки Муссолини летают на самолетах, не рискуя быть сбитыми, потому что у противника самолетов нет. Но сыновья всех бедняков Италии служат в пехоте — во всем мире сыновья бедняков всегда служат в пехоте. Лично я желаю пехотинцам удачи; но еще я желаю им понять, кто их враг — и почему.

Финста (И восходит солнце)

РОМАН

Перевод В. Топер

Все вы — потерянное поколение.

Гертруда Стайн (в разговоре)

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется; и тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.

Екклезиаст

FIESTA
(THE SUN ALSO RISES)
1926

Глава первая

Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского университета в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило очень много. Он не имел склонности к боксу, напротив — бокс претил ему, но он усердно и не щадя себя учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему как к еврею относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, но права он был тихого и кроткого и никогда не дрался, кроме как в спортивном зале. Он был лучшим учеником Спайдера Келли. Спайдер Келли обучал всех своих учеников приемам боксеров веса пера, независимо от того, весили ли они сто пять или двести пять фунтов. Но для Кона, по-видимому, это оказалось то, что нужно. Он и в самом деле был очень ловок. Он так хорошо боксировал, что удостоился встречи со Спайдером, во время которой тот нокаутировал его и раз навсегда сплюснул ему нос. Это усугубило нелюбовь Кона к боксу, но все же дало ему какое-то странное удовлетворение и, несомненно, улучшило форму его носа. В последний год своего пребывания в Принстоне он слишком много читал и начал носить очки. Никто из его однокурсников не помнил его. Они даже не помнили, что он был чемпионом бокса в среднем весе.

Я отношусь с недоверием ко всем откровенным и честосердечным людям, в особенности когда их рассказы о себе правдоподобны, и я долгое время подозревал, что Роберт Кон никогда не был чемпионом бокса, — просто на лицо ему наступила лошадь, а может быть, мать его испу-

галась или загляделась или он в детстве налетел на что-нибудь; но в конце концов мне удалось навести справки у Спайдера Келли. Спайдер Келли не только помнил Кона — он часто думал о том, что с ним случилось.

Роберт Кон со стороны отца принадлежал к одному из самых богатых еврейских семейств в Нью-Йорке, а со стороны матери — к одному из самых старинных. В военном училище, где он готовился к поступлению в Принстонский университет и занимал почетное место в футбольной команде, ничто не напоминало ему о расовых предрассудках. Никто ни разу не дал ему почувствовать, что он еврей, пока он не приехал в Принстон. Он был славный малый, добродушный и очень застенчивый, но такое отношение озлобило его. В отместку он выучился боксу и вышел из Принстона болезненно самолюбивым, со сплюснутым носом, и первая девушка, которая обошлась с ним ласково, женила его на себе. Он прожил с женой пять лет, имел от нее троих детей, потерял почти все состояние в пятьдесят тысяч долларов, полученное в наследство от отца, — остальное имущество перешло к матери, — и под влиянием постоянных ссор с богатой женой превратился в довольно угрюмого субъекта; и вот в тот самый момент, когда он решил бросить жену, она сама бросила его, сбегав с художником-миниатюристом. Так как он чуть ли не полгода собирался бросить жену и только потому не мог на это отважиться, что лишить ее своей особы было бы слишком жестоко, ее отъезд послужил ему весьма полезным уроком.

Развод состоялся, и Роберт Кон уехал на Западное побережье. В Калифорнии он попал в литературную среду, и поскольку у него кое-что оставалось от пятидесяти тысяч, он вскоре стал финансировать художественный журнал. Журнал начал выходить в Кармеле, штат Калифорния, и кончил свое существование в Провинстауне, штат Массачусетс. К этому времени Кон, на которого прежде смотрели лишь как на доброго ангела и чье имя фигурировало на титульном листе только в списке членов редакционного совета, стал единственным редактором журнала. Журнал как-никак выходил на его деньги, и он обнаружил, что положение редактора ему нравится. Он очень горевал, когда издание журнала стало слишком дорогим удовольствием и ему пришлось от него отказаться.

Впрочем, к тому времени у него появились другие заботы. Его успела прибрать к рукам некая особа, которая

надеялась возвыситься вместе с журналом. Это была весьма энергичная женщина, а прибрать Кона к рукам ничего не стоило. Кроме того, он был уверен, что любит ее. Когда она увидела, что рассчитывать на успех журнала не приходится, она слегка охладела к Кону и решила, что нужно воспользоваться чем можно, пока еще есть чем пользоваться, и настояла на поездке в Европу, где она когда-то воспитывалась и где Кон должен был стать писателем. Они уехали в Европу и пробыли там три года. За эти три года, — первый они провели в путешествиях, а два последние в Париже, — Роберт Кон приобрел двух друзей — Брэддокса и меня. Брэддокс был его литературным другом. Я был его другом по теннису.

Особа, завладевшая Робертом (звали ее Фрэнсис), к концу второго года спохватилась, что красота ее на ущербе, и беспечность, с которой она распоряжалась им и эксплуатировала его, сменилась твердым решением выйти за него замуж. В это время мать Роберта стала выдавать ему около трехсот долларов в месяц. Не думаю, чтобы за последние два с половиной года Роберт хоть раз взглянул на другую женщину. Он был почти счастлив, если не считать того, что он, подобно многим американцам, живущим в Европе, предпочел бы жить в Америке; и вдобавок он открыл в себе призвание писателя. Он написал роман, и этот роман вовсе не был так плох, как утверждали критики, хотя это был очень слабый роман. Он много читал, играл в бридж, играл в теннис и занимался боксом в одном из парижских спортивных залов.

Впервые я понял позицию, занятую Фрэнсис по отношению к нему, в тот вечер, когда я с ними обедал. Мы пообедали в ресторане Лавиния, а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль». После кофе мы выпили по несколько рюмок коньяку, и я сказал, что мне пора уходить. За обедом Кон звал меня уехать вместе с ним куда-нибудь на воскресенье. Ему хотелось вырваться из города и хорошенько размять ноги. Я предложил лететь в Страсбург и оттуда отправиться пешком в Сент-Одиль или еще куда-нибудь по Эльзасу.

— В Страсбурге у меня есть знакомая, она покажет нам город, — сказал я.

Кто-то толкнул меня ногой под столом. Я думал, что это случайно, и продолжал:

— Она живет там уже два года и знает все, что нужно посмотреть в Страсбурге. Очень милая девушка.

Я снова почувствовал толчок под столом и, подняв глаза, увидел выставленный вперед подбородок и застывшее лицо Фрэнсис, подруги Роберта.

— А впрочем,— сказал я,— зачем непременно в Страсбург? Мы можем поехать в Брюгге или в Арденны.

Кон облегченно вздохнул. Больше меня не толкали. Я пожелал им спокойной ночи и вышел. Кон сказал, что хочет купить газету и дойдет со мной до угла.

— Ради всего святого,— сказал он,— зачем вы заговорили об этой девушке в Страсбурге? Разве вы не видели лицо Фрэнсис?

— Нет. А зачем мне его видеть? Если у меня в Страсбурге есть знакомая американка, какое Фрэнсис до этого дело?

— Все равно. Чья бы ни была знакомая. Я не смог бы поехать, вот и все.

— Что за глупости.

— Вы не знаете Фрэнсис. Любая девушка, безразлично кто. Разве вы не видели, какое у нее было лицо?

— Ладно,— сказал я,— поедem в Санлис.

— Не сердитесь.

— Я не сержусь. Санлис — прекрасное место; мы можем остановиться в «Большом олене», походить по лесам и вернуться домой.

— Отлично. Это будет замечательно.

— Так завтра на теннисе,— сказал я.

— Спокойной ночи, Джейк,— сказал он и пошел обратно, в кафе.

— Вы забыли купить газету,— сказал я.

— Ах, да.— Он дошел со мной до киоска на углу.— Вы ведь не сердитесь, Джейк? — сказал он, поворачивая назад с газетой в руках.

— Нет, чего ради мне сердиться?

— Увидимся на корте,— сказал он и пошел с газетой обратно, в кафе. Я смотрел ему вслед. Он нравился мне, а жилось ему с ней, очевидно, не сладко.

Глава вторая

Зимой Роберт Кон ездил в Америку со своим романом и пристроил его в довольно крупное издательство. Я слышал, что из-за этой поездки между ним и Фрэнсис произошла жестокая ссора, и тут-то, вероятно, она и потеря-

ла его, потому что в Нью-Йорке женщины ухаживали за ним, и он вернулся в Париж совсем другим человеком. Он пуще прежнего восторгался Америкой и уже не был ни таким чистосердечным, ни таким славным. Издательство расхвалило его роман, и это вскружило ему голову. Кроме того, несколько женщин явно дарили его своим вниманием, и перед ним открылись новые горизонты. Целых четыре года его кругозор был ограничен собственной женой. Три года, или около того, он ничего дальше Фрэнсис не видел. Я уверен, что он ни разу в жизни не был влюблен.

Женитьба послужила ему утешением после тягостных лет, проведенных в университете, а Фрэнсис утешила его после сделанного им открытия, что он не был всем на свете для своей первой жены. Сейчас он еще не был влюблен, но уже понимал, что представляет некую привлекательную величину для женщин и что если женщина любит его и хочет с ним жить — в этом нет никакого чуда. Под влиянием этой мысли он так изменился, что его общество уже не доставляло мне прежнего удовольствия. Кроме того, играя в бридж по крупной со своими нью-йоркскими знакомыми и делая ставки выше своих средств, он сумел выиграть несколько сот долларов. Поэтому он возомнил себя первоклассным игроком и не раз говорил, что в случае необходимости можно отлично прокормиться игрой в бридж.

Но это еще не все: он прочитал У.-Х. Хадзона. Занятие как будто невинное, но Кон прочел и перечел «Пурпуровую страну». «Пурпуровая страна» — книга роковая, если читать ее в слишком зрелом возрасте. Она повествует о роскошных любовных похождениях безупречного английского джентльмена в сугубо романтической стране, природа которой описана очень хорошо. В тридцать четыре года пользоваться этой книгой как путеводителем по жизни так же небезопасно, как в этом же возрасте явиться на Уолл-стрит прямо из французской монастырской школы вооруженным серией брошюр «От чистильщика сапог до миллионера». Я уверен, что Кон принял каждое слово «Пурпуровой страны» так же буквально, как если бы это был «Финансовый бюллетень». Понятно, он допускал оговорки, но, в общем, принял книгу всерьез. Только этого не хватало, чтобы «завести» его. Я не представлял себе, до какой степени он «заведен», пока однажды он не пришел ко мне в редакцию.

— Хэлло, Роберт! — сказал я. — Вы пришли развеселить меня?

— Хотите поехать в Южную Америку, Джейк? — спросил он.

— Нет.

— Почему?

— Не знаю. Никогда не испытывал желания. Слишком дорого. Да здесь, в Париже, сколько угодно южноамериканцев.

— Это не настоящие южноамериканцы.

— А по-моему, они даже слишком настоящие.

Я должен был срочно сдать на согласованный поезд корреспонденцию за всю неделю, а написана была только половина.

— Сплетен никаких не знаете? — спросил я.

— Нет.

— Никто из ваших высокопоставленных друзей не разводится?

— Нет. Послушайте, Джейк. Если я возьму на себя все расходы, вы поедете со мной в Южную Америку?

— На что я вам?

— Вы говорите по-испански. И вообще вдвоем веселей.

— Нет, — сказал я, — мне нравится в Париже, а летом я поеду в Испанию.

— Всю жизнь я мечтал о таком путешествии, — сказал Кон. Он сел. — Пока я соберусь, я уже буду слишком стар.

— Не дурите, — сказал я. — Вы можете поехать куда угодно, у вас куча денег.

— Знаю. Но я не могу собраться.

— Не огорчайтесь, — сказал я. — Все страны похожи на кинофильм.

Но мне было жаль его. Он не на шутку расстроился.

— Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, а я не живу по-настоящему.

— Никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров.

— Матадоры меня не интересуют: это ненормальная жизнь. Я хочу поехать вглубь Южной Америки. Это было бы замечательное путешествие.

— А поохотиться в Британской Восточной Африке вы не хотите?

— Нет, туда меня не тянет.

- В Африку я бы с вами поехал.
- Нет, это меня не интересует.
- Потому что вы ничего об этом не читали. Пойдите почитайте об амурах с лоснящейся черной красавицей.
- Я хочу в Южную Америку.

Была в нем эта черта — несокрушимое еврейское упрямство.

- Давайте сойдем вниз и выпьем чего-нибудь.
- А вы не заняты?
- Нет, — сказал я. Мы спустился вниз, в кафе первого этажа. Я уже давно открыл, что это лучший способ выпроваживать посетителей. Выпив с приятелем, остается только сказать: «Ну, мне надо подняться наверх — отправить телеграммы», — и все. В газетном деле, этика которого требует, чтобы никто никогда не видел тебя за работой, очень важно изобретать такие непринужденные уходы со сцены. Итак, мы спустились в бар и выпили виски с содовой. Кон поглядел на ящики с бутылками, стоявшие у стены.

- Здесь хорошо, — сказал он.
- Много выпивки, — поддакнул я.
- Послушайте, Джейк. — Он наклонился над стойкой. — У вас никогда не бывает такого чувства, что жизнь ваша проходит, а вы ею не пользуетесь? Вы думаете о том, что вы уже прожили около половины отпущенного вам срока?

- Иногда думаю.
- Вы знаете, что через каких-нибудь тридцать пять лет нас уже не будет?

- Да бросьте, Роберт, — сказал я. — Бросьте.
- Я говорю серьезно.
- Вот уж о чем я не тревожусь, — сказал я.
- Напрасно.
- У меня достаточно было о чем тревожиться в свое время. Хватит.

- А все-таки я хочу в Южную Америку.
- Послушайте, Роберт: ничего не изменится от того, что вы поедете в другую страну. Я все это испробовал. Нельзя уйти от самого себя, переезжая с места на место. Тут уж ничем не поможешь.

- Но вы никогда не ездили в Южную Америку.
- Далась вам Южная Америка! Если вы поедете туда в теперешнем вашем настроении, все будет по-преж-

нему. Париж — хороший город. Почему вы не можете жить настоящей жизнью в Париже?

— Мне осточертел Париж, осточертел Латинский квартал.

— Не ходите туда. Курсируйте сами по себе и посмотрите, что с вами случится.

— Со мной никогда ничего не случается. Я как-то пропатался один всю ночь, и ничего не случилось, только полицейский на велосипеде остановил меня и велел предъявить документы.

— Разве город не хорош ночью?

— Я не люблю Парижа.

Вот вам, извольте. Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи: единственное спасение в Южной Америке и он не любит Парижа. Первую идею он вычитал из книги и вторую, вероятно, тоже.

— Ну,— сказал я,— мне надо подняться наверх — отправить телеграммы.

— Вам непременно нужно идти?

— Да, я должен отправить телеграммы.

— Ничего, если я пойду с вами и посижу в редакции?

— Пожалуйста.

Он сидел в первой комнате, читал газеты и журнал «Редактор и издатель», а я целых два часа усердно стучал на машинке. Потом я разобрал рукописи по экземплярам, сделал пометки, положил все в большие конверты и вызвал курьера, чтобы он отнес их на вокзал Сен-Лазар. Я вышел в другую комнату, и там в большом кресле сидел Роберт Кон и спал. Он спал, положив голову на руки. Мне жаль было будить его, но я хотел запереть редакцию и уйти. Я тронул его за плечо. Он замотал головой.

— Не могу я этого сделать,— сказал он и глубже зарылся головой в скрещенные руки.— Не могу. Ни за что не сделаю.

— Роберт,— сказал я и потряс его за плечо.

Он поднял голову, улыбнулся и заморгал глазами.

— Я сейчас говорил что-нибудь?

— Говорили. Но я не расслышал.

— Господи, какой дурацкий сон!

— Это моя машинка усыпила вас?

— Должно быть. Я прошлую ночь совсем не спал.

— Почему?

— Разговаривали,— ответил он.

Я легко мог представить себе их разговор. У меня скверная привычка представлять себе своих друзей в спальне. Мы отправился в кафе «Наполитен» выпить аперитив и смотреть вечернее гуляние на Бульварах.

Глава третья

Был теплый весенний вечер, и после того как Роберт ушел, я остался сидеть за столиком на террасе кафе «Наполитен» и в наступающей темноте смотрел на вспышки световых реклам, на красные и зеленые сигналы светофоров, на толпу гуляющих, на фиакры, докающие вдоль края сплошного потока такси, и на «курочек», проходивших по одной и парами в поисках ужина. Я смотрел на хорошенькую женщину, которая прошла мимо моего столика, и смотрел, как она пошла дальше по улице, и потерял ее из виду, и стал смотреть на другую, а потом увидел, что первая возвращается. Она снова прошла мимо меня, и я поймал ее взгляд, а она подошла и села за мой столик. Подскочил официант.

— Что ты будешь пить? — спросил я.

— Перно.

— Маленьким девочкам вредно пить перно.

— Сам маленький. Гарсон, рюмку перно.

— И мне рюмку перно.

— Ну как? — спросила она.— Хочешь время провести?

— Да. А ты?

— Там видно будет. В этом городе разве угадаешь?

— Ты не любишь Парижа?

— Нет.

— Почему ты не едешь в другое место?

— Нет другого места.

— А чем тебе здесь плохо?

— Да, чем?

Перно — зеленоватый суррогат абсента. Если налить в него воды, оно делается беловатым, как молоко. Вкусом напоминает лакрицу и сначала подбадривает, но зато после раскисаешь. Мы пили с ней перно, и у нее был недовольный вид.

— Ну,— сказал я,— может быть, ты угостишь меня ужином?

Она ухмыльнулась, и я понял, почему она упорно не хочет смеяться. С закрытым ртом она была очень недурпа собой. Я заплатил за перно, и мы вышли на улицу. Я кликнул фиакр, и он подъехал к тротуару. Удобно усевшись в медлительном, мягко катящем фиакре, мы поехали по широкой, сияющей огнями и почти безлюдной авеню Оперы, мимо запертых дверей и освещенных витрин магазинов. Фиакр миновал редакцию «Нью-Йорк геральд», где все окно было заставлено часами.

— Зачем столько часов? — спросила она.

— Они показывают время по всей Америке.

— Не оstri.

Мы свернули на улицу Пирамид, проехали по тесной Рю-де-Риволи и через темные ворота въехали в Тюильри. Она прижалась ко мне, и я обнял ее. Она взглянула на меня, ища поцелуя. Она коснулась меня рукой, и я отодвинул ее руку.

— Не надо.

— Что с тобой? Болен?

— Да.

— Все больны. Я тоже больна.

Мы выехали из Тюильри на свет, пересекли Сену и свернули на улицу Святых Отцов.

— Зачем же ты пил перно, если ты болен?

— А ты зачем?

— Для меня это не имеет значения. Это не имеет значения для женщин.

— Как тебя зовут?

— Жоржет. А тебя?

— Джейкоб.

— Это фламандское имя.

— И американское.

— Ты, падсюсь, не фламандец?

— Нет, американец.

— Слава богу, терпеть не могу фламандцев.

Мы подъезжали к ресторану. Я крикнул кучеру, чтобы он остановился. Мы вышли, и Жоржет ресторан не понравился.

— Не очень-то шикарное место.

— Нет,— сказал я.— Может быть, ты предпочитаешь поужинать у Фуайо? Села бы обратно в фиакр да поехала.

Я взял ее с собой потому, что у меня мелькнула смутная сентиментальная мысль, что приятно было бы поужи-

нать с кем-нибудь вдвоем. Я давно уже не ужинал с «курочкой» и забыл, как это нестерпимо скучно. Мы вошли в ресторан и мимо конторки, за которой сидела мадам Лавинь, прошли в заднюю комнату. От еды Жоржет слегка повеселела.

— Здесь не так плохо,— сказала она.— Не шикарно, но кормят хорошо.

— Лучше, чем в Льеже.

— В Брюсселе, ты хочешь сказать.

Мы выпили вторую бутылку вина, и Жоржет стала путить. Она улыбнулась, показывая все свои испорченные зубы, и мы чокнулись.

— Ты, в общем, славный малый,— сказала она.— Свинство, что ты болен. Мы бы поладили. А что с тобой такое?

— Я был ранен на войне,— сказал я.

— Уж эта противная война!

Мы, вероятно, пустились бы в рассуждения о войне и решили бы, что она приводит к гибели цивилизации и что, может быть, лучше обойтись без нее. С меня было довольно. Как раз в эту минуту кто-то крикнул из первой комнаты:

— Барнс! Эй, Барнс! Джейкоб Барнс!

— Это мой приятель,— объяснил я и вышел.

За длинным столом сидел Брэддокс с целой компанией: Кон, Фрэнсис Клайн, миссис Брэддокс и еще какие-то незнакомые мне люди.

— Едем танцевать, да? — спросил Брэддокс.

— Куда танцевать?

— В дансинг, конечно. Разве вы не знаете, что мы снова ввели танцы? — вмешалась миссис Брэддокс.

— Поедем с нами, Джейк. Мы все едем,— сказала Фрэнсис с другого конца стола. Она сидела очень прямо и усиленно улыбалась.

— Конечно, он поедет,— сказал Брэддокс.— Идите сюда, Барнс, и выпейте с нами кофе.

— Хорошо.

— И приведите свою даму,— смеясь, сказала миссис Брэддокс. Она была уроженкой Канады и отличалась свойственной канадцам непринужденностью в обращении.

— Спасибо, сейчас придем,— сказал я. Я вернулся в заднюю комнату.

— Кто такие твои приятели? — спросила Жоржет.

— Писатели и художники.

— Их пропасть в этом районе.

— Слишком много.

— Слишком. Хотя кое-кто хорошо зарабатывает.

— О да.

Мы кончили ужинать и допили вино.

— Пойдем,— сказал я.— Кофе будем пить с ними.

Жоржет открыла сумочку и, смотрясь в зеркальце, провела несколько раз пуховкой по лицу, подкрасила губы и поправила шляпу.

— Идем,— сказала она.

Мы вошли в переполненную публичной комнатой; Брэddокс и остальные мужчины за столом встали.

— Позвольте представить вам мою невесту, мадемуазель Жоржет Леблан,— сказал я.

Жоржет улыбнулась своей чарующей улыбкой, и мы всем по очереди пожали руки.

— Скажите, вы родственница певицы Жоржет Леблан? — спросила миссис Брэddокс.

— Не знаю такой,— ответила Жоржет.

— Но вас зовут так же,— приветливо сказала миссис Брэddокс.

— Нет,— сказала Жоржет.— Ничего подобного. Моя фамилия Хобэн.

— Но ведь мистер Барнс представил вас как мадемуазель Жоржет Леблан. Разве нет? — настаивала миссис Брэddокс, которая от возбуждения, что говорит по-французски, плохо понимала смысл своих слов.

— Он дурак,— сказала Жоржет.

— Ах, значит, это шутка,— сказала миссис Брэddокс.

— Да,— сказала Жоржет.— Чтобы посмеяться.

— Слышишь, Генри? — крикнула миссис Брэddокс через весь стол своему мужу.— Мистер Барнс представил свою невесту как мадемуазель Леблан, а на самом деле ее фамилия Хобэн.

— Конечно, дорогая! Мадемуазель Хобэн,— я давно с нею знаком.

— Скажите, мадемуазель Хобэн,— заговорила Фрэнсис Клайн, произнося французские слова очень быстро и, по-видимому, не испытывая, подобно миссис Брэddокс, ни особенной гордости, ни удивления от того, что у нее действительно получается по-французски.— Вы давно в Париже? Вам нравится здесь? Вы любите Париж, правда?

— Кто это такая? — Жоржет повернулась ко мне.— Нужно мне с ней разговаривать?

Она повернулась к Фрэнсис, которая сидела, улыбаясь, сложив руки, прямо держа голову на длинной шее и выпятив губы, готовая снова заговорить.

— Нет, я не люблю Парижа. Здесь дорого и грязно.

— Что вы? Я нахожу, что Париж необыкновенно чистый город. Один из самых чистых городов в Европе.

— А по-моему, грязный.

— Как странно! Может быть, вы недавно здесь живете?

— Достаточно давно.

— Но здесь очень славные люди. С этим нельзя не согласиться.

Жоржет повернулась ко мне.

— Миленькие у тебя друзья.

Фрэнсис была слегка пьяна, и ей хотелось продолжать разговор, но подали кофе, и Лавинь принес ликеры, а после мы все вышли и отправились в дансинг, о котором говорили Брэддоксы.

Дансинг оказался «Bal Musette» около Пантеона. Пять вечеров в неделю здесь танцевали рабочие этого района, но один вечер в неделю помещение превращалось в дансинг. В понедельник вечером было закрыто. Когда мы приехали, в дансинге не было ни души, кроме полицейского, сидевшего у двери, жены хозяина за обитой цинком стойкой и самого хозяина. Как только мы вошли, сверху спустилась дочь хозяев. В комнате стояли столы и длинные скамейки, а в дальнем конце была площадка для танцев.

— Жалко, что так поздно собираются, — сказал Брэддокс.

Дочь хозяев подошла к нам и спросила, что нам подать. Хозяин взобрался на высокий табурет возле площадки и заиграл на аккордеоне. Вокруг щиколотки у него был шнурок с колокольчиками, и он, играя, отбивал ногой такт. Все пошли танцевать. Было жарко, и мы вернулись к столу потные.

— О, господи! — сказала Жоржет. — Я вся мокрая.

— Жарко.

— Просто ужас!

— Сними шляпу.

— Пожалуй.

Жоржет пригласили танцевать, и я подошел к стойке. Было на самом деле очень жарко, и аккордеон приятно звучал в жарком вечернем воздухе. Я выпил кружку пива, стоя у самой двери, с улицы дул прохладный ветерок.

По крутой улице спускались две машины. Оба такси остановились перед дансингом. Из машин вышли молодые люди — кто в джемпере, кто просто без пиджака. В свете, падающем из дверей, я видел их руки и свежewe-мытые завитые волосы. Полицейский, стоящий возле двери, посмотрел на меня и улыбнулся. Они вошли. Когда они входили, гримасничая, жестикулируя, болтая, я увидел в ярком свете белые руки, завитые волосы, белые лица. С ними была Брет. Она была очень красива и совсем как в своей компании.

Один из молодых людей увидел Жоржет и сказал:

— Вот это марка. Неподдельная шлюха. Желаю танцевать с ней. Летт, можешь полюбоваться мной.

Высокий брюнет, которого звали Леттом, сказал:

— Образумься, умоляю тебя.

Завитой блондин ответил:

— Не тревожься, счастье мое.— И с ними была Брет.

Я очень злился. Почему-то они всегда злили меня. Я знал, что их считают забавными и что нужно быть снисходительным, но мне хотелось ударить кого-нибудь из них, все равно кого, лишь бы поколебать их жеманное нахальство. Вместо этого я вышел на улицу и выпил кружку пива в баре соседнего дансинга. Пиво оказалось плохое, и я запил его коньяком, который был еще хуже. Когда я вернулся в дансинг, на площадке толпились пары, и Жоржет танцевала с высоким блондином, который танцевал вихляя бедрами, склонив голову набок и закатывая глаза. Как только танец кончился, ее снова пригласили. Они приняли ее в свою компанию. Я знал, что теперь они все будут танцевать с нею. У них всегда так.

Я сел за стол. За этим же столом сидел Кон. Фрэнсис танцевала. Миссис Брэддокс привела кого-то и познакомила его с нами, назвав Робертом Прентисом. Он оказался уроженцем Чикаго, жителем Нью-Йорка и подающим надежды писателем. Говорил он с легким английским акцентом. Я предложил ему выпить.

— Благодарю вас,— сказал он,— я только что пил.

— Выпейте еще.

— Благодарю вас, выпью.

Мы поманили мадемуазель Лавинь и заказали по стакану коньяку с водой.

— Вы, я слышал, из Канзас-Сити,— сказал он.

— Да.

— Нравится вам в Париже?

— Да.

— Правда?

Я был немного пьян. Не совсем пьян, не по-настоящему, но достаточно, чтобы не церемониться.

— Ради всего святого,— сказал я,— да. А вам?

— Как вы очаровательно злитесь,— сказал он.— Хотел бы я обладать этой способностью.

Я встал и направился к танцующим. Миссис Брэддокс пошла за мной.

— Не сердитесь на Роберта,— сказала она,— он же еще совсем ребенок.

— Я вовсе не сержусь,— сказал я.— Просто я боялся, что меня тошнит.

— Ваша невеста пользуется большим успехом.— Миссис Брэддокс смотрела на Жоржет, которая кружилась в объятиях высокого брюста по имени Летт.

— Не правда ли? — сказал я.

— Безусловно,— сказала миссис Брэддокс.

Подошел Кон.

— Пойдемте, Джейк,— сказал он,— выпьем.— Мы направились к стойке.— Что с вами? У вас такой вид, словно вы чем-то расстроены.

— Ничуть. Просто меня тошнит от всего этого.

К стойке подошла Брет.

— Хэлло, друзья.

— Хэлло, Брет,— сказал я.— Почему вы не пьяная?

— Никогда больше не буду напиваться. Дайте человеку коньяку с содовой.

Она стояла у стойки, держа стакан в руке, и я видел, что Роберт Кон смотрит на нее. Так, вероятно, смотрел его соотечественник, когда увидел землю обетованную. Кон, разумеется, был много моложе. Но взгляд его выражал то же нетерпеливое, требовательное ожидание.

Брет — в закрытом джемпере, суконной юбке, остриженная, как мальчик,— была необыкновенно хороша. С этого все и началось. Округлостью линий она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни одного изгиба.

— В каком вы блестящем обществе, Брет,— сказал я.

— Правда, они бесподобны? А вы, дорогой мой! Где вы ее подцепили?

— В кафе «Наполитен».

— И хорошо провели вечер?

— Божественно,— сказал я.

Брет засмеялась.

— Это нехорошо с вашей стороны, Джейк. Просто пощечина всем нам. Подумайте, здесь Фрэнсис и Джо.

— Это — специально для Кона.

— На безрыбье и рак рыба,— сказала Брет. Она снова засмеялась.

— Вы необыкновенно трезвы,— сказал я.

— Да. Удивительно, правда? А в такой компании, в какой я сегодня, можно бы пить без малейшего риска.

Заиграла музыка, и Роберт Кон сказал:

— Разрешите пригласить вас, леди Брет?

Брет улыбнулась ему.

— Я обещала этот танец Джейкобу.— Она засмеялась.— У вас ужасно старозаветное имя, Джейк.

— А следующий? — спросил Кон.

— Мы сейчас уходим,— сказала Брет.— Мы условились быть на Монмартре.

Танцуя, я взглянул через плечо Брет и увидел, что Кон стоит у стойки и по-прежнему смотрит на нее.

— Еще одна жертва,— сказал я ей.

— И не говорите. Бедный мальчик. Я сама только сейчас заметила.

— Бросьте,— сказал я.— Вам же нравится набирать их.

— Не говорите вздора.

— Конечно, нравится.

— Ну, а если и так?

— Ничего,— сказал я.

Мы танцевали под аккордеон и банджо, на котором кто-то заиграл. Было жарко, но я чувствовал себя хорошо. Мы почти столкнулись с Жоржет, танцевавшей с очередным юнцом из той же компании.

— Что это вам вздумалось привести ее?

— Не знаю, просто так.

— Романтика одолевает?

— Нет, скука.

— И сейчас?

— Сейчас нет.

— Выйдем отсюда. О ней здесь позаботятся.

— Вы правда хотите?

— Раз я предложила, значит, хочу.

Мы ушли с площадки, и я снял свое пальто, висевшее на вешалке, и надел его. Брет стояла у стойки. Кон что-то

говорил ей. Я подошел к стойке и попросил конверт. Я достал из кармана пятидесятифранковую бумажку, вложил ее в конверт, запечатал и передал хозяйке.

— Пожалуйста, если девушка, с которой я приехал, спросит про меня, дайте это ей,— сказал я.— Если она уйдет с кем-нибудь из молодых людей, сохраните это для меня.

— C'est entendu, monsieur ¹,— сказала хозяйка.— Вы уже уходите? Так рано?

— Да,— сказал я.

Мы пошли к дверям. Кон все еще что-то говорил Брет. Она попрощалась с ним и взяла меня под руку.

— Спокойной ночи, Кон,— сказал я.

Выйдя на улицу, мы стали искать глазами такси.

— Пропали ваши пятьдесят франков,— сказала Брет.

— Не важно.

— Ни одного такси.

— Можно дойти до Пантеона и там взять.

— Зайдем в соседний бар и пошлем за такси, а пока выпьем.

— Даже улицу перейти не хотите.

— Если можно обойтись без этого.

Мы зашли в ближайший бар, и я послал официанта за такси.

— Ну вот,— сказал я.— Мы и ушли от них.

Мы стояли у высокой, обитой цинком стойки, молчали и смотрели друг на друга. Официант вернулся и сказал, что такси дожидается. Брет крепко сжала мне руку. Я дал официанту франк, и мы вышли.

— Куда велеть ему ехать? — спросил я.

— Пусть едет куда хочет.

Я велел шоферу ехать в парк Монсури, вошел и хлопнул дверцу. Брет прижалась в угол, закрыв глаза. Я сел подле нее. Машина дернула и покатила.

— Ох, милый, я такая несчастная! — сказала Брет.

Глава четвертая

Машина поднялась в гору, пересекла освещенную площадь, потом еще поднялась, потом спустилась в темноту и мягко покатила по асфальту темной улицы позади церкви Сент-Этьен-дю-Мон, миновала деревья и стоянку

¹ Хорошо, мосье (фр.).

автобусов на площади Контрэскарп, потом въехала на булыжную мостовую улицы Муфтар. По обеим сторонам улицы светились окна баров и витрины еще открытых лавок. Мы сидели врозь, а когда мы поехали по старой тряской улице, нас тесно прижало друг к другу. Брет сняла шляпу. Откинула голову. Я видел ее лицо в свете, падающем из витрин, потом стало темно, потом, когда мы выехали на авеню Де-Гобелен, я отчетливо увидел ее лицо. Мостовая была разворочена, и люди работали на трамвайных путях при свете ацетиленовых горелок. Белое лицо Брет и длинная линия ее шеи были ясно видны в ярком свете горелок. Когда опять стало темно, я поцеловал ее. Мои губы прижались к ее губам, а потом она отвернулась и забилась в угол, как можно дальше от меня. Голова ее была опущена.

— Не трогай меня,— сказала она.— Пожалуйста, не трогай меня.

— Что с тобой?

— Я не могу.

— Брет!

— Не надо. Ты же знаешь. Я не могу — вот и все. Милый, ну пойми же!

— Ты не любишь меня?

— Не люблю? Да я вся точно кисель, как только ты тронешь меня.

— Неужели ничего нельзя сделать?

Теперь она сидела выпрямившись. Я обнял ее, и она прислонилась ко мне, и мы были совсем спокойны. Она смотрела мне в глаза так, как она умела смотреть,— пока не начинало казаться, что это уже не ее глаза. Они смотрели и все еще смотрели, когда любые глаза на свете давно перестали бы смотреть. Она смотрела так, словно в мире не было ничего, на что она не посмела бы так смотреть, а на самом деле она очень многого в жизни боялась.

— И ничего, ничего нельзя сделать,— сказал я.

— Не знаю,— сказала она.— Я не хочу еще раз так мучиться.

— Лучше бы нам не встречаться.

— Но я не могу не видеть тебя. Ведь не только в этом дело.

— Нет, но сводится всегда к этому.

— Это я виновата. Разве мы не платимся за все, что делаем?

Все время она смотрела мне в глаза. Ее глаза бывали

разной глубины, иногда они казались совсем плоскими. Сейчас в них можно было глядеть до самого дна.

— Как подумаю, сколько все они от меня натерпелись. Теперь я расплачиваюсь за это.

— Глупости,— сказал я.— Кроме того, принято считать, что то, что случилось со мной, очень смешно. Я никогда об этом не думаю.

— Еще бы. Не сомневаюсь.

— Ну, довольно об этом.

— Я сама когда-то смеялась над этим.— Она не смотрела на меня.— Товарищ моего брата вернулся таким с Монса. Все принимали это как ужасно веселую шутку. Человек никогда ничего не знает, правда?

— Правда,— сказал я.— Никто никогда ничего не знает.

Я более или менее покончил с этим вопросом. В свое время я, вероятно, рассмотрел его со всех возможных точек зрения, включая и ту, согласно которой известного рода изъяны или увечья служат поводом для веселья, между тем как в них нет ничего смешного для пострадавшего.

— Это забавно,— сказал я.— Это очень забавно. И быть влюбленным тоже страшно забавно.

— Ты думаешь? — Глаза ее снова стали плоскими.

— То есть не в том смысле забавно. Это до некоторой степени приятное чувство.

— Нет,— сказала она.— По-моему, это сущий ад.

— Хорошо быть вместе.

— Нет. По-моему, ничего хорошего.

— Разве ты не хочешь меня видеть?

— Я не могу тебя не видеть.

Теперь мы сидели, как чужие. Справа был парк Монсури. Ресторан, где есть пруд с живыми форелями и где можно сидеть и смотреть в парк, был закрыт и не освещен. Шофер обернулся.

— Куда мы поедем? — спросил я.

Брет отвела глаза.

— Пусть едет в кафе «Селект».

— Кафе «Селект»,— сказал я шоферу.— Бульвар Монпарнас.

Мы поехали дальше, обогнув Бельфорского льва, который сторожит Монружскую трамвайную линию. Брет смотрела прямо перед собой. На Бульваре Распай, когда показались огни Монпарнаса, Брет сказала:

— У меня к тебе просьба. Только ты не рассердишься?

— Не говори глупости.

— Поцелуй меня еще раз, пока мы не приехали.

Когда такси остановилось, я вышел и расплатился. Брет вышла, на ходу надевая шляпу. Она оперлась на мою руку, когда сходила с подножки. Ее рука дрожала.

— У меня очень неприличный вид? — Она надвинула на глаза свою мужскую фетровую шляпу и вошла в кафе. У стойки и за столиками сидела почти вся компания, которая была в дансинге.

— Хэлло, друзья! — сказала Брет. — Выпить хочется.

— Брет! Брет! — Маленький грек-портретист, который называл себя герцогом и которого все звали Зизи, подбежал к ней. — Что я вам скажу!

— Хэлло, Зизи! — сказала Брет.

— Я познакомлю вас с моим другом, — сказал Зизи. Подошел толстый мужчина.

— Граф Миппипопуло — мой друг леди Эшли.

— Здравствуй, — сказала Брет.

— Ну как, миледи? Весело проводите время в Париже? — спросил граф Миппипопуло, у которого на цепочке от часов болтался клык лося.

— Ничего, — ответила Брет.

— Париж прекрасный город, — сказал граф. — Но вам, наверно, и в Лондоне достаточно весело?

— Еще бы, — сказала Брет. — Потрясающе.

Брэддокс подозвал меня к своему столику.

— Барнс, — сказал он, — выпейте с нами. С вашей дамой вышел ужасный скандал.

— Из-за чего?

— Дочь хозяина что-то сказала про нее. Получился форменный скандал. Но она — молодчина. Предъявила желтый билет и потребовала, чтобы та показала свой. Ужасный скандал.

— А чем кончилось?

— Кто-то увёл ее. Очень недурна. Совершенно изумительно владеет парижским аргю. Садитесь, выпьем.

— Нет, — сказал я. — Мне пора домой. Кона не видели?

— Они с Фрэнсис уехали домой, — вмешалась миссис Брэддокс.

— Ведняга, у него такой удрученный вид, — сказал Брэддокс.

— Да, да, — подтвердила миссис Брэддокс.

— Мне пора домой, — сказал я. — Спокойной ночи.

Я попрощался с Брет у стойки. Граф заказывал шампанское.

— Разрешите предложить вам стакан вина, сэр? — сказал он.

— Нет, премного благодарен. Мне пора идти.

— Вы правда уходите? — спросила Брет.

— Да, — сказал я. — Очень голова болит.

— Завтра увидимся?

— Приходите в редакцию.

— Вряд ли.

— Ну, так где же?

— Где-нибудь, около пяти часов.

— Тогда давайте на том берегу.

— Ладно. Я в пять буду в «Крийоне».

— Только не обманите, — сказал я.

— Не беспокойтесь, — сказала Брет. — Разве я вас когда-нибудь обманывала?

— Что слышно о Майкле?

— Сегодня было письмо.

— Спокойной ночи, сэр, — сказал граф.

Я вышел на улицу и зашагал в сторону Бульвара Сен-Мишель, мимо столиков кафе «Ротонда», всё ещё переполненного, посмотрел на кафе «Купол» напротив, где столики занимали весь тротуар. Кто-то оттуда помахал мне рукой — я не разглядел кто и пошел дальше. Мне хотелось домой. На Бульваре Монпарнас было пусто. Ресторан Лавиня уже закрылся, а перед «Клозери-де-Лила» убирали столики. Я прошел мимо памятника Нею, стоявшего среди свежей листвы каштанов в свете дугowych фонарей. К цоколю был прислонен увядший темно-красный венок. Я остановился и прочел надпись на ленте: от бонапартистских групп и число, какое — не помню. Он был очень хорош, маршал Ней, в своих ботфортах, взмахивающий мечом среди свежей, зеленой листвы конских каштанов. Я жил как раз напротив, в самом начале Бульвара Сен-Мишель.

В комнате консьержки горел свет, я постучал в дверь, и она дала мне мою почту. Я пожелал ей спокойной ночи и поднялся наверх. Было два письма и несколько газет. Я просмотрел их под газовой лампой в столовой. Письма были из Америки. Одно письмо оказалось банковским расчетом. Остаток равнялся 2432 долларам и 60 центам.

Я достал свою чековую книжку, вычел сумму четырех чеков, выписанных после первого числа текущего месяца, и подсчитал, что остаток равняется 1832 долларам и 60 центам. Эту сумму я записал на обороте письма. В другом конверте лежало извещение о бракосочетании. Мистер и миссис Алоизиус Кирби извещают о браке дочери их Кэтрин — я не знал ни девицы, ни того, за кого она выходила. Они, вероятно, разослали извещения по всему городу. Смешное имя. Я был уверен, что, зная кого-нибудь по имени Алоизиус, я не забыл бы его: хорошее католическое имя. На извещении был герб. Как Зизи — греческий герцог. И граф. Граф смешной. У Брет тоже есть титул. Леди Эшли. Черт с ней, с Брет. Черт с вами, леди Эшли.

Я зажег лампу около кровати, потушил газ в столовой и распахнул широкие окна спальни. Кровать стояла далеко от окон, и я сидел при открытых окнах возле кровати и раздевался. Ночной поезд, развозивший овощи по рынкам, проехал по трамвайным рельсам. Поезда эти громыхали по ночам, когда не спалось. Раздеваясь, я смотрелся в зеркало платяного шкафа, стоявшего рядом с кроватью. Типично французская манера расставлять мебель. Удобно, пожалуй. И надо же — из всех возможных способов быть раненым... В самом деле смешно. Я надел пижаму и лег в постель. У меня было два спортивных журнала, и я снял с них бандероли. Один был оранжевый. Другой — желтый. В обоих будут те же сообщения, потому, какой бы я ни прочел первым, мне не захочется читать другой. «Ле Ториль» лучше, и я начал с него. Я прочел его от доски до доски, вплоть до писем в редакцию и загадок-шуток. Я потушил лампу. Может быть, удастся заснуть.

Мысль моя заработала. Старая обида. Да, глупо было получить такое ранение, да еще во время бегства на таком липовом фронте, как итальянский. В итальянском госпитале мы хотели основать общество. По-итальянски название его звучало смешно. Интересно, что случилось с другими, с итальянцами. Это было в Милане, в Главном госпитале, в корпусе Понте. А рядом был корпус Зонде. Перед госпиталем стоял памятник Понте, а может быть, Зонде. Там меня навестил тот полковник. Смешно было. Тогда в первый раз стало смешно. Я был весь забинтован. Но ему сказали про меня. И тут-то он и произнес свою изумительную речь: «Вы — иностранец, англичанин (все иностранцы назывались англичанами), отдали больше, чем

жизнь». Какая речь! Хорошо бы написать ее светящимися буквами и повесить в редакции. Он и не думал шутить. Он, должно быть, представлял себя на моем месте. «*Che mala fortuna! Che mala fortuna!*»¹

Я, в сущности, раньше никогда не задумывался над этим. И теперь старался относиться к этому легко и не причинять беспокойства окружающим. Вероятно, это никогда не помешало бы мне, если бы не встреча с Брет, когда меня отправили в Англию. Я думаю, ей просто захотелось невозможного. Люди всегда так. Черт с ними, с людьми. Католическая церковь замечательно умеет помочь в таких случаях. Совет хороший, что и говорить. Не думать об этом. Отличный совет. Попробуй как-нибудь последовать ему. Попробуй.

Я лежал без сна и думал, и мысль перескакивала с предмета на предмет. Потом я не мог больше отогнать мыслей об этом и начал думать о Брет, и все остальное исчезло. Я думал о Брет, и мысли мои уже не перескакивали с предмета на предмет, а словно поплыли по мягким волнам. И тут, неожиданно для самого себя, я заплакал. Потом, немного спустя, мне стало легче, я лежал в постели и прислушивался к тяжелым вагонам, проезжавшим мимо по улице, а потом я заснул.

Вдруг я проснулся. Снаружи доносился шум. Я прислушался, и мне показалось, что я слышу знакомый голос. Я надел халат и подошел к двери. Внизу раздавался голос консьержки. Она очень сердилась. Услыхав свое имя, я окликнул ее.

— Это вы, мосье Барнс? — крикнула консьержка.

— Да, я.

— Здесь какая-то женщина, она шумит на всю улицу. Что за безобразие, в такую пору! Говорит, что ей нужно вас видеть. Я сказала, что вы спите.

Потом я услышал голос Брет. Спросонья я был уверен, что это Жоржет. Не знаю почему. Она ведь не знала моего адреса.

— Попросите ее наверх, пожалуйста.

Брет поднялась по лестнице. Я увидел, что она совсем пьяна.

— Как глупо, — сказала она. — Ужасный скандал вышел. Но ты ведь не спал, правда?

— Как ты думаешь, что я делал?

¹ Какое несчастье! (ит.).

— Не знаю. А который час?

Я посмотрел на стенные часы. Было половина пятого.

— Понятия не имела, который час,— сказала Брет.— Можно человеку сесть? Не сердись, милый. Только что рассталась с графом. Он привез меня сюда.

— Ну, как он? — Я доставал коньяк, содовую и стаканы.

— Одну каплю только,— сказала Брет.— Не спаивай меня. Граф? Ничего. Он свой.

— Он правда граф?

— Твое здоровье. Пожалуй, правда. Во всяком случае, достоин быть графом. Черт его дери, чего он только не знает о людях! И где он всего этого набрался. Держит сеть кондитерских в Америке.

Она отпила из своего стакапа.

— Кажется, он сказал «сеть». Что-то в этом роде. Сплетаёт их — рассказал мне про них кое-что. Страшно интересно. Но он свой. Совсем свой. Никаких сомнений. Это сразу видно.

Она отпила ещё глоток.

— А в общем, какое мне дело до него? Ты хоть не сердись? Он, знаешь, очень помогает Зизи.

— А Зизи что, настоящий герцог?

— Очень может быть. Греческий, понимаешь? Художник он никудышный. Граф мне понравился.

— Где ты была с ним?

— О, повсюду. А сейчас он привез меня сюда. Предлагал мне десять тысяч долларов, если я поеду с ним в Биарриц. Сколько это на фунты?

— Около двух тысяч.

— Куча денег. Я сказала ему, что не могу. Он принял это очень мило. Сказала, что у меня слишком много знакомых в Биаррице.

Брет засмеялась.

— Лениво ты меня догоняешь,— сказала она. Я до сих пор только пригубил свой коньяк с содовой. Я отпил большой глоток.

— Вот это уже лучше,— сказала Брет.— Очень смешно. Он хотел, чтобы я поехала с ним в Канны. Говорю, у меня слишком много знакомых в Каннах. Монте-Карло. Говорю, у меня слишком много знакомых в Монте-Карло. И вообще повсюду. Это правда, между прочим. Так вот, я попробсила привезти меня сюда.

Она смотрела на меня, поставив локоть на стол, подняв стакан.

— Что ты на меня так смотришь? Я сказала ему, что влюблена в тебя. И это тоже правда. Что ты на меня так смотришь? Он принял это очень мило. Хочет завтра повезти нас ужинать. Поедешь?

— Почему же нет?

— Ну, мне пора идти.

— Зачем?

— Я только хотела повидать тебя. Ужасно глупая затея. Может быть, ты оденешься и сойдешь со мной вниз? Он ждет с машиной в двух шагах отсюда.

— Граф?

— Ну да. И шофер в ливрее. Хочет покатать меня. А потом позавтракать в Булонском лесу. Вино корзинами. Брал у Зелли. Дюжина бутылок мумма. Не соблазнишься?

— Мне утром нужно работать,— сказал я.— И я слишком отстал от вас, вам будет скучно со мной.

— Не будь идиотом.

— Не могу.

— Как хочешь. Передать ему привет?

— Непременно. Самый нежный.

— Спокойной ночи, милый.

— Как трогательно.

— А ну тебя.

Мы поцеловались на прощание, и Брет вздрогнула.

— Я пойду,— сказала она.— Спокойной ночи, милый.

— Зачем ты уходишь?

— Так лучше.

На лестнице мы еще раз поцеловались, и когда я крикнул консьержке, чтобы она потянула шнур, она что-то проворчала за дверью. Я поднялся к себе и смотрел в открытое окно, как Брет подходит к большому лимузину, дожидавшемуся у края тротуара под дуговым фонарем. Она вошла, и машина тронулась. Я отвернулся от окна. На столе стоял пустой стакан и стакан, наполовину наполненный коньяком с содовой. Я вынес их оба на кухню и вылил коньяк в раковину. Я погасил газ в столовой, сбросил туфли, сидя на постели, и лег. Вот какая она, Брет,— и о ней-то я плакал. Потом я вспомнил, как она только что шла по улице и как села в машину, и, конечно, спустя две минуты мне уже опять стало скверно. Ужасно легко быть бесчувственным днем, а вот ночью — это совсем другое дело.

Утром я спустился по Бульвару Сен-Мишель до улицы Суффло и выпил кофе с бриошами. Утро выдалось чудесное. Конские каштаны Люксембургского сада были в цвету. Чувствовалась приятная утренняя свежесть перед жарким днем. Я прочел газеты за кофе и выкурил сигарету. Цветочницы приходили с рынка и раскладывали свой дневной запас товара. Студенты шли мимо, кто в юридический институт, кто в Сорбонну. По бульвару сновали трамваи и люди, спешащие на работу. Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площадке. От церкви Мадлен я прошел по Бульвару Капуцинов до Оперы, а оттуда в свою редакцию. Я прошел мимо продавца прыгающих лягушек и продавца игрушечных боксеров. Я шагнул в сторону, чтобы не наступить на нитки, посредством которых его помощница приводила боксеров в движение. Она стояла отвернувшись, держа нитки в сложенных руках. Продавец уговаривал двух туристов купить игрушку. Еще три туриста остановились и смотрели. Я шел следом за человеком, который толкал перед собою каток, печатая влажными буквами слова CINZANO на тротуаре. По всей улице люди спешили на работу. Приятно было идти на работу. Я пересек авеню Оперы и свернул к своей редакции.

Поднявшись к себе, я прочел французские утренние газеты, покурил, а потом сел за машинку и усердно поработал все утро. В одиннадцать часов я взял такси и поехал на Кэ-д'Орсей, вошел в министерство и просидел там с полчаса вместе с десятком корреспондентов, слушая, как представитель министерства иностранных дел, молодой дипломат в роговых очках, говорит и отвечает на вопросы. Председатель кабинета министров уехал в Лион, где он должен был выступить с речью, или, вернее, он уже находится на обратном пути. Несколько человек задавали вопросы, чтобы послушать самих себя, а кое-кто из представителей телеграфных агентств задавал вопросы, чтобы услышать ответы. Новостей не было. Из министерства я поехал в одном такси с Уолси и Крамом.

— Что вы делаете по вечерам, Джейк? — спросил Крам. — Вас нигде не видно.

— Я бываю там, в Латинском квартале.

— Как-нибудь соберусь туда. В кафе «Динго». Ведь там самое веселье?

— Да. Или в новом, в «Селекте».

— Я сколько раз собирался,— сказал Крам.— Но ведь вы знаете, когда у тебя жена и дети...

— В теннис играете? — спросил Уолси.

— Нет,— сказал Крам.— Можно сказать, что в этом году совсем не играл. Мне хотелось как-нибудь вырваться, но по воскресеньям всегда дождь, да и корты страшно переполнены.

— Англичане не работают по субботам,— сказал Уолси.

— Везет им; подлецам,— сказал Крам.— Ну, погодите. Не вечно же я буду журналистом. Будет и у меня время ездить за город.

— Вот что лучше всего: жить за городом и иметь свою машину.

— Я подумываю купить себе машину в будущем году. Я постучал в стекло. Шофер затормозил.

— Я уже дома,— сказал я.— Зайдите, выпьем по стаканчику.

— Спасибо,— сказал Крам.

Уолси покачал головой.

— Мне нужно обработать, что он там наговорил сегодня.

Я сунул два франка в руку Крама.

— Вы с ума сошли, Джейк,— сказал он.— Я заплачу.

— Так это же за счет редакции.

— Бросьте. Платить буду я.

Я помахал им на прощанье. Крам высунул голову.

— В среду увидимся, за завтраком.

— Непременно.

Я на лифте поднялся в редакцию. Роберт Кон ждал меня.

— Хэлло, Джейк,— сказал он,— завтракать пойдем?

— Пойдем. Я только посмотрю, нет ли чего срочного.

— Где будем завтракать?

— Все равно.— Я осматривал свой письменный стол.— А вы где хотите завтракать?

— Может быть, к Ветцелю? Там хорошие закуски.

В ресторане мы заказали закуски и пиво. Официант принес пиво в высоких глиняных кружках — пиво было очень холодное, и на стенках выступили бусинки. Подали с десяток разных закусок.

— Весело вам было вчера? — спросил я.

— Нет. Не очень.

— Как пишется?

— Плохо. Не двигается у меня вторая книга.

— У всех так бывает.

— Я знаю. Но все-таки это меня мучает.

— А Южная Америка? Не забыли еще?

— Нет, не забыл.

— За чем же дело стало?

— Фрэнсис.

— Так возьмите ее с собой,— сказал я.

— Она не захочет. Это не для нее. Ей нужно большое общество.

— Тогда пошлите ее к черту.

— Не могу. У меня все-таки есть обязательства по отношению к ней.

Он отодвинул тарелку с нарезанными огурцами и взял маринованной селедки.

— Скажите, Джейк, что вы знаете о леди Брет Эшли?

— Леди Эшли — ее фамилия. Брет — имя. Она очень милая женщина,— сказал я.— Разводится с мужем и собирается выйти за Майкла Кэмпбелла. Он сейчас в Шотландии. А что?

— Она необыкновенно интересная женщина.

— Не правда ли?

— В ней есть что-то такое, какая-то особая утонченность. Мне кажется, она очень чуткий и прямой человек.

— Она очень милая.

— Я не знаю, как вам объяснить,— сказал Кон.— Вероятно, это порода.

— Я вижу, она вам очень нравится.

— Очень. Мне даже кажется, что я влюблен в нее.

— Она пьяница,— сказал я.— Она влюблена в Майкла Кэмпбелла и собирается за него замуж. У него со временем будет куча денег.

— Не верю, что она за него выйдет.

— Почему?

— Не знаю. Просто так, не верю. Вы давно ее знаете?

— Да,— сказал я.— Она была сестрой в госпитале, в котором я лежал во время войны.

— Она же совсем девочкой была, вероятно?

— Ей сейчас тридцать четыре года.

— Когда она вышла за Эшли?

— Во время войны. Ее возлюбленный как раз окочурился от дизентерии.

— Почему вы таким тоном говорите?

— Виноват. Я нечаянно. Я просто хотел изложить вам факты.

— Не верю, чтобы она вышла за кого-нибудь не по любви.

— Однако она это сделала дважды,— сказал я.

— Не верю.

— Так зачем же вы задаете мне дурацкие вопросы,— сказал я,— если вам не нравятся ответы?

— Я вас об этом не спрашивал.

— Вы просили сказать вам, что я знаю о Брет Эшли.

— Я не просил вас оскорблять ее.

— А ну вас к черту.

Он встал из-за стола с побелевшим лицом и стоял, белый и злой, позади тарелочек с закусками.

— Сядьте,— сказал я.— Не валяйте дурака.

— Возьмите свои слова обратно.

— Бросьте, что мы, приготовишки, что ли?

— Возьмите свои слова обратно.

— Хорошо. Все, что угодно. Я в жизни не слышал о Брет Эшли. Теперь вы удовлетворены?

— Нет. Не это. Вы послали меня к черту.

— О, не ходите к черту,— сказал я.— Сидите здесь. Мы только что начали завтракать.

Кон улыбнулся и сел. Он, видимо, был рад, что можно сесть. Что бы он, в самом деле, стал делать, если б он не сел?

— Вы такие ужасно обидные вещи говорите, Джейк.

— Не сердитесь. У меня уж такой гадкий язык. Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю.

— Я знаю,— сказал Кон.— Вы же, можно сказать, мой лучший друг, Джейк.

«Вот те на»,— подумал я.

— Забудьте, что я сказал,— проговорил я вслух.— Не сердитесь.

— Ладно. Все хорошо. Мне просто в ту минуту стало обидно.

— Вот и отлично. Давайте закажем еще чего-нибудь.

Покончив с завтраком, мы пошли в кафе де ла Пэ и выпили кофе. Я чувствовал, что Кону хочется еще раз заговорить о Брет, но я не поддавался. Мы поговорили о том, о сем, потом я простился с ним и пошел в редакцию.

В пять часов я был в отеле «Крийон» и поджидал Брет. Она запаздывала, и я сел и написал несколько писем. Письма вышли не очень складные, но я надеялся, что штамп отеля «Крийон» спасет положение. Брет все не приходила, и без четверти шесть я спустился в бар и выпил коктейль «Джек Роз» с барменом Жоржем. В баре Брет тоже не было, и я перед уходом еще раз заглянул наверх, потом взял такси и поехал в кафе «Селект». Пересекая Сену, я видел вереницу пустых барж на буксире; высоко сидя в воде, они шли по течению, и когда они проплывали под мостом, матросы отталкивались шестами. Река была красивая. В Париже всегда приятно ехать по мосту.

Такси, объехав памятник создателю семафора, который изображен выполняющим придуманный им маневр, свернуло на Бульвар Распай, и я откинулся назад, чтобы не видеть этого куска пути. Ехать по Бульвару Распай всегда было скучно. На линии Париж — Лион между Фонтенбло и Монтеро есть такое место, где я всегда испытываю скуку, пустоту и усталость, пока не проеду его. Вероятно, такие мертвые точки в пути возникают из-за каких-нибудь ассоциаций. В Париже есть улицы не менее уродливые, чем Бульвар Распай. Пешком я совершенно спокойно могу пройти ее. Но ездить по ней я не выношу. Может быть, я где-нибудь читал о ней. На Роберта Кона все в Париже так действовало. Удивительно, откуда у Кона эта неприязнь к Парижу? Уж не от Менкена ли? Менкен, кажется, неавидит Париж. Много на свете молодых людей, которые любят и не любят по Менкену.

Такси остановилось перед кафе «Ротонда». Какое бы кафе на Монпарнасе вы ни назвали шоферу, садясь в такси на правом берегу Сены, он все равно привезет вас в «Ротонду». Через десять лет ее место, вероятно, займет кафе «Купол». Но мне и так было уже близко. Я прошел мимо унылых столиков «Ротонды» к кафе «Селект». Внутри, у стойки, сидело несколько человек, а снаружи, в одиночестве, сидел Харви Стоун. Перед ним стояла горка блюдца, и он был очень небрит.

— Садитесь, — сказал Харви, — я поджидал вас.

— А в чем дело?

— Ни в чем. Просто поджидал вас.

— На скачках были?

— Нет. С воскресенья не был.

— Что вам пишут из Америки?

— Ничего. Решительно ничего.

— А в чем дело?

— Не знаю. Я порвал с ними. Я решительно порвал с ними.— Он наклонился вперед и посмотрел мне в глаза.— Знаете что я вам скажу, Джейк?

— Что?

— Я уже пять дней ничего не ел.

Я быстро подсчитал в уме. Три дня назад в «Нью-Йоркском баре» Харви выиграл у меня двести франков в покерные кости.

— А в чем дело?

— Денег нет. Деньги не пришли.— Он помолчал.— Знаете, Джейк, это очень странно. Когда я такой, я люблю быть один. Мне хочется сидеть в своей комнате, Я как кошка.

Я порылся в кармане.

— Сотня устроит вас, Харви?

— Да.

— Вставайте. Пойдем обедать.

— Успеется. Выпейте со мной.

— Лучше бы вы поели.

— Нет. Когда я такой, мне все равно, есть или не есть.

Мы выпили. Харви прибавил мое блюдо к своей горке.

— Вы знаете Менкена, Харви?

— Да. А что?

— Какой он?

— Он ничего. Говорит очень смешные вещи. Я недавно обедал с ним, и мы заговорили о Гоффенхеймере. «Беда в том,— сказал Менкен,— что он прикидывается святошей». Это недурно.

— Верно, недурно.

— А вообще он выдохся,— продолжал Харви.— Он уже написал обо всем, что знает, а теперь берется за все то, чего не знает.

— Оп, должно быть, правда ничего,— сказал я.— Только читать его я не могу.

— Ну, сейчас никто его не читает. Разве что те, кто когда-то читал труды Института Александра Гамильтона.

— Ну что ж,— сказал я.— И это было неплохо.

— Конечно,— поддакнул Харви.

Несколько минут мы сидели погруженные в глубоко-мысленное молчание.

— Еще стаканчик?

— Давайте,— сказал Харви.

— А вот Кон идет,— сказал я.

Роберт Кон переходил улицу.

— Кретин,— сказал Харви.

Кон подошел к нашему столику.

— Привет, друзья,— сказал он.

— Привет, Роберт,— сказал Харви.— Я только что говорил Джейку, что вы кретин.

— Что это значит?

— Скажите сразу. Не думайте. Что бы вы сделали, если бы могли сделать все, что вам хочется?

Кон задумался.

— Не надо думать. Выкладывайте сразу.

— Не знаю,— сказал Кон.— А зачем это вообще?

— Просто — что бы вы сделали? Первое, что придет в голову. Как бы глупо это ни было.

— Не знаю,— сказал Кон.— Пожалуй, я охотнее всего опять стал бы играть в футбол, теперь, когда у меня есть тренировка.

— Я ошибся,— сказал Харви.— Это не кретинизм. Это просто случай задержанного развития.

— Вы ужасно остроумны, Харви,— сказал Кон.— Вы дождетесь, что кто-нибудь съездит вас по физиономии.

Харви Стоун засмеялся.

— Вы так думаете? Не съездит, не беспокойтесь. Потому что мне на это наплевать. Я не боксер.

— Вряд ли вам было бы наплевать.

— Именно было бы. В этом ваша основная ошибка. Вы плохо соображаете.

— Хватит говорить обо мне.

— Как угодно,— сказал Харви.— Мне наплевать на вас. Вы для меня нуль.

— Довольно, Харви,— сказал я.— Выпейте еще портвейну.

— Нет,— сказал он.— Я пойду куда-нибудь и поем. Еще увидимся, Джейк.

Он встал из-за стола и пошел по улице. Я смотрел, как он пересекает мостовую, маленький, грузный, с неторопливой уверенностью пробираясь между машинами.

— Он всегда ужасно злит меня,— сказал Кон.— Не выношу его.

— А мне он нравится,— сказал я.— Я даже люблю его. Не нужно на него злиться.

— Я знаю,— сказал Кон.— Просто он действует мне на нервы.

— Поработали сегодня?

— Нет. Сегодня не клеилось. Сейчас мне гораздо труднее, чем когда я писал первую книгу. Никак не могу наладиться.

Бодрая уверенность, с какой он ранней весной вернулся из Америки, уже исчезла. Тогда он не сомневался в своем литературном таланте, и его мучила только жажда приключений. Теперь эта уверенность исчезла. Мне кажется, что я как-то не сумел отчетливо обрисовать Роберта Кона. Дело в том, что, пока он не влюбился в Брет, он никогда не говорил ничего такого, что отличало бы его от других людей. Он красиво играл в теннис, был хорошо сложен, ловок; недурно играл в бридж и чем-то неуловимо напоминал студента. Я ни разу не слышал, чтобы он в большой компании сказал что-нибудь необычное. Он носил рубашки фасона поло,— как мы их называли в колледже и как их, вероятно, называют и теперь,— но не старался казаться моложе своих лет. Не думаю, чтобы он очень любил франтить. Внешне он сформировался в Принстоне. Внутренне он сложился под влиянием двух женщин, воспитавших его. В нем была милая мальчишеская веселость, которую ни той, ни другой не удалось вытравить из него, и я, вероятно, не сумел этого показать. Например, играя в теннис, он очень любил выигрывать. Ему, должно быть, хотелось выиграть не меньше, чем знаменитой Ленглен. С другой стороны, он не дулся, когда проигрывал. После того как он влюбился в Брет, все его мастерство пошло прахом. Он стал проигрывать таким теннисистам, которые никогда и не мечтали побить его. Но относился он к этому очень мило.

Итак, мы сидели на террасе кафе «Селект», и Харви Стоун только что пересек улицу.

— Поедем в «Клозери-де-Лиля»,— сказал я.

— У меня свидание.

— В котором часу?

— Фрэнсис придет в четверть восьмого.

— А вот и она.

Фрэнсис Клайн переходила улицу, направляясь к нам. Она была очень высокая, шагала быстро, размашисто. Она сделала нам знак и улыбнулась. Мы смотрели, как она пересекает улицу.

— Здравствуйте,— сказала она.— Очень рада, Джейк, что вы здесь. Мне нужно поговорить с вами.

— Хэлло, Фрэнсис,— сказал Кон. Он улыбался.

— Ах, здравствуй, Роберт! И ты здесь? — Она продолжала, говоря очень быстро: — Дурацкий у меня день сегодня. Он,— она кивнула на Кона,— не пришел домой к обеду.

— Я и не должен был.

— О, я знаю. Но ты не предупредил прислугу. Потом я сговорилась с Паулой, но ее не оказалось в редакции. Я поехала в «Ритц» и ждала ее там, а она не пришла, и у меня, конечно, не хватило денег, чтобы пообедать в «Ритце».

— Ну, и что же вы сделали?

— Ушла оттуда, конечно.— Она говорила нарочито веселым тоном.— Я всегда держу свое слово. Никто этого теперь не делает. Ну, как поживаете, Джейк?

— Хорошо.

— Привел в дансинг хорошенькую девушку, а потом улизнул с этой Брет.

— Она тебе не нравится? — спросил Кон.

— Я нахожу, что она совершенно очаровательна. А ты? Кон промолчал.

— Послушайте, Джейк. Мне нужно поговорить с вами. Пойдемте со мной напротив, в кафе «Купол». А ты посидишь здесь, Роберт, ладно? Идем, Джейк.

Мы пересекли Бульвар Монпарнас и сели за столик. Подошел мальчишка-газетчик, и я купил парижский выпуск «Таймса».

— Что случилось, Фрэнсис?

— О, пустяки,— сказала она.— Он только хочет бросить меня.

— Как это бросить?

— Он всем говорил, что мы поженимся, и я сказала матери и всем, а теперь он не хочет.

— А что случилось?

— Он решил, что еще не успел насладиться жизнью. Я так и знала, что этим кончится, когда он поехал в Нью-Йорк.

Она взглянула на меня, блестя глазами и стараясь говорить небрежно.

— Я не выйду за него, если он этого не хочет. Конечно, не выйду. Я теперь ни за что не выйду за него. Но только мне кажется, сейчас немножко поздно, после того как мы прождали три года и я как раз получила развод.

Я молчал.

— Мы хотели торжественно отпраздновать, а вместо этого у нас сплошная драма. Он как ребенок. Бьет себя в грудь, плачет и просит меня не волноваться, но он говорит, что просто не может этого сделать.

— Плохо дело.

— Еще бы не плохо. Два с половиной года я на него потратила. Теперь я даже не знаю, захочет ли кто на мне жениться. Два года назад я могла выйти за любого, там, в Каннах. Все старички, которые хотели остепениться и искали элегантную жену, за мной бегали. А теперь сомневаюсь, найду ли я кого-нибудь.

— Бросьте, вы и сейчас можете выйти за любого.

— Нет, не думаю. И потом, я люблю его. И я хотела бы иметь детей. Я всегда считала, что у нас будут дети.— Она ясными глазами смотрела на меня.— Я никогда особенно не любила детей, но мне не хочется думать, что у меня их никогда не будет. Я всегда считала, что у меня будут дети и тогда я полюблю их.

— У него есть дети.

— Да, есть. У него есть дети, и у него есть деньги, и у него мать богатая, и он написал книгу, а то, что я пишу, никто не хочет печатать, решительно никто. А пишу я во все не так плохо. И денег у меня совсем нет. Я могла бы выговорить себе алименты, но я хотела получить развод как можно скорее.— Она снова очень ясно взглянула на меня.— Это несправедливо. С одной стороны, я сама виновата. Но все-таки не во всем. Конечно, надо было быть умней. А когда я говорю ему, он просто начинает плакать и говорит, что не может жениться. А почему он не может жениться? Я была бы хорошей женой. Со мной легко ладить. Я ему не мешаю. Но это не помогает.

— Скверная история.

— Да, скверная история. Но что толку говорить об этом. Пойдемте обратно, в «Селект».

— Я, сами понимаете, ничем не могу вам помочь.

— Нет, не можете. Только не говорите ему, что я вам сказала. Я знаю, что он хочет.— Тут она впервые оставила свой тягостно веселый тон.— Он хочет вернуться в Нью-Йорк один и быть там, когда выйдет его книга, чтобы иметь успех у девочек. Вот чего он хочет.

— А может быть, он и не будет иметь успеха. И, помоему, он вовсе не такой. Seriously.

— Вы, Джейк, не знаете его так, как я. Именно этого он хочет. Я знаю. Знаю. Именно из-за этого он не хочет жениться. Он хочет этой осенью один насладиться своей славой.

— Вернемся в «Селект»?

— Да. Пойдемте.

Мы встали из-за столика — нам так ничего и не подали — и пошли через улицу в кафе «Селект», где Кон сидел за мраморным столиком и, улыбаясь, поджидал нас.

— Ну, чему ты рад? — спросила его Фрэнсис. — Доволен всем на свете?

— Мне смешно, что вы с Джейком секретничаете.

— О, то, что я сказала Джейку, не секрет. Об этом скоро все узнают. Я только хотела преподнести это Джейку в приличной форме.

— О чем это? О том, что ты уезжаешь в Англию?

— Да, о том, что я уезжаю в Англию. Ах, Джейк! Об этом я и забыла сказать. Я еду в Англию.

— Так это же отлично.

— Да, это всегда так делается в порядочном обществе. Роберт отправляет меня в Англию. Он дает мне двести фунтов, и я еду погостить к друзьям. Правда, это будет очаровательно? Кстати, друзья еще ничего об этом не знают.

Она повернулась к Кону и улыбнулась ему. Он уже не улыбался.

— Ты хотел дать мне только сто фунтов, правда, Роберт? Но я заставила его дать двести. Он ведь очень щедрый. Не правда ли, Роберт?

Я не понимаю, как можно было говорить Роберту Кону такие ужасные вещи. Есть люди, которым говорить оскорбительные вещи невозможно. Кажется, мир развалится, в полном смысле слова развалится тут же, на глазах, если сказать им такое. Но вот Кон сидел и слушал все это. Вот все это происходило при мне, и я даже не испытывал желания остановить ее. И это еще оказались милые шутки по сравнению с тем, что было дальше.

— Как ты можешь так говорить, Фрэнсис? — прервал ее Кон.

— Он еще спрашивает! Я еду в Англию. Я еду к друзьям погостить. Случалось вам гостить у друзей, которым вы не нужны? О, им придется так или иначе принять меня. «Как поживаете, дорогая? Сколько лет, сколько зим! Как поживает уважаемая матушка?» Да, как поживает

уважаемая матушка? Она вложила все свои деньги во французский военный заем. Да, да. Вероятно, кроме нее, ни один человек на свете этого не сделал. «А как Роберт?» Или еще как-нибудь, очень осторожно, вокруг да около. «Будьте осторожны, не упоминайте о нем, дорогая. Бедняжка Фрэнсис так много пережила». Правда, Роберт, это будет весело? Как по-вашему, Джейк, весело будет?

Она повернулась ко мне, улыбаясь своей нестерпимо ясной улыбкой. Она была очень довольна, что есть кому слушать ее.

— А что ты будешь делать, Роберт? Я сама виновата, я знаю. Я во всем сама виновата. Когда я заставила тебя отделаться от этой девочки, секретарши твоего журнала, я должна была понять, что ты так же отделаешься от меня. Джейк не знает этой истории. Рассказать ему?

— Замолчи, Фрэнсис, ради бога.

— Нет, я расскажу ему. У Роберта в редакции была секретарша. Совершенно очаровательная девочка, и он считал, что она восхитительна, а потом появилась я, и он решил, что я тоже в достаточной мере восхитительна. Так вот, я заставила его отделаться от нее, а он в свое время, когда редакция перекочевала, привез ее в Провинстаун из Кармеля, и он даже не оплатил ей обратный проезд. И все это, чтобы доставить мне удовольствие. Тогда он находил меня интересной. Правда, Роберт?

Вы не подумайте, Джейк, — с секретаршей все было совершенно платонически. Даже и не платонически. Вообще ничего такого. Просто она была очень хорошенькая. А сделал он это, чтобы доставить мне удовольствие. Ну, что ж, взявший меч от меча и погибнет. Кстати сказано, правда? Советую тебе запомнить это, Роберт, для твоей очередной книги. Понимаете, Роберт собирает материал для новой книги. Так ведь, Роберт? Вот из-за этого он и бросает меня. Он решил, что я не фотогенична. Видите ли, все время, пока мы жили вместе, он так был занят своей книгой, что ничего про нас не запомнил. Так вот, он отправляется на поиски свежего материала. Ну что ж, — надеюсь, он набредет на что-нибудь безумно интересное.

— Послушай, Роберт, дорогой мой. Вот что я тебе скажу. Ты не рассердишься? Никогда не устраивай сцен своим дамам сердца. Постарайся. Потому что ты не умеешь устраивать сцен и не плакать, а когда ты плачешь, тебе очень жалко себя и ты не можешь запомнить, что говорит твоя партнерша. Так ты никогда ни одного диалога не

запомнишь. Ты постарайся не волноваться. Я знаю, это ужасно трудно. Но помни: это же во имя литературы. Мы все должны приносить жертвы во имя литературы. Вот я, например. Я еду в Англию и не прекословлю. Все во имя литературы. Мы все обязаны помогать молодым писателям. Не правда ли, Джейк? Но вы не молодой писатель. А ты, Роберт? Тебе тридцать четыре года. Впрочем, для великого писателя это, по-моему, немного. Вспомните Гарди. Вспомните Анатоля Франса. Он как раз недавно умер. Но Роберт считает, что Франс писатель неважный. Это ему его друзья-французы сказали. Сам он не очень-то свободно читает по-французски. Он не был так талантлив, как ты, правда, Роберт? Как ты думаешь, приходилось ему отправляться на поиски материала? А что, по-твоему, он говорил своим любовницам, когда не хотел жениться на них? Интересно, он тоже плакал? Ах, что мне пришло в голову! — Она хлопнула себя по губам рукой в перчатке. — Я знаю, Джейк, настоящую причину, почему Роберт не хочет на мне жениться. Меня только что осенило. Откровение сошло на меня в кафе «Селект». Какая мистика, правда? Со временем тут прибьют дощечку. Как в Лурде. Сказать, Роберт? Ну, слушай. Это проще простого. Как это раньше не пришло мне в голову. Видите ли, Роберт всегда хотел иметь любовницу, и если он на мне не женится, значит, у него была любовница. «Знаете, она больше двух лет была его любовницей». Понимаете? А если он на мне женится, как он всегда обещал, — тогда сразу конец всякой романтике. Правда, я очень остроумно все это вывела? И так оно и есть. Посмотрите на него и скажите, что это не так. Куда вы, Джейк?

— Мне нужно зайти в бар поглядеть Харви Стоуна.

Кон поднял глаза, когда я выходил в бар. Он был очень бледен. Почему он сидел тут? Почему он сидел и слушал все это?

Я стоял, прислонившись к стойке, и мне их видно было в окно. Фрэнсис все еще говорила, с ясной улыбкой заглядывая ему в лицо каждый раз, как спрашивала: «Не правда ли, Роберт?» А может быть, теперь она этого не спрашивала. Может быть, она говорила что-нибудь другое. Я сказал бармену, что мне ничего не нужно, и вышел через другую дверь. Выйдя, я оглянулся и сквозь двойную толщу стекла увидел их за столиком. Она все еще говорила. Я персулком прошел до Бульвара Распай. Мимо ехало такси, я остановил его и сказал шоферу адрес своей квартиры.

Когда я начал подниматься по лестнице, консьержка постучала в стеклянную дверь своей каморки; я остановился, и она вышла ко мне. Она протянула мне несколько писем и телеграмму.

— Вот почта. И еще к вам приходила дама.

— Она оставила свою карточку?

— Нет. С ней был господин. Та самая, которая приходила сегодня ночью. Вы знаете, она оказалась очень милая.

— Она была с кем-нибудь из моих знакомых?

— Не знаю. Он никогда здесь не бывал. Он очень большой. Очень, очень большой. Она очень милая. Очень, очень милая. Ночью она, должно быть, была немножко...— Она подперла голову рукой и стала раскачиваться взад и вперед.— Скажу вам откровенно, мосье Барнс. Ночью она мне не показалась такой *gentille*¹. Ночью я была другого мнения о ней. Но поверьте мне, она очень, очень милая. Она из очень хорошей семьи. Это по всему видно.

— Они ничего не просили передать?

— Просили. Они сказали, что заедут через час.

— Когда они придут, попросите их наверх.

— Хорошо, мосье Барнс. А эта дама, эта дама не кто-нибудь. Немножко взбалмошная, может быть, но не кто-нибудь.

Консьержка, прежде чем стать консьержкой, держала ларек с напитками на парижском ипподроме. Ее трудовая жизнь протекала на кругу, но это не мешало ей изучать публику в ложах, и она с гордостью сообщала мне, кто из моих посетителей хорошо воспитан, кто из хорошей семьи, кто спортсмен,— слово это она произносила в нос и с ударением на последнем слог. Единственное неудобство заключалось в том, что люди, не относящиеся ни к одной из этих категорий, рисковали никогда не застать меня дома. Один из моих друзей, весьма недокормленного вида художник, который, очевидно, в глазах мадам Дюзинель не был ни хорошо воспитан, ни из хорошей семьи, ни спортсмен, написал мне письмо с просьбой выхлопотать для него пропуск, чтобы он мог пройти мимо моей консьержки, если ему захочется заглянуть ко мне вечером.

¹ Милая (фр.).

Я поднялся к себе, стараясь угадать, чем Брет пленила мою консьержку. Телеграмма была от Билла Гортонa с известием, что он приезжает пароходом «Франция». Я положил почту на стол, пошел в ванную, разделся и принял душ. Когда я вытирался, у входной двери послышался звонок. Я надел халат и туфли и пошел к двери. Это была Брет. За ней стоял граф. В руках он держал большой букет роз.

— Хэлло, милый! — сказала Брет. — Вы не желаете нас принять?

— Пожалуйста. Я только что искупался.

— Вот счастливец — искупался.

— Только душ принял. Садитесь, граф Миппиопуло. Что будем пить?

— Не знаю, сэр, большой ли вы любитель цветов, — сказал граф, — но я взял на себя смелость принести вам эти розы.

— Дайте их мне. — Брет взяла букет. — Налейте сюда воды, Джейк.

Я вышел на кухню, налил воды в большой глиняный кувшин, и Брет сунула в него розы и поставила их на середину обеденного стола.

— Ну и денек выдался!

— Вы не помните, мы как будто условились встретиться в «Крийоне»?

— Нет. Разве мы условились? Значит, я была пьяна до бесчувствия.

— Вы были совсем пьяная, дорогая, — сказал граф.

— Да. Граф был ужасно мил.

— Консьержка теперь в восторге от вас.

— Ну, еще бы. Я дала ей двести франков.

— Какая глупость!

— Не свои, его, — сказала она, кивая на графа.

— Я решил, что нужно дать ей что-нибудь за беспокойство вчера ночью. Было очень поздно.

— Он изумителен, — сказала Брет. — Он всегда помнит все, что было.

— Как и вы, дорогая.

— Фантазируете, — сказала Брет. — И кому это нужно? Послушайте, Джейк, вы дадите нам сегодня выпить?

— Доставайте, а я пока оденусь. Вы ведь знаете, где что найти.

— Как будто знаю.

Пока я одевался, я слышал, как Брет ставит на стол

сифон и стаканы, а потом я услышал их голоса. Я одевался медленно, сидя на кровати. Я чувствовал себя усталым, и на душе было скверно. Брет вошла в комнату со стаканом в руке и села на кровать.

— Что с тобой, милый? Не в духе?

Она поцеловала меня в лоб.

— Ах, Брет, я так тебя люблю.

— Милый,— сказала она. Потом: — Хочешь, чтобы я отправила его?

— Нет. Он славный.

— Я пойду отправлю его.

— Нет, не надо.

— Да, да, я отправлю его.

— Нельзя же так вдруг.

— Нельзя, по-твоему? Посиди здесь. Он без ума от меня, поверь мне.

Она вышла из комнаты. Я лег ничком на кровать. Мне было очень тяжело. Я слышал, как они разговаривали, но не прислушивался. Брет вошла и села на кровать.

— Милый мой, бедненький! — Она погладила меня по голове.

— Что ты ему сказала? — Я лежал отвернувшись. Я не хотел видеть ее.

— Послала его за шампанским. Он любит покупать шампанское.— Потом, немного погодя: — Тебе лучше, милый? Легче голове?

— Легче.

— Лежи спокойно. Он поехал на другой конец города.

— Нельзя ли нам жить вместе, Брет? Нельзя ли нам просто жить вместе?

— Не думаю. Я бы изменяла тебе направо и налево. Ты бы этого не вынес.

— Сейчас выношу ведь.

— Это другое дело. В этом я виновата, Джейк. Уж такая я уродилась.

— Нельзя ли нам уехать на время из города?

— Это ни к чему не приведет. Поедем, если хочешь. Но я не смогу спокойно жить за городом. Даже с любимым.

— Знаю.

— Это ужасно. Я думаю, можно не говорить тебе, что я тебя люблю.

— Что я тебя люблю, ты знаешь.

— Давай помолчим. Все слова впустую. Я уезжаю от тебя, да и Майкл возвращается.

— Почему ты уезжаешь?
— Так лучше для тебя. И лучше для меня.
— Когда ты едешь?
— Как можно скорее.
— Куда?
— В Сан-Себастьян.
— Нельзя ли нам поехать вместе?
— Нет. Это было бы уже совсем дико, после того как мы только что все обсудили.

— Мы ни до чего не договорились.

— Ах, ты же знаешь не хуже меня. Не упрямясь, милый.

— Ну конечно,— сказал я.— Я знаю, что ты права. Просто я раскис, а когда я раскисаю, я говорю глупости.

Я сел, нагнулся, нашел свои ботинки возле кровати и падел их. Потом встал.

— Не надо так глядеть, милый.

— А как ты хочешь, чтобы я глядел?

— Ах, не ломайся. Я завтра уезжаю.

— Завтра?

— Да. Разве я не говорила? Завтра.

— Тогда пойдем выпьем. Граф сейчас вернется.

— Да, пора бы ему вернуться. Ты знаешь, замечательно, как он покупает шампанское. Для него это страшно важно.

Мы пошли в столовую. Я взял бутылку коньяку и налил Брет и себе. У дверей зазвонил колокольчик. Я пошел открывать — вернулся граф. За его спиной стоял шофер с корзиной шампанского.

— Куда поставить, сэр? — спросил граф.

— На кухню,— ответила Брет.

— Поставьте туда, Анри,— показал рукой граф.— Теперь ступайте вниз и принесите лед.— Пока корзину водворяли на место, граф стоял в дверях кухни и смотрел ей вслед.— Надеюсь, вино вам понравится,— сказал он.— Я знаю, что сейчас у нас в Америке редко приходится отведать хорошего вина, и не считаю себя знатоком. Но это я взял у приятеля, который занимается виноделением.

— Где только у вас нет приятелей,— сказала Брет.

— У него свои виноградники. На тысячи акров.

— Как его фамилия? — спросила Брет.— Вдова Клико?

— Нет,— ответил граф.— Мумм. Он барон.

— Это замечательно,— сказала Брет.— Мы все с титулами. Почему у вас, Джейк, нет титула?

— Уверяю вас, сэр,— граф дотронулся до моего рукава,— титул никогда не приносит пользы. Чаще всего это стоит денег.

— Ну, не знаю. Иногда это очень удобно,— сказала Брет.

— Мне это никогда никакой пользы не приносило.

— Вы не умеете им пользоваться. Мне мой титул всегда открывал огромный кредит.

— Садитесь, пожалуйста, граф,— сказал я.— Разрешите взять у вас трость.

Граф через стол, освещенный газовой лампой, смотрел на Брет. Она курила сигарету и стряхивала пепел на ковер. Увидев, что я заметил это, она сказала:

— Послушайте, Джейк, так я могу испортить ваш ковер. Дайте человеку пепельницу.

Я нашел несколько пепельниц и расставил их. Шофер принес ведро со льдом, посыпанным солью.

— Заморозьте две бутылки, Анри! — крикнул граф.

— Больше ничего не прикажете, мосье?

— Нет. Подождите внизу с машиной.— Он повернулся к Брет и ко мне.— Поедем обедать в Булонский лес?

— Как хотите,— сказала Брет.— Я лично есть не хочу.

— А я никогда не откажусь от хорошего обеда,— сказал граф.

— Принести вино, мосье? — спросил шофер.

— Да, Анри, принесите,— сказал граф. Он выпул толстый портсигар из свиной кожи и протянул его мне.— Не угодно ли настоящую американскую сигару?

— Спасибо,— сказал я.— Я докурю свою сигарету.

Он срезал кончик сигары золотой гильотинкой, висевшей на цепочке от часов.

— Я люблю, когда сигара как следует тянется,— сказал граф.— Половина сигар, которые куришь, не тянутся.

Он раскурил сигару и, попыхивая, глядел через стол на Брет.

— А когда вы получите развод, леди Эшли, у вас титула уже не будет.

— Не будет. Какая жалость.

— Нет,— сказал граф.— Вам титул не нужен. В вас и так видна порода.

— Благодарю вас. Вы очень любезны.

— Я не шучу.— Граф выпустил струю дыма.— Я ни в ком еще не видел столько породы, сколько в вас. Это в вас есть. Вот и все.

— Очень мило с вашей стороны,— сказала Брет.— Мама была бы польщена. Может быть, вы это напишете, а я пошлю ей в письме?

— Я бы и ей это сказал,— ответил граф.— Я не шучу. Я никогда не подшучиваю над людьми. Шутить над людьми — значит наживать себе врагов. Я всегда это говорю.

— Вы правы,— сказала Брет.— Вы страшно правы. Я всегда вышучиваю людей, и у меня нет ни одного друга на свете. Кроме вот Джейка.

— Над ним вы не подшучиваете.

— Вот именно.

— А может быть, все-таки,— спросил граф,— и над ним подшучиваете?

Брет взглянула на меня, и в уголках ее глаз собрались морщинки.

— Нет,— сказала она.— Над ним я не стала бы подшучивать.

— Вот видите,— сказал граф,— не подшучиваете.

— Господи, какой скучный разговор,— сказала Брет.— Не попробовать ли шампанского?

Граф наклонился и встряхнул бутылки в блестящем ведре.

— Оно еще недостаточно холодное. Вы все время пьете, дорогая. Почему вы не хотите просто поболтать?

— Я и так наболталась. Я всю себя выболтала Джейку.

— Мне бы хотелось, дорогая, послушать, как вы настоящему разговариваете. Когда вы говорите со мной, вы даже не кончаете фраз.

— Предоставляю вам кончать их. Пусть каждый кончает их по своему усмотрению.

— Это очень любопытный способ.— Граф наклонился и встряхнул бутылки.— Все же мне бы хотелось послушать, как вы разговариваете.

— Вот дурень, правда? — сказала Брет.

— Ну, вот,— граф вытащил бутылку из ведра,— теперь, должно быть, холодное.

Я принес полотенце, и он насухо вытер бутылку и поднял ее.

— Я предпочитаю пить шампанское из больших бутылок. Оно лучше, но его трудно заморозить.— Он держал бутылку и смотрел на нее.

Я поставил стаканы.

— Не откупорить ли? — предложила Брет.

— Да, дорогая. Сейчас я откупорю.

Шампанское было изумительное.

— Вот это вино! — Брет подняла свой стакан. — Надо выпить за что-нибудь. «За здоровье его величества».

— Это вино слишком хорошо для тостов, дорогая. Не следует примешивать чувства к такому вину. Вкус теряется.

Стакан Брет был пуст.

— Вы должны написать книгу о винах, граф, — сказал я.

— Мистер Барнс, — ответил граф, — все, что я требую от вин, это — наслаждаться ими.

— Давайте насладимся еще немного. — Брет подставила свой стакан. Граф осторожно наполнил его.

— Пожалуйста, дорогая. Насладитесь этим медленно, а потом можете напиться.

— Что-о? Напиться?

— Дорогая, вы очаровательны, когда напьетесь.

— Вы слышите, что он говорит?

— Мистер Барнс, — граф наполнил мой стакан, — это единственная женщина из всех, кого я знал на своем веку, которая так же очаровательна пьяная, как и трезвая.

— Вы немного, должно быть, видели на своем веку.

— Ошибаетесь, дорогая. Я очень много видел на своем веку, очень, очень много.

— Пейте и не разговаривайте, — сказала Брет. — Мы все много видели на своем веку. Не сомневаюсь, что Джейк видел ничуть не меньше вашего.

— Дорогая, я уверен, что мистер Барнс очень много видел. Не думайте, сэр, что я этого не думаю. Но я тоже много видел.

— Конечно, видели, милый, — сказала Брет. — Я просто пошутила.

— Я участвовал в семи войпах и четырех революциях, — сказал граф.

— Воевали? — спросила Брет.

— Случалось, дорогая. И был ранен стрелами. Вам приходилось видеть раны от стрел?

— Покажите.

Граф встал, расстегнул жилет и распахнул верхнюю рубашку. Он задрал нижнюю до подбородка, открыв черную грудь и могучие брюшные мышцы, вздувавшиеся в свете газовой лампы.

— Видите?

Пониже того места, где кончались ребра, было два белых бугорка.

— Посмотрите сзади, где они вышли.— Повыше поясицы было два таких же шрама, в палец толщиной.

— Ну-ну! Вот это действительно.

— Насквозь.

Граф засовывал рубашку в брюки.

— Где это вас? — спросил я.

— В Абиссинии. Мне был тогда двадцать один год.

— А что вы делали? — спросила Брет.— Вы были в армии?

— Я ездил по делам, дорогая.

— Я же вам говорила, что он свой.— Брет повернулась ко мне.— Я люблю вас, граф. Вы прелесть.

— Я счастлив, дорогая. Но только это неправда.

— Не будьте идиотом.

— Понимаете, мистер Барнс, именно потому, что я очень много пережил, я теперь могу так хорошо всем наслаждаться. Вы не согласны со мной?

— Согласен. Вполне.

— Я знаю,— сказал граф.— В этом весь секрет. Нужно найти истинные ценности.

— А с вашими ценностями никогда ничего не случается? — спросила Брет.

— Нет. Больше не случается.

— Никогда не влюбляетесь?

— Всегда,— сказал граф.— Я всегда влюблен.

— А как это отражается на ваших ценностях?

— Это входит в число моих ценностей.

— Нет у вас никаких ценностей. Вы мертвый — и больше ничего.

— Нет, дорогая. Вы не правы. Я совсем не мертвый.

Мы выпили три бутылки шампанского, и граф оставил корзину у меня на кухне. Мы пообедали в одном из ресторанов Булонского леса. Обед был хороший. Еда занимала почетное место среди ценностей графа. Как и вино. Граф был в ударе во время обеда. Брет тоже. Вечер прошел приятно.

— Куда вы хотите поехать? — спросил граф после обеда. В ресторане уже никого, кроме нас, не было. Оба официанта стояли, прислонившись к двери. Им хотелось домой.

— Можно поехать на Монмартр,— сказала Брет.— Правда, как хорошо мы провели время?

Граф сиял. Он был чрезвычайно доволен.

— Вы — милейшие люди,— сказал он. Он уже опять курил сигару.— Отчего вы не поженитесь?

— Мы хотим жить каждый по-своему,— сказал я.

— Не хотим портить друг другу карьеру,— сказала Брет.— Пойдемте. Выйдем отсюда.

— Выпейте еще коньяку,— сказал граф.

— Там выпьем.

— Нет. Выпьем здесь, здесь тихо.

— Подите вы с вашей тишиной,— сказала Брет.— Что это мужчины вечно ищут тишину?

— Мы любим тишину,— сказал граф,— как вы, дорогая, любите шум.

— Ну, ладно,— сказала Брет.— Выпьем здесь.

— Гарсон! — позвал граф.

— Что прикажете?

— Какой у вас самый старый коньяк?

— Тысяча восемьсот одиннадцатого года, мосье.

— Подайте бутылку.

— Ну-ну. Зафорсил. Верните официанта, Джейк.

— Послушайте, дорогая. Старый коньяк стоит своих денег в гораздо большей степени, чем все остальные мои древности.

— У вас много древностей?

— Полон дом.

В конце концов мы поехали на Монмартр. У Зелли было тесно, дымно и шумно. Музыка резала уши. Мы с Брет танцевали. Было так тесно, что мы еле могли двигаться. Негр-барабанщик помахал Брет. Мы попали в затор и танцевали на одном месте, как раз против него.

— Как поживайт?

— Отлично.

— Это карашо.

Белые зубы так и сверкали.

— Это мой большой друг,— сказала Брет.— Изумительный барабанщик.

Музыка кончилась, и мы пошли к столику, за которым сидел граф. Потом музыка снова заиграла, и мы танцевали. Я посмотрел на графа. Он сидел за столиком и курил сигару. Музыка опять кончилась.

— Пойдем к нему.

Брет пошла было к столику. Но музыка опять заиграла, и мы снова танцевали, стиснутые толпой.

— Ты не умеешь танцевать, Джейк. Лучше всех танцует Майкл.

- Он замечательно танцует.
- У него вообще много достоинств.
- Он мне нравится,— сказал я.— Я ужасно люблю его.
- Я выйду за него замуж,— сказала Брет.— Странно, я целую неделю о нем не думала.
- А разве ты ему не пишешь?
- Нет. Никогда не пишу писем.
- Но он, конечно, пишет?
- О да! И очень хорошие письма.
- Когда вы поженитесь?
- Почему я знаю? Как только развод получу. Майкл уговаривает свою мать, чтобы она раскошелилась.
- Может быть, я могу помочь?
- Брось дуриль. У его родни куча денег.
- Музыка кончилась. Мы подошли к столику. Граф встал.
- Очень мило,— сказал он.— На вас было очень, очень приятно смотреть.
- А вы не танцуете, граф? — спросил я.
- Нет. Я слишком стар.
- Да бросьте,— сказала Брет.
- Дорогая, я танцевал бы, если бы это доставляло мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие смотреть, как вы танцуете.
- Отлично,— сказала Брет.— Я еще как-нибудь потанцую для вас. Да, а где же ваш дружок Зизи?
- Вот что я вам скажу. Я помогаю ему, но я предпочитаю его не видеть.
- С ним трудно.
- Знаете, мне кажется, что из него выйдет художник. Но я лично предпочитаю не видеть его.
- Джейк тоже.
- У меня от него мурашки по спине бегают.
- Да.— Граф пожал плечами.— Нельзя знать, что из него выйдет. Но его отец был большим другом моего отца.
- Идем танцевать,— сказала Брет.
- Мы танцевали. Была толкотня и давка.
- Ох, милый! — сказала Брет.— Я такая несчастная. Я очень ясно почувствовал,— как это иногда бывает,— что все это уже происходило когда-то.
- Минуту назад ты была довольна и счастлива.
- Барабанщик громко запел:
- «Напрасно дважды...»
- Все это ухнуло.
- А что случилось?

— Не знаю. Мне просто скверно.

«.», — пропел барабанщик. Потом снова взялся за свои палочки.

— Хочешь уйти?

У меня было такое чувство, какое бывает во время кошмара — как будто все повторяется, как будто я все это уже раз проделал и теперь должен проделать снова.

«.», — негромко тянул барабанщик.

— Уйдем, — сказала Брет. — Ты как?

«.», — громко крикнул барабанщик и ухмыльнулся Брет.

— Хорошо, — сказал я. Мы вышли из толпы.

Брет пошла в гардеробную.

— Брет хочет уйти, — сказал я графу.

Он кивнул.

— Вот как? Отлично. Возьмите машину. Я еще посижу немного, мистер Барнс.

Мы пожали друг другу руки.

— Я чудесно провел вечер, — сказал я. — Прошу вас, позвольте мне... — Я вынул бумажник.

— Бросьте, мистер Барнс, — сказал граф.

Брет, уже в манто, подошла к столику. Она поцеловала графа и положила ему руку на плечо, чтобы он не вставал. Когда мы выходили, я оглянулся в дверях, и за его столиком уже сидели три девицы. Мы сели в просторную машину. Брет сказала шоферу адрес своего отеля.

— Нет, не подымайся, — сказала она у подъезда. Она позвонила, и двери открыли.

— Серьезно?

— Да. Пожалуйста.

— Спокойной ночи, Брет, — сказал я. — Мне очень грустно, что ты чувствуешь себя несчастной.

— Спокойной ночи, Джейк. Спокойной ночи, милый. Мы больше не увидимся. — Мы поцеловались, стоя перед дверью. Она оттолкнула меня. Мы снова поцеловались. — Не надо! — сказала Брет.

Она быстро повернулась и вошла в отель. Шофер отвез меня домой. Я дал ему двадцать франков, он поднес руку к козырьку, сказал: «Спокойной ночи, мосье», — и уехал. Я позвонил. Дверь открылась, я поднялся к себе и лег в постель.

Глава восьмая

Я увиделся с Брет только после ее возвращения из Сан-Себастьяна. Оттуда я получил от нее открытку с видом бухты Конча. Она писала: «Милый! Здесь хорошо и спокойно! Привет всем. Брет».

И Роберта Кона я не видел. Я слышал, что Фрэнсис уехала в Англию, а от Кона я получил записку, в которой он сообщал, что уезжает из города на несколько недель, еще сам не знает куда, но что он непременно хочет отправиться со мной в Испанию на рыбную ловлю, как мы сговаривались прошлой зимой. Адрес, писал он, я всегда могу узнать у его банкира.

Брет не было, Кон не докучал мне своими горестями, я даже радовался, что не нужно играть в теннис, работы было очень много. Я часто бывал на скачках, обедал с друзьями и поздно засиживался в редакции, делая загон материала, чтобы в конце июня, когда мы с Биллом Гортоном поедem в Испанию, можно было все оставить на секретаря. Билл Гортон приехал, пожил у меня несколько дней и отправился в Вену. Он был очень весел и говорил, что в Штатах чудесно. В Нью-Йорке чудесно. Театральный сезон прошел с блеском, и появился целый выводок молодых светил среди боксеров полутяжелого веса. От каждого из них можно было ожидать, что он разовьется, наберет веса и побьет самого Демпси. Билл просто сиял. Он заработал уйму денег своей последней книгой и собирался заработать еще больше. Мы хорошо провели с ним время в Париже, а потом он отправился в Вену. Он хотел вернуться через три недели, и тогда мы должны были поехать в Испанию ловить рыбу, а потом в Памплону, на *фieste* ¹.

¹ *Фieste* — празднество (исп.).

Он писал, что в Вене чудесно. Потом — открытка из Будапешта: «Джейк, в Будапеште чудесно». Потом пришла телеграмма: «Приеду понедельник».

В понедельник вечером он явился. Я услышал, как остановилось его такси, подошел к окну и окликнул его; он помахал мне и стал подниматься по лестнице со своими чемоданами. Я вышел к нему на лестницу и взял один из чемоданов.

— Ну, — сказал я, — ты, кажется, чудесно покатался?

— Чудесно, — сказал он. — Будапешт совершенно изумительный город.

— А Вена?

— Совсем не то, Джейк. Совсем не то. Она оказалась хуже, чем я думал.

— А что такое? — Я доставал стаканы и сифон.

— Пьян был, Джейк. Я был пьян.

— Вот странно! На, выпей.

Билл потирал лоб.

— Удивительное дело, — сказал он. — Не знаю, как это случилось. Вдруг, ни с того ни с сего, случилось.

— И долго?

— Четыре дня, Джейк. Ровно четыре дня.

— Где же ты был?

— Не помню. Послал тебе открытку. Это помню отлично.

— А еще что-нибудь делал?

— Не уверен. Возможно.

— Ну, дальше. Рассказывай.

— Не могу вспомнить. Я все рассказал, что помню.

— Ну, ну, дальше. Выпей вот это и вспомни.

— Может быть, кое-что и вспомню, — сказал Билл. — Припоминаю состязание боксеров. Грандиозное состязание на Венский приз. Участвовал негр. Негра помню отлично.

— Ну, дальше.

— Изумительный негр. Похож на Тигра Флауэрс, но толще раза в четыре. Вдруг все стали швыряться. Кроме меня. Негр только что свалил с ног венца. Негр поднял руку в перчатке. Хотел сказать речь. Страшно благородно выглядел негр. Начал говорить. Тогда белый венец ударил его. Тогда он покаутировал белого венца. Тогда все стали швыряться стульями. Негр поехал домой в нашей машине. Не успел взять свое платье. Надел мое пальто. Теперь все вспомнил. Большой спортивный вечер.

— А чем кончилось?

— Одолжил негру кое-что из одежды и поехал с ним добывать его деньги. Нам заявили, что негр еще им должен за повреждение зала. Кто же переводил? Я, что ли?

— Вероятно, не ты.

— Правильно. Совсем не я. Кто-то другой. Мы еще звали его профессором, кажется. Теперь вспомнил его. Учится музыке.

— Ну и что из этого вышло?

— Ничего хорошего, Джейк. Нет на свете справедливости. Импресарио заявил, что негр обещал сдать место чемпиону. Что негр нарушил контракт. Нельзя покаутировать венского чемпиона в Вене. «Боже мой, мистер Гортон,— сказал негр.— Целых сорок минут я только и делал, что старался ему сдать. Этот белый мальчик, должно быть, надорвался, замахиваясь на меня. Я и пальцем его не тронул».

— Деньги получили?

— Никаких денег, Джейк. Все, что мы выручили, это ссуду негра. Часы его тоже пропали. Замечательный негр. Не нужно мне было ездить в Вену. Неважный город, Джейк. Неважный.

— А негр что?

— Уехал обратно, в Кельн. Живет там. Женат. Дети есть. Обещал написать мне и вернуть деньги, которые я одолжил ему. Изумительный негр. Надеюсь, я не перепутал адрес.

— Будем надеяться.

— Ну, ладно, пойдем обедать,— сказал Билл.— Или, может быть, ты хочешь еще путевых очерков?

— Валяй.

— Пойдем обедать.

Мы спустились вниз и вышли на Бульвар Сен-Мишель. Был теплый июньский вечер.

— Куда пойдем?

— Пообедаем на острове?

— Давай.

Мы пошли вниз по Бульвару. На перекрестке улицы Ден-Фер-Рошери и Бульвара стоит статуя двух мужчин в развевающихся одеждах.

— Я знаю, кто это.— Билл остановился, разглядывая памятник.— Эти господа выдумали фармакологию. Не втирай мне очки. Я знаю цену твоему Парижу.

Мы пошли дальше.

— Вот набивка чучел,— сказал Билл.— Хочешь купить что-нибудь? Чучело собачки?

— Пойдем,— сказал я.— Ты хлебнул лишнего.

— Очень хорошенькие собачки,— сказал Билл.— Они очень украсят твою квартиру.

— Пойдем.

— Только одну собачку. В сущности, мне, конечно, па-плевать. Но послушай, Джейк,— только одну-единственную собачку.

— Пойдем.

— Когда ты купишь ее, ты в ней души не будешь чаять. Простой обмен ценностями. Ты даешь деньги. Тебе дают чучело собачки.

— Купим на обратном пути.

— Ладно. Пусть будет по-твоему. Дорога в ад вымощена некупленными чучелами собак. Не моя вина.

Мы пошли дальше.

— Что тебе вдруг полюбились собаки?

— Всегда любил собак. Всегда был большим любителем чучел.

Мы остановились у киоска и выпили.

— Несомненно, люблю выпить,— сказал Билл.— Не мешало бы и тебе, Джейк, попробовать.

— Ты на сто сорок четыре очка впереди меня.

— Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях.

— Где ты успел выпить?

— Заезжал в «Крийон». Жорж смешал мне несколько коктейлей. Жорж — великий человек. Знаешь, в чем секрет его успеха? Никогда не падает духом.

— Если ты выпьешь еще три рюмки перно, ты упадешь духом.

— На людях не упаду. Как только я почувствую, что падаю духом, я уйду. Я как кошка.

— Где ты видел Харви Стоуна?

— В «Крийоне». Харви слегка упал духом. Три дня ничего не ел. Вообще прекратил есть. Уходит, как кошка. Довольно грустно.

— Он ничего.

— Чудесный. Все-таки лучше бы он не уходил, как кошка. Неприятно.

— Что будем делать вечером?

— Не играет роли. Лишь бы не падать духом. А вдруг тут есть крутые яйца? Если тут есть крутые яйца, мы можем не тащиться на остров.

— Не выдумывай,— сказал я.— Мы пойдем и пообедаем честь честью.

— Я только предлагаю,— сказал Билл.— Хочешь идти?

— Идем.

Мы пошли дальше по Бульвару. Нас обогнал фиакр. Билл посмотрел ему вслед.

— Видишь этот фиакр? Я закажу из него чучело и подарю тебе к рождеству. Всем своим друзьям подарю по чучелу. Я натуралист.

Нас обогнало такси; кто-то, сидящий в нем, помахал рукой, потом постучал шоферу, чтобы тот остановился. Шофер осадил к тротуару. В такси сидела Брет.

— Прекрасная незнакомка,— сказал Билл,— собирается похитить нас.

— Хэлло! — сказала Брет.— Хэлло!

— Познакомьтесь: Билл Гортон, леди Эшли.

Брет улыбнулась Биллу.

— Я только что приехала. Даже ванны не успела принять. Майкл приезжает сегодня вечером.

— Отлично. Пообедайте с нами, и мы все пойдем встречать его.

— Мне нужно помыться.

— Ну, ерунда! Пойдемте.

— Мне нужно принять ванну. Он придет не раньше девяти.

— Тогда пойдем выпьем, а потом примете ванну,

— Это можно. Очень разумная мысль.

Мы сели в такси. Шофер оглянулся.

— Подъезжайте к ближайшему бистро,— сказал я.

— Уж лучше поедем в «Клозери»,— сказала Брет.— Не могу пить их противный коньяк,

— «Клозери-де-Лиля».

Брет повернулась к Биллу.

— Вы давно в этом чумном городе?

— Только сегодня приехал из Будапешта.

— А как было в Будапеште?

— Чудесно. В Будапеште было чудесно.

— Спросите его про Вену.

— Вена,— сказал Билл,— очень странный город.

— Очень похож на Париж.— Брет улыбнулась ему, и в уголках ее глаз собрались морщинки.

— Правильно,— сказал Билл.— Очень похож на Париж в данную минуту.

— Да, нелегко будет вас догнать.

Мы уселись на террасе кафе «Клозери». Брет заказала виски с содовой, я себе тоже, а Билл взял еще рюмку перно.

— Как живете, Джейк?

— Отлично,— сказал я.— Я прекрасно провел время. Брет посмотрела на меня.

— Я сделала глупость, что уехала,— сказала она.— Идиотство уезжать из Парижа.

— Хорошо провели время?

— Ничего. Интересно было. Но не слишком весело.

— Кого-нибудь видели?

— Нет, почти что никого. Я совсем не выходила.

— Разве вы не купались?

— Нет. Ничего не делала.

— Похоже на Вену,— сказал Билл.

Брет посмотрела на него, морща уголки глаз.

— Ах, вот как было в Вене.

— В Вене было по-всякому.

Брет снова улыбнулась ему.

— Ваш друг очень мил, Джейк.

— Он ничего,— сказал я.— Он занимается набивкой чучел.

— Это было в чужой стране,— сказал Билл.— А кроме того, все животные были покойники.

— Еще глоточек,— сказала Брет,— и я побежала. Пошлите, пожалуйста, за такси.

— Да вот они стоят. Как раз напротив.

— Ладно.

Мы выпили по последней и посадили Брет в такси.

— Не забудьте, в «Селекте» к десяти часам. Пусть оп тоже приходит. И Майкл будет.

— Мы придем,— сказал Билл.

Машина тронулась, и Брет помахала нам рукой.

— Вот это женщина,— сказал Билл.— Ужасно мила. Кто такой Майкл?

— Тот, за кого она собирается замуж.

— Ну-ну,— сказал Билл.— Судьба мне знакомиться с людьми именно в этой стадии. Что им послать? Может быть, чучела скаковых лошадей?

— Давай пообедаем.

— Она правда с титулом? — осведомился Билл, когда машина везла нас на остров Сен-Луи.

— О да! Записана в родословной книге и все такое.

— Ну-ну.

Мы пообедали в ресторане мадам Леконт на дальнем конце острова. Там было полно американцев, и нам пришлось стоять и дожидаться места. Кто-то включил ресторан Леконт в список, находящийся в Американском женском клубе, охарактеризовав его как оригинальный уголок на парижской набережной, еще не тронутый американцами, и поэтому мы три четверти часа дожидались столика. Билл обедал здесь в 1918 году, сейчас же после объявления перемирия, и мадам Леконт встретила его с распростертыми объятиями.

— Столика мы все-таки этим не заработали, — сказал Билл. — Но великолепная женщина.

Обед был хороший: жареная курица с зеленым горошком и картофельным пюре, салат, яблочный пирог и сыр.

— У вас просто не протолкнешься, — сказал Билл мадам Леконт.

Она подняла руку.

— И не говорите!

— Разбогатеете.

— Надеюсь.

Выпив кофе и по рюмочке коньяку, мы попросили счет, который, как всегда, был написан мелом на грифельной доске, что, несомненно, составляло одну из «оригинальных» черт ресторана, заплатили, пожали мадам Леконт руку и направились к двери.

— Вас совсем больше не видно, мосье Барнс, — сказала мадам Леконт.

— Слишком много соотечественников.

— Приходите к завтраку. Тогда не так полно.

— Хорошо. Непременно приду.

Мы шли под деревьями, окаймлявшими реку в том конце острова, который обращен к Орлеанской набережной. За рекой виднелись полуразрушенные стены старых домов.

— Их сносят. Там проложат улицу.

— Видимо, так, — сказал Билл.

Мы обошли кругом весь остров. По темной реке, сияя огнями, быстро и бесшумно скользнул паровичок и исчез под мостом. Ниже по течению собор Богоматери громоздился на вечернем небе. С Бетюнской набережной мы пере-

шли на левый берег по деревянному мосту; мы постояли на мосту, глядя вниз по реке на собор. Отсюда остров казался очень темным, деревья — тенями, дома тянулись в небо.

— Красиво все-таки, — сказал Билл. — До чего я рад, что вернулся.

Мы облокотились на деревянные перила моста и смотрели вверх по реке на огни больших мостов. Вода была гладкая и черная. Она не плескалась о быки моста. Мимо нас прошел мужчина с девушкой. Они шли обнявшись.

Мы перешли мост и поднялись по улице Кардинала Лемуана. Подъем был крутой, и мы шли пешком до самой площади Контрэскарп. Свет дугового фонаря падал сквозь листья деревьев, а под деревьями стоял готовый к отправлению автобус. Из открытых дверей кафе «Веселый негр» доносилась музыка. В окно кафе «Для любителей» я увидел длинную, обитую цинком стойку. Снаружи, на террасе, сидели рабочие за вином. В открытой кухне кафе «Для любителей» служанка жарила картофель на постном масле. Тут же стоял чугунок с тушеным мясом. Служанка накладывала мясо на тарелку для старика, который стоял возле нее с бутылкой красного вина в руке.

— Хочешь выпить?

— Нет, — сказал Билл. — С меня хватит.

Мы свернули вправо с площади Контрэскарп и пошли ровными, узкими улочками, между высокими старинными домами. Одни дома выдвигались вперед, другие отступали назад. Мы вышли на улицу По-де-Фер и шли по ней до улицы Сен-Жак, потом свернули к югу, вдоль чугунной ограды обогнули больницу Валь-де-Грас и вышли на Бульвар дю-Пор-Рояль.

— Теперь куда? — спросил я. — Зайдем в «Селект» и посидим с Брет и Майклом?

— Ну что ж.

Мы пошли по Бульвару дю-Пор-Рояль, пока он не перешел в Бульвар Монпарнас, и дальше, мимо «Клозери-де-Лила», ресторана Лавиня, Дамуа и всех маленьких кафе, пересекли улицу против «Ротонды» и мимо его огней и столиков дошли до кафе «Селект».

Майкл вышел к нам навстречу из-за столиков. Он сильно загорел, и вид у него был цветущий.

— Хэлло, Джейк, — сказал он. — Хэлло! Хэлло! Как живете, дружище?

— Вы прекрасно поправились, Майкл.

— О да! Я страшно поправился. Я ничего не делал, только гулял. Гулял с утра до вечера. И только одну рюмочку с матерью за чаем.

Билл прошел в бар. Он разговаривал с Брет, которая сидела на высоком табурете, положив ногу на ногу. Она была без чулок.

— Рад видеть вас, Джейк,— сказал Майкл.— Я слегка пьян, знаете ли. Такой странный случай. Посмотрите на мой нос.

У него было пятно запекшейся крови на переносице.

— Это от чемоданов одной старушки,— сказал Майкл.— Я хотел достать их, чтобы помочь ей, а они посыпались на меня.

Брет поманила его из бара своим длинным мундштуком, морща уголки глаз.

— Старушка,— сказал Майкл.— Ее чемоданы так и посыпались на меня. Пойдемте к Брет. Она такая прелесть. Ты — очаровательная женщина, Брет. Откуда у тебя эта шляпа?

— Приятель подарил. Тебе не нравится?

— Ужасная шляпа. Купи себе хорошую шляпу.

— Ну конечно, мы теперь такие богатые,— сказала Брет.— Кстати, ты знаком с Биллом? Вы страшно внимательны, Джейк.— Она повернулась к Майклу.— Это — Билл Гортон. Этот пьяница — Майкл Кэмбелл. Мистер Кэмбелл — злостный банкрот.

— Ну да. Знаете, вчера в Лондоне я встретил своего бывшего компаньона. Того, кто подкузьмил меня.

— Что он сказал?

— Угостил меня стаканчиком. Я решил, что не стоит отказываться. Знаешь, Брет, ты такая прелесть! Правда, она красавица?

— Уж и красавица. С таким-то носом!

— Очаровательный нос. Повернись ко мне носом. Ну, разве она не очаровательна?

— Неужели нельзя было устроить, чтобы он остался в Шотландии?

— Послушай, Брет, пойдем пораньше домой.

— Веди себя прилично, Майкл. Здесь дамы сидят.

— Правда, она очаровательна? Как по-вашему, Джейк?

— Сегодня вечером бокс,— сказал Билл.— Хотите пойти?

— Бокс,— повторил Майкл.— Кто против кого?

— Леду и еще кто-то.

— Леду очень хорош,— сказал Майкл.— Мне хотелось бы посмотреть,— он старался взять себя в руки,— но я не могу пойти. У меня свидание, вот с ней. Послушай, Брет, купи себе новую шляпу.

Брет нахлобучила фетровую шляпу на один глаз и улыбнулась из-под широких полей.

— Вы оба ступайте на бокс. Мне придется отвезти мистера Кэмбелла прямо домой.

— Я не пьян,— сказал Майкл.— Может быть, чуть-чуть. Послушай, Брет, ты очаровательна.

— Ступайте,— сказала Брет.— Мистер Кэмбелл начинает заговариваться. Что это за взрывы нежности, Майкл?

— Послушай, ты очаровательна.

Мы попрощались.

— Мне очень жаль, что я не могу пойти с вами,— сказал Майкл. Брет засмеялась. В дверях я оглянулся. Майкл оперся рукой о стойку и, наклонившись к Брет, что-то говорил ей. Брет смотрела на него спокойно, но уголки ее глаз улыбались.

Выйдя на улицу, я спросил:

— Ну что? Пошли на бокс?

— Пошли,— сказал Билл.— Только не пешком.

— Майкл совсем опалел от своей возлюбленной,— сказал я в такси.

— Ну,— сказал Билл,— за это его и осуждать не придется.

Глава девятая

Встреча боксеров Леду и Фрэнсиса состоялась 20 июня. Встреча была интересной. На другое утро я получил письмо от Роберта Кона, из Андайи. Он живет очень тихо, писал он, купается, иногда играет в гольф и очень много в бридж. В Андайи великолепный пляж, но он ждет не дождется, когда поедет с нами ловить рыбу. Скоро ли я приеду? Если я буду так добр и куплю ему двойную лесу, он вернет мне деньги, когда я приеду.

В то же утро, сидя в редакции, я написал Кону, что мы с Биллом выезжаем из Парижа двадцать пятого,— в противном случае я буду телеграфировать,— и встретимся с ним в Байонне, а оттуда автобусом поедem через горы в Памплону. В тот же вечер около семи часов я заглянул в кафе «Селект» — повидаться с Майклом и Брет. Их там

не было, и я пошел в кафе «Динго». Они сидели в баре за стойкой.

— Хэлло, милый.— Брет протянула мне руку.

— Хэлло, Джейк,— сказал Майкл.— Я, кажется, был навеселе вчера вечером?

— Мягко выражаясь,— сказала Брет.— Просто безобразие.

— Послушайте,— сказал Майкл,— когда вы едете в Испанию? Вы ничего не имеете против, если мы поедem с вами?

— Это будет замечательно.

— Вы серьезно ничего не имеете против? Я, знаете, бывал в Памплоне. Брет ужасно хочется поехать. Но мы паверно не будем вам обузой?

— Не говорите глупостей.

— Я слегка пьян, знаете ли. А то бы я не решился так прямо спросить вас. Вы паверно ничего не имеете против?

— Замолчи, Майкл,— сказала Брет.— Что ж ты хочешь, чтобы он тебе ответил? Я его после сама спрошу.

— Но вы ничего не имеете против?

— Если вы еще раз спросите, я рассержусь. Мы с Биллом едем двадцать пятого утром.

— Кстати, где Билл? — спросила Брет.

— Он в Шантильи, приглашен к кому-то на обед.

— Он славный.

— Чудесный,— сказал Майкл.— Именно чудесный.

— Ты же не помнишь его,— сказала Брет.

— Помню. Отлично помню его. Вот что, Джейк, мы приедем двадцать пятого вечером. Брет не может рано встать.

— Ну конечно!

— Если пришлют деньги и если вы паверно ничего не имеете против.

— Деньги пришлют. Я позабочусь об этом.

— Скажите, что нужно выписать.

— Два или три удилица с катушками, лесы и мух.

— Я не буду рыбу удить,— сказала Брет.

— Тогда два спиннинга. И Биллу не придется покупать.

— Хорошо,— сказал Майкл.— Я пошлю телеграмму нашему сторожу.

— Вот будет чудесно! — сказала Брет.— Испания! Повеселимся па славу,

- Двадцать пятого — когда это?
- В субботу.
- Придется поспешить со сборами.
- Ну вот что, — сказал Майкл, — я иду к парикмахеру.
- А мне нужно ванну принять, — сказала Брет. — Проводите меня до отеля, Джейк, будьте другом.
- Мы живем в замечательном отеле, — сказал Майкл. — По-моему, это бордель.
- Мы оставили свои вещи здесь, в кафе, когда приехали, и в отеле нас спросили, на сколько часов нам нужна комната. Страшно обрадовались, что мы остаемся на ночь.
- Уверен, что это бордель, — сказал Майкл. — Уж если не знать.
- Ох, замолчи и ступай подстригись.
- Майкл ушел. Брет и я остались сидеть за стойкой.
- Выпьем еще?
- Пожалуй.
- Теперь легче стало, — сказала Брет.
- Мы пошли по улице Делаамбр.
- Мы еще не виделись с тобой после моего приезда, — сказала Брет.
- Нет.
- Как живешь, Джейк?
- Отлично.
- Брет взглянула на меня.
- Послушай, — сказала она. — Роберт Кон тоже едет с вами?
- Да. А что?
- Ты не думаешь, что ему будет тяжело?
- А почему?
- Как ты думаешь, с кем я ездила в Сан-Себастьян?
- Поздравляю, — сказал я.
- Мы пошли дальше.
- Зачем ты это сказал?
- Не знаю. А что ты хочешь, чтобы я сказал?
- Мы пошли дальше и свернули за угол.
- Он неплохо вел себя. Только с ним скучно.
- Вот как?
- Я думала, это пойдет ему на пользу.
- Советую тебе серьезно заняться благотворительностью.
- Не говори гадостей.
- Не буду.

— Ты правда не знал?

— Нет,— сказал я.— Вероятно, я не думал об этом.

— Как по-твоему, ему не будет слишком тяжело?

— Это его дело,— сказал я.— Напиши ему, что ты едешь. Он же всегда может не поехать.

— Я напишу ему, чтобы он мог отказаться заранее.

После этого я не видел Брет до вечера 24 июня.

— От Кона было что-нибудь?

— Да. Он в восторге.

— О, господи!

— Я сама удивилась. Пишет, что ждет не дождется свидания со мной.

— Может быть, он думает, что ты едешь одна?

— Нет. Я написала ему, что мы едем все вместе. И Майкл и все.

— Он бесподобен.

— Правда?

Они рассчитывали, что деньги придут на следующий день. Мы условились встретиться в Памплоне: они едут прямо на Сан-Себастьян, а там пересаживаются. Мы все встретимся в Памплоне, в отеле Монтойи. Если они не приедут до понедельника, то мы едем без них в горы, в Бургете, ловить рыбу. В Бургете ходит автобус. Я записал им подробный маршрут, чтобы они могли найти нас.

Мы с Биллом уехали утренним поездом с вокзала Орсе. Был чудесный день, не слишком жаркий, и местность с самого начала была красивая. Мы пошли в вагон-ресторан и позавтракали. Уходя, я спросил у проводника билетики на обед в первую очередь.

— Все занято до пятой очереди.

— Что такое?

В этом поезде никогда не подавали обед больше чем в две очереди, и всегда было сколько угодно свободных мест.

— Все расписано,— сказал проводник вагона-ресторана.— Пятая очередь будет в три тридцать.

— Плохо дело,— сказал я Биллу.

— Дай ему десять франков.

— Возьмите,— сказал я.— Мы хотим пообедать в первую очередь.

Проводник сунул десять франков в карман.

— Спасибо,— сказал он.— Я бы посоветовал вам запастись сандвичами. Все места на первые четыре очереди заказаны через управление дороги.

— Вы далеко пойдете, приятель,— сказал ему Билл по-английски.— Очевидно, дай я вам пять франков, вы посоветовали бы нам спрыгнуть с поезда.

— Comment? ¹

— Подите к черту! — сказал Билл.— Велите подать сэндвичи и бутылку вина. Скажи ему, Джейк.

— И пришлите в соседний вагон.— Я объяснил ему, где мы сидим.

В нашем купе сидели муж с женой и подросток-сын.

— Вы, кажется, американцы? — спросил муж.— Приятное путешествие?

— Чудесное,— сказал Билл.

— Хорошо делаете. Путешествуйте, пока молоды. Вот мы с мамашей давно собирались в Европу, но пришлось немного подождать.

— Мы могли поехать десять лет назад, если бы ты хотел,— сказала жена.— Но ты всегда говорил: сперва посмотрим Америку! Что ни говори, а видели мы немало.

— В нашем поезде полно американцев,— сказал муж.— Целых семь вагонов. Все из Дейтона, штат Огайо. Это паломники. Они побывали в Риме, а теперь едут в Биарриц и Лурд.

— Ах, вот оно что! Паломники. Святоши сопливые,— сказал Билл.

— Из каких вы краев?

— Я из Канзас-Сити,— сказал я.— А он из Чикаго.

— Оба едете в Биарриц?

— Нет. Мы едем в Испанию ловить рыбу.

— Я сам этим никогда не занимался. Но у нас многие увлекаются. В нашем штате Монтана лучшие места для рыбной ловли. Я тоже рыбачил с приятелями, но никогда не увлекался.

— Страх как много ты рыбачил, когда ездил с приятелями,— сказала жена.

Он подмигнул нам.

— Женщины все одинаковы. Как только почуют флягу с вином или кружку пива, то уж ты, значит, пропащий человек.

— Мужчины всегда так,— сказала жена, обращаясь к нам. Она погладила свои полные колени.— Я голосовала против сухого закона, чтобы сделать ему удовольствие и потому что я люблю, чтобы в доме было пиво, а теперь он

¹ Что? (фр.)

вот что говорит. Удивительно, чего ради мы за них замуж выходим.

— А вы знаете,— сказал Билл,— что эта орава отцов пилигримов захватила вагон-ресторан до половины четвертого?

— Что вы говорите? Этого быть не может!

— Пойдите попробуйте достать место.

— Тогда, мамаша, не пойти ли нам еще раз позавтракать?

Она встала и оправила платье.

— Посмотрите, пожалуйста, за нашими вещами. Идем, Хьюберт.

Они втроем отправились в ресторан. Немного спустя по вагону прошел проводник, объявляя о первой обеденной очереди, и паломники под предводительством своих патеров потянулись по коридору. Наш сосед с семейством не возвращался. По коридору прошел официант с нашими сэндвичами и бутылкой шабли, и мы позвали его.

— Достанется вам сегодня,— сказал я.

Он кивнул.

— Сейчас начинают, в десять тридцать.

— А когда мы есть будем?

— А я когда есть буду?

Он поставил бутылку и два стакана, мы заплатили за сэндвичи и дали ему на чай.

— Я приду за тарелками,— сказал он,— или захватите их с собой.

Мы ели сэндвичи, пили шабли и любовались видом из окна. Хлеба только что начали колоситься, и поля пестрели цветами мака. Пастбища были зеленые, мелькали живописные рощи, а иногда большие реки и вдали, среди деревьев,— замки.

В Туре мы вышли и купили еще бутылку вина, и когда мы вернулись, джентльмен из Монтаны с женой и сыном Хьюбертом уже удобно расположились в купе.

— А в Биаррице хорошее купанье? — спросил Хьюберт.

— Мальчишка с ума сходит, пока не дорвется до воды,— сказала его мать.— В этом возрасте трудно сидеть смирно в поезде.

— Там хорошее купанье,— сказал я.— Но опасно в бурную погоду.

— Вы пообедали? — спросил Билл.

— Да, пообедали. Мы просто остались сидеть за столом, когда они пришли, и там, наверное, подумали, что мы

с ними. Официант сказал нам что-то по-французски, а потом троих отправили обратно.

— Они, конечно, приняли нас за паломников, — сказал муж. — Все-таки большая сила католическая церковь. Жаль, что вы, молодые люди, не католики. Тогда бы вы вовремя пообедали.

— Я католик, — сказал я. — Вот это-то и обидно.

Наконец в четверть пятого нам подали обед. Билл уже начал выходить из себя. Он взял за пуговицу патера, который возвращался в свое купе во главе партии паломников.

— Скажите, отец, а протестантам есть полагается?

— Я ничего не знаю. Разве у вас нет билетиков?

— Этак, пожалуй, и к Клану примкнешь, — сказал Билл.

Патер оглянулся на него.

В вагоне-ресторане официанты в пятый раз подавали обед. Официант, прислуживавший нам, пропотел насквозь. Его белая куртка под мышками была лиловая.

— Он, наверно, много вина пьет.

— Или носит лиловое белье.

— Давай спросим его.

— Не надо. Он слишком устал.

В Бордо поезд стоял полчаса, и мы вышли через вокзал на улицу. Для поездки в город было слишком мало времени. Потом мы ехали по Ландам и любовались закатом. Между соснами виднелись широкие выжженные просеки, уходившие вдаль, точно улицы, а в конце их высились лесистые холмы. В половине восьмого мы пошли ужинать и любовались видом из открытого окна вагона-ресторана. Вся местность — песок и сосна, и повсюду заросли вереска. Попадались поляны с домиками, а время от времени показывалась лесопилка. Стемнело, и за окном чувствовались жаркие темные пески, а к девяти часам мы приехали в Байонну. Муж, жена и Хьюберт попрощались с нами за руку. Они ехали дальше, до Ла-Негресс, где была пересадка на Биарриц.

— Желаю вам всего лучшего, — сказал муж.

— Будьте поосторожнее на бое быков.

— Может быть, увидимся в Биаррице, — сказал Хьюберт.

Мы сошли с поезда, неся чемоданы и чехлы с удочками, и через темный вокзал вышли на освещенную площадь, где стояли фиакры и автобусы отелей. Там, среди

шоферов и агентов, дожидался Роберт Кон. Он не сразу увидел нас. Потом пошел нам навстречу.

— Хэлло, Джейк! Как доехали?

— Отлично, — сказал я. — Это Билл Гортон.

— Здравствуйте.

— Идемте, — сказал Роберт. — У меня фиакр. — Он был немного близорук, я раньше никогда не замечал этого. Он пристально и с видимым смущением вглядывался в незнакомое лицо Билла.

— Мы поедем в мой отель. Там хорошо. Вполне приемлемо.

Мы сели в фиакр, кучер пристроил чемоданы на козлы, потом взобрался сам, щелкнул кнутом, и мы через темный мост поехали в город.

— Я очень рад познакомиться с вами, — сказал Роберт Биллу. — Я столько слышал о вас от Джейка, и я читал ваши книги. Вы привезли мне леску, Джейк?

Фиакр остановился перед отелем, и мы все вылезли и вошли. Отель был хороший, и люди за конторкой очень приветливы, и мы с Биллом получили по уютной маленькой комнате.

Глава десятая

Утро было ясное, улицы поливали водой, и мы вдвоем позавтракали в кафе. Байонна красивый город. Он похож на очень чистый испанский город и лежит на большой реке. Уже сейчас, так рано утром, на мосту через реку было очень жарко. Мы прошли через мост, а потом погуляли по городу.

Я отнюдь не был уверен, что удочки Майкла вовремя придут из Шотландии, поэтому мы стали искать магазин рыболовных принадлежностей и в конце концов купили Биллу удочку где-то во втором этаже над галантерейной лавкой. Хозяин отлучился, и нам пришлось дожидаться его. Наконец он пришел, и мы купили недорогую, весьма приличную удочку и два сачка.

Выйдя из магазина, мы пошли посмотреть на собор. Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то, — не помню чего. Мне собор показался красивым, красивым и неярким, как испанские церкви. Потом мы пошли дальше, мимо старой крепости, и дошли до здания конторы, откуда должен был отправляться автобус. Там

нам сказали, что автобусное движение откроется не раньше 1 июля. В туристском бюро мы узнали, сколько надо заплатить за автомобиль до Памплоны, и в большом гараже возле Городского театра напаяли машину за четыреста франков. Она должна была заехать за нами в отель через сорок минут, и мы зашли в то же кафе на площади и выпили пива. Становилось жарко, но в воздухе еще пахло свежестью раннего утра, и сидеть в кафе было приятно. Подул ветерок, и чувствовалось, что прохладой тянет с моря. По площади расхаживали голуби, и дома были желтые, словно прокаленные солнцем, и мне не хотелось уходить из кафе. Но пора было идти в отель, сложить вещи и уплатить по счету. Расплатившись за пиво,— мы бросили жребий, и, кажется, платил Кон,— мы пошли в отель. На меня с Биллом пришлось только по шестнадцати франков плюс десять процентов надбавки за услуги, и мы отправили свои чемоданы вниз и стали ждать Роберта Кона. Пока мы ждали, я увидел на паркете вестибюля таракана, не меньше трех дюймов длиной. Я показал его Биллу, а потом наступил на него каблуком. Мы решили, что он, вероятно, только что приполз из сада. В отеле действительно было необыкновенно чисто.

Наконец Кон спустился вниз, и мы все вышли к машине. Машина оказалась большая, с откидным верхом, шофер был в белом пыльнике с голубым воротником и такими же обшлагами, и мы попросили его опустить верх. Он погрузил наши чемоданы, и машина тронулась. Мы ехали длинной улицей по направлению к окраине, мимо цветущих садов, и оглядывались назад, прощаясь с городом, а потом очутились среди зеленых холмов, и дорога пошла в гору. То и дело мы обгоняли воловьи и коровьи упряжки, тащившие повозки басков, мелькали аккуратные выбеленные фермы. Бискайя — плодородный, цветущий край, дома чистенькие, деревни, видимо, зажиточные. В каждом селении была площадка для игры в пелоту, где ребятишки кидали мяч под жарким солнцем. На церквах виднелись надписи, запрещающие кидать мяч о церковные стены, домики были крыты красной черепицей,— а потом дорога свернула и пошла еще круче, и мы стали подниматься по склону горы, и под нами была долина, а холмы уходили назад, в сторону моря. Моря не было видно. Оно было слишком далеко. Видны были только холмы и еще холмы, и чувствовалось, в какой стороне море.

Мы пересекли испанскую границу. Там была речка и мост и в одном конце его — толстые усатые французы в кеши, а в другом — испанские карабинеры в лакированных треуголках, с короткими ружьями за спиной. У нас открыли только один чемодан, взяли папи документы и заглянули в них. С той и с другой стороны кордона было по большой лавке и по гостинице. Шоферу пришлось зайти в помещение пограничной стражи и заполнить какие-то бумаги, и мы вылезли из машины и подошли к реке посмотреть, есть ли там форель. Билл пытался заговорить по-испански с одним из карабинеров, но из этого ничего не вышло. Роберт Кон, показывая пальцем на воду, спросил, водится ли здесь форель, и карабинер сказал, что да, но ее немного.

Я спросил его, ловит ли он рыбу, и он ответил, что нет, он этим не занимается.

К мосту подходил бородатый старик с длинными, выгоревшими на солнце волосами, в сшитой из мешковины одежде. Он опирался на длинную палку, а за спиной у него, головой вниз, висел козленок со связанными ногами.

Карабинер махнул ему саблей, чтобы он воротился. Старик, не сказав ни слова, повернул и пошел обратно по белой дороге в Испанию.

— Почему старика не пустили? — спросил я.

— У него нет пропуска.

Я предложил карабинеру сигарету. Он взял и поблагодарил меня.

— Что же он будет делать? — спросил я.

Карабинер сплюнул в пыль.

— Да просто перейдет реку вброд.

— Много у вас тут контрабанды?

— Да, — сказал он, — бывает.

Вышел шофер, на ходу складывая бумаги и пряча их во внутренний карман. Мы все сели в машину, и она покатила по белой пыльной дороге в Испанию. Сначала местность была почти такая же, как до границы; потом, все время поднимаясь в гору по спирально вьющейся дороге, мы перевалили через вершину, и тут-то и началась настоящая Испания. Показались длинные бурые хребты, поросшие редкой сосной, и буковые леса на далеких склонах гор. Дорога сперва шла по верху ущелья, а потом нырнула вниз, и шофер вдруг дал гудок, затормозил и свернул в сторону, чтобы не наехать на двух ослов, заснувших на дороге. Горы остались позади, и мы въехали в дубовый

лес, где паслись белые козы. Потом пошли поляны, поросшие травой, и прозрачные ручьи, мы пересекли один ручей, миновали сумрачную деревушку и снова стали подниматься в гору. Мы поднимались выше и выше и опять добрались до перевала и повернули, и дорога пошла вниз, забирая вправо, и к югу открылась новая цепь высоких гор — бурые, словно спекшиеся на солнце и причудливо изборозжденные ущельями.

Немного погодя горы кончились, появились деревья по обе стороны дороги, и ручей, и поля спелой пшеницы, и дорога бежала дальше, очень белая и прямая, а потом мы въехали на пригорок, и слева на вершине горы показался старинный замок, тесно окруженный строениями, и колымаемое ветром пшеничное поле, поднимающееся до самых стен. Я оглянулся через плечо — я сидел впереди рядом с шофером. Роберт Кон спал, но Билл смотрел по сторонам и кивнул мне. Потом мы пересекли равнину, и справа в пролетах между деревьями сверкала на солнце широкая река, а вдаль над равниной уже вставало Памплонское плато, и видны были городские стены, и высокий темный собор, и кресты на куполах других церквей. Позади плато были горы, и повсюду, куда ни повернись, были еще горы, а белая дорога бежала впереди нас по равнине прямо к Памплоне.

Обогнув плато, мы с другой стороны въехали в город по пыльной дороге, круто поднимавшейся между двумя рядами тенистых деревьев, а потом спустились в новую часть города, которую строят за стенами старого. Мы проехали мимо арены боя быков — высокое белое здание, казавшееся бетонным под солнцем, а потом переулком выехали на центральную площадь и остановились у подъезда отеля Монтойи.

Шофер помог нам вытащить чемоданы. Вокруг машины столпились ребятишки, и на площади было жарко, деревья зеленели, флаги висели на своих шестах, и приятно было уйти от солнца в тень аркады, которая тянется вокруг всей площади. Монтойа обрадовался нам, пожал нам руки и дал нам хорошие комнаты с окнами на площадь, а потом мы умылись, почистились и спустились в столовую к обеду. Шофер тоже остался обедать, а потом мы заплатили ему, и он уехал обратно, в Байонну.

В отеле Мантойи две столовые. Одна во втором этаже с окнами на площадь. Другая внизу, на целый этаж ниже уровня площади, и оттуда можно выйти на улицу позади

отеля, по которой рано утром пробегают быки, когда их через весь город гонят к арене. В этой столовой всегда прохладно, и мы очень хорошо позавтракали. Первая трапеза на испанской земле — это каждый раз серьезное испытание: закуски, кушанья из яиц, два мясных блюда, овощи, салат, десерт и фрукты. Нужно много вина, чтобы все это одолеть. Роберт Кон пытался сказать, что не хочет второго мясного блюда, но мы не стали переводить его слова, и служанка принесла ему что-то взамен, кажется, холодного мяса. С самой нашей встречи в Байонне Кон нервничал. Он не знал, знаем ли мы, что он ездил с Брет в Сан-Себастьян, и это смущало его.

— Ну,— сказал я,— Брет и Майкл должны приехать сегодня вечером.

— Я сомневаюсь, чтобы они приехали,— сказал Кон.

— Почему? — спросил Билл.— Конечно, приедут.

— Они всегда опаздывают,— сказал я.

— Я почти уверен, что они не приедут,— сказал Роберт Кон.

Он сказал это таким тоном, точно он что-то знает, чего мы не знаем, и мы оба разозлились.

— Держу пари на пятьдесят песет, что сегодня вечером они будут здесь,— сказал Билл. Он всегда держит пари, когда злится, и поэтому обычно заключает глупые пари.

— Хорошо,— сказал Кон.— Пари. Помните, Джейк, пятьдесят песет.

— Я и сам запомню,— сказал Билл.

Я видел, что он злится, и хотел успокоить его.

— Они приедут, без всякого сомнения,— сказал я.— Только, может быть, не сегодня.

— Хотите отказаться от пари? — спросил Кон.

— Нет. С какой стати? Давайте хоть на сто песет.

— Пожалуйста. Принимаю.

— Ну, довольно,— сказал я.— А то вам придется зарегистрировать у меня пари и заплатить мне проценты.

— Ладно,— сказал Кон. Он улыбнулся.— Все равно вы их отыграете у меня в бридж.

— Вы их еще не выиграли,— сказал Билл.

Мы вышли на площадь и под аркадой пошли в кафе Ирунья пить кофе. Кон сказал, что пойдет к парикмахеру побриться.

— Послушай,— сказал мне Билл,— есть у меня шансы выиграть это пари?

— Плохие у тебя шансы. Они еще никуда не приезжали вовремя. Если они не получили денег, то, конечно, сегодня не приедут.

— Я сразу пожалел, как только рот открыл. Но я не мог не вызвать его. Он как будто ничего, но откуда он знает больше нашего? Майкл и Брет улавливались с нами.

Я увидел Кона — он шел к нам через площадь.

— Вот он идет.

— Пусть лучше бросит свои еврейские повадки и не важничает.

— Парикмахерская закрыта, — сказал Кон. — Только в четыре откроется.

Мы пили кофе в кафе Ирунья, сидя в тени аркады, в удобных плетеных креслах, и смотрели на площадь. Потом Билл ушел писать письма, а Кон отправился в парикмахерскую. Она все еще была закрыта, и он решил пойти в отель и принять ванну, но я еще посидел на террасе кафе, а потом пошел прогуляться по городу. Было очень жарко, но я держался теневой стороны улиц, и прошелся по рынку, и радовался, что я снова здесь. Я зашел в *aup-tamiento*¹ и разыскал старика, который каждый год заказывал для меня билеты на бой быков, и узнал, что он получил деньги, высланные мной из Парижа, и возобновил абонемент, так что все это было улажено. Он был архивариусом, и все архивы города помещались в его конторе. Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу. В его конторе была дверь, обитая зеленым сукном, и вторая, из плотного дерева, и когда я ушел, оставив его среди архивов, занимавших сплошь все столы, и притворил обе двери, и вышел на улицу, швейцар остановил меня, чтобы почистить мне пиджак.

— Вы, должно быть, ехали в автомобиле, — сказал он. На воротнике и плечах лежал толстый слой пыли.

— Да, из Байонны.

— Вот-вот, — сказал он. — Я так и знал, что вы ехали в автомобиле, по тому, как пыль легла.

Я дал ему две медных монеты.

Я увидел собор в конце улицы и направился к нему. Когда я в первый раз увидел его, фасад показался мне некрасивым, но теперь он мне нравился. Я вошел. Внутри было мглисто и темно, колонны уходили ввысь, и люди молились, и пахло ладаном, и было несколько изумитель-

¹ Муниципалитет (*исп.*).

ных высоких витражей. Я встал на колени и начал молиться и помолился обо всех, кого вспомнил, о Брет и Майкле, о Билле, Роберте Коне, и о себе, и о всех матадорах, отдельно о каждом, кого я любил, и гуртом о всех остальных, потом я снова помолился о себе, и пока я молился о себе, я почувствовал, что меня клонит ко сну, поэтому я стал молиться о том, чтобы бои быков прошли удачно, и чтобы фиеста была веселая, и чтобы нам наловить побольше рыбы. Я старался вспомнить, о чем бы еще помолиться, и подумал, что хорошо бы иметь немного денег, и я помолился о том, чтобы мне нажить кучу денег, и потом начал думать, как бы я мог их нажить, и, думая о наживе, я вспомнил графа и подумал о том, где он теперь, и пожалел, что не видел его с того вечера на Монмартре, и старался вспомнить что-то смешное, что Брет рассказала мне про него, и так как я все это время стоял на коленях, опершись лбом о деревянную спинку скамьи, и думал о том, что я молюсь, то мне было немного стыдно, и я жалел, что я такой никудышный католик, но я понимал, что ничего тут не могу поделать, по крайней мере сейчас, а может быть, и никогда, но что все-таки это — великая религия, и как бы хорошо предаться пiousным мыслям, и, может быть, в следующий раз мне это удастся; а потом я стоял под жарким солнцем на паперти собора, и указательный, средний и большой палец правой руки все еще были влажные, и я чувствовал, как они сохнут на солнце. Солнце палило жестоко, и я переулками, прячась в тени зданий, вернулся в отель.

Вечером, за ужином, оказалось, что Роберт Кон принял ванну, побрился, подстригся и вымыл голову и что его волосы чем-то смазаны, чтобы не торчали. Он нервничал, и я ничем не старался ему помочь. Поезд из Сан-Себастьяна прибывал в девять часов, и Брет с Майклом могли приехать только этим поездом. Без двадцати девять, когда мы еще и половины ужина не съели, Роберт Кон встал из-за стола и сказал, что пойдет встречать их на вокзал. Я сказал, что пойду вместе с ним, — просто чтобы поддразнить его. Билл сказал, что скорее повесится, чем уйдет, не доев ужина. Я сказал, что мы сейчас же вернемся.

Мы пошли на вокзал. Я наслаждался волнением Кона. Я надеялся, что Брет приседет этим поездом. На вокзале оказалось, что поезд опаздывает, и мы дожидались его, сидя в темноте на багажной тележке за вокзалом. Я никогда, кроме как на войне, не видел, чтобы человек так

волновался, как Роберт Кон, или был в таком нетерпении. Я наслаждался этим. Свинство было наслаждаться этим, но я и чувствовал себя свиньей. Кон обладал удивительной способностью пробуждать в человеке все самое скверное.

Наконец мы услышали далекий свист внизу, с другой стороны плато, а потом увидели поднимающиеся в гору огни паровоза. Мы вошли в вокзал и стояли в толпе встречающих у самой решетки; поезд подошел и остановился, и пассажиры потянулись к выходу.

Их не было в толпе пассажиров. Мы подождали, пока все прошли через вокзал и сели в автобусы, или наняли фиакры, или пошли пешком в темноте с друзьями и родственниками.

— Я так и знал, что они не приедут,— сказал Кон. Мы шли обратно, в отель.

— А я думал, может быть, все-таки приедут,— сказал я.

Когда мы вернулись в столовую, Билл ел фрукты и допивал бутылку вина.

— Не приехали?

— Нет.

— Ничего, Кон, если я отдам вам сто песет завтра утром? — спросил Билл. — Я еще не обменял свои деньги.

— Да не нужно,— сказал Роберт Кон. — Давайте лучше держать другое пари. Можно держать пари на бой быков?

— Можно,— сказал Билл,— только не нужно.

— Это все равно что держать пари на войну,— сказал я. — Здесь не требуется материальной заинтересованности.

— Мне очень любопытно посмотреть бой быков,— сказал Роберт.

К нашему столику подошел Монтойа. В руках у него была телеграмма.

— Это вам. — Он передал ее мне.

Я прочел: «Остались ночевать Сан-Себастьяне».

— Это от них,— сказал я. Я спрятал телеграмму в карман. В другое время я показал бы ее.

— Они остановились в Сан-Себастьяне,— сказал я. — Посылают вам привет.

Почему меня подмывало бесить его, я и сам не знаю. Впрочем, знаю. Я слепо, непримиримо ревновал к тому, что с ним случилось. Хотя я и считал случившееся в порядке вещей — это ничего не меняло. Я, несомненно, ненавидел его. Не думаю, чтобы я по-настоящему ненави-

дел его до той минуты, когда он за завтраком напустил на себя всезнающий вид и потом отправился наводить красоту в парикмахерскую. И я спрятал телеграмму в карман. Как бы то ни было, телеграмма была адресована мне.

— Ну, что ж,— сказал я.— Самое правильное — уехать с дневным автобусом в Бургете. Если они приедут завтра вечером, пусть догоняют нас.

Из Сан-Себастьяна было только два поезда: один рано утром и другой, вечерний, который мы только что ходили встречать.

— Это неплохая мысль,— сказал Кон.

— Чем скорее мы доберемся до реки, тем лучше.

— Мне все равно, когда бы ни ехать,— сказал Билл,— чем скорее, тем лучше.

Мы посидели в кафе Ирунья и выпили кофе, а потом пошли до арены, погуляли в поле и под деревьями на краю обрыва, смотрели вниз на темную реку, и я рано лег спать. Билл и Кон, вероятно, поздно засиделись в кафе, потому что я уже спал, когда они пришли.

Утром я взял три билета на автобус до Бургете. Он отходил в два часа дня. Раньше этого ехать было не на чем. Я сидел в кафе Ирунья и читал газеты, когда увидел Роберта Кона, пересекающего площадь. Он подошел к моему столику и сел против меня в плетеное кресло.

— Это очень уютное кафе,— сказал он.— Хорошо выспались, Джейк?

— Я спал как колода.

— Я спал неважно. Да мы с Биллом и легли поздно.

— Где вы были?

— Здесь. А когда здесь закрыли, мы пошли в другое кафе. Где хозяин говорит по-немецки и по-английски.

— Кафе Суисо.

— Вот-вот. Очень симпатичный старик. По-моему, его кафе лучше этого.

— Днем там нехорошо,— сказал я.— Слишком жарко. Между прочим, я взял билеты на автобус.

— Я не поеду сегодня. Вы с Биллом поезжайте вперед.

— Я же взял вам билет.

— Дайте его сюда. Я получу деньги обратно.

— Пять песет стоит.

Роберт Кон достал серебряную монету в пять песет и отдал ее мне.

— Я должен остаться,— сказал он. — Понимаете, боюсь, что вышло недоразумение.

— Имейте в виду,— сказал я,— что они могут приехать и через три дня, и через четыре, раз они развлекаются в Сан-Себастьяне.

— В том-то и дело,— сказал Роберт.— Я боюсь, что они рассчитывали встретить меня в Сан-Себастьяне и поэтому остались там.

— Почему вы так думаете?

— Потому что я писал Брет об этом.

— Почему же, черт возьми, вы не остались там и не дождались их...— начал было я, но остановился. Я решил, что эта мысль сама придет ему в голову, но, кажется, этого так и не произошло.

Теперь он уже не стеснялся, ему приятно было говорить со мной, после того как он дал мне понять, что между ним и Брет что-то есть.

— Мы с Биллом уедем сейчас же после завтрака,— сказал я.

— Жаль, что я не могу. Всю зиму мы мечтали об этой рыбной ловле.— Он даже загрустил.— Но я должен остаться. Серьезно, должен. Как только они придут, я сейчас же привезу их.

— Надо найти Билла.

— Я пойду к парикмахеру.

— Ну, увидимся за завтраком.

Я нашел Билла в его комнате. Он брился.

— Да, да, он все поведал мне вчера вечером,— сказал Билл.— Изливал душу. Говорит, что у него с Брет было назначено свиданье в Сан-Себастьяне.

— Врет, сволочь!

— Ну, чу,— сказал Билл.— Не злись. Рано злиться, мы еще только выехали. Но все-таки, где тебя угораздило подружиться с этим типом?

— Не спрашивай уж, ради бога.

Билл повернул ко мне свое наполовину выбритое лицо, а потом продолжал говорить в зеркало, намыливая себе щеки.

— Если я не ошибаюсь, прошлой зимой он приходил ко мне в Нью-Йорке с письмом от тебя? К счастью, я занятый путешественник. А почему ты заодно не прихватил с собой еще парочку еврейских друзей? — Он потер большим пальцем подбородок, посмотрел на него и снова начал скрести.

— Третий сорт тоже не все первый сорт.

— Вовсе. Понимаются и неважные. Но куда им до Роберта Кона. А смелее всего, что он славный. Он мне нравится. Но он совершенно невозможен.

— Он бывает очень мил.

— Знаю. В этом-то и весь ужас.

Я засмеялся.

— Тебе хорошо смеяться, — сказал Билл. — Ты не сидел с ним вчера до двух часов ночи.

— А что, трудно было?

— Ужасно. Что это у него за история с Брет? Неужели между ними что-то было?

Он взялся за подбородок и поворачивал его вправо и влево.

— Ну конечно. Она ездила с ним в Сан-Себастьян.

— Господи, как глупо! Зачем она это сделала?

— Ей хотелось уехать из города, а она никуда не может ездить одна. Говорит, она думала, что это пойдет ему на пользу.

— Почему люди делают такие сверхъестественные глупости? Почему она не поехала с кем-нибудь из своих? Или с тобой? — Он поперхнулся и торопливо прибавил: — Или со мной? Почему не со мной? — Он внимательно посмотрел на себя в зеркало, шлепнул на каждую скулу по большому комку мыльной пены. — Вот честное лицо. Вот лицо, которому может довериться каждая женщина.

— Она никогда его не видела.

— Напрасно. Все женщины должны видеть его. Это лицо нужно воспроизвести на всех киноэкранах по всей стране. Каждой женщине после венчания нужно вручать снимок с этого лица. Матери должны говорить дочерям об этом лице. Сын мой, — он ткнул в мою сторону бритвой, — пробивайся на Запад с этим лицом и возвысь вместе с отчизной.

Он нагнулся над тазом, обмыл лицо холодной водой, вытер его одеколоном, потом внимательно посмотрел на себя в зеркало, оттягивая длинную верхнюю губу.

— О, господи! — сказал он. — Какое мерзкое лицо!

Он помолчал, все так же глядя в зеркало.

— А что касается этого Роберта Кона, — сказал Билл, — то меня тошнит от него, и пусть отправляется ко всем чертям, и я очень рад, что он остается здесь и что мы поедем ловить рыбу без него.

— Вот это верно.

— Мы едем ловить форель. Мы едем ловить форель на реке Ирати, и мы сейчас за завтраком накачаем здесь вином, а потом чудесно прокатимся на автобусе.

— Отлично. Пойдем в кафе Ирунья и приступим,— сказал я.

Глава одиннадцатая

На площади сильно припекало, когда мы после завтрака, нагруженные чемоданами и спиннингами в чехлах, пошли к автобусу, чтобы ехать в Бургете. На крыше автобуса уже сидели люди, по лестнице карабкались еще пассажиры. Билл влез наверх, и Роберт Кон сел рядом с ним, чтобы занять место для меня, а я пошел обратно, в отель, и захватил на дорогу несколько бутылок вина. Когда я вернулся, автобус был набит битком. На чемоданах и ящиках, загромождавших крышу, сидели пассажиры, и все женщины обмахивались веерами. Было очень жарко. Роберт слез, освободив занятое для меня место, и я примостился на единственной деревянной скамье, тянувшейся вдоль крыши.

Роберт Кон стоял в тени аркады и ждал, когда мы тронемся. У наших ног полулежал баск с большим мехом на коленях. Он протянул мех Биллу и мне, и когда я поднял мех, чтобы хлебнуть, баск так внезапно и похоже взревел, подражая автомобильному гудку, что я пролил вино, и все засмеялись. Он извинился и настоял, чтобы я хлебнул еще раз. Немного погодя он опять изобразил гудок, и я во второй раз попался. У него это хорошо выходило. Баски были очень довольны; сосед Билла заговорил с ним по-испански, и Билл ничего не понял, поэтому он протянул ему одну из наших бутылок вина. Сосед отказался. Слишком жарко, и он слишком много выпил за завтраком. Когда Билл вторично протянул ему бутылку, он отпил большой глоток, а потом бутылка пошла по рукам в нашем конце автобуса. Каждый вежливо отпивал глоток, а потом они заставили нас закупорить бутылку и убрать ее. Они наперебой протягивали нам свои мехи с вином. Это все были крестьяне, схавшие в горы.

Наконец, после того как имитатор гудка еще разок дутой обманул нас, автобус тронулся, и Роберт Кон помахал нам на прощанье, и все баски помахали ему в ответ. Как только дорога вывела нас за город, стало про-

хладно. Приятно было сидеть так высоко и проезжать под самыми деревьями. Дорога спускалась под гору, автобус шел очень быстро, подымая тучи пыли, и пыль оседала на деревьях, а сквозь листву нам виден был город, встающий позади нас на крутом обрыве над рекой. Баск, прислонившись к моим коленям, указал горлышком меха на город и подмигнул нам. Потом кивнул головой.

— Неплохо, а?

— Чудесный народ эти баски,— сказал Билл.

Баск, сидевший у моих ног, загорел до цвета седельной кожи. На нем была черная блуза, как и на всех остальных. Загорелую шею бороздили морщины. Он повернулся и протянул Биллу свой мех. Билл передал ему одну из наших бутылок. Баск повел указательным пальцем перед носом Билла и возвратил ему бутылку, прихлонув пробку ладонью. Он вскинул мех с вином.

— Подымайте,— сказал он.— Выше! Выше!

Билл поднял мех и, закинув голову, подставил рот под струю вина. Когда он, перестав пить, опустил мех, струйка вина потекла по его подбородку.

— Нет! Нет! — заговорили баски.— Не так.— Кто-то выхватил мех из рук его хозяина, который сам собирался показать, как нужно пить. Выхватил мех молодой парень, и, держа его в вытянутых руках, он высоко вскинул его и крепко сжал, так что вино, зашипев, полилось ему в рот. Он держал мех далеко от себя, и винная струя, описывая пологую траекторию, лилась ему в рот, и он глотал спокойно и размеренно.

— Эй, ты! — крикнул хозяин меха.— Чье вино дуешь?

Молодой парень помахал ему мизинцем и улыбнулся нам глазами. Потом он резко остановил струю, подняв горлышко, и опустил мех на руки владельца. Он подмигнул нам. Владелец грустно встряхнул мех.

Мы въехали в какую-то деревню, остановились у трактира, и водитель взял на автобус несколько посылок. Потом мы покатали дальше. За деревней дорога начала подыматься в гору. Кругом были засеянные поля, к ним отлого спускались скалистые склоны. Пашни ползли вверх по откосам. Теперь, когда мы забрались выше, ветер сильнее колыхал колосья. Дорога была белая и пыльная, и пыль поднималась из-под колес и повисала в воздухе за нами. Дорога вела все выше в горы, и цветущие поля остались внизу. Теперь только изредка попадались клочки пашен на голых склонах гор по обе стороны ручьев. Мы кру-

то свернули к обочине, чтобы пропустить упряжку мулов, — шесть мулов, шедших друг за другом, тащили высокий, груженный товаром фургон. Фургон и мулы были покрыты пылью. Сейчас же за первым фургоном шла еще упряжка, таща второй фургон. Этот был гружен лесом, и когда мы проезжали мимо, возница откинулся назад и заложил деревянные тормозные колодки. Здесь местность была совсем голая, склоны каменистые, а спекшаяся глина — в глубоких бороздах от дождей.

За поворотом дороги неожиданно открылась зеленая долина, по которой протекал ручей. Направо и налево от ручья раскинулась деревня, виноградники доходили до самых домов.

Мы остановились перед лавкой, много пассажиров сошло с автобуса, и часть багажа на крыше вытащили из-под брезента и спустили вниз. Мы с Биллом тоже слезли и вошли в лавку. Это оказалось низкое, полутемное помещение, где с потолка свисали седла и упряжь, белые деревянные вилы, связки парусиновых башмаков на веревочной подошве, окорока и бруски сала, гирлянды чеснока и длинные колбасы. Здесь было прохладно и сумрачно, и мы стояли у длинного деревянного прилавка, за которым две женщины продавали вино. На полках позади них лежали съестные припасы и разный товар.

Мы выпили по рюмке агуардиенте¹ и заплатили сорок сентимо за обе рюмки. Я дал женщине пятьдесят сентимо, чтобы она оставила себе на чай, но она вернула мне монетку, решив, что я не расслышал цены.

Вошли двое из басков, ехавших с нами, и непременно хотели угостить нас. Они угостили нас, а потом мы угостили их, а потом они похлопали нас по плечу и еще раз угостили. Потом мы опять угостили их и вышли все вместе на солнцепек и полезли обратно, на крышу автобуса. Теперь для всех было достаточно места, и баск, который раньше лежал на железной крыше, теперь сидел между мной и Биллом. Женщина, которая наливала нам водку, вышла из лавки, вытирая руки о передник, и заговорила с кем-то, сидящим в автобусе. Вышел водитель с двумя пустыми почтовыми сумками и влез на свое место, потом автобус тронулся, и все помахали нам на прощанье.

Зеленая долина сразу осталась позади, и мы снова были в горах. Билл беседовал с баском — хозяином меха.

¹ Водка (исп.).

Кто-то перегнулся к нам через спинку скамьи и спросил по-английски:

— Вы американцы?

— Да.

— Я жил там,— сказал оп.— Сорок лет назад.

Это был старик, такой же смуглый, как все остальные, с седой щетинистой бородой.

— Ну, и как?

— Что вы говорите?

— Понравилось в Америке?

— Я был в Калифорнии. Очень понравилось.

— Отчего вы уехали?

— Что вы говорите?

— Отчего приехали обратно?

— Я приехал, чтобы жениться. Я собирался поехать опять, но жена моя не любит путешествовать. Вы откуда?

— Из Канзас-Сити.

— Я был там,— сказал он.— Я был в Чикаго, в Сент-Луисе, в Канзас-Сити, в Денвере, в Лос-Анджелесе, в Солт-Лейк-Сити.

Он тщательно перечислил все города.

— Долго вы были в Америке?

— Пятнадцать лет. Потом я приехал обратно и женился.

— Выпьем?

— Давайте,— сказал оп.— Этого в Америке не достанешь, а?

— Сколько угодно, были бы деньги.

— А зачем вы приехали сюда?

— Мы приехали в Памплону, на фиесту.

— Вы любите бой быков?

— Очень. А вы?

— Да,— сказал оп.— Пожалуй, люблю.— Потом, много погодя: — А сейчас куда едете?

— В Бургете, рыбу ловить.

— Ну,— сказал он,— желаю вам наловить побольше.

Он пожал руку и мне и Биллу, потом опять повернулся к нам спиной. Остальные баски смотрели на него с уважением. Он уселся поудобнее, и каждый раз, когда я поворачивал голову, оглядывая местность, улыбался мне. Но усилия, которых стоил ему разговор с американцами, видимо, утомили его. Он больше не сказал ни слова.

Дорога неуклонно поднималась все выше. Местность была голая, почва глинистая, повсюду торчали камни. Тра-

ва не росла по обочине дороги. Оглядываясь назад, мы видели расстилавшуюся внизу долину. Далеко позади на горных склонах мелькали зеленые и бурые квадраты полей. Горизонт замыкали горы, темные, причудливых очертаний. По мере того как мы поднимались выше, картина менялась. Автобус медленно вползал по крутой дороге, и на юге появлялись все новые горы. Потом дорога перевалила через гребень, выровнялась и вошла в лес. Это был лес пробкового дуба, и лучи солнца пучками проникали сквозь листву, а в глубине леса, среди деревьев, пасся скот. Потом лес кончился, дорога пошла по возвышенности, и впереди открылась волнистая зеленая равнина, а за ней высились темные горы. Они были не такие, как бурые, спекшиеся от зноя горы, которые остались позади. Эти были покрыты лесом, и по склонам их спускались облака. Зеленая равнина, прорезанная изгородями, уходила вдаль, пересекавшая ее с юга на север дорога белела между двумя рядами деревьев. Когда мы добрались до края возвышенности, мы увидели красные кровли и белые дома Бургете, выстроившиеся на равнине, а за ними, у вершины первой темной горы, блеснула серая железная крыша Ронсевальского монастыря.

— Вон Ронсеваль,— сказал я.

— Где?

— Вон там, где начинаются горы.

— Холодно,— сказал Билл.

— Здесь высоко,— сказал я.— Наверпо, тысяча двести метров.

— Ужасно холодно,— сказал Билл.

Автобус спустился на ровную прямую дорогу, которая вела в Бургете. Мы проехали перекресток и пересекли мост через ручей. Дома Бургете тянулись по обе стороны дороги. Переулков не было. Автобус миновал церковь, здание школы и остановился. Мы с Биллом сошли, и водитель подал нам наши чемоданы и удочки в чехле. Подошел карабинер в треуголке и желтых ремнях крест-накрест.

— Что у вас тут?

Он ткнул пальцем в чехол с удочками. Я открыл чехол и показал ему. Он спросил, есть ли у нас разрешение на рыбную ловлю, и я предъявил его. Он посмотрел на число и помахал рукой.

— В порядке? — спросил я.

— Да. Конечно.

Мы пошли в гостиницу мимо выселенных каменных домов, где целые семьи сидели на пороге и глазели на нас.

Толстая женщина, хозяйка гостиницы, вышла из кухни и поздоровалась с нами за руку. Она сняла очки, протерла их и снова надела. Поднимался ветер, и в гостинице было холодно. Хозяйка послала с нами служанку наверх показать комнату. Там были две кровати, умывальник, шкаф и большая гравюра в рамке — «Ронсевальская богородица». Ставни дрожали от ветра. Комната выходила на север. Мы умылись, надели свитеры и спустились в столовую. Пол был каменный, потолок низкий, стены обшиты дубом. Ставни уже закрыли, в комнате стоял такой холод, что видно было дыхание.

— О, господи,— сказал Билл,— неужели и завтра будет такой мороз! Я не согласен шлепать по воде в такую погоду.

В дальнем углу, позади деревянных столов, стояло пианино, Билл подошел к нему и начал играть.

— Это чтобы согреться,— сказал он.

Я разыскал хозяйку и спросил ее, сколько стоит комната и стол. Она сложила руки под передником и сказала, не глядя на меня:

— Двенадцать песет.

— Что вы, мы в Памплоне платили не больше!

Она ничего не ответила, только сняла очки и протерла их кончиком передника.

— Это слишком дорого,— сказал я.— Мы в большом отеле платили столько же.

— Мы сделали ванную.

— А дешевле комнат у вас нет?

— Летом нет. Сейчас самый сезон.

Кроме нас, в гостинице не было ни души. Ладно, подумал я, всего-то на несколько дней.

— Это с вином?

— Копечно.

— Ладно,— сказал я.— Согласен.

Я вернулся к Биллу. Он дыхнул на меня, показывая, как холодно, и продолжая играть. Я сел за один из столов и стал разглядывать картины на стенах. На одной были кролики, мертвые, на другой фазаны, тоже мертвые, и на третьей мертвые утки. Все картины были темные и словно закоптелые. На буфете стояла целая батарея винных бутылок. Я пересмотрел их. Билл все еще играл.

— Как насчет горячего пунша с ромом? — спросил он. — Моей игрой надолго не согреешься.

Я вышел и объяснил хозяйке, что такое пунш с ромом и как его делать. Через несколько минут служанка принесла каменный кувшин, из которого валил пар. Билл отошел от пианино, и мы пили горячий пунш и прислушивались к ветру.

— Непохоже, чтобы тут было много рому.

Я подошел к буфету, взял бутылку с ромом и влил в кувшин полстакана.

— Явочным порядком, — сказал Билл. — Без разрешения властей.

Вошла служанка и стала накрывать к ужину.

— Основательно здесь продувает, — сказал Билл.

Служанка принесла большую миску горячего овощного супа и вино. На второе нам подали жареную форель, потом какого-то тушеного мяса и большое блюдо с земляникой. Вино мы пили не в убыток себе, и служанка смущенно, но с готовностью приносила его. Старуха хозяйка один раз заглянула в столовую и сосчитала пустые бутылки.

После ужина мы поднялись к себе и курили и читали в постели, чтобы согреться. Ночью я проснулся и услышал завывание ветра. Хорошо было лежать в теплой постели.

Глава двенадцатая

Утром, как только я проснулся, я подошел к окну и выглянул. Прояснилось, и на горах не было туч. Под окнами стояло несколько повозок и старый дилижанс с ветхой, растрескавшейся от непогоды деревянной крышей. Он, вероятно, стоял здесь с тех времен, когда еще не было автобусов. Козел вскочил на повозку, а оттуда на крышу дилижанса. Он тряс головой па коз, стоящих внизу, а когда я замахнулся на него, он спрыгнул на землю.

Билл еще сдал, и я бесшумно оделся, натянул ботинки в коридоре и спустился вниз. Там все было тихо, и я откинул засов на двери и вышел. Утро было прохладное, солнце еще не высушило росу, выпавшую после того, как улегся ветер. Я поискал в сарае за гостиницей, нашел что-то вроде мотыги и пошел на берег ручья, чтобы накопать червей для наживки. Ручей был прозрачный и мелкий, но вряд ли в нем водилась форель. Я всадил мотыгу в мокрую траву и отвалил ком земли. Под ним оказались черви.

Как только я приподнял землю, они ускользнули, и я стал копать осторожно и набрал очень много. Копая у самой соды, в мокрой земле, я наполнил червями две пустые банки из-под табака и сверху набросал земли. Козы смотрели, как я копаю.

Когда я вернулся в гостиницу, хозяйка была на кухне, и я сказал ей, чтобы она дала нам кофе и приготовила завтрак с собой. Билл проснулся и сидел на краю постели.

— Я видел тебя в окно, — сказал он. — Не хотел мешать тебе. Что ты делал? Зарывал свои деньги?

— Ах ты лентяй!

— Трудился для общего блага? Чудесно! Продолжай в том же духе каждое утро.

— Ну, довольно валяться, — сказал я. — Вставай.

— Что? Встать? Никогда не встаю.

Он залез в постель и натянул одеяло до подбородка.

— Попробуй уговори меня встать.

Я молча собирал наше снаряжение и складывал его в мешок.

— Ну, что, не хочешь? — спросил Билл.

— Я иду вниз завтракать.

— Завтракать? Что же ты не сказал, что завтракать?

Я думал, ты в шутку предлагаешь мне встать. Завтракать? Замечательно. Теперь ты рассуждаешь здраво. Пойди на-копай еще червей, а я сейчас спущусь.

— Иди к черту!

— Трудись для общей пользы. — Билл натянул белье. —

Проявляй иронию и жалость.

Я вышел из комнаты с мешком, сачками и удочками.

— Эй, вернись!

Я просунул голову в дверь.

— Неужели ты не проявишь хоть немного иронии и жалости?

Я показал ему нос.

— Это не ирония.

Спускаясь по лестнице, я слышал, как Билл напевал: «Ирония и Жалость. Когда ты узнаешь... О, дай им Иронию и дай им Жалость. О, дай нам Иронию. Когда ты узнаешь... Немного иронии. Немножечко жалости...» Он шел до тех пор, пока не спустился вниз. Шел он на мотив «В церкви звонят для меня, для тебя...». Я читал испанскую газету недельной давности.

— Что это за чепуха про иронию и жалость?

— Что? Ты не знаешь про Иронию и Жалость?

— Нет. Кто это выдумал?

— Все. В Нью-Йорке помешаны на этом. Как когда-то на циркачах Фрателлини.

Вошла служанка с кофе и намазанными маслом гренками. Или, вернее, — с намазанным маслом поджаренным хлебом.

— Спроси ее, есть ли у них джем, — сказал Билл. — Будь ироничен с ней.

— Есть у вас джем?

— Какая же это ирония? Жаль, что я не говорю по-испански.

Кофе был вкусный, и мы пили его из больших чашек. Служанка принесла стеклянную вазочку с малиновым джемом.

— Спасибо.

— Да не так! — сказал Билл. — Скажи что-нибудь ироническое. Состри по адресу Примо-де-Ривера.

— Надо было сказать, что в Республике Рифов им не жизнь, а малина.

— Слабо, — сказал Билл. — Очень слабо. Не умеешь ты этого. Вот и все. Ты не понимаешь иронии. В тебе нет жалости. Скажи что-нибудь жалостливое.

— Роберт Кон.

— Недурно. Это уж лучше. Дальше: почему Кон достоин жалости? Будь ироничен.

Он отхлебнул большой глоток кофе.

— Да ну тебя! — сказал я. — Разве можно острить в такую рань.

— Вот видишь! А еще туда же — писателем хочешь быть. Ты всего-навсего газетчик. Экспатрированный газетчик. Ты должен быть полон иронии, как только встаешь с постели. Ты должен с раннего утра задыхаться от жалости.

— Ну, дальше, — сказал я. — От кого ты набрался такой чепухи?

— От всех. Ты что же, ничего не читаешь? Ни с кем не выдаешься? Знаешь, кто ты? Ты — экспатриант. Почему ты не живешь в Нью-Йорке? Тогда ты все это знал бы. Чем я могу тебе помочь? Прикажешь приезжать каждый год и просвещать тебя?

— Выпей еще кофе, — сказал я.

— Кофе — это хорошо. Кофе тебе полезен. В нем есть кофеин. Все дело в кофеине. От кофеина он садится на ее коня, а она ложится в его могилу. Знаешь, что с тобой?

Ты экспатриант, и притом худшего сорта. Неужели ты не слышал об этом? Никто, покинувший свою родину, не написал ничего, достойного увидеть свет. Даже в газетах.

Он допил кофе.

— Ты экспатриант. Ты оторвался от родной почвы. Ты становишься манерным. Европейские лжеидеалы погубят тебя. Пьянство сведет тебя в могилу. Ты помешался на женщинах. Ты ничего не делаешь, все твое время уходит на разговоры. Ты экспатриант, ясно? Ты шатаешься по кафе.

— Какая роскошная жизнь,— сказал я.— А когда же я работаю?

— Ты и не работаешь. По одной версии тебя содержат женщины, по другой — ты не мужчина.

— Нет,— сказал я.— Просто несчастный случай.

— Никогда не упоминай об этом,— сказал Билл.— О таких вещах лучше не распространяться. Это должно быть скрыто под покровом тайны. Как первый велосипед Генри Форда.

До сих пор он сыпал как из решета, но теперь вдруг замолчал. Я боялся, как бы он не подумал, что задел меня, неосторожно сболтнув лишнее. Я хотел снова завести его.

— Никакого велосипеда не было,— сказал я.— Он верхом ездил.

— Я слышал про трехколесный велосипед.

— Ну, что ж,— сказал я.— Самолет тоже вроде велосипеда. Управление такое же.

— Только педали не нужно нажимать.

— Да,— сказал я.— Педали, пожалуй, нажимать не пужно.

— Ну, хватит,— сказал Билл.

— Как хочешь. Я только заступился за велосипед.

— И пишет Генри тоже хорошо,— сказал Билл.— А ты сам очень хороший. Тебе уже говорили, что ты хороший?

— Вовсе я не хороший.

— Послушай. Ты очень хороший, и я никого на свете так не люблю, как тебя. В Нью-Йорке я не мог бы тебе этого сказать. Там решили бы, что я гомосексуалист. Из-за этого разразилась Гражданская война. Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дреде Скоте было построено Лигой сухого закона. Все это — половой вопрос. Полковника леди и Джуды О'Грэди лесбиянки обе в душе!

Он замолчал.

— Хочешь еще?

— Валяй,— сказал я.

— Больше ничего не знаю. Остальное доскажу за обедом.

— Ах ты чучело,— сказал я.

— Дрянь ты этака!

Мы уложили завтрак и две бутылки вина в рюкзак, и Билл надел его. Я перекинул через плечо чехол с удочками и сачки. Мы пошли по дороге, потом пересекли поляну и нашли тропинку через луга, которая вела к лесистому склону ближайшей горы. Мы пошли по этой песчаной тропинке. Луга были волнистые, поросшие густой травой, но трава была низкая, оттого что здесь паслись овцы. Коровы паслись выше, в горах. Из лесу доносился звон их колокольчиков.

Тропинка привела нас к бревну, перекинутому через ручей. Бревно было обстругано, согнутое молодое деревцо служило перилами. Возле ручья, на песчаном дне мелкого прудика, чернели головастики. Мы поднялись на крутой берег и снова пошли волнистыми лугами. Оглянувшись, мы увидели белые домики и красные крыши Бургетс и белую дорогу, по которой ехал грузовик, вздымая облако пыли.

Луга кончились, и мы вышли ко второму, более быстрому ручью. Песчаная дорога спускалась к броду, а дальше поднималась к лесу. Тропинка опять привела нас к бревну, перекинутому через ручей пониже брода, а потом она слилась с дорогой, и мы вошли в лес.

Это был буковый лес, очень старый. Корни деревьев выступали над землей, сучья были корявые. Мы шли по дороге между толстыми стволами старых буков, и солнечный свет, проникая сквозь листву, пятнами лежал на траве. Несмотря на высокие деревья и густую листву, в лесу не было сумрачно. Никакого подлеска — только мягкая трава, очень зеленая и свежая, и высокие серые деревья, расставленные просторно, словно в парке.

— Вот это природа,— сказал Билл.

Дорога вела вверх по склону, мы вошли в густой лес, и дорога по-прежнему поднималась в гору. Иногда она вдруг ныряла, а потом снова круто вела вверх. Все время мы слышали позванивание колокольчиков в лесу. Наконец мы вышли на гребень горы. Мы стояли на самой высокой точке самой высокой гряды лесистых гор, которые мы

видели из Бургете. На прогалинке между деревьями, на солнечной стороне, росла земляника.

Дальше дорога выходила из лесу и шла вдоль гребня. Впереди уже не было лесистых гор, начинались обширные поля желтого дрока. Вдали темные деревья и серые валуны на отвесном берегу отмечали русло реки Ирати.

— Нам нужно идти этой дорогой вдоль гребня, пересечь эти горы, пройти лесом те горы, подальше, и спуститься в долину Ирати,— показал я Биллу.

— Прогулочка, доложу я вам!

— Это слишком далеко, чтобы дойти, половить рыбу и вернуться в тот же день без спешки.

— Вот именно, без спешки. Хорошо сказано. Нам придется гнать как сумасшедшим, чтобы вообще дойти туда и обратно и хоть что-нибудь наловить.

Путь был длинный, местность красивая, но мы очень устали, когда наконец спустились по крутой дороге, которая вела с лесистых гор в долину Рио-де-ла-Фабрика.

Дорога вышла из лесной тени на жаркое солнце. Впереди была река. За рекой вставал крутой горный склон. По склону росла гречиха, стояло несколько деревьев, под ними мы увидели белый домик. Было очень жарко, и мы остановились в тени деревьев возле плотины.

Билл прислонил мешок к дереву, мы свинтили удпища, надели катушки, привязали поводки и приготовились ловить рыбу.

— Ты уверен, что в этой луже водятся форели?

— Она кишит ими.

— Я буду ловить на муху, У тебя есть мухи Макгинти?

— На, возьми.

— А ты? На червяка?

— Да. Я здесь буду, у плотины.

— Ну, тогда я возьму мух с собой.— Он нацепил одну муху на крючок.— Куда мне лучше пойти? Вверх или вниз?

— Лучше всего вниз. Хотя их достаточно и повыше.

Билл пошел вдоль берега.

— Возьми банку с червями.

— Нет, не нужно. Если они не пойдут на муху, я просто побалуюсь, и все.

Билл стоял на берегу и смотрел на реку.

— Послушай! — крикнул он сквозь шум плотины.— Не спустить ли нам вино в родник, там, на дороге?

— Ладно! — крикнул я в ответ.

Билл помахал рукой и пошел вниз по течению. Я достал из мешка обе бутылки и понес их на дорогу, где из железной трубы вытекал родник. Пониже трубы лежала доска. Я приподнял ее и, поплотнее загнав пробки, опустил бутылки в воду. Вода была такая холодная, что пальцы и вся кисть сразу онемели. Я положил доску на место и ушел в надежде, что никто не найдет вино.

Я взял свой спиннинг, прислоненный к дереву, захватил банку с наживкой и сачок и пошел на плотину. Ее соорудили, чтобы сделать реку пригодной для сплава леса. Творило было поднято, и я сел на одно из обтесанных бревен и смотрел, как спокойная перед запрудой река бурно устремляется в водоскат. Под плотиной, там, где вода пенилась, было глубокое место. Когда я стал наживлять, из белой пены на водоскат прыгнула форель, и ее унесло вниз. Я еще не успел наживить, как вторая форель, описав такую же красивую дугу, прыгнула на водоскат и скрылась в грохочущем потоке. Я нацепил грузило и закинул лесу в пенистую воду у самой плотины.

Я не почувствовал, как взяла первая форель. Только начав выбирать лесу, я понял, что клюет, и вытащил форель из белой пены у водоската. Форель билась, сгибая удище почти пополам, и я провел ее над плотиной и снял. Это была хорошая форель; я ударил ее головой о бревно и, когда она, затрепетав, вытянулась, опустил ее в мешок.

Пока я снимал ее, несколько форелей прыгнули на водоскат. Не успел я наживить и закинуть лесу, как еще одна клюнула, и я вытащил ее так же, как первую. Очень скоро я набрал шесть штук. Все они были приблизительно одной величины. Я положил их рядышком, голова к голове, и смотрел на них. Они были красивого цвета, твердые и крепкие от холодной воды. День был жаркий, поэтому я распорол им брюхо и выпотрошил, вынув все внутренности вместе с жабрами, и закинул все это на тот берег. Потом спустился вниз, вымыл форели в холодной гладкой и плотной воде перед плотиной, нарвал папоротника и уложил все форели в мешок: слой папоротника, потом три форели, потом еще слой папоротника, потом еще три форели, сверху тоже прикрыл папоротником. Переложенные папоротником форели были очень красивы. Я взял раздувшийся мешок и положил в тень под дерево.

На плотине было очень жарко, и я поставил банку с червями в тень, рядом с мешком, достал книгу и уселся

под деревом почитать, дожидаясь, когда Билл придет завтракать.

Было немного за полдень и тени маловато, но я сидел, прислонившись к стволу двух сросшихся деревьев, и читал. Читал я А.-Э. Мэзона — замечательный рассказ о том, как один человек замерз в Альпах и провалился в ледник и как невеста его решила ждать ровно двадцать четыре года, пока тело его покажется среди морен, и ее возлюбленный тоже ждал, и они все еще ждали, когда подошел Билл.

— Много наловил? — спросил он. Он держал и спиннинг, и сачок, и мешок с форелями в одной руке и был весь в поту. За шумом плотины я не слышал, как он подошел.

— Шесть штук. А ты?

Билл сел, раскрыл мешок, положил крупную форель на траву. Он вынул еще три — одна больше другой — и положил их рядышком в тени дерева. Лицо у него было потное и счастливое.

— А твои какие?

— Помельче.

— Покажи.

— Я уже убрал их.

— Все-таки скажи, какие они?

— Они все с твою самую маленькую.

— Врешь!

— К сожалению, нет.

— Всех на червяка брал?

— Да.

— Вот лентяй!

Билл положил форели в мешок и пошел к реке, размахивая открытым мешком. Брюки его промокли до самого пояса, и я понял, что он удил, стоя в воде.

Я поднялся на дорогу и достал наши бутылки вина. Они были холодные. Пока я возвращался под деревья, влага бусинками выступила на бутылках. Я разложил завтрак на газете, откупорил одну бутылку, а другую прислонил к дереву. Билл подошел, вытирая руки, с мешком, набитым папоротником.

— Ну, посмотрим, что это за вино, — сказал он. Он вытащил пробку, поднял бутылку и отхлебнул. — У-у! Даже глаза щиплет.

— Дай попробовать.

Вино было холодное, как лед, с горьковатым привкусом.

— Не так уж плохо,— сказал Билл.

— Спасает то, что холодное,— сказал я.

Мы развернули свертки с едой.

— Курица.

— А вот крутые яйца.

— Соль есть?

— Сначала яйцо,— сказал Билл,— потом курица. Это даже Брайан понимал.

— Он умер. Я прочел вчера в газете.

— Ну? Не может быть!

— Верно. Брайан умер.

Билл положил наполовину очищенное яйцо.

— Джентльмены! — сказал он, разворачивая кусок газеты и доставая куриную ножку. — Я действую в обратном порядке. Во имя Брайана. В честь Великого Гражданина. Сначала курица, потом яйцо.

— Интересно, в какой день бог сотворил курицу?

— Ах,— сказал Билл, обсасывая ножку,— откуда нам это знать? Не нужно задавать вопросы. Короток наш жизненный путь на земле. Будем же наслаждаться, веровать и благодарить.

— Съешь яйцо.

Билл жестикулировал, держа куриную ножку в одной руке, а бутылку в другой.

— Насладимся благословенными дарами. Попользуемся птицами небесными. Попользуемся плодами виноградных лоз. Хочешь немножко попользоваться, брат мой?

— Пей, брат мой, прошу тебя.

Билл сделал большой глоток.

— Попользуйся, брат мой. — Он передал мне бутылку. — Отгоним сомнения. Не будем рыться обезьяньими руками в священных тайнах курятника. Примем это чудо на веру и возгласим в простоте души — прошу тебя, присоедини свой голос к моему,— что же мы возгласим, брат мой? — Он ткнул в меня куриной ножкой и продолжал: — Я скажу тебе. Мы возгласим,— я лично горжусь этим и хочу, чтобы ты, брат мой, преклонив колена, возгласил вместе со мной. Да не устыдится никто преклонить колена здесь, среди великой природы! Вспомни, что леса были первыми храмами господа. Преклоним колена и возгласим: не ешьте этой курицы — ибо это Менкен.

— Возьми,— сказал я,— попользуйся немножко вот этим.

Мы откупорили вторую бутылку.

— А в чем дело? — спросил я. — Ты не любил Брайана?

— Я любил Брайана, — сказал Билл. — Мы были как родные братья.

— Где ты с ним познакомился?

— Я с ним учился в школе Святого Креста, с ним и с Менкеном.

— И с боксером Фрэнки Фричем, — сказал я.

— Неправда. Фрэнки Фрич учился в Фордхэмском университете.

— А я учился в школе Лойолы вместе с епископом Мэннингом.

— Неправда, — сказал Билл. — Это я учился в школе Лойолы с епископом Мэннингом.

— Ты пьян, — сказал я.

— От вина?

— Вероятно.

— Это от сырости, — сказал Билл. — Нужно убрать эту собачью сырость.

— Выпьем еще?

— Это все, что у нас есть?

— Только две бутылки.

— Знаешь, кто ты? — Билл с нежностью смотрел на бутылку.

— Нет, — сказал я.

— Ты агент Лиги трезвенников.

— Я учился в школе Богоматери с Уэн Б. Уилером, главой Лиги.

— Неправда, — сказал Билл. — Это я учился в Коммерческом училище Остина с Уэн Б. Уилером. Он был нашим старостой.

— Все равно, — сказал я, — долой кабаки!

— Ты прав, дорогой одноклассник, — сказал Билл. — Долой кабаки, и я погибну вместе с ними!

— Ты пьян.

— От вина?

— От вина.

— Все может быть.

— Хочешь вздремнуть?

— Давай.

Мы легли головами в тень и смотрели вверх, сквозь сучья деревьев.

— Спишь?

— Нет,— сказал Билл.— Я думаю.

Я закрыл глаза. Приятно было лежать на земле.

— Послушай,— сказал Билл.— Что у тебя с Брет?

— А что?

— Ты был когда-нибудь влюблен в нее?

— Был.

— И долго это тянулось?

— С перерывами, а вообще очень долго.

— О, черт! — сказал Билл.— Прости, милый.

— Ничего,— сказал я.— Теперь уже мне наплевать.

— Правда?

— Правда. Только я предпочел бы не говорить об этом.

— Ты не сердись, что я спросил?

— Чего ради я стал бы сердиться?

— Я буду спать,— сказал Билл. Он закрыл лицо газетой.— Послушай, Джейк,— сказал он,— ты правда католик?

— Формально.

— А что это значит?

— Не знаю.

— Ну, ладно, я буду спать,— сказал он.— Не болтай, пожалуйста, ты мне мешаешь.

Я тоже уснул. Когда я проснулся, Билл укладывал рюкзак. Было уже поздно, и тени деревьев вытянулись и легли на плотину. Я не мог разогнуться после сна на земле.

— Что с тобой? Ты проснулся? — спросил Билл.— Почему ты уж заодно не проспал всю ночь?

Я потянулся и протер глаза.

— Мне приснился чудесный сон,— сказал Билл.— Ничего не помню, но сон был чудесный.

— Мне как будто ничего не снилось.

— Напрасно,— сказал Билл.— Все наши крупнейшие бизнесмены были сновидцами и мечтателями. Вспомни Форда. Вспомни президента Кулиджа. Вспомни Рокфеллера. Вспомни Джо Дэвидсона.

Я развинул наши спиннинги и уложил их в чехол. Катушки я положил в мешок со снаряжением. Билл уже собрал рюкзак, и мы сунули туда один из мешков с форелями. Другой понес я.

— Ну,— сказал Билл,— как будто все взяли.

— А червяки?

— Ну тебя с твоими червяками. Клади их сюда.

Он уже надел рюкзак, и я положил банки с червями в один из наружных карманов.

— Теперь все?

Я посмотрел кругом, не осталось ли чего на траве под вязами.

— Все.

Мы пошли по дороге, ведущей в лес. До Бургете было далеко, и уже стемнело, когда мы лугами спустились на дорогу и шли к гостинице между двумя рядами освещенных домов.

Мы пробыли в Бургете пять дней и хорошо порыбачили. Ночи стояли холодные, а дни знойные, и всегда дул ветерок, даже в самое жаркое время дня. Приятно было в такую жару входить в холодную воду, а потом сидеть на берегу и обсыхать на солнце. Мы нашли ручей с такой глубокой заводью, что в ней можно было плавать. Вечерами мы играли в бридж втроем — с англичанином, любителем рыбной ловли, по фамилии Харрис, который пришел пешком из Сен-Жан-Пье-де-Пор и жил в нашей гостинице. Он оказался очень славный и два раза ходил с нами на реку Ирати. Ни от Роберта Кона, ни от Брет и Майкла не было ни строчки.

Глава тринадцатая

Когда я в то утро спустился вниз к завтраку, Харрис, англичанин, уже сидел за столом. Надев очки, он читал газету. Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Доброе утро, — сказал он. — Вам письмо. Я заходил на почту, и мне дали его вместе с моими.

Письмо, прислоненное к чашке, ждало меня у моего прибора. Харрис снова углубился в газету. Я вскрыл письмо. Его переслали из Памплоны. Письмо было помечено «Сан-Себастьян, воскресенье»:

Дорогой Джейк!

Мы приехали сюда в пятницу, Брет раскисла в дороге, и я привез ее на три дня сюда к нашим старым друзьям, отдохнуть. Выезжаем в Памплону, отель Монтойи, во вторник приедем, в котором часу, не знаю. Пожалуйста, пришлите записку с автобусом, где вас найти в среду. Сердечный привет, и простите, что запоздали, но Брет прав-

да расклеилась, а ко вторнику она поправится, и она почти здорова и сейчас. Я так хорошо ее знаю и стараюсь смотреть за ней, но это не так-то легко. Привет всей компании.

Майкл.

— Какой сегодня день? — спросил я Харриса.

— Кажется, среда. Да, правильно: среда. Удивительно, как здесь, в горах, теряешь счет дням.

— Да. Мы здесь уже почти неделю.

— Надеюсь, вы не собираетесь уезжать?

— Именно собираюсь. Боюсь, что нам придется уехать сегодня же дневным автобусом.

— Какая обида! Я рассчитывал, что мы еще раз вместе отправимся на Ирати.

— Нам нужно ехать в Памплону. Мы сговорились с друзьями встретиться там.

— Это очень грустно для меня. Мы так хорошо проводили здесь время.

— Поедем с нами в Памплону. В бридж будем играть, и потом, там будет замечательная фиеста.

— Охотно бы поехал. Спасибо за приглашение. Но я все-таки лучше побуду здесь. У меня осталось так мало времени для рыбной ловли.

— Вам хочется наловить самых крупных форелей в Ирати?

— Очень хочется. Там попадаются огромные.

— Я сам с удовольствием еще разок поудил бы.

— Давайте. Оставайтесь еще на день. Будьте другом.

— Не могу. Нам правда необходимо ехать в город, — сказал я.

— Очень жаль.

После завтрака мы с Биллом грелись на солнце, сидя на скамейке перед гостиницей, и обсуждали положение. На дороге, ведущей из центра города к гостинице, появилась девушка. Она подошла к нам и достала телеграмму из кожаной сумки, которая болталась у нее на боку.

— Por ustedes? ¹

Я взглянул на телеграмму. Адрес: «Барнс, Бургете».

— Да. Это нам.

Она вынула книгу, я расписался и дал ей несколько медяков. Телеграмма была по-испански: «Vengo jueves Cohn».

¹ Для вас? (исп.)

Я показал телеграмму Биллу.

— Что значит Sohn? — спросил он.

— Вот дурацкая телеграмма! — сказал я. — Он мог послать десять слов за ту же цену. «Приеду четверг». Не очень-то вразумительно, правда?

— Здесь все сказано, что Кону нужно.

— Мы все равно поедem в Памплону. Нет смысла до фиесты тащить Брет и Майкла сюда и обратно. Ответим ему?

— Почему же не ответить, — сказал Билл. — Надо соблюдать приличия.

Мы пошли на почту и попросили телеграфный бланк.

— Что будем писать? — спросил Билл.

— «Приедем вечером». Вот и все.

Мы заплатили за телеграмму и вернулись в гостиницу. Харрис ждал нас, и мы втроем отправились в Ронсеваль. Осмотрели монастырь.

— Это очень интересно, — сказал Харрис, когда мы вышли. — Но знаете, я как-то не умею увлекаться такими вещами.

— Я тоже, — сказал Билл.

— Хотя это очень интересно, — сказал Харрис. — Я рад, что побывал здесь. Все никак не мог собраться.

— Все-таки это не то, что рыбу ловить? — спросил Билл. Ему нравился Харрис.

— Ну, еще бы!

Мы стояли перед древней часовней монастыря.

— Скажите, не кабачок ли там, через дорогу? — спросил Харрис. — Или глаза мои обманывают меня?

— Смахивает на кабачок, — сказал Билл.

— И мне кажется, что кабачок, — сказал я.

— Давайте, — сказал Харрис, — попользуемся им. — «Попользоваться» он перенял у Билла.

Мы заказали три бутылки вина. Харрис не позволил нам платить. Он хорошо говорил по-испански, и хозяин не взял денег ни с меня, ни с Билла.

— Вы не знаете, друзья, как мне приятно было с вами.

— Мы отлично провели время, Харрис.

Харрис был слегка пьян.

— Право, вы не знаете, как мне приятно было с вами. Я мало хорошего видел со времени войны.

— Мы еще когда-нибудь порыбачим вместе. Вот увидите, Харрис,

— Непременно. Мы так чудесно провели время.

— А если распить еще бутылочку?

— Чудесная мысль,— сказал Харрис.

— За эту я плачу,— сказал Билл.— А то мы пить не станем.

— Позвольте мне заплатить, для меня это такое удовольствие.

— А это будет удовольствие для меня,— сказал Билл.

Хозяин принес четвертую бутылку. Наши стаканы еще стояли на столе. Харрис поднял свой стакан.

— Знаете, этим хорошо можно попользоваться.

Билл хлопнул его по плечу.

— Вы славный, Харрис.

— Знаете, меня, собственно, зовут не Харрис, а Уилсон-Харрис. Это одна фамилия, через дефис, понимаете?

— Вы славный, Уилсон-Харрис,— сказал Билл.— Мы зовем вас Харрис, потому что любим вас.

— Знаете, Барнс, вы даже не понимаете, как мне хорошо с вами.

— Попользуйтесь еще стаканчиком,— сказал я.

— Правда, Барнс, вы не можете этого понять. Вот и все.

— Пейте, Харрис.

На обратном пути из Ропсваля Харрис шел между нами. Мы позавтракали в гостинице, и Харрис проводил нас до автобуса. Он дал нам свою визитную карточку с лондонским домашним адресом, адресом конторы и адресом клуба, а когда мы сели в автобус, он вручил нам по конверту. Я вскрыл свой конверт и увидел там с десяток искусственных мух. Харрис сам приготовил их. Он всегда готовил их сам.

— Послушайте, Харрис...— начал я.

— Нет, нет! — сказал он. Он уже слезал с автобуса.— Это вовсе не первосортные мухи. Я просто подумал, что, когда вы будете насаживать их, вы, может быть, вспомните, как хорошо мы провели время.

Автобус тронулся. Харрис стоял у подъезда почты. Он помахал нам. Когда мы покатались по дороге, он повернулся и пошел обратно, к гостинице.

— Правда, Харрис очень милый? — сказал Билл.

— Он, кажется, в самом деле хорошо провел время.

— Он-то? Ну, еще бы!

— Жалко, что он не поехал с нами в Памплону.

— Ему хочется рыбу ловить.

— Да. И еще неизвестно, как наши англичане поладили бы между собой.

— Вот это верно.

Мы приехали в Памплону под вечер, и автобус остановился у подъезда отеля Монтойи. На площади протягивали электрические провода для освещения площади во время фiestы. Когда автобус остановился, к нему подошли несколько ребят, и таможенный чиновник велел всем сошедшим с автобуса развязать свои узлы тут же, на тротуаре. Мы вошли в отель, и на лестнице я встретил Монтойу. Он пожал нам руки, улыбаясь своей обычной смущенной улыбкой.

— Ваши друзья здесь, — сказал он.

— Мистер Кэмбелл?

— Да. Мистер Кон, мистер Кэмбелл и леди Эшли.

Он улыбался, словно хотел еще что-то сказать.

— Когда они приехали?

— Вчера. Я оставил для вас ваш старый номер.

— Вот спасибо. Вы дали мистеру Кэмбеллу номер с окнами на площадь?

— Да. Те комнаты, которые мы с вами выбрали.

— А где они сейчас?

— Они, кажется, пошли посмотреть, как играют в pelota.

— А что быки?

Монтойа улыбнулся.

— Сегодня вечером, — сказал он. — Сегодня в семь часов привезут вильярских, а завтра — мьюрских. Вы все пойдете смотреть?

— Непременно. Они никогда не видели выгрузки быков.

Монтойа положил мне руку на плечо.

— Значит, там увидимся.

Он снова улыбнулся. Он всегда улыбался так, точно бой быков был нашей с ним личной тайной; немного стыдной, но очень глубокой тайной, о которой знали только мы. Он всегда улыбался так, точно для посторонних в этой тайне, которую мы одни с ним понимали, было что-то непристойное. Не следовало открывать ее людям, которым не дано понять ее.

— Ваш друг тоже aficionado? — Монтойа улыбнулся Биллу.

— Да. Он нарочно приехал из Нью-Йорка, чтобы увидеть праздник святого Фермина.

— Неужели? — Монтойа вежливо удивился. — Но он не такой aficionado, как вы.

Он опять смущенно положил мне руку на плечо.

— Такой же, — сказал я. — Он настоящий aficionado.

— Но все-таки не такой, как вы.

Aficion значит страсть. Aficionado — это тот, кто страстно увлекается боем быков. Все хорошие матадоры останавливались в отеле Монтойи; то есть те, что были aficionado, останавливались у него. Матадоры, работающие только ради денег, иногда останавливались, но никогда не заезжали во второй раз. Хорошие матадоры приезжали каждый год. В комнате Монтойи висели их фотографии с собственноручными надписями. Они были подарены либо Хуанито Монтойе, либо его сестре. Фотографии тех матадоров, которых Монтойа признавал, висели в рамках на стене. Фотографии матадоров, лишенных aficion, Монтойа держал в ящике стола. На многих были самые лестные надписи. Но это не имело значения. Однажды Монтойа всех вынул из ящика и бросил в корзину. Он не желал хранить их у себя.

Мы часто говорили с ним о быках и о матадорах. Я останавливался в отеле Монтойи уже несколько лет подряд. Разговор наш никогда не бывал длинным. Нам просто доставляло удовольствие обменяться мнениями. Нередко люди, приехавшие издалека, прежде чем покинуть Памплону, заходили на несколько минут к Монтойе, чтобы поговорить о быках. Все это были страстные любители боя быков. Такие всегда могли получить номер, даже когда отель был переполнен. Монтойа иногда знакомил меня с ними. Сперва они держались очень чопорно и относились ко мне, как к американцу, с насмешливым недоверием. Почему-то считалось, что американцу недоступна подлинная страсть. Он может притворяться или принимать возбуждение за страсть, но не может быть настоящим aficionado. Когда же они убеждались в подлинности моей страсти, а для этого не существовало ни пароля, ни каких-либо обязательных вопросов, скорее это была своего рода устная проверка, некий искус, во время которого вопросы ставились осторожно, с недомолвками, — тогда они так же смущенно клали мне руку на плечо или говорили: «*Buen hombre*»¹. Но чаще они старались коснуться меня. Каза-

¹ Хороший человек (исп.).

лось, это прикосновение нужно им, чтобы удостовериться в моей afición.

Матадору, который страстно любил бой быков, Монтойа прощал все. Он прощал нервные припадки, трусость, дурные, необъяснимые поступки, любые прегрешения. За страсть к бою быков он прощал все. Так он сразу простил мне всех моих друзей. Он не подчеркивал этого, просто нам обоим было как-то неловко говорить о них, как неловко говорить об участии лошадей на арене боя быков.

Билл прямо поднялся наверх, как только мы вошли, и теперь мылся и переодевался в своей комнате.

— Ну что, — сказал он, — наговорился по-испански?

— Он сказал мне, что быков привезут сегодня вечером.

— Давай разыщем наших и пойдем туда.

— Ладно. Они, должно быть, сидят в кафе.

— Билеты взял?

— Взял. На все выгрузки.

— А это интересно? — Он перед зеркалом натягивал кожу на лице, проверяя, не осталось ли невыбранных мест под челюстью.

— Интересно, — сказал я. — Быков по одному выпускают из клетки в корраль, а волы поджидают их и не дают им бодаться, а быки кидаются на волов, и волы бегают вокруг, как старые девы, и стараются унять их.

— А они бодают волов?

— Бодают. Иногда бык прямо кидается на вола и убивает его.

— А волы ничего не могут поделать?

— Нет. Они стараются подружиться с быками.

— А на что они вообще, волы?

— Чтобы успокоить быков, не давать им ломать рога о каменные стены или бодать друг друга.

— Приятное, должно быть, занятие быть волком.

Мы спустились вниз, вышли из отеля и зашагали через площадь к кафе Ирунья. На площади одиноко стояли две будки для продажи билетов. Окошечки с надписями: «Sol, Sol y Sombra, Sombra»¹ были закрыты. Они откроются только накануне fiestas.

Белые плетеные столики и кресла кафе Ирунья стояли не только под аркадой, но занимали весь тротуар. Я искал глазами Брет и Майкла. Они оказались здесь. Брет, Майкл и Роберт Кон. Брет была в берете, какие носят

¹ Солнце, солнце и тень, тень (исп.).

баски. Майкл тоже. Роберт Кон был без шляпы и в очках. Брет увидела нас и помахала рукой. Пока мы подходили к их столику, она, сощурившись, смотрела на нас.

— Хэлло, друзья! — крикнула она.

Брет сияла от радости. В рукопожатии Майкла чувствовалась дружеская теплота, Роберт Кон пожал нам руки потому, что мы только что приехали.

— Где вы пропадали? — спросил я.

— Я привез их сюда, — сказал Кон.

— Какая чушь, — сказала Брет. — Мы давно бы приехали, если бы не вы.

— Никогда бы вы не приехали.

— Какая чушь! А вы оба загорели. Посмотрите, какой Билл черный.

— Хорошая ловля была? — спросил Майкл. — Нам так хотелось приехать.

— Хорошая. Мы жалели, что вас нет.

— Мне хотелось приехать, — сказал Кон, — но я решил, что нужно их привезти.

— Привезти нас! Какая чушь!

— Правда, хорошая была ловля? — спросил Майкл. — Много наловили?

— Бывали дни, по десятку на брата. С нами был один англичанин.

— По фамилии Харрис, — сказал Билл. — Не знавали такого, Майкл? Он тоже был на войне.

— Вот счастливец! — сказал Майкл. — Веселое было времечко. О, кто вернет мне те лучезарные дни!

— Не ломайся.

— Вы были на войне, Майкл? — спросил Кон.

— Еще бы!

— Он доблестно сражался, — сказала Брет. — Расскажи им, как твоя лошадь понесла на Пикадилли.

— Не хочу. Я уже четыре раза рассказывал.

— А мне ни разу не рассказывали, — сказал Роберт Кон.

— Не хочу рассказывать. Это бросает тень на меня.

— Расскажи им про твои медали.

— Не хочу. Этот случай бросает черную тень на меня.

— А что это за история?

— Брет вам расскажет. Она рассказывает все случаи, которые бросают на меня тень.

— Ну, Брет, расскажите.

— Рассказать?

— Я сам расскажу.

— Какие вы получили медали, Майкл?

— Никаких медалей я не получал.

— Совсем никаких?

— Не знаю. Должно быть, я получил все медали, какие полагаются. Но я никогда не просил, чтобы мне их выдали. А потом устроили грандиозный банкет и ждали, что приедет принц Уэльский, и в билете было написано, чтобы быть при знаках отличия. Ну, ясное дело, у меня их не было, я заехал к своему портному, показал билет, он проникся уважением ко мне, я воспользовался этим и говорю ему: «Достаньте мне медали». Он говорит: «Какие, сэр?» А я говорю: «Все равно, какие-нибудь. Дайте мне несколько штук». А он говорит: «Какие вы получали медали, сэр?» А я говорю: «Почем я знаю? Неужели вы думаете, что я трачу время на чтение армейских бюллетеней? Дайте мне любые, только побольше. Выберите сами». Он и дал мне медали, знаете, маленькие такие, целую коробку, а я сунул коробку в карман и забыл про них. Ну, поехал я на банкет, а в тот вечер убили сына Вудро Вильсона, и принц не приехал, и король не приехал, и знаков отличия не полагалось, и все пыхтели, снимая их с себя, а мои лежали у меня в кармане.

Он сделал паузу и ждал, чтобы мы засмеялись.

— Это все?

— Все. Может быть, я плохо рассказал.

— Очень плохо, — сказала Брет. — Но это не важно.

Мы все засмеялись.

— Ах да, — сказал Майкл, — вспомнил. На банкете была тоска смертная, я не выдержал и ушел. Вечером, попозже, я нашел у себя в кармане коробку. Что это такое? — подумал я. Медали? Дурацкие военные медали. Я взял и срезал их — знаете, их нашивают на такую колодку — и роздал. Каждой девчонке по медали. Так сказать, на память. Они были потрясены. Вот это вояка! Раздает медали в кабаке. Такому все нипочем.

— Расскажи до конца, — сказала Брет.

— По-вашему, это не смешно было? — спросил Майкл.

Мы все смеялись.

— Очень смешно было. Ей-богу. Так вот — портной пишет мне письмо с просьбой вернуть медали. Присылает человека за ними. Полгода письма пишет. Оказывается, кто-то принес ему медали, чтобы он их почистил. Какой-то военный. Страшно дорожил ими, чуть с ума не сошел. —

Майкл помолчал.— Печально кончилось для портного,— сказал он.

— Да что вы говорите! — сказал Билл.— А я-то думал, что вы его просто ошастливили.

— Удивительный портной. Сейчас этому трудно поверить, глядя на меня,— сказал Майкл.— Я платил ему сто фунтов в год, чтобы не приставал. И он никогда не присылал счетов. Мое банкротство сразило его. Это случилось сейчас же после истории с медалями. Оттого и письма были такие сердитые.

— А как вы обанкротились? — спросил Билл.

— Двумя способами,— сказал Майкл.— Сначала постепенно, а потом сразу.

— А из-за чего?

— Из-за друзей,— сказал Майкл.— У меня была куча друзей. Вероломных друзей. А кроме того, у меня были кредиторы. Я думаю, ни у кого в Англии не было столько кредиторов, как у меня.

— Расскажи им про суд,— сказала Брет.

— Этого я не помню,— сказал Майкл.— Я был чуточку пьян.

— Чуточку! — воскликнула Брет.— Ты был пьян как стелька!

— Удивительный случай,— сказал Майкл.— На днях встретил своего бывшего компаньона. Предложил поднести мне стаканчик.

— Расскажи им про своего ученого адвоката,— сказала Брет.

— Не хочу,— сказал Майкл.— Ученый адвокат тоже был пьян. Вообще это мрачная тема. Мы идем смотреть, как выгружают быков, или нет?

— Пошли.

Мы подозвали официанта, расплатились и отправились на другой конец города. Я пошел было с Брет, но Роберт Кон нагнал нас и пошел подле Брет с другой стороны. Так мы и шли втроем,— мимо ayuntamiento с развевающимися на балконе флагами, и дальше, мимо рынка, и по крутой улочке, ведущей к мосту через Аргу. Много народу шло вместе с нами смотреть быков, экипажи спускались под гору и переезжали через мост, и над толпой пешеходов высились кнуты, лошади и кучера. Пройдя мост, мы свернули на дорогу, ведущую к корралю. Мы прошли мимо винной лавки, где в окне висело объявление: «Хорошее вино, 30 сентимо литр».

— Вот куда будем ходить, если останемся без денег,— сказала Брет.

Когда мы проходили мимо лавки, женщина, стоявшая в дверях, посмотрела на нас. Она крикнула что-то через плечо, и три девушки подошли к окну и уставились на нас. Они смотрели на Брет.

У ворот корраля два контролера отбирали билеты у входящих. Мы прошли в ворота. За оградой росли деревья и стояло низкое каменное здание. В конце двора виднелась каменная стена корраля с отверстиями, которые, словно бойницы, шли по фасаду каждого из двух загонов. К стене была прислонена лестница, и люди поднимались по ней и становились на широкие перегородки между загонами. Когда мы по траве под деревьями подходили к лестнице, мы прошли мимо больших, покрашенных серой краской клеток, в которых стояли быки. В каждой клетке было по одному быку. Они приехали поездом из кастильской ганадерии, и их на вокзале выгрузили с товарных платформ и привезли сюда, чтобы выпустить из клеток в корраль. На каждой клетке была обозначена фамилия и клеймо владельца ганадерии.

Мы влезли на лестницу и примостились на стене, откуда виден был корраль. Каменные стены были выбелены, на земле постлана солома, и вдоль стен стояли деревянные кормушки и корыта для воды.

— Посмотрите туда,— сказал я.

За рекой, на плато, поднимался город. Древние валы и крепостные стены были сплошь усеяны людьми. Три ряда укреплений чернели людьми, словно три наведенные тушью линии. Выше, в окнах домов, повсюду виднелись головы. На деревьях, у края плато, взобрались мальчишки.

— Они точно ждут чего-то,— сказала Брет.

— Они хотят видеть быков.

Майкл и Билл стояли на противоположной стене загона. Они помахали нам. Запоздавшие зрители стояли за нами, нажимая на нас, когда их теснили сзади.

— Почему они не начинают? — спросил Роберт Кон.

К одной из клеток привязали мула, и он потащил ее к воротам в стене корраля. Служители корраля, вооруженные ломami, подталкивали и прпподымали клетку, чтобы она стала прямо против ворот. На стене уже стояли другие люди, готовясь открыть ворота корраля и дверцу клетки. Открылись ворота в задней стене корраля, и, крутя головой, поводя тощими боками, вбежали два вола. Они стали

рядом недалеко от стены, головой к воротам, откуда должен был появиться бык.

— Вид у них невеселый,— сказала Брет.

Люди на стене нагнулись и открыли ворота корраля. Потом они открыли дверцу клетки.

Я перегнулся через стену, пытаюсь заглянуть в клетку. Там было темно. Кто-то постучал по клетке железным прутком. Внутри точно взорвалось что-то. Бык шумел, всаживая рога направо и налево в деревянные доски клетки. Потом я увидел темную морду и тень от рогов, и, стуча копытами по гулким доскам, бык ринулся в корраль, заскользил передними ногами по соломе, остановился, дрожа всем телом, со вздувшимися горбом шейными мышцами и, задржав голову, оглядел толпу на каменных стенах. Оба вола поцятились к стене, опустив голову, не спуская глаз с быка.

Бык увидел волов и кинулся на них. Один из загонщиков, стоявший за кормушкой, громко крикнул, хлопая шляпой по деревянным доскам, и бык, забыв о волах, повернул, подобрался, подскочил к кормушке и стал быстро-быстро бодаться правым рогом, стараясь всадить его в загонщика.

— Господи, как он хорош! — сказала Брет.

Бык стоял как раз под нами.

— Посмотрите, как он умеет пользоваться рогами,— сказал я.— У него левый и правый удар, как у боксера.

— Неужели?

— Посмотрите.

— Не могу уследить.

— Подождите. Сейчас выпустят другого.

В воротах уже стояла вторая клетка. В дальнем углу корраля загонщик отвлекал внимание быка, прячась за дощатую загородку, и пока бык смотрел в его сторону, ворота открыли, и второй бык ворвался в корраль.

Он кинулся прямо на волов, и два загонщика выбежали из-за досок и стали громко кричать, стараясь перехватить его. Они кричали: «А-а! А-а! Торо!» — и размахивали руками, но бык не повернул; волы стали боком, чтобы принять удар, и бык всадил рога в одного из них.

— Отвернитесь,— сказал я Брет.

Но она смотрела на быка как зачарованная.

— Вот и отлично,— сказал я,— если вам не противно.

— Я видела,— сказала она.— Я видела, как он ударил сначала левым, потом правым рогом.

— Молодец!

Вол как упал, так и остался лежать, вытянув шею, отвернув голову. Внезапно бык оставил его и ринулся к другому волу, который все время стоял в дальнем углу корраля, крутя головой и следя за быком. Вол неуклюже побежал, бык нагнал его, легонько толкнул в бок, отвернулся и свирепо, со вздувшимся загривком, посмотрел на усеявших стены людей. Вол подошел к нему и сделал вид, что хочет обнюхать его, и бык несколько раз небрежно боднул вола. Потом бык обнюхал вола, и они вместе рысцой побежали к первому быку.

Когда следующий бык вышел из клетки, все трое — оба быка и вол — стояли вместе, сдвинув головы, выставив рога против вновь прибывшего. В несколько минут вол подружился с быком, успокоил его и присоединил к стаду. Когда выгрузили последних двух быков, все стадо собралось в одном месте.

Вол, которого сшиб первый бык, поднялся на ноги и стал, опираясь о каменную стену. Быки не подходили к нему, и он не пытался присоединиться к стаду.

Мы слезли со стены вместе с толпой и еще раз взглянули на быков через отверстия в стене корраля. Теперь все они стояли смирно, опустив головы. Выйдя за ворота, мы взяли экипаж и поехали в кафе. Майкл и Билл пришли через полчаса после нас. По дороге они несколько раз заходили выпить.

Мы все сидели за столиком в кафе.

— Удивительно все-таки, — сказала Брет.

— А последние быки так же хороши для боя, как первые? — спросил Роберт Кон. — Они, мне кажется, слишком быстро успокоились.

— Они все друг друга знают, — сказал я. — Они страшны только в одиночку или по двое, по трое.

— То есть как это только? — сказал Билл. — По-моему, они всегда достаточно страшные.

— Бык испытывает желание убить, только когда он один. Конечно, если бы ты вошел к ним, ты тем самым, вероятно, отделил бы одного из них от стада, и тогда он был бы опасен.

— Это слишком сложно для меня, — сказал Билл. — Пожалуйста, Майкл, никогда не отделяйте меня от стада.

— Знаете, — сказал Майкл, — это все-таки изумительные быки. Вы видели, какие у них рога?

— Еще бы, — сказала Брет. — Я раньше понятия не имела, какие они.

— А вы видели, как он забодал вола? — спросил Майкл. — Замечательно!

— Невесело быть волом, — сказал Роберт Кон.

— Вы так думаете? — сказал Майкл. — А мне кажется, что вам понравилось бы быть волом.

— Что вы хотите сказать, Майкл?

— У них очень покойная жизнь. Они всегда молчат и трутся возле быков.

Всем стало неловко. Билл засмеялся. Роберт Кон обиделся. Майкл продолжал болтать:

— По-моему, вам понравилось бы. Могли бы спокойно молчать. Послушайте, Роберт, скажите хоть слово, нельзя же просто сидеть и молчать.

— Я говорил, Майкл. Разве вы не помните? Я сказал о волах.

— Ну, скажите еще что-нибудь. Скажите что-нибудь смешное. Вы же видите, нам всем очень весело.

— Перестань, Майкл. Ты пьян, — сказала Брет.

— Нет, я не пьян. Я говорю серьезно. Я желал бы знать, долго еще Роберт Кон будет, как эти вола, тереться возле Брет?

— Замолчи, Майкл! Покажи, что ты хорошо воспитан.

— К черту воспитание! Кто вообще хорошо воспитан, кроме быков? А правда, быки чудесные? Понравились они вам, Билл? Отчего вы молчите, Роберт? Что вы сидите здесь с похоронной физиономией? Предположим, что Брет спуталась с вами. Ну, и что ж? Она путалась со многими, почище вас.

— Замолчите, — сказал Кон. Он встал из-за стола. — Замолчите, Майкл.

— Пожалуйста, не становитесь в позицию, как будто вы собираетесь ударить меня. Не испугаете. Скажите мне, Роберт, какого черта вы таскаетесь за Брет, как несчастный вол какой-то? Разве вы не видите, что вы лишний? Я всегда знаю, когда я лишний. Почему же вы не знаете, когда вы лишний? Вы приехали в Сан-Себастьян, где никто вас не ждал, и таскаетесь за Брет, как несчастный вол какой-то. По-вашему, это хорошо?

— Замолчите. Вы пьяны.

— Может быть, я и пьян. А вы почему не пьяны? Почему вы никогда не напиваетесь? Не очень-то вам весело было в Сан-Себастьяне. Никто из наших знакомых не приглашал вас к себе. И это же, они не правы, по-вашему? Скажите. Я даже сам просил их. Но они не захотели. Так

что же, не правы они, по-вашему? Скажите. Ну, отвечайте же. Правы они или нет?

— Отстаньте, Майкл.

— По-моему, они правы. А по-вашему, не правы? Что вы таскаетесь за Брет? Что у вас за манеры? Как вы думаете, каково это мне?

— О манерах ты лучше помолчал бы,— сказала Брет.— У тебя у самого изумительные манеры.

— Пойдемте, Роберт,— сказал Билл.

— Чего ради вы за ней таскаетесь?

Билл встал из-за стола и потянул Кона за рукав.

— Не уходите,— сказал Майкл.— Роберт Кон хочет заказать вина.

Билл ушел с Коном. Кон был изжелта-бледен. Майкл продолжал болтать. Я молча сидел и слушал. Брет казалась рассерженной.

— Послушай, Майкл,— прервала она его,— перестань дурака валять. Это не значит, что он не прав,— сказала она, повернувшись ко мне.

Майкл сразу заговорил спокойным тоном. Мы все были в ладу друг с другом.

— Я вовсе не так пьян, как вам кажется,— сказал он.

— Я знаю, что ты не пьян,— сказала Брет.

— Мы все немного выпили,— сказал я.

— Я говорил только то, что думаю.

— Но в каких ужасных выражениях,— засмеялась Брет.

— Все равно, он дурак. Приехал в Сан-Себастьян, где он никому не был нужен. Он терся возле Брет и глаз не сводил с нее. Меня просто тошнило.

— Да, он очень плохо вел себя,— сказала Брет.

— Вы поймите. У Брет были любовники и раньше. Она мне все рассказывает. Она давала мне письма этого Кона, но я не стал читать.

— Страшно благородно с твоей стороны.

— Нет, вы послушайте, Джейк. У Брет были любовники. Но все-таки не евреи, и они не приставали к ней после.

— Отличные были ребята,— сказала Брет.— Но все это чушь, не стоит и говорить. Мы с Майклом понимаем друг друга.

— Она давала мне письма Роберта Кона. Я не стал их читать.

— Ты никаких писем не стал бы читать, милый. И моих не прочел бы.

— Не могу читать писем,— сказал Майкл,— Странно, правда?

— Ты вообще не можешь читать.

— Нет. Это неправда. Я уйму читаю. Когда я дома, я всегда читаю.

— Ты скоро писать начнешь,— сказала Брет.— Так вот, Майкл, не расстраивайся. Нужно с этим примириться. Он здесь, ничего не поделаешь. Не порть нам фиесту.

— Тогда пусть ведет себя прилично.

— Он будет вести себя прилично. Я скажу ему.

— Лучше вы скажите ему, Джейк. Скажите ему, чтоб он вел себя прилично или убирался отсюда.

— Ну да,— сказал я.— Кому же и говорить это, как не мне.

— Послушай, Брет. Скажи Джейку, как Роберт тебя называет. Это, знаете, просто перл.

— Ой, нет. Не могу.

— Скажи. Мы ведь все друзья. Правда, Джейк, мы друзья?

— Не могу я этого сказать Джейку. Это слишком глупо.

— Тогда я скажу.

— Не надо, Майкл. Не валяй дурака.

— Он называет ее Цирцеей,— сказал Майкл.— Уверяет, что она превращает мужчин в свиней. Замечательно сказано. Как жаль, что я не писатель.

— А Майкл хорошо мог бы писать,— сказала Брет.— Как он письма пишет!

— Я знаю,— сказал я.— Он писал мне из Сан-Себастьяна.

— Это что! — сказала Брет.— Он может ужасно забавно писать.

— Это она заставила меня написать. Она притворилась, что больна.

— Я и была больна.

— Пойдемте,— сказал я.— Ужинать пора.

— Как мне держаться с Коном? — спросил Майкл.

— Держите себя так, как будто ничего не случилось.

— Мне-то вообще наплевать,— сказал Майкл.— Я ничуть не смущен.

— Если он заговорит об этом, скажите, что вы были пьяны.

— Правильно. И, что смешнее всего, я, кажется, действительно был пьян.

— Идемте,— сказала Брет.— Вы заплатили за эту отраву? Мне надо до ужина ванну принять.

Мы пересекли площадь. Уже стемнело, и вокруг всей площади, под аркадой, светились огни кафе. Мы пошли к отелю по усыпанной гравием дорожке под деревьями.

Брет и Майкл поднялись наверх, а я остановился поговорить с хозяином.

— Ну, как вам понравились быки? — спросил Монтойа.

— Понравились. Хорошие быки.

— Неплохие.— Монтойа покачал головой.— Но они не слишком хороши.

— Чем они вам не понравились?

— Сам не знаю. Просто у меня такое чувство, что они не очень хороши.

— Понимаю.

— Но они неплохие.

— Да, неплохие.

— А вашим друзьям они понравились?

— Очень.

— Вот и хорошо,— сказал Монтойа.

Я поднялся наверх. Билл стоял на балконе своей комнаты и смотрел на площадь. Я подошел к нему.

— Где Кон?

— У себя в комнате.

— Как он?

— Да скверно, конечно. Майкл безобразно вел себя. Он невозможен, когда пьян.

— Он не был пьян.

— Какого черта не был! Я-то знаю, сколько мы выпили по дороге в кафе.

— Он после протрезвился.

— Пусть так. Он безобразно вел себя. Я сам не очень-то люблю Кона, и, по-моему, ехать ему в Сан-Себастьян было пелепо, но говорить человеку такие вещи просто непозволительно.

— Как тебе быки понравились?

— Очень. Замечательно, как их выводят.

— Завтра привезут мьюрских.

— Когда фиеста начнется?

— Послезавтра.

— Нужно следить за Майклом, чтобы он не напивался.

А то это слишком безобразно.

— Пора почиститься к ужину.

— Да. Я думаю, будет весело,

— А то как же?

Ужин в самом деле прошел очень весело. Брет надела черное вечернее платье без рукавов. Она была очень красива. Майкл делал вид, будто ничего не случилось. Мне пришлось подняться наверх и привести Роберта Кона. Он держался холодно и церемонно, и лицо его все еще было желтовато-бледное и замкнутое, но под конец он повеселел. Он не мог не смотреть на Брет. По-видимому, это доставляло ему радость. Ему, должно быть, приятно было видеть, что она такая красивая, и знать, что она уезжала с ним и что все об этом знают. Этого никто не мог у него отнять. Билл очень много острил. Острил и Майкл. Они были хорошей парой.

Такие ужины я запомнил со времен войны. Много вина, нарочитая беспечность и предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить. Под влиянием вина гнетущее чувство покинуло меня, и я пришел в хорошее настроение. Все они казались такими милыми людьми.

Глава четырнадцатая

Не знаю, в котором часу я лег. Помню, что я разделся, надел халат и вышел на балкон. Я знал, что я очень пьян, и, вернувшись в комнату, зажег лампу над изголовьем кровати и стал читать. Я читал книгу Тургенева. Вероятно, я несколько раз прочел одни и те же две страницы. Это был рассказ из «Записок охотника». Я уже раньше читал его, но мне казалось, что я читаю его впервые. Картины природы рисовались очень отчетливо, и тяжесть в голове проходила. Я был очень пьян, и мне не хотелось закрывать глаза, потому что комната сразу начала бы кружиться. Лучше еще почитать — тогда это пройдет.

Я слышал, как Брет и Роберт Кон поднялись по лестнице. Кон попрощался перед дверью ее комнаты и пошел по коридору к себе. Я слышал, как Брет зашла в комнату рядом с моей. Майкл уже был в постели. Он пришел вместе со мной час тому назад. Когда она вошла, он проснулся и они заговорили. Я слышал их смех. Я потушил свет и постарался заснуть. Читать уже не нужно было. Я мог закрыть глаза и не чувствовать головокружения. Но я не мог уснуть. Непонятно, почему в темноте все представляется иначе, чем при свете. Какое там, к черту, непонятно!

Когда-то я все это обдумал и целых полгода, ложась спать, не тушил электричества. Нечего сказать — блестящая идея! Впрочем, черт с ними, с женщинами. Черт с тобой, Брет Эшли.

С женщинами так хорошо дружить. Ужасно хорошо. Прежде всего нужно быть влюбленным в женщину, чтобы иметь надежную основу для дружбы. Я пользовался дружбой Брет. Я не думал о том, что ей достается. Я получал что-то, ничего не давая взамен. Это только отсрочило предъявление счета. Счет всегда приходит. На это, по крайней мере, можно твердо надеяться.

Я думал, что я за все заплатил. Не так, как женщины, — платят, и платят, и платят. Не какое-то там воздаяние или кара. Просто обмен ценностями. Что-то уступаешь, а взамен получаешь что-то другое. Или работаешь ради чего-нибудь. Так или иначе за все, хоть отчасти хорошее, платишь. Многое из того, за что я платил, нравилось мне, и я хорошо проводил время. Платишь либо знанием, либо опытом, либо риском, либо деньгами. Пользоваться жизнью — не что иное, как умение получать нечто равноценное истраченным деньгам и сознавать это. А получать полной ценой за свои деньги можно. Наш мир — солидная фирма. Превосходная как будто теория. Через пять лет, подумал я, она покажется мне такой же глупой, как все мои остальные превосходные теории.

Может быть, это и не так. Может быть, с годами начинаешь кое-что понимать. Мне все равно, что такое мир. Все, что я хочу знать, это — как в нем жить. Пожалуй, если додуматься, как в нем жить, тем самым поймешь, каков он.

Все-таки лучше бы Майкл не вел себя так безобразно с Коном. Майкл не умеет пить. Брет умеет пить. Билл умеет пить. Кон никогда не напивается. Майкл, когда перейдет черту, нехорош. Мне приятно, когда он оскорбляет Кона. Все-таки лучше бы он этого не делал, потому что после я сам себе противен. Это и есть нравственность: если после противно. Нет, это, должно быть, безнравственность. Смелое утверждение. Сколько чепухи по ночам лезет мне в голову. Какая чушь, сказала бы Брет. Какая чушь! Когда водишься с англичанами, привыкаешь думать их словечками. Английская разговорная речь — по крайней мере, у людей высшего круга — содержит, должно быть, меньшее число слов, чем эскимосский язык. Правда, я понятия не имею об эскимосском языке. Может быть, это прекрасный язык. Ну, скажем, ирокезский. И о нем понятия не имею.

Англичане говорят интонационными предложениями. Одно предложение может выражать все, что угодно. Все-таки они мне нравятся. Мне нравится, как они говорят. Харрис, например. Однако Харрис не принадлежит к высшему кругу.

Я снова зажег свет и начал читать. Я читал тот же рассказ Тургенева. Я знал, что, прочтя его сейчас, в состоянии обостренной восприимчивости, вызванном чрезмерным количеством выпитого коньяка, я надолго запомню его и после мне будет казаться, что все это на самом деле случилось со мной. Этого у меня не отнимешь. Вот еще кое-что, за что платишь и чего отнять нельзя. Спустя какое-то время, уже под утро, я наконец заснул.

Следующие два дня мы провели очень тихо, и скандалов больше не было. Памплона готовилась к fiestas. На перекрестках рабочие ставили ворота, которыми загораживают поперечные улицы по утрам, когда выпущенные из корраля быки бегут через весь город к цирку. Рабочие рыли ямы и вкапывали столбы, на каждом столбе был обозначен его номер и надлежащее место. За городом, на плато, служители цирка тренировали тощих лошадей, гоня их по твердому, спекшемуся на солнце грунту позади цирка. Главные ворота были открыты, внутри подметали трибуны для зрителей. Арену уже укатали и полили водой, и плотники чинили барьер в тех местах, где доски расшатались или дали трещины. С края арены, стоя на ровном, укатанном песке, можно было посмотреть вверх на пустой амфитеатр и увидеть, как старухи подметают пол в ложах.

Снаружи уже были поставлены заборы, которые тянулись от последней улицы до входа в цирк, образуя длинный загон; утром, в день первого боя быков, по этому проходу толпа будет бежать впереди быков. На окраине города, там, где откроется ярмарка лошадей и рогатого скота, цыгане разбили табор под деревьями. Торговцы вином и водкой сколачивали свои ларьки. На одном ларьке была реклама анисовой водки. Жаркое солнце освещало полотнище с надписью «Anis del Togo», висевшее на деревянных досках. На большой площади в центре города еще не было видно никаких перемен. Мы сидели в белых плетеных креслах на террасе кафе и смотрели на подходившие автобусы, из которых вылезали крестьяне, приехавшие на базар, потом смотрели, как отъезжают переполненные автобусы, а внутри сидели крестьяне с сумками, где лежало купленное в городе добро. На площади не было других признаков жизни, кроме высоких серых автобусов, голубей

и человека, который из кишки поливал улицы и усыпанную гравием площадь.

По вечерам бывало пасео — гулянье. После обеда, в течение часа, все красивые девушки и офицеры местного гарнизона, все модники и модницы Памплоны прогуливались по улице, примыкающей к площади, меж тем как террасы кафе наполнялись обычной послеобеденной публикой.

Каждое утро я сидел в кафе, прочитывал мадридские газеты, а потом гулял по улицам или отправлялся за город. Иногда Билл гулял со мной. Иногда он писал в своей комнате. Роберт Кон проводил утро за изучением испанского языка или старался попасть в парикмахерскую, чтобы побриться. Брет и Майкл пикогда не показывались раньше двенадцати. Потом мы все пили вермут в кафе. Мы вели тихую жизнь, и никто не напивался. Раза два я ходил в церковь, один раз с Брет. Она сказала, что хотела бы послушать, как я исповедуюсь, но я объяснил ей, что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, вовсе не так интересно, как кажется, и, кроме того, я говорил бы на языке, которого она не знает. Когда мы вышли из церкви, мы встретили Кона, и хотя было очевидно, что он выследил нас, он держался просто и мило, и мы втроем отправились в цыганский табор, и одна из цыганок погадала Брет.

Было прекрасное утро, над горами плыли высокие белые облака. Ночью прошел небольшой дождь, и на плато пахло свежестью и прохладой, и оттуда открывался чудесный вид. Нам всем было хорошо и покойно, и я ничего не имел против Кона. Невозможно было раздражаться в такой чудесный день.

Это был последний день перед фиестой.

Глава пятнадцатая

В воскресенье, 6 июля, ровно в полдень, фиеста взорвалась. Иначе этого назвать нельзя. Люди прибывали из деревень все утро, но они растворялись в городе, и их не было заметно. Площадь под жарким солнцем была так же тиха, как в любой будний день. Крестьяне собирались в винных лавках подальше от центра. Там они пили, готовясь к фиесте. Они столь недавно покинули свои равнины и горы, что им требовалось время для переоценки ценностей. Они не могли сразу решиться на цены в дорогих кафе. В винных лавках они получали полной мерой за

свои деньги. Деньги еще представляли определенную ценность, измеряемую рабочими часами и бушелями проданного хлеба. В разгаре фиесты им уже будет все равно, сколько платить и где покупать. Но в первый день праздника святого Фермина они с раннего утра засели в винных лавках на узких улочках города. Я шел в собор к утренней службе и по дороге слышал их пение, доносившееся из открытых дверей лавок. Они понемножку разговаривались. Служба начпалась в одиннадцать часов, народу в соборе было много. День святого Фермина — местный престольный праздник.

Выйдя из собора, я спустился под гору и пошел по улице, ведущей к площади. Было около двенадцати часов. За столиком в кафе сидели Роберт Кон и Билл. Мраморные столики и белые плетеные кресла исчезли. Их заменили чугунные столики и крепкие складные стулья. Кафе напоминало военное судно, готовое к бою. Сегодня нельзя было просидеть все утро над газетами, ничего не заказывая. Не успел я сесть, как ко мне подошел официант.

— Что вы пьете? — спросил я Билла и Роберта.

— Херес, — сказал Кон.

— Jerez, — сказал я официанту.

Не успел официант принести херес, как над площадью взвилась ракета — сигнал открытия фиесты. Ракета вспыхнула, и серый шар дыма повис высоко в воздухе над театром «Гаяр», на другом конце площади. Серый шар висел в небе, словно только что разорвалась шрапнель, и пока я смотрел на него, взвилась еще одна ракета, выпуская струйки дыма под ярким солнцем. Я увидел яркую вспышку света, и в небе появилось еще одно облачко дыма. Когда взвилась вторая ракета, под аркадой, где минуту назад было пусто, толпились уже столько народу, что официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой руке. Люди со всех сторон устремлялись на площадь, и слышно было, как по улице приближаются дудки, флейты и барабаны. Оркестр играл *giau-giau* — дудки пронзительно, барабаны дробно, — а за музыкантами, приплясывая, шли мужчины и подростки. Когда музыка замолкала, они все становились на корточки посреди улицы, а когда флейты и дудки взвизгивали и плоские, гулкие барабаны начинали выбивать сухую дробь, они все вскакивали и пускались в пляс. Толпа была такая густая, что видны были только плечи и головы танцоров, ходившие вверх и вниз.

По площади, согнувшись, шел человек и играл на свирели, за ним с криком бежали дети и дергали его за полы. Он пересекал площадь, а дети бежали за ним, и он, не переставая дудеть, прошел мимо кафе и свернул в переулок. Мы увидели его бессмысленное рябое лицо, когда он шел мимо нас, играя на свирели, а за ним по пятам бежали дети, дергали его и кричали.

— Это, должно быть, местный дурачок,— сказал Билл.— Ох, поглядите-ка!

По улице двигались танцоры. Вся улица сплошь была запружена танцорами — одни мужчины. Они танцевали под свой собственный оркестр из дудок и барабанов. Это был какой-то союз, и все были в синих рабочих блузах с красными платками вокруг шеи, и на двух шестах несли большое полотнище. Окруженные толпой, они вступили на площадь, и полотнище плясало вверх и вниз вместе с ними.

«Да здравствует вино! Да здравствуют иностранцы!» — было написано на полотнище.

— Где иностранцы? — спросил Роберт Кон.

— Иностранцы — это мы,— сказал Билл.

Беспрерывно взвивались ракеты. Теперь все столики были заняты. Площадь пустела, и толпа растекалась по кафе.

— Где Брет и Майкл? — спросил Билл.

— Я пойду приведу их,— сказал Кон.

— Приведите.

Фиеста началась по-настоящему. Она продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке. Шла фиеста, и она продолжалась семь дней.

Днем состоялась пышная религиозная процессия. Святого Фермина носили из церкви в церковь. В процессии шли все сановники города, гражданские и духовные. Мы не видели их,— толпа была слишком велика. Впереди и позади процессии отплясывали *giau-giau*. В толпе выделялась группа танцоров в желтых рубашках. Все, что нам

удалось увидеть от процессии сквозь густую толпу, залпавшую тротуары и прилегающие к площади улицы,— это деревянных индейцев тридцати футов вышиной и таких же арапов, короля и королеву, торжественно вальсирующих под звуки *giau-giau*.

Все стояли перед часовней, куда за святым Фермином проследовали сановники, оставив у входа военную охрану. Макеты великанов стояли пустые; танцевавшие в них люди стояли возле, а карлики мелькали в толпе со своими пузырями. Мы вошли было в часовню, где пахло ладаном и откуда гуськом выходили люди, чтобы пройти обратно, в церковь, но Брет остановили в дверях, потому что она была без шляпы, и мы повернули и пошли по улице, ведущей от часовни к городу. На обоих тротуарах стояли люди, дожидавшиеся возвращения процессии. Несколько танцоров, взявшись за руки, стали танцевать вокруг Брет. На шее у них висели большие венки из белых головок чеснока. Они взяли Билла и меня за руки и поставили в круг, рядом с Брет. Билл тоже танцевал. Все они пели. Брет хотела танцевать, но они ей не дали. Они хотели танцевать вокруг нее, как вокруг статуи. Когда пение оборвалось пронзительным *giau-giau*, они втолкнули нас в винную лавку.

Мы подошли к стойке. Брет усадили на бочку с вином. В полутемной лавке было полно мужчин, и все они пели низкими, жесткими голосами. Позади стойки наливали вино из бочек. Я выложил деньги за вино, но один из мужчин собрал монеты и сунул их мне обратно в карман.

— Я хочу мех для вина,— сказал Билл.

— Здесь рядом есть лавка,— сказал я.— Сейчас пойду куплю.

Танцоры не хотели отпускать меня. Трое их сидели рядом с Брет на высокой бочке и учили ее пить из меха. Они повесили ей на шею вепок из чеснока. Один совал ей в руку стакан. Другой учил Билла песенке. Напевал ему в ухо. Отбивал такт на спине Билла.

Я объяснил им, что сейчас вернусь. Выйдя из лавки, я пошел по улице в поисках мастерской, где я видел мехи для вина. На тротуарах толпился народ, у многих лавок ставни были закрыты, и я не мог найти ее. Я дошел до самой церкви, оглядывая обе стороны улицы. Потом я спросил одного из толпы, и он взял меня за локоть и привел в мастерскую. Ставни были закрыты, но дверь стояла настежь.

Внутри пахло дубленой кожей и горячей смолой. В углу сидел человек и выводил по трафарету надписи на готовых мехах. Мехи пучками свисали с потолка. Приведший меня снял один, надул его, туго закрутил крышку и прыгнул на него.

— Видите! Не течет.

— Мне нужно еще один. Только большой.

Он снял с потолка большой мех, в который вошел бы целый галлон, и приложил его ко рту. Щеки его сильно раздувались вместе с мехом. Потом он, держась за стул, встал на мех обеими ногами.

— На что они вам? Продадите в Байонне?

— Нет. Пить буду из них.

Он хлопнул меня по спине.

— Buen hombre! Восемь песет за оба. Самая дешевая цена.

Человек, который выводил надписи на мехах и бросал их в кучу, поднял голову.

— Верно,— сказал он.— Восемь песет — это дешево.

Я заплатил, выпел на улицу и вернулся в винную лавку. Внутри было еще темней и очень тесно. Я не увидел ни Брет, ни Билла, и мне сказали, что они в задней комнате. Девушка за стойкой наполнила для меня оба меха. В один вошло два литра. В другой — пять литров. Все это стоило три песеты и шестьдесят сентимо. Кто-то, стоявший рядом со мной и кого я видел первый раз в жизни, пытался заплатить за вино, но в конце концов заплатил я. Тогда он угостил меня стаканом вина. Он не позволил мне угостить его в ответ, но сказал, что не откажется промочить горло из нового меха. Он поднял большой пятилитровый мех, сжал его, и вино струей полилось ему в самое горло.

— Ну вот,— сказал он и отдал мне мех.

В задней комнате Брет и Билл сидели на бочках, окруженные танцорами. Каждый держал руку на плече соседа, и все пели. Майкл сидел за столиком вместе с какими-то людьми без пиджаков и ел с ними из одной чашки рыбу, приправленную луком и уксусом. Все они пили вино и макали хлеб в масло с уксусом.

— Хэлло, Джейк, хэлло! — крикнул Майкл. — Идите сюда. Разрешите познакомить вас с моими друзьями. Мы тут слегка закусываем.

Майкл познакомил меня со всеми сидящими за столиком. Они подсказывали ему свои фамилии и послали за вилкой для меня.

— Перестань объедать их, Майкл! — крикнула Брет со своей бочки.

— Нет, зачем же я лишу вас обеда, — сказал я тому, кто протягивал мне вилку.

— Ешьте, — сказал он, — для того поставлено.

Я отвинтил крышку большого меха и пустил его по кругу. Все по очереди выпили, высоко держа мех в вытянутых руках.

Снаружи, покрывая пение, доносилась музыка проходившей процессии.

— Как будто процессия идет? — спросил Майкл.

— Nada, — сказал кто-то. — Это ничего. Пейте. Поднимите мех.

— Где они вас разыскали? — спросил я Майкла.

— Кто-то привел меня сюда, — ответил Майкл. — Мне сказали, что вы здесь.

— А где Кон?

— Он раскис! — крикнула Брет. — Его куда-то убрали.

— Где он?

— Не знаю.

— Откуда нам знать? — сказал Билл. — По-моему, он умер.

— Он не умер, — сказал Майкл. — Я знаю, что он не умер. Он просто раскис от *Anis del Mono*.

Когда Майкл сказал *Anis del Mono*, один из сидевших за столиком достал мех из-за пазухи и протянул его мне.

— Нет, — сказал я. — Нет, спасибо.

— Пейте. Пейте. Подымите мех!

Я отхлебнул. Водка отдавала лакрицей, и от нее по всему телу разливалось тепло. Я чувствовал, как у меня становится тепло в желудке.

— Где же все-таки Кон?

— Не знаю, — сказал Майкл. — Сейчас спрошу. Где наш пьяный товарищ? — спросил он по-испански.

— Вы хотите видеть его?

— Да, — сказал я.

— Я не хочу, — сказал Майкл. — Это вот он хочет.

Владелец анисовой водки вытер губы и встал.

— Пойдемте.

В одной из задних комнат Роберт Кон спокойно спал на сдвинутых бочках. Лицо его было едва видно в темноте. Его накрыли чьим-то пиджаком, а другой подложили ему под голову. С его шеи на грудь спускался большой венок из чеснока.

— Не будите его,— прошептал приведший меня.— Пусть проспится.

Два часа спустя Кон появился. На его шее все еще болтался венок из головок чеснока. Испанцы приветствовали его криками. Кон протер глаза и засмеялся.

— Я, кажется, вздремнул,— сказал он.

— Что вы, и не думали,— сказала Брет.

— Вы просто были мертвы,— сказал Билл.

— А не пойти ли нам поужинать? — спросил Кон.

— Вы что, есть захотели?

— Да. А что? Я проголодался.

— Поешьте чеснока, Роберт,— сказал Майкл.— Поешьте.— Кон не ответил. Он выспался и был совершенно трезв.

— Пойдемте ужинать,— сказала Брет.— Мне еще нужно принять ванну.

— Идем,— сказал Билл.— Доставим Брет в отель.

Мы попрощались со множеством людей, пожали множество рук и вышли. На улице было темно.

— Как вы думаете, который теперь час? — спросил Кон.

— Уже завтра,— ответил Майкл.— Вы проспали два дня.

— Нет, правда,— сказал Кон,— который час?

— Десять часов.

— Сколько мы выпили!

— Вы хотите сказать, сколько мы выпили. Вы-то спать улеглись.

Когда мы шли к отелю по темным улицам, мы видели, как в небо взвивались ракеты. А когда подходили к отелю, в конце переулка увидели площадь, запруженную густой толпой, обступившей танцоров.

Ужин в отеле подали обильный. Это была первая трапеза по удвоенным на время фиесты ценам, и к обычному меню прибавили несколько блюд. После ужина мы пошли в город. Помню, что я решил не ложиться всю ночь, чтобы в шесть часов утра посмотреть, как быки побегут по улицам. Но мне очень захотелось спать, и около четырех часов я лег и уснул. Остальные не ложились.

Моя комната была заперта, а я не мог найти ключ и улегся на одну из кроватей в комнате Кона, этажом выше. Всю ночь на улицах шумела фиеста, но я был такой сонный, что это не помешало мне спать. Разбудил меня треск

разорвавшейся ракеты — сигнал, что на окраине города быков выпустили из корраля. Сейчас они промчатся по всему городу, устремляясь в цирк. Я спал тяжело и, просыпаясь, чувствовал, что опоздал. Я накинул пальто Кона и вышел на балкон. Внизу, подо мной, узкая улочка была безлюдна. На всех балконах теснились зрители. Вдруг улицу залила толпа. Люди бежали все вместе, сбившись в кучу. Они пробежали мимо отеля и свернули к цирку, потом появились еще люди, они бежали быстрее, а за ними несколько человек отставших уже пробежали во весь дух. После них образовался небольшой просвет, и затем по улице, крутя рогами, галопом промчались быки. Минута — и все исчезло за углом. Один из толпы упал, скатился в канаву и лежал неподвижно. Но быки пронеслись мимо, не заметив его. Они бежали плотным стадом.

После того как быки скрылись из виду, со стороны цирка донесся рев толпы. Рев долго не умолкал. И наконец — треск разорвавшейся ракеты, возвестивший, что быки пробежали сквозь толпу на арену, а оттуда в загон. Я вернулся в комнату и лег в постель. Все время я простоял босиком на каменном полу балкона. Я подумал, что вся наша компания сейчас, вероятно, в цирке. Согревшись в постели, я заснул.

Я проснулся, когда пришел Кон. Он пачал раздеваться и подошел к окну, чтобы закрыть его, потому что с балкона через улицу, как раз напротив, люди заглядывали к нам.

— Ну, видели? — спросил я.

— Да. Мы все были там.

— Жертвы были?

— Один бык врезался в толпу на арене и помял человек семь.

— Брет не испугалась?

— Это произошло так быстро, что никто не обратил внимания.

— Жалко, что я проспал.

— Мы не знали, где вы. Мы подходили к вашей комнате, но дверь была заперта.

— А где вы были ночью?

— Танцевали в каком-то клубе.

— Мне очень спать захотелось, — сказал я.

— А мне как спать хочется! — сказал Кон. — Когда же это кончится?

— Только через неделю.

Билл приоткрыл дверь и просунул голову.

— Где ты был, Джейк?

— Я смотрел на них с балкона. Ну как?

— Замечательно.

— Куда ты идешь?

— Спать.

Все проспали до двенадцати. Мы позавтракали за одним из столов, расставленных под аркадой. Город был переполнен. Нам пришлось дожидаться свободного места. После завтрака мы пошли в кафе Ирупья. Там было тесно, и чем ближе подходило время боя быков, тем становилось теснее, и толпа вокруг столиков все густела. В кафе стояло низкое, многоголосое жужжанье, как всегда перед боем быков. В другие дни кафе никогда не жужжало так, как бы переполнено оно ни было. Жужжанье нарастало, оно захватывало и нас, и мы уже были частью его.

Я запасся шестью билетами на все бои. Три места были баггера, в первом ряду, у самой арены, а три *soberguera* — скамьи с деревянными спинками в одном из средних рядов амфитеатра. Майкл считал, что Брет лучше сидеть повыше для первого раза, и Кон пожелал сидеть с ними. Мы с Биллом решили сесть в первом ряду, а лишний билет я отдал официанту и попросил продать его. Билл начал учить Кона, что делать и куда смотреть, чтобы не замечать лошадей. Билл уже видел бой быков.

— Об этом я ни капли не беспокоюсь. Я только боюсь, что мне будет скучно, — сказал Кон.

— Вы так думаете?

— Не смотрите на лошадь после того, как бык забодает ее, — сказал я Брет. — Следите за быком и за тем, как никадор старается не подпустить его, а потом не смотрите на лошадь, если она ранена, пока она не околест.

— Я немного волнуюсь, — сказала Брет. — Не знаю, смогу ли я все это выдержать.

— Отлично выдержите. Неприятно только смотреть на лошадей, а они бывают не больше двух-трех минут с каждым быком. Вы просто отвернитесь, когда страшно будет.

— Все будет хорошо, — сказал Майкл. — Я присмотрю за ней.

— Я думаю, вы не соскучитесь, — сказал Билл.

— Я схожу в отель за биноклем и вином, — сказал я. — Потом вернусь сюда. Только не напивайтесь.

— Я пойду с тобой, — сказал Билл.

Брет улыбпулась нам.

Мы пошли кругом под аркадой, чтобы не идти по жаре через площадь.

— Элит меня этот Кон,— сказал Билл.— Такое в нем чисто еврейское зазнайство, что он, видите ли, не ждет от боя быков ничего, кроме скуки.

— А мы поглядим на него в бинокль,— сказал я.

— Да ну его к чертям!

— Они и так его припекают.

— Ну и пусть.

На лестнице отеля мы встретили Монтойу.

— Пойдемте,— сказал Монтойа.— Хотите познакомиться с Педро Ромеро?

— Очень даже,— сказал Билл.— Идем к нему.

Мы поднялись за хозяином на второй этаж и пошли по коридору.

— Он занимает восьмой номер,— сказал Монтойа.— Сейчас его одевают к бою быков.

Монтойа постучал в дверь и отворил ее. Комната была мрачная, окно, выходившее в узкий переулок, давало мало света. В комнате стояли две кровати, стыдливо разделенные перегородкой. Горело электричество. Юноша в костюме матадора стоял очень прямо. Лицо его было строго. Расшитая куртка висела на спинке стула. Ему только что намотали пояс вокруг талии. На нем была белая полотняная рубашка, черные волосы блестели в электрическом свете. Личный слуга его, закрепив пояс, встал с колен и отступил. Педро Ромеро рассеянно и с большим достоинством наклонил голову и пожал нам руки. Монтойа сказал ему, что мы настоящие aficionados и что мы хотим пожелать ему успеха. Ромеро слушал очень серьезно. Потом он повернулся ко мне. Никогда в жизни не видел я такого красавца.

— Вы идете на бой быков? — спросил он по-английски.

— Вы говорите по-английски? — спросил я, чувствуя себя идлотом.

— Нет,— ответил он и улыбнулся.

Один из трех мужчин, сидевших на кроватях, подошел к нам и спросил, говорим ли мы по-французски.

— Если хотите, я буду переводить. Может быть, вы желаете спросить что-нибудь у Педро Ромеро?

Мы поблагодарили его. О чем могли бы мы спросить? Юноше было девятнадцать лет, он был один, если не считать слуги и трех прихлебателей, а через двадцать минут

начнется бой. Мы сказали: «Mucha suerte»¹, пожали ему руку и вышли. Когда мы закрывали дверь, он стоял очень прямо, красивый и всем чужой, один в комнате, где сидели его прихлебатели.

— Чудесный малый, не правда ли? — спросил Монтойа.

— Красивый мальчик, — сказал я.

— С виду он настоящий тореро, — сказал Монтойа. — Чистейшей воды.

— Чудесный малый.

— Вот посмотрим, каков он на арене, — сказал Монтойа.

Большой мех с вином был прислонен к стене в моей комнате. Мы взяли мех и полевой бинокль, заперли дверь и спустились вниз.

Бой быков прошел удачно. Билл и я были в восхищении от Педро Ромеро. Монтойа сидел через десять мест от нас. После того как Ромеро убил первого быка, Монтойа поймал мой взгляд и кивнул головой. Это — настоящий. Настоящих матадоров давно не было. Из двух других матадоров первый работал хорошо, второй посредственно. Но не могло быть и сравнения с Ромеро, хотя быки попались ему неважные.

Несколько раз во время боя быков я оборачивался и смотрел в бинокль на Майкла, Брет и Кона. По-видимому, они чувствовали себя хорошо. Брет была спокойна. Все трое сидели наклонившись вперед, опираясь на бетонные перила.

— Дай мне бинокль, — сказал Билл.

— Ну, как Кон, скучает? — спросил я.

— Вот хвастун.

При выходе из цирка, после окончания боя быков, мы попали в давку. Нельзя было пробраться сквозь толпу, пришлось отдаться ей, и она медленно, словно глетчер, несла нас к городу. Мы испытывали то чувство легкой тревоги, которое обычно испытываешь после боя быков, и были в приподнятом настроении, как всегда после по-настоящему хорошего боя. Фиеста была в разгаре. Барабаны били, дудки пронзительно свистели, и людской поток то и дело прерывался кучками танцоров. Танцоры плясали в гуще толпы, и нам не видно было, что они выделывают ногами. Мы видели только головы и плечи, ходившие

¹ Желаем удачи (исп.).

вверх и вниз, вверх и вниз. В конце концов мы выбрались из толпы и зашагали в кафе. Официант оставил три свободных стула, мы заказали по абсенту и разглядывали толпу на площади и танцоров.

— Как ты думаешь, что это за танец? — спросил Билл.

— Что-то вроде хоты.

— Он не всегда одинаковый, — сказал Билл. — Они под разную музыку танцуют по-разному.

— Замечательно танцуют.

Напротив нас в начале улицы танцевала группа подростков. Они выделяли очень сложные па, и лица у них были серьезные и сосредоточенные. Все они, танцуя, смотрели на свои ноги. Их туфли на веревочной подошве топали и хлопали по мостовой. Носки сходились, пятки сходились, лодыжки сходились. Потом музыка резко оборвалась, па на месте кончилось, и танцоры, приплясывая, двинулись по улице.

— Идут наши аристократы, — сказал Билл.

Они пересекали улицу.

— Хэлло, друзья, — сказал я.

— Хэлло, джентльмены! — сказала Брет. — Вы заняли для нас места? Как мило.

— Знаете, — сказал Майкл, — этот, как его, Ромеро, это здорово. Правда?

— Он просто очарователен, — сказала Брет. — А зеленые штаны!

— Брет глаз не сводила с них.

— Завтра непременно возьму у вас бинокль.

— Ну, как? Хорошо было?

— Чудесно. Просто замечательно. Вот это зрелище!

— А лошади?

— Я не могла не смотреть на них.

— Она глаз не сводила с них, — сказал Майкл. — Она молодчина.

— Конечно, это ужасно, что с ними делают, — сказала Брет. — Но я не могла не смотреть.

— А вам не было дурно?

— Ни капельки.

— А Роберту Кону было дурно, — ввернул Майкл. — Вы совсем позеленели, Роберт.

— Первая лошадь меня расстроила, — сказал Кон.

— Вы не очень скучали, правда? — спросил Билл.

Кон засмеялся.

— Нет. Не скучал. Забудьте про это, пожалуйста.

— Ладно,— сказал Билл,— если только вы не скучали.

— Непохоже было, чтоб он скучал,— сказал Майкл.— Я думал, его стошнит.

— Да нет, мне вовсе не было так скверно. И всего только одну минуту.

— Я был уверен, что его стошнит. Вы не скучали, правда ведь, Роберт?

— Довольно об этом, Майкл. Я уже сказал, что зря так говорил.

— А ему все-таки было дурно. Он буквально позеленел.

— Хватит, Майкл!

— Никогда не скучайте на своем первом бое быков, Роберт,— сказал Майкл.— А то может выйти скандал.

— Хватит, Майкл,— сказала Брет.

— Он говорит, что Брет садистка,— сказал Майкл,— Брет не садистка. Она просто красивая, здоровая женщина.

— Вы садистка, Брет? — спросил я.

— Надеюсь, что нет.

— Он говорит, что Брет садистка только потому, что у нее здоровый желудок.

— Долго ли он будет здоровым?

Билл заговорил о другом и отвлек Майкла от Роберта Кона. Официант принес рюмки с абсентом.

— Вам правда понравилось? — обратился Билл к Кону.

— Нет, не скажу, чтобы мне понравилось. Но это необычайное зрелище.

— Ах, черт! Ну и зрелище! — сказала Брет.

— Только вот если бы лошадей не было,— сказал Кон.

— Это не важно,— сказал Билл.— Очень скоро перестанешь замечать все противное.

— Все-таки жутко вначале,— сказала Брет.— Самое страшное для меня, это когда бык кидается на лошадь.

— Быки были прекрасные,— сказал Кон.

— Хорошие быки,— сказал Майкл.

— Следующий раз я хочу сидеть внизу.— Брет отхлебнула абсент из рюмки.

— Она хочет лучше рассмотреть матадоров,— сказал Майкл.

— Они стоят того,— сказала Брет.— Этот Ромеро еще совсем ребенок.

— Он поразительно красивый малый,— сказал я.— Мы заходили к нему в комнату. В жизни не видел такого красивого мальчика.

— Как вы думаете, сколько ему лет?

— Лет девятнадцать — двадцать.

— Подумать только!

Второй день боя быков прошел еще удачнее первого. Брет сидела в первом ряду между Майклом и мной, а Билл с Коном пошли наверх. Героем дня был Ромеро. Не думаю, чтобы Брет видела других матадоров. Да их никто не видел, кроме самых заядлых специалистов. Все свелось к одному Ромеро. Было еще два матадора, но они в счет не шли. Я сидел рядом с Брет и объяснял ей, в чем суть. Я учил ее следить за быком, а не за лошадыю, когда бык кидается на пикадоров, учил следить за тем, как пикадор вонзает острие копья, чтобы она поняла, в чем тут суть, чтобы она видела в бое быков последовательное действие, ведущее к предначертанной развязке, а не только нагромождение бессмысленных ужасов. Я показал ей, как Ромеро своим планом уводит быка от упавшей лошади и как он останавливает его плащом и поворачивает его плавно и размеренно, никогда не обессиливая быка. Она видела, как Ромеро избегал резких движений и берег своих быков для последнего удара, стараясь не дергать и не обессиливать их, а только слегка утомить. Она видела, как близко к быку работает Ромеро, и я показал ей все трюки, к которым прибегают другие матадоры, чтобы казалось, что они работают близко к быку. Она поняла, почему ей нравится, как Ромеро действует плащом, и не нравится, как это делают другие.

Ромеро не делал ни одного лишнего движения, он всегда работал точно, чисто и непринужденно. Другие матадоры поднимали локти, извивались штопором, прислонялись к быку, после того как рога миновали их, чтобы вызвать ложное впечатление опасности. Но все показное портило работу и оставляло неприятное чувство. Ромеро заставлял по-настоящему волноваться, потому что в его движениях была абсолютная чистота линий и потому что, работая очень близко к быку, он ждал спокойно и невозмутимо, пока рога минуют его. Ему не нужно было искусственно подчеркивать опасность. Брет поняла, почему движения матадора прекрасны, когда он стоит вплотную к быку, и почему те же движения смешны на малейшем от него расстоянии. Я рассказал ей, что после смерти Хоселито все матадоры выработали такую технику боя, которая создает видимость опасности и заставляет волноваться зрителей, между тем как матадору ничего не грозит. Ромеро показывал мастерство старой школы — четкость движений при

максимальном риске, уметь готовить быка к последнему удару, подчинять его своей воле, давая почувствовать, что сам он недостижим.

— Ни одного неловкого движения не сделал,— сказала Брет.

— И не сделает, пока ему не станет страшно,— сказал я.

— Он никогда не испугается,— сказал Майкл.— Он слишком много знает.

— Он с самого начала все знал. Другим за всю жизнь не выучиться тому, что он знал от рождения.

— И какой красавец,— сказала Брет.

— Знаете, она, кажется, влюбилась в этого тореро,— сказал Майкл.

— Ничего нет удивительного.

— Джейк, будьте другом. Не хвалите его больше. Лучше расскажите ей, как они бьют своих престарелых матерей.

— Расскажи мне, как они пьянствуют.

— Просто ужасно,— сказал Майкл.— Пьянствуют с утра до вечера и только и делают, что бьют своих несчастных матерей.

— Он похож на такого,— сказала Брет.

— А ведь правда похож,— сказал я.

К мертвому быку подвели и пристегнули мулов, потом бичи захлопали, служители побежали, мулы, рванувшись, пустились вскачь, и бык, с откинутой головой и одним торчащим рогом, заскользил по арене, оставляя на песке широкую полосу, и скрылся в красных воротах.

— Сейчас еще один бык — и конец.

— Уже? — сказала Брет. Она подалась вперед и облокотилась на барьер. Ромеро махнул рукой, отсылая пикадоров на их места, и стоял один, держа плащ у самой груди, глядя через арену туда, откуда должен был появиться бык.

Когда бой кончился, мы вышли и стали протискиваться сквозь толпу.

— Черт знает, как это изматывает,— сказала Брет.— Я вся размякла.

— Ничего, сейчас выпьем,— сказал Майкл.

На другой день Педро Ромеро не выступал. Быки были мьюрские, и бой прошел очень плохо. Следующий день был пустой по расписанию. Но фиеста продолжалась весь день и всю ночь.

Дождь шел с утра. Горы заволокло поднявшимся с моря туманом. Не видно было горных вершин. Плато стало мрачным и тусклым, и очертания деревьев и домов изменились. Я вышел за город, чтобы посмотреть на ненастье. Темные тучи напозлали на горы с моря.

Флаги на площади, мокрые, висли на белых шестах, к фасадам домов липли влажные полотнища, а дождь то моросил, то лил как из ведра, загоняя всех под аркаду, и вся площадь покрылась лужами, потемневшие мокрые улицы опустели; но фиеста не прекращалась. Ее только загнало под крышу.

В цирке люди теснились на крытых местах, спасаясь от дождя, и смотрели состязание бискайских и наваррских танцоров и певцов, потом танцоры из Валь-Карлоса в своих национальных костюмах танцевали на улице под глухой стук мокрых от дождя барабанов, а впереди на крупных, толстоногих лошадях, покрытых мокрыми попонами, ехали промокшие дирижеры оркестров. Толпа уже переполнила все кафе под аркадой, и туда же пришли танцоры и уселись за столики, вытянув туго обмотанные белые ноги, стряхивая воду с обшитых бубенцами колпаков и развешивая для просушки свои красные и фиолетовые куртки на спинках стульев. Дождь лил все сильнее.

Я оставил всю компанию в кафе и один пошел в отель побриться к обеду. Когда я брился у себя в комнате, в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул я.

Вошел Монтойа.

— Как поживаете? — спросил он. }

— Отлично, — сказал я.

— Сегодня нет боя.

— Нет, — сказал я, — сегодня только дождь.

— Где ваши друзья?

— В кафе Ирунья.

Монтойа улыбнулся своей смущенной улыбкой.

— Вот что, — сказал он. — Вы знаете американского посла.

— Да, — сказал я. — Американского посла все знают.

— Он сейчас здесь, в Памплоне.

— Да, — сказал я. — Его уже все видели.

— Я тоже его видел, — сказал Монтойа. Он помолчал. Я продолжал бриться.

— Садитесь,— сказал я.— Я попрошу, чтобы подали вина.

— Нет, нет. Мне нужно идти.

Я кончил бриться, наклонился над тазом и обмыл лицо холодной водой. Монтойа все стоял и казался еще более смущенным, чем всегда.

— Вот что,— сказал он.— Ко мне только что присылали из «Гранд-отеля» с приглашением от посольских для Педро Ромеро и Марсьяла Лаланда на чашку кофе сегодня вечером.

— Ну,— сказал я,— Марсьялу это не повредит.

— Марсьял сегодня весь день в Сан-Себастьяне. Он уехал утром на машине с Маркесом. Не думаю, чтобы они сегодня вернулись.

Монтойа стоял смущенный. Он ждал, чтобы я сказал что-нибудь.

— Не передавайте Ромеро приглашение,— сказал я.

— Вы думаете?

— Безусловно.

Монтойа просиял.

— Я пришел спросить вас, потому что вы американец,— сказал он.

— Я бы так поступил.

— Вот,— сказал Монтойа,— берут такого мальчика. Они не знают, чего он стоит. Они не знают, кем он может стать. Любому иностранцу легко захвалить его. Начинается с чашки кофе в «Гранд-отеле», а через год он конченный человек.

— Как Альгабено,— сказал я.

— Да, как Альгабено.

— Это такая публика,— сказал я.— Здесь есть одна американка, которая коллекционирует матадоров.

— Я знаю. Они выбирают самых молодых.

— Да,— сказал я.— Старые жиреют.

— Или сходят с ума, как Галло.

— Ну, что ж,— сказал я,— дело простое. Не передавайте ему приглашение, только всего.

— Он такой чудесный малый,— сказал Монтойа.— Он должен держаться своих. Незачем ему заниматься такой ерундой.

— Не хотите ли выпить? — спросил я.

— Нет, нет, мне нужно идти,— сказал Монтойа. Он вышел.

Я спустился вниз, вышел на улицу и пошел под аркадой вокруг площади. Дождь все еще лил. Я заглянул в кафе Ирунья, нет ли там наших, но их там не было, и я обошел площадь кругом и вернулся в отель. Они все сидели за обедом в столовой первого этажа.

Они сильно опередили меня, и не стоило даже пытаться догнать их. Билл нанимал чистильщиков обуви для Майкла. Чистильщики заглядывали в дверь, и Билл подзывал каждого и заставлял обрабатывать ноги Майкла.

— Одиннадцатый раз мне чистят ботинки,— сказал Майкл.— Знаете, Билл просто осел.

Весь, очевидно, распространилась среди чистильщиков. Вошел еще один.

— *Limpia botas?*¹ — спросил он Билла.

— Не мне,— сказал Билл.— Вот этому сеньору.

Чистильщик встал на колени рядом со своим коллегой и занялся свободным ботинком Майкла, который уже и так сверкал в электрическом свете.

— Чудила этот Билл,— сказал Майкл.

Я пил красное вино и так отстал от них, что мне было слегка неловко за эту возню с ботинками. Я посмотрел кругом. За соседним столиком сидел Педро Ромеро. Когда я кивнул ему, он встал и попросил меня перейти к его столику и познакомиться с его другом. Их столик был рядом и почти касался нашего. Я познакомился с его другом, мадридским спортивным критиком — маленьким человеком с худым лицом. Я сказал Ромеро, как я восхищен его работой, и он весь просиял. Мы говорили по-испански, а мадридский критик немного знал французский язык. Я протянул руку к нашему столику за своей бутылкой вина, но критик остановил меня. Ромеро засмеялся.

— Выпейте с нами,— сказал он по-английски.

Он очень стеснялся своего английского языка, но ему нравилось говорить по-английски, и немного погодя он стал называть слова, в которых был неуверен, и спрашивал меня о них. Ему особенно хотелось знать, как по-английски *Corrida de toros*, точный перевод. Английское название, означающее «бой быков», казалось ему сомнительным. Я объяснил, что «бой быков» по-испански значит *lidia toro*. Испанское слово *corrida* по-английски значит бег быков. А по-французски — *Course de taureaux*, ввернул критик. Испанского слова для боя быков нет.

¹ Почистить ботинки? (исп.)

Педро Ромеро сказал, что выучился немного по-английски в Гибралтаре. Родился он в Ронде. Это недалеко от Гибралтара. Искусству тореро он учился в Малаге, в тамошней школе тавромахии. В школе он пробыл всего три года. Критик подтрунивал над тем, что Ромеро употребляет много малагских выражений. Ему девятнадцать лет, сказал Ромеро. Его старший брат работает с ним в качестве багдериљеро, но живет не в этом отеле, а в другом, поменьше, вместе со всей куадрильей. Ромеро спросил меня, сколько раз я видел его на арене. Я сказал, что только три. Я тут же спохватился, что на самом деле я видел его всего два раза, но мне не захотелось объяснять ему мою ошибку.

— Где вы видели меня раньше? В Мадриде?

— Да, — соврал я. Я читал отчеты в спортивных журналах о его двух выступлениях в Мадриде и поэтому был спокоен.

— Первое выступление или второе?

— Первое.

— Я очень плохо работал, — сказал он. — Второе прошло лучше. Помните? — повернулся он к критику.

Он несколько не был смущен. Он говорил о своей работе так, словно смотрел на нее со стороны. В нем не было и тени тщеславия или бахвальства.

— Я очень рад, что вам нравится моя работа, — сказал он. — Но вы еще настоящей моей работы не видели. Завтра, если попадется хороший бык, я надеюсь показать ее вам.

Сказав это, он улыбнулся, опасаясь, как бы я или критик не подумали, что он хвастает.

— Буду очень рад, если увижу, — сказал критик. — Мне хочется, чтобы вы меня убедили.

— Ему не очень нравится моя работа. — Ромеро повернулся ко мне. Лицо его было серьезно.

Критик сказал, что ему очень нравится работа Ромеро, но что ей еще не хватает законченности.

— Вот завтра увидите, если попадется хороший бык.

— Вы видели завтрашних быков? — спросил меня критик.

— Да. Я видел, как их выгружали.

Педро Ромеро наклонился вперед.

— Ну, как ваше мнение?

— Очень хороши, — сказал я. — Все — около двадцати шести арроба. Очень короткие рога. Разве вы их не видели?

— Видел, конечно, — сказал Ромеро.

— Двадцати шести арроба не потянут,— сказал критик.

— Нет,— сказал Ромеро.

— У них бананы вместо рогов,— сказал критик.

— По-вашему, бананы? — спросил Ромеро. Он с улыбкой повернулся ко мне.— И по-вашему, бананы?

— Нет,— сказал я,— рога как рога.

— Очень короткие,— сказал Педро Ромеро.— Очень, очень короткие. Но все-таки не бананы.

— Послушайте, Джейк,— позвала Брет с соседнего столика.— Что же вы нас бросили?

— Это только временно,— сказал я.— Мы говорим о быках.

— Не важничайте.

— Скажите ему, что быки безрогие! — крикнул Майкл. Он был пьян.

Ромеро вопросительно взглянул на меня.

— Очень пьяный,— сказал я.— *Borracho! Muy borracho!*

— Что же вы нас не знакомите с вашими друзьями? — сказала Брет. Она не сводила глаз с Педро Ромеро. Я спросил, не выпьют ли они кофе с нами. Оба встали. Лицо у Ромеро было очень смуглое. Держался он превосходно.

Я представил их всем по очереди, и они уже хотели сесть, но не хватило места, и мы все перешли пить кофе к большому столу у стены. Майкл велел подать бутылку фундадору и рюмки для всех. Было много пьяной болтовни.

— Скажи ему, что, по-моему, писать — занятие гнусное,— говорил Билл.— Скажи, скажи ему. Скажи ему, мне стыдно, что я писатель.

Педро Ромеро сидел рядом с Брет и слушал ее.

— Ну, скажи ему! — кричал Билл.

Ромеро, улыбаясь, поднял голову.

— Этот сеньор,— сказал я,— писатель.

Ромеро с почтением посмотрел на Билла.

— И тот тоже,— сказал я, указывая на Кона.

— Он похож на Виляльту,— сказал Ромеро, глядя на Билла.— Правда, Рафаэль, он похож на Виляльту?

— Не нахожу,— ответил критик.

— Правда,— по-испански сказал Ромеро,— он очень похож на Виляльту. А пьяный сеньор чем занимается?

— Ничем.

— Потому он и пьет?

— Нет. Он собирается жениться на этой сеньоре.

— Скажите ему, что все быки безрогие! — крикнул Майкл, очень пьяный, с другого конца стола.

— Что он говорит?

— Он пьян.

— Джейк! — крикнул Майкл, — скажите ему, что быки безрогие!

— Вы понимаете? — спросил я.

— Да.

Я был уверен, что он не понял, поэтому и не беспокоился.

— Скажите ему, что Брет хочет посмотреть, как он надевает свои зеленые штаны.

— Хватит, Майкл.

— Скажите ему, что Брет до смерти хочется знать, как он влезает в свои штаны.

— Хватит.

Все это время Ромеро вертел свою рюмку и разговаривал с Брет. Брет говорила по-французски, а он говорил по-испански и немного по-английски и смеялся.

Билл наполнил рюмки.

— Скажите ему, что Брет хочет...

— Ох, заткнитесь, Майкл, ради Христа!

Ромеро поднял глаза и улыбнулся.

— Это я понял, — сказал он.

В эту минуту в столовую вошел Монтойа. Он уже хотел улыбнуться мне, но тут увидел, что Педро Ромеро, держа большую рюмку коньяку в руке, весело смеется, сидя между мной и женщиной с обнаженными плечами, а вокруг стола одни пьяные. Он даже не кивнул.

Монтойа вышел из комнаты. Майкл встал, готовясь провозгласить тост.

— Выпьем за... — начал он.

— Педро Ромеро, — сказал я. Все встали. Ромеро принял тост очень серьезно, и мы все чокнулись и осушили наши рюмки, причем я старался, чтобы все кончилось скорей, так как Майкл пытался объяснить, что он хотел выпить совсем за другое. Но все сошло благополучно, и Педро Ромеро пожал всем руки и вышел вместе с критиком.

— Бог мой! Какой очаровательный мальчик, — сказала Брет. — Что бы я дала, чтобы посмотреть, как он влезает в свой костюм. Он, наверное, пользуется роиком для ботинок.

— Я хотел сказать ему это, — начал Майкл, — а Джейк все время перебивал меня. Зачем вы перебиваете меня? Вы думаете, вы лучше меня говорите по-испански?

— Отстаньте, Майкл! Никто вас не перебивал.

— Нет, я хотел бы это выяснить. — Он отвернулся от меня. — Вы думаете, Кон, вы важная птица? Вы думаете, вам место в нашей компании? В компании, которая хочет повеселиться? Ради бога, не шумите так, Кон.

— Бросьте, Майкл, — сказал Кон.

— Вы думаете, вы здесь нужны Брет? Вы думаете, с вами веселей? Отчего вы все время молчите?

— Все, что я имел сказать, Майкл, я уже сказал вам на днях.

— Я, конечно, не писатель. — Ноги плохо держали Майкла, и он опирался на стол. — Я не гений. Но я знаю, когда я лишний. Почему вы, Кон, не чувствуете, когда вы лишний? Уходите. Уходите, ради всего святого. Уберите свою скорбную еврейскую физиономию. Разве я не прав?

Он посмотрел на нас.

— Конечно, прав, — сказал я. — Пойдемте все в кафе Ирунья.

— Нет, вы скажите, разве я не прав? Я люблю эту женщину.

— Ох, не начинай сначала. Хватит уже, Майкл, — сказала Брет.

— Разве я не прав, Джейк?

Кон все еще сидел за столом. Лицо его стало изжелта-бледным, как всегда, когда его оскорбляли, но вместе с тем казалось, ему это приятно. Он тешил себя ребячливой полуньяпой игрой в герои: все это из-за его связи с титулованной леди.

— Джейк, — сказал Майкл. Он чуть не плакал. — Вы знаете, что я прав. Послушайте, вы! — Он повернулся к Кону. — Уходите! Сейчас же уходите!

— Не уйду, Майкл, — сказал Кон.

— Ах, не уйдете! — Майкл пошел к нему вокруг стола.

Кон встал и снял очки. Он стоял наготове, изжелта-бледный, с полуопущенными руками, гордо и бесстрашно ожидая нападения, готовый дать бой за свою даму сердца.

Я обхватил Майкла.

— Идем в кафе, — сказал я. — Ведь не можете вы ударить его здесь, в отеле.

— Верно! — сказал Майкл. — Очень верная мысль.

Мы пошли к дверям. Пока Майкл, спотыкаясь, поднимался по ступенькам, я посмотрел через плечо и увидел, что Кон снова надевает очки. Билл сидел за столом и наливал себе рюмку фундадору. Брет сидела, глядя прямо перед собой.

Когда мы вышли на площадь, дождя уже не было и луна пыталась выглянуть из-за туч. Дул ветер. Играл военный оркестр, и в дальнем конце площади толпа собралась вокруг пиротехника и его сына, пускавших шары с нагретым воздухом. Шары поднимались толчками, по диагонали, и ветер разрывал их или прибывал к одному из домов на площади. Иногда они падали в толпу. Магний вспыхивал, шар взрывался, и люди разбегались. Никто не танцевал на площади, гравий был слишком мокрым.

Брет вышла из отеля с Биллом и Коном и подошла к нам. Мы стояли в толпе и смотрели на дона Мануэля Оркито, короля фейерверка, который стоял на маленьком помосте, осторожно подталкивая палками шары, стоял высоко над толпой и пускал шары по ветру. Ветер сбивал все шары, и лицо дона Мануэля блестело от пота в свете его сложного фейерверка, который падал в толпу, взрывался и прыгал, брызжа искрами и треща под ногами. Каждый раз, как светящийся бумажный пузырь кренился, вспыхивал и падал, в толпе поднимались крики.

— Не повезло дону Мануэлю,— сказал Билл.

— Откуда вы знаете, что его зовут дон Мануэль? — спросила Брет.

— В афише сказано. Дон Мануэль Оркито, пиротехник *esta ciudad*¹.

— *Globos iluminados*²,— сказал Майкл.— Коллекция *globos iluminados*. Так сказано в афише.

Бетер относил звуки оркестра.

— Хоть бы один поднялся,— сказала Брет.— Этот дон Мануэль прямо из себя выходит.

— Он, должно быть, целый месяц готовился, чтобы они взлетели и получилось: «Слава святому Фермину»,— сказал Билл.

— *Globos iluminados*,— сказал Майкл.— Целая куча дурацких *globos iluminados*.

— Идемте,— сказала Брет.— Чего мы тут стоим?

— Ее светлость желает выпить,— сказал Майкл.

¹ Этого города (*исп.*).

² Светящиеся шары (*исп.*).

— Как это ты догадался? — сказала Брет.

В кафе было тесно и очень шумно. Никто на нас не обратил внимания. Свободного столика мы не нашли. Стоял оглушительный шум.

— Давайте уйдем отсюда, — сказал Билл.

Под аркадой продолжалось гулянье. Кое-где за столиками сидели англичане и американцы из Биаррица в спортивных костюмах. Многие женщины разглядывали гуляющих в лорнет. Мы встретили девушку из Биаррица, с которой недавно нас познакомил Билл. Она жила с подругой в «Гранд-отеле». У подруги разболелась голова, и она пошла спать.

— Вот бар, — сказал Майкл. Это был «Миланский бар», тесный второразрядный кабачок, где можно было перекусить и где в задней комнате танцевали. Мы все сели за столик и заказали бутылку фундадору. В кабачке было пусто. Никакого веселья не замечалось.

— Фу, как здесь скучно, — сказал Билл.

— Еще слишком рано.

— Возьмем фундадор с собой и придем попозже, — сказал Билл. — Не хочу я сидеть тут в такой вечер.

— Пойдемте обратно и поглядим на англичан, — сказал Майкл. — Люблю глядеть на англичан.

— Они ужасны, — сказал Билл. — Откуда они взялись?

— Они приехали из Биаррица, — сказал Майкл. — Они приехали посмотреть на забавную, миленькую испанскую фиесту.

— Я им покажу фиесту, — сказал Билл.

— Вы ужасно красивая девушка, — обратился Майкл к знакомой Билла. — Откуда вы явились?

— Хватит, Майкл.

— Послушайте, она же прелестна. Где я был? Где были мои глаза? Вы просто прелесть. Скажите, мы знакомы? Пойдемте со мной и Биллом. Мы пропишем англичанам фиесту.

— Я им покажу фиесту, — сказал Билл. — Какого черта им здесь нужно?

— Идем, — сказал Майкл. — Только мы втроем. Пропишем фиесту английской сволочи. Надеюсь, вы не англичанка? Я шотландец. Ненавижу англичан. Я им покажу фиесту. Идем, Билл.

В окно нам видно было, как все трое, взявшись под руки, зашагали к кафе. На площади взвивались ракеты.

— Я еще посижу здесь, — сказала Брет.

— Я останусь с вами, — сказал Кон.

— Ох, нет! — сказала Брет. — Ради бога, уйдите куда-нибудь. Разве вы не видите, что нам с Джейком нужно поговорить?

— Этого я не знал, — сказал Кон. — Я просто хотел тут посидеть, потому что я слегка пьян.

— Вот уж действительно причина. Если вы пьяны, ступайте спать. Ступайте спать.

— Достаточно грубо я с ним обошлась? — спросила Брет. Кон уже ушел. — Господи, как он мне надоел!

— Веселья от него мало.

— Он угнетает меня.

— Он очень плохо ведет себя.

— Ужасно плохо. А имел случай показать, как нужно вести себя.

— Он, наверно, и сейчас стоит за дверью.

— Да. С него станется. Знаешь, я теперь поняла, что с ним творится. Он не может поверить, что это ничего не значило.

— Я знаю.

— Никто другой не вел бы себя так. Ох, как мне это все надоело! А Майкл-то. Майкл тоже хорош.

— Майклу очень тяжело.

— Да. Но из этого не следует, что нужно быть свиньей.

— Все ведут себя плохо, — сказал я. — Дай только случай.

— Ты бы иначе себя вел. — Брет взглянула на меня.

— Я был бы таким же идиотом, как Кон.

— Милый, зачем мы говорим такую чушь?

— Хорошо. Давай говорить о чем хочешь.

— Не сердись. У меня нет никого, кроме тебя, а мне так скверно сегодня.

— У тебя есть Майкл.

— Да, Майкл. Вот тоже сокровище, правда?

— Послунай, — сказал я. — Майклу очень тяжело, что Кон здесь околачивается и не отходит от тебя.

— Будто я не знаю, милый. Пожалуйста, не говори об этом, мне и так тошно.

Я никогда еще не видел, чтобы Брет так первничала. Она избегала моего взгляда и упорно смотрела в стену.

— Хочешь пройтись?

— Да. Пойдем.

Я закупорил бутылку фундадору и отдал ее буфетчику.

— Выпьем еще,— сказала Брет.— У меня нервы разгулялись.

Мы выпили еще по рюмке мягкого, душистого коньяку.

— Идем,— сказала Брет.

Когда мы вышли, я увидел Кона, выходящего из-под аркады.

— Пу конечно, вот он,— сказала Брет.

— Он не может уйти от тебя.

— Бедняга!

— А мне ни капли его не жаль. Я сам его ненавижу.

— Я тоже,— она вздрогнула,— ненавижу за то, что он так страдает.

Я взял ее под руку, и мы пошли по неширокой улице прочь от толпы и огней площади. На улице было темно и мокро, и мы пошли к укреплениям на окраину города. Мы проходили мимо открытых дверей винных лавок, откуда свет падал на черную мокрую улицу и доносились внезапные взрывы музыки.

— Хочешь зайти?

— Нет.

На окраине мы шли по мокрой траве, потом поднялись на каменный крепостной вал. Я постелил газету на камень, и Брет села. По ту сторону темной равнины видны были горы. Дул сильный ветер, и тучи то и дело закрывали луну. Под нами чернели глубокие рвы укреплений. Позади были деревья, и тень от собора, и силуэт очерченного лунным светом города.

— Не горюй,— сказал я.

— Мне очень скверно,— сказала Брет.— Давай помолчим.

Мы смотрели на равнину. Длинными рядами стояли под луной темные деревья. По дороге, поднимающейся в гору, двигались автомобильные фары. На вершине горы светились огни крепости. Внизу, налево, текла река. Она вздулась от дождя, вода была черная и гладкая, деревья темные. Мы сидели на валу и смотрели. Брет глядела прямо перед собой. Вдруг она вздрогнула.

— Холодно.

— Хочешь вернуться?

— Пойдем парком.

Мы сошли с вала. Тучи снова заволакивали небо. В парке под деревьями было темно.

— Джейк, ты еще любишь меня?

— Да, — сказал я.
— Знаешь, я погибла, — сказала Брет.
— Что ты?
— Я погибла. Я с ума схожу по этому мальчишке, Ро-
меро. Я, наверное, влюбилась в него.
— Я не стал бы этого делать на твоём месте.
— Не могу с собой сладить. Я погибла. У меня все
рвется внутри.
— Не делай этого.
— Не могу с собой сладить. Я никогда не могла с собой
сладить.
— Это надо прекратить.
— Как же я прекращу? Не могу я ничего прекратить.
Посмотри.

Она протянула мне руку.
— Все во мне вот так дрожит.
— Не надо этого делать.
— Не могу с собой сладить. Я все равно погибла.
Неужели ты не понимаешь?

— Нет.
— Я должна что-нибудь сделать. Я должна сделать
что-нибудь такое, чего мне по-настоящему хочется. Я по-
терела уважение к себе.

— Совсем тебе не нужно этого делать.
— Милый, не мучь меня. Как ты думаешь, легко мне
терпеть этого несчастного Кона и скандалы, которые
устраивает Майкл?

— Знаю, что не легко.
— Не могу же я все время напиваться.
— Нет.
— Милый, пожалуйста, останься со мной. Ты оста-
нешься со мной и поможешь мне?

— Конечно.
— Я не говорю, что это хорошо. Хотя для меня это хо-
рошо. Господи, никогда я не чувствовала себя такой
дрянью.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал?
— Пойдем, — сказала Брет. — Пойдем разыщем его.
Мы вместе шли в темноте под деревьями по усыпанной
гравием аллее, потом аллея кончилась, и мы через ворота
парка вышли на улицу, ведущую в город.

Педро Ромеро был в кафе. Он сидел за столиком с дру-
гими матадорами и спортивными критиками. Все они ку-
рили сигары. Когда мы вошли, они посмотрели на нас. Ро-

меро поклонился, улыбаясь. Мы сели за столик в середине комнаты.

— Попроси его перейти к нам и выпить с нами.

— Подожди. Он сам придет.

— Не могу смотреть на него.

— А на него приятно смотреть,— сказал я.

— Всю жизнь я делала все, что мне хочется.

— Знаю.

— Я чувствую себя такой дрянью.

— Будет тебе,— сказал я.

— Господи! — сказала Брет.— Чего только женщинам не приходится выносить.

— Разве?

— Ох, я чувствую себя такой дрянью.

Я посмотрел в их сторону. Педро Ромеро улыбнулся. Он сказал что-то сидящим с ним за столиком и встал. Он подошел к нашему столику. Я встал, и мы пожали друг другу руки.

— Не хотите ли выпить?

— Позвольте мне угостить вас,— сказал он. Он отодвинул стул и сел, безмолвно испросив разрешение у Брет. Держался он превосходно. Но продолжал курить. Сигара хорошо шла к его лицу.

— Вы любите сигары? — спросил я.

— Очень. Я всегда курю сигары.

Это придавало ему вес. С сигарой он казался старше. Я обратил внимание на кожу его лица. Она была чистая, гладкая и очень смуглая. На скуле виднелся треугольный шрам. Я видел, что он смотрит на Брет. Он чувствовал, что между ними что-то есть. Он, должно быть, почувствовал это, когда Брет пожала ему руку. Но он вел себя очень осторожно. Я думаю, он был уверен, но боялся сделать промах.

— Вы завтра выступаете? — спросил я.

— Да,— сказал он.— Альгабено был ранен сегодня в Мадриде. Вы слышали?

— Нет,— сказал я.— Тяжело?

Он покачал головой.

— Пустяки. Вот сюда.— Он показал на свою ладонь. Брет потянулась к его руке и расправила пальцы.

— А-а, вы умеете гадать? — сказал он по-английски.

— Немного. Не хотите?

— Хочу, я очень люблю это.— Он положил руку на стол, ладонью вверх.— Скажите, что я буду жить вечно и

стану миллионером.— Он все еще был очень вежлив, но более уверен в себе.— Посмотрите,— сказал он,— есть ли у меня там быки?

Он засмеялся. Рука у него была очень красивая, с сухим запястьем.

— Тут тысячи быков,— сказала Брет. Все ее волнение прошло. Она была очень хороша.

— Отлично,— засмеялся Ромеро.— По тысяче дура за штуку,— сказал он мне по-испански.— Скажите еще что-нибудь.

— Хорошая рука,— сказала Брет.— Я думаю, он проживет очень долго.

— Говорите мне, а не вашему другу.

— Я говорю, что вы долго проживете.

— Знаю,— сказал Ромеро.— Я никогда не умру.

Я постучал костяшками пальцев по столу. Ромеро заметил это. Он покачал головой.

— Нет. Этого не нужно. Быки — мои лучшие друзья.

Я перевел его слова Брет.

— Вы убиваете своих друзей? — спросила она.

— Всегда,— сказал он по-английски и засмеялся.— Чтобы они не убили меня.— Он посмотрел на нее через стол.

— Вы хорошо говорите по-английски.

— Да,— сказал он.— Иногда говорю неплохо. Только об этом никто не должен знать. Не годится, чтобы тореро говорил по-английски.

— Почему? — спросила Брет.

— Не годится. Все будут недовольны. У нас так не полагается.

— Почему будут недовольны?

— Просто так. Тореро не должен быть такой.

— А какой же?

Он засмеялся, нахлобучил шляпу на глаза, передвинул сигару во рту и сделал сердитое лицо.

— Как те за столом,— сказал он. Я поглядел туда. Он в точности передразнил выражение лица Насионаля. Он улыбнулся, и лицо его приняло прежнее выражение.— Нет. Я должен забыть английский язык.

— Только не сейчас,— сказала Брет.

— Не падо?

— Не надо.

— Ну, не буду.

Он снова засмеялся.

— Я хочу такую шляпу, — сказала Брет.

— Хорошо, я вам достану.

— Отлично. Смотрите же, достаньте.

— Непременно. Сегодня же достану.

Я встал. Ромеро тоже поднялся.

— Сидите, — сказал я. — Я пойду разыщу наших друзей и приведу их сюда.

Он посмотрел на меня. Это был взгляд, в последний раз срашивающий, все ли ясно. Все было ясно.

— Садитесь, — сказала ему Брет. — Поучите меня говорить по-испански.

Он сел и взглянул на нее через стол. Я вышел. Люди, сидевшие за столиком матадоров, провожали меня жесткими взглядами. Приятного в этом было мало. Двадцать минут спустя, когда я вернулся и заглянул в кафе, Брет и Педро Ромеро уже не было. На столике еще стояли стаканы из-под кофе и наши три пустые рюмки. Подошел официант с салфеткой, собрал стаканы и рюмки и вытер стол.

Глава семнадцатая

У входа в «Миланский бар» я нашел Билла, Майкла и Эдну. Эдной звали знакомую Билла.

— Нас выставили, — сказала Эдна.

— С помощью полиции, — сказал Майкл. — Там, в баре, сидят люди, которым я не по вкусу.

— Я уже четыре раза удерживала их от драки, — сказала Эдна. — Вы должны помочь мне.

Лицо у Билла пылало.

— Идем опять туда, Эдна, — сказал он. — Идите туда и потанцуйте с Майклом.

— Это же глупо, — сказала Эдна. — Ну, опять будет скандал.

— Биаррицкие свиньи, — сказал Билл.

— Идем, — сказал Майкл. — Бар это или не бар? Не имеют они права занимать все помещение.

— Славный ты мой Майкл, — сказал Билл. — Приезжает такая английская свинья и оскорбляет Майкла и портит нам фиесту.

— Это такие мерзавцы, — сказал Майкл. — Ненавижу англичан.

— Не смеют они оскорблять Майкла, — сказал Билл. — Майкл — замечательный малый. Не смеют они оскорблять

Майкла. Я этого не потерплю. Не все ли равно, банкрот он или не банкрот. — Голос у него сорвался.

— Да, не все ли равно? — сказал Майкл. — Мне лично все равно. Джейку тоже. Может быть, вам не все равно?

— Все равно, — сказала Эдна. — А вы правда банкрот?

— Ну конечно. Вам все равно, Билл?

Билл обнял Майкла за плечи.

— Я сам хотел бы быть банкротом. Я бы этой сволочи показал.

— Просто они англичане, — сказал Майкл. — Наплевать на то, что говорят англичане.

— Подлые свиньи, — сказал Билл. — Сейчас пойду и выволоку их.

— Билл! — Эдна взглянула на меня. — Пожалуйста, не ходите туда, Билл. Они же дураки.

— Правильно, — сказал Майкл. — Дураки. Я так и знал, что все оттого, что они дураки.

— Не позволю говорить про Майкла такие вещи, — сказал Билл.

— Вы их знаете? — спросил я Майкла.

— Нет. Первый раз в жизни вижу. Они говорят, что знают меня.

— Не потерплю, — сказал Билл.

— Идём отсюда. Пойдемте в кафе Суисо, — сказал я.

— Это шайка Эдниных друзей из Биаррица, — сказал Билл.

— Да они просто дураки, — сказала Эдна.

— Один из них Чарли Блэкмен из Чикаго, — сказал Билл.

— В жизни не бывал в Чикаго, — сказал Майкл.

Эдна расхохоталась и никак не могла остановиться.

— Ну, вы, банкроты, уведите меня отсюда.

— Из-за чего был скандал? — спросил я Эдну. Мы шли через площадь в кафе Супсо. Билл исчез.

— Я не знаю, как это вышло, но кто-то позвал полицию, чтобы вывести Майкла из задней комнаты, где танцуют. Там были какие-то люди, которые встречались с Майклом в Каинах. А что такое с Майклом?

— Он, вероятно, должен им, — сказал я. — Люди обычно сердятся на это.

На площади, перед билетными кассами, ждали две очереди. Люди сидели на стульях или просто на земле, завернувшись в одеяла и старые газеты. Они заняли очередь, чтобы утром, когда откроются кассы, купить билеты

на бой быков. Тучи расходились, светила луна. Многие в очереди спали.

Не успели мы занять столик на террасе кафе Суисо и заказать фундадору, как появился Роберт Кон.

— Где Брет? — спросил он.

— Не знаю.

— Она была с вами.

— Она, должно быть, пошла спать.

— Нет.

— Я не знаю, где она.

Лицо его в электрическом свете было изжелта-бледно. Он не садился.

— Скажите мне, где она.

— Сядьте, — сказал я. — Я не знаю, где она.

— Вы лжете!

— Отстаньте.

— Скажите мне, где Брет.

— Ничего я вам не скажу.

— Вы знаете, где она.

— Если бы и знал, вам не сказал бы.

— Да подите вы к черту, Кон! — крикнул Майкл через стол. — Брет сбежала с мальчишкой матадором. У них сейчас медовый месяц.

— Замолчите!

— Да подите вы к черту, — томно протянул Майкл.

— Это правда? — Кон повернулся ко мне.

— Подите к черту!

— Она была с вами. Это правда?

— Подите к черту!

— Я заставляю вас сказать, — он шагнул вперед, — сводник проклятый!

Я замахнулся на него, но он успел увернуться от удара. Я видел, как лицо его отклонилось в сторону под электрическим фонарем. Потом он ударил меня, и я сел на тротуар. Когда я начал подниматься на ноги, он еще два раза ударил меня. Я упал навзничь под один из столиков. Я хотел встать, но почувствовал, что у меня нет ног. Я знал, что должен подняться и ударить его. Майкл помог мне встать. Кто-то вылил мне на голову графин воды. Майкл поддерживал меня, и я заметил, что сижу на стуле. Майкл тер мне уши.

— Я думал, из вас дух вон, — сказал Майкл.

— А где же, черт возьми, были вы?

— Да здесь же.

— Не пожелали вмешиваться?

— Он и Майкла сшиб с ног,— сказала Эдна.

— Но я мог бы встать,— сказал Майкл.— Я просто так лежал.

— Скажите, так бывает каждый вечер на ваших фисстах? — спросила Эдна.— Кажется, это был мистер Кон?

— Уже все прошло,— сказал я.— Голова только немного кружится.

Около нас стояло несколько официантов, а кругом собралась толпа.

— Вау,— сказал Майкл.— Ступайте отсюда. Уходите.

Официанты заставили толпу разойтись.

— На это стоило посмотреть,— сказала Эдна.— Он настоящий боксер.

— Он боксер и есть.

— Жалко, что Билла здесь не было,— сказала Эдна.— Хотелось бы мне посмотреть, как Билл свалился бы. Мне всегда хотелось посмотреть, как Билла сшибут с ног. Он такой длинный.

— Я все ждал, что он ударит официанта,— сказал Майкл,— и его арестуют. Очень был бы рад, если бы мистера Роберта Кона засадили в тюрьму.

— Ну, вот еще,— сказал я.

— Что вы,— сказала Эдна.— Вы шутите.

— Нет, не шучу,— сказал Майкл.— Я не из тех, кто любит, чтобы их поколачивали. Я даже ни в какие игры не играю.

Майкл выпил рюмку фундадору.

— Я, знаете, и охоты никогда не любил. Всегда может случиться, что тебя придавит лошадь. Как вы себя чувствуете, Джейк?

— Хорошо.

— Вы мне нравитесь,— сказала Эдна Майклу.— Вы правда банкрот?

— Я отчаянный банкрот,— сказал Майкл.— Я всем на свете должен. Неужели у вас нет долгов?

— Куча.

— Я всем на свете должен,— сказал Майкл.— Я сегодня занял сто песет у Монтойи.

— Неправда,— сказал я.

— Я отдам ему,— сказал Майкл.— Я всегда всем отдаю.

— Оттого вы и банкрот, да? — сказала Эдна.

Я встал. Голоса их доходили до меня откуда-то очень издалека. Все казалось каким-то скверным фарсом.

— Я пойду в отель, — сказал я. Потом я услышал, что они говорят обо мне.

— А он дойдет один? — спросила Эдна.

— Лучше проводим его.

— Я дойду, — сказал я. — Не ходите со мной. Мы еще увидимся.

Я пошел прочь от кафе. Они остались за столиком. Я оглянулся на них и на пустые столы. За одним из столиков сидел официант, подперев голову руками.

Когда я шел через площадь к отелю, все выглядело иначе и по-новому. Никогда я не видел этих деревьев. Никогда не видел шестов с флагами, не видел фасада театра. Все изменилось. Такое чувство у меня уже было однажды, когда я возвращался домой с загородного футбольного поля. Я нес чемодан с моим спортивным снаряжением и шел по дороге от вокзала к городу, в котором жил всю жизнь, и все было по-новому. В садах сгребали сухие листья и жгли их на обочине, и я остановился и долго смотрел. Все было непривычно. Потом я пошел дальше, и мне казалось, что ноги мои где-то далеко и что все предметы приближаются ко мне издалека, и я слышал, как ноги мои шагают где-то на большом расстоянии от меня. В самом начале игры меня ударили каблуком по голове. Вот так же я сейчас переходил площадь. Так же поднимался по лестнице отеля. На то, чтобы подняться по лестнице, потребовалось много времени, и мне казалось, что в руке у меня чемодан. В моей комнате горел свет. Билл вышел ко мне в коридор.

— Послушай, — сказал он, — поднимись и зайди к Кону. С ним что-то стряслось, и он спрашивал тебя.

— Ну его к черту.

— Ступай. Ступай, зайди к нему.

Мне не хотелось взбираться еще выше.

— Что ты так смотришь на меня?

— Вовсе я на тебя не смотрю. Ступай наверх и зайди к Кону. С ним что-то неладно.

— А ты не пьян ли? — сказал я.

— Да, пьян, — сказал Билл. — А ты все-таки ступай наверх и зайди к Кону. Он хочет тебя видеть.

— Ладно, — сказал я. Вот только по лестнице взбираться не хотелось. Я поднимался по лестнице и тащил свой

воображаемый чемодан. Я прошел по коридору до номера Кона. Дверь была закрыта, и я постучался.

— Кто там?

— Барнс.

— Войдите, Джейк.

Я отворил дверь, вошел в комнату и поставил свой чемодан. В комнате было темно, Кон лежал ничком на кровати в темноте.

— Хэлло, Джейк.

— Не называйте меня Джейком.

Я стоял у двери. Точно так же я тогда пришел домой. Теперь мне нужно было горячую ванну. Полную горячую ванну, чтобы вытянуться как следует.

— Где ванная? — спросил я.

Кон плакал. Лежал, уткнувшись лицом в подушку, и плакал. На нем была белая рубашка «поло», как те, что он носил в Принстоне.

— Я виноват, Джейк. Пожалуйста, простите меня.

— Еще чего.

— Пожалуйста, простите меня, Джейк.

Я ничего не ответил. Я просто стоял у двери.

— Я себя не помнил. Вы же понимаете, как это вышло.

— Ну, ладно.

— Я просто не мог этого вынести.

— Вы назвали меня сводником.

Мне было все равно. Я хотел горячую ванну. Я хотел очень полную, горячую ванну.

— Я знаю. Пожалуйста, забудьте про это. Я просто себя не помнил.

— Ну, ладно.

Он плакал. Голос у него был смешной. Он лежал в белой рубашке на кровати в темноте. В рубашке «поло».

— Я завтра утром уеду.

Теперь он плакал беззвучно.

— Я просто не мог этого вынести. Я прошел через муки ада, Джейк. Это был суший ад. С тех пор как мы сюда приехали, Брет обращается со мной так, как будто я ей совсем чужой. Я просто не мог этого вынести. Мы жили вместе в Сан-Себастьяне. Вы, должно быть, знаете. Я не могу этого вынести.

Так он и лежал на кровати.

— Вот что, — сказал я. — Я пойду приму ванну.

— Вы были моим единственным другом, и я так любил Брет.

— Ну,— сказал я,— до свиданья.

— И все это ни к чему,— сказал он.— Все ни к чему.

— Что именно?

— Все. Джейк, скажите, что вы больше не сердитесь.

— Да нет,— сказал я. — Ладно.

— Я так измучился. Я прошел через муки ада, Джейк. Теперь все кончено. Все.

— Ну,— сказал я,— до свиданья. Мне пора.

Он повернулся, сел на край постели, потом встал.

— До свиданья, Джейк,— сказал он.— Вы подадите мне руку?

— Конечно. Почему же нет?

Мы пожали друг другу руки. В темноте я не мог разглядеть его лица.

— Ну,— сказал я,— завтра утром увидимся.

— Я утром уезжаю.

— Ах да! — сказал я.

Я вышел. Кон стоял в дверях своего номера.

— Как вы себя чувствуете, Джейк? — спросил он.

— Хорошо,— сказал я.— Все в порядке.

Я никак не мог пайти ванную комнату. Наконец нашел. Там была глубокая каменная ванна. Я отвернул кран, но вода не шла. Я посидел на краю ванны. Когда я встал и хотел уйти, оказалось, что я снял ботинки. Я поискал их, нашел и понес вниз. Я нашел свой номер, разделся и лег в постель.

Проснулся я с головной болью от грома оркестра, проходившего по улице. Я вспомнил, что обещал Эдне, приятельнице Билла, пойти с ней посмотреть, как быки бегут в цирк по улицам города. Я оделся, спустился вниз и вышел в прохладу раннего утра. Люди, торопясь в цирк, быстрым шагом пересекали площадь. От билетных касс через всю площадь тянулись те же две очереди — ждали семи часов, когда начнут продавать билеты. Я торопливо пересек площадь и вошел в кафе. Официант сказал мне, что мои друзья были здесь и ушли.

— Сколько их было?

— Два сеньора и одна сеньорита.

Значит, все в порядке. Эдна была с Биллом и Майклом. Накануне вечером она боялась, что они раскиснут. Поэтому она просила меня, чтобы я непременно пошел с ней. Я выпил кофе и вместе с толпой торопливо зашагал к цир-

ку. Я уже твердо держался на ногах. Только очень болела голова. Все вокруг было четким и ясным, и в городе пахло ранним утром.

На дороге, ведущей с окраины города в цирк, было грязно. Вдоль всего забора, который тянулся до самого цирка, стояла толпа, а наружные балконы и крыша цирка были сплошь усеяны людьми. Я услышал взрыв ракеты и понял, что не успею в цирк к приходу быков, и потому протиснулся сквозь толпу к забору. Меня плотно прижали к деревянным доскам. В проходе, огороженном заборами, полиция подгоняла толпу. Люди шли или трусили рысцей в сторону цирка. Потом появились бегущие люди. Какой-то пьяный поскользнулся и упал. Двое полицейских подхватили его и оттащили к забору. Теперь люди бежали быстро. Потом раздался дружный крик толпы, и, просунув голову между досками забора, я увидел, как быки сворачивают с улицы в длинный загон, ведущий в цирк. Быки бежали быстро и нагоняли толпу. Вдруг еще один пьяный отбежал от забора, держа обеими руками куртку, словно плащ матадора. Он хотел поработать с быками. Оба полицейских ринулись к нему, один схватил его за шиворот, другой ударил дубинкой, потом притиснули его к забору и стояли, прижавшись к доскам, пока не пробежали последние из толпы и быки. Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка, и когда быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу, один бык вырвался вперед, всадил рог в спину бегущему впереди человеку и поднял его на воздух. Когда рог вошел в тело, руки человека повисли, голова запрокинулась, и бык поднял его, а затем бросил на землю. Бык погнался еще за одним из бегущих, но тот скрылся в толпе, и толпа прорвалась в ворота, а за ней быки. Красные ворота цирка закрылись, с наружных балконов люди протискивались вовнутрь амфитеатра, раздался крик, потом — снова крик.

Человек, которого бык забодал, лежал ничком в истоптанной грязи. Люди перелезали через забор, и мне ничего не было видно, потому что толпа тесно окружила его. Из цирка доносились крики. Каждый крик означал, что бык кинулся на толпу. По силе крика можно было определить, насколько страшно то, что там происходит. Потом взвилась ракета, и это значило, что волы загнали быков с арены в корраль. Я отошел от забора и отправился обратно, в город.

Вернувшись в город, я опять зашел в кафе выпить кофе с гренками. Официанты подметали пол и вытирали столы. Один официант подошел ко мне и принял заказ.

— Что-нибудь случилось во время епсiего?

— Я всего не видел. Один из толпы серьезно ранен.

— Куда?

— Вот так.— Я положил одну руку на поясницу, а другую на то место груди, где, по-моему, рог должен был выйти наружу. Официант кивнул головой и салфеткой смахнул крошки со столика.

— Тяжелая рана,— сказал он.— И все ради спорта. Ради забавы.

Он отошел и вернулся, неся кофейник и молочник с длинными ручками. Он налил кофе и молока. Из длинных носиков две струи потекли в большую чашку. Официант кивнул головой.

— Тяжелая рана, если в спину,— сказал он. Он поставил кофейник и молочник и присел к столу.— Глубокая рана. Ради забавы. Просто забава. Что вы на это скажете?

— Не знаю.

— То-то. Ради забавы. Забавно, видите ли!

— Вы не aficionado?

— Я? Что такое быки? Животные. Грубые животные.— Он встал и положил руку на поясницу.— В спину и насквозь. Сквозная рана в спину. Ради забавы, видите ли.

Он покачал головой и отошел, захватив кофейники. По улице мимо кафе шли двое мужчин. Официант окликнул их. Лица у них были серьезные. Один из них покачал головой.

— Muerto! — крикнул он.

Официант кивнул. Они пошли дальше. Они, видимо, куда-то спешили. Официант подошел к моему столу.

— Слышали? Muerto! Умер. Он умер. Рог прошел насквозь. Захотелось весело провести утро. Es muy flamenco¹.

— Печально.

— Не вижу,— сказал официант,— не вижу в этом ничего забавного.

Днем мы узнали, что убитого звали Висенте Гиронес и что приехал он из-под Тафальи. На другой день мы прочли в газетах, что ему было двадцать восемь лет, что у него была ферма, жена и двое детей. Как и до женитьбы,

¹ Это уже слишком (исп.).

он каждый год приезжал на фиесту. Еще через день из Тафальи приехала его жена проститься с покойником, а назавтра в часовне св. Фермина было отпевание, и члены тафальского танцевального общества понесли гроб на вокзал. Впереди выступали барабаны, и дудки свистели, а позади гроба шла жена покойного и его двое детей. За ними шли все члены танцевальных обществ Памплоны, Эстельи, Тафальи и Сангесы, которые смогли остаться на похороны. Гроб погрузили в багажный вагон, а вдова с детьми, все трое, сели рядом в открытом вагоне третьего класса. Поезд резко дернул, потом плавно пошел под уклон, огибая плато, и умчался в Тафалью по равнине, где ветер колыхал пшеничные поля.

Быка, который убил Висенте Гиронеса, звали Черногубый, он числился под номером 118 в ганадерии Санхеса Таберно и был третьим быком, убитым Педро Ромеро на арене в тот же день. Под ликование толпы ему отрезали ухо и передали его Педро Ромеро, тот, в свою очередь, передал его Брет, а она завернула ухо в мой носовой платок и оставила и то и другое, вместе с окурками сигарет «Муратти», в ящичке ночного столика, возле своей кровати, в отеле Монтойи, в Памплоне.

Когда я вернулся в отель, ночной сторож еще сидел на скамье возле дверей. Он просидел здесь всю ночь, и ему очень хотелось спать. Он встал, когда я вошел в отель. Три служанки, ходившие в цирк смотреть быков, вошли вместе со мной. Они, пересмеиваясь, стали подниматься по лестнице. Я тоже поднялся наверх и вошел в свой номер. Я снял ботинки и лег на кровать. Дверь на балкон была раскрыта, и солнце ярко светило в комнату. Спать мне не хотелось. Вчера я лег не раньше половины четвертого, а в шесть меня разбудила музыка. Челюсть болела с обеих сторон. Я пощупал ее большим и средним пальцами. Проклятый Кон. Ему бы ударить кого-нибудь, когда его в первый раз оскорбили, и уехать. Он так был уверен, что Брет любит его. Он вообразил, что должен остаться, и беззаветная любовь восторжествует. В дверь постучали.

— Войдите.

Вошли Билл и Майкл. Они сели на кровать.

— Вот так енсиерро, — сказал Билл. — Вот так енсиерро.

— А вы не были? — спросил Майкл. — Билл, позвони-те, чтобы подали пива.

— Ну и утречко! — сказал Билл. Он вытер лицо. — Господи, ну и утречко! А тут еще Джейк. Бедняга Джейк, живая боксерская мишень.

— Что случилось на арене?

— О, господи! — сказал Билл. — Что там случилось, Майкл?

— Да бежали эти бычищи, — сказал Майкл. — А впереди толпа, один поскользнулся, упал, и все повалились кучей.

— А быки налетели прямо на них, — сказал Билл.

— Я слышал, как там вопили.

— Это Эдна вопила, — сказал Билл.

— Какие-то люди выскакивали из толпы и размахивали рубашками.

— Один бык бежал по кругу и перебрасывал всех через барьер.

— Человек двадцать унесли в лазарет, — сказал Майкл.

— Ну и утречко! — сказал Билл. — Полиция то и дело забирала самоубийц, которые так и лезли прямо на рога.

— В конце концов волы загнали их, — сказал Майкл.

— Но это продолжалось не меньше часа.

— В сущности, это продолжалось четверть часа, — возразил Майкл.

— Бросьте, — сказал Билл. — Вы же были на войне. Для меня это продолжалось два с половиной часа.

— Где же пиво? — спросил Майкл.

— А куда вы дели очаровательную Эдну?

— Мы только что проводили ее домой. Она пошла спать.

— Понравилось ей?

— Очень. Мы сказали, что здесь каждое утро так.

— Она была потрясена, — сказал Майкл.

— Она хотела, чтобы мы тоже вышли на арену, — сказал Билл. — Она за энергичные действия.

— Я объяснил ей, что это будет нечестно по отношению к моим кредиторам, — сказал Майкл.

— Ну и утречко! — сказал Билл. — А ночь-то!

— Как ваша челюсть, Джейк? — спросил Майкл.

— Болит, — сказал я.

Билл засмеялся.

— Почему ты не запустил в него стулом?

— Вам хорошо говорить, — сказал Майкл. — Оп и вас бы сшиб. Я просто не успел оглянуться. Только что он

стыл против меня, и вот уже я сижу на тротуаре, а Джейн валяется под столом.

— А куда он после пошел? — спросил я.

— Вот она! — сказал Майкл. — Вот божественная леди с пивом.

Служанка поставила на стол поднос с бутылками пива и стаканами.

— А теперь принесите еще три бутылки, — сказал Майкл.

— Куда Кон пошел после того, как ударил меня? — спросил я Билла.

— А вы ничего не знаете? — Майкл откупоривал бутылку пива. Он налил пива в один из стаканов, подняв его к самому горлышку.

— Правда не знаешь? — спросил Билл.

— Он вернулся сюда и нашел Брет и мальчишку матадора в его номере, а потом он изуродовал бедного, несчастного матадора.

— Что?

— Да, да.

— Ну и ночка! — сказал Билл.

— Он чуть не убил бедного, несчастного матадора. Потом Кон хотел увести Брет. Вероятно, хотел сделать из нее честную женщину. Ужасно трогательная сцена.

Он залпом выпил стакан пива.

— Он осел.

— А потом что?

— Ну Брет ему показала. Отделала его. Она, должно быть, была великолепна.

— Еще бы! — сказал Билл.

— Тогда Кон совсем обмяк и хотел пожать руку матадору. Он и Брет хотел пожать руку.

— Знаю. Он мне тоже пожал руку.

— Вот как? Ну, они отказались. Матадор держался молодцом. Он ничего не говорил, но после каждого удара подымался на ноги и потом опять падал. Кон так и не сумел уложить его. Потешно, должно быть, было.

— Откуда вы все это знаете?

— От Брет. Я видел ее утром.

— И чем это кончилось?

— Вот слушайте: матадор сидел на кровати. Он уже раз пятнадцать падал, но все еще лез драться. Брет удерживала его и не давала ему встать. Он хоть и ослабел, но Брет не могла удержать его, и он встал. Тогда Кон сказал,

что он больше не станет драться. Что этого нельзя. Что это было бы подло. Тогда матадор, спотыкаясь, пошел на него. Кон попытался к стене. «Так вы не станете драться?» — «Нет, — сказал Кон. — Мне было бы стыдно». Тогда матадор из последних сил ударил его по лицу и сел на пол. Брет говорит, что он не мог встать. Кон хотел поднять его и положить на кровать. Он сказал, что если Кон дотронется до него, то он убьет его, и что он все равно убьет его утром, если Кон еще будет в городе. Кон плакал, и Брет отделила его, и он хотел пожать им руки. Это я уже рассказывал.

— Расскажите конец, — сказал Билл.

— Ну, матадор сидел на полу. Он собирался с силами, чтобы встать и еще раз ударить Кона. Брет отказалась от всяких рукопожатий, а Кон плакал и говорил, как сильно он ее любит, а она говорила ему, что нельзя быть таким ослом. Потом Кон нагнулся, чтобы пожать руку матадору. Знаете — разойдемся, мол, по-хорошему. Просил прощения. А матадор размахнулся и еще раз ударил его по лицу.

— Молодец мальчишка, — сказал Билл.

— Теперь Кону крышка, — сказал Майкл. — Я уверен, что у Кона навсегда пропала охота драться.

— Когда вы видели Брет?

— Сегодня. Ей нужно было взять кое-что из вещей. Она ухаживает за своим Ромеро.

Он начал еще бутылку пива.

— Брет порядком замучилась. Но она любит ходить за больными. Так и мы с ней сошлись. Она ухаживала за мной.

— Я знаю, — сказал я.

— Я здорово пьян, — сказал Майкл. — Пожалуй, я и дальше буду пить. Все это смешно, но не очень-то приятно. Не очень-то приятно для меня.

Он выпил пиво.

— Я, знаете ли, выразил Брет свое мнение. Я сказал ей, что если она будет путаться с евреями и матадорами и тому подобной публикой, то это добром не кончится. — Он наклонился ко мне. — Послушайте, Джейк, можно, я выпью вашу бутылку? Вам принесут еще.

— Пожалуйста, — сказал я. — Я все равно не собирался пить.

Майкл начал откупоривать бутылку.

— Может быть, вы откроете?

Я снял проволоку, вытащил пробку и налил ему пива.

— Знаете, — продолжал Майкл, — Брет была велико-

лепна. Она всегда великолепно. Я устроил ей скандал по поводу евреев и матадоров и тому подобной публики, а она знает что сказала: «Ну да. Хлебнула я счастья с вашей британской аристократией!»

Он отпил из стакана.

— Это великолепно. Знаете, этот Эшли, который дал ей титул, был моряком. Девятый баронет. Когда он бывал дома, он не желал спать на кровати. Заставлял Брет спать на полу. Под конец, когда он совсем рехнулся, он грозил, что убьет ее. Спал всегда с заряженным пистолетом. Брет вынимала патроны, когда он засыпал. Нельзя сказать, чтобы она много счастья видела в жизни. Свинство, в сущности. Она так всему радуется.

Он встал. Руки у него дрожали.

— Я пойду к себе. Постараюсь уснуть.

Он улыбнулся.

— Мы слишком мало спим из-за этой фиесты. Я намерен прекратить это и хорошенько выспаться. Очень скверно так мало спать. Ужасно треплет нервы.

— Встретимся в двенадцать в кафе Ирунья,— сказал Билл.

Майкл вышел. Мы слышали, как он отворил дверь в соседнюю комнату. Потом он позвонил, пришла служанка и постучала в дверь.

— Принесите полдюжины пива и бутылку фундадору,— сказал ей Майкл.

— Si, señorito¹.

— Я иду спать,— сказал Билл.— Бедняга Майкл. Ужасный скандал вышел из-за него вчера.

— Где? В «Миланском баре»?

— Да. Там был какой-то тип, который когда-то заплатил долги Брет и Майкла в Каннах. Он страшно хамил.

— Я знаю эту историю.

— А я не знал. Отвратительно, что кто-то имеет право ругать Майкла.

— Вот это-то и скверно.

— Просто отвратительно. Бесит меня, что кто-то имеет на это право. Ну, я иду спать.

— В цирке были убитые?

— Как будто нет. Только тяжело раненные.

— А в проходе одного забодали.

— Вот как? — сказал Билл.

¹ Да, господин (*исп.*).

В полдень мы все трое собрались в кафе. Кафе было переполнено. Мы ели креветок и пили пиво. Город был переполнен. Все улицы загромодила толпа. Большие автомобили из Биаррица и Сан-Себастьяна то и дело подъезжали и выстраивались по краю площади. Они привозили публику на бой быков. Подъезжали и туристские автобусы. В одном автобусе приехало двадцать пять англичанок. Они сидели в большой белой машине и в бинокль смотрели на фиесту. Танцоры были совершенно пьяны. Шел последний день фиесты.

Фиеста текла сплошным потоком, и только машины и автобусы с приезжими казались небольшими островками. Когда машины пустели, приезжих поглощала толпа. Потом их уже не было видно, и только кое-где среди крестьян в черных блузах, густо облепивших столики кафе, мелькали их столь неуместные здесь спортивные костюмы. Фиеста поглощала даже англичан из Биаррица, и они были незаметны, пока близко не пройдешь мимо их столика. На улицах не умолкала музыка. Барабаны трещали, дудки свистели. Внутри кафе, держась за край стола или обняв друг друга за плечи, мужчины пели жесткими голосами.

— Вот Брет идет, — сказал Билл.

Я поднял глаза и увидел, что она идет сквозь толпу на площади, высоко подняв голову, словно фиеста разыгрывалась в ее честь и это ей и лестно, и немножко смешно.

— Хэлло, друзья! — сказала она. — Смерть выпить хочется.

— Дайте еще кружку пива, — сказал Билл официанту.

— И креветок?

— Кон уехал? — спросила Брет.

— Да, — сказал Билл. — Он нанял машину.

Подали пиво. Брет хотела поднять стеклянную кружку, но рука у нее дрожала. Она заметила это, улыбнулась и, наклонившись, отпила большой глоток.

— Хорошее пиво.

— Очень хорошее, — сказал я. Меня беспокоил Майкл. Я был уверен, что он не спал. Он, вероятно, все время пил, но, по-видимому, держал себя в руках.

— Я слышала, Джейк, что Кон избил вас, — сказала Брет.

— Нет, Сшиб меня с ног. Только всего.

— Но он избил Педро Ромеро,— сказала Брет.— Он сильно избил его.

— Как он?

— Ничего, обойдется. Он не хочет выходить из комнаты.

— А как он выглядит?

— Плохо. Он сильно избит. Я сказала ему, что уйду на минутку повидаться с вами.

— Он будет выступать?

— Конечно. Я пойду с вами, если вы ничего не имеете против.

— Как поживает твой дружок? — спросил Майкл. Он не слышал ни слова из того, что говорила Брет.— Брет завела себе матадора,— сказал он.— У нее был еврей, по имени Кон, но он оказался пегодным.

Брет встала.

— Я не стану слушать такую чушь, Майкл.

— Как поживает твой дружок?

— Отлично,— сказала Брет.— Увидишь его сегодня на арене.

— Брет завела себе матадора,— сказал Майкл.— Красавчика матадора.

— Проводите меня, пожалуйста, Джейк. Мне нужно поговорить с вами.

— Расскажи ему про своего матадора,— сказал Майкл.— К черту твоего матадора! — Он так двинул столик, что кружки пива и блюда креветок с грохотом полетели на пол.

— Пошли,— сказала Брет.— Уйдем отсюда.

Пробираясь сквозь толпу на площади, я спросил:

— Ну, как?

— После завтрака я не увижу его до самого боя. Придут его друзья одевать его. Он говорит, что они очень сердятся из-за меня.

Брет сияла. Она была счастлива. Солнце сверкало, день стоял ясный.

— Я точно переродилась,— сказала Брет.— Ты себе представить не можешь, Джейк.

— Тебе что-нибудь нужно от меня?

— Нет, только пойдем со мной в цирк.

— За завтраком увидимся?

— Нет. Я с ним буду завтракать.

Мы стояли под аркадой у подъезда отеля. Из отеля выносили столики и ставили их под аркадой.

— Хочешь пройти по парку? — спросила Брет. — Я не хочу возвращаться в отель. Он, вероятно, спит.

Мы прошли мимо театра, до конца площади, потом миновали ярмарку, двигаясь вместе с толпой между рядами ларьков и балаганов. Потом свернули на улицу, которая вела к Пасео-де-Сарасате. Мы увидели публику в парке, — сплошь элегантно одетые люди. Они прогуливались по кругу в дальнем конце парка.

— Только не туда, — сказала Брет. — Мне сейчас не хочется, чтобы на меня глазели.

Мы стояли под ярким солнцем. День выдался жаркий и ясный после дождя и туч с моря.

— Надеюсь, ветер уляжется, — сказала Брет. — А то это плохо для него.

— И я надеюсь.

— Он говорит, что быки хорошие.

— Хорошие.

— Это часовня святого Фермина?

Брет смотрела на желтую стену часовни.

— Да. Отсюда в воскресенье началась процессия.

— Зайдем. Хочешь? Я бы помолилась за него, да и вообще.

Мы вошли в обитую кожей, тяжелую, но легко поддававшуюся дверь. Внутри было темно. Молящихся собралось много. Их стало видно, когда глаза привыкли к полумраку. Мы стали рядом на колени у одной из длинных деревянных скамей. Немного погодя я почувствовал, что Брет выпрямилась, и увидел, что она смотрит прямо перед собой.

— Уйдем, — хрипло прошептала она. — Выйдем отсюда. На меня это очень действует.

Когда мы вышли на жаркую, залитую солнцем улицу, Брет поглядела на качающиеся от ветра верхушки деревьев. Молитва, видимо, не успокоила ее.

— Не знаю, почему я так нервничаю в церкви, — сказала Брет. — Никогда мне не помогает.

Мы пошли дальше.

— Не гоюсь я для религиозного настроения, — сказала Брет. — Лицо неподходящее.

— Знаешь, — помолчав, сказала Брет, — я совсем за него не волнуюсь. Я просто радуюсь за него.

— Это хорошо.

— Но лучше бы все-таки, чтобы ветер улегся.

— Может быть, к пяти уляжется.

— Будем надеяться.

— Ты бы помоллилась,— засмеялся я.

— Никогда мне не помогает. Никогда еще ничего не исполнилось, о чем я молилась. А у тебя?

— О да.

— Чушь! — сказала Брет.— Хотя, может быть, у кого-нибудь так бывает. У тебя не очень набожный вид, Джейк.

— Я очень набожный.

— Чушь! — сказала Брет.— Давай сегодня без проповеди. Сегодня и так будет сумасшедший день.

Ни разу со времени ее поездки с Коном я не видел ее такой счастливой и беззаботной. Мы снова стояли перед подъездом отеля. Все столики были вынесены, и за ними уже сидели люди и ели.

— Присмотри за Майклом,— сказала Брет.— Не давай ему очень распускаться.

— Ваш друзья пошла наверху,— сказал немец-метр-дотель. Он вечно подслушивал. Брет обернулась к нему.

— Благодарю вас. Вы еще что-то хотели сказать?

— Нет, м-эм.

— Хорошо,— сказала Брет.

— Оставьте нам столик на троих,— сказал я немцу. Он улыбнулся своей гнусной, румяно-белой улыбочкой.

— Мэдэм будет кушать здесь?

— Нет,— сказала Брет.

— Тогда я думиль, один стоель для два довольно?

— Не разговаривай с ним,— сказала Брет.— Майкл, наверно, наскандалил,— сказала она, когда мы поднимались по лестнице. На лестнице мы встретили Монтойу. Он поклонился, но без улыбки.

— Встретимся в кафе,— сказала Брет.— Спасибо тебе, Джейк.

Мы остановились у дверей наших комнат. Брет прямо пошла дальше по коридору до номера Ромеро. Она вошла не постучавшись. Она просто открыла дверь, вошла и при-творила ее за собой.

Я постоял немного перед дверью Майкла, потом постучал. Ответа не было. Я взялся за ручку, и дверь отворилась. В комнате все было вверх дном. Чемоданы стояли раскрытые, повсюду валялась одежда. Возле кровати выстроились пустые бутылки. Майкл лежал на постели, и лицо его казалось посмертной маской, снятой с него самого. Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Привет, Джейк,— сказал он очень медленно.— Я хочу соснуть. Я давно уже хо-чу со-снуть.

— Дайте я накрою вас.

— Не надо. Мне и так тепло. Не уходите. Я еще не сплю.

— Сейчас уснете, не расстраивайтесь, дорогой мой.

— Брет завела себе матадора,— сказал Майкл.— Зато еврей ее уехал.

Он повернул голову и посмотрел на меня.

— Это замечательно, правда?

— Да. А теперь спите, Майкл. Вам нужно поспать.

— Я за-сыпаю. Я хочу немного со-снуть.

Он закрыл глаза. Я вышел из комнаты и тихо притворил дверь. В моей комнате сидел Билл и читал газету.

— Ты видел Майкла?

— Да.

— Пойдем завтракать.

— Я не стану завтракать здесь. Этот немец очень хамил, когда я вел Майкла по лестнице.

— Он и с нами хамил.

— Пойдем позавтракаем в городе.

Мы спустились по лестнице. Вверх по лестнице поднималась служанка с подносом, накрытым салфеткой.

— Это Брет несут завтрак.

— И малышу,— сказал я.

На террасе под аркадой к нам подошел немец-метр-дотель. Его красные щеки лоснились. Он был очень вежлив.

— Я оставлял столъ для два джептълмены,— сказал он.

— Возьмите его себе,— сказал Билл. Мы перешли на другую сторону.

Мы поели в ресторане на одной из улиц, выходящих на площадь. В ресторане сидели одни мужчины. Было дымно, пьяно и шумно. Еда оказалась хорошая, вино тоже. Мы мало разговаривали. Потом мы пошли в кафе и смотрели, как фиеста достигает точки кипения. Брет пришла вскоре после завтрака. Она сказала, что заглянула в комнату Майкла и что он спит.

Когда фиеста закипела и, перелившись через край, хлынула к цирку, мы пошли вместе с толпой. Брет сидела в первом ряду между мной и Биллом. Прямо под нами был кальехон — проход между первым рядом и красным деревянным барьером. Бетонные скамьи позади нас быстро наполнялись. Впереди, за красным барьером, желтел укатанный песок арены. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был сухой, твердый и гладкий.

Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены туго свернутые, запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру, так что видны были обернутые красным рукоятки шпаг. Они разворачивали красные, в темных пятнах мулеты и вставляли в них палки, чтобы ткань натягивалась и чтобы матадору было за что держать ее. Брет внимательно следила за ними. Все, что касалось ремесла матадора, интересовало ее.

— Его именем помечены все плащи и мулеты, — сказала она. — Почему это называется мулетой?

— Не знаю.

— Их когда-нибудь стирают?

— Не думаю. Они могут полинять.

— Они, должно быть, жесткие от крови, — сказал Билл.

— Странно, — сказала Брет. — Совсем не обращаешь внимания на кровь.

Внизу, в узком проходе, служители заканчивали приготовления. Все места были заняты. Наверху все ложи были заняты. Не оставалось ни одного пустого места, кроме кресла в ложе президента. Когда он появится, начнется бой. Напротив нас, по ту сторону гладкого песка, в высоких воротах корраля, стояли матадоры, перекинув плащи через руку, и болтали между собой в ожидании сигнала выйти на арену. Брет смотрела на них в бинокль.

— Хотите взглянуть?

Я посмотрел в бинокль и увидел всех трех матадоров. Ромеро стоял в середине, налево от него Бельмонте, направо Марсьял. За ними стояли их квадрилья, а еще дальше, в воротах корраля и на открытом пространстве загона — пикадоры. Ромеро был в черном костюме. Треуголку он низко надвинул на глаза. Треуголка мешала мне разглядеть его лицо, но мне показалось, что оно сильно изуродовано. Он смотрел прямо перед собой. Марсьял осторожно курил сигарету, пряча ее в горсть. Бельмонте тоже смотрел прямо перед собой, лицо у него было изможденное, желтое, длинная волчья челюсть выдавалась вперед. Он смотрел в пространство. Казалось, ни он, ни Ромеро не имеют ничего общего с остальными. Они были совсем одни. Над ними, в ложах, слышались хлопки — появился президент, — и я передал Брет бинокль. Раздались аплодисменты. Заиграла музыка. Брет смотрела в бинокль,

— Возьмите, — сказала она.

В бинокль я увидел, что Бельмонте что-то говорит Ромеро. Марсъял выпрямился, бросил сигарету — и, смотря прямо перед собой, подняв голову, размахивая свободной рукой, три матадора открыли церемониальное шествие. За ними, развернувшись, двинулись три куадрильи, одинаково шагая, подхватив плащи и размахивая свободной рукой, а позади ехали пикадоры, подняв свои длинные копья. Шествие замыкали две упряжки мулов и служители. Матадоры поклонились, не снимая треуголок, перед ложей президента, потом подошли к барьеру под нами. Педро Ромеро снял тяжелый, расшитый золотом плащ и передал его через барьер своему личному слуге. Он что-то сказал ему. Теперь, когда Ромеро стоял так близко, было видно, что губы у него вздулись и вокруг глаз кровоподтеки. Опухшее лицо было в багровых пятнах.

Слуга Ромеро взял плащ, взглянул на Брет, подошел к нам и передал ей плащ.

— Разверните его перед собой, — сказал я.

Брет наклонилась вперед. Плащ был тяжелый и негнувшийся от золота. Слуга Ромеро оглянулся, покачал головой и сказал что-то. Мой сосед перегнулся к Брет.

— Он не хочет, чтобы вы разворачивали его, — сказал он. — Он хочет, чтобы вы сложили его и держали на коленях.

Брет сложила тяжелый плащ.

Ромеро не смотрел на нас. Он говорил с Бельмонте. Бельмонте послал свой парадный плащ друзьям. Он смотрел на них, улыбаясь своей волчьей улыбкой, одними губами. Ромеро перегнулся через барьер и спросил воды. Ему принесли кувшин, и Ромеро налил воды на подкладку своего боевого плаща и потом ногой в туфле затоптал нижний край в песок.

— Зачем это он? — спросила Брет.

— Чтобы тяжелее был на ветру.

— Лицо у него нехорошее, — сказал Билл.

— Ему самому нехорошо, — сказала Брет. — Его бы надо в постель уложить.

Первого быка убивал Бельмонте. Бельмонте работал очень хорошо. Но он получал тридцать тысяч песет за выход, и люди всю ночь простояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на него, и поэтому толпа требовала, чтобы он работал лучше, чем очень хорошо. Главное обаяние Бельмонте в том, что он работает близко к быку. В бое

быков различают территорию быка и территорию матадора. Пока матадор находится на своей территории, он в сравнительной безопасности. Каждый раз, как он вступает на территорию быка, ему угрожает смерть. Бельмонте в свою лучшую пору всегда работал на территории быка. Этим он давал ощущение надвигающейся трагедии. Люди шли на бой быков, чтобы видеть Бельмонте, чтобы испытать это ощущение и, может быть, увидеть смерть Бельмонте. Пятнадцать лет назад говорили, что, если хочешь увидеть Бельмонте на арене, делай это скорее, пока он еще жив. С тех пор он убил больше тысячи быков. После того как он перестал выступать, о его работе ходили легенды, и когда он вернулся на арену, публика была разочарована, потому что ни один матадор во плоти не мог работать так близко к быку, как того требовала легенда, не исключая, конечно, и самого Бельмонте.

К тому же Бельмонте ставил условия, требовал, чтобы его быки были не слишком крупные и рога их не слишком опасные, и потому предвкушение трагической развязки отпадало, и публика, которая ждала от изнуренного свистом Бельмонте втрое больше того, что Бельмонте когда-либо был в состоянии дать, считала себя обкраденной и обманутой, и от презрения волчьей челюсть Бельмонте еще дальше выступала вперед, и лицо его становилось все желтее, и он двигался все с большим трудом, по мере того как усиливалась боль, и в конце концов толпа перешла от криков к действиям, но его лицо по-прежнему выражало одно холодное презрение. Он думал, что сегодня у него будет большой день, но это оказался день издевательств и оскорблений, и под конец подушки, куски хлеба и овощи полетели в него на арену, где он некогда одерживал свои величайшие победы. Только челюсть его все сильнее выдвигалась вперед. Иногда, при особенно оскорбительном выкрике, он поворачивал голову и улыбался своей зубастой, волчьей, безгубой улыбкой, а боль, которую причиняло ему каждое движение, терзала его все сильнее и сильнее, пока его желтое лицо не стало цвета пергамента, и после того как он убил второго быка и кончилось швырянье подушками и хлебом, после того как он приветствовал президента с той же волчьей улыбкой и с тем же презрительным взглядом и передал через барьер шпагу, чтобы ее вытерли и убрали в футляр, он зашел в калехон и оперся о барьер под нашими местами, спрятав голову в руки, ничего не видя, ничего не слыша, только пересиливая

боль. Когда он наконец поднял голову, он попросил воды. Он сделал несколько глотков, прополоскал рот, выплюнул воду, взял свой плащ и вернулся на арену.

Публика была против Бельмонте, и потому она была за Ромеро. Она аплодировала ему с той минуты, как он отделился от барьера и пошел на быка. Бельмонте тоже следил за Ромеро, все время, не подавая виду, украдкой следил за ним. На Марсьяла он не обращал внимания. Все, что мог сделать Марсьял, он знал наперед. Он вернулся на арену для состязания с Марсьялом, считая исход предрешенным. Он думал, что будет состязаться с Марсьялом и другими корифеями декадентской школы, и он знал, что его честная работа будет так выгодно отличаться от лжекрасоты декадентской техники, что одного его появления на арене окажется достаточно. Ромеро испортил ему первый выход. Ромеро делал постоянно, делал — плавно, спокойно и красиво — все то, что Бельмонте теперь лишь изредка мог заставить себя сделать. Публика чувствовала это, даже туристы из Биаррица, даже американский посол и тот под конец понял. На такое состязание Бельмонте не пошел бы, потому что оно могло кончиться только тяжелой раной или смертью. Бельмонте утратил прежнюю силу. Он уже не испытывал минуты величайшего подъема на арене. Он не был уверен, что такие минуты вообще возможны. Все стало другим, и жизнь теперь только изредка вспыхивала в нем. И сейчас в его работе бывали проблески прежнего величия, но они не имели цены, потому что он учел их заранее, когда, выйдя из автомобиля и облокотившись на забор, выбирал быков полегче из стада своего друга, хозяина ганадерии. И потому он имел дело с двумя не крупными покладистыми быками, почти без рогов, и если он порою чувствовал, что к нему возвращается величие, — только малая частица его сквозь ни на миг не отпускавшую боль, — это было величие учтенное, запроданное, и он не испытывал удовлетворения. Он еще мог быть великим, но от сознания этого бой быков уже не становился, как прежде, счастьем.

В Педро Ромеро было величие. Он любил бой, и я видел, что он любит быков, и видел, что он любит Брет. Весь день, если только это зависело от него, он работал напротив нас. Ни разу он не взглянул на нее. Поэтому он работал лучше, и работал хорошо не только для нее, но и для себя. Оттого что он не взглядывал на нее, ища одобрения, он внутренне делал все для себя, и это придавало ему силы,

и вместе с тем он делал все и для нее. Но он делал это так, что это не было ему во вред. Напротив, именно потому он весь тот день так хорошо работал.

Его первое китэ пришлось прямо под нами. Все три ма-тадора по очереди перехватывают быка после того, как он кинется на пикадора. Первый на очереди был Бельмонте. Вторым — Марсьял. Потом настала очередь Ромеро. Все трое стояли слева от лошади. Пикадор, надвинув шляпу на лоб, направил копые под острым углом на быка, глубоко вонзил шпоры и, держа поводья левой рукой, заставил лошадь двинуться вперед. Бык смотрел зорко. Казалось, он смотрит на белую лошадь, но на самом деле он следил за треугольным острием копыя. Ромеро заметил, что бык начинает поворачивать голову. Он не хотел кидаться на лошадь. Ромеро взмахнул плащом, привлекая взгляд быка красным цветом. Бык рванулся, кинулся, но вместо яркого плаща перед ним очутилась белая лошадь, и пикадор, далеко перегнувшись через голову лошади, всадил стальной наконечник длинной палки орехового дерева в бугор мышц между лопатками быка и, опираясь на нее, медленно повернул лошадь, так что стальное острие вошло глубже и кровь показалась на лопатке быка, которого готовили для Бельмонте.

Раненый бык не упорствовал. У него не было сильного желания бодать лошадь. Он повернул, отделился от пикадора и лошади, и Ромеро увел его своим плащом. Он увел его мягко и плавно, потом остановился и, стоя прямо против быка, протянул ему плащ. Хвост быка взвился, бык кинулся, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, сделал веронику. Влажный, тяжелый от песка плащ расправился, словно надувшийся парус, и Ромеро сделал полный оборот под самой мордой быка. Теперь они снова стояли друг против друга. Ромеро улыбнулся. Бык снова кинулся, плащ Ромеро снова надулся парусом, и он опять сделал веронику, на этот раз в другую сторону. Ромеро так близко пропускал мимо себя быка, что человек, и бык, и плащ, описывающий полный круг перед мордой быка, сливались в одно резко очерченное целое. Все это происходило так неторопливо и размеренно, что казалось, Ромеро убаюкивает быка. Он сделал четыре полных оборота, закончил полуоборотом, который поставил его к быку спиной, и, перекинув плащ через левую руку, опершись правой о бедро, пошел навстречу аплодисментам, а бык стоял неподвижно, глядя на его удаляющуюся спину.

Со своими быками он работал безупречно. Его первый бык плохо видел. После двух вероник Ромеро уже знал в точности, насколько зрение быка повреждено. Он приноровился к этому. Это не было блестящей работой. Это было только безупречной работой. Толпа требовала, чтобы быка заменили. Поднялся шум. Ничего замечательного нельзя сделать с быком, который не различает цветов, но президент не отдавал приказа о замене.

— Почему его не заменяют? — спросила Брет.

— За него заплатили. Никому не хочется терпеть убытки.

— Это несправедливо по отношению к Ромеро.

— Смотрите, как он справляется с быком, который не видит красного цвета.

— Не люблю смотреть на такие вещи.

Тягостно следить за такой работой, если тебе не безразличен тот, кому приходится ее делать. Так как бык не видел ни расцветки плаща, ни красного сукна мулеты, Ромеро пришлось дразнить его своим телом. Он подходил вплотную к быку, чтобы бык видел его, а когда бык кидался, он перехватывал нападение мулетой и заканчивал маневр по всем правилам классической школы. Туристам из Биаррица это не нравилось. Они думали, что Ромеро трусит, потому что, подставляя быку мулету вместо своего тела, он каждый раз отступал на полшага в сторону. Им больше нравилось, когда Бельмонте имитировал самого себя или когда Марсьял имитировал Бельмонте. Трое таких умников сидели за спиной нас во втором ряду.

— Чего он боится? Бык такой глупый, он только на мулету лезет.

— Просто новичок. Еще не научился.

— Но раньше, с плащом, он был очень хорош.

— Волнуется, очевидно.

В середине арены, совсем один, Ромеро продолжал все ту же игру и подходил так близко, дразня быка своим телом, что бык ясно видел его, подходил еще ближе, и бык тупо глядел на него, наконец подходил вплотную, и бык, решив, что можно действовать наверняка, опускал голову, кидался, но в последнюю секунду Ромеро подставлял красную мулету тем легким, еле заметным движением, которое так возмущало биаррицких знатоков тавромахии.

— Сейчас он должен убить его, — сказал я Брет. — Бык все еще сильный. Он не дал себя измотать.

В середине арены Ромеро, стоя против быка, вытащил

шпагу из складок мулеты, поднялся на носки и направил клинок. Бык кинулся, и Ромеро кинулся. Левая рука Ромеро набросила мулету на морду быка, чтобы ослепить его, левое плечо вдвинулось между рогами, шпага опустилась, и на одно мгновение бык и Ромеро, который возвышался над быком, сжимая высоко поднятой правой рукой эфес шпаги, вошедшей до отказа между лопатками быка, слились воедино. Потом группа распалась. Ромеро, легко оттолкнувшись от быка, стоял, подняв руку, лицом к быку, и его белая рубашка, разорванная под мышкой, развеивалась от ветра, а бык с торчащим между лопатками красным эфесом, опустив голову, шатался на подгибающихся ногах.

— Сейчас упадет, — сказал Билл.

Ромеро стоял так близко к быку, что бык видел его. Не опуская руки, он заговорил с быком. Бык подобрался, потом голова его выдвинулась вперед, и он начал падать, сначала медленно, потом вдруг перевернулся на спину, задрал все четыре ноги.

Ромеро подали шпагу, и, держа ее острием вниз, с мулетой в левой руке, он направился к ложе президента, поклонился, выпрямился, подошел к барьеру и отдал шпагу и мулету своему слуге.

— Трудный бык, — сказал тот.

— В пот вогнал, — сказал Ромеро. Он вытер лицо. Слуга протянул ему кувшин с водой. Ромеро смочил губы. Пить из кувшина ему было больно. Он не взглянул на нас.

Марсъял имел большой успех. Ему все еще хлопали, когда появился последний бык Ромеро. Это был тот самый бык, который утром вырвался вперед и убил одного из толпы.

Во время работы с первым быком избитое лицо Ромеро было очень заметно. Каждое движение открывало его. Напряженная, кропотливая работа с быком, который плохо видел, подчеркивала его состояние. Драка с Коном не повлияла на его мужество, но лицо его было изуродовано и тело избито. Теперь он избавлялся от этого. Избавлялся с каждым маневром. Бык попался хороший, крупный, с настоящими рогами, и он послушно поворачивал и кидался. Таких именно быков любил Ромеро.

Когда он кончил работать мулетой и готовился убить быка, толпа потребовала, чтобы он продолжал. Зрители не хотели, чтобы Ромеро убивал быка, не хотели, чтобы зрелище кончилось. Ромеро продолжал работать. Он словно давал урок боя быков. Он проделал все маневры, один за

другим, законченно, медленно, плавно и четко. Не было ни трюков, ни фальши. Не было резких движений. И каждый раз, как маневр достигал кульминационной точки, внезапно и больно сжималось сердце. Толпа требовала, чтобы это длилось без конца.

Бык стоял, расставив ноги, подготовленный к последнему удару, и Ромеро убил его у самого барьера, под нами. Он убил не так, как убил предыдущего быка, когда у него не было выбора, а так, как ему хотелось. Он встал прямо против быка, вытащил шпагу из складок мулеты и нацелился. Бык смотрел на него. Ромеро заговорил с быком и слегка хлопнул его по ноге. Бык нагнул голову, а Ромеро ждал его, сдвинув ноги, опустив мулету, нацеливаясь шпагой. Когда Ромеро взмахнул низко опущенной мулетой, бык кинулся на нее, и Ромеро, плотно сдвинув ноги, не трогаясь с места, вонзил шпагу между лопаток быка, потом отклонился влево, закрыв собой мулету, — и все было кончено. Бык попытался шагнуть вперед, ноги его стали подгибаться, он зашатался, помедлил, потом упал на колени, и старший брат Ромеро, зайдя сзади, нагнулся над быком и всадил короткий нож в загривок быка у основания рогов. Первый раз он промахнулся. Он снова всадил нож, и бык рухнул, дернулся и застыл. Брат Ромеро, ухватившись одной рукой за рог, в другой держа нож, посмотрел вверх, на ложу президента. По всему амфитеатру махали платками. Президент посмотрел вниз из своей ложи и махнул носовым платком. Брат Ромеро отрезал черное корявое ухо мертвого быка и побежал с ним к Ромеро. Бык, черный и грузный, с вывалившимся языком, лежал на песке. Мальчишки сбегались к нему со всех концов арены. Они окружили его кольцом и начали плясать вокруг мертвого быка.

Ромеро взял ухо из рук своего брата и поднял его к ложе президента. Президент наклонил голову, и Ромеро, стараясь опередить бросившуюся за ним толпу, побежал к нам. Он перегнулся через барьер и протянул ухо Брет. Потом кивнул головой и улыбнулся. Толпа уже окружала его. Брет протянула ему плащ.

— Понравилось? — крикнул Ромеро.

Брет ничего не ответила. Они, улыбаясь, смотрели друг на друга. Брет держала ухо в руке.

— Не запачкайтесь кровью, — сказал Ромеро и засмеялся.

Толпа требовала его. Несколько подростков криками приветствовали Брет. В толпе, кроме мальчишек, были

танцоры и пьяные. Ромеро, повернувшись, попытался пробиться сквозь толпу. Но толпа окружила его, она хотела вынести его на руках. Он отбивался, выскользнул было и, окруженный толпой, бросился бежать к выходу. Он не хотел, чтобы его вынесли на руках. Но его не отпустили и подняли. Ему было неудобно, ноги болтались, а все тело было избито. Несколько человек подняли его и побежали с ним к выходу. Рука его лежала на чьем-то плече. Он обернулся и виновато взглянул на нас. Толпа выбежала вслед за ним в ворота цирка.

Мы втроем вернулись в отель. Брет поднялась наверх. Мы с Биллом пошли в столовую первого этажа, поели крутых яиц и выпили несколько бутылок пива. Пришел Бельмонте, уже в обычном платье, с ним был его импресарио и еще двое. Они сели за соседний столик и заказали еду. Бельмонте ел очень мало. Они должны были ехать семичасовым поездом в Барселону. На Бельмонте была рубашка в голубую полоску и темный пиджак, он ел яйца всмятку. Остальные ели полный обед. Бельмонте ничего не говорил. Он только отвечал на вопросы.

Билла утомил бой быков. И меня утомил. Зрелище боя всегда очень волновало нас обоих. Мы молча ели крутые яйца, и я смотрел на Бельмонте и на людей за его столиком. Видимо, это были люди серьезные и деловитые.

— Пойдем в кафе,— сказал Билл.— Мне хочется абсента.

Шел последний день фиесты. Небо заволакивало тучами. Площадь была полна народу, пиротехники готовили фейерверк к вечеру и накрывали его буковыми ветками. Кругом стояли мальчишки. Мы прошли мимо стоек с ракетами на длинных бамбуковых палках. Перед кафе собралась большая толпа. Играла музыка, плясали танцоры. Проносили великанов и карликов.

— Где Эдна? — спросил я Билла.

— Не знаю.

Мы смотрели, как наступает вечер последнего дня фиесты. От абсента все казалось лучше. Я пил его без сахара, и он приятно горчил.

— Мне жаль Кона,— сказал Билл.— Ему было очень тяжело.

— А ну его к черту,— сказал я.

— Куда, по-твоему, он поехал?

— В Париж.

— А что, по-твоему, он там будет делать?

- А ну его к черту.
- Что, по-твоему, он будет делать?
- Сойдется опять со своей старой любовью.
- А кто его старая любовь?
- Некая Фрэнсис.

Мы выпили еще абсента.

- Когда ты уезжаешь? — спросил я.

- Завтра.

Немного погодя Билл сказал:

- Ну, что же, фиеста прошла чудесно.
- Да, — сказал я, — все время чем-то были заняты.
- Даже не верится. Похоже на изумительный кошмар.
- Почему не верится? — сказал я. — Я всему поверю.

Включая кошмары.

- Что с тобой? Скверно?

- До черта скверно.

— Выпей еще абсента. Эй, подойдите сюда. Еще абсента этому сеньору.

- Мне очень скверно, — сказал я.

- Выпей, — сказал Билл. — Пей медленно.

Становилось темно. Фиеста продолжалась. Я пачал пьянеть, но от этого не чувствовал себя лучше.

- Ну как?

- Скверно.

- Хочешь еще?

- Не поможет.

— Попробуй. Никогда нельзя знать, может быть, именно эта рюмка поможет. Эй, вы! Еще абсента этому сеньору.

Я сразу налил воды в абсент и размешал, вместо того чтобы дать ей стечь каплями. Билл бросил в стакан кусочек льда. Я ложкой помешал лед в темной, мутной смеси.

- Вкусно?

- Очень.

- Не пей так быстро. Тебя стошнит.

Я поставил стакан. Я вовсе не собирался пить быстро.

- Я пьян.

- Еще бы!

- Этого ты хотел, да?

- Имепно. Напейся. Разгони тоску.

- Ну, хорошо, я пьян. Этого ты хотел?

- Сядь.

- Не хочу, — сказал я. — Я пойду в отель.

Я был очень пьян. Я не помню, чтобы я когда-нибудь был так пьян. Вернувшись в отель, я поднялся паверх.

Дверь в комнату Брет была приоткрыта. Я сунул голову в комнату. Майкл сидел на кровати. Он помахал мне бутылкой.

— Джейк,— сказал он.— Идите сюда, Джейк.

Я вошел в комнату и сел. Комната ходила ходуном, если я не смотрел в одну точку.

— Знаете, ведь Брет уехала с этим матадором.

— Неправда.

— Правда. Она искала вас, хотела проститься. Они уехали семичасовым.

— Вот как?

— Зря это она,— сказал Майкл.— Не следовало ей этого делать.

— Да.

— Хотите выпить? Я сейчас позвоню, чтобы подали пива.

— Я пьян,— сказал я.— Я пойду к себе и лягу.

— Вдрызг? Я сам был вдрызг.

— Да,— сказал я.— Вдрызг.

— Ну, ладно,— сказал Майкл.— Идите спать, Джейк.

Я вышел из комнаты, пошел к себе и лег на кровать. Кровать закачалась, я приподнялся и стал смотреть в стену, чтобы остановить качку. За окном, на площади, шумела фиеста. Но она утратила всякий смысл. Потом приходили Майкл и Билл, звали меня вниз, пообедать с ними. Я притворился спящим.

— Он спит. Не трогайте его.

— Он пьян как стелька,— сказал Майкл. Они вышли.

Я встал, вышел на балкон и стал смотреть, как танцуют на площади. Мир перестал кружиться. Он был очень ясный и четкий, лишь слегка затуманенный по краям. Я умылся, пригладил волосы. Лицо мое в зеркале показалось мне странным. Потом спустился вниз, в столовую.

— Вот он! — сказал Билл.— Молодец, Джейк! Я же знал, что ты не раскиснешь.

— Привет, старый пьянчуга! — сказал Майкл.

— Я захотел есть и проснулся.

— Поешь супцу,— сказал Билл.

Мы пообедали втроем, и казалось, что за нашим столом не хватает по крайней мере шести человек.

Глава девятнадцатая

Наутро все было позади. Фиеста кончилась. Я проснулся около девяти часов, принял ванну, оделся и сошел вниз. Площадь была пуста, улицы безлюдны. На площади дети подбирали палки-от ракет. Кафе только еще открывались, официанты выносили удобные плетеные кресла и расставляли их вокруг мраморных столиков в тени аркады. Повсюду подметали улицы и поливали водой из кишки.

Я сел в удобное плетеное кресло и откинулся на спинку. Официант не спешил подойти ко мне. Объявления о выгрузке быков и о добавочных поездах все еще белели на колоннах. Вышел официант в синем фартуке, с тряпкой и ведром воды, и начал срывать объявления, отдирая бумагу полосами и смывая ее в тех местах, где она прилипла к камню. Фиеста кончилась.

Я выпил кофе, и немного спустя пришел Билл. Я смотрел, как он идет через площадь. Он сел за мой столик и заказал кофе.

— Ну,— сказал он,— вот и конец.

— Да,— сказал я.— Когда ты едешь?

— Еще не знаю. Пожалуй, возьмем машину. Разве ты не в Париж?

— Нет. У меня в запасе еще неделя. Я думаю поехать в Сан-Себастьян.

— Мне уже хочется домой.

— А что Майкл думает делать?

— Он едет в Сен-Жан-де-Люс.

— Давай возьмем машину и доедем все вместе до Байонны. Ты можешь сесть там на вечерний поезд.

— Хорошо. После завтрака поедем.

— Ладно. Я найму машину.

Мы позавтракали и заплатили по счету. Монтойа не подходил к нам. Счет принесла одна из служанок. Машина

ждала у подъезда. Шофер взвалил часть вещей на крышу автомобиля и привязал их, остальные сложил рядом со своим сиденьем, и мы сели. Машина пересекла площадь, свернула на поперечную улицу, проехала под деревьями, потом пошла под гору, прочь от Памплоны. Дорога не казалась мне очень долгой. У Майкла была бутылка фундадору. Я только раза два хлебнул. Мы перевалили через горы, оставили позади Испанию, проехали по белым дорогам через густолиственную, влажную, зеленую Бискайю и наконец въехали в Байонну. Мы сдали вещи Билла на хранение, и он взял билет до Парижа. Поезд его уходил в семьдесять. Мы вышли из вокзала. Наша машина ждала у подъезда.

— Что мы сделаем с машиной? — спросил Билл.

— А, наплевать, — сказал Майкл. — Давайте еще покажемся.

— Ладно, — сказал Билл. — Куда мы поедем?

— Поедем в Биарриц и выпьем.

— Майкл Расточитель, — сказал Билл.

Мы поехали в Биарриц и оставили машину у дверей фешенебельного ресторана. Мы вошли в бар, уселись на высоких табуретах и выпили виски с содовой.

— За это я плачу, — сказал Майкл.

— Бросим кости.

Мы выбросили покерные кости из глубокой кожаной чашки. Билл выиграл в первом туре. Майкл проиграл мне и вручил бармену стофранковую бумажку. Порция виски стоила двенадцать франков. Мы еще выпили, и опять проиграл Майкл. Каждый раз он давал бармену на чай. В соседней комнате играл хороший джаз. Это был приятный бар. Мы еще выпили. Я выиграл в первом же туре, выбросив четыре короля. Билл и Майкл продолжали играть. Майкл выбросил четыре валета и выиграл. Второй тур выиграл Билл. В решающем туре Майкл выбросил три короля и оставил их без прикупа. Он передал чашку Биллу. Билл потряс ее, выбросил кости — три короля, туз и дама.

— Вам платить, — сказал Билл. — Майкл Старый Шулер.

— Мне очень жаль, — сказал Майкл, — но этого я не могу.

— В чем дело?

— Денег нет, — сказал Майкл. — Ничего не осталось. У меня ровно двадцать франков в кармане. Нате, возьмите двадцать франков.

Билл слегка изменился в лице.

— У меня только-только хватило расплатиться с Монтойей. И то слава богу.

— Выпишите чек, я вам дам денег,— сказал Билл.

— Очень вам благодарен, но я не имею права выписывать чеки.

— А где вы думаете достать денег?

— Немного я получу. Мне должны прислать деньги за полмесяца. В Сен-Жан-де-Люс есть гостиница, где я могу жить в кредит.

— Что мы будем делать с машиной? — спросил меня Билл.— Может быть, отпустим ее?

— Пусть подождет. Хотя на что она нам?

— Давайте выпьем еще по одной,— сказал Майкл.

— Отлично. За это я плачу,— сказал Билл.— А у Брет есть деньги? — Он повернулся к Майклу.

— Вряд ли. Я почти весь счет Монтойи оплатил из ее денег.

— У нее хоть какие-нибудь деньги есть при себе? — спросил я.

— Вряд ли. У нее никогда нет денег. Она получает пятьсот фунтов в год, и триста пятьдесят из них уходит на проценты жидам.

— Недурно наживаются,— сказал Билл.

— Неплохо. Кстати, они не евреи. Мы просто зовем их так. Они, кажется, шотландцы.

— Так у нее совсем нет денег? — спросил я.

— Вероятно. Все, что у нее было, она отдала мне перед отъездом.

— Ну что ж,— сказал Билл,— остается только выпить еще по одной.

— Верно,— сказал Майкл.— Говорить о деньгах — занятие пустое.

— Вы правы,— сказал Билл. Мы с Биллом разыграли, кому платить. Билл проиграл и заплатил. Мы вышли к ожидавшейся машине.

— Куда вы хотите ехать, Майкл? — спросил Билл.

— Давайте просто покатаемся. Это, может быть, поднимет мой кредит. Покатаемся немного.

— Отлично. Мне хочется взглянуть на побережье. Давайте поедem в Андай.

— На побережье у меня нет никакого кредита.

— Как знать,— сказал Билл.

Мы поехали по дороге, идущей вдоль побережья. Зеле-

нели луга, мелькали белые, под красными крышами виллы, клочки леса, и по краю далеко отступившего от берега очень синего моря кудрявились волны. Мы проехали через Сен-Жан-де-Люс и другие прибрежные городки, расположенные подальше. Позади холмистой равнины, по которой мы ехали, видны были горы, отделявшие нас от Памплоны. Дорога вела все дальше. Билл взглянул на часы. Нам пора было возвращаться. Он постучал в стекло и велел шоферу ехать обратно. Машина, разворачиваясь, задом въехала в придорожную траву. За нами был лес, впереди, под нами, — луговина, а дальше — море.

Мы остановились в Сен-Жан-де-Люс, у подъезда отеля, где Майкл собирался жить, и он вышел из машины. Шофер внес его чемоданы. Майкл стоял возле машины.

— Прощайте, друзья, — сказал Майкл. — Замечательная была фиеста.

— Всего хорошего, Майкл, — сказал Билл.

— Скоро увидимся, — сказал я.

— О деньгах не беспокойтесь, — сказал Майкл. — Вы заплатите, Джейк, за машину, а я вам пришлю свою долю.

— Прощайте, Майкл.

— Прощайте, друзья. Спасибо вам.

Он пожал руку Биллу и мне. Машина отъехала, и мы помахали ему. Он стоял на дороге и смотрел нам вслед. В Байонну мы приехали перед самым отходом поезда. Носильщик принес чемоданы Билла из камеры хранения. Я проводил его до решетки на перроне.

— Ну прощай, Джейк, — сказал Билл.

— Прощай, дружище!

— Очень хорошо было. Я очень хорошо провел время.

— В Париже удержишься?

— Нет. Я семнадцатого на пароход. Ну прощай!

— Прощай, Билл!

Он прошел через дверцу в решетке к поезду. Носильщик шел впереди с чемоданами. Я смотрел, как отходит поезд. Билл стоял у одного из окон. Окно проехало, весь поезд проехал, рельсы опустели. Я вышел через вокзал к автомобилю.

— Сколько с меня? — спросил я шофера. За путь до Байонны мы уговорились заплатить сто пятьдесят песет.

— Двести песет.

— А сколько вы возьмете, чтобы завезти меня на обратном пути в Сан-Себастьян?

— Пятьдесят песет.

— Вы шутите.
— Тридцать пять песет.
— Это слишком дорого, — сказал я. — Отвезите меня в отель «Панье-Флэри».

У подъезда отеля я заплатил шоферу и дал ему на чай. Машина была покрыта пылью. Я провел чехлом спиннинг по стенке машины. Эта пыль было последнее, что связывало меня с Испанией и фиестой. Шофер завел мотор, и машина покатила по улице. Я смотрел, как она сворачивает на дорогу в Испанию. Я вошел в отель и снял номер. Мне дали тот же номер, в котором я жил, когда Билл, и Кон, и я были в Байонне. Казалось, это было когда-то очень давно. Я умылся, переменял рубашку и пошел в город.

В газетном киоске я купил номер «Нью-Йорк геральд» и зашел в кафе почитать его. Странно было снова очутиться во Франции. Все здесь отдавало провинциальной тишиной и спокойствием. Я почти жалел, что не поехал с Биллом в Париж, но Париж — это значило бы продолжение фиесты. С меня пока довольно было фиест. В Сан-Себастьяне будет тихо. Сезон откроется не раньше августа. Я сниму хороший номер в отеле и буду читать и купаться. Там прекрасный пляж. Набережная обсажена чудесными деревьями, и много детей со своими нянями проводят там лето до открытия сезона. По вечерам оркестр будет играть под деревьями напротив кафе «Маринас». Я буду сидеть в кафе «Маринас» и слушать музыку.

— Как у вас тут кормят? — спросил я официанта. К кафе примыкал ресторан.

— Хорошо. Очень хорошо. Здесь очень хорошо кормят.

— Отлично.

Я пошел в ресторан и пообедал. Для Франции это был обильный обед, но после испанских трапез он показался мне несколько скудным. За неимением другой компании я заказал бутылку «шато марго». Приятно было пить медленно, и смаковать вино, и пить в одиночестве. Бутылка вина — хорошая компания. Потом я выпил кофе. Официант посоветовал мне бискайский ликер, под названием «иссара». Он принес бутылку с ликером и наполнил рюмку. Он сказал, что иссару делают из пиренейских цветов. Из настоящих пиренейских цветов. Ликер видом напоминал вежетабль, а запахом — итальянский ликер стрега. Я велел официанту убрать пиренейские цветы и принести мне французский *vieux magc*. Магс оказался вкусным. После кофе я выпил вторую рюмку.

Официант, по-видимому, немного обиделся за пиренейские цветы, поэтому я щедро дал ему на чай. Это обрадовало его. Хорошо жить в стране, где так легко и просто доставлять людям радость. В Испании никогда нельзя знать наперед, поблагодарит ли тебя официант. Во Франции же все построено на четкой финансовой основе. Нет страны, где жизнь была бы проще. Никто не усложняет отношений, становясь твоим другом по каким-то неясным причинам. Если хочешь, чтобы тебя любили, стоит только истратить немного денег. Я истратил немного денег, и официант полюбил меня. Он оценил мои достоинства. Он будет рад снова увидеть меня. Когда-нибудь я снова приду сюда обедать, и он рад будет меня видеть и захочет, чтобы я сел за его столик. Это будет искренняя любовь, потому что у нее будет разумное основание. Я почувствовал, что вернулся во Францию.

На другое утро я всем в отеле дал слишком много на чай, чтобы приобрести еще друзей, и утренним поездом уехал в Сан-Себастьян. На вокзале я дал носильщику на чай ровно столько, сколько считал нужным, потому что сомневался, что еще когда-нибудь увижусь с ним. Мне только хотелось иметь несколько добрых друзей-французов в Баяонне на случай, что я вернусь туда. Я знал, что если они запомнят меня, то будут мне верными друзьями.

В Ируне была пересадка, и нужно было предъявить паспорт. Мне жаль было покидать Францию. Во Франции так легко жилось. Я знал, что делаю глупость, возвращаясь в Испанию. В Испании никогда ничего нельзя предугадать. Я знал, что глупо возвращаться в Испанию, но я стал в очередь со своим паспортом, открыл чемоданы и показал содержимое таможенному чиновнику, взял билет, прошел через дверцу, сел в поезд и через сорок минут и восемь туннелей очутился в Сан-Себастьяне.

Даже в жаркий день в Сан-Себастьяне чувствуется как бы прохлада раннего утра. Кажется, что листья на деревьях никогда не бывают совсем сухими. Улицы такие, точно их только что поливали. В самый жаркий день на некоторых улицах тенисто и прохладно. Я выбрал отель в центре города, где я уже останавливался, и получил комнату с балконом, откуда открывался вид на городские крыши. За крышами высился зеленый склон горы.

Я распаковал свои вещи и сложил книги на столик в головах кровати, достал бритвенный прибор, повесил кое-что из одежды в большой шкаф и собрал белье, чтобы отдать

его в стирку. Потом я принял душ в ванной и спустился вниз завтракать. В Испании часы еще не перевели на летнее время, поэтому я пришел рано. Я перевел свои часы. Приехав в Сан-Себастьян, я выиграл час.

Когда я шел в столовую, портье вручил мне бланк из полиции, чтобы я его заполнил. Я подписал бланк, потом отправил телеграмму в отель Монтойи с просьбой все письма и телеграммы на мое имя пересылать по такому-то адресу. Я высчитал, сколько дней пробуду в Сан-Себастьяне, телеграфировал в редакцию, чтобы мою корреспонденцию сохраняли, но все телеграммы в течение шести дней пересылали в Сан-Себастьян. Потом я пошел в столовую и позавтракал.

После завтрака я поднялся к себе, немного почитал и заснул. Проснулся я в половине пятого. Я достал купальный костюм, завернул его вместе с гребенкой в полотенце, вышел на улицу и зашагал к бухте Конча. Начинался отлив. Желтый прибрежный песок был гладкий и твердый. Я вошел в кабинку, разделся, надел купальный костюм и пошел по гладкому песку к морю. Приятно было идти босиком по теплему песку. Купающихся, в воде и на берегу, было довольно много. Вдали, там, где края бухты почти сходились, замыкая гавань, за белой линией прибоя виднелось открытое море. Несмотря на отлив, изредка подкатывали медленные волны. Появлялась легкая зыбь, потом волны тяжелели и плавно набегали на теплый песок. Я вошел в воду. Вода была холодная. Когда подкатила волпа, я нырнул, поплыл под водой и поднялся на поверхность, уже не чувствуя холода. Я подплыл к плоту, подтянулся и лег на горячие доски. На другом конце плота отдыхали молодой человек и девушка. Девушка отстегнула бретельку своего купального костюма и повернулась спиной к солнцу. Молодой человек лежал ничком на плоту и разговаривал с ней. Она смеялась его словам и подставляла под солнечные лучи загорелую спину. Я лежал на плоту под солнцем, пока не обсох. Потом я несколько раз нырнул. Один раз я нырнул глубоко, почти до самого дна. Я плыл с открытыми глазами, и кругом было зелено и темно. Плот отбрасывал густую тень. Я выплыл около плота, посидел на нем, еще раз нырнул, пробыл под водой как можно дольше и поплыл к берегу. Я полежал на берегу, чтобы обсохнуть, зашел в кабинку, снял купальный костюм, окатился холодной водой и вытерся насухо.

Я прошел берегом под деревьями до казино, а потом по

одной из прохладных улиц вышел к кафе «Маринас». Внутри кафе играл оркестр, и я сидел на террасе, наслаждаясь прохладой среди жаркого дня, и пил лимонад со льдом, а потом выпил большой стакан виски с содовой. Я долго просидел на террасе кафе «Маринас», читал газеты, смотрел на публику и слушал музыку.

Позже, когда стало темнеть, я погулял по набережной вдоль бухты и наконец вернулся в отель ужинать. Велосипедисты, участники пробега «Вокруг Бискайи», отдыхали эту ночь в Сан-Себастьяне. Они сидели в столовой, за отбельным длинным столом, со своими тренерами и импресарио. Все они были французы и бельгийцы, и они уделяли немало внимания еде, но это не мешало им веселиться. На верхнем конце стола сидели две хорошенькие французенки, в которых было много чисто монмартрского шика. Я не мог определить, с кем из молодых людей они приехали. Все, сидевшие за длинным столом, говорили на арго и обменивались шутками, непонятными для посторонних, и случалось, что шутки, сказанных вполголоса в дальнем конце стола, не повторяли, когда девушки просили об этом. Старт финального перегона Сан-Себастьян — Бильбао был назначен на пять часов утра. Велосипедисты пили много вина, лица у них были темные, обожженные солнцем. К гонкам они относились серьезно, только когда состязались между собой. Они так часто соревновались друг с другом, что было почти безразлично, кто победит в этом пробеге. Особенно в чужой стране. Финансовую сторону всегда можно уладить.

У одного из гонщиков, добившегося преимущества в две минуты, был чирей, который причинял ему сильную боль. Он не мог сидеть как следует. У него была багровая от загара шея и выгоревшие на солнце светлые волосы. Остальные подтрунивали над ним. Он постучал вилкой по столу.

— Слушайте,— сказал он,— завтра мой нос так плотно прилипнет к рулю, что только легкий ветерок будет овеивать мой чирья.

Одна из девушек взглянула на него через стол, и он, покраснев, засмеялся. Они говорили, что испанцы не умеют ездить на велосипеде.

Я пил кофе на террасе с представителем крупного велосипедного завода. Он сказал, что пробег был очень интересный и его стоило посмотреть, если бы только Ботекиа не выбыл из строя в Памплоне. Очень мешала пыль, но испан-

ские дороги лучше французских. По его мнению, только велогонки — настоящий спорт. Следил ли я за пробегом «Вокруг Франции»? Только по газетам? «Вокруг Франции» было величайшим спортивным событием. Организуя этот пробег и сопровождая гонщиков, он узнал Францию. Мало кто знает Францию. Всю весну, все лето и всю осень он провел на дорогах с гонщиками. Смотрите, сколько автомобилей теперь сопровождает из города в город все пробег. Франция — богатая страна и с каждым годом становится спортивней. Со временем она будет самой спортивной страной. И это благодаря велогонкам. И еще футболу. Он знает Францию. La France sportive. Он знает велосипедный спорт. Мы выпили коньяку. Но, конечно, и в Париж вернуться неплохо. Париж — самый спортивный город в мире. Знаю ли я кабачок «Веселый негр»? Еще бы не знать. Если я как-нибудь загляну туда, я его застаю. Непременно загляну. Мы там опять выпьем по рюмочке коньяку. Непременно выпьем. Они отправляются утром, без четверти шесть. Встану ли я к их отъезду? Постараюсь, непременно. Может быть, разбудить меня? Будет очень интересно. Я скажу портье, чтобы меня разбудили. Он с удовольствием сам разбудит меня. Зачем же затруднять его, я скажу портье, чтобы меня разбудили. Мы разошлись, попрощавшись до утра.

Назавтра, когда я проснулся, гонщики и сопровождавшие их автомобили уже покрыли трехчасовой путь. Кофе и газеты мне подали в постель, потом я оделся и, захватив купальный костюм, отправился на пляж. Утро еще не кончилось, все было свежо, прохладно и влажно. Под деревьями гуляли дети с нянями в форме или в крестьянском платье. Испанские дети были красивы. Под одним деревом сидели чистильщики сапог и разговаривали с солдатом. У солдата была только одна рука. Начался прилив, дул крепкий ветер, и набегали большие волны.

Я разделся в одной из кабинок, пересек узкую полосу пляжа и вошел в воду. Я поплыл, стараясь не попадать в волну, но иногда она накрывала меня. Выплыв в спокойную воду, я повернулся и лег на спину. Лежа на спине, я видел только небо и чувствовал легкое укачивание зыби. Я перевернулся и поплыл обратно, и большая волна вынесла меня на берег, потом я опять поплыл, стараясь держаться между волнами и не давать им захлестывать меня. Когда я устал плавать между волнами, я повернул и поплыл к плоту. Вода была бурливая и холодная. Мне ка-

залось, что утонуть невозможно. Я плыл медленно, меня словно тихо уносило течением, потом взобрался на плот и сидел, обсыхая на уже нагретых солнцем досках. Я смотрел на бухту, на старый город, на казино, на ряд деревьев вдоль набережной, на белые крылечки и золотые буквы вывесок больших отелей. Вдали, справа, почти замыкая бухту, виднелся зеленый холм с замком. Плот покачивался от движения воды. С левой стороны узкого прохода в открытое море высился другой холм. Я подумал, что хорошо бы переплыть бухту, но побоялся судорог.

Я обсыхал на солнце и вглядывался в усеянный купающимися пляж. Они казались очень маленькими. Немного спустя я встал, уперся пальцами ног в край плота и, когда он накренился под моей тяжестью, нырнул точно и глубоко, потом поднялся на поверхность, подталкиваемый водой, отряхнулся от соленой воды и не спеша, размеренно поплыл к берегу.

Одевшись и заплатив за кабинку, я пошел обратно, в отель. Велосипедисты оставили в читальне несколько номеров журнала «Авто». Я собрал их, вышел с ними из отеля и уселся в кресле на солнечной стороне, чтобы почитать их и войти в курс спортивной жизни Франции. Вскоре из отеля вышел портье с синим конвертом в руках.

— Вам телеграмма, сэр.

Я подсунул палец под заклеенный край, развернул телеграмму и прочел. Ее переслали из Парижа:

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПРИЕЗЖАЙ МАДРИД ОТЕЛЬ МОНТАНА НУЖНА
ТВОЯ ПОМОЩЬ БРЕТ

Я дал портье на чай и перечел телеграмму. По тротуару шагал почтальон. Он вошел в отель. У него были пышные усы и вид бравого служаки. Потом он вышел из отеля. За ним по пятам шел портье.

— Еще телеграмма для вас, сэр.

— Спасибо,— сказал я.

Я вскрыл телеграмму. Ее переслали из Памплоны.

ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПРИЕЗЖАЙ МАДРИД ОТЕЛЬ МОНТАНА НУЖНА
ТВОЯ ПОМОЩЬ БРЕТ

Портье не уходил, вероятно дожидаясь часовых.

— Когда есть поезд на Мадрид?

— Уже ушел в девять утра. Есть почтовый в одиннадцать, а потом Южный экспресс в десять вечера.

— Возьмите мне билет на экспресс. Деньги вам сейчас дать?

— Как вам угодно,— сказал он.— Могу поставить на счет.

— Пожалуйста.

Итак, Сан-Себастьян полетел к черту. Мне кажется, я смутно ждал чего-то в этом роде. Я увидел, что портье еще стоит в дверях.

— Пожалуйста, дайте мне телеграфный бланк.

Он принес бланк, я достал свое вечное перо и вывел:

ЛЕДИ ЭШЛИ ОТЕЛЬ МОНТАНА МАДРИД ПРИЕДУ ЗАВТРА ЭКСПРЕССОМ ЦЕЛУЮ ДЖЕЙК

Теперь, кажется, все. Так, так. Сначала отпусти женщину с одним мужчиной. Представь ей другого и дай ей сбежать с ним. Теперь поезжай и привези ее обратно. А под телеграммой поставь «целую». Так, именно так. Я пошел в отель завтракать.

Я плохо спал эту ночь в Южном экспрессе. Утром я позавтракал в вагоне-ресторане и любовался поросшими сосновой горами между Авила и Эскуриалом. Я увидел в окно дворец, серый, длинный и холодный под солнцем, и ничуть не восхитился. Вдали, по ту сторону иссушенной солнцем равнины, на вершине невысокой горы показался белый плотный массив Мадрида.

Мадридский Северный вокзал — конечная станция. Все маршруты кончаются здесь. Поезда не идут дальше. Перед вокзалом стояли извозчики и такси и шеренга отельных агентов. Было похоже на провинциальный город. Я взял такси, и мы поехали в гору, сначала парком, потом мимо нежилого дворца и недостроенной церкви над обрывом, выше и выше, пока не добрались до новой, жаркой части города. Машина ровной улицей выехала на Пуэрта-дель-Соль, пересекла оживленную, шумную площадь и выбралась на Каррера-Сан-Херонимо. Для защиты от зноя у всех магазинов навесы были опущены, ставни на солнечной стороне улицы закрыты. Машина подъехала к тротуару и остановилась. Я увидел вывеску на втором этаже: «Отель Монтана». Шофер внес мои чемоданы и поставил их возле лифта. Лифт не действовал, и я пошел наверх пешком. На втором этаже была медная дощечка с надписью: «Отель Монтана». Я позвонил, но никто не вышел. Я еще раз позвонил, и дверь открыла хмурая служанка.

— Леди Эшли здесь? — спросил я.

Она тупо посмотрела на меня.

— У вас живет англичапка?

Она повернулась и кликнула кого-то. К двери подошла очень толстая женщина. Ее седые, густо напояженные волосы жесткими фестопами лежали вокруг лица. Она была низкого роста и выглядела внушительно.

— *Muy buenos*¹,— сказал я.— У вас живет англичанка? Я хотел бы повидать ее.

— *Muy buenos*. Да, здесь живет англичанка. Конечно, вы можете повидать ее, если она хочет вас видеть.

— Она хочет меня видеть.

— Я пошлю спросить у нее.

— Очень жарко.

— Летом в Мадриде всегда очень жарко.

— Зато зимой как холодно.

— Да, зимой очень холодно.

Остановлюсь ли я тоже в отеле Монтана?

Этого я еще не решил, но я попросил бы принести мои вещи снизу, чтобы они не пропали. В отеле Монтана никогда ничего не пропадает. В других гостиницах — да. Но не здесь. Нет. В ее отеле прислугу нанимают с большим разбором. Рад слышать это. Все же я предпочел бы, чтобы мои вещи принесли наверх.

Вернулась служанка и сказала, что английская женщина хочет видеть английского мужчину сейчас же, немедленно.

— Ну вот,— сказал я.— Видите. Я вам так и говорил.

— Верно.

Я шел за спиной служанки по длинному темному коридору. Дойдя до конца, она постучала в одну из дверей,

— Хэлло,— сказала Брет.— Это ты, Джейк?

— Я.

— Входи, входи.

Я открыл дверь. Служанка притворила ее за мной. Брет лежала в постели. Она только что пригладила волосы и еще держала щетку в руке. В комнате был тот беспорядок, какой бывает только у людей, привыкших всегда держать прислугу.

— Милый! — сказала Брет.

Я подошел к кровати и обнял ее. Она поцеловала меня, и я чувствовал, что, целуя меня, она думает о чем-то другом. Она дрожала, прижавшись ко мне. Она очень похудела.

— Милый! Это было просто ужасно.

¹ Здравствуйте (*исп.*).

— Расскажи мне все.

— Нечего рассказывать. Он только вчера уехал. Я заставила его уехать.

— Почему ты не оставила его при себе?

— Не знаю. Есть вещи, которых нельзя делать. Хотя, думаю, я ему не принесла вреда.

— Ты, вероятно, ничего, кроме добра, не принесла ему.

— Он вообще не должен ни с кем связываться. Я это сразу поняла.

— Разве?

— О, черт! — сказала она. — Не будем об этом говорить. Никогда не будем об этом говорить.

— Ладно.

— Все-таки было неприятно, что он стыдится меня. Знаешь, он сначала стыдился меня.

— Да что ты?

— Да, да. Его, должно быть, ругали за меня в кафе. Он хотел, чтобы я отпустила волосы. Представляешь себе меня с длинными волосами? На кого бы я была похожа!

— Вот чудак.

— Он говорил, что это придаст мне женственности. Я была бы просто уродом.

— Ну и что же?

— Ничего. Это скоро прошло. Он недолго стыдился меня.

— А почему ты писала, что нужна моя помощь?

— Я не знала, сумею ли я заставить его уехать, и у меня не было ни гроша, чтобы уехать самой. Он, знаешь, все хотел дать мне денег. Я сказала ему, что мне деньги девать некуда. Он знал, что это неправда. Но не могла же я брать у него деньги.

— Конечно.

— Ох, не будем говорить об этом. Хотя кое-что было забавно. Дай мне, пожалуйста, папиросу.

Я дал ей закурить.

— Он выучился английскому языку, когда был офицером в Гибралтаре.

— Да.

— Кончилось тем, что он предложил мне руку и сердце.

— Серьезно?

— Конечно. А я даже за Майкла не могу выйти.

— Может быть, он думал, что станет лордом Эшли?

— Нет. Не потому. Он серьезно хотел жениться на мне. Чтобы я не могла уйти от него, говорил он. Он хотел сде-

лать так, чтобы я никогда не могла уйти от него. Но только после того, как я стану женственней.

— Теперь тебе будет спокойнее.

— Да. Мне опять хорошо. Я с ним забыла этого несчастного Кона.

— Это хорошо.

— Знаешь, я бы осталась с ним, но я видела, что это плохо для него. Мы с ним отлично ладили.

— Если не считать твоей наружности.

— О, к этому он бы привык.

Она потушила папиросу.

— Мне, знаешь, тридцать четыре года. Не хочу я быть такой дрянью, которая занимается тем, что губит мальчишек.

— Ну конечно.

— Не хочу я этого. Мне сейчас хорошо, знаешь. Мне сейчас спокойно.

— Это хорошо.

Она отвернулась. Я подумал, что она хочет достать еще папиросу. Потом я увидел, что она плачет. Я чувствовал, как она плачет. Дрожит и плачет. Она не поднимала глаз. Я снова обнял ее.

— Не будем никогда говорить об этом. Пожалуйста, не будем никогда говорить об этом.

— Брет, дорогая моя!

— Я вернусь к Майклу.— Я крепче обнял ее, чувствуя, как она плачет.— Он ужасно милый и совершенно невозможный. Он как раз такой, какой мне нужен.

Она не поднимала глаз. Я гладил ее волосы. Я чувствовал, как она дрожит.

— Не хочу я быть такой дрянью,— сказала она.— Но только, Джейк, прошу тебя, никогда не будем говорить об этом.

Мы ушли из отеля Монтана. Когда я хотел уплатить по счету, хозяйка не взяла денег. Счет был оплачен.

— Ну, ладно, пусть,— сказала Брет.— Теперь уж это не важно.

Мы взяли такси и поехали в «Палас-отель», оставили там вещи, заказали места в Южном экспрессе на тот же вечер и зашли в бар при отеле выпить коктейль. Мы сидели у стойки на высоких табуретах и смотрели, как бармен встряхивал мартини в большом никелированном миксере.

— Удивительно, как чинно и благородно бывает в баре большого отеля,— сказал я.

— В наше время только бармены и жокеи еще умеют быть вежливыми.

— Каким бы вульгарным ни был отель, в баре всегда приятно.

— Странно.

— Бармены всегда очаровательны.

— Знаешь, — сказала Брет, — так оно и есть. Ему только девятнадцать лет. Поразительно, правда?

Мы чокнулись стаканами, когда они рядышком стояли на стойке. От холода они покрылись бусинками. За окном со спущенной шторой угадывался летний зной Мадрида.

— Я люблю, чтобы в коктейле была маслина, — сказал я бармену.

— Вы совершенно правы, сэр. Пожалуйста.

— Спасибо.

— Простите, что не предложил вам.

Бармен отошел подальше вдоль стойки, чтобы не слышать нашего разговора. Брет отпила из своего стакана, не поднимая его с деревянной стойки. Потом она взяла стакан в руки. Теперь, после того как она отпила глоток, она уже могла поднять его, не расплескав коктейля.

— Вкусно. Правда, приятный бар?

— Все бары приятные.

— Знаешь, сначала я просто не верила. Он родился в тысяча девятьсот пятом году. Я тогда училась в парижском пансионе. Ты подумай!

— Что ты хочешь, чтобы я подумал?

— Не ломайся. Можешь ты угостить свою даму или нет?

— Пожалуйста, еще два мартини.

— Так же, как первые, сэр?

— Было очень вкусно. — Брет улыбнулась бармену.

— Благодарю вас, мэм.

— Ну, будь здоров, — сказала Брет.

— Будь здорова!

— Знаешь, — сказала Брет, — до меня он знал только двух женщин. Он никогда ничем не интересовался, кроме боя быков.

— Еще успеет.

— Не знаю. Он думает, что главное была я сама. А не то что вообще фиеста и все такое.

— Пусть ты.

— Да. Именно я.

— Ты, кажется, не хотела больше об этом говорить.

— Как-то само собой получается.

— Лучше не говори, тогда все это останется при тебе.

— Я и не говорю, а только хожу вокруг да около. Знаешь, Джейк, мне все-таки очень хорошо.

— Так и должно быть.

— Знаешь, все-таки приятно, когда решишь не быть дрянью.

— Да.

— Это нам отчасти заменяет бога.

— У некоторых людей есть бог,— сказал я.— Таких даже много.

— Мне от него никогда проку не было.

— Выпьем еще по мартини?

Бармен смеялся еще две порции и налил коктейль в чистые стаканы.

— Где мы будем обедать? — спросил я Брет. В баре было прохладно. Чувствовалось, что на улице за окном очень жарко.

— Здесь? — предложила Брет.

— Здесь, в отеле, скверно. Вы знаете ресторан «Ботэп»? — спросил я бармена.

— Да, сэр. Если угодно, я напишу вам адрес.

— Благодарю вас.

Мы пообедали в ресторане «Ботэп», на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили «риоха альта». Брет ела мало. Она всегда мало ела. Я съел очень сытный обед и выпил три бутылки «риоха альта».

— Как ты себя чувствуешь, Джейк? — спросила Брет.— Господи! Ну, и обед же ты съел!

— Я чувствую себя отлично. Хочешь что-нибудь на сладкое?

— Ох, нет.

Брет курила.

— Ты любишь поесть, правда? — сказала она.

— Да,— сказал я.— Я вообще многое люблю.

— Например?

— О! — сказал я.— Я многое люблю. Хочешь что-нибудь на сладкое?

— Ты меня уже спрашивал,— сказала Брет.

— Да,— сказал я.— Совершенно верно. Выпьем еще бутылку?

— Хорошее вино.

— Ты почти не пила,— сказал я.

— Пила. Ты не заметил.

— Закажем две бутылки,— сказал я. Вино подали. Я отлил немного в свой стакан, потом налил Брет, потом наполнил свой стакан. Мы чокнулись.

— Будь здоров! — сказала Брет. Я осушил свой стакан и еще раз наполнил его. Брет дотронулась до моего локтя.

— Не напивайся, Джейк,— сказала она,— Не из-за чего.

— Почему ты знаешь?

— Не надо,— сказала она.— Все будет хорошо.

— Я вовсе не напиваюсь,— сказал я.— Я просто попиваю винцо. Я люблю выпить винца.

— Не напивайся,— сказала она.— Не напивайся, Джейк.

— Хочешь покататься? — спросил я.— Хочешь показаться по городу?

— Правильно,— сказала Брет.— Я еще не видела Мадрида. Надо посмотреть Мадрид.

— Я только долью,— сказал я.

Спустившись вниз, мы через столовую первого этажа вышли на улицу. Один из официантов пошел за такси. Было жарко и солнечно. В конце улицы, на маленькой площади, обсаженной деревьями и поросшей травой, была стоянка такси. Подъехала машина, на подножке, держась за окно, ехал официант. Я дал ему на чай, сказал шоферу, куда ехать, и сел рядом с Брет. Машина покатила по улице. Я откинулся на спинку сиденья. Брет подвинулась ко мне. Мы сидели близко друг к другу. Я обнял ее одной рукой, и она удобно прислонилась ко мне. Было очень жарко и солнечно, и дома были ослепительно белые. Мы свернули на Гран-Виа.

— Ах, Джейк! — сказала Брет.— Как бы нам хорошо было вместе.

Впереди стоял конный полицейский в хаки и регулировал движение. Он поднял палочку. Шофер резко затормозил, и от толчка Брет прижало ко мне.

— Да,— сказал я.— Этим можно утешаться, правда?

МОЛОДОЙ ХЕМИНГУЭЙ И «ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

1

Тематика, идеи, творческие поиски молодого Хемингуэя многими нитями связаны с проблемой так называемого потерянного поколения.

Что такое потерянное поколение? Так называли на Западе после мировой войны 1914—1918 годов молодых фронтовиков, тяжело травмированных войной и не сумевших найти свое место в послевоенном мире. Это были как бы неучтенные жертвы войны, люди, потерпевшие поражение независимо от того, в войсках какой империалистической державы, победившей или побежденной, они сражались. Название пошло от Хемингуэя. «Все вы — потерянное поколение», — говорится в эпиграфе к его первому роману «Фиеста».

В облике самого писателя и героев его ранних произведений легко найти общие, объединяющие их черты. Потому биографическая характеристика молодого Хемингуэя нередко может служить и для характеристики его героев тех лет.

Хемингуэй родился и вырос в обеспеченной американской семье в пригороде Чикаго. В семье господствовала буржуазно-мещанская, религиозная традиция, будившая в нем уже с юности сопротивление и протест. Краткий опыт газетчика-репортера столкнул юного Хемингуэя с жестокими сторонами жизни американского капиталистического города; но он не успел пройти сколько-нибудь серьезной жизненной школы, встретиться с передовыми социальными идеями, их осознать. Отталкиваясь от опостылевшего родного очага, в поисках новых впечатлений, отчасти захваченный фальшивыми призывами «спасти цивилизацию от гуннов», он ушел на войну добровольцем.

Девятнадцать лет он был тяжело ранен на австро-итальянском фронте. Огромная впечатлительность заставила его пережить ранение как смерть. Долгие годы он возвращался к этому мгновенному переживанию, исследуя его вновь и вновь в поисках точной картины испытанного. «Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что весь вырвался из самого себя и лечу, и лечу, и лечу, подхваченный вихрем. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мертв...» («Прощай, оружие!»).

Тема смерти, насильственной смерти занимает отныне огромное место в его видении мира.

Психическое потрясение припесло с собой бессонницу и ночные страхи. Болезненное состояние прошло, но осталась душевная раздвоенность, поделенность жизни на дневную, когда человек чувствует себя цельным, уверенным и спокойным, и — ночную, когда им владеют сомнения и тревоги. В ночные часы тревога посещает даже самых закаленных героев Хемингуэя.

Опыт империалистической войны произвел отчасти отрезвляющую, отчасти разрушительную работу в идейном мире молодого фронтовика, еще наивном, едва начавшем формироваться. Фронтная реальность разбила владевшие им ложные идеалы, но вместе с тем посеяла недоверие к высоким словам и возвышенным идеалам вообще. Этот взгляд выражен в известных скептических размышлениях лейтенанта Фредерика Генри в романе Хемингуэя «Прощай, оружие!»: «Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва»... Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас... но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю».

От военной травмы берет начало и обостренное наслаждение жизнью, столь характерное для героев молодого Хемингуэя. Это необычайное по своей интенсивности ощущение сродни ощущению солдата в отпуску или в недалеком тылу, всеми чувствами — кто знает, быть может, в последний раз — впивающего покой и радость бытия перед тем, как вернуться в огонь.

В дальнейшем это характерное восприятие природы и простых радостей жизни также займет свое место в общем мироощущении писателя.

Во многих рассказах начальных лет, вспоминая об отрочестве и юности своего героя, выступающего чаще всего под именем Ника Адамса, Хемингуэй разрабатывает эти ключевые в его творчестве автобиографические мотивы. В согласии с правилами усвоенной им поэтики он иногда предпочитает делать это по-явно,

скрытно. Так, касаясь творческой истории известного двух-частного рассказа «На Биг-Ривер» (из сборника «В наше время»), Хемингуэй пишет в позднейших воспоминаниях («Праздник, который всегда с тобой»): «Это был рассказ о возвращении с войны, но война в нем не упоминалась».

Названными чертами и психологией пострадавшего на войне фронтовика, собственно говоря, и ограничивается фактическая принадлежность Хемингуэя к людям потерянному поколению. Дальнейшие их отношения — это отношения писателя и его книг.

2

Читателя первых книг молодого Хемингуэя, романа «Фиеста», его рассказов в двух сборниках, «В наше время» и «Мужчины без женщин», не может не поразить малое внимание писателя к общественной проблематике. По сравнению со многими писателями-современниками он гораздо более поглощен проблемами личности вне ее широких общественных связей. Герои Хемингуэя этих лет не участвуют в политических потрясениях, последовавших за мировой империалистической войной, и почти их не комментируют.

Усугубление этих мотивов в некоторых произведениях Хемингуэя конца 20-х — начала 30-х годов способствовало его репутации в тот период как агрессивного индивидуалиста, обороняющего свою личность и свое творчество от всяческих социальных проблем и от того, что можно назвать общественным долгом писателя.

Если исходить из подобного взгляда на Хемингуэя, то может показаться недостаточно ясным стремительный выход писателя к общественной проблематике в середине 30-х годов и обесмертившее его — как «нового Байрона» наших дней — участие в гражданской войне в Испании.

Чтобы понять эти важнейшие страницы в жизни писателя как органическое его развитие, нужно знать политическую предысторию молодого Хемингуэя, предшествующую его литературным дебютом.

Как известно, молодой Хемингуэй входил в литературу в начале 1920-х годов, в период ожесточенных классовых сражений во всем мире. Пролетарская революция победила в России, но восстания пролетариата в странах Западной Европы не имели успеха, закончились победой буржуазии, белым террором. В Италии зарождался фашизм. Дома, в США, царила реакция.

Мог ли молодой Хемингуэй стоять вне этих социальных бурь? Нет, конечно.

Силою обстоятельств он был осведомлен в вопросах классовой борьбы и политики шире и основательнее, чем многие и многие американские писатели его поколения. В качестве журналиста, европейского корреспондента канадской «Торонто Стар», он был свидетелем многих важнейших политических событий начала 1920-х годов; он дышал атмосферой послевоенной Европы, присутствовал как газетчик на Генуэзской и потом на Лозаннской конференциях, был свидетелем первых фашистских бесчинств в Италии, клеймил Муссолини, писал о «королевских молодчиках» во Франции, объезжал Эльзас-Лотарингию и оккупированный Рур, находился во Фракии во время греко-турецкой войны.

Вероятно, только Джон Рид из американских писателей так прошел Европу предвоенных и военных лет, как Хемингуэй прошел послевоенную. Но Джон Рид был социалистом, получившим свою первую выучку в рабочем движении США; после Октябрьской революции 1917 года в России он твердо вступил на почву пролетарской борьбы, стал коммунистом. Молодой Хемингуэй был далек от социализма, и путь его сложился совсем иначе.

Однако — и это важно понять, чтобы вернее представить себе идейный и творческий путь Хемингуэя в дальнейшие годы, — молодой писатель не был равнодушным свидетелем страданий народных масс и героической борьбы рабочего класса; он им сочувствовал.

В воспоминаниях о 1920-х годах в Европе, возникающих в произведениях Хемингуэя в середине 1930-х, когда он был накануне выхода к открытому участию в антифашистской борьбе, отчетливо выступают его политические симпатии тех ранних лет.

«Они были потомками коммунаров, — пишет он о французских рабочих того квартала, где жил в молодые годы в Париже, — политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека» («Снега Килиманджаро»).

И еще:

«Пусть не говорят о революции... те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями... Кто никогда не голодал, участвуя во всеобщей стачке, и не водил трамвай по заведомо мишированным путям... Кто никогда не испытал удара дубинки по голове и сам не швырял кирпичом. Кто никогда не видел, как штрейкбрехеру перешибают руки ломом или как вкачивают в агитатора сжатый воздух насосом; кто никогда... не перевозил оружие ночью в большом городе... не стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной мочой черное пятно между большим

и указательным пальцем — след автомата... а по лестнице поднимаются солдаты, по рукам вас будут судить, других доказательств, кроме рук, им не надо; впрочем, пусть даже руки чисты, вас все равно не отпустят, если схватили на крыше...»¹

Эти строки из статьи, напечатанной в ноябре 1934 года, написаны под впечатлением политических событий в Испании в канун гражданской войны, но они ощутимо наслаиваются на воспоминания Хемингуэя о революционных боях 1920-х годов в Европе.

Вновь обращаясь памятью к тем годам, он пишет в статье «Старый газетчик», что убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург было началом «обдуманной программы убийств, гнуснее которых никто не видел на свете», и говорит о революции так: «В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли»².

Трудно с уверенностью сказать, что означает здесь «мы», с кем объединяет себя Хемингуэй, но вернее всего — с теми группами интеллигентной артистической молодежи, которые искали в эти послевоенные годы свой жизненный путь и для которых спад революционной волны в Европе знаменовал отход от широких общественных задач в их искусстве и обращение к более замкнутому индивидуальному и скептическому изображению действительности.

В своих автобиографических произведениях писатель ничего не рассказывает об этом этапе в своем идейном развитии. Но внимательный читатель молодого Хемингуэя не может не видеть, что он не был ни слеп, ни равнодушен к социальной и политической жизни, кипевшей вокруг, и отказаться от прямого участия в ней мог лишь преднамеренно.

Действительно, об этом своем решении, относящемся к осени 1922 года, он рассказывает почти через тридцать лет в письме к своему биографу, Чарльзу Фептону.

Хемингуэй только что вернулся в Париж с фронта греко-турецкой войны; он приехал завшивевший и в фурупулах, истощенный малярией, навидевшись столько людских страданий, что чаша его терпения переполнилась, и встал вопрос, что ему делать дальше.

«Я помню, как вернулся с Ближнего Востока... — так пишет он, — потрясенный всем, что увидел, и в Париже стал перед вы-

¹ Предисловие Хемингуэя к каталогу рисунков испанского художника Луиса Кинтанильи (Exhibition of Drawings and Paintings by Luis Quintanilla. New York. November 20 to December 4, 1934).

² «Old Newsman Writes», «Esquire», 1934, декабрь.

бором, посвятить ли мне жизнь тому, чтобы бороться со всем этим, или же стать писателем. Я решил, холодный как змей, что стану писателем и буду всю жизнь писать так верно, как только смогу»¹.

Главное в принятом решении было не «стать писателем» (это было бесповоротно решено уже несколько лет назад), а «стать холодным как змей», иными словами — не давать страданиям и горестям мира отвлекать его от задачи писателя. А задача, по крайней мере ближайшая, была написать о себе и своем поколении все, что он сам пережил и перечувствовал всей душой.

Так вступила в действие тема потерянного поколения в творчестве Хемингуэя, на некоторое время заслонившая более широкий аспект в его видении мира.

В то же время присяга писать верно (truly) была надежным залогом того, что этот художник еще придет к новым важным решениям.

3

В рассказах и романах своего первого десятилетия Хемингуэй создаст как бы духовную историю человека потерянного поколения, рисует его внутренний мир и философию жизни.

Физическая история героя Хемингуэя состоит из трех главнейших звеньев: война, возвращение солдата и дальнейшая его жизнь в послевоенном мире. В своих книгах Хемингуэй изложил ее с некоторым нарушением хронологии. Раньше всего он написал о возвращении солдата (наиболее ярко в рассказе «Дóма» из сборника «В наше время»), потом о его жизни в послевоенном мире («Фиеста») и в третью очередь о пребывании на войне («Прощай, оружие!»). Из такого порядка возникло некоторое перераспределение общих мотивов, связанных с историей потерянного поколения. В «Прощай, оружие!» герой более зрел, чем в предшествующих произведениях; Фредерик Генри передумал и обобщил многое, о чем еще только смутно задумывается пришедший с войны Кребс и даже Джейк Барнс. От лица Фредерика Генри Хемингуэй высказывает ряд «классических» формул потерянного поколения.

Вернувшись после двух лет на фронте домой, в США, в провинциальный американский городок в Оклахоме, герой рассказа «Дóма», молодой Кребс, не чувствует себя дома в родной семье.

¹ Письмо к Фентону от 23/XI 1951 г. См.: Charles Fenton. The Apprenticeship of Ernest Hemingway. New York, 1965, p. 183—184.

Весь привычный ранее обиход — застольные молитвы, планы родителей устроить его на приличную работу, женить на девушке из хорошей семьи — вызывает у Кребса одну лишь досаду и отвращение. Полученным на войне, неведомым всем им ужасным опытом он отрешен от этого мира с его обывательскими заботами и иллюзиями.

«— Бог всем велит работать,— сказала мать.— В царстве божием не должно быть ленивых.

— Я не в царстве божием,— ответил Кребс».

Это первое, пока самое краткое утверждение хемингуэевского героя, что благополучная вселенная, в которую его учили верить, более не существует, подробно разрабатывается в трагической концепции жизни, излагаемой Фредериком Генри в «Прощай, оружие!».

В пессимистических формулах в «Прощай, оружие!» нет недостатка; их часто приводят для характеристики взгляда Хемингуэя на жизнь вообще, и действительно, автор не всегда здесь стремится отделить себя от своих героев.

«Когда люди столько мужества приносят в этот мир,— размышляет Фредерик Генри,— мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом становятся только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки».

Из трагической концепции жизни вырастают моральные поиски молодого Хемингуэя. Творчество Хемингуэя с самого начала насыщено моральными мотивами, ставит целью найти, определить, отгадать, как вести себя человеку в условиях трагической действительности.

Стержневая идея моральных исканий Хемингуэя — это мужество, стоицизм перед лицом враждебных обстоятельств, тяжких ударов судьбы. Каждый читатель Хемингуэя знает, какую огромную роль играет физическая и моральная отвага в поступках его героев, в рисуемых им конфликтах. И какое огромное удовлетворение почерпает писатель, рисуя эту непокорную судьбе упругую силу человека.

Однажды он даже позволяет себе выйти за рамки своей «спартанской» эстетики, воспевающей в характеристике изображаемого предмета или явления пользоваться художественными средствами, не вытекающими прямо из его физической сущности.

«Если душевные качества имеют запах,— пишет Хемингуэй,— то храбрость для меня пахнет дубленой кожей, заледенев-

шей в мороз дорогой или морем, когда ветер рвет пену с волны» («Смерть после полудня»).

Заяв такую позицию, Хемингуэй начинает разрабатывать жизненную, моральную, эстетическую систему поведения своего героя, получившую известность под названием хемингуэевского кодекса или канона.

Хемингуэевский канон был наиболее развернуто представлен в его первом романе — «Фиеста».

«Фиеста» — шедевр молодого Хемингуэя, в некоторых отношениях оставшийся непревзойденным в его творчестве. В книге много горечи и непритворного отчаяния; но в ней также — подлинная привязанность к жизни и умение видеть ее красоту; моральное мужество, отказ от самообмана.

Главный герой «Фиесты» и рассказчик, от лица которого ведется повествование, — Джейк Барнс, американский журналист, живущий в Париже. Ранение, полученное на войне, исключает для Джейка возможность физической любви, таким образом, характерная для всех людей его круга душевная травмированность, надломленность развивается у Джейка на фоне подлинной трагедии его жизни. На протяжении романа приходят к кризису его отношения с очаровательной прожигательницей жизни Брет Эшли, которая любит его и которую он тоже любит. Эта любовь является для Джейка источником тяжелых страданий. И тем не менее он более мужествен, чем его друзья и собутыльники, чужд браваде отчаяния и в мучительных для себя конфликтах пытается искать разумные и человеческие решения.

Герои романа — почти все они бывшие фронтовики — постоянно в поисках развлечений, отчасти чтобы забыться; они опустошены, и им трудно надолго остаться один на один с собой. «Ужин в самом деле прошел очень весело, — рассказывает Джейк. — Брет надела черное вечернее платье без рукавов. Она была очень красива... Мне пришлось подняться наверх и привести Роберта Кона. Он держался холодно и церемонно... Но под конец он повеселел... Билл очень много острил. Острил и Майкл. Они были хорошей парой.

Такие ужины я запомнил со времен войны. Много вина, нарочитая беспечность и предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить».

При всем том развлечения героев, поездка Джейка и Билла Гортон в испанские Пиренеи, где они удят форель, участие всей компании в народных испанских празднествах и в бою быков в Памплоне передают непритворное наслаждение природой и упоение радостью жизни и принадлежат к сильнейшим страницам Хемингуэя.

Рассматривать поэтику Хемингуэя вне его моральной темы едва ли возможно. Критика и читатели давно уже обнаружили, что его сдержанная, порою сухая манера письма не служит признаком эмоциональной бедности автора, так же, как скупые, «сквозь стиснутые зубы» реплики его персонажей не свидетельствуют о скудости их душевного мира.

Важным элементом в это видение мира входит предпочтение всего конкретного, однозначного и простого перед отвлеченным или мудреным, за которым герою Хемингуэя всегда чудится фальшь и обман. На этом делении чувств и предметов внешнего мира он строит не только свое понятие о нравственности, но и свою эстетику.

Лейтенант Генри в «Прощай, оружие!» считает такие «абстрактные слова», как подвиг, доблесть или святость, ненадежными и даже оскорбительными «рядом с конкретными названиями деревьев, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами».

Война кончилась, категории абстрактных и конкретных понятий, входящих в повседневную жизнь героя, стали иными, но по-прежнему от таких тревожащих душу «неверных» слов, как ревность, одиночество или страдание, он ищет опоры и покоя в названиях улиц и педантически точном обозначении маршрута.

«Мы свернули вправо с площади Контрэскарп и пошли ровными, узкими улочками, между высокими старинными домами. Одни дома выдвигались вперед, другие отступали назад. Мы вышли на улицу По-де-Фер и шли по ней до улицы Сен-Жак, потом свернули к югу, вдоль чугунной ограды обогнули больницу Валь-де-Грас и вышли на Бульвар Дю-Пор-Рояль.

— Теперь куда? — спросил я. — Зайдем в «Селект» и посидим с Брет и Майклом?

— Ну что ж.

Мы пошли по Бульвару Дю-Пор-Рояль, пока он не перешел в Бульвар Монпарнас, и дальше, мимо «Клозери-де-Лила», ресторана Лавиня, Дамуа и всех малепьких кафе, пересекли улицу против «Ротонды» и мимо его огней и столиков дошли до кафе «Селект».

Так Джейк Барнс описывает свой горестный путь на свидание с Брет, к которой приехал ее любовник Майкл Кэмбелл.

Здесь возникает вопрос о знаменитом хемингуэевском *подтексте*, который играет столь важную роль в его творчестве, особенно в ранний период. «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все, что опущено, так же сильно, как если бы автор сказал об этом. Вселичавость движения

айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над водой» — так характеризует Хемингуэй свою собственную манеру («Смерть после полудня»).

Многие рассказы Хемингуэя построены на взаимодействии сказанного и подразумеваемого; эти элементы повествования тесно соединены, и невидимое «подводное» течение сюжета сообщает силу и смысл видимому. Так, в известном рассказе «Кошка под дождем» (из сборника «В наше время») как будто пустячный разговор «ни о чем» двух молодых супругов-американцев в итальянском отеле должен передать, по замыслу автора, атмосферу душевной опустошенности и назревающего кризиса в их отношениях. Автор отлично знает своих героев, их жизнь, чувства и интересы и строит рассказ почти как музыкальное произведение, уверенно чередуя звучания и паузы.

Широко и менее экспериментально Хемингуэй пользуется подтекстом в «Фиесте». Герои умалчивают о своих трудностях, и горю кажется, что чем тяжелее у них на душе, тем непринужденнее течет беззаботный диалог — таковы «условия игры», — однако равновесие текста и подтекста нигде не нарушено автором, и психологическая характеристика персонажей остается высокоубедительной.

Своими главными чертами поэтика подтекста, столь основательно разработанная Хемингуэем, прочно вошла в общую поэтику современной западной прозы. Однако в его творчестве ей присущи отчетливо индивидуальные черты и акценты, и потому попытки копировать манеру Хемингуэя, как правило, обречены на неудачу.

Таков в общих чертах художественный и моральный мир, вырисовывающийся в произведениях молодого Хемингуэя.

Несмотря на видимую слаженность, мир этот противоречив, непрочен и зыбок, исполнен тревоги, предчувствия неминуемых бедствий.

С чем борются герои Хемингуэя? По видимости — со «злой судьбой». Глубинные истоки неблагополучия в мире остаются как бы «за кадром»; они заслонены теми конкретными обстоятельствами, которым противостоит борющийся герой. Однако ошибочно будет думать, что писатель слеп к их существованию или к ним равнодушен.

Некоторые авторы, пишущие о Хемингуэе, хотели бы не только сблизить, но и отождествить молодого Хемингуэя и его героев. Однако если бы Хемингуэй стал летописцем людей поте-

ряного поколения, будучи только одним из них, едва ли эта летопись стала бы достоянием мировой литературы. Если люди потерянного поколения были внутренне опустошенными жертвами военных событий, дрейфующими обломками катастрофы, то молодой Хемингуэй не чувствовал себя ни опустошенным, ни потерпевшим крушение. Он был ищущим и думающим писателем, который глубоко воспринял трагедию своих сотоварищей и избрал ее своей темой.

Два важных обстоятельства определяют его трактовку избранной темы, одно как бы высвобождает ему руки, другое, напротив, связывает.

Первое: с самого начала писатель занимает позицию, позволяющую ему, несмотря на сочувствие к своим персонажам, отнестись к ним критически и со стороны.

Эта позиция интересно выражена в заглавии и в эпитафиях его первого романа «Фиеста».

В «Фиесте» после заглавия у Хемингуэя идут два эпитафия. Первый: «Все вы — потерянное поколение», — со ссылкой на Гертруду Стайн, которая ввела эту формулу; и второй — из Екклесиаста, начинающийся словами: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит...» Подлинное название романа Хемингуэя — «И восходит солнце», и оно взято из этой библейской цитаты (название «Фиеста» было рабочим заглавием романа, появилось в английском издании книги и далее перешло в русское). «Поколение» в первом из приведенных эпитафий и «род» во втором по-английски названы тем же словом (generation). Таким образом, и заглавие романа, и оба эпитафия к нему оказываются тесно переплетенными между собой и направленными к той же единой цели. Какова она? Как разъяснил сам Хемингуэй в письме, написанном вскоре после выхода книги, он хотел показать, что подлинный герой книги не утратившее покой и счастье «потерянное поколение», а «земля, которая пребывает вовеки»¹.

Это не должно означать какого-либо пренебрежения автора к героям романа — в книге, как уже сказано, он не скрывает своей душевной боли за них, — но это прямой отказ от пораженчества и отчаяния; тема земли, которая «пребудет вовеки», не раз возникает у Хемингуэя и в дальнейшем как противовес пессимизму.

Второе: как уже говорилось, в книгах раннего Хемингуэя общественная тематика оттеснена. Если в интерлюдиях-миниатю-

¹ Письмо Максвеллу Перкинсу от 19/XI 1926 г. См.: Carlos Baker. Hemingway: The Writer as Artist. Princeton University Press, 1963, p. 81.

рах между рассказами сборника «В наше время» еще проступает намерение автора как-то восполнить пустоты, дать социальный фон, то в последующих книгах этого почти нет. Подобное самоограничение писателя, диктуемое в основном его сумрачным и фаталистическим взглядом на общество, резко сужает рисуемую им картину человеческой жизни.

Он отказывается идти за своими героями по пути отчаяния, это так. Но в то же время он словно бы отвергает борьбу с общественным злом, порождающим в мире отчаяние. Где же спасение? В личном, индивидуальном неподчинении злу, отвечает писатель. Этому пути он и следует.

Однако, внимательно вчитываясь в книги молодого Хемингуэя, мы видим, что и в ограниченных, суженных пределах его проблематики есть сражающиеся люди-борцы и есть реальные проявления зла, с которыми они ведут бой; вырисовывается положительное и отрицательное начало в окружающем мире и в жизни отдельного человека.

Положительное активное начало в человеке находит у Хемингуэя наивысшее выражение в мотиве непобежденности. Речь идет об отказе героя сдаться на волю «злой судьбы», о решимости противостоять ей даже в самом поражении. Из героев «Фиесты» только один Джейк Барнс — непобежденный, как бы ни храбрились другие. Напряженная борьба Джейка с подстерегающим его отчаянием — внутренняя тема романа, сводящая воедино его сюжетные линии. Эта тема повторена у Хемингуэя и во многих рассказах.

Один из сильнейших рассказов молодого Хемингуэя так и называется — «Непобежденный».

Он относится к циклу спортивных рассказов, где главными действующими лицами выступают матадоры, боксеры, охотники. Хотя бой в них происходит на аренах меньших, чем арена человеческой жизни, писатель строит конфликты, как бы моделируя более общие противоречия, и достигает внушительной силы.

Чтобы понять те пути, на которых реалистическое искусство одерживает победы в творчестве молодого Хемингуэя, будет правильно рассмотреть «Непобежденного» на фоне известного трактата Хемингуэя о бое быков «Смерть после полудня». Эта книга вышла в 1932 году, но писатель работал над ней начиная с середины 20-х годов, и она вобрала в себя ряд мотивов, важных для всех этих лет.

Увлечение Хемингуэя боем быков известно; из его биографии видно, что оно не ослабевало до конца его жизни; он посвятил корриде очень известные страницы в «Фиесте». Однако в «Смерти после полудня» имеются похвалы бою быков, далеко выходящие

за пределы даже самого сильного увлечения. В терминах, вызывающих в первую минуту удивление и даже протест, Хемингуэй воспекает красоту убийства быка на арене, исключительную моральную значительность подвига матадора.

Понять это явное преувеличение можно, лишь уяснив себе, что коррида в «Смерти после полудня» несет совершенно особую, дополнительную нагрузку: это как бы лаборатория, в которой писатель испытывает отстаиваемые им моральные и эстетические принципы. Действия матадора на арене служат для него как бы примером поведения человека перед лицом смертельной опасности, в характерном конфликте, где он должен отстаивать свою жизнь и свое достоинство. В этой ситуации Хемингуэй требует от своего героя не только отваги, но и соблюдения «правил игры», определенной манеры вести себя, в которую входят в числе прочего и элементы бравады. Едва ли можно было избрать лучший прообраз героя для молодого Хемингуэя, чем каждодневно глядящий в лицо смерти молодой матадор, соединяющий презрение к опасности с профессиональной щепетильностью и еще с характерно возвышенным испанским представлением о чести, которое Хемингуэй специально подчеркивает. Он влюблен в матадоров, восхищается изяществом сильнейших из них; в слабом же матадоре критикует не только признаки малодушия, но и малейшие отступления от «правил игры», подробно их разбирает.

На арене боя быков он наблюдает свой кодекс словно бы в «чистом виде», экспериментально лишенным какой бы то ни было социальной, а иной раз и бытовой мотивировки¹.

Однако рассказ Хемингуэя «Непобежденный», в котором тоже в центре внимания матадор и коррида, замечателен вовсе не этим взглядом писателя, а своим человеческим, жизненным содержанием, входящим с ним в довольно значительное противоречие.

В «Непобежденном» искусный в прошлом, стареющий матадор Мауэль Гарсиа выступает в бое быков в Мадриде. Он еще не оправился до конца от недавних ранений; кроме того, бой проходит для него несчастливо, ему не везет. Под конец он убивает своего быка, по его самого уносят с арены с тяжелой, быть может — смертельной раной в груди.

¹ Я здесь опускаю второе сближение, проводимое в этой книге Хемингуэем в плане его творческих интересов, — параллель между матадором и «верным себе» художником. В этом втором плане Хемингуэй характеризует действия сражающегося с быком матадора как «единственное искусство, в котором художник находится под угрозой прямой гибели, а блеск исполнения всецело предоставлен его чувству чести».

«Злая судьба» в этом рассказе раскрывает себя в очень конкретных социальных мотивах. Мануэль Гарсия должен идти на арену боя быков за гроши, потому что он бедный человек и нуждается в заработке. Он выходит на арену также потому, что он мастер, артист и защищает право матадора зарабатывать на жизнь своим ремеслом и талантом.

Драма на арене насыщена суровыми реалистическими деталями.

Старый пикадор Сурито, уже ушедший с арены, соглашается участвовать в бое, чтобы помочь своему другу; он жалеет его, боится за него, даже пытается взять с Мануэля слово, что в случае неудачи тот тоже бросит арену. Когда развертывается бой, цинично равнодушный репортер вечерней мадридской газеты, прихлебывая вино, регистрирует ход событий: «...престарелому Маноло не удалось вызвать аплодисментов серией трафаретных трюков с плащом, после чего начался следующий номер программы». Молодой цыган-баудерильеро, словно танцуя, выполняет свою работу; его веселое бесстрашие оттеняет глубокую усталость старого Мануэля. Даже быку дается слово в этом рассказе. Сперва он весел: «Бык выбежал из прохода на свет дуговых фонарей, заскользил, тормозя всеми четырьмя ногами, и, радуясь свободе после темного загона, пошел галопом — мягким, частым галопом». Потом, израненный и обозленный, мечтает расправиться с мучителями: «Бык, высунув язык, тяжело поводя боками, следил за цыганом. Теперь попался, думал бык...»

Когда Мануэлю не удается сразу убить быка, зрители в знак порицания забрасывают его кожаными подушками с амфитеатра. Споткнувшись об одну из подушек, Мануэль попадает на рог к быку. Лежа на операционном столе, он не позволяет отрезать себе колету — косичку, профессиональное отличие матадора. Он не побежден. Он матадор. Он не сдается.

Хотя страсти боя в «Непобежденном», вероятно, превосходят по мастерству даже прославленное описание корриды в «Фиесте», этот рассказ Хемингуэя не может служить рекламой бою быков. Господствующий мотив не торжество человеческого мужества и красота поединка, а растрата воли и мужества перед лицом пошлости и равнодушия. Если это модель, то модель величайшего неблагополучия, а вернее всего — не модель, а сама жизнь, взятая художником в ее трагических противоречиях.

Проявления социального зла становятся еще конкретнее и убедительнее, когда писатель переносит действие на родину, в США.

В свое время молодой Хемингуэй отказался от намерения писать роман о родном городке Оук-Парке, «щадя тех, кто еще

жив», как он сам говорил позже; в первую очередь он имел в виду своих родственников. Оук-Парк и без того крайне болезненно воспринимал его произведения; по воспоминаниям младшего брата Хемингуэя, отец и мать писателя, если им приходилось касаться в разговоре «Фиесты», с ужасом называли ее «та книга». Однако Хемингуэй не ограничился в своем изображении американской жизни воспоминаниями детских лет в Иллинойсе и характерными мотивами «возвращения солдата». Имеется группа рассказов молодого Хемингуэя, американских по материалу и в главном базирующихся на его опыте репортера в Чикаго и в Канзас-Сити. В них писатель рисует сумрачную картину американской действительности, не скрывая своего протеста и отворачивания. Прежде всего это «Убийцы» и «Пятьдесят тысяч» из второго сборника рассказов Хемингуэя «Мужчины без женщин».

Насколько сильно молодой Хемингуэй, несмотря на все свои самозапреты и ограничения, чувствует социальную сторону действительности, видно из того, что оба эти рассказа, тоже относящиеся к его спортивному циклу, любой историк американской культуры XX века может рассматривать как полноценные социологические этюды.

В «Убийцах» два гангстера в маленьком американском городке подстерегают человека, которого им поручено уничтожить. По случайности покушение срывается, но человек обречен, это ясно и ему самому, и всем окружающим. В цивилизованном обществе, среди бела дня, у него не более шансов спастись, чем у одинокого зверя в джунглях, преследуемого стаей более хищных и сильных зверей.

«Убийцы» принадлежат к сильнейшим вещам американского цикла. Кто раз прочитал этот рассказ, уже не забудет захолустную американскую забегаловку, страшную обыденность происходящего, незамысловатые шуточки двух неизвестных с обрезом и сухую шелкающую дробь диалогов на фоне неотвратимо надвигающегося убийства.

Касаясь творческой истории «Убийц», Хемингуэй однажды сказал, что в поисках максимальной выразительности ему пришлось выкинуть прочь из рассказа «целый город Чикаго». Он разъясняет там же, за что гангстеры в «Убийцах» преследуют шведа Оле Андресона: швед должен был непременно проиграть поединок на ринге в заведомо фальсифицированном состязании, но не выполнил приказа, выиграл бой и тем нарушил интересы чикагского преступного синдиката¹.

¹ Беседа с Хемингуэем, записанная Хочнером. См.: A. Hotchner. Para Hemingway. New York, 1963, p. 163—164.

Оставшись за пределами текста, эти элементы рассказа вовсе исчезли и тем, безусловно, обеднили бытовую сторону фабулы. Однако надо признать, что в неполной мотивированности происходящего рассказ приобретает особо зловещую силу как символическая картина изображаемой жизни.

Фабульные купюры «Убийц» как бы восполнены в рассказе «Пятьдесят тысяч». Старый боксер Джек Бреннан проводит последний бой, прежде чем уйти окончательно с ринга. Чтобы следовать за поворотами сюжета в этом рассказе, читателю надобно знать нравы спортивного мира США и механику около-спортивной наживы. Понимая, что он не имеет шансов выиграть бой у противника, который и моложе, и сильнее его, старый боксер хочет заработать на собственном поражении; он входит в соглашение с владельцами нелегального тотализатора и ставит на своего противника пятьдесят тысяч долларов. Владельцы тотализатора проводят, однако, коварную контроперацию. По их указке противник Бреннана пытается в открытую, не скрываясь, нокаутировать его запрещенным ударом. За бесчестный удар судьи должны зачесть ему поражение; тогда Бреннан считается выигравшим бой и деньги его пропадают. Но Бреннан, разгадав этот маневр противника, объявляет его удар несчастной случайностью; преодолевая невыносимую боль, он находит в себе силы для нового раунда и в свою очередь еще более бесчестным ударом посылает врага в нокаут. Теперь судьи дисквалифицируют его самого, соперник объявлен выигравшим бой и деньги Бреннана спасены. «Удивительно, как быстро соображаешь, когда дело идет о таких деньгах», — говорит он после матча своему тренеру, лежа, «осунувшийся и страшный», в ожидании врача.

Автор избегает какого-либо морализирования; тренер, от лица которого ведется рассказ, объективно и в общем дружески рисует старого Бреннана, критикуя его лишь за скуповатость в быту. Чтобы оценить все моральное значение для писателя нарисованной им картины американского социального быта, следует сравнить Бреннана с матадором Маноло Гарсиа, героем рассказа «Непобежденный». На фоне трагедии старого матадора поединок Бреннана выглядит чудовищным фарсом.

Так проходит в творчестве Хемингуэя противоборство взаимоисключающих, враждебных одно другому начал: отваги и морального капитулянтства, цинического равнодушия и борьбы за достоинство человека, душевной красоты и душевного уродства.

Общее значение моральной тематики Хемингуэя, в том числе и социальное ее значение, неоспоримо. Оно выходит за пределы

частных проблем потерянного поколения; ее здоровые элементы имеют самостоятельную непреходящую ценность.

В то же время позиция молодого Хемингуэя остаётся противоречивой.

Стремление обогатить тему потерянного поколения общим жизненным содержанием — сильная сторона его творчества и открывает ему путь в «большой мир». Но когда он пытается расширительно толковать свойственную потерянному поколению «болезнь души», распространяя ее на человеческие отношения вообще, он приходит к сумрачному, пессимистическому взгляду и на жизнь, и на человека.

Исключение из круга рассматриваемых им тем социальной и политической борьбы трудящихся в ее актуальных жизненных проявлениях сужает горизонты писателя и приводит его временами к трагическим кризисам.

Таким было в общих чертах развитие Хемингуэя, пока с середины 30-х годов социальная и политическая тематика не завладевает — чем дальше, тем более — его вниманием и помыслами. И его шаги на этом пути — не первые шаги новичка. Как можно было предвидеть и ранее, впечатления и опыт начала 20-х годов, исключенные в известный момент им самим из сферы творческих поисков, как бы вновь оживают в его писательской памяти. И когда он печатает в сентябре 1935 года в американском коммунистическом ежемесячнике «Нью Мэссиз» свою статью «Кто убил ветеранов?», то вступает за погибших людей не только как за близких своих по «солдатскому братству». Он видит в них также бедных людей, голодных и бездомных американцев, обреченных на гибель имущими классами и правительством США.

«Ты мертв, брат мой! Но кто бросил тебя в ураганный период на островах, где тысяча людей до тебя погибла от урагана, строя дорогу, смытую сегодня водой?

Кто бросил тебя там? И как теперь карается человекоубийство?»

Таким образом, не было неожиданностью, когда в годы гражданской войны в Испании, уже писателем с мировым именем, Хемингуэй сам покончил с палоченными на себя запретами и вышел на борьбу с фашистской реакцией во всеоружии своего мужества и таланта.

А. Старцев

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. Грибанов. Наш современник Эрнест Хемингуэй</i>	5
--	---

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

<i>У нас в Мичигане. Перевод М. Лорие</i>	17
КНИГА РАССКАЗОВ «В НАШЕ ВРЕМЯ»	
<i>В порту Смирны. Перевод В. Топер</i>	22
<i>Глава первая. Индейский поселок. Перевод О. Холмской</i>	24
<i>Глава вторая. Доктор и его жена. Перевод Н. Волжиной</i>	30
<i>Глава третья. Что-то кончилось. Перевод Н. Волжиной</i>	35
<i>Глава четвертая. Трехдневная непогода. Пе- ревод Н. Волжиной</i>	40
<i>Глава пятая. Чемпион. Перевод Е. Романовой</i>	51
<i>Глава шестая. Очень короткий рассказ. Пе- ревод Н. Георгиевской</i>	61
<i>Глава седьмая. Дома. Перевод Н. Дарузес .</i>	64
<i>Глава восьмая. Революционер. Перевод Н. Волжиной</i>	73
<i>Глава девятая. Мистер и миссис Эллотт. Пе- ревод М. Лорие</i>	76
<i>Глава десятая. Кошка под дождем. Перевод Л. Кисловой</i>	81
<i>Глава одиннадцатая. Не в сезон. Перевод Н. Георгиевской</i>	86
<i>Глава двенадцатая. Кросс по снегу. Пере- вод В. Топер</i>	94

Глава тринадцатая. Мой старик. <i>Перевод</i> <i>Н. Дарузес</i>	101
Глава четырнадцатая. На Биг-Ривер. I. <i>Перевод О. Холмской</i>	115
Глава пятнадцатая. На Биг-Ривер. II. <i>Пере-</i> <i>вод О. Холмской</i>	125
L'envoi. <i>Перевод О. Холмской</i>	137

ИЗ КНИГИ РАССКАЗОВ «МУЖЧИНЫ БЕЗ ЖЕНЩИН»

Непобежденный. <i>Перевод В. Топер</i>	138
В чужой стране. <i>Перевод Н. Георгиевской</i>	167
Белые слоны. <i>Перевод А. Елеонской</i>	173
Убийцы. <i>Перевод Е. Калашниковой</i>	178
Che ti dice la patria? <i>Перевод Н. Георгиевской</i>	188
Пятьдесят тысяч. <i>Перевод О. Холмской</i>	198
Десять индейцев. <i>Перевод А. Елеонской</i>	222
Канарейку в подарок. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	228
Альпийская идиллия. <i>Перевод В. Топер</i>	233
Гонка преследования. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	239
Сегодня пятница. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	244
Банальная история. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	248
На сон грядущий. <i>Перевод Е. Калашниковой</i>	251

ИЗ КНИГИ РАССКАЗОВ «ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧАЕТ НИЧЕГО»

После шторма. <i>Перевод М. Лорие</i>	259
Там, где чисто, светло. <i>Перевод Е. Романовой</i>	265
Свет мира. <i>Перевод Е. Калашниковой</i>	270
Какими вы не будете. <i>Перевод И. Кашкина</i>	277
Мать красавчика. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	289
Посвящается Швейцарии. <i>Перевод Е. Калашнико-</i> <i>вой</i>	294
Ожидание. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	307
Вино Вайоминга. <i>Перевод В. Топер</i>	311
Дайте рецепт, доктор. <i>Перевод Е. Романовой</i>	327
Отцы и дети. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	345

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

О писательстве. <i>Перевод А. Старцева</i>	355
Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера. <i>Перевод</i> <i>М. Лорие</i>	363
Рог быка. <i>Перевод Е. Калашниковой</i>	395
Снега Килиманджаро. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	407
Нужна собака-поводырь. <i>Перевод И. Кашкина</i>	432

ОЧЕРКИ

Маэстро задает вопросы. <i>Перевод И. Кашкина</i> ; . . .	438
Кто убил ветеранов войны во Флориде. <i>Перевод</i> <i>Е. Калашниковой</i>	446
Крылья над Африкой. <i>Перевод Е. Калашниковой</i> .	454
ФИЕСТА (И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ) Роман. <i>Перевод</i> <i>В. Топер</i> ' , ...	463
<i>А. Старцев</i> . Молодой Хемингуэй и «потерянное по- коление», ...	652

